

ЖИВОПИСЦИ

ДМУШ

Книга Филиппова рисунковъ общаго характера въсвѣ-
щивающая орудиями въ различныхъ древнихъ странахъ

ВЪДЕФОНСО ФАЛЬКОМЕС



ВЪТЕРИЗЬЕ НА ПСЕКОМЪ

Annotation

Добро пожаловать в Барселону начала XX века – расцвет модернизма, столкновение идеологий, конфликт поколений, бурлят споры, кипит кровь. Молодой художник Далмау Сала, влюбленный в жизнь, в живопись, в женщину, разрывается между подлинным искусством, требующим полной самоотдачи, и необязательными, но удобными поделками для богатых и равнодушных, между наслаждением и долгом, между романтикой и комфортом. Далмау ищет себя и свой истинный путь – и вместе с возлюбленной пройдет страшными тропами посреди восторга и ужаса мира, стоящего на пороге нового века. Ильдефонсо Фальконес, юрист по профессии, историк по призванию, один из крупнейших испанских писателей современности, за свой первый роман «Собор у моря» был удостоен многочисленных престижных премий, в том числе Euskadi de Plata (2006, Испания), Qué Leer (2007, Испания) и премии Джованни Боккаччо (2007, Италия). Книги Фальконеса уже разошлись общим тиражом более 10 миллионов экземпляров в нескольких десятках стран. «Живописец душ» – его гимн родной Барселоне, великолепная сага о людях в потоке исторических событий и летопись человеческих страстей: любви, мести, верности искусству и идеалам в бурные времена, когда меняется абсолютно все, от политики до морали и эстетики, история распахивается гигантским полотном, страсти творят великий город, а город вершит человеческие судьбы на века вперед. Впервые на русском!

-
- [Ильдефонсо Фальконес](#)
 -
 -
 - [Часть первая](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)

- [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
- [Часть вторая](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
- [Эпилог](#)
- [От автора](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)

- [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
-

Ильдефонсо Фальконес

Живописец душ

© А. Ю. Миролубова, перевод, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская
Группа „Азбука-Агтикус“», 2022

Издательство АЗБУКА®

Эту книгу я начал в добром здравии, но, вследствие тяжелой болезни, последнюю точку поставил, когда тысяча булавок вонзались в подушечки моих пальцев, пока я стучал по клавиатуре. Хочу посвятить ее всем, кто борется с раком, а также тем, кто помогает нам, не дает падать духом, находится рядом, а порой вынужден терпеть наше отчаяние. Спасибо.

Часть первая

Барселона, май 1901 года

Сотни женских и детских голосов звенели в переулках старого центра. «Забастовка!» «Закрывайте двери!» «Останавливайте станки!» «Опускайте шторы!» Пикет составляли женщины, многие несли на руках малышей или крепко держали за руку детишек постарше, хотя те и пытались вырваться, чтобы побежать за совсем уж большими, вышедшими из-под контроля; они обходили улицы старого города, призывая рабочих и торговцев, чьи мастерские, цехи и магазины все еще были открыты, немедленно прекратить всякую деятельность. Палки и куски арматуры у них в руках убеждали большинство, хотя кое-где бились витрины и вспыхивали стычки.

– Это женщины! – крикнул какой-то старик с балкона второго этажа, прямо над головой разъяренного лавочника, который сцепился с двумя пикетчицами.

– Ансельмо, я просто...

Его оправданий никто не слушал, их заглушили оскорбления и свист других жильцов, наблюдавших сцену с балконов ветхих, сгрудившихся домов, где обитали мастеровые и прочий неимущий люд: фасады растрескались, штукатурка облезла, всюду видны были пятна сырости. Лавочник поджал губы, замотал головой и опустил железную штору под торжествующие, насмешливые крики оборванных и грязных ребятишек. Зрители невольно заулыбались, оценив шуточки юных забастовщиков: лавочника не любили в квартале. Он тачал и продавал эспадрильи. Не верил в долг. Не улыбался. Ни с кем не здоровался.

Ребятишки продолжали потешаться над ним, пока полиция, следовавшая за пикетчицами, не подошла совсем близко. Тогда они побежали за громогласной ордой, которая хлынула в переулки средневековой Барселоны, извилистые и темные, ведь даже волшебный весенний свет майского утра не в силах был проникнуть глубже самых верхних этажей в хитросплетение построек, что возвышались над брусчатой мостовой. Жильцы, высыпавшие на балконы, умолкли при виде жандармов; иные ехали верхом, с саблями

в ножнах, лица у большинства были хмурые, всадники двигались размеренно, отчего напряжение возрастало. Все понимали, как этим людям непросто: они должны были остановить незаконные пикеты, но не были готовы сражаться с женщинами и детьми.

История рабочего движения в Барселоне неразрывно связана с женщинами и их детьми. Они сами в большинстве случаев уговаривали своих мужчин оставаться в стороне от насильственных актов. «На нас они не посмеют напасть, а нас достаточно, чтобы остановить работу», – твердили женщины в качестве аргумента. Такую тактику применили и сейчас, в мае 1901-го, когда рабочие вышли на улицы после того, как компания по обслуживанию трамваев уволила забастовщиков и наняла вместо них штрейкбрехеров.

До всеобщей забастовки в поддержку трамвайщиков, к которой призывали рабочие союзы, было еще далеко, и, несмотря на отдельные акты насилия, жандармерия вроде бы контролировала город.

Вдруг из сотен женских глоток вырвался единый вопль: пронеслась весть, будто по Ла-Рамбла ходит трамвай. Зазвучали ругательства и угрозы: «Штрейкбрехеры!», «Сучьи дети!», «Покажем им!».

Пикетчицы пустились быстрым шагом, почти бегом, по улице Портаферрисса к цветочным рядам на Ла-Рамбла, чуть выше рынка Бокерия, который, в отличие от других барселонских рынков, таких как Сан-Антони, Борн или Консепсон, не был выстроен по конкретному проекту, торговцы попросту оккупировали площадь Сан-Жузеп, великолепное, окруженное портиками пространство; в конце концов купцы одержали верх, и площадь покрылась тентами и навесами, а портики, окружавшие площадь, – в стены нового рынка. Обычные места, где торгуют цветами, киоски чугунного литья, расположенные вдоль бульвара друг против друга, были закрыты, но цветочницы, в вызывающих позах, уперев руки в бока, стояли рядом, готовые защищать их. В Барселоне только в этой части Ла-Рамбла продавали цветы. У рынка Бокерия застряла нескончаемая череда крытых подвод: лошади и экипажи терлись друг о друга в паре шагов от трамвайных путей. Истошные крики проходящей мимо толпы женщин растревожили животных. Но мало кто из пикетчиц обращал внимание на взбесившихся, встающих на дыбы коней и на мечущихся

очертя голову конюхов и продавцов. Трамвай, следующий к бульвару Грасия от Рамбла-де-Санта-Моника, приближался.

Далмау Сала в толпе других мужчин молча двигался за пикетом по улицам старого города, вслед за жандармами. Теперь, на более широком бульваре Ла-Рамбла, ему открылась полная картина. Абсолютный хаос. Лошади, экипажи и торговцы. Сбежалась толпа ротозеев; полицейские встали в строй перед женщинами с детьми, а те образовали живую цепь, отсекая тех, которые сгрудились на рельсах, норовя остановить машину. Увидев, как женщины поднимают малышей перед жандармами, Далмау содрогнулся. Дети постарше цеплялись за юбки матерей, тарача испуганные глазенки, пытаясь постигнуть непостижимое, а подростки, заразившись общим энтузиазмом, дразнили полицейских.

Не так давно, года четыре или пять тому назад, Далмау точно так же задирали полицию, а его мать позади криками требовала справедливости или улучшения социальных условий и воодушевляла его на борьбу. Так поступало большинство матерей: ставили детей на защиту дела, за которое они сами готовы были отдать жизнь.

На какой-то миг крики женщин опьянили Далмау, вселили в него прежнее воодушевление, когда и он противостоял полицейским. Подростки тогда себя чувствовали богами. Боролись за рабочее дело! Бывало, что жандармы или солдаты набрасывались на них, но сегодня такого не случится, сказал себе Далмау, переводя взгляд на забастовщиц, преграждавших путь трамваю. Нет. Этот день не назначен для того, чтобы силы правопорядка атаковали женщин; он это предчувствовал, это знал.

Далмау быстро нашел их в толпе. В первом ряду, впереди всех, с пылающими глазами, будто одним только взглядом собираясь остановить трамвай до Грасии, который уже приближался. Далмау разулыбался. Что неподвластно таким взглядам? Монсеррат и Эмма, его младшая сестра и его невеста, подруги, неразлучные в бедах, неразлучные в борьбе за рабочих. Трамвай приближался, звонок дребезжал, лучи солнца, проникая сквозь листву деревьев на Ла-Рамбла, высекали искры из колес и других металлических частей вагона. Кое-кто из женщин отступил, но таких оказалось немного. Далмау выпрямился. Он не боялся: трамвай остановится. Матери и полицейские умолкли, затаив дыхание. Зеваки тоже замерли. Группа

женщин на рельсах как будто увеличилась, сплотилась, вросла в почву: будь что будет.

Трамвай остановился.

Женщины разразились торжествующими криками, а немногие пассажиры, которые осмелились воспользоваться транспортом и ехали на втором ярусе, под открытым небом, спотыкаясь, спускались вниз и удирали следом за водителем и кондукторами – те попрыгали с трамвая еще до того, как он остановился.

Далмау глядел на Эмму и Монсеррат: обе поднимали к небу сжатые кулаки, улыбались, вместе со всеми празднуя победу. Не прошло и минуты, как сотни женщин набросились на трамвай. «Сюда!» «Поддадим!» Жандармерия хотела вмешаться, но живая цепь женщин с детьми вышла навстречу. Множество рук оперлось о стенку вагона. Кто не мог подойти к трамваю, налегал на спины впереди стоящих.

– Толкайте! – раздавались крики.

– Сильнее!

Трамвай закачался на железных колесах.

– Еще! Еще, еще...

Раз, два... Вагон раскачивался все сильнее, женщины криками подбадривали друг друга. Наконец вопль, вырвавшийся из сотен глоток, возвестил падение трамвая. Вместе с грохотом полетели щепки, зазвенело железо, поднялась туча пыли, окутав трамвай и женщин.

Относительную тишину, наступившую после того, как трамвай рухнул на землю, прервали истошные крики:

– Ура революции!

– Да здравствует анархия!

– Все на забастовку!

– Смерть монахам!

Покончить с безработицей, увеличить зарплату. Сократить непомерный рабочий день. Запретить детский труд. Покончить с властью Церкви. Обеспечить безопасность. Предоставить приличное жилье. Здравоохранение. Светское образование. Продукты по доступным ценам... Тысячи требований гремели над цветочными рядами на Ла-Рамбла, там собиралась и ширилась толпа неимущих,

люди стекались со всех сторон и яростно рукоплескали женщинам из рабочих.

Эмма и Монсеррат, вспотевшие, запачканные, с лицами, потемневшими от пыли, поднявшейся после падения вагона, прыгали от восторга, подбадривали подруг, махали руками, взобравшись на стенку трамвая.

У Далмау волосы встали дыбом при виде этих юных дев. Какая отвага! Какое бесстрашие! Он вспомнил, сколько раз вместе с матерями и женами рабочих бросались они на защиту правого дела. Далмау был старше на два года, но эти девчонки, как будто женская природа их к тому обязывала, смелостью превосходили его, кричали, ругались, чуть ли не задирали жандармов. А теперь стояли на самом верху, на торце трамвая, который опрокинули собственными руками. Далмау вздрогнул, поднял руку, сжатую в кулак, и в восторге присоединился к крикам и требованиям толпы.

Крики все еще звучали в ушах Далмау, волнение не покидало его, когда он поднимался по Пасео-де-Грасия к керамической фабрике, где работал в районе Лес-Кортс, на пустыре неподалеку от русла Баргальо. Ему не удалось поговорить с девушками: добившись цели и видя, что жандармы теряют терпение, женщины с детьми, составлявшие пикет, рассеялись в разные стороны. Монсеррат и Эмму наверняка заметили, подумал Далмау. «Еще бы!» – сказал он себе и улыбнулся, топчя упавший с дерева лист. Как не запомнить их, стоящих наверху? Конечно, они быстро смешались с другими женщинами на рынке Бокерия или на Ла-Рамбла, такими же, как они, одетыми одинаково: юбка до щиколоток, передник и блузка с засученными рукавами. Те, что постарше, повязывали на голову платок, чаще всего черный; молодые подкалывали волосы в пучок и не носили шляпок. Эти женщины коренным образом отличались от тех, что прогуливались по Пасео-де-Грасия: богатых, элегантных.

Ежедневно, проходя из конца в конец одну из главных магистралей древней столицы Барселонского графства, Далмау отводил душу, разглядывая дам, которые прогуливались с гордым видом в сопровождении нянек в белом, детишек и конных экипажей. Грудь, живот и ягодицы; говорили, будто по этим трем параметрам следует судить о том, насколько женщина близка к идеалу. Женская

мода в эпоху модерна эволюционировала вместе с архитектурой и другими искусствами, и суровые средневековые линии, бывшие в ходу в последнее десятилетие прошлого века, вышли из употребления, теперь целью было показать живых женщин: корсет подчеркивал естественные формы тела, его сказочные изгибы – выступающая грудь, плоский, стянутый живот, задорно и воинственно торчащие ягодицы. Когда было время, Далмау задерживался на бульваре, садился на скамейку и делал наброски углем, запечатлевая этих женщин; правда, одежда не занимала воображение художника, и он рисовал их нагими. Зачем ограничиваться тем, на что лишь намекают корсеты и платья? Ноги, бедра, щиколотки, главное – щиколотки, тонкие, точеные, с натянутыми струнами сухожилий; руки и плечи. Еще шеи! К чему руководствоваться только тремя критериями: грудь, живот и ягодицы? Он любил женскую наготу, но, к сожалению, не имел возможности работать с раздетыми натурщицами: его учитель, дон Мануэль Бельо, это запрещал. Мужская нагота – пожалуйста, женская – нет. Раз он сам не пишет нагих натурщиц, значит и Далмау не должен. Это можно понять, зная супругу дона Мануэля, ухмылялся про себя Далмау. Буржуазка, реакционерка консервативных взглядов, католичка ярая – до мозга костей! Разделяя все эти добродетели со своим супругом, дама цеплялась за моду, устаревшую несколько лет назад, и до сих пор носила кринолин, нечто вроде каркаса, крепящегося на талии, с объемистой накладкой сзади.

– Ни дать ни взять улитка, – насмехался Далмау, описывая туалет дамы Монсеррат и Эмме, – юбка широченная, на задку что-то вроде панциря, который она всюду за собой таскает. Странно ли, что я не в силах вообразить ее голой?

Девушки рассмеялись.

– Ты никогда не снимал панцирь с улитки? – спросила сестра. – Добавь слизнячку шиньон вместо рожек, и вот она, твоя буржуазка, голенькая, вся в слюнях, как все они.

– Замолчи! Какая гадость! – вскричала Эмма, толкая Монсеррат. – Но зачем тебе понадобилось воображать голых женщин? – спросила она Далмау. – Тебе недостаточно тех, которые дома перед тобой?

Последнюю фразу она произнесла вкрадчиво, нежно, растягивая слова. Далмау привлек ее к себе, поцеловал в губы.

– Достаточно, еще как, – шепнул ей на ухо.

В самом деле, если не считать эротических снимков, по которым он изучал женскую наготу, запрещенную учителем, одна только Эмма позировала для него нагой. Монсеррат, узнав об этом, тоже захотела быть моделью.

– Как я буду рисовать голой собственную сестру? – возмутился Далмау.

– Ведь это искусство, разве нет? – настаивала та, начиная уже снимать блузку, чего Далмау не позволил, схватив ее за руку. – Я в восторге от рисунков, которые ты сделал с Эммы! Она там такая... чувственная! Такая женственная! Просто богиня! Никто и не скажет, что она кухарка. Я тоже хочу выглядеть так, а не как обычная работница ситценабивной фабрики.

Видя, что сестра дергает свою цветастую юбку, будто собирается ее скинуть, Далмау на несколько мгновений закрыл глаза.

– Мне бы тоже понравилось, если бы ты меня так нарисовал, – не отставала Монсеррат.

– А маме понравилось бы? – перебил ее Далмау.

Монсеррат скорчила гримасу и отрешенно покачала головой.

– Мне не нужно рисовать тебя голой, тебе и так известно, что ты такая же красавица, как Эмма, – попытался ее утешить Далмау. – В тебя все влюблены! Сходят с ума, падают в ноги.

В тот день, когда на Ла-Рамбла опрокинули трамвай, Далмау и без того опаздывал на работу, ему было не до воображаемой наготы буржуазок, выставявших себя на Пасео-де-Грасия. Недосуг было и разглядывать здания в стиле модерн, которые строились в Барселоне на Эшампле, или Энсанче, за городскими стенами, там, где веками строительство было запрещено из соображений обороны; только в XIX веке, когда стены снесли, эта зона вошла в план городской застройки. Учитель Бельо не принимал этих зданий в стиле модерн, хотя его фабрика процветала, поставляя керамику на стройки.

– Сынок, – оправдывался он, когда Далмау однажды рискнул намекнуть на такое противоречие, – дело есть дело.

Воистину, модерн, не ограничиваясь женскими нарядами, начиная со Всемирной выставки 1888 года во все привнес важные изменения, и такой крен трудно было принять людям консервативного склада. В последнее десятилетие XIX века женщины, хоть и освободившись от турнюров, которые делали их похожими на улиток, все же носили

строгие платья средневекового покроя. В то же самое десятилетие и архитекторы вдохновлялись Средневековьем, пытаясь возродить тогдашнее величие Каталонии. Доменек-и-Монтанер возвращался к использованию местных материалов, таких как старые кирпичи, и таким образом построил кафе-ресторан для той же самой выставки 1888 года, величественный, по-восточному пышный замок с зубцами, причем позволил себе поместить вдоль фриза около пятидесяти керамических щитов из сотни с лишним задуманных; изображения на белых щитах рекламировали продукты, которые подавались в заведении: моряк пьет джин, барышня ест мороженое, кухарка готовит какао... [1]

Через несколько лет Пуч-и-Кадафалк взялся за перестройку дома Амалье [2] на Пасео-де-Грасия в готическом духе, отказавшись от классицистической симметрии и подарив Барселоне первый яркий фасад. Как и Доменек в кафе-ресторане на Всемирной выставке, Пуч стал играть с декоративными элементами и, сообразуясь с увлечением хозяина дома, включил в проект целую толпу гротескных зверей: собаку, кота, лисицу, козу, птичку и ящерицу в виде стражей; лягушку, выдувающую стекло; еще одну, поднимающую бокал; пару свиней, лепящих кувшин; осла, читающего книгу, в то время как другой осел наблюдает за ним через очки; льва-фотографа рядом с медведем под зонтиком; двух кроликов, льющих металл, и обезьяну, стучащую по наковальне.

Эти два здания, среди многих других, где уже намечались перемены, прослеживалось иное понятие об архитектуре, предвозвестили, по словам учителя Далмау, дом Кальвет на улице Касп в Барселоне: здесь Гауди начал отходить от историзма, питавшего его творчество в последние десятилетия прошлого века, и замыслил архитектуру, которая привела бы материю в движение. «Камень – в движение!» – восклицал дон Мануэль Бельо, недоуменно поднимая брови.

– Женщины и здания, – разоткровенничался он однажды перед Далмау, – теряют мало-помалу класс, манеры, величие; порывают со своей историей и проституируются: женщины извиваются, как змеи, а здания превращаются в миражи.

Тут он отвернулся, взмахнув руками в отчаянии, словно вселенная распадалась у него на глазах. Далмау не стал говорить, что его

привлекают женщины, подобные змеям, и он восхищается архитекторами, которые стремятся к тому, чтобы чугун, камень и даже керамика пришли в движение. Ведь только колдун, волшебник, выдающийся творец способен представить глазам материю, превращенную в поток!

Длинная, нагруженная глиной повозка, которую тащила четверка могучих першеронов с величавыми головами, мускулистыми шеями и крупными, толстыми, поросшими длинной шерстью бабками, неспешно, с тяжелым скрипом проехала мимо, сотрясая землю, и это вывело Далмау из задумчивости. Он поднял взгляд; задок доверху наполненной повозки стоял перед глазами, а над ним вырисовывались две высокие фабричные трубы. «Мануэль Бельо Гарсия. Фабрика изразцов». Надпись из тех же изразцов, синих на белом, венчала ворота; дальше начиналась обширная промышленная зона, с водоемами и сушильнями, складами, конторами и печами для обжига. Фабрика была средних размеров, она выпускала серийную продукцию, но работала и по особым заказам, производя изразцы по эскизам или замыслам архитекторов либо техников-строителей для жилых домов, а также для многочисленных коммерческих учреждений, лавок, аптек, гостиниц, ресторанов и прочих: керамика, элемент по преимуществу декоративный, требовалась часто.

В том и заключалась работа Далмау: рисовать. Создавать собственные композиции, которые потом пойдут в серийное производство и будут включены в каталог фирмы; воплощать задумки, довершать наброски прорабов, строящих частные дома или учреждения, или же копировать образцы, которые великие зодчие стиля модерн приносили им уже доведенными до совершенства.

– Простите, дон Мануэль... – Далмау явился в кабинет учителя, одновременно служивший мастерской и располагавшийся на втором этаже одного из фабричных зданий. – В старом квартале настоящий хаос. Манифестации, полицейские патрули. – Тут он несколько преувеличил. – Мне пришлось задержаться из-за матери и сестры.

– Мы должны заботиться о наших женщинах, сынок. – Дон Мануэль, в строгом черном костюме, сугубо приличном, при галстукке темно-зеленого цвета, завязанном огромным узлом, кивнул ему из-за стола красного дерева, за которым сидел. Бакенбарды, широкие и густые, соединялись с усами, столь же пышными, образуя безупречно

выверенную линию растительности над тщательно выбритым подбородком. – Они нуждаются в нас. Ты поступаешь правильно. Анархисты и либералы погубят страну! Надеюсь, жандармерия с ними разобралась. Жесткая рука! Вот чего заслуживает такая неблагодарность! Не беспокойся, сынок. Иди работай.

Рабочий стол Далмау стоял в соседней комнате, дверь в дверь с кабинетом учителя. Он тоже не делил помещение с другими служащими, а располагал собственным пространством, достаточно обширным, где мог сосредоточиться на работе, которая ныне заключалась в зарисовках к серии изразцов на восточные мотивы: цветы лотоса, кувшинки, хризантемы, стебли бамбука, бабочки, стрекозы...

Чтобы научиться рисовать цветы, он прошел несколько курсов в барселонской Льотхе^[3]. Цветы с натуры, цветы силуэтом, цветы затененные; эскизы и, наконец, натюрморты маслом. В списке предметов, изучаемых в Льотхе, куда Далмау поступил в возрасте десяти лет, значились арифметика, геометрия, рисунок геометрический, черчение, орнамент, рисунок с натуры, живопись, но самым важным был рисунок для прикладных искусств и фабричного производства. Для этого и была создана Льотха: чтобы обучить прикладным искусствам рабочих, которые могли бы применить в производстве полученные навыки.

Хотя с середины XIX века чистое искусство получило преимущество над прикладным, последнее, предназначенное для нужд промышленности, не было заброшено, что, без сомнения, касалось и рисования цветов. Растительные элементы составляли основу орнамента в готическом искусстве, и теперь, после нового обращения к Средневековью, в индустрии, которая двигала Каталонию, использовались для рисунков на ткани и одежде; а с приходом в архитектуру модерна попали на изразцы и ступеньки, мозаики, в чугунное литье, маркетри и витражи, а также на гипсовую лепнину, обильно украшавшую здания.

Далмау накинул халат на бежевую блузу, доходящую до колен; эта блуза, штаны из смеси шерсти и льна неопределенно-темного цвета, шапочка и черные ботинки составляли его обычный костюм. Как только он уселся перед кучей набросков, громоздящихся на столе, и отточил карандаши, исчезли голоса, смех, крики – шум фабрики в

разгар рабочего дня, временами оглушительный. Отрешившись от всего, Далмау полностью сосредоточился на японских рисунках, стараясь перенять восточную технику, которая в обход реализма искала стилизованной красоты, без тени; далекая от западных образцов, она ценилась на рынке, жадно поглощавшем все непохожее, экзотическое, современное.

Как он отрешился от всякого шума, так и тишина, воцарившаяся на фабрике, опустевшей, когда ночь упала на Барселону, застала его погруженным в работу. Он съел почти без аппетита, чуть ли не с досадой, обед, который ему принесли, а позже что-то бормотал в ответ сотрудникам, которые заглядывали к нему в мастерскую, чтобы попрощаться. Для дона Мануэля, уходившего в числе последних, не было сделано исключения; прищелкнув языком, то ли с удовлетворением, то ли с укором, он повернулся спиной к Далмау, который и не расслышал его слов, и не поднял глаз от рисунков.

Через пару часов газовые лампы, освещавшие мастерскую, начали меркнуть и оставили его почти в тьме.

– Кто погасил свет? – возмутился Далмау. – Кто здесь?

– Это я, Пако, – отозвался ночной сторож и отвернул газовый кран, чтобы в мастерской стало светлее.

При свете показался сгорбленный, дряхлый старик. Человек чудесный, но быть ему здесь не следовало. Учитель запретил доступ в мастерские, где находились эскизы и проекты, незаконченные работы: эти материалы могли видеть только сотрудники, пользующиеся неограниченным доверием.

– Что ты тут делаешь? – удивился Далмау.

– Дон Мануэль велел, если ты слишком задержишься, выставить тебя вон. – Старик улыбнулся беззубым ртом, обнажив голые десны. – В городе сложная обстановка, народ в сильном волнении, – объяснил он, – и твоя мать, наверное, беспокоится.

Возможно, Пако прав. Так или иначе, стоило Далмау отвлечься, как желудок запротестовал, требуя пищи, да и глаза устали: похоже, пора кончать работу.

– Гаси свет, – распорядился Далмау, снимая халат и бросая его на вешалку, стоящую в углу, там он и повис кое-как, на одном рукаве. – Что происходит в городе? – поинтересовался юноша, прибираясь на столе.

– Обстановка обострилась. Пикетчики, в основном женщины и подростки, прошли по старому городу, забрасывая камнями фабрики и мастерские, пока те не прекратили работу. Вроде бы утром они опрокинули трамвай, и это им придало отваги. – (Далмау резко выдохнул.) – Что-то подобное устроили и на больших фабриках в районе Сан-Марти. Напали на полицейские участки. Ребята воспользовались суматохой и подожгли несколько пунктов по сбору пошлин, предварительно пошарив внутри. В общем, все вверх дном.

Они спустились по лестнице на склады первого этажа. Там, перед тем как выйти на окружающую постройки обширную зону, где готовили глину, Далмау попрощался с двумя мальчишками, не старше десяти лет, которые жили и ночевали на фабрике, подстелив одеяло на пол, – зимой подле печей для обжига, от которых удалялись по мере того, как на дворе теплело. Их даже не приняли в ученики, просто давали разные поручения – сделать уборку, сбегать куда-нибудь, принести воды... У обоих, по их словам, были родители: рабочие из квартала Сан-Марти, прозванного каталонским Манчестером, и жили они в битком набитых квартирах, которые делили с другими семьями. Квартал Сан-Марти располагался далеко, и учитель ничего не имел против того, чтобы дети жили на фабрике и зарабатывали по несколько сентимо, только взамен требовал, чтобы по воскресеньям они ходили к мессе в приход Санта-Мария-деи-Ремеи в квартале Лес-Кортс. Родителей, похоже, не заботило, что мальчишки живут на фабрике, никто ни разу не пришел поинтересоваться, как они тут. Есть такие, кому гораздо хуже, думал Далмау, по пути к двери мимоходом взъерошив грязные волосы одного из ребят: целая армия *trinxeraires*^[4], как их называли, по скромным подсчетам, больше десяти тысяч, прозябали на улицах Барселоны, прося милостыню, воруя и ночуя под открытым небом, в любой щели, где могли устроиться; то были сироты или просто заброшенные дети, как эти двое мальчишек на побегушках, чьи родители были не в состоянии обихаживать их и кормить.

– Доброй ночи, маэстро, – попрощался с Далмау один из них. Ни малейшей насмешки нельзя было обнаружить в его тоне, он говорил совершенно искренне.

Далмау обернулся, поджал губы, порылся в карманах штанов и бросил им монетки по два сентимо.

– Щедрая душа! – На этот раз насмешка прозвучала.

– Не нашел по одному сентимо? – спросил другой мальчишка. – Знаешь, таких... совсем маленьких.

– Неблагодарные! – рявкнул сторож.

– Оставь их, – попросил Далмау с улыбкой. – Осторожней с деньгами, – включился он в шутку, – смотрите, как бы вы не объелись.

– Гляди-ка! – подпрыгнул один из них. – Маэстро хочет поужинать с нами.

– Нет, спасибо, как-нибудь в другой раз. Сегодня пригласите девушек, – со смехом присоветовал Далмау, направляясь к выходу.

– Целый бараний бок оприходуем на эти четыре сентимо! – услышал Далмау у себя за спиной.

– Попьем доброго винца из Алельи!

– Вот наглецы, – продолжал ворчать сторож.

– Вовсе нет, Пако, – возразил Далмау. – Что остается заброшенным детям, как не смотреть на жизнь с насмешкой?

Сторож умолк, а Далмау миновал ворота с надписью, возвещавшей о том, что здесь находится фабрика изразцов дона Мануэля Бельо, и начал потихоньку привыкать к яркому свету луны, озарявшей пустыри и улицы, до которых не добралось еще городское освещение. Вобрал в себя ночную свежесть. Тишина казалась напряженной, будто крики забастовщиков, целый день ходивших по городу, все еще витали в воздухе. Далмау разглядывал панораму, раскинувшуюся вплоть до самого моря. Силуэты сотен высоких труб вырисовывались в лунном свете. Барселона была индустриальным городом, где теснились фабрики, склады и мастерские разного рода. С XIX века здесь использовали энергию пара для работ, которые в других местах выполнялись вручную, и это, а также влияние соседних стран, в частности Франции, вкупе с врожденным у каталонцев духом предпринимательства, поставило их столицу вровень с самыми передовыми городами Европы. Главной была текстильная промышленность; половина рабочих Барселоны были текстильщиками. Не менее важное место занимали также металлургическая, химическая и пищевая индустрии. А еще деревообрабатывающая, кожевенная и обувная, производство бумаги и печатное дело – десятки фабрик в городе, где население достигло полумиллиона человек. Но если богатые промышленники и буржуа пожинали плоды индустриального подъема и пользовались ситуацией,

к простому народу, к трудящимся реальность поворачивалась совсем другой стороной. Работа по семь дней в неделю, по десять-двенадцать часов, за мизерную плату. Она, эта заработная плата, за последние тридцать лет увеличилась на тридцать процентов, в то время как цены на продукты поднялись на семьдесят. Неуклонно росла безработица; городские приюты бывали ночами переполнены, и на благотворительных кухнях каждый день раздавали тысячи порций еды. Барселона, думал Далмау, качая головой, бесчеловечно жестока к тем, кто создает ей величие ценой жизни и здоровья – своих собственных, семьи и детей.

Монсеррат дома не было. Эммы тоже. Наверняка празднуют успех выступления, подумал Далмау; устроили собрание, обсуждают, что им предпринять на следующий день, улыбаются, поздравляют друг друга. Далмау заколебался – не пойти ли в столовую возле рынка Сан-Антони, но решил, что, даже если весь персонал не бастует, Эмма наверняка не вышла на работу.

Далмау жил с матерью на третьем этаже старого дома по улице Бертрельянс; этот узкий проулок в историческом центре Барселоны соединял улицу Кануда с улицей Святой Анны, куда выходила одноименная церковь, которую в тот момент перестраивали. Жилище семьи Сала было похоже на все те, что теснились в старом квартале, в Сантс, Грасия, Сан-Марти... Пяти-шестиэтажные дома, сырые и мрачные, с узкими лестницами, ведущими на верхние этажи; ни канализации, ни газа, ни электричества; вода подавалась из бака, расположенного на кровле, общего для всех жильцов. На каждую площадку, где находилось общее отхожее место, выходили двери квартир, совершенно одинаковых: темный коридор вел в кухню-столовую, воздух в которую нередко поступал из двора-колодца, дальше следовала комната без окон и, наконец, последняя, с окном на улицу.

В этой, наиболее светлой, Далмау нашел свою мать; она, как всегда, шила, сейчас – при свете жалкой свечи, которая лишь сгущала темноту, вместо того чтобы давать хоть немного света швее, жмущей неустанно, безостановочно на педаль швейной машинки, приобретенной в магазине сеньора Эскудера на улице Авиньон. Мать,

должно быть, работала целый день, возможно, больше тринадцати часов.

– Как вы, мама? – спросил Далмау, целуя ее в лоб.

– Как видишь, сынок, – ответила та.

Далмау помедлил, потом подошел сзади и положил ей руки на плечи. Ощутил дрожь от швейной машинки: руки и плечи матери вибрировали в ритме шитья. Не отводя глаз от работы, мать сжала губы в подобии улыбки, но ничего не сказала, просто продолжала работать, нажимая на педаль и протрачивая ткань. В тот день она шила белые накладные воротнички и манжеты к мужским сорочкам; такую работу ей предложил комиссионер из универмага, где эти изделия будут продаваться. Накладные воротнички и манжеты оплачивались хуже всего: после нескончаемого рабочего дня швея получала около песеты. Буханка хлеба стоила пятьдесят сентимо. Комиссионер обещал ей партию брюк, даже перчаток, но в тот день у него были только воротнички и манжеты для белых рубашек богачей. Хосефа – так звали мать Далмау – не особо надеялась, что мужик сдержит слово. Возможно, если бы она позволяла себя тискать и щупать, дело бы пошло на лад. «Нет, – одергивала она себя, – ни за что». Некоторые вставали перед ним на колени и теребили ему член или наклонялись, задрав юбку и передник выше пояса, позволяя делать с собой что угодно. И были они моложе Хосефы и куда красивее! Она их всех знала, иногда даже слышала, как они спорят шепотом, позабыв всякий стыд, на кого нынче падет жребий. Пасть он мог только на одну: мужик был не ахти в плане секса, проливался мгновенно и насыщался еще быстрее. Хосефа их не судила. Не злилась на них. Им нужно было кормить детей.

Женщина вздохнула. Далмау это заметил и бережно обнял за плечи. Хосефа могла рассчитывать на помощь сына. Большинство швей, да и не швей тоже, глядели на нее с завистью и часто шушукались за ее спиной. Хосефа это замечала, и это ей не нравилось: чем она отличается от других – бедная вдова рабочего-анархиста, несправедливо осужденного, подвергнутого пыткам, от последствий которых он и умер в изгнании, как ей сообщили; у нее самой с каждым днем слабело зрение, да и бронхит, от которого страдали швеи, часами сидевшие неподвижно за машинками, полуголодные, измотанные, дышащие смрадом, поднимавшимся из подвалов, донимал ее; сырость

пронизывала до костей – и все ради того, чтобы снабдить богачей белыми манжетами и воротничками. Зато Далмау завоевал престиж и получал хорошее жалованье, работая на «того, с изразцами, который ссыт святой водой», как о нем говорили все женщины в доме, включая Эмму. «Оставьте работу, мама», – вечно твердил он. Но Хосефа не хотела жить за счет сына. Далмау женится, пойдут расходы. Он помогал, да, и немало, так что ей не нужно было потакать похоти комиссионера, распределявшего заказы. Помогал и сестре, даже старшему брату Томасу, анархисту, как их покойный отец, такому же идеалисту, либертарию, утописту; а по сути, Томас – такое же пушечное мясо, как и его родитель.

– А девочка где? – спросил Далмау с нежностью, имея в виду Монсеррат; еще раз стиснул плечи матери и уселся рядом со швейной машинкой на постели, общей для Хосефы и ее дочери.

– Поди знай! Думаю, планируют на завтра манифестации. Заходила, рассказала, как они опрокинули трамвай. – (Тут Далмау кивнул.) – В мои времена трамвай везла упряжка лошадей. Попробуй опрокинь такой, – развеселилась она.

– А Эмму видели?

– Да, – выпалила мать с таким напором, что Далмау удивился. Она, заметив, сбавила тон. – Заходила с твоей сестрой. Принесла еду в горшочке. Твое любимое блюдо, – подмигнула она. – Потом пошли бороться дальше.

Bacallá a la llauna^[5]. В самом деле, это блюдо было из тех, что больше всего нравились Далмау, и Эмма умела его готовить: треска вымоченная, но не слишком, так, чтобы чувствовался привкус моря, обвалянная в муке и поджаренная. Потом ее кладут в *llauna*, противень с высокими бортиками, где уже обжариваются до золотой корочки дольки чеснока, потом добавляют красный перец и вино, чтобы блюдо не подгорело и не стало горчить. Все это запекается вместе несколько минут... Хосефа подогрела еду на углях очага, встроенного в стену, и отнесла на кухню, добавив хлеб и бутылку красного вина.

Даже когда они отдали должное треске и на улицах зазвучали голоса людей, покинувших свои убогие жилища, чтобы поболтать на свежем воздухе, прогуляться, выкурить сигаретку или выпить с другом винца, Далмау так и не смог оторвать маму от машинки.

– Осталось еще много работы, – сказала она виновато.

«Когда же она кончается?» – чуть было не ответил он, но не хотелось заново вступать в тот же самый нескончаемый спор. «Вам это ни к чему». «Я дам денег». «Вы ни в чем не будете нуждаться...»

– Мы даже могли бы сменить квартиру, – однажды предложил он.

– Я жила здесь с твоим отцом и здесь умру, – отрезала мать неслыханно суровым тоном. – Может быть, для тебя, для твоих брата и сестры наш дом... трущоба, – добавила она хрипло, – но эти стены слышали смех и плач твоего отца, да и ваши, конечно, тоже. Далмау, никакая сырость, никакой запах, никакая темнота не сотрут из моей памяти счастье, которое я испытала здесь с ним, с тобой, с твоими братом и сестрой. Как мы старались поставить на ноги вас троих, тех из пятерых моих деток, кому посчастливилось выжить; как боролись за рабочих, за обездоленных, за справедливость. Сколько несчастий, сколько огорчений, множество, великое множество. Все это ковалось здесь, сынок, в этом склепе. Стук педалей и стрекот швейной машинки, которые порой так тебя раздражают... – Мать замахала руками. – Не скажу, что это музыка, но звуки эти сроднились со мной, они меня переносят в те счастливые дни, когда вы были детьми и отец ваш был с нами. Шитье у меня уже выходит само собой! – Она то ли рассмеялась гортанно, то ли закашлялась. – Руки знают, что делают, лучше, чем глаза, устающие после тяжелого дня. – Она вздохнула. – И пока руки работают, стрекот швейной машинки мне напоминает о прошлом, о твоём отце...

Далмау не заметил, в какой момент слова застряли у матери в гортани и слезы потекли по щекам. Этим вечером он наконец увидел, какая она хрупкая, незащищенная: встав рядом с матерью, он прижал ее голову к своей груди и баюкал, как маленькую девочку. Позже, оставшись один в своей спальне, комнатке без окон, он со всем пылом чувства попытался при свете свечи изобразить лицо матери. Один за другим комкал и рвал наброски. Не такая она старая, чтобы жить одними воспоминаниями! Но как ни налегал он на уголь, добавляя улыбку, оживляя взгляд, впечатление оставалось прежним: женщина, исполненная печали.

Наутро Далмау нашел на кухонном столе остатки трески, которые мать приберегла ему на завтрак. Еще не рассвело, но на улицах ночная тишина уже давала трещину. Далмау ополоснулся в тазу и, прежде чем

полакомиться треской, приоткрыл дверь в другую спальню, где сестра и мать еще спали среди спутанных простыней.

На улице было свежо. Небо светлело над верхними этажами, оттуда просачивались солнечные лучи, как будто там, наверху, существовал чистый, здоровый мир, чуждый крикам, полумгле, сырости, грязи и вони, которые терзали обитателей древнего центра Барселоны. Не то чтобы люди проклинали свой квартал; наоборот, большинство, как и его мать, любили место, где родились, играли в детстве или работали в зрелые годы. Нет, жители ни при чем. Врачи, посланные городской управой, утверждали в отчетах, что почва в Барселоне насквозь гнилая. Власти уверяли, что глинистая почва удерживает влагу, отсюда постоянная сырость; что в эти слои просачиваются и там застаиваются сточные воды, органические продукты в стадии разложения и фекальные массы; что канализация в удручающем состоянии, с пробоями и протечками на всем протяжении; что уборка улиц и вывоз мусора – чистая фикция; что отсутствуют запасы воды, а та, которую барселонцы берут из колодцев, – грязная и полна микробов. Тиф и другие инфекционные болезни стали уже эндемичными, смертность из-за них держалась на высоком уровне.

«А мама не хочет уезжать отсюда!» – посетовал Далмау, выходя на площадь Каталонии, сразу за церковью Святой Анны. То был огромный, заброшенный пустырь, где с самой Всемирной выставки 1888 года собирались обустроить площадь; ее, несуществующую, все уже называли площадью Каталонии. Обходя топкие лужи и кучи мусора, копившиеся тут, Далмау вышел к дому Понс, великолепному шестиэтажному зданию, неоготическому, внушительному, с двумя коническими башенками по углам; его построили в последнее десятилетие прошлого века, когда стали бурно развиваться прикладные искусства: витражи, литье, резьба по дереву и та же керамика, выпускаемая учителем Далмау.

Это здание архитектора Саньера, воздвигнутое в начале первого квартала Пасео-де-Грасия, не только знаменовало собой приход стиля модерн в Барселону, но и обозначало такую наглядную, такую поразительную границу между двумя мирами, что Далмау всегда останавливался на мгновение рядом с этим домом, и, глубоко дыша, глядел то вниз, туда, откуда он пришел и где пребывали его мать и

сестра, которые, наверное, уже встали; то наверх, где простирался широкий бульвар, по которому ему предстояло пройти, чтобы добраться до фабрики.

Туда попадало солнце. Там солнце светило. Достигало земли, сверкало на булыжниках мостовой! И запах был не такой отвратительный. На самом деле и богачам не удавалось решить проблемы с канализацией, так что черная жидкость в отстойниках все-таки пахла, однако бриз уносил миазмы, и определенно в сторону старого центра, опасался Далмау. В столь ранний час на бульваре не было молодых буржуазок, выставявших себя напоказ. Вместо них булочники разносили хлеб по домам, подходили к дверям водоносы; служанки, в большинстве своем красивее и свежее, чем их хозяйки, спешили за покупками с корзинками на сгибе локтя; рабочие, чаще всего каменщики, шли кто куда; посыльные из магазинов, мальчишки и девчонки, спешили доставить заказы, и целые полчища нищих и убогих выстраивались в очередь перед задней дверью какого-нибудь богатого дома, ибо там был день раздачи милостыни.

– Военное положение! – Крики сорванца, продававшего газеты, вывели Далмау из задумчивости. – Военное положение в Барселоне! – вопил парнишка во всю силу легких.

Далмау подошел к нему.

– Дай мне номер, – попросил он, как и многие другие, то и дело подбегавшие к продавцу газет.

Сорванец, нагруженный газетами, раздавал их, собирал деньги и при этом не переставал кричать, чтобы привлечь побольше покупателей.

– Гражданский губернатор передал власть военным!

Далмау стал жадно читать. Все верно! Продавец выкрикивал дальше:

– Не в силах совладать с рабочими волнениями, гражданский губернатор передал всю полноту власти в городе в руки военных! Генерал-капитан объявляет чрезвычайное положение! Действие гарантий и гражданских прав приостанавливается!

Далмау вышел из толпы, жаждавшей прочесть первый утренний выпуск газеты, и вот, словно подкрепляя непрекращающиеся вопли мальчишки, вверх по Пасео-де-Грасия двинулся трамвай в сопровождении отряда кавалеристов с саблями наголо.

В течение дня кое-где еще происходили отдельные стычки, но, когда из других городов Каталонии прибыло подкрепление, забастовка захлебнулась, боевой дух упал и все вернулись к нормальной жизни, хотя военное положение никто не отменил.

На фабрике Далмау погрузился в работу над рисунками для изразцов по японским мотивам. Настал час обеда, и после того, как Далмау в очередной раз не откликнулся на зов, учитель велел одному из подмастерьев встряхнуть его хорошенько и сказать, что его ждут во дворе, в экипаже: дон Мануэль приглашает ученика обедать к себе домой. Учитель часто так делал. Он жил на Пасео-де-Грасия, как уважающий себя богатый промышленник, в огромной квартире с высоченными потолками, неподалеку от улицы Валенсия. Далмау мог бы дойти туда пешком, но учитель предпочитал ехать в экипаже, куда поднимался и откуда выходил с таким видом, будто собирается подняться по лестнице Королевского дворца в Мадриде, а внутри располагался так, словно сидел в лучшем из ресторанов. Он постучал в потолок экипажа серебряным набалдашником трости, и кучер отпустил поводья.

Они еще не выехали со двора, как дон Мануэль воздел руку и в очередной раз указал Далмау на его костюм.

Далмау в очередной раз пожал плечами.

– Я хорошо плачу тебе, даже очень хорошо, – продолжал давить хозяин. – Ты мог бы одеваться соответственно.

– Простите, дон Мануэль, но я всегда так ходил. Вам лучше, чем кому бы то ни было, известно, что я из простой семьи. Не вижу себя барчуком.

– Не о том речь. Хорошие брюки, рубашка и пиджак, приличная шляпа вместо этой... – дон Мануэль ткнул пальцем в шапочку, которую Далмау мял в руках, – этой шапки босяка, и, к примеру, моя обожаемая супруга тебя допустит к столу.

Далмау выдвинул те же доводы, что и каждый раз, когда учитель указывал на его бедную одежду и на возможность обедать с его супругой и двумя дочерьми – маленького сына все еще кормила нянька, – а время от времени также и с преподобным Жазинтом, монахом-пиаристом^[6], преподающим в Благочестивой школе Святого Антония; сидеть за огромным столом красного дерева в столовой, где прислуга разносит блюда, серебряные приборы и льняные салфетки

лежат по сторонам великолепных, ярких фарфоровых тарелок, а рядом стоят тонкие, резные хрустальные бокалы, которые, опасаясь Далмау, треснут и расколуются от одного только неосторожного взгляда.

– Дон Мануэль, вы же знаете, что я не смогу соответствовать вашим ожиданиям, тем более требованиям доньи Селии. Не хотелось бы доставлять вам неприятности. Я не так воспитан, – в очередной раз повторил он.

– Ну да, ну да... – согласился учитель. – Но твоя одежда... – не отставал он, снова показывая пальцем. – Ладно, для мастерской она подходит. Но ты – второй рисовальщик на фабрике! Первый после меня. Ты должен показывать пример.

Еще один постоянный припев дон Мануэля. Далмау пристегнуть воротничок? Может, тот самый, какой сшила его мать при мутном свете, сочащемся сквозь окно их квартиры на улице Бертрельянс. Нет. Никогда не наденет он эти воротнички и манжеты, рубашки, пиджаки и брюки, на которые его мать потратила жизнь! Далмау с грустью вспоминал детские годы, прошедшие под стук педали швейной машинки. От назойливого ритма, который достигал каждого уголка в их крохотном жилище, он иногда просыпался в испуге.

– Мне в такой одежде неловко, дон Мануэль, – отвечал он вежливо, но твердо. – Так я не могу сосредоточиться на работе. Мне жаль.

Не дожидаясь ответной реплики, Далмау отвернулся к окну и стал рассматривать город. В эти часы в Эшампле, богатых кварталах, где они проезжали, благодаря чрезвычайному положению, объявленному генерал-капитаном, царил полный покой. Далмау заметил солдат, которые лениво грелись на весеннем солнышке и пилились на проходящих женщин, вместо того чтобы подавлять забастовку и несуществующие волнения. Он подумал об Эмме и Монсеррат: девушки, должно быть, вернулись к работе – одна в столовую, другая на фабрику. Обе, как и большинство рабочих, сказал себе Далмау, и негодуют, и унывают из-за вмешательства военных. Вечером он встретится с ними, улыбнулся Далмау, и тут умолкли понуканья кучера и цоканье копыт: пара лошадей замерла перед многоквартирным домом на Пасео-де-Грасия, где жил учитель со своим семейством. Далмау настоял на том, чтобы дон Мануэль вылез из экипажа первым, иначе пришлось бы помогать учителю, а тот, без всякой нужды

опираясь о его руку или повышая голос, прилюдно подчеркивал бы его подчиненное положение, обращаясь с ним как с прислугой, раз уж он не желает сменить костюм. Ибо чуть позже, в просторном буржуазном доме, с высокими, отделанными плиткой потолками, полным мебели, картин, скульптур и прочих вещей, полезных или бесполезных, дон Мануэль будет по-другому обходиться с Далмау.

Расположение, какое оказывал учитель Далмау, не разделяла донья Селия, его супруга, и никогда не скрывала своего презрения к скромному, к тому же и бунтарскому, происхождению юноши. Для этой женщины ничего не значил талант к живописи, проявившийся у сына анархиста, приговоренного за террор. «Наверняка найдутся тысячи мальчиков, столь же одаренных, как этот, пусть даже из бедных семей, – проповедовала она перед доном Мануэлем. – Я ничего не имею против рабочих, если они правоверные католики, а не безбожники, как этот парень». То, что его супруга встречала Далмау с кислой миной, ничуть не заботило дону Мануэля, поскольку приглашения на обед преследовали одну-единственную цель: узнать мнение юноши о работе, которой учитель занимался не на фабрике, а в мастерской, устроенной в одной из комнат квартиры. Он писал картины. К керамике это не имело ни малейшего отношения. Обычно пейзажи, хотя иногда отваживался на сюжет из священной истории или даже на портрет. Дон Мануэль был выдающимся живописцем, признанным не только в Каталонии, но и во всей стране. Кроме того, он занимался культурной и общественной деятельностью, и эти свои многообразные занятия сочетал с преподаванием в Льютхе. Там он распознал, затем уверившись в своей правоте, блестящие способности юного Далмау, которого только что не усыновил. Даже помогал деньгами, когда отец его умер в изгнании после суда в Монжуике, пародии на правосудие: власти воспользовались взрывом бомбы в 1896 году во время процессии на празднике Тела и Крови Христовых у церкви Санта-Мария дель Мар, чтобы истребить анархистское движение. То, что отец Далмау был революционером-анархистом, не волновало дону Мануэля, наоборот: он усматривал возможность, приложив усилия, привлечь сына неистового либертария и террориста к истинной вере и христианской доктрине.

Еще до того, как Далмау кончил курс в Льютхе, дон Мануэль нанял его на фабрику учеником. Цель – узнать все, что только

возможно, об изготовлении изразцов, а главное – об их применении в строительстве. Промышленники не могли допустить, чтобы неумелые укладчики свели на нет хорошую работу и чтобы в конечном итоге подрядчик приписал изготовителю изразцов дефекты, обнаруженные в процессе строительства. Далмау жил во времена, когда появился уже портланд-цемент и в укладке плиток произошла революция. Он усвоил, что, если накладываешь плитку на пол или на стену, требуется разная толщина песчаного слоя; кладя плитку на лестницу, нужно учитывать борта для опоры; если покрывать плиткой деревянный пол, нужно сначала обработать дерево, а потом покрыть его слоем цемента. Усвоил также, сколько времени нужно отмачивать плитки, прежде чем выкладывать их; и что надо начинать с центра комнаты, оставляя стыки со стенами напоследок. В общем, научился всему, что нужно знать об укладке изразцов и мозаик, и в девятнадцать лет собственными силами добился того, что стал первым дизайнером и рисовальщиком после учителя. Не обошлось, конечно, без зависти и обид, многим на фабрике нелегко было подчиняться юнцу, который даже не носил пиджака и шляпы и совсем недавно ползал на коленях рядом со всеми, но Далмау вскоре показал свои умения, и жалобы затихли.

Донья Селия фыркнула и взглянула исподлобья, когда Далмау следом за учителем прошел через гостиную, направляясь в его мастерскую.

– Добрый день, сеньора, – тем не менее поздоровался он. – Сеньориты, – слегка кивнул двум дочерям учителя. Девушки, моложе Далмау на год или на два, убивали время, апатично сидя у широких окон, выходящих на Пасео-де-Грасия.

Маленький сын учителя, должно быть, в игровой комнате, предположил Далмау.

Урсула, старшая из сестер, ответила на приветствие загадочной улыбкой, которая взбудоражила Далмау. Не в первый раз подмечал он эту улыбку, взгляд из-под чуть опущенных век: мгновение бесстыдства, какое позволяла себе девушка, стараясь, чтобы никто другой на нее не смотрел и этого не заметил, говорило Далмау о чем-то гораздо большем, чем простое мимолетное приветствие.

– Далмау!

Оклик учителя, который стоял уже перед дверью своей мастерской, прогнал эти мысли.

– Что думаешь? – спросил дон Мануэль, напыщенным жестом показывая свое последнее творение. – Хочу преподнести это новому епископу в честь его прибытия в город.

«Реально, слишком реально» – мог бы сказать Далмау. Но промолчал и сделал вид, будто пристально рассматривает картину. Ему не требовалось слишком в нее вникать. Картина хорошая... но устарелая, вроде тех темных полотен, какие можно видеть внутри храмов. Городской пейзаж, на котором выделяется церковь, на переднем плане две скромно одетые женщины, готовые войти вовнутрь. Но не хватало света; света, унаследованного от импрессионистов, с которым даже соратники учителя в конце концов стали заигрывать. Может, новому епископу картина понравится. Она была овеяна ностальгией. Не выражала почти никаких чувств, кроме благочестия и религиозного пыла. «Что думаешь?» Всегда одно и то же: выскажешь суждение, и создашь себе проблемы. А он был связан с учителем. Дело было не только в работе на керамической фабрике. В январе этого года в Барселоне прошла жеребьевка среди юношей, достигших девятнадцати лет, которым предстояло пополнить ряды армии. Судьба не была благосклонна к Далмау, на его имя выпал жребий. Двенадцать лет посвятить армии! Первые три года действительной службы на казарменном положении, еще три в запасе первой очереди и остальные шесть в запасе второй очереди. Крах для любого молодого человека, который по меньшей мере на первые три года действительной службы вынужден бросить образование, привычную жизнь, работу, часто незаменимую в скудном бюджете рабочей семьи. Хосефа, мать Далмау, узнав новость, чуть не лишилась чувств; Монсеррат и Эмма обрушили свой гнев на государство, армию, богачей и попов, потом обе расплакались, Эмма – безутешно, ведь она понимала, что теряет жениха. А дон Мануэль Бельо посетовал, ругнулся, не выходя за рамки приличий, как и следует доброму христианину, подумал несколько мгновений, немного попыхтел и предложил Далмау займы сумму, необходимую для выкупа: заплатив ее, богатые освобождались от военной службы, а те, кто не располагал средствами, залезали в долги: полторы тысячи песет золотом!

Далмау переговорил со своими. Те приняли, хотя и считали учителя оголтелым католиком, буржуа, капиталистом, денежным мешком: он олицетворял все то, против чего они до сих пор боролись. Отец Далмау, Томас, был несправедливо осужден и погиб. Дон Мануэль служил живым воплощением власти, угнетающей рабочих, обкрадывающей их и эксплуатирующей, и против этой власти сейчас поднималась на борьбу молодежь.

– А ты сам, сынок, что думаешь? – спросила Хосефа, заставив девушек замолчать.

Далмау вытянул руки, показал ладони.

– Я только хочу рисовать, писать картины и оставаться с вами, – проговорил он. – И какая разница, тот, другой или третий одолжит мне полторы тысячи песет, чтобы откупиться от армии?

Они подписали договор о займе, составленный адвокатом дона Мануэля. Уселись втроем за длинный стол, предназначенный для куда более многочисленных собраний. Встреча заняла больше времени, чем было необходимо для подписания документа, который адвокат теребил в руках, будто какую-то бумажку, не имеющую значения, пока они с учителем беседовали о своих семьях и прочих обыденных вещах, словно и не замечая присутствия Далмау. Наконец, будто осознав вдруг, что понапрасну теряют время, оборвали разговор и занялись займом. Адвокат просмотрел документ, составленный помощником. «Как и следует. Как положено. Хорошо. Верно», – приговаривал он походя.

– Повезло тебе, парень, – сказал он Далмау, показывая пальцем, где подписать, – что у тебя такой щедрый учитель, как дон Мануэль.

Далмау должен был в счет долга возвращать по сто песет в год, учитывая проценты; это ему сообщил адвокат. Он так и не прочел весь договор, слишком много в нем было страниц, и, дав его на подпись матери, поскольку в свои девятнадцать лет еще считался несовершеннолетним, положил в папку для документов, а копию, предназначенную для учителя, прихватил с собой на работу, чтобы вручить ему. Какая разница, что написано в договоре? Он работал на дона Мануэля, тот платил хорошо, и именно человеку, который платил ему, Далмау был должен деньги.

И теперь нужно высказать суждение о картине, написанной человеком, благодаря которому он не заперт в казарме где-нибудь на

просторах Испании. Картина ему не нравилась, он находил ее темной и устарелой, она не вызывала у него никаких чувств. Но мог ли он высказать свое истинное суждение? Надо было найти что-то такое, что не звучало бы как откровенная ложь.

– Кажется, будто слышишь молитвы, исходящие из уст этих двух прихожанок, – проговорил он со значением, хотя и тихим голосом, будто не желая прерывать молящихся.

Дон Мануэль расплылся в блаженной улыбке, которую не скрыли даже бакенбарды и пышные усы, весь прямо раздулся от гордости.

Тем же вечером Далмау бездумно брел среди толпы по кварталу Сан-Антони. Он попросил Пако пораньше зайти к нему, и старый сторож охотно выполнил свою задачу, притушив газовые лампы в мастерской, в то время как юноша все еще был погружен в работу.

– Что случилось? – возмутился Далмау, увидев, что его прервали.

Вспомнив, улыбнулся, забросил на вешалку халат и направился в столовую, где работала Эмма, заведение, расположенное на улице Тамарит, недалеко от рынка и от фабрики дон Мануэля в квартале Лес-Кортс: идти туда было около получаса, если не торопиться, все время прямо, по направлению к морю. Иногда, если солнце еще светило над Барселоной, Далмау делал крюк, проходил часть пути по проспекту Диагональ и спускался в старый город по Пасео-де-Грасия или Рамбла-де-Каталунья, любясь зданиями в стиле модерн и гуляющими по улицам богатеями. Но в сумерках, как сейчас, ему больше нравилась атмосфера бедных кварталов, постоянное движение, грохот, доносящийся с мебельных фабрик и столярных мастерских. В квартале Сан-Антони, не то что в Лес-Кортс, расположенном дальше от центра города, было всякой твари по паре: портные, шорники, цирюльники и лудильщики, чьи заведения перемежались со шляпными фабриками, скорняжными мастерскими, где стригли кроличьи шкурки; заводами, где гнали ликеры или водку; фабриками по производству ламп, кузнями...

Квартал Сан-Антони имел границы, четко обозначенные в административном регистре, но обычно считалось, что он охватывает обширную зону от снесенной Барселонской стены, от которой остались ворота Сан-Антони и окружная дорога, до скотобойни по левому краю; верхним пределом полагали улицу Кортес или даже

забирали еще выше; проспект Параллель и площадь Университета ограничивали квартал соответственно снизу и справа. Весь он составлял часть барселонского Эшампле, района новой застройки: после сноса стен освободилась прилегающая к ним территория, которую раньше нельзя было застраивать из соображений обороны.

Но, в отличие от Пасео-де-Грасия, Рамбла-де-Каталунья и прилегающих улиц, где богатые буржуа старались перещеголять друг друга, воздвигая здания в неоклассическом стиле, а теперь и в стиле модерн, Сан-Антони представлял собой скопление самых разных предприятий, больших и малых, вперемежку с безликими жилыми домами и еще не застроенными участками. Внутренние части кварталов, которые согласно первоначальному градостроительному замыслу Серда^[7] предназначались для садов и площадок для отдыха, занимали мастерские и жалкие хибары, выстроившиеся вдоль дорожек, ведущих к центру этих обширных дворов.

Люди беспрерывно входили и выходили из домов и мастерских, спокойно, как ни в чем не бывало, будто и не объявлялось чрезвычайное положение, за исполнением которого лениво следили расхаживающие по району солдаты. Трамваи, повозки, запряженные мулами, извозчики, всадники, велосипедисты сновали с опасностью для жизни по немощеным дорогам, поднимая тучи пыли. Крики, смех, а порой и ругань разносились по улицам, вместе с тысячами запахов, плывущих по воздуху: соленая рыба; кислоты, серная или азотная, от которых перехватывало дыхание; спиртное, уксус, удобрения, жиры, выделанные шкуры самых разных животных... Далмау ощущал, как все его чувства возбуждаются, воспринимая свет, цвета, людей, запахи, шум, грохот, веселье... Хорошо бы написать это, прямо здесь, уловить ощущения и перенести их на холст, вперемешку, так, как он это чувствует: яркие вспышки, выстрелы жизни. К столовой «Ка Бертран», где работала Эмма, он подошел в необычайном состоянии, которое никак не мог определить: то ли ему приятно, то ли беспокойно.

Столовая «Ка Бертран» представляла собой одноэтажное здание из бросовых материалов; в просторном зале в три ряда стояли столы; крыша с двух сторон покоилась на колоннах, и ряды столов продолжались под открытым небом, выходили на участок, граничивший с мыловаренным заводом. В столовой, как всегда, было полно народу: тут подавали дешевую еду для обитателей бедного

квартала. Всего за тридцать сентимо дочери Бертрана предлагали клиентам щедрую порцию бобов с небольшим количеством мяса или трески, хлеб и вино. Доплатив еще несколько сентимо, можно было выбрать *эскуделью*, то есть суп на бульоне и выбранные из него мясо и овощи. Далмау окинул взглядом переполненный зал. Эммы он не обнаружил, зато Бертран спокойно стоял в углу, присматривая за работой заведения. Опровергая расхожее мнение о том, что хозяева столовых наедают себе пузо, Бертран был тощий. Увидев Далмау, он улыбнулся и мотнул головой в сторону кухонь. Далмау тоже кивнул хозяину и направился туда; юноша пользовался в заведении некоторыми привилегиями не только как жених Эммы, но и благодаря нарисованному углем портрету жены Бертрана и его двух дочерей: тот уверял, что портрет занимает почетное место в столовой у него дома.

Далмау зашел в кухни, расположенные с краю. Через какое-то время после первого портрета Бертран попросил сделать другой, свой собственный, и тот висел прямо за дверью, над стойкой, где держали напитки и пересчитывали деньги. Четыре или пять человек метались по кухне, но Эммы среди них не было. Было непонятно, как на таком малом пространстве удастся приготовить столько еды, сколько подается в зале: четыре экономичных плиты из чугуна, с четырьмя круглыми конфорками каждая; все они топились углем. Все конфорки горели, на них – железные сковородки, миски и кастрюли. В углу был очаг, над ним, на цепи с крюком, висел огромный котел, в данный момент бурлящий.

– Она на улице, чистит посуду, – мимоходом сообщила одна из дочерей Бертрана. В столовой работала вся семья.

– Не стой тут столбом! – накинулась на него вторая.

– Забирай свою невесту и не путайся под ногами, – заключила мать повелительным тоном.

Далмау подчинился и вышел на задний двор, где складывали уголь и копилась всякая ненужная утварь, которую Бертран упорно хранил. Надвигалась ночь. От солнца оставалась красноватая полоса, и это оживило в юноше чувства, с какими он подходил к столовой. Он вроде бы узнал Эмму в девушке, стоявшей против света, спиной к нему, склонившись над кучей песка, которым она драила грязные тарелки. Двое мальчишек, явно за обедки от ужина, помогали ей.

Далмау тихо подошел, обнял девушку за талию и крепко прижался к ее ягодицам.

– Эй! – крикнула Эмма, резко выпрямляясь.

Далмау не выпустил ее.

– Если бы ты не удивилась, я бы забеспокоился, – шепнул он ей на ухо, прижимаясь еще крепче.

– Я всегда так реагирую, когда меня атакуют сзади, – рассмеялась Эмма. – А вы продолжайте драить! – прикрикнула она на мальчишек, которые усталились на парочку, забыв обо всем.

Далмау потерялся о нее набухшим членом.

– Почему бы нам не пойти куда-нибудь?.. – предложил, целуя ее в шею.

– Потому, что нужно закончить с посудой, – перебила она.

Эмма снова наклонилась, и Далмау прилип к ее бедрам, настойчивый, сильный; она высыпала горсть песка на грязную тарелку и стала оттирать остатки еды. «Да уймись ты!» – крикнула Далмау, который теперь пытался нашарить ее груди. Бросила грязный песок с объедками в другую кучу. Песок был мягкий, липкий, какого полно на горе Монжуик. «Хватит!» – повторила, чувствуя, как Далмау сжимает ей грудь. Убедившись, что на тарелке не осталось объедков, прополоскала ее в тазу.

– Может, эти двое продолжат? – предложил Далмау.

– Ну да: стоит мне отвернуться, как они сопрут тарелки, таз и даже песок. Потерпи, осталось немного... только не мешай работать. Понял?

Далмау не отошел, но ослабил объятие, чтобы Эмма могла мыть посуду.

– Взял бы да помог, – с укором сказала та.

– Я? Художник? – рассмеялся он. – Мне пачкать руки...

– Сказать тебе, в чем выпачкаются эти руки сегодня ночью? – спросила она лукаво.

С помощью Далмау они управились быстро и распрощались с Бертраном, его женой и дочерьми, поспешно, чтобы не слушать их шуточки. Направились к дому Эмминого дяди, где она жила с тех пор, как осталась сиротой.

– Он сегодня на бойне в ночную смену, – успокоила она Далмау.

– А твои кузены?

Эмма пожала плечами:

– Если они появятся, то поймут. А если не поймут, потерпят.

То была квартира в доходном доме, одном из тысяч, богатеи строили их в барселонском Эшампле, чтобы сдавать жилье рабочим, которые все прибывали из разных мест в большой город в поисках лучшей жизни. Кирпичные строения, «дома из лестниц», как их называли вначале, а затем – «конструкции по-каталонски»; их воздвигали с максимальной экономией, хлипкие кирпичные стены несли на себе до восьми этажей. Прорабы, работавшие на строительстве этих домов, уверяли, что их несущие стены – самые тонкие в мире, по отношению к весу, который они должны удерживать.

Квартиры были неравноценные, их качество понижалось по мере того, как повышался этаж. На парадном, или главном этаже, сразу над магазинами, выходящими на улицу, жил владелец. Высокие потолки, просторный балкон, широкие окна... По мере того как этажность росла, квартиры становились более тесными, окон меньше, потолки ниже, балконы у́же; на самых верхних балконах вообще не было, и, разумеется, качество стройматериалов тоже постепенно ухудшалось.

Квартира Эмминого дяди располагалась наверху, и все равно она была просторнее, в ней было больше воздуха, чем в жилищах старого центра. Эмма приперла дверь одной из спален, той, которую она делила с кухней, зажгла пару свечей, повернулась, с силой пихнула Далмау, и тот, продолжая тискать ее груди, споткнулся, зашатался и сел на кровать. Эмма встала перед ним и притянула его голову к низу своего живота.

– Ну и где твой пыл? – спросила, продолжая тереться об него животом.

Далмау встал на колени, сунул голову под передник и юбку и, стиснув ее ягодицы, принялся лизать, сначала бугорок, потом вульву. Пока Далмау шуровал под ее одежками, Эмма, как будто ей недостаточно было наслаждения, какое юноша ей доставлял, ласкала себя, все свое тело: живот, груди, шею... Наконец достигла оргазма, издав сдавленный крик.

– Разденысь, – поторопила она Далмау.

Сама сняла всю одежду, обнажив полные, крепкие груди с поднятыми кверху сосками, плоский живот, тонкую талию, округлые бедра. Чувственная, сложенная на диво. «У тебя хорошая кость», –

говорил Далмау, сопровождая комплимент шлепком по заду. Дядя работал на бойне, а сама Эмма – в столовой, потому она и питалась лучше, чем большинство жителей Барселоны. Как всякий раз, когда видел ее обнаженной, Далмау замотал головой, глазам своим не веря, в экстазе от почти нереального совершенства.

– Такая красота, – восхитился он. – Волшебная красота.

При слабом свете двух свечей улыбка блеснула на влажном от пота лице Эммы. Строгий овал, большие карие глаза, пухлые губы, немного выступающие скулы и словно выточенный из камня прямой нос, по форме которого можно было догадаться о ее решительном, независимом нраве. Вряд ли кто-то мог ошибиться на ее счет.

– Ты тоже ничего, – отозвалась она, поглаживая его напряженный член. – Резинка есть?

– Нет, – посетовал Далмау.

– У тебя было полно времени, чтобы ее достать, – ворчала она, опрокидывая Далмау на спину. Потом уселась на него верхом, приладилась, помогая рукой. – Предупреди, как станешь кончать, – попросила, начиная ритмично двигаться, одновременно пощипывая ему соски обеими руками. – Не предупредишь – убью.

Далмау схватил ее за талию, привлек к себе, чтобы не сбиться с ритма.

– Люблю тебя, – шепнула Эмма с закрытыми глазами, прервав на миг вздохи и стоны. Она задрала голову, выгнулась, чтобы полней ощутить его внутри себя, усилить наслаждение.

– И я тебя тоже, – ответил Далмау.

– Как сильно любишь? – спросила она за миг до того, как судорога охватила все ее тело.

– Сполна, сполна...

Эмма застонала.

– Врунишка, – бросила ему потом.

– Ах, так?

Далмау налег с силой, будто желая пронзить ее. Эмма вскрикнула. Толчок, еще толчок... Предупреждать было не обязательно. По судорожным его движениям Эмма догадалась, что он вот-вот кончит. Сошла с него, встала на четвереньки, помогла губами.

Оба, потные, запыхавшиеся, рухнули на постель. Далмау обнял Эмму за шею, привлек к себе, и она, утомленная, положила голову ему

на грудь. Он слушал, вне себя от счастья, как выравнивается ее дыхание. Эмма... Он улыбнулся, подумав, что они с детства знакомы. Да, ведь уже тогда время от времени его сестра в шутку дразнила их женихом и невестой, особенно Эмму, которая краснела и отводила взгляд. Чего еще могла желать Монсеррат, как не того, чтобы ее любимый братец женился на ее лучшей подруге? В какой-то день, какой-то определенный миг Эмма перестала быть девчонкой, подружкой его сестры, дочерью товарища их отца и превратилась в женщину чувственную и привлекательную, независимую, работающую, сильную и умную. Далмау не мог точно сказать, когда и как это произошло. Он часто об этом думал: не только великолепие тела побудило его по-другому взглянуть на Эмму. Может, какая-то реплика в разговоре, четкая, сухая, резкая; или какая-то шутка, или искренний, беззаботный смех, далекий от всякого притворства. Может, это случилось, когда он увидел, как Эмма работает в столовой, или тем вечером, когда она неожиданно нагрянула в квартиру его матери с кастрюлей тушеного кролика, приправленного чесноком и петрушкой. «Ужинать!» – позвала она Хосефу, Монсеррат и Далмау. Может, причиной была отвага, с какой она на улицах боролась за права бедноты. Или запах с едва заметной ноткой корицы, который он однажды вечером ощутил и который поразил его с обескураживающей силой: та ли эта Эмма, какая была вчера? Нет, Далмау не мог точно определить момент, когда влюбился в свою... богиню.

Он прижал к себе Эмму, которая забавлялась, накручивая на палец волосы, росшие у него на груди, а потом резко дергая их и вырывая. «Дурочка!» – ругал ее Далмау. А что она?

– Я всегда была влюблена в тебя, – призналась Эмма однажды, когда они затронули эту тему.

– Всегда? Но почему? – пытался докопаться Далмау.

– Я была еще совсем маленькая. Но думаю, меня уже тогда привлекала твоя способность тонко чувствовать. Помнишь картинки, которые ты рисовал для меня? – спросила Эмма, и Далмау кивнул. – Они тогда были очень плохие... – Эмма засмеялась. – Но я их все сохранила.

Она так и не показала Далмау те рисунки. «Вдруг ты надумаешь у меня их отобрать, – сказала она. – Вы, художники, на все способны».

Далмау долго лежал и слушал дыхание Эммы, а та теребила ему волосы на груди и время от времени за них дергала.

– Знаешь что-нибудь о моей сестре? – спросил он наконец.

На узкой, темной лестнице, пропитанной сыростью, Далмау остановился за две ступеньки до площадки, куда выходила дверь их квартиры. Прислушался к звукам, долетавшим до него, и не поверил своим ушам. Но сомнений не было: стучала швейная машинка. Полночь давно миновала, в такой час мама и Монсеррат давно должны быть в постели: сестра вставала на рассвете, чтобы успеть на фабрику. Еще раз занявшись любовью, они с Эммой вышли прогуляться по Параллели, купить чего-нибудь поесть в одном из многочисленных киосков, расположенных вдоль тротуара, выпить кофе, а потом насладиться каким-нибудь зрелищем. Ибо, если богатеи и буржуа выходили на Пасео-де-Грасия, чтобы выставиться и пустить пыль в глаза, то мастеровые, богема, иммигранты, безработные всякого рода и всякого рода шарлатаны встречались на Параллели, проспекте чрезвычайно широком – на самом деле он назывался улицей Маркиза дель Дуэро, замыкал Эшампле с левой стороны и кончался в порту. Там хаотично, заступая даже на мостовую, рядом с мастерскими, фабриками и складами громоздились деревянные хибары, где торговали всеми видами товаров; изобиловали аттракционы типа каруселей и прочие увеселительные сооружения, включая цирк; кафе с верандами; столовые, бордели, танцевальные залы и театры, много театров, и все это под газовыми фонарями, которые давали теплый, приятный, почти уютный свет, в отличие от вольтовых дуг электрического освещения, установленного на некоторых улицах города: те испускали свет яркий, режущий глаза. Битву между газом и электричеством, «светом для богачей» – как называли его по той простой причине, что электричество провели в театры, шикарные рестораны и дворцы, – все же по-прежнему выигрывал газ: на улицах Барселоны насчитывалось тринадцать тысяч газовых фонарей против жалких ста пятидесяти электрических.

Эмма и Далмау уселись на одной из упомянутых веранд и, взявшись за руки через стол, довольные, болтали, улыбались друг другу тысячу раз, а главное, наслаждались суетой и гомоном толпы. Весь этот праздничный гул будто комом застрял в горле у Далмау,

когда он, перепрыгнув через две последние ступеньки, влетел в материнский дом. Мать сидела у себя в комнате при свете почти догоревшей свечи и шила, ритмично нажимая на педаль. Хосефа не посмотрела на сына, не хотела, чтобы он увидел ее глаза, налитые кровью, но Далмау заметил это даже в полутьме.

– Что стряслось, мама? – спросил он, встав перед ней на колени и заставив наконец замереть ногу, которая с маниакальным постоянством все давила и давила на проклятую чугунную педаль. – Почему вы так поздно не спите?

– Ее задержали, – перебила мать дрожащим голосом.

– Что?..

– Монсеррат задержали.

Хосефа собралась снова вернуться к работе, но Далмау воспротивился, на этот раз довольно резко, о чем тотчас же пожалел.

– Прекратите уже шить! – крикнул он. – Ладно... Извините. – Привстав на корточки, пригладил растрепанные волосы матери и повторил: – Извините. Но вы уверены? Откуда вы знаете? Кто вам сказал?

– Ее подруга с фабрики. Мария дель Мар. Знаешь ее? – спросила Хосефа, и Далмау кивнул. Ему доводилось иногда общаться с другими подругами сестры. – Так вот, она пришла...

Хосефа закашлялась, не в силах продолжать. Далмау побежал на кухню за стаканом воды. Когда он вернулся, нога матери уже снова и снова жала на педаль.

– Не мешай мне, – попросила она, сделав глоток. – Не знаю, чем еще заняться. Спать я не могу. Нет смысла идти на улицу искать дочь, я не знаю, где ее держат. Что, по-твоему, мне делать, кроме как шить... и плакать? Не знаю, где ее держат, – повторила она, запустив машинку. – Где держали твоего отца – знала. В замке. Его держали в замке.

Отойдя на шаг, Далмау заметил, как она постарела. Она страдала, когда арестовали мужа. Тот клялся, что ни в чем не виноват. Хосефа знала: он говорит правду. Навещала его. Молила за него в замке, в штабе военного округа, в городской управе. Вставала на колени, унижалась, моля о милосердии, которого не добились. Военные пытали заключенных, из некоторых, Томаса в том числе, вытрясали

душу, вырывали у них признания, судили, выносили безжалостные приговоры.

– Солдаты, – вдруг проговорила мать, будто читая в мыслях у Далмау. Военный суд был куда суровой гражданского. – Ее схватили солдаты.

– Мы ее выручим, – пообещал Далмау, пытаясь поднять ей дух.

Группа женщин не подчинилась чрезвычайному положению: в то время как рабочие, молча понутив головы, расходились по фабрикам квартала Сан-Марти, женщины призывали бастовать, продолжать борьбу, не отступать... Батальон, следивший за порядком в районе, не знал снисхождения. Некоторые бунтарки скрылись, смешавшись с толпой работниц, другим, как Монсеррат, это не удалось. Вот что, давась рыданиями, рассказала мать со слов Марии дель Мар. Далмау в волнении ходил по комнате. Что он должен... что может сделать? Он пытался что-нибудь придумать, но стук швейной машинки мешал; Далмау закрыл глаза и стиснул зубы, чтобы не сорваться снова. Ему это удалось. Огонек свечи трепетал, отраженный в оконном стекле; Далмау подошел к окну, взгляделся в плотную, непроницаемую ночную темноту. «Куда отвели Монсеррат?» – спрашивал он себя. Его чуть не вырвало, рот наполнился желчью при одной мысли о том, что свора разъяренных солдат может сотворить с его сестрой. Он прижался щекой к стеклу, чтобы удержать позыв. Мать не должна видеть его сломленным. «Мы ее выручим», – повторил Далмау, взглядываясь в темную улицу. Хосефа прервала шитье и взглянула на сына с искрой надежды в глазах, покрасневших от слез. «Клянусь вам, мама!» – выпалил он и в тот же миг заметил, как по тонущей во мгле улице Бертрельянс прошмыгнули какие-то тени. Он не знал, что делать, и в нерешимости повернулся к матери спиной, чтобы та не заметила беспокойства в его чертах. Ведь он даже не знал, куда доставили задержанную Монсеррат.

– В тюрьму, конечно.

– Да. В «Амалию».

– Вы уверены? – спросил Далмау, обращаясь к Томасу, его подруге и еще одной женщине, которая вроде бы жила вместе с ними в квартире на улице Робле-Сек, рядом с Параллелью.

Томас пожал плечами.

В конце концов Далмау решил прибегнуть к помощи старшего брата. Анархиста. К забастовкам подстрекали они, а не республиканцы, в чем его уверила Эмма. Не один год анархисты пытались поднять трудящихся Барселоны, повести их за собой к вожделенной революции путем террора и насилия, но рабочие не пошли за ними. Однако те же самые рабочие загорелись возможностью примкнуть ко всеобщей забастовке: такая форма борьбы им была понятна.

– Не станут же они ее держать в казарме, – добавил Томас. – Это им ничего не даст, кроме проблем. Ее наверняка заключили в «Амалию», там она и станет дожидаться суда. Так обычно поступают.

– Ты знаешь кого-нибудь в тюрьме, кто мог бы позаботиться о Монсеррат, – волнуясь, спросил Далмау, – пока?..

«Пока – что?» – осекся он на половине фразы. Ее будут судить и приговорят. Это точно.

Брат, нахмурившись, развел руками и покачал головой:

– Разумеется, там, внутри, у нас есть свои люди, но у них и без того проблем хватает. Мы, анархисты, – отбросы общества, источник всех зол; революционеры, террористы... Есть конкретные указания, направленные на то, чтобы сделать нашу жизнь невыносимой, ослабить нас по-всякому; мы хуже любого убийцы или растлителя детей. – Томас закатил глаза, он представлял себе, что сейчас думает брат: чего еще они ожидали, терроризируя бомбами всю Барселону. – Это – революция, – попытался он поспорить с невысказанными мыслями брата.

Далмау хранил молчание. Он мало знал отца. Был слишком юн, когда его посадили, и сожалел, что так и не смог поговорить с ним как мужчина, не как ребенок. Сейчас он вдруг понял, что со старшим братом происходит то же самое. Он был идиолом для мальчишки, который видел в его действиях истину, силу, борьбу с несправедливым положением вещей: чем они отличаются от денежных мешков, почему эти буржуа каждый день едят белый хлеб и мясо? Но на самом деле он брата не знал. Томас слишком рано ушел из родительского дома.

– Далмау, – прервал тот его размышления, – уже слишком поздно. Переночуй у нас, а завтра утром пойдем...

– Не могу. Я должен вернуться домой. Не хочу, чтобы мама долго оставалась одна. Увидимся на рассвете, у тюрьмы «Амалия», хорошо?

Он остановился на той же ступеньке, что и в первый раз: за две до площадки. Через пару часов рассветет, в доме уже просыпались жильцы, слышались полные истомы звуки, но ни один не был похож на стук швейной машинки. Его бы Далмау расслышал даже в разгар грозы. Он крадучись вошел в квартиру. Зажег свечу. Мать оставалась в той же позе, что и тогда, когда он отправлялся к Томасу: сидела на табурете перед швейной машинкой, отрешившись от всего, даже от шитья, всей душой, всей болью и слезами пребывая со своей дочкой Монсеррат.

– Мама, ложитесь, отдохните, – взмолился Далмау.

– Не могу, – ответила мать.

– Отдохните, прошу вас, – настаивал сын. – Боюсь, это долгая история, и за ночь мы вряд ли что-то сможем сделать. Вы должны ко всему быть готовы.

Хосефа уступила, свалилась на кровать.

– Рано утром мы с Томасом пойдем в тюрьму, – шепнул Далмау ей на ухо.

Мать в ответ захлебнулась рыданиями, Далмау поцеловал ее в лоб и ушел в свою комнату без окон, где лег не раздеваясь, чтобы только дожждаться рассвета.

Его разбудила возня Хосефы на кухне. Занималась заря. Пахло кофе и свежее испеченным хлебом: мать, видимо, спускалась на улицу, чтобы его купить.

– По всей вероятности, она в тюрьме «Амалия», – сообщил Далмау, целуя ее в темечко; она, склонившись над вделанным в стену очагом, готовила омлет с почками. – Мы с Томасом договорились пойти туда с утра.

Хосефа поставила еду на стол, Далмау уселся.

– Эта тюрьма – вместилище зла, полное преступников. Ее разорвут на куски. Твоя сестра борется за свободу, ищет общего блага, хочет вывести рабочих из рабства, снять с них цепи: наивная идеалистка, такая же, каким был твой отец и каков твой брат. Ничего себе семейка! И твоя невеста туда же! – вдруг пришло ей на ум. – Эмма такая же, как они! Гляди за ней в оба...

– Мама, – перебил ее Далмау, – детьми вы нас водили на манифестации. Я сам видел, как вы готовили беспорядки.

– Поэтому я знаю, что говорю. Я потеряла мужа, а теперь... – Голос ее пресекся. – Девочка моя! – зарыдала она.

– Мы ее вытащим оттуда. – Далмау быстро принялся за завтрак, словно это уже был вклад в освобождение сестры. – Точно, мама. Не плачьте. С Монсеррат ничего не случится.

Далмау вытер губы салфеткой, встал, обнял мать. С каждым разом она казалась ему все более маленькой и хрупкой. «Не волнуйтесь», – прошептал он ей на ухо, когда солнце уже поднялось над проклятой трущобой.

– Мне пора, мама. – Она кивнула. – Постарайтесь успокоиться. Я сообщу вам новости, как только смогу.

Захватив немного денег из заначки, как ночью ему присоветовал брат, Далмау ринулся по лестнице вниз. Жалко оставлять маму в таком состоянии, но дольше задерживаться он не мог. Томас, наверное, уже ждет у дверей тюрьмы.

Тюрьма «Амалия» располагалась на улице Рейна Амалия, рядом с Ронда-де-Сан-Пау, на другом конце старого города, поблизости от Параллели, где они ночью развлекались с Эммой, а также от рынка Сан-Антони, стало быть, и от столовой, где работала его невеста. От улицы Бертрельянс Далмау направился к Ла-Рамбла и дошел до улицы Ospital, которая углублялась в самую мрачную часть барселонского квартала Раваль. Здесь и на улице Робадорс имелись в изобилии публичные дома; пансионаты, где люди спали на одной кровати, а то и на тюфяке, брошенном на пол, и кабаки, где забулдыги до сих пор пьянствовали и орали; а рядом со всем этим – заведения с претензией на хорошее качество и достойное обслуживание, как, например, гостиница «Эспанья», чей владелец, пленившись стилем модерн, заказал архитектору Доменек-и-Монтанеру полностью перестроить здание. Так или иначе, в этот час проститутки, нищие, пьяницы и карманники смешивались с толпой рабочих, спешивших на смену; последние старались отмежеваться от первых, не наступить на пропойцу, который валялся на земле, одурманенный и расхристанный, или уклониться от проститутки, у которой выдалась дурная ночь и которая думала, что еще можно все поправить. Карманники и жулики курили у стен, глядя, как рабочие проходят сомкнутым строем, понимая, что вряд ли можно чем-нибудь разжиться у этих мужчин и женщин, которые в лучшем случае несут с собой корзинку с

немудрящей едой. Далмау торопливо шагал в этой толпе, чувствуя, что ему все сильнее не хватает воздуха: к тревоге за судьбу сестры, которая сдавливала ему грудь, прибавилась невыносимая вонь грязных, зараженных улиц. Его подташнивало, пока он не оказался на Ронда-де-Сан-Пау, перед самой тюрьмой, где пространства было больше и задувал ветерок, уносящий запахи.

Солнце ослепило его в тот момент, когда он принялся высматривать Томаса. Далмау не обнаружил брата в толпе, ожидавшей у дверей тюрьмы. Он поднял глаза, стал разглядывать здание. То был старинный монастырь, отобранный у конгрегации лазаристов в ходе отчуждения церковных имуществ, проводившегося испанским правительством в XIX веке, и превращенный в тюрьму. Прямоугольное пятиэтажное строение, к которому с одной стороны примыкал обширный двор, тюрьма «Амалия» была рассчитана на триста заключенных, но там, внутри, их скопилось полторы тысячи. Мужчины, женщины, дети и старики, без различия; не было различий и между уже приговоренными и только ожидающими суда. Камер не хватало, и узники вынуждены были обитать во дворах, в коридорах, в любом углу, где могли пристроиться. Еда была отвратительная, гигиена и порядок полностью отсутствовали, стычки происходили постоянно. Лучшая школа, чтобы стать преступником. И там, с убийцами и ворами, была заперта Монсеррат, красавица восемнадцати лет, но анархистка в глазах властей.

При одной мысли об этом у Далмау все переворачивалось внутри.

– Она там, – подтвердил Томас за его спиной.

Далмау не слышал, как брат подошел. Не стал спрашивать, откуда он знает, с каких пор находится здесь; вместо того поинтересовался, можно ли увидеть ее.

– Деньги принес? – спросил брат, понижая голос.

Далмау кивнул.

Томас вопросительно взглянул на мужчину, стоявшего рядом.

– Можно попробовать, – заявил тот. – Я заметил тут пару знакомых надзирателей.

– Хосе Мария Фустер, – представил его Томас, – соратник по борьбе, – добавил торжественно, – и вдобавок адвокат. Он может заняться делом девочки. К сожалению, у него много опыта в таких делах.

Далмау повернулся к Хосе Марии, который выдержал его взгляд с нерушимым спокойствием: стало быть, Томас имел основания за него ручаться. Будто от этого зависело, согласится ли он защищать Монсеррат, Далмау порылся в кармане, вынул деньги и вручил ему пятьдесят песет. Адвокат пересчитал купюры и сорок пять песет вернул.

– Не стоит хвастаться деньгами и пускать пыль в глаза. Нас попросту надуют. Попробую снять его за две или три песеты, максимум за пять.

– Если нужно больше, не стесняйся, – настаивал Далмау, готовый на любые жертвы, чтобы увидеть сестру.

– За пять песет эти хапуги устроят ей побег! – рассмеялся адвокат.

Томас тоже фыркнул, и оба направились было к дверям тюрьмы, но Далмау их остановил и стал снова предлагать Фустеру деньги.

– В любом случае мы должны оплатить твои услуги... – начал он, но Фустер тотчас же его оборвал:

– Нет. Я не беру денег за помощь товарищам.

У входа в тюрьму толпился народ. Простой деревянный брус, служивший барьером, удерживал людей в вестибюле. Томас остался на улице.

– Ты не идешь? – удивился Далмау. – Ты не хочешь увидеть Монсеррат?

– Если я туда войду, меня, того гляди, не выпустят, брат, – пошутил Томас. – Обними ее за меня и скажи... Скажи, чтобы мужалась. Ах! – спохватился он, когда Далмау уже отошел. – Отдай мне все, что есть при тебе, тебя обыщут.

«Чтобы мужалась». Наказ брата сверлил ему мозг, пока они с Хосе Марией проталкивались к барьеру. Женщины, особенно женщины, которые стремились увидеться с узниками или узнать об их судьбе, яростно защищали свое место в очереди и не давали пройти. «Нечего лезть!» – закричала одна. «Я адвокат», – отвечал Хосе Мария, продолжая напирать. «А я – драгунский капитан!» – услышал он позади себя. «А я – жандармский командир!» – прибавила третья под смех одних и жалобы других. Казалось, пробраться к барьеру невозможно. «Зачем ей мужаться?» – спрашивал себя Далмау. Что ждет Монсеррат там, внутри? Они застряли. Какой-то мужчина, тоже стоявший в очереди, схватил Далмау за блузу, стал оттаскивать. «Ты

тоже адвокат?» – спросил с насмешкой. Далмау взмахнул рукой, вырвался. Хосе Мария худо-бедно продвигался, но Далмау какая-то женщина отпихнула. Стычка привлекла внимание двух надзирателей, стоявших за барьером.

– Что за хрень тут творится? – крикнул один. Далмау увидел, как Фустер машет рукой охраннику; тот, видимо, узнал адвоката. – Тишина! – приказал он, уже сжимая дубинку и показывая ею в сторону, где стоял Фустер. – Пропустите! – добавил, уже прямо указывая на него.

Мужчины и женщины расступились. Хосе Мария схватил Далмау за плечо, и они двинулись по узкому коридору, который им оставили. Женщина, которая отпихивала адвоката, плюнула ему вслед.

– Здесь всегда так? – спросил Далмау, когда они пригнулись, чтобы пройти под перекладиной.

– Только ранним утром, – ответил Хосе Мария. – Люди спешат на работу или по своим делам. Потом гораздо вольготнее. Постой здесь. – Он указал на барьер.

Адвокат и надзиратель отходят на несколько шагов. Говорят. Спорят. Притворное возмущение надзирателя. Потом – адвоката. Один отказывается, другой тоже. Надзиратель смотрит на Далмау, и тот впервые замечает, что его бежевая блуза разодрана сверху донизу. Может быть, его нищенский вид убеждает тюремщика. Он торгуется еще немного, возможно за несколько сентимо. Хосе Мария уступает, надзиратель соглашается. Деньги переходят из рук в руки, и в мгновение ока Далмау оказывается в крошечной камерке, сырой и провонявшей, с одним вытянутым, узким окошком наверху; стол и несколько стульев целиком заполняют ее, так что спинки упираются в стены. Надзиратель тщательно обыскивает его, прежде чем закрыть за собой дверь, которая целую вечность не открывается снова.

«Чтобы мужалась!» Лиловый синяк на левой щеке и подбитый глаз вполне объясняют наказ Томаса. Платье на сестре грязное, волосы встрепаны.

– У вас несколько минут, – снизошел к ним надзиратель, закрывая дверь.

Монсеррат стиснула зубы. «Да, я тут, – будто говорила она. – Рано или поздно это должно было случиться. Революция требует жертв». На

вид она хранила невозмутимость и спокойствие духа, но, когда Далмау раскрыл ей объятия, сломалась и прильнула к нему, рыдая.

– Не переживай, – пытался Далмау ее утешить. – У тебя уже есть хороший адвокат, он возьмется тебя защищать. – Он чувствовал на своем плече теплое дыхание Монсеррат, всем телом ощущал содрогания от подавленных слез. Далмау пришлось прочистить горло, прежде чем голос подчинился ему. – Хосе Мария Фустер. Знаешь его? Томас говорит, он очень хороший адвокат. Анархист, – добавил он чуть ли не шепотом.

Монсеррат высвободилась из объятий брата и в этой крохотной каморке отошла от него на полшага, глубоко дыша и вытирая нос рукавом.

– Спасибо, – произнесла она еле слышно. – Спасибо, – повторила погромче. Снова задышала глубоко. – Надеюсь, этот адвокат приложит все силы. По тому, как обстоят дела и что на меня уже повесили здесь, мне это потребуется.

– Что ты хочешь этим сказать? Что на тебя повесили?

– Как мама? – перебила его Монсеррат.

– Очень волнуется, если честно.

– Хорошенько заботься о ней. – Видя, что Далмау хочет снова задать вопрос, опередила его: – А Эмма?

Краткие минуты, купленные за те песеты, Монсеррат расходовала, расспрашивая о тех и других, но избегая отвечать на вопросы, которые брат хотел ей задать. Он в конце концов рассердился:

– Не хочешь говорить о себе?

Монсеррат попыталась улыбнуться, и Далмау заметил, какую боль ей причиняет разбитое лицо.

– Не хочу, чтобы ты лез в это дело, – отвечала она. – Томас в курсе, и этот... Хосе Мария, да? – (Далмау кивнул.) – Этот, адвокат, тоже. Они мне помогут. Томас может провалиться в любой момент, его могут хоть сегодня арестовать. Раз я уже здесь, и боюсь, что надолго, – кто позаботится о маме? Ты должен держаться от всего этого подальше, Далмау. Мне нужно знать наверняка, что у вас с мамой все хорошо. И присматривай за Эммой, чтобы она ни во что не вляпалась. Если ты этим не займешься, если у меня не будет уверенности, что с моими все хорошо, тогда тюрьма и правда станет настоящим адом.

– Но что с тобой сделали? – показал Далмау на лицо сестры. – Кто тебя избил?

– Ей досталось хуже, – соврала Монсеррат, лелея надежду, что так и будет в следующей драке с арестантками, которая непременно произойдет.

Дверь отворилась внезапно, даже с какой-то яростью, напугав брата и сестру и толкнув Монсеррат, которая снова упала в объятия Далмау.

– Свидание закончено! – гаркнул надзиратель, сунув голову внутрь.

Далмау поцеловал сестру в здоровую щеку.

– Береги себя. Мы сделаем все необходимое, чтобы выволить тебя отсюда.

– Девку, которая дралась ногами, до крови оцарапала и искусала солдата? – язвительно проговорил надзиратель. – Необходимое – нет, тебе нужно совершить невозможное, – добавил он и расхохотался.

Далмау стал допытываться у сестры, правду ли сказал этот идиот; очевидно, что Мария дель Мар, подруга Монсеррат, рассказывая матери о том, как задержали ее дочь, часть истории опустила. Монсеррат только потупила взор.

– На выход, черт вас дери! – рявкнул тюремщик.

Не получалось сосредоточиться на рисунках. Все восточные мотивы теперь казались пустыми и преходящими: тростники, цветы лотоса, кувшинки и дурацкие бабочки. Он опоздал на фабрику, но никто ему за это не пенял: все, и дон Мануэль в первую очередь, знали, что молодой художник порой работает до зари. Иногда рассвет заставал его погруженным в ворох набросков и рисунков. Поэтому он не спешил и обрадовался, когда Томас охотно согласился зайти в столовую; Далмау необходимо было повидать Эмму и рассказать ей о произошедшем, а брат проголодался, как и адвокат Фустер, который вернул без малого три песеты из пяти, выделенных на то, чтобы подкупить тюремщика. «Нельзя ли заплатить тому же надзирателю, чтобы он позаботился о Монсеррат?» – спросил Далмау, забирая деньги. Нет. Ни один служащий не станет публично защищать анархистку; убийцу – другое дело... «Убийцу – куда ни шло, – цинично заявил адвокат, – но только не анархистку. Есть риск, что его

самого примут за такового или заподозрят в сочувствии движению и арестуют при первой же облаве». И пока эти двое утоляли голод тушеным телячьим языком с артишоками, Эмма на заднем дворе, выслушав Далмау, чуть не лишилась чувств. Юноша вовремя подхватил ее. Эмма крепко прижалась к нему и разразилась слезами.

– Быть того не может, – повторяла она, рыдая в голос. Вдруг вырвалась, оттолкнула Далмау чуть ли не с яростью. – Сучьи дети!

Далмау смотрел, как она мечется по двору среди горшков и мисок, плачет, стонет.

– В бога душу! – выругалась она наконец, растаптывая кучу песка, приготовленную, чтобы драить посуду.

Далмау подошел. Эмма стукнула его в грудь сжатыми кулаками, раз, другой... Он позволил ей выплеснуть гнев. Когда руки у Эммы опустились и безвольно повисли, попытался снова обнять ее.

– Нет-нет, не надо, – противилась она, даже отступила на шаг. – Лучше скажи, что нам делать. Как вытащить ее оттуда? Скажи, что ей не причинят вреда! Обещай мне!

– Адвокат... У нас есть адвокат. Он там, – Далмау показал на столовую, – с Томасом. Он будет ее защищать.

Далмау не мог угнаться за Эммой, которая помчалась со всех ног в столовую, села за стол и забросала Хосе Марию Фустера вопросами, на которые тот отвечал с набитым ртом. Как, когда, почему, что с ней будет... Вдруг установилась тишина, которую ни Томас, ни адвокат не решались нарушить, даже прекратили жевать. Все четверо знали почему. Оставался один вопрос. Далмау не осмелился задать его в тюрьме. Зато Эмма не побоялась коснуться этой темы.

– Сколько лет ей дадут?

Томас отвел глаза, наверное, уже обсуждал это с адвокатом.

– Мы на военном положении, – с усилием промолвил тот. – Монсеррат нарушила приказ генерал-капитана, к тому же, как рассказывают, подралась с солдатом. Нападение на военнослужащего подпадает под военную юрисдикцию, дело не подлежит гражданскому суду. А военные вершат правосудие ужасающе строго.

– Сколько лет? – Эмма требовала ответа.

– Я не знаю. И мне бы не хотелось никого вводить в заблуждение.

Женское лицо с тонкими восточными чертами, печальное: дама вот-вот разразится слезами. Вот что, не отдавая себе отчета, изобразил

Далмау, komponуя коллекцию изразцов по японским мотивам. Лицо плоское, ни глубины, ни светотени; лицо, представляющее каждую из трех женщин, которые этим утром рыдали в его объятиях; трех женщин, которых он любил больше всего на свете: мать, невесту и сестру.

– Похоже, эта женщина на грани отчаяния, – отметил позже учитель.

– Да, – только и сказал Далмау.

Дон Мануэль ждал толкования, но не дождался.

– Недурно, – добавил он, думая, что Далмау бросил ему вызов: разбирайся, мол, сам. – Это увлечение европейцев символизмом и японской культурой меня удручает. Рисунки без перспективы, без жизни. Женщина, готовая заплакать, передает чувства, которых лишены другие части коллекции. Что может внести в цивилизацию культура, отрицающая веру в Господа нашего Иисуса Христа? – Учитель несколько секунд провел в молчании. – В любом случае, – заговорил он уже другим тоном, полным воодушевления, – изразцы будут иметь бешеный успех, я это предвижу, предчувствую. Они пойдут нарасхват. Людям нравятся подобные вещи. Хорошо, очень хорошо, поздравляю.

Далмау наблюдал, как из его мастерской выходит человек, раздувшийся от спеси, довольный своим консерватизмом и теми идеалами, которые он защищает: незыблемость устоев. Далмау вспомнил Ван Гога, Дега, Мане, мастеров, нет, гениев! А ведь на них повлияло японское искусство. Были такие и в Барселоне, например Рузиньол; но как может дон Мануэль признать хоть какие-то заслуги за самым видным представителем барселонской богемы?

В полдень он пошел обедать домой. Солгал матери насчет состояния Монсеррат. Хосефа не отставала, допытывалась, как там дочь, даже когда Далмау вроде бы закрыл тему. «Рассказывай. Что она, как: выглядит грустной?» Далмау напрягался, выдумывая новую ложь, пока Хосефа зашивала ему блузу. Потом поцеловал ее на прощание, тем самым прекратив расспросы, и вернулся на фабрику через Пасео-де-Грасия, куда попадало солнце, высвечивая детали зданий, где жили богачи: кованые решетки, мрамор или камень, а главное, керамику, цветные изразцы, которые в прихотливом духе модерна покрывали

фасады. Далмау не обращал внимания на женщин, которые в такой час сновали по кварталу, не мог сосредоточиться и на новом проекте, который ждал его на фабрике; «японские» образцы уже попали в руки работниц: те по цепочке переносили оригинал на шаблоны из вощенной бумаги, вырезали их в соответствии с рисунками и указывали нужные цвета. Затем шаблоны один за другим накладывались на изразец и раскрашивались по лекалу, пока из их совокупности не складывалась вся композиция; тогда изразец снова обжигали, и он приобретал металлический блеск. Таким путем изображение женщины, готовой заплакать, с печальным лицом и тонкими восточными чертами попадет в серийное производство, будет выпущено в большом количестве и найдет себе место в десятках домов Каталонии, даже и всей Испании.

Вечером Далмау ходил повидаться с Эммой. Снова слезы. Вопросы без ответа. По дороге домой Далмау сделал крюк и прошел мимо тюрьмы «Амалия», темной громады, откуда, разрывая тишину, время от времени доносился жалобный крик. У Далмау волосы встали дыбом, и он поспешил уйти. Зловоние улиц Равалья, шатающийся там сброд, теперь расцветенный приличной публикой, среди которой было много молодых людей, пришедших сюда в поисках секса и забав, не оказало на него такого впечатления, как утром. Душа Далмау, его ощущения и страхи остались у дверей тюрьмы. Что, если какой-то из тех воплей вырвался из горла его сестры?

Мать он нашел у швейной машинки; она просто прикована к проклятому механизму, подумал про себя Далмау, но на этот раз это его обрадовало, поскольку беседа свелась к сообщениям об отсутствии новостей, а потом Хосефа предалась шитью, как будто из-за последних событий не успевала подготовить вещи для посредника. Далмау поцеловал ее, попросил пораньше лечь, та в ответ горько рассмеялась. Сам он никак не мог заснуть. Время от времени впадал в беспокойную дремоту.

Едва рассвело, пошел к Томасу, разбудил его. Тот ничего не знал. Что он мог узнать, если не прошло еще и суток? От адвоката тоже никаких вестей. Далмау снова прошел мимо тюрьмы «Амалия», увидел ту же толпу, что и накануне. Продолжил путь на фабрику, но в столовую заходить не стал, зная, что Эмма кинется расспрашивать, а ему нечего отвечать. Все-таки, пройдя два квартала, одумался и вернулся. Эмма настаивала, хотела знать; под глазами, покрасневшими

от слез, залегли глубокие тени. Далмау поцеловал ее. Разве она не понимает, что и у него нет никаких новостей? Снова поцеловал ее, потом пришлось чуть ли не вырваться из ее объятий, так девушка вцепилась в него. Он работал над проходными набросками на цветочные мотивы: листья аканта и переплетенные ирисы. Из дома со швейной машинкой – к столовой, оттуда на фабрику, все время мимо тюрьмы, и так день за днем... Он укладывал маму спать и следил, чтобы она ела; целовал Эмму. Они попытались заняться любовью, но это было ошибкой. Между ними установилось молчание. Молчание день за днем, слишком много дней. Далмау узнал, что военный судья не торопится, так сказал Томас, а ему сообщил Хосе Мария Фустер. Монсеррат даже еще не допросили, единственное заявление она сделала в военной казарме, куда ее доставили после задержания на фабрике. Дело затягивалось. Далмау сказал брату, что снова хочет свидания; от Эммы он это скрыл.

Ночные крики, толпы по утрам, скученность, убожество и насилие, царящие, по общему мнению, в тюрьме «Амалия», – все это настроило Далмау так, что он ожидал встретить ту же самую Монсеррат, к которой тот же надзиратель за ту же плату, две песеты с небольшим, привел его в комнатку со столом и стульями, упертыми в стены. Сказал, что у них есть несколько минут, не уточнив сколько, как и в первый раз. Все было таким же: адвокат, тюрьма, мзда, комнатка, надзиратель... Только не Монсеррат. На этот раз она сразу кинулась в объятия брата и уже не порывалась высвободиться. Плакала надсадно. Далмау заметил, как она исхудала за какие-то десять дней заключения. Платье было измято, порвано во многих местах, от него скверно пахло застарелым потом и... Уточнять, чем еще, Далмау не захотел. Он пытался утешить сестру, нежно прижав ее к себе и тихонько раскачивая.

– Успокойся. Все будет хорошо. – (Она не произносила ни слова.) – Как ты тут? Как с тобой обращаются? – (Монсеррат молчала, только всхлипывала.) – Мама и Эмма здоровы... Переживают, конечно. Мама все шьет и шьет, да ты ее знаешь. Передают тебе привет, много поцелуев; желают не падать духом. Люди спрашивают о тебе, интересуются. – Так и было. Подружки то и дело заходили домой к Монсеррат справиться о ней, или в столовую, расспросить Эмму. – Все на твоей стороне, готовы свидетельствовать на суде в твою пользу... –

добавил он, хотя Фустер уверял, что никто не придет, невзирая на обещания: страх перед репрессиями сильнее, нежели верность делу. – Тебя считают героиней, – заключил он, чтобы ее подбодрить.

Далмау все говорил, а Монсеррат плакала, прижавшись к нему, будто не хотела, чтобы брат ее видел. Темы, которые, по его мнению, могли интересовать сестру, иссякали. Говорить о политике или о праздниках – последнее дело, но и подступающее молчание ужасало его.

– Не знаю, что делать с мамой. Прямо прилипла к швейной машинке. На улицу выходит, только чтобы купить еды, отдать готовую работу и получить новую, – соврал Далмау, пытаясь привлечь внимание Монсеррат. Мать в самом деле была прикована к швейной машинке, как и все швеи Барселоны, однако и не отказывалась от кратких минут отдыха и развлечений, охотно спускалась в таверну на первом этаже выпить стаканчик вина и поболтать с соседкой. – Не дает себе передышки, даже не встречается с подругами, как раньше.

– Далмау... – вдруг перебила его Монсеррат. Несколько секунд прошло, прежде чем она заговорила снова. – Вытащите меня отсюда. Они прикончат меня. Я это знаю. Чувствую.

– Что ты такое говоришь?

– Мне страшно! – взывала Монсеррат, крепче обнимая брата, пряча лицо на его груди. – Меня колотят. Отнимают еду. Издеваются, и... – Она осеклась, не желая продолжать. – Вытащите меня отсюда, прошу, ради всего, что вам дорого. Мне страшно! Я не в силах заснуть!

Далмау поднял глаза к потолку: облупившаяся штукатурка, сгнившие стропила. Убожество.

– Тебя изнасиловали? – услышал он свой вопрос как бы со стороны.

Монсеррат не ответила.

– Помоги мне! Пожалуйста, – вместо этого взмолилась она.

– Кто это был? – допытывался Далмау голосом, звенящим от гнева.

– Их было много, – зарыдала Монсеррат. – Здесь заключенных продают дешевле, чем спрашивают старые шлюхи на панели.

Далмау лишился дара речи, все внутри сжалось, в горле застрял комок; юноша крепился, пока сестра была рядом и когда надзиратель их выпроводил из комнаты. Даже смог поцеловать ее на прощание и

шепнуть, уже дрожащим голосом, что он ее отсюда выгасит. Слезы потекли, когда он пролезал под перекладиной у входа, а на улице, в двух шагах от тюрьмы, его вырвало.

Ноги у него дрожали. Сестру изнасиловали! Она не отрицала. Молодая, красивая девушка восемнадцати лет проводит дни и ночи в логове пропащих. Ей не полагается даже одиночной камеры, где она сидела бы под замком и в каком-то смысле под защитой. Не хватает места. Тюрьмы переполнены. Как легко было взять ее силой! Его снова вырвало при одной мысли об этом, но уже только желчью. Он обнаружил, что идет домой, и остановился перед входом. Мать почует неладное, взглянув на его лицо. Он свернул на площадь Каталонии. Ноги подкашивались, он содрогался всем телом, воображая, как Монсеррат... Прогнав эти мысли, сел в конку на низких колесах и с огромной рекламой пива, водруженной на крыше. Старомодный экипаж, который волокли два мула, вмещал пятнадцать человек и ходил по маршруту от этой площади до квартала Грасия. Оттуда, подумал Далмау, он легко доберется до фабрики.

Далмау заплатил пять сентимо за проезд и устроился среди простого люда, которому было не по карману ездить на электрическом трамвае, где цена за билет кусалась; ходил он по тому же маршруту, от порта; его-то и опрокинули Монсеррат и Эмма. Трамваев на конной тяге в Барселоне уже оставалось мало, за последние три года подавляющее их большинство заменили электрическими. Запряжные составы, как этот, идущий с Ла-Каталана, долго добирались до конечной остановки, ходили редко, двигались медленно, и люди вскакивали и выскакивали где хотели, что в электрических трамваях было запрещено. Далмау как-то даже успокоился, когда кучер дернул поводья, экипаж встряхнуло, и мулы неспешным шагом потащились вверх по Пасео-де-Грасия.

Он должен вызволить Монсеррат из тюрьмы. Этим самым утром, когда Хосе Мария Фустер сопровождал его, чтобы подкупить надзирателя, всякая надежда на то, что суд над сестрой состоится в обозримое время, развеялась прахом.

– Даже судьи нету, – сообщил адвокат. – Прежнего перевели в Мадрид, а взамен никого не назначили. Твоя сестра долго пробудет в предварительном заключении.

– Судья только один? – изумился Далмау.

Адвокат пожал плечами:

– Похоже на то. В этой стране армия – просто курам на смех, особенно после поражения в Кубинской войне.

Вызволить Монсеррат из тюрьмы до суда невозможно. Сидя между мужчиной, видимо плотником, судя по обилию опилок на одежде, и женщиной, которая везла в корзине пару живых кур, пока мулы так медленно тащили вагон, что, казалось, он вот-вот остановится, Далмау вдруг понял – только один из его знакомых в силах им помочь: учитель. Дон Мануэль – заметная фигура, у него влиятельные друзья среди монархистов, церковников и, разумеется, военных. Далмау знал, что учитель тесно общался с епископом Моргадесом, который умер в январе, но подружился и с его преемником, епископом Касаньясом, для которого предназначалась картина с молящимися прихожанками. Известны были и его приятельские отношения с генерал-капитаном: тот всегда приглашал дона Мануэля на свои приемы, да и в частной жизни они пересекались, на ужинах и торжествах. Далмау слышал об этом от самого учителя.

Тут ему захотелось, чтобы мулы встряхнулись и побежали резвее, но он, сидя между плотником и теткой с курами, вытерпел до проспекта Диагональ, который конка пересекала, направляясь к кварталу Грасия; распрощался с пассажирами и выпрыгнул из вагона, не дожидаясь остановки. Бодро зашагал по Диагональ, направляясь к фабрике изразцов и обдумывая по дороге, как заговорить на эту тему с учителем. Ни один вариант не подходил. Монсеррат – анархистка, а революционеры – заклятые враги каждого уважающего себя буржуа, располагающего деньгами. Но ведь она – сестра Далмау... Что окажется для дона Мануэля важнее, куда склонится чаша весов?

– Это безумие! – вопил учитель.

Далмау выслушивал эти крики, стоя перед столом в кабинете-мастерской дона Мануэля, в одной руке комкая шапочку, а вторую заведя за спину. За исключением административных документов, разбросанных по столу из резного дерева, в комнате не было ничего, кроме огромного количества работ дона Мануэля, и этот художественный беспорядок был бы приятен глазу, если бы не лишённые света тона, излюбленные учителем; были там изразцы,

имевшие наибольший успех, или включенные великими архитекторами модерна в декор их зданий; розетки, рельефные изразцы, масса набросков и картины, множество картин, иные его кисти, другие – полученные в дар от друзей или попросту приобретенные.

Учитель вскочил с места.

– Такого не может быть! – снова заорал он. – Это неприемлемо!

Какие-то бумаги упали на пол, но дон Мануэль не обратил на это внимания. Далмау наклонился, подобрал их, разложил, как мог, на столе, понимая, что сейчас не лучшее время заводить разговор о сестре, о Монсеррат. Он зашел в кабинет к учителю, собираясь это сделать, но дон Мануэль начал разглагольствовать о политике и под конец совсем разошелся. В последние дни Далмау слышал, как продавцы газет кричали на улицах об этом деле, но не особо вникал, неотступно думая о Монсеррат, матери и Эмме.

Речь шла о прошедших несколько дней назад выборах депутатов в мадридские кортесы. Далмау голосовать не ходил. Как уже вошло в обычай во всей Испании, в том числе в Барселоне, городе, где голосовали тысячи мертвых душ, правящая верхушка, дабы обуздать выборы, прибегла к фальсификации ради победы монархической партии, которая защищала короля Альфонса XIII и его мать, королеву Кристину, регентшу при несовершеннолетнем сыне. Но монархисты не учли яростного сопротивления одного политика, республиканца, революционера, недавно прибывшего в графскую столицу, Алехандро Лерруса, который поднимал рабочих на борьбу своими пламенными речами. Леррус заявил о подлоге перед тысячами своих приверженцев; предупредил мадридское правительство, что такие действия со стороны касиков-монархистов в Барселоне и других каталонских городах пробуждают стремление к автономии, чего боялись в центре, и, наконец, поставил свою жизнь на карту: «депутатский мандат или смерть», провозгласил он под ликующие крики тысяч людей, которые его слушали.

Монархисты уступили, и начался пересчет голосов во Дворце депутатов, в зале Святого Георгия, битком набитом наблюдателями; большинство из них не сдвинулись с места за все пятнадцать часов, пока длилась процедура. Многие перекусывали там же, некоторые мочились под себя, чтобы не потерять свой стул. Леррус все время

сидел прямо напротив председателя Избирательной хунты. Вместо пяти монархистов и двух регионалистов, избранных по подложным бюллетеням, после пересчета голосов прошли четыре регионалиста, два республиканца – Леррус получил-таки свой мандат – и только один монархист.

Впервые после реставрации Бурбонов рабочее движение в Испании вышло на политическую арену. До выборов 1901 года трудящиеся, неимущие были всего лишь статистами в игре, которую вели касики. Рабочие устраивали манифестации, случались стычки, более или менее яростные, объявлялись забастовки, террористы взрывали бомбы, но для правительства и властной верхушки все это означало лишь помехи, которые устранялись тем или иным способом. Леррус, отстояв два места в мадридских кортесах, открывал рабочим путь в политику, приглашал к участию в общественной жизни.

– Эти республиканцы, которые едут в Мадрид представлять Барселону, устроили манифестацию против Церкви! – возмущался учитель, воздевая руки, протягивая их к Далмау так, будто произошедшее находится за гранью его понимания.

Далмау опустил голову, уставился в пол. Он участвовал в той манифестации вместе с Монсеррат и Эммой. Около десяти тысяч человек на арене для боя быков в Барселонете требовали свободы совести, роспуска монашеских орденов, светского образования и отделения церкви от государства. «Больше никаких субсидий!», «Пусть берут плату за причастие!» – кричала толпа.

– Что станет со страной в руках антиклерикалов? – вопил в свою очередь дон Мануэль.

Далмау тяжело вздохнул. Учитель повернулся к нему:

– Что-то случилось, сынок?

Какая разница, когда он скажет, сегодня или завтра? Дон Мануэль так или иначе ненавидит революционеров.

– Арестовали мою сестру Монсеррат.

Теперь и дон Мануэль издал вздох. Тяжело, будто на него опустился небесный свод, рухнул в кресло, пригладил усы в том месте, где они соединялись с бакенбардами.

– На каком основании?

Если просить его о помощи, рано или поздно он все равно узнает, рассудил Далмау.

– Она набросилась на солдата, – сказал он. Дон Мануэль развел руками, дожидаясь объяснений. – Она призывала к забастовке фабричных рабочих, а солдаты удерживали ее.

– Мало ей было нарушать общественный порядок во время военного положения, она еще и набросилась на солдата.

– Укусила его, – уточнил Далмау. Учитель кивнул, прикрыв глаза. – Царапалась, пинала ногами.

Дон Мануэль продолжал кивать, будто все это видел въяве. Тут какой-то служащий просунул голову в дверь, которую не закрыл за собой Далмау, одновременно постучав по притолоке, будто извиняясь за вторжение.

– Что такое? – спросил учитель.

– Прибыл экипаж, дон Мануэль. Ждет во дворе.

– А, – вспомнил тот. – Сейчас иду. – Он смерил Далмау взглядом. – И ты хочешь, чтобы я ей помог.

– Да.

– Почему я должен это делать? Она... анархистка?

Далмау не пошевелился, не сказал ни слова.

– Анархистка, да, – заключил дон Мануэль. – Анархистка, которая призывает к забастовке и дерется с солдатами, исполняющими свой долг. Революционерка, стремящаяся подорвать...

– Она – моя сестра, – перебил его Далмау.

Дон Мануэль прищелкнул языком, уставился на одну из картин, какие во множестве висели на стенах мастерской, и стал приглаживать бакенбарды и усы.

– Я не должен вмешиваться, – заявил он наконец, вставая и направляясь к двери. – Мне жаль, сынок. Поеду домой, – продолжал он. – Меня раздражает то, что творится вокруг. Невозможно работать в такой обстановке.

Далмау двинулся ему наперерез. Учитель заметил это и остановился сам.

– Умоляю вас, дон Мануэль. Она в тюрьме «Амалия». Все знают, каково там приходится заключенным. Ее изнасиловали! – Голос Далмау задрожал. Учитель отвел взгляд. – Не верю, чтобы девушка восемнадцати лет, будь она даже анархисткой, заслуживала такой участи. Если она не выйдет из этого логова бандитов, ее убьют. Ей

всего восемнадцать лет, – подчеркнул он. – Дон Мануэль, не судите о ней исходя из ее ошибок.

– Ошибок? – тотчас же подхватил учитель. – То есть ты полагаешь, что твоя сестра заблуждалась, призывая к забастовке, нападая на солдата?

– Да... – соврал Далмау.

– И что ты сделал, чтобы помешать ей? – Далмау заколебался. Учитель воспользовался этой нерешимостью. – Если бы ты принял меры, этого бы не случилось.

– Дон Мануэль, – перебил его Далмау. – Я признаю свою вину. Правда, я целиком погружен в работу, вы это знаете, как никто другой. – Он взглянул учителю в лицо, и тот выдержал взгляд. – В самом деле, после смерти отца я не уделял должного внимания младшей сестре. Что верно, то верно. Но ведь ее изнасиловали, ее бьют, измываются над ней. Разве она недостаточно наказана?

– Не знаю, сынок, не знаю. Мету наказания определяет Всевышний. Не знаю. – Он сделал шаг к двери. – Идем со мной. Пообедаешь у меня. Будь ты одет попримечнее... – снова взялся он за свои сетования. – Теперь она еще и в заплатах, твоя неубиваемая блуза! – добавил он, указывая на то место, из которого в вестибюле тюрьмы вырвали длинный клочок и которое мать зашила.

В тот день явился и преподобный Жазинт, монах-пиарист, который преподавал в Благочестивой школе Святого Антония, коллеже, расположенном на той же улице, что и тюрьма Ронда-де-Сан-Пау, только чуть выше, почти у самого рынка, а значит, поблизости от «Ка Бертран», столовой, где работала Эмма. Был он лет тридцати, культурный и вежливый, крайне рассудительный и донельзя осторожный. Далмау не знал, что его связывает с доном Мануэлем, но часто встречал его в том доме. Они с Жазинтом не раз разговаривали об искусстве, о живописи, о рисунке... Монах, заключил Далмау, всегда выбирал темы, близкие собеседнику, никогда не пытался привлечь его к Церкви или начать проповедовать христианство. Похоже, уважал его атеистические взгляды, с чем не соглашались Эмма и его сестра, когда Далмау заводил речь о преподобном. «Такие хуже всех, – заявляла Монсеррат. – Прикидываются, будто им без разницы, а сами мало-помалу тебя увлекают. Осторожнее с ним», – предостерегала она, будто Далмау искушал сам дьявол.

Так или иначе, этим утром Далмау не успел даже поздороваться с преподобным. Едва они столкнулись с Жазинтом в гостиной, как дон Мануэль схватил его за руку и потащил в кабинет, что-то нашептывая на ухо. А Далмау остался стоять в зале, полном мебели, ковров и gobelенов, статуэток и картин, с огромной хрустальной люстрой на потолке, и донья Селия с ее двумя дочерьми разглядывали его. Даже малыш, почувствовав напряженное молчание, отложил игрушку, которой забавлялся, и обратил взгляд на Далмау. Урсула встретила его той же, что и всегда, будоражащей полуулыбкой, которая стерлась с ее лица, как только мать повернулась к ней и ее сестре, чопорно ответив на приветствие Далмау.

Служанка, открывшая дверь, исчезла; женщины не обращали на него внимания: мать погрузилась в книгу, сестры занялись рукоделием, хотя Урсула украдкой бросила на него еще один взгляд. Дон Мануэль и преподобный Жазинт затворились в кабинете. Далмау спросил себя, не пройти ли ему на кухню. Учитель не дал указаний, но это было в порядке вещей: с такими манерами и таким костюмом ему не место среди богачей, улыбнулся про себя Далмау. Он вдруг осознал, что ни разу не сидел на одном из диванов, что стояли перед огромными окнами, выходящими на Пасео-де-Грасия, даже не имел случая подойти поближе и посмотреть, как гуляет чистая публика; полюбоваться зрелищем пышного города из эркера, который выступал вперед и нависал над проспектом; юноша бывал только на кухне или в мастерской.

Донья Селия подняла взгляд от книги и оглядела его с возмущением, сквозящим в каждой черте, будто бы Далмау нарушал покой и уединение ее и детей, потом зазвонила в хрустальный колокольчик с такой силой, что чуть не разбила вещицу.

– Отведи его на кухню, – велела поспешно явившейся служанке.

Далмау попрощался легким кивком и последовал за девушкой.

– Привет, Анна, – поздоровался он с кухаркой, которая хлопотала вокруг нескольких железных плит.

Та повернула голову, обвела глазами кухню. Никого: ни сеньоры, ни ее дочерей, ни служанки, которая могла бы насплетничать донье Селии о ее симпатии к юнцу, который не желает хорошо одеваться, чтобы не садиться за стол с господами. Она разулыбалась. У нее не хватало зубов, и все же улыбка прекрасно смотрелась на ее лице,

полном, румяном от жара и пара, исходящих от кастрюль. Она любила кормить тех, кто приходил к ней на кухню.

– Садись! – велела повариха. – На первое фасоль с картофелем и цветной капустой; на второе курица с тушеными овощами. Но все это нужно еще приготовить, сегодня вы слишком рано.

– Хорошо звучит, – кивнул Далмау, хотя несчастье с сестрой и лишило его аппетита.

Он присел к кухонному столу из некрашеного дерева, вынул уголек и альбом для эскизов, которые всегда носил в одном из карманов блузы, и принялся рисовать.

– А на сладкое – флан, – добавила Анна, налила ему стакан вина, красного, густого, которое она использовала для готовки, а потом вернулась к плите.

Несколько минут оба молчали, Далмау рисовал, а кухарка поглядывала, как на медленном огне тушатся перцы и баклажаны, идущие гарниром к курице, и одновременно на разделочной доске рубила эту самую курицу на куски сильными, точными ударами кухонного топорика.

– Что ты делаешь? – спросил Далмау, услышав шкворчание, но не поднимая глаз.

– Курицу обжариваю, – ответила кухарка. – А ты?

«Стараюсь не потерять терпения», – подумал Далмау, который пачкал один за другим листы альбома, ожидая, какое решение примет дон Мануэль по поводу его сестры.

– Рисую, – ответил он на вопрос Анны.

– Рисуешь что? – допытывалась та, стоя к нему спиной.

– Курицу, баклажаны, перцы...

Кухарка оторвалась от блюд, повернулась и мотнула головой: покажи, мол, рисунки. Далмау показал четыре линии, какие провел на листе.

– Вечно ты дуришь мне голову, – посетовала она.

– Так не давайте дурить себе голову, Анна. Не давайте дурить себе голову.

Оба развернулись к двери: там стояла Урсула, старшая дочь учителя; она и произнесла эти слова.

– Простите, сеньорита. – Анна поспешно вернулась к плите и к курице, которая продолжала жариться.

– Что за рисунок вы тут смотрели? – спросила девушка, направляясь к Далмау.

Вместо Анны ответил Далмау.

– Ничего особенного, – сказал он, порвал листок на клочки, скомкал и спрятал в кармане.

Урсула невозмутимо следила за его действиями.

– Далмау, – сказала она с издевкой, – идем со мной. Отец хочет видеть тебя.

Он сорвался с места, бросился следом. Сестра, изнасилованная в тюрьме, отказ учителя... все это снова нахлынуло на него.

Урсула закрыла дверь, как только он, погруженный в мысли о Монсеррат, следом за ней вошел в комнату. Лишь через несколько секунд его глаза привыкли к скудному свету, проникавшему со двора, куда выходило окошко, и юноша понял, что это кладовка, куда складывают горшки, швабры, ведра и прочие предметы, предназначенные для уборки.

– Что мы тут делаем? – спросил он. – Ведь ты сказала, что твой отец хочет видеть меня?

– Захочет, если я не помешаю, – отвечала Урсула. Далмау вытянул шею и потряс головой в знак крайнего изумления. – Да, – усмирила его Урсула, – я подслушала, о чем говорил отец с преподобным Жазинтом... Знаю, что твоя сестра в тюрьме, – выпалила она, видя, что Далмау что-то хочет сказать.

– И что? – Теперь Далмау с нетерпением ждал, что она скажет дальше.

– Отец всегда потакает моим капризам, сам знаешь. Он мог бы походатайствовать за твою сестру; кажется, ее зовут Монсеррат? Моя ровесница. Ужасно, что ее изнасиловали. Но главное, подумай вот о чем: если я настрою маму так, что она воспротивится, отец и пальцем не пошевелит.

– И чего ты попросишь взамен?

– Немногого, – лукаво проговорила девушка, подошла к Далмау и прижалась губами к его губам. – Совсем немногого, – повторила, отстраняясь, чтобы увидеть его реакцию.

– Не думаю, что таким образом... – пытался возразить Далмау, стараясь обойти ее и выбраться из кладовки.

– Богом клянусь, если ты не сделаешь, как я скажу, твоя сестра сгниет в тюрьме!

Далмау увидел в Урсуле те же жесткие, угрожающие черты, что у доньи Селии. Она поклялась Богом! Это в устах дочери дона Мануэля, который за божбу и богохульство наказывал рабочих вплоть до увольнения, напугало его даже больше, чем холодный взгляд, с которым девушка ждала, на что он решится.

– Это нехорошо, – пытался убедить ее Далмау. – Ваш Бог... – хотел он продолжать, но она, уверенная в том, что парень уступит, взяла его руку и положила себе на грудь поверх платья. Вздохнула. – Иисус Христос... – пытался вразумить ее Далмау. Урсула поцеловала его, на этот раз крепко, со страстью, но даже не пытаясь просунуть язык. – Иисус Христос учил... – продолжал Далмау, воспользовавшись тем, что она оторвалась от его губ, чтобы набрать в грудь воздух. Что мог он сказать об Иисусе Христе, почему ему знать, чему он учил! – Это нехорошо, – вновь проговорил он.

Урсула взяла руку Далмау и заставила его сжимать и сминать ей грудь, а другую сунула себе между ног, поверх платья, нижних юбок и прочих преград, стоящих на страже ее добродетели. Девушка вздохнула. Потом сняла свою руку с руки Далмау, которой давила на свой лобок, и положила на его возбужденный член. Сначала прощупала через штаны, а потом, задыхаясь, чуть ли не в истерике, сунула руку внутрь, схватила пенис как церковную свечу и стиснула. Задрожала всем телом. Далмау ждал следующего шага, но его не последовало. Урсула прикусила нижнюю губу, снова поцеловала его, по-прежнему не раскрывая рта, крепко вцепившись в его член, а его заставляя тискать свою грудь через платье и время от времени надавливать на лобок; в какой-то момент он ощутил там, внизу, сладострастную дрожь, которую девушка и не пыталась скрыть.

Так прошло несколько минут, которые Далмау показались вечностью: она вздыхала и целовала его, жесткая, как истукан; а он жадно ловил малейшие звуки, какие слышались в доме. Наверное, Урсула могла бы добиться, чтобы ее отец помог, но, если их здесь застукают, дон Мануэль с супругой его не пощадят, это уж точно.

Беспокойство по этому поводу, скованность Урсулы, да и боль, которую причиняла ее рука, сжимавшая пенис, привели к тому, что возбуждение начало спадать. Урсула надавила, потом отпустила, еще и

еще раз, будто пыталась оживить его этими почти яростными прикосновениями.

– Ай! – вскрикнул от боли Далмау. – Ты мне его раздавишь.

Урсула прекратила попытки.

– И все? Все уже кончилось? – наивно осведомилась она, вынимая руку из штанов Далмау и отстраняясь, чтобы и он перестал ее трогать. – И это все? – допытывалась она, одергивая платье.

Далмау не представлял, как объяснить этой девушке, воспитанной в строгости, в страхе Божьем перед грехом, что значит заниматься любовью, ласкать друг друга, искать наслаждения, а не только наступления оргазма. Она бросилась к нему, страстно желая найти и испытать запретное удовольствие; по всей вероятности, в первый раз прикоснулась к мужскому члену, но Далмау боялся, что чем пространнее будут объяснения, тем сильнее разгорится желание и тем больше потребует от него Урсула за освобождение сестры.

– Все, все, все... да нет, не все, – ответил он, не желая врать.

– Что еще делают? – не отставала Урсула.

– Хочешь знать? Раздевайся, – велел Далмау.

– Еще чего! Нахал! Раздеваться перед тобой?

Она изобразила рукой презрительный жест.

– В таком случае, – прервал ее Далмау, – вот тебе мой совет: придется подождать; ты узнаешь, что еще делают, когда встретишь особого мужчину, перед которым тебе будет не стыдно раздеться.

Урсула задумалась на несколько мгновений.

– Не думаю, чтобы я когда-нибудь встретила такого особого мужчину, – призналась она. – Родители выдадут меня замуж, когда найдут подходящую партию. И если мой будущий муж будет таким же благочестивым, как они, а это скорее всего, то сомневаюсь, чтобы он попросил меня раздеться.

– Тогда разденься сама, не дожидаясь, когда он попросит.

– Нет уж...

Шум в коридоре насторожил их.

– Сеньорита Урсула?

Ее искала служанка.

– Я здесь, – отозвалась девушка, открывая дверь и хватая какую-то тряпку.

Она вышла в коридор, оставив дверь полуоткрытой.

– Ах, – воскликнула девушка в черном платье, которое было ей велико, в чепце и белом переднике. – Сеньора ваша матушка спрашивает о вас. Хотите, я вам помогу? – добавила она, показывая на тряпку.

– Не надо, – оборвала ее Урсула. – Я сама. Иди работай. Живо! – поторопила она служанку, которая стояла в нерешимости. – Можешь возвращаться на кухню, – бросила она Далмау.

– А моя сестра? – спросил он, выходя из кладовки.

– Не волнуйся. Отец вытащит ее из тюрьмы, даю слово. Только не знаю, чего он у вас попросит взамен.

«Что мы можем ему предложить?» – подумал Далмау с грустной улыбкой.

– Хотя могу вообразить, – припечатала Урсула, забросила тряпку в кладовку, повернулась спиной к Далмау и направилась в гостиную.

– При заданной стороне построить правильный шестиугольник.

То было условие задачи, которую Далмау излагал в аудитории, предназначенной для третьеклассников в барселонском коллеже пиаристов Святого Антония; однако сейчас, вечером, в ней сидели с полдюжины молодых рабочих.

– Если L – заданная сторона, – объяснял он, – и нужно построить равнобедренный треугольник...

Зная, что парни внимательно его слушают, Далмау вычерчивал шестиугольник, описывая окружность с центром в вершине равнобедренного треугольника в тишине, которую нарушал только скрип мела по доске. Они пришли учиться рисунку, для чего требовались базовые знания по математике и геометрии. Построив многоугольник, Далмау оглядел их. Двое, как и он, работали над керамикой. Еще один занимался резьбой по дереву, а остальные трудились в текстильной промышленности, как большинство рабочих, посещавших вечерние занятия в коллеже пиаристов, хотя некоторые выдували стекло, занимались гравировкой, ткали ковры и гобелены – словом, владели таким ремеслом, какое требовало умения хотя бы провести прямую линию. Шестеро, которым преподавал Далмау, были моложе его, от пятнадцати до семнадцати лет, и старались не хуже взрослых извлечь пользу из уроков, которые устраивали пиаристы без

всякой платы: умение рисовать могло позволить им продвинуться в профессии.

Прикладное искусство в промышленности – и рисунок как подходящее орудие, чтобы овладеть им. Если в большинстве европейских стран интерес к промышленному дизайну и его развитие относятся к середине XIX века, то в Каталонии, как и в других передовых областях, набивные ситцы с рисунком появились уже во второй половине XVIII века; тогда же промышленные компании завели бесплатные школы рисунка для своих сотрудников. Ремесленник старых времен исчезал, и промышленности, шедшей ему на смену, необходимо было создавать вещи не только полезные, но и красивые.

– Есть вопросы? – обратился Далмау к ученикам. Руки не поднял никто. – Хорошо, попробуйте сделать это у себя в тетрадах.

Он прошел по аудитории, проверяя, все ли усвоили задачу. Вот какую цену лично от него потребовал учитель за освобождение Монсеррат. «Дон Мануэль сделает все возможное, чтобы вызволить твою сестру из тюрьмы», – сообщил преподобный Жазинт через пару часов после того, как Урсула показала себя юной развратницей. Хозяева дома к тому времени уже поели, и Далмау отдавал должное вкуснейшей курице с тушеными овощами, которую приготовила Анна. После слов священника он еще ярче ощутил во рту вкус помидоров, перцев и баклажанов. Резко выдохнул, словно исторгая из себя тревогу, и сделал добрый глоток вина. Только потом сказал:

– Спасибо.

– Мне стоило труда убедить его, – добавил тем не менее священник, присаживаясь к некрашеному кухонному столу. Преподобный Жазинт сделал кухарке знак, чтобы та их оставила одних, и продолжил: – Дон Мануэль никогда бы не вступился за отъявленную анархистку. Это ты понимаешь, верно? – (Далмау кивнул, отодвинув тарелку; он глаз не сводил с преподобного, ведь сейчас тот заговорит о цене, которую сулила Урсула и которую Далмау готов был заплатить, какой бы она ни была.) – Мы его убедили. Урсула со слезами расписывала, каково приходится девушке в суровой, убогой обстановке исправительного заведения. Даже донью Селию проняло, когда она узнала, что твою сестру изнасиловали. В конце концов дон Мануэль уступил; он сделает все, что в его силах, а это немало, – подчеркнул священник, чтобы ободрить Далмау, – чтобы твою сестру

освободили и оправдали или, в крайнем случае, приговорили к минимальному наказанию и ей не пришлось бы возвращаться в тюрьму.

Расхаживая по аудитории коллежа Святого Антония, Далмау то и дело одергивал пиджак, который он теперь носил и который стеснял его. Пришлось отложить в дальний угол заплатавшую бежевую блузу, это тоже входило в цену вместе с уроками рисунка, которые он давал дважды в неделю, с восьми до девяти вечера. Преподобный Жазинт воспользовался этим, чтобы отделить молодых ребят от взрослых. К тому же такое решение сводило на нет отговорки, к которым прибег Далмау, когда ему предложили давать уроки. «Я совсем не могу говорить на публике, – удивил он всех, – очень нервничаю, у меня дрожит голос и к горлу подкатывает комок...» Учить шестерых парнишек, с которыми он сживал за одной партой, – не то что вещать перед классом из тридцати взрослых, поэтому после некоторого замешательства Далмау преодолел страх сцены и даже чувствовал удовлетворение оттого, что в силах чем-то помочь рабочим.

– Ты сам понимаешь, – продолжал священник, – что дон Мануэль не станет ничего предпринимать, если не получит от вас твердого и чистосердечного обещания изменить и исправить ваши идеалы и верования. Вы должны приблизиться к Господу и отречься от атеизма. Ты и твоя сестра оставите анархизм и прочую революционную деятельность, направленную против порядка, в рамках которого живут и процветают в нашем обществе люди доброй воли. Вам придется изучать катехизис и добиться в этом успеха. Ты будешь заниматься у пиаристов, со мной; твоя сестра – в монастыре Доброго Пастыря. Дон Мануэль и донья Селия тесно связаны с приютом для девушек Травессера-де-Грасия.

Далмау пообещал. Сестра? Конечно, она все сделает. С благодарностью, уверил он преподобного и самого дона Мануэля, прекрасно зная, однако, какую позицию займет Монсеррат.

– И с какой стати этот святоша пошевелит для меня хотя бы пальцем? – спросила она в той зловонной камерке, куда вмещался только стол и стулья, упирающиеся в стену. – Даже не знаю, Далмау. Мы всегда боролись против них. Где же наши принципы?

– Ты должна выйти отсюда, – настаивал Далмау. – Тебя... тебя насилуют. Это просто уроки катехизиса.

– Катехизиса! – возопила Монсеррат. – Слушай, Далмау: за эти несколько дней они овладели моим телом и несколько... много раз порвали в клочья мою добродетель, будто голодные псы. – Голос у нее прервался, подбородок задрожал. Глубоко вздохнув, она продолжала: – За пару дней ничего не осталось от этих их буржуазных добродетелей: скромности, чести, целомудрия. Хочешь, скажу, чем мне поможет катехизис? Сам знаешь: заставит сильнее почувствовать вину, вину грешной женщины; вот как они назовут меня: грешницей! Никакой священник не вернет мне то, что у меня отняли, и не утишит боль; но мои принципы остались нерушимыми. Те самые козлы, те самые сукины дети, такие, как твой учитель, бросили меня туда: они нас эксплуатируют, они нас угнетают, они принижают в нас человеческое достоинство. Что останется от меня, если, отдав тело четверке преступников, я продам свою душу Церкви?

Гневные речи Монсеррат звенели в тесной каморке, эхом отдавались от стен. Сестра призналась, что ее насильовали одни и те же злодеи. Далмау вдруг весь как-то обмяк; он больше не слушал инвектив сестры, а пристально вглядывался в нее: она была грязная, еще грязнее, чем прежде. От нее скверно пахло, хуже, чем в прошлый раз, и она выглядела жутко истощенной. Мятое платье свисало с исхудавших плеч, лицо опухло, лиловые мешки напоззали на глаза; в этих раньше огромных очах когда-то сверкали жажда знания, надежда, вызов; ныне блуждающий взгляд маленьких, заплывших глазок был полон ненависти.

– Я больше ничего не могу сделать, – отрешенно прервал ее Далмау. – Это единственный способ.

Брат и сестра несколько секунд молчали.

– И, если не считать моего обращения, чего он никогда не добьется, с какой стати заботится об анархистке этот... мерзкий, отвратительный буржуй? – снова спросила Монсеррат.

– Ради меня, – коротко ответил Далмау. – Ты моя сестра, а он меня ценит. Или, не знаю, нуждается во мне, это не важно. Я хочу одного: чтобы ты вышла отсюда.

Монсеррат сжала пересохшие губы и покачала головой:

– Прости, брат. Я останусь. Не выйду отсюда такой ценой. Пусть лучше меня насилуют эти ненасытные, пусть лучше я сгину здесь, чем поддамся шантажу буржуа, дерьмового святоши. Уважай мое решение.

«Как она хочет, – сетовал Далмау каждый раз, когда взвешивал в мыслях это ее утверждение, – чтобы я уважал решение, которое приведет ее к смерти? Какую победу одержит Монсеррат, если погибнет в гнусной тюрьме? Кому пойдет на пользу такая огромная жертва?»

Ее освободили. Ее ждал суд, дата которого еще не была назначена, но гарантии, которую дон Мануэль Бельо дал генерал-капитану, оказалось достаточно, чтобы Монсеррат не сочли нужным держать в предварительном заключении.

Едва увидев брата в кабинете, где ей должны были вручить документы, Монсеррат схватила его за руку, отвела в сторонку и прошептала на ухо, правда, чуть громче, чем следовало:

– Как насчет катехизиса? Я говорила тебе, что не собираюсь...

Далмау жестом призвал ее к молчанию.

– Тебе не нужно будет ходить на уроки. Я решил этот вопрос, – заявил он безапелляционным тоном.

– Как? – спросила Монсеррат.

Что за важность, подумал он, как удалось ему этого добиться. Главное, сестра на свободе.

– Я убедил дона Мануэля, – соврал Далмау.

– Святоша уступил? – изумилась Монсеррат.

Далмау кивнул, в то время как все варианты развития событий, какие он прокручивал снова и снова, видя упрямство сестры, разом пришли ему на ум. Ясно, что дон Мануэль взбесится, если Монсеррат не придет на катехизис. То была чуть ли не главная цель в борьбе, открывающей учителю путь на небеса: обратить атеиста. Если он почует, что его обманули, сестру снова посадят: несколько слов генерал-капитану, и дело сделано. Но рядом с такой реальностью существовала другая, для Далмау куда более насущная: здоровье и жизнь сестры. Нет в мире таких принципов, такой идеологии, чтобы оправдать насилие и издевательства банды преступников, пусть даже Монсеррат и готова была терпеть это дальше. «Вытащи ее оттуда!» – взмолилась Хосефа, когда Далмау обрисовал ей ситуацию. Но мать хоть и умоляла, но не могла придумать, как потом обмануть дона Мануэля, и, когда сын обещал, что вызволит сестру, погрузилась в шитье, полагая возвращение Монсеррат уже свершившимся фактом.

Обмануть сестру было просто: она готова была поверить всему, что ей скажут. Но так ли легко будет обмануть дон Мануэля?

– Святоша, – отвечал Далмау, – уступил. Должно быть, для него важнее моя работа на фабрике, чем твое обращение в христианство.

И ее отпустили.

Но если Монсеррат больше не задавала вопросов, они во множестве теснились в голове у Далмау. Все мысли, какие ему приходили на ум, упирались в конфликт с учителем и его, Далмау, более чем вероятное увольнение с фабрики изразцов. Дон Мануэль узнает, что сестра не выполняет условие, прикажет снова арестовать ее, и Далмау будет бороться. Их отношения разладятся: как он сможет работать на человека, способного навредить его любимой сестре? Перед ним вырисовывался только один приемлемый, хотя и сложный, план, к тому же весьма обременительный.

Шли дни, и Далмау выполнял свою часть соглашения: давал уроки рисунка рабочим и ходил беседовать с преподобным Жазинтом о Боге и Его таинствах. Монсеррат по этому поводу хранила молчание, а Далмау исчерпал уже все доводы, какие приводил в оправдание того, что сестра не является к монахиням Доброго Пастыря: «Она больна», «Она еще не готова», «Она даже не выходит из дому», «Только и делает, что плачет», «Преподобный, она совсем не говорит!». Так раз за разом он выгораживал Монсеррат перед священником.

Тяжело вздохнув, преподобный настоял, чтобы он срочно привел сестру, силой, если понадобится, в противном случае дон Мануэль пойдет на попятный и сделает все, чтобы ее снова посадили.

На несколько мгновений Эмма застыла с разинутым ртом, не зная, куда девать наполовину вскинутые руки. Считанные разы она стояла вот так, онемев, не представляя, что ответить, застигнутая врасплох. Наконец она пришла в себя, замахала руками на Далмау.

– Ты с ума сошел? – Далмау, заметила Эмма, скривился и отвел глаза. – Я тебя предупредила: это не сработает, – продолжала она. – Монсеррат никогда не согласится, скорее останется в тюрьме, как бы ее там ни насильовали, чем пойдет к монашкам на уроки катехизиса. Она сама тебе это объявила! И ты решил сказать ей, что ничего не нужно делать, что все устроилось. Ты, наверное, заметил, что я не допытывалась, как ты собирался все устроить, но и вообразить не могла, что ты явишься ко мне с таким... таким предложением!

– Я виноват, – каялся Далмау. – Я виноват, милая, но разве ты не помнишь, что с ней творили в тюрьме? – Он не стал продолжать. Слезы на глазах Эммы показали ему, что – да, она все помнит. – Пожалуйста, не плачь, – глухо взмолился он.

– Не плакать? – всхлипнула Эмма. – Как же мне не плакать?

Эмма увидела, что Далмау подходит, намереваясь ее обнять. Она отошла и повернулась спиной. Потом оба стояли молча и неподвижно на заднем дворе столовой, возможно припоминая одно и то же: утро, когда они вдвоем пошли забирать Монсеррат из тюрьмы. Далмау зашел в здание, а Эмма дожидалась на улице, пока не появились брат с сестрой.

Ее повели домой. Эмма расцеловала подругу, как только та вышла, но Монсеррат лишь слегка приобняла ее. По дороге на улицу Бертрельянс Эмма пыталась ее разговорить. Та пару раз ответила «да» или «нет» таким усталым тоном, будто даже такие скупые реплики выматывают ее.

Хотя он и говорил шепотом, Эмма расслышала, как Далмау предлагает матери отвести сестру в душевые на улице Эскудельерс.

– Там можно дешево помыться.

Хосефа даже не стала его слушать.

– Принесешь воды, – велела она.

Далмау сделал, что просили, и обе женщины закрылись с Монсеррат в комнате, которую делили мать и дочь.

Эмма не могла отвести взгляда, пока Хосефа раздевала дочку, а та безвольно подчинялась, грязная, провонявшая, выбитая из колеи, потерявшая дар речи. Много раз девушки сравнивали свою наготу, игриво кокетничали, влекомые чувственностью, которой наполнилась их красота, молодость, жажда жизни. Сколько времени подруга провела в заточении? Три месяца? Чуть больше?

Эмма отвернулась. Не затем, чтобы не видеть тела, истощенного, покрытого синяками, с грудями, отвисшими, будто за это время они лишились жизненных соков; ей было неловко, стыдно, что Монсеррат видит ее во всем блеске. Чтобы встретить подругу у тюрьмы, она надела лучшее платье, будто шла на праздник, да и выкройку для него принесла с фабрики Монсеррат, а Хосефа потом пошила. «Вот дура!» – выругала Эмма себя. Стоя спиной к подруге и ее матери, она старалась удержать слезы.

– Забери воду, – велела Хосефа, услышав, как ее сын стучится в дверь котяшками. – Дай ему это ведро, пусть еще принесет, – добавила она, когда Эмма поставила на пол лохань, которую притащил Далмау.

Потом Далмау то и дело таскал воду то в лохани, то в ведре. Эмма помогала Хосефе. Подавала чистые полотенца, может быть предназначенные для шитья, чтобы та обтирала дочь, нежно, напевая вполголоса. Эмма узнала песенку, она ее слышала в детстве, когда ее отец и отец Монсеррат были живы, до процесса в крепости Монжуик, погубившего двоих товарищей-анархистов, которые не совершили никакого преступления. Она про себя напела мелодию. Монсеррат стояла с блуждающим взглядом, голая, надсадно кашляя, вода стекала с ее истерзанного тела на плиточный пол. Эмма грязными тряпками подтирала лужи. Вымыла подруге ноги, встав на колени и глядя в пол.

– Эмма, – отпустила ее Хосефа, – пойдите с Далмау и купите хорошее лекарство от кашля. Еще купите свежего хлеба и все, что нужно для доброй *эскудельи*... с постным мясом. Ты знаешь, что требуется. Денег не считай, – добавила она. – Монсеррат нужно подкормить.

Далмау взял достаточно денег, и они с Эммой купили телятину, постную, как и просила Хосефа. Распорядилась Эмма: отвергала одни

куски, выбирала другие. «Этот почти протух, хотя они и поливают мясо чем попало», – объясняла она Далмау. Также они купили курицу, разрубленную на куски, и хороший набор свинины: шпиг, уши, голову... Спинку кролика, баранью ногу, хвост и шею. Рульку и телячью кость. Свиной колбасы, кровяной и мозговой. Картофеля и белой фасоли. Масла. Капусты, сельдерея, моркови, лука-порая, артишоков и риса. Яиц и петрушки. Чесноку, муки и хлеба. Потом зашли в аптеку, и Далмау попросил лучшего лекарства от кашля.

Им продали микстуру из бромформа и героина.

– Сочетание бромформа, седативного средства, – пояснил аптекарь, – и героина облегчит кашель. Определенно! – заявил он, видя, как Эмма в сомнении вертит в руках пузырек.

– Мне казалось, что такие лекарства готовят на основе морфина, – тоже удивился Далмау.

– Героин – производное морфина, средство более действенное. Сами убедитесь.

Аптекарь не соврал. Когда они вернулись, Монсеррат, чисто вымытая, спала в чистой рубашке на чистых простынях, а Хосефа шила у окна, хотя глаза у нее почти слипались. Приступы кашля, нарушавшие сон Монсеррат, исчезли, как только мать дала ей выпить хорошую дозу микстуры. Потом, пряча от сына глаза, обходя его стороной, избегая его, отправилась на кухню готовить суп.

– Почему она ведет себя так?.. – спросил Далмау.

– Чувствует себя в ответе, – сказала Эмма, даже не дослушав. – Ей стыдно.

– Стыдно? – изумился Далмау.

– Да, – убежденно проговорила Эмма. – Стыдно за ужасы, которые пережила Монсеррат. Стыдно за плоть от плоти ее, которую она любит больше, чем свою собственную; за плоть, опоганенную шайкой воров, негодяев и сукиных детей. Любопытно, правда? Такие мы, женщины, глупые.

Да, женщины могут стыдиться того, в чем несколько не виноваты, но нужно ли прибавлять к этому обязанность идти вместо Монсеррат к монахиням Доброго Пастыря брать уроки катехизиса, как ей только что предложил Далмау? Эмма плакала на заднем дворе столовой, повернувшись спиной к жениху. Кого она оплакивала? Монсеррат или саму себя? Подруга восстанавливалась – физически, потому что в

духовном плане она, кажется, стерла из памяти все, что выстрадала в тюрьме, хотя травмы никуда не делись, Эмма замечала их каждый раз, когда с ней встречалась, – почти каждый день. Они сидели дома и болтали или выходили погулять, выпить кофе или чего-то прохладительного, если находились деньги. Монсеррат осталась без работы; на прежней фабрике ее даже не пустили на порог, и на другие текстильные предприятия тоже не захотели нанимать. Ее имя попало в списки нежелательных лиц: в черные списки. С этого момента классовая борьба, промышленники, буржуи, а главное, Церковь и клирики стали для нее настоящим наваждением, будто это в самом деле помогало забыть недавнее прошлое и туманное настоящее.

Как Эмма ни старалась, беседы с подругой всегда склонялись к эксплуатации рабочих или к смирению, которое проповедовали попы, одурманивая народ и отводя его гнев от истинного виновника его страданий: капитала. Эмма разделяла эти идеи, так было всегда, они вместе ходили на манифестации, участвовали в забастовках, но жизнь заключала в себе что-то большее, и мало-помалу это наваждение отдаляло их друг от друга, так что они почти перестали видеться. Хосефа умоляла Эмму приходить, встречаться с ее дочерью, общаться с ней, но Монсеррат нашла опору в брате Томасе и в анархистском движении. После успеха республиканцев на выборах 1901 года анархисты Барселоны впервые вышли из подполья. Ячейки укрепились, некоторые члены вернулись из изгнания, и все они начали строить планы. Появились новые газеты революционной направленности; одна из них, финансируемая Феррером Гуардия, под названием «Ла Уэльга Хенераль», прямо указывала путь: всеобщая забастовка как наивысшее проявление борьбы классов.

Эмма высморкалась, поджала губы и покачала головой.

– Я виноват. Прости меня, – прошептал Далмау, кладя ей руки на плечи.

– Простить? – жалобно вскрикнула Эмма, снова отстраняясь от него. – Как, по-твоему, я должна теперь себя чувствовать? Ведь ты говоришь, что, если она не пойдет в приют, ее опять посадят в тюрьму.

Об этом и предупредил Далмау преподобный Жазинт, объявив, что дон Мануэль не примет больше никаких отговорок и промедлений.

– А если я не соглашусь и ее вернут в тюрьму? – продолжала Эмма. Далмау пробормотал что-то невнятное, и она в ярости

оттолкнула его; тот стерпел. – Что тогда будет? Ее снова посадят по моей вине?

– Не по твоей... – Далмау понимал ее, осознавал ответственность, которую возлагал на плечи своей невесты, но ничего другого ему не приходило в голову.

– По моей! – возразила Эмма. – По моей, – повторила она и, закрыв руками лицо, разразилась слезами. – По моей, по моей, – твердила она, рыдая.

Далмау защищался, как мог. Ему создавшаяся ситуация тоже не сулила ничего хорошего, и он скрепя сердце просил невесту об услуге.

– Не нападай на меня, Эмма. Прошу тебя, хватит! Я всего лишь добился свободы для девушки, которую пустили по рукам, которую насильовали в тюрьме. Она сама меня умоляла! Мать просила, да и ты тоже. Я прибег к единственному средству, доступному для такого, как я. Я знал, что сестра не согласится, поэтому соврал ей, и дону Мануэлю, и преподобному Жазинту. И сделал бы это снова, понимаешь? Поступил бы точно так же, – закончил он убежденно.

– С теми же последствиями.

– Нет, – поспешил возразить Далмау, – если бы я начал все сначала, я бы предложил тебе заранее то, что предлагаю сейчас. Монсеррат твоя подруга, вы почти как сестры. Моя мать тебе как родная. Если бы, когда Монсеррат отказывалась выйти из тюрьмы, только чтобы не ходить на уроки катехизиса, я, не видя другого выхода, чтобы вызволить ее и одолеть ее упрямство, попросил бы тебя о помощи и предложил заменить ее у монахинь, неужели ты бы оставила ее гнить в тюрьме?

Эмма глубоко вздохнула.

– Я виноват, – повторил Далмау, отирая подушечкой пальца слезы, которые струились у нее по щекам. Эмма не противилась. – Извини, что так прямо поставил тебя перед фактом, но ты единственная, кто может спасти Монсеррат. Она обезумела. Ненависть переполняет ее.

Взглянув на Далмау, Эмма поняла, что душа его разрывается между тремя женщинами, близкими ему. Ею самой, Монсеррат и Хосефой. Перед ней стоял любимый мужчина, и в этот момент она полностью приняла на себя все его заботы. Далмау – хороший человек. Эмма пожалела, что была с ним сурова, и что-то всколыхнулось у нее внутри, забилося настойчиво, сильно. Далмау был прав: предложи он

это, когда Монсеррат еще сидела в тюрьме и свобода подруги зависела бы от нее, она пошла бы на подмену без малейшего колебания.

На губах у Эммы появился намек на улыбку. Она схватила Далмау за руку, увела со двора.

– Садись, – велела, показывая на один из столиков под открытым небом, на пустыре, что граничил с мыловаренным заводом. К вечеру летняя жара спала, задул приятный свежий ветерок.

Эмма, отлучившись ненадолго, принесла графин красного вина, два стакана и немного персикового джема, который остался от ужина. Бертран с семейством заканчивали убираться в заведении, где были заняты всего лишь с полдюжины столиков. Она уселась напротив Далмау и щедрой рукой налила в стаканы вино. Далмау сделал глоток.

– Пей, – велела она, сделав забавную гримаску.

Далмау взглянул на нее в растерянности.

– Хочешь меня напоить? – спросил он.

– Хочу, чтобы ты улыбнулся, этого довольно, – проговорила Эмма, но Далмау не изменился в лице. – Если для этого нужно тебя напоить... – Она показала на Бертрана, который считал вырубку. – У меня тут вина сколько угодно.

– Мне сейчас не до шуток.

– Пей, – не отставала она, поднося к губам собственный стакан и опрокидывая в себя половину. В конце концов и Далмау сделал то же самое. – Теперь до дна, – предложила она, снова подавая пример.

Далмау опять присоединился. Еще стакан. Теперь они выпили вместе, подняв стаканы. Еще один. Вино кончилось.

– Мы хотим напиться, – сказала Эмма Бертрану, снова наполняя графин.

Тот кивнул. Потом сказал, что сейчас выставит засидевшихся клиентов, гомонящих за столиками, погасит свет, а она потом закроет.

– Ты мне доверяешь? – спросила Эмма с лукавой улыбкой.

– Какой у меня выбор.

Новый графин опустел. Далмау пытался поговорить о доне Мануэле, преподобном Жазинте, сестре, матери... Эмма пресекала любые попытки.

– Молчи и пей, – твердила она. – Не хочу ничего слышать. Давай напьемся, Далмау. Мы тут одни. Воспользуемся случаем. Насладимся. Напьемся... и как следует выбьем пыль из матраса.

Уже почти месяц у них не было отношений. В последний раз, когда Монсеррат со своей бедой стояла у них перед глазами, ни один не получил удовлетворения.

– Ты имеешь в виду... – засомневался он.

– Пей!

Они напились допьяна и действовали неловко. В темноте, внутри столовой не могли даже раздеть друг друга. Еле держась на ногах, шатались и падали, а когда рухнули на одеяло, расстеленное на полу, им никак не удавалось сдернуть одежду, которая упорно цеплялась за разные места. Оба хохотали.

– Подними зад! – велела Эмма. – Иначе мне никак не снять с тебя штаны, – промычала она сквозь зубы, словно совершая титаническое усилие.

– Да я уже поднял! – протестовал Далмау, еще выше задирая лобок.

– Тогда... за что же я тяну?

– За пиджак, – пояснил Далмау и с хохотом шлепнулся задом на пол. – За проклятуший пиджак!

Они еще продолжали сражаться с одеждой, когда Эмме удалось извлечь член Далмау: вялый.

– Это что такое? – жалобно протянула она.

Большим и указательным пальцем взялась за крайнюю плоть и стала выкручивать, будто отжимая тряпку.

– Эй! – вскрикнул Далмау.

– Давай! Вставай, красавчик! – обращалась она непосредственно к члену. – Поднимайся!

Они выпили много, но молодость и страсть возобладали, так что пенис внял призыву и окреп и у нее в промежности выступила влага. Они соединились. Сделали это, не заботясь о последствиях, и семя Далмау излилось в Эмму, вызвав у нее долгий и глубокий оргазм.

Лежа на полу под ним, Эмма подняла ноги, скрестила их поверх бедер Далмау и крепко прижалась к нему, чтобы войти в ритм его экстаза. Глубоко дышала и улыбалась, пока он стонал, запыхавшись. Хотела поймать его взгляд, но увидела закрытые глаза под плотно сомкнутыми веками. Она очень любила его. И поняла, что он избавляется от всех своих проблем; эта уверенность обрадовала ее.

Здание было грандиозным, величественным, как все, построенные религиозными орденами на проспекте Диагональ. Оно занимало целый квартал между Травессера-де-Грасия и улицей Буэнос-Айрес. Рядом с приютом монахинь Доброго Пастыря, исправительным заведением для девочек, высилось здание приюта Дуран для малолетних преступников, занимая квартал между Травессера-де-Грасия и улицей Гранада. Чуть выше располагался монастырь Черных Дам, то есть бенедиктинок.

Эмма знала, что чуть дальше по Диагональ находится фабрика изразцов, где работает Далмау. На заре она выбрала самую старую одежду и обувь, пытаясь скрыть свои прелести, хотя это было нелегко, поскольку день обещал быть жарким, и пришлось надеть тонкую блузку; потом отправила кухню Росу в столовую, предупредить, что опоздает.

Монахини Доброго Пастыря посвящали себя евангельской проповеди среди девиц, сошедших с праведного пути; они приносили добавочный, четвертый обет: спасти их души. Девочки и девушки делились на три разряда: те, что оставались непорочными; беззащитные сироты, которых можно было еще вернуть к Господу; и полностью утратившие правый путь, или окончательно пропащие. Существовали жесткие границы; внутри приюта между этими замкнутыми группами не допускалось никаких контактов и взаимоотношений. В приюте жили около двухсот пятидесяти девочек и молодых девушек. Содержание около сотни из них оплачивал муниципалитет Барселоны, много лет назад городская управа поручила религиозной общине основать исправительное заведение для женщин города; остальные траты покрывали щедрые пожертвования от верующих, в частности от благочестивого дона Мануэля Бельо.

Эмма дернула за цепь, что скрепляла решетчатую дверь, которая вела во дворы, окружавшие приют. Привратница вышла из будки, расположенной за дверью, и через решетку спросила, чего она хочет.

Чего она хочет? В такие детали Эмма не вдавалась. Она здесь ради Далмау, да, ради Далмау скорее, чем ради Монсеррат. Конечно, и ради нее тоже, ведь Монсеррат ее подруга. Она понимала, откуда такая реакция, такое полное погружение в политику. Ее запятали, ее сломали как женщину. Нередко, в тишине и темноте ночи, когда кухня беспокойно спала рядом, в их общей кровати – Роса всегда вертелась и

брыкалась во сне, будто с кем-то дралась, – Эмма пыталась поставить себя на место Монсеррат, стремясь понять ее, может быть, принять участие в ее боли, чтобы смягчить ее. Тогда, с трепетом в сердце, воображала себя во власти всех тех негодяев: это ее насиловали, ее принуждали к самым постыдным и унижительным актам. Она зачастую не могла сдержать слез, вспоминая грязное, истощенное, поруганное тело подружки. Ей стали сниться кошмары, от которых она просыпалась вся в поту, с тяжело бьющимся сердцем. Она понимает, казалось ей, и Монсеррат, и ее брата. У Далмау не было альтернативы: из лучших побуждений он ввязался в неразрешимый конфликт. Эмма думала также и о Хосефе. Эта женщина относилась к ней как мать. Будет несправедливо заставить ее страдать еще больше.

– Чего ты хочешь, девочка? – настойчиво допытывалась привратница.

Эмма перевела дух, а женщина за решеткой оглядела ее сверху донизу.

– Меня зовут Монсеррат, – хрипло проговорила Эмма, – Монсеррат Сала, меня прислал дон Мануэль Бельо, керамист, у которого фабрика...

– Знаю, – перебила привратница, когда Эмма махнула рукой в сторону фабрики изразцов. – Ты уже давно должна была появиться, – сказала она с укором.

Потом открыла дверь, пропустила ее, снова закрыла и повела Эмму к главному зданию.

– Стало быть, ты и есть та анархистка...

Это изрекла монахиня средних лет с суровым лицом, в белом облачении и черной токе, которая приняла Эмму, окруженная образами, в темном, скупо обставленном кабинете, где устоялся какой-то затхлый запах.

– Да, – ответила та с апломбом, стоя перед столом, за которым сидела монахиня.

– Да... почтенная мать настоятельница, – поправила та девушку.

Только через несколько мгновений до Эммы дошло, чего от нее требуют, хотя она знала, что должна подчиняться. Иначе ее присутствие здесь будет бесполезным.

– Да... почтенная мать настоятельница, – повторила она смиренным тоном, потупив взор. Улыбнулась про себя: раз они этого

хотят, она их не разочарует.

– Ты готова изучать христианскую доктрину, молиться Господу нашему, любить Его, подражать Ему и к Нему приобщиться?

– Да, почтенная мать настоятельница.

– Готова служить Ему всю жизнь, отречься от Сатаны и греховных деяний его и тем самым пребывать в лоне святой матери Церкви, католической, римской и апостолической?

– Да, почтенная мать настоятельница, – повторила Эмма.

На несколько мгновений монахиня умолкла, пристально изучая Эмму, будто желая проникнуть в ее мысли. Наконец, не сделав ни единого движения, продолжила:

– В этом приюте мы боремся с кознями лукавого, направленными на женский пол, обучая воспитанниц искусствам и ремеслам, подобающим для женщин, не говоря уже о религиозном воспитании. Правильней было бы поместить тебя в интернат, как других, но дон Мануэль не сказал, что тебя следует обучить какому-либо ремеслу, не было речи и о помещении в интернат, что влечет дополнительные расходы. А посему ты будешь приходить каждый вечер...

– Почтенная мать, нет... – жалобно вскрикнула Эмма.

– Настоятельница.

– Настоятельница, – повторила девушка.

– Почтенная мать настоятельница, – стояла на своем монахиня.

– Почтенная мать настоятельница, – повторила Эмма, изо всех сил стараясь не потерять терпения.

– Вот так, Монсеррат. И не перебивай меня, когда я говорю.

– Но дело в том, что я не могу приходить по вечерам, – невзирая на предупреждение, настаивала Эмма. Мать настоятельница вопросительно взглянула на нее. – С тех пор как... Ну ладно, я вышла из тюрьмы, и меня не берут ни на одну из фабрик. Я устроилась в столовую, а по вечерам, именно в эти часы, там работы больше всего.

– Служение Богу не признает расписаний...

– Может быть, по утрам? На рассвете? Мне нужна эта работа, почтенная мать настоятельница. Я помогаю матери, она вдова и занимается шитьем на дому.

– Освоить ремесло и трудиться необходимо для того, чтобы следовать правым путем, – отметила настоятельница поучительным

тоном, – это, как я уже говорила, метод, избранный нашим орденом. Не нам препятствовать твоей работе.

Потом она расспросила монахиню, которая привела Эмму в кабинет после того, как привратница ее впустила в здание, и все время неподвижно, не произнося ни слова, стояла в нескольких шагах позади. Теперь она, кажется, выразила согласие, и настоятельница кивнула.

– По понедельникам, средам и пятницам будешь приходить сюда ровно к шести утра. Сестра Инес передаст тебе дальнейшие распоряжения.

Прощаться она не стала. Эмма дождалась, когда сестра Инес схватила ее за руку и потащила к двери из кабинета.

– Спасибо, почтенная мать настоятельница, – успела произнести она.

Тем же вечером, когда Далмау выходил от пиаристов, Эмма, видя, как он старается сдержать слезы и проглотить застрявший в горле ком, мешающий говорить, со всей нежностью взяла его за руку, и тогда он сдавленно произнес:

– Спасибо.

Зато Бертран возмутился, услышав об утренних часах трижды в неделю, ведь они могли совпасть с теми, когда они ходили за покупками. Несколько раз в неделю Эмма сопровождала хозяина на рынок. У Эммы были очень развиты вкус и обоняние – Далмау добавил бы, что и осязание тоже, – и это прежде всего помогало распознать фальсифицированные товары, производство которых процветало в Барселоне в те времена. Мясо обрабатывали бисульфитом натрия, производным от соды, хотя с мясом проблем не было, поскольку дядя Эммы, Себастьян, который работал на бойне, уверял, что поставляет качественный продукт, от здоровых животных, забитых под строгим ветеринарным контролем, никогда от умерших или больных, как в многих торговых точках города. Эмма не оспаривала качество мяса, которое поставлял дядя Себастьян, хотя иногда вкусовые ощущения били тревогу и заставляли усомниться.

Хлебу, хотя он и стоил дороже, чем в большинстве европейских городов, придавали белизну сульфатом бария; к сахарному песку примешивали известку; сласти и пирожные делали на сахарине и для

веса добавляли гипс; кофе в зернах откровенно подделывали; шоколад изготавливали из крахмала и продавали даже дешевле, чем чистый какао, из которого он якобы состоял; пиво осветляли свинцовой дробью и заменяли хмель стрихнином; уксус производили из уксусной, а иногда и серной кислоты; молоко разбавляли водой и снимали с него сливки; словом, прибегали к тысяче уловок, дабы извлечь максимум выгоды на рынке продовольствия.

Но больше всего фальсифицировали вино. Каталония, как и вся Европа, страдала от нашествия филлоксеры, мушки, которая к 1901 году уже уничтожила все каталонские виноградники и принялась атаковать виноградники Валенсии и других испанских регионов. Нехватка винограда в Каталонии привела к повышенному спросу на вино из Валенсии и других мест, до которых еще не докатилось бедствие.

В стране, где вино – продукт первой необходимости, цены на него взлетели до небес, что, соответственно, пробудило наглость и смекалку мошенников: одни бодяжили вино и добавляли хлорид натрия; другие, более подкованные, предпочитали вовсе его подделывать. Для такой цели годилась любая перебродившая жидкость, ее для большего объема разбавляли, а потом смешивали с немецким техническим спиртом, очень дешевым, чтобы получить нужный градус алкоголя. На последнем этапе пойло окрашивали в красный цвет фуксином. Люди его пили, некоторые даже нахваливали. Бертран не брезговал подавать его в определенных случаях и определенным клиентам, с условием, что с него самого за это вино не станут драть как за настоящее. В пятой части проб вина, поступавших в муниципальные лаборатории, находили посторонние вещества или продукт вообще оказывался поддельным.

Вот Эмма и пробовала сахар и вино, чтобы хозяина не надули. Еще ей нравилось готовить, и та или иная из дочерей Бертрана с радостью уступала ей место у плиты, где в чаду, в напряжении, среди разных запахов, а главное, под крики и распоряжения матери семейства готовилась пища, которую официантка несла во владения отца, в зал. Потом все три девушки брали на себя самую неблагоприятную работу: мыли полы и посуду, протирали столы и кухонные плиты.

Бертран нуждался в Эмме, и ему ничего не оставалось, как только уступить, приняв во внимание ее доводы: покупки можно делать и в остальные дни.

– Какая тебе разница, чем я занята в эти часы? – вскинулась было Эмма, но потом одумалась и привела благовидный предлог. – Я сотрудничаю с одним рабочим атенеом на Грасия, в эти часы работницы как раз приводят детишек, меня попросили помочь.

Бертран покачал головой, пощелкал языком и пригрозил, что заставит отрабатывать эти часы по вечерам.

– Еще чего! Может, к тому же и переспать с тобой? – возмутилась Эмма. – Я тружусь в твоём заведении больше часов, чем работницы на текстильных фабриках. Может, ты не в курсе, но рабочие борются за восьмичасовой рабочий день, некоторые даже и добились его, например каменщики в этом году.

Бертран склонил голову набок.

– Жизнь нынче тяжелая, Эмма, сама знаешь.

То была чистая правда. Катастрофа, как называли поражение, приведшее к потере колоний на Кубе и Филиппинах, а следовательно, заокеанского рынка, повлекла за собой закрытие многих текстильных фабрик в Каталонии: около сорока процентов занятых в отрасли остались без работы. Кроме того, в провинции Жирона, на севере Каталонии, в такой давней, богатой традициями индустрии, как производство пробки, где работало более тысячи двухсот фабрик, распределенных между двумястами населенными пунктами, была внедрена новая технология, что привело к увольнению около десяти тысяч рабочих. Большинство этих выброшенных на улицу, и текстильщиков, и занятых в производстве пробки, двинулись в Барселону и обнаружили там, что внедрение машин на еще оставшихся текстильных фабриках предполагает замену мужского труда женским, гораздо более дешевым; к тому же работницы более ловко управляют с ткацкими станками. В графской столице, стало быть, скопились тысячи безработных, низкой квалификации и по большей части неграмотных.

Невежество – вот главный враг анархистов и республиканцев. «Рабочий обязан учиться и бороться с невежеством» – гласил один из наиболее популярных в то время лозунгов. Анархисты поддерживали противостояние между наукой и верой, приходя к выводу, что Бог и

человек – несовместимые понятия. Церковь внедряла в сознание прихожан ценности конформизма и покорности, ограничивая тем самым свободу личности и ставя под сомнение ее способность к здравому суждению. Образование, которое сделает рабочего свободным и самостоятельно мыслящим, было необходимо для осуществления столь желанной социальной революции.

В ту эпоху множились школы при рабочих атенях. Анархист Феррер Гуардия собирался открыть Новейшую школу, где догматическое начетничество заменил бы живой процесс освоения естественных наук. И республиканцы во главе с Леррусом ринулись открывать школы при своих народных домах и братствах; к этому списку следует прибавить и публичные муниципальные школы.

И все-таки образование детей и юношества находилось большей частью в руках религиозных орденов: рядом с их великолепными, монументальными коллежами бледно выглядели частные школы, втиснутые в какую-нибудь квартирку, без оборудования, без ресурсов, где один-единственный учитель давал уроки в классе, состоящем из двадцати случайно подобранных учеников, разновозрастных, с разным уровнем подготовки.

Далмау повезло, он учился в Лютхе, а вот Эмма ходила в школу при рабочем атенее, где ее научили читать и писать, вычитать и складывать, готовить, шить, вышивать, и длилось это недолго, вскоре она пошла работать, сначала, на короткое время, на бойню вместе с дядей, потом в столовую Бертрана.

Теперь, пообщавшись с монахинями Доброго Пастыря, особенно с сестрой Инес, она вынуждена была признать, как горячо и самоотверженно заботятся они о девушках, и нормальных, и сбившихся с пути, с каким терпением их обучают – достоинства, которые уже отмечал Далмау, говоря о пиаристах.

– С кого-то они, конечно, берут плату, – рассказывал юноша, – но только затем, чтобы иметь возможность обучать многих других. Около шестисот учащихся посещают занятия у пиаристов бесплатно, большинство из них – дети рабочих, простых людей, которые живут здесь, в квартале Сан-Антони или в Равале.

– Но их обучают религии, – возразила Эмма.

– Ясное дело, – пожал плечами Далмау. – Не анархизму же обучать. Они священники. И обучают религии.

Так отвечал преподобный Жазинт, когда Далмау во время их бесед высказывал те же возражения.

– Ну да, – согласилась Эмма.

– Шестьсот детей из малообеспеченных семей – это много, Эмма. Маристы и салезианцы^[8] принимают столько же на тех же условиях, – добавил Далмау. – Бесплатно.

– Ну да, – повторила Эмма. Они немного помолчали. – Мы с тобой станем христианами? – рассмеялась она, скорчив забавную рожицу. – Я христианка по милости Божьей, – с нарочитой серьезностью провозгласила она постулат, который сестра Инес заставила ее выучить в первый же день. – Что значит «христианин»? – продолжала она еще более торжественно. – Человек Христа, – сама же и ответила на свой вопрос. – Что вы понимаете под «человеком Христа»? Человека, который верует в Иисуса Христа, подтвердил это крещением и готов к святому служению Ему.

Далмау, взмахнув рукой, перебил ее.

– Нет. Это тут ни при чем, ведь есть много... очень много священников, посвятивших себя преподаванию, благотворительности и здравоохранению. Они работают безвозмездно. Отдают себя избранному делу, как преподобный Жазинт. Надо признать это.

– И отречься от наших пролетарских принципов? – резко прервала его Эмма. – Наши отцы погибли, защищая эти идеалы! Как же классовая борьба?

До самого конца 1901 года Эмма ходила на уроки в приют монахинь Доброго Пастыря. Вставала до рассвета, чтобы успеть к шести утра. Привратница впускала ее и уже не сопровождала. Эмма слышала, как резвятся интернатские, иногда натыкалась на какую-нибудь из девиц или видела их в окнах, когда подходила к зданию, но стоило ей войти, как сестра Инес, всегда пунктуальная, вводила ее в комнату, удаленную от шума и беготни, и продолжала процесс ее обращения в христианство. Никто не усомнился в том, что она – сестра Далмау. У них и не было на то никакой причины.

– Читай, – велела монахиня, поприветствовав ее и вручив катехизис.

– Каков знак христианина? – послушно приступила она. – Святой Крест. Нации, царства и народы имеют знаки, которые их различают. Мы, христиане, – священная нация, царство Иисуса Христа, народ, им

приобретенный, и имеем своим отличием знак Святого Креста. Такой преславный девиз с самого начала христианства взяли себе христиане.

– Тебе все понятно? – спросила сестра Инес.

Чего тут не понять! Но Эмма ответила смиренным «да».

– Повторяй.

«Повторяй, повторяй, повторяй. Тебе все понятно? Читай дальше».

– Почему? Потому, что сей есть образ Христа распятого, на нем искупившего нас. Если бы народ христианский руководствовался мудростью человеческой, не выбрал бы он отличием Иисуса Христа, распятого на Голгофе, но Иисуса Христа во славе на горе Табор; но народу сему, рожденному у подножия креста, должно питаться плодами его, вот и избрал он, ведомый божественной мудростью, тот самый крест, который, изображая Иисуса Христа, прибитого к нему, вечно возглашает великую любовь Бога, умирающего во спасение людей.

– Повторяй.

– Повторяй, повторяй, повторяй! Я только это и делаю все время!

Эмма заметила, что жених, пусть и сочувствуя ей, нахмурился. От нее не ускользнуло, что с тех пор, как она начала жаловаться, Далмау избегал разговоров о пиаристах. Не превозносил их, как раньше, за то, что они посвящают себя образованию бедняков, но и не критиковал, как Эмма – монахинь Доброго Пастыря.

Очередной день, очередной сеанс:

– Что такое крестное знамение? Сложить указательный и средний пальцы правой руки и коснуться лба, груди, левого плеча, а потом правого, призывая Святую Троицу. Во имя Отца, и Сына, и Духа Святого. Аминь. Означив это, трижды перекрестив три части нашего тела, в которых душа осуществляет главные свои действия, и вооружившись для защиты от мира, от демона и от плоти, мы творим большое крестное знамение, все прочие обнимающее; и тем самым вооружаемся окончательно ради битвы за наше спасение под защитой Святой Троицы, во имя которой мы и творим крестное знамение.

– Повторяй.

– И так целый час, Хосефа. Целый час повторять, учить наизусть катехизис.

Мать Далмау и Монсеррат, как всегда, сидела за машинкой, но прервала шитье, чтобы поблагодарить Эмму за мучения, которые та терпела ради ее дочери. Эмма хотела повидать подругу, поболтать с ней, пусть и о политике, поглядеть на нее, к ней прикоснуться, посмеяться вместе. Если возможно, возродить дружбу, которая обошлась ей так дорого. Но проблема заключалась в том, что Монсеррат не появлялась дома. Скрывалась вместе с Томасом в домах анархистов, готовила революцию. «Знать бы, с кем она сожительствует, – жаловалась Хосефа. – Сама знаешь, каковы анархисты. Чего мне стоило держать в узде моего Томаса». Эмма знала, что анархисты неразборчивы в связях. Они проповедовали свободную любовь, половое влечение воспринимали как природный инстинкт и не признавали подавляющей его буржуазной морали, а заодно и института семьи, в которой, как считали многие, женщина занимает подчиненное положение, а мужчина подавляет, угнетает ее. Семья всего лишь отражает государственный авторитаризм на другом, более личном, уровне; она – Государство в миниатюре, а значит, достойна осуждения вместе со строгими моральными нормами, сдерживающими естественные влечения. Моногамный брак, супружеская верность, даже ревность – не более чем орудия подавления личности в руках Церкви и властных структур. Меньше года назад, прошлым летом, группа товарищей пригласила подруг искупаться голышом на пляже Барселонеты. Эмма с Монсеррат обсуждали такую возможность. «У меня жених», – привела свой довод Эмма. «Только им об этом не говори», – посоветовала подруга. Они все-таки пошли, но только поглядеть.

– Повторяй за мной: какая шестая заповедь? Не прелюбодействуй. В чем наставляет нас эта заповедь? Быть чистыми и целомудренными в мыслях, словах и делах.

Они шли по Ронда-де-Сан-Антони по направлению к университету, и Далмау слегка прикоснулся пальцами к ее ягодицам.

– Мы могли бы найти местечко... – шепнул он ей на ухо. – Например, пойти домой к твоему дяде.

Эмма чуть не расхохоталась, когда парень застыл на месте, воззрился на нее, широко раскрыв глаза, после того как она прочла ему шестую заповедь, которая свежа была в памяти, ведь не далее как

утром девушка повторяла ее не раз и не два. Но ей было не до смеха: слишком все надоело.

– Но к чему ты это говоришь? – спросил Далмау и попытался обнять ее.

Она увернулась.

– Мы не должны прикасаться друг к другу, – предостерегла она. – Разве твои пиаристы тебя не учат Божьим заповедям? Вот слушай: гнев побеждается смирением сердца. Просто, да? Зависть подавляется в груди, там подчас и остается, – продолжала Эмма. – Но похоть не победить иначе, как только убегая от нее. – Эмма отступила на шаг, будто подкрепляя свои слова действием. – Страсть эта настолько грязна, что пятнает все, к чему прикасается, и чтобы она не запятнала нас, мы не должны прикасаться друг к другу.

– Ты это серьезно, милая? – Далмау попытался выдавить улыбку.

– Совершенно серьезно.

И они пошли дальше каждый сам по себе, даже не соприкасаясь руками.

– Чем закончится весь этот фарс? – спросила Эмма через несколько шагов, уже перед университетом; в этом здании строгих очертаний, но, как ей рассказывали, великолепном внутри, состоящем из центрального корпуса и двух крыльев, увенчанных башнями, располагались факультеты словесности, права и естественных наук, а также школа архитектуры и институт Бальмеса.

Далмау не знал, что отвечать. Обман Эммы мог раскрыться, или Монсеррат могла попасть в одну из многих облав, какие устраивали на анархистов. Он ничего не мог поделать, но понимал, что в любом случае пострадают не только девушки, Эмма в меньшей степени, поскольку всего лишь выдала себя за подругу, но и он сам: дон Мануэль обязательно отыграется на нем.

– Меня окрестят? – спросила Эмма, прерывая размышления жениха.

– Нет! – воскликнул Далмау.

– А что тогда?

Ответ они получили 16 декабря. В этот день рабочие основных металлургических и металлообрабатывающих предприятий Барселоны объявили забастовку. Литейщики, слесари, котельщики, ламповщики,

скобовщики, жестянщики и работники других смежных профессий требовали повышения заработной платы и сокращения рабочего дня на час, с десяти часов до девяти, чтобы можно было нанять больше рабочих и тем самым противостоять такому бедствию, как безработица.

Забастовщики разделились на пикеты примерно по тридцать человек и стали ходить по городу, принуждая бастовать несогласных. Через день, ранним ненастным утром, предвещавшим холода уже недалекой зимы, Монсеррат явилась в столовую Бертрана; тот узнал ее и пропустил: его больше беспокоили остальные двадцать девять, которые выстроились у двери, выкрикивая лозунги и приводя в ужас честной народ.

Ей не обязательно было проникать в кухню, все, кто там находился, вышли в зал, привлеченные шумом. Эмма поразилась, увидев, в каком диком возбуждении пребывает Монсеррат. Они не виделись уже несколько месяцев.

– Идем с нами, товарищ! – призывала Монсеррат Эмму, расхаживая между столами и потрясая сжатым кулаком. – На борьбу!

Многие из рабочих, сидевших в зале, криками приветствовали Монсеррат. Иные повскакали с мест. Тарелки и стаканы полетели на пол. С полдюжины металлургов, ждавших у дверей под дождем, вошли внутрь. Бертран взглядом умолял Эмму поскорей увести подругу. Крики в зале становились громче. Какой-то силач заставлял подняться тех, кто не встал. Один из них, плюгавый, но свирепый, дал отпор. Жена Бертрана, видя, что атмосфера накаляется, подтолкнула Эмму к ее подруге.

Эмма заколебалась, но хозяйка попросту взмолилась:

– Иди с ней, или они здесь все разнесут!

Свирепый хилятик получил тычок и с грохотом свалился на стол. Среди взрывов хохота слышались новые проклятия попам и буржуям.

Монсеррат все еще потрясала кулаком, но уже не так энергично: скосив глаза на Эмму, она не могла не заметить ее безразличия. И опустила руку.

Жена Бертрана еще сильнее подтолкнула Эмму.

Не очень понимая, что происходит, Эмма поглядела на подругу, от которой ее отделяло два ряда столиков, и отрицательно покачала

головой. Этим самым утром, до того, как пробило шесть, она при блеске молний в страхе бежала по городу, к приюту монахинь Доброго Пастыря. «Какие добродетели даруют нам таинства вместе с благодатью? Основные три, богословские и священные. Каковы они? Вера, надежда и любовь». Она могла повторить без запинки! Сестра Инес вдолбила ей это несколько часов назад в плохо освещенной, холодной комнате, где Эмма дрожала в мокрой одежде, прилипавшей к телу. Все ради Далмау и Хосефы, но и ради подруги тоже – еще бы нет! – чтобы все думали, будто она постигает евангельские истины, и не посадили ее снова в тюрьму. И вот она, Монсеррат, ликующая, полная жизни, зовет Эмму на борьбу за рабочее дело.

Подол у Эммы был еще мокрый, хотя она и высушила платье перед очагом на кухне. Он мешал: цеплялся за ноги и приводил на память бешеный бег к приюту. К чему все эти усилия, если Монсеррат возглавляет пикет забастовщиков? «Вера, надежда и любовь». Эмма рассмеялась и покачала головой.

– Не пойду, – ответила она, глядя на Монсеррат.

– Ты стала буржуйкой? – насмешливо проговорила та; рабочие, стоявшие вблизи, замерли, ожидая, что из этого выйдет.

Эмма показала свои руки, одарив собравшихся надменным взглядом.

– Хочешь, пойдём вместе помоем посуду? – вместо ответа спросила она. – Скоро накопится много грязной, – добавила, обводя столики рукой.

– Так оставайся драить ее! – презрительно бросила Монсеррат, вновь воздела кулак и выкрикнула: – Стачка!

Пикетчики подхватили призыв Монсеррат и шумной толпой вывалились из заведения, оставив после себя тишину, которую через несколько мгновений нарушил Бертран:

– Подберите все, что упало! – велел он женщинам.

Забастовка металлургов не склонила хозяев к уступкам. Через две недели извозчики, плотники и докеры, разгружающие уголь в порту, присоединились к стачке. Не обошлось без актов насилия: один из хозяев стрелял в пикетчиков, которые пытались закрыть его мастерскую, и ранил троих. Пикетчики запугивали тех, кто не присоединялся к забастовке, и даже нападали на них. В начале января

1902 года конная жандармерия атаковала рабочих, собравшихся у реки Бесос, в местечке под названием Ла-Мина; их было три тысячи человек, в том числе немало женщин. Много раненых, сорок человек арестовано. Маленькая дочка одного металлурга умерла от недоедания. У бастующих кончились деньги, нечем стало кормить семью. На похороны пришло больше трех тысяч человек.

В конце января общества рабочего сопротивления собирали по десять сентимо в неделю с каждого для помощи бастующим и их семьям.

Монсеррат, которая до тех пор была полностью погружена в борьбу, отдавалась ей телом и душой, даже ночевала на улицах, все время начеку, на страже, стала снова появляться в доме матери. Она приходила по вечерам, к ужину, потом уходила снова. Далмау хорошо зарабатывал, сестра знала, что у него даже есть сбережения. В доме Хосефы не переводилась еда. Сперва Монсеррат забирала остатки, чтобы накормить товарищей, через несколько дней стала их приводить с собой.

Стараясь избегать этих ужинов, Далмау оставался работать до зари. Он знал, как сестра обошлась с Эммой, которая решила больше не ходить к монахиням на евангельские проповеди.

– Пропади она пропадом! – возмутился Далмау, имея в виду сестру.

Это, боялся Далмау, и должно было вот-вот случиться. Преподобный Жазинт поставил ему на вид, что Монсеррат перестала ходить на уроки катехизиса. То же сделал и дон Мануэль.

– Я дал честное слово генерал-капитану, сынок, – предостерег он. – Если твоя сестра перестанет посещать уроки, она вернется в тюрьму.

– Разве вам недостаточно моих стараний? Я могу делать гораздо больше, дон Мануэль. Разве этого не довольно? Монсеррат плохо чувствует себя... Ей очень худо пришлось в тюрьме, и она до сих пор не оправилась. Бывают... бывают дни, когда она не хочет выходить из дому.

Учитель кивнул, поджав губы, не до конца убежденный.

Пока она в безопасности, думал Далмау, шагая домой после полуночи. Дон Мануэль вроде бы поверил в его оправдания, по

крайней мере, принял их. И если он не донесет, ни армия, ни полиция не помчатся арестовывать сестру: у них были проблемы посерьезнее.

Едва Далмау открыл дверь в квартиру, как на него навалилась усталость. Такое с ним часто бывало: он уже поужинал и хотел поскорее лечь. Пако, сторож, ходил за ужином для него в ближайшую столовую и приносил в мастерскую; в большинстве случаев двое мальчишек, которым фабрика заменила домашний очаг, увязывались за ним в надежде что-нибудь для себя урвать, и каждый раз у них это получалось. Но на этот раз мать и сестра ждали Далмау сразу за дверью, в комнате, служившей кухней, столовой и гостиной.

– Это правда – то, что мне рассказала мама? – спросила Монсеррат, даже не поздоровавшись с братом.

Далмау засопел, снимая пальто.

– Полагаю, да, – ответил он, присаживаясь к столу, за которым расположились женщины. – Раз уж мама рассказала тебе.

– Правда, что Эмма ходила вместо меня к монашкам?

Далмау взглянул на Хосефу.

– У меня невольно вырвалось, – виновато сказала та. – Я не могла допустить, чтобы дочь продолжала сомневаться в принципах Эммы. Монсеррат только и делала, что клеймила ее позором.

– И не отрекусь, мама, ни от единого слова! Выставить меня христианкой! – со всей надменностью воскликнула Монсеррат.

– Это не все, – устало прервал ее Далмау. Даже неожиданная встреча, даже дерзкие речи сестры не взбодрили его; наоборот, то, что сестра обо всем узнала, принесло ему явное облегчение. – И я пообещал, что перейду в веру и буду давать уроки рисования у священников-пиаристов, здесь рядом. – Он большим пальцем показал назад, через плечо. – И даю. И терплю проповеди преподобного Жазинта... Он неплохой человек, – добавил Далмау, – но проповеди я терплю ради тебя.

– Ради меня! – взорвалась Монсеррат. – И ты, и Эмма – даже мама! – считаете, что сделали это ради меня? От моего имени поддались шантажу попов и буржуев? Этих подонков! Лучше мне было остаться за решеткой! Я предупредила тебя, когда ты мне это предложил в тюрьме.

Далмау не узнавал сестру. Ее лицо пылало гневом, взгляд чуть не пронзал насквозь. Все старались ради нее, проявили великодушие, но

не дождалась даже благодарности. Борьба за рабочее дело, неистребимая ненависть к буржуям и католикам ослепляли ее.

– Может, и так, – мрачно проговорил он. – Но ты просила, чтобы я тебя оттуда вытащил, помнишь?

Монсеррат вскинулась, хотела возразить, но Далмау остановил ее, взяв за руку. Этот ласковый жест смутил девушку, и Далмау продолжал:

– Прости, я, вероятно, ошибся. Ошибся наверняка, – повторил он, вставая и направляясь в спальню. – Спокойной ночи. А, – добавил он перед тем, как закрыть за собой дверь. – Вероятно, тебя снова арестуют. Эмма больше не ходит к монахиням.

– Так пусть Эмму и сажают в тюрьму! – заходя в свою комнату без окон, услышал он крик Монсеррат. – Ведь это она не исполнила свой долг, верно? – вне себя вопила сестра.

Девушки не искали встречи. Далмау откровенно рассказал Эмме о ссоре с сестрой. Хотел найти у невесты понимание и сочувствие, в которых отказала ему Монсеррат. Он был убежден, что сделал то, что должен был сделать: сестра молила его со слезами, мать настаивала, и сам он в глубине души требовал этого от себя, но добился одного лишь презрения.

– Неблагодарная! – сокрушалась Эмма. – Сколько дней я каждое утро талдычила все эти глупости насчет Бога, его растреклятой Матушки и всех святых, а ей спасибо трудно сказать. Говоришь, меня же еще и винит?

И все-таки девушки встретились.

Забастовка продолжалась, но металлурги не могли добиться исполнения своих требований. Хозяева упорно не шли ни на какие уступки, хотя иные политики левого толка предупреждали, что противостояние может перерасти в кровавую баню. Положение становилось невыносимым, и в воскресенье, 16 февраля 1902 года в Барселоне состоялось более сорока митингов солидарности. На один из них, в цирке «Испанский Театр» на Параллели, пришло больше трех тысяч человек и были представлены тридцать рабочих обществ.

На всех этих собраниях анархисты призывали к всеобщей забастовке. На следующий день, 17 февраля, сто тысяч человек не вышли на работу, Барселону парализовало. Тем же утром произошли

первые стычки с жандармерией, были убитые и раненые. И снова пикеты, состоящие из женщин под красными знаменами, выказывали самый яростный боевой дух, заставляя тех, кто медлил, закрывать фабрики и магазины. Весь транспорт встал, газеты не печатались, бойня закрылась, и забастовщики препятствовали подвозу каких бы то ни было товаров в город. Военные взяли на себя управление городом, объявили осадное положение; солдаты, вооруженные маузерами и пулеметами, завладели улицами. Столовая «Ка Бертран» закрылась. Закрылись учебные заведения. Фабрика изразцов дона Мануэля Бельо – тоже, и учитель с семьей покинул город, как это сделали многие богатые буржуа и промышленники, спасаясь в своих летних особняках в Маресме или Кампродоне. Несмотря на то что работа прекратилась, Далмау каждый день приходил на фабрику. Пако незаметно открывал ему. Там Далмау рисовал и писал маслом в доводящей до дрожи тишине и почти в потемках, чтобы не привлекать внимание пикетов. Он много рисовал сестру, сделал тысячу портретов Монсеррат.

В те дни народ воздвиг на улицах баррикады: мешки с землей, старая мебель, повозки, брусчатка, вывороченная из мостовой... Через три дня после объявления забастовки за одной из таких баррикад, сооруженной возле рынка Сан-Антони, стояла Эмма, вместе с сотнями бастующих; многих она знала: они жили в том же квартале, ходили в ту столовую, где она работала, и всем осточертела такая жизнь и такие условия труда. «Задумайтесь, буржуи!» – кричала Эмма вместе со всеми, потрясая кулаком. Такой лозунг появился на тысячах плакатов, расклеенных по стенам барселонских домов.

Лил дождь. Сильный дождь.

Прошел слух, что приближается подразделение солдат, и люди разделились: одни, Эмма в их числе, бросились укреплять баррикаду, хотя бы своим присутствием; другие отступили на расстояние, которое сочли безопасным, и оттуда продолжали кричать, хотя выкрики уже были окрашены страхом. Но прежде солдат на баррикаду прибыл пикет анархисток под насквозь промокшими красными знаменами; женщины держали их высоко и размахивали ими изо всех сил, чтобы полотнища развевались. Во главе группы яростных революционерок Эмма заметила Монсеррат: та, запыхавшись, отдавала приказы охрипшим от крика голосом.

Монсеррат и Эмма столкнулись за баррикадой. Обе промокли до нитки. Одежда прилипла к телу, мокрые волосы разметались по щекам.

– Что ты здесь делаешь? – с презрением бросила Монсеррат. – Шла бы в церковь молиться.

– Если бы я не ходила в церковь, тебя бы сейчас здесь не было. Неблагодарная.

– С чего бы мне быть благодарной тебе? Я ничего у тебя не просила и ничего тебе не должна. Понятно?

– Легко говорить сейчас, вне стен «Амалии». Разве ты не просила брата вызволить тебя оттуда? Не молила его в слезах?

Их спор слышали женщины, пришедшие с Монсеррат, и та поняла, что после слов Эммы ей необходимо укрепить свои позиции.

– Я попала в тюрьму, защищая то же дело, за которое мы боремся сейчас. Я ни за что бы не согласилась выйти оттуда такой ценой: чтобы ты или мой брат трепали мое имя, мою борьбу и мои идеалы по монастырям, приютам и церквям.

Некоторые из женщин одобрительно зашептались, Эмма взгляделась, пытаясь узнать кого-то, кто ходил с ними в пикеты раньше, но не получилось. Все были новенькие, ярые анархистки.

– Меня арестовали и посадили в тюрьму как анархистку, – продолжала Монсеррат. – И за это я погибла бы в тюрьме, как мой отец. Гордясь моими убеждениями! Моей борьбой за дело революции!

Революционерки, окружавшие Монсеррат, при этих словах разразились восторженными криками. Заплескались красные стяги. Кто-то вытолкнул Эмму из группы, как будто она – враг, ренегатка, которой не место на баррикаде. Провожая бывшую подругу взглядом, Монсеррат пальцем указала на нее:

– Ты не имела права называться моим именем!

Эмма, которую теперь толкали со всех сторон, старалась не потерять из виду Монсеррат, в страхе перед ненавистью и гневом, которые переполняли ту, что была когда-то ее подругой. И, по крайней мере в сердце Эммы, ею оставалась. Эмма любила ее, у нее в мыслях не было ей навредить.

– Ты изменила делу, покорно подчинилась попам и буржуям, продалась капиталу, – безжалостно продолжала та.

Диатрибу Монсеррат прервали выстрелы. То были вольные стрелки из бастующих, они устроились на крышах и пытались поразить солдат, которые неуклонно приближались.

– Предательница! – крикнула Монсеррат, указывая на Эмму.

Военные установили пулемет на достаточном расстоянии, чтобы оружие революционеров, скверное и устарелое, не причинило бы никакого вреда. Офицер велел восставшим разобрать баррикаду и очистить улицу. Анархистки, укрывшись за ненадежным укреплением, вместо ответа воздели свои стяги и яростно замахали ими.

Эмму потащила за собой толпа забастовщиков, которые бежали с баррикады, чтобы укрыться в безопасном месте. Она не хотела терять из виду Монсеррат. Запнулась, пошатнулась и оказалась одна на улице, большинство бежавших далеко за ее спиной, засевшие за баррикадой анархистки под красными знаменами и некоторые из бастующих – впереди, а за ними, еще дальше – солдаты. Монсеррат по-прежнему глядела на нее, стоя спиной к баррикаде.

Эмма раскрыла объятия, слезы текли у нее по щекам.

Гулко прозвучал очередной выстрел с крыши. Старик, укрывшийся в парадном, делал Эмме знаки, чтобы она поскорее присоединилась к нему. Две анархистки махали руками, показывали Монсеррат, чтобы та пригнулась, спряталась за баррикадой. Ни та ни другая не сдвинулись с места.

– Сестра! – крикнула Эмма.

– Нет! – гордо выпрямившись, отвечала Монсеррат. – Я тебе не сестра!

– Я люблю тебя!

– Укройте! – кричала одна из женщин.

– На землю! – сорвалась на визг другая.

Было поздно.

Сметая все на своем пути, затарахтел пулемет. Сухой треск пулеметной очереди отдавался от стен в тысячу раз сильнее, чем отдельные выстрелы забастовщиков, засевших на крышах.

Эмма увидела, как голова подруги резко дернулась вперед, словно стремясь отделиться от тела, а лицо взорвалось. Потом Монсеррат упала ничком на мостовую и больше не двигалась, и алая, блестящая кровь стекала в лужи, оставшиеся после дождя.

Далмау старался не отходить от матери во время прощания с телом Монсеррат; да он и не смог бы. Не хотел ни с кем говорить, вновь рассказывать о произошедшем, опять выслушивать соболезнования, сетования и повести о чужих несчастьях, как будто страдания других людей способны хоть на йоту утешить его и помочь пережить потерю сестры. Тело Монсеррат лежало в столовой, но в закрытом гробу: во-первых, запах уже ощущался, а во-вторых, выходное отверстие пули изуродовало лицо, исковеркав один глаз и часть носа. В разгар всеобщей забастовки не нашлось похоронной конторы, где скрыли бы увечья и нанесли грим, чтобы Хосефа в последний раз могла взглянуть на дочь. «Какая ирония!» – без конца твердил про себя Далмау.

Внутри квартиры, на площадке, даже на узкой лестнице и на улице тоже толпились товарищи Томаса, женщины с баррикады, те, что махали красными знаменами; какая-то дальняя родня, соседи, ткачихи с фабрики. Атмосфера складывалась напряженная: прошел слух, будто военные застрелили Монсеррат, воспользовавшись тем, что она ссорилась с подругой и оказалась легкой мишенью.

«С кем ссорилась?» – спросил кто-то. Женщины загалдели хором. «С девушкой по имени Эмма». «Невестой брата». «Да вы все ее знаете: ближайшая подруга, с самого детства, почти сестра». «Говорят, что так она и назвала ее напоследок: сестра». «Кто кого назвал?» Вопросы и ответы, предположения, все более невероятные, превратившиеся наконец в прямую ложь, поднимались вверх по лестнице и смолкали у ног Хосефы; вся в черном, та бестрепетно восседала на стуле подле гроба, где лежало тело ее дочери, на которое сыновья ей не разрешили взглянуть.

«Такая наглая!» «Я вытолкала ту девку с баррикады, а она остановилась на полпути. Прямо посреди улицы, будто бросала вызов Монсеррат». «Я тоже гнала ее прочь». «Дотуда, где она стояла, не долетали пули солдат!» «Там, позади, одна из наших считает, что она это нарочно». «Завидовала». «Кто?» «Да девка та!» «Вот гадина!»

Эмма провела ночь у тела подруги вместе с Хосефой, Далмау и Томасом, но не смогла вернуться после того, как забежала домой привести себя в порядок и надеть черное платье, которое соседка одолжила ей для похорон, назначенных на это утро. Дождь перестал, хотя серое небо угрожало новым зарядом. Барселона тонула в слякоти, казалась особенно грязной, и на улицах воняло хуже, чем обычно: из-за дождя стоки и колодцы переполнились и вода под почвой застаивалась.

Эмма шла под руку с кузиной Росой, обе решили не обращать внимания на шепот, сопровождавший их, пока они продвигались по улице Бертрельянс, где те, кто не поместился на площадке и лестнице, дожидались выноса гроба. Девушки обменялись вопросительным взглядом. Не может быть, молча согласились обе, они, наверное, недослышали... Немыслимо, чтобы это относилось к Эмме.

– Вы позволите? – вынуждена была спросить Роса у женщины, которая не давала им пройти на третий этаж.

На лестнице два человека не могли разминуться, и если сталкивались двое соседей, одному приходилось прижаться к стене, чтобы пропустить другого.

Женщина не сдвинулась с места.

– Простите, – настаивала Роса, – нам нужно вверх. Вы позволите?

– Нет, – прорычала та.

– Дело в том, что она...

Роса через плечо показала на Эмму.

– Мы знаем, кто она. Шлюха, виновная в смерти нашей соратницы.

Она плюнула в Эмму, но плевков попал на бедро кузины Росы.

– Что вы творите? Вы с ума?.. – изумилась Эмма.

Она не успела закончить вопрос, как еще две женщины показали из-за спины первой. Полные ярости, с лицами, искаженными гневом. «Убирайся». «Вон». «Мы не хотим тебя тут видеть!» «Убийца!»

Плевки, крики, оскорбления. Все больше и больше лиц оборачивалось к ним. Когда на девушек начали напирать, Роса в страхе отпрянула, и обе чуть не свалились вниз. Потом бегом выбежали из здания.

– Убирайтесь отсюда! – присоединились ждавшие на улице, когда кухни уже думали, что спаслись от революционерок.

– Это все неправда! – пыталась защититься Эмма; лицо ее пылало от гнева, точно так же, как и лица анархисток, изгоняющих их. – Я бы никогда не причинила вреда Монсеррат. Она была моей подругой.

Люди на улице вроде бы стали прислушиваться, но тут в дверях появились четыре активистки, полные решимости закончить начатое на лестнице. Не говоря ни слова, они набросились на Росу и Эмму с кулаками, толкали и пинали их. Никто не встал на их защиту. Эмма пыталась обороняться, Роса тоже, они даже и вернули кое-какие удары, но, увидев, что из парадного выходят еще женщины, предпочли сбежать.

Переполоха на лестнице и внизу, на улице, в квартире третьего этажа никто не слышал: люди, забыв о приличиях, громко переговаривались, ожидая момента, когда все отправятся на кладбище.

– И что нам теперь делать? – спросила Роса у кухни.

– Если Хосефе придется пережить скандал на похоронах дочери, я никогда себе этого не прощу. Давай лучше уйдем.

Она проплакала всю прошлую ночь. Страдала, вновь и вновь задавалась вопросом, насколько она виновна в смерти своей подруги Монсеррат. «Ты не имела права», – обвиняла та. «Предательница!» – бросила ей в лицо. И Эмма в ночной тишине, не смыкая глаз, из которых лились слезы, пыталась оправдаться, ведь она все делала только ради нее, ради Монсеррат; но сегодня толпа женщин, революционерок, преданных борьбе, как ее подруга, как и она сама когда-то, обвинили ее, ни на что не глядя. Все верно: если бы ее там не было, если бы она не встала посреди улицы, пытаясь убедить Монсеррат, пули не разнесли бы той голову. А если бы она не подменила подругу у монахинь, они бы не поругались. Не нужно было вмешиваться. Это утверждение она повторяла про себя, будто уча с монашками катехизис: вмешиваться было не нужно.

Наконец, не устояв перед чувством вины, необъятным и неуправляемым, Эмма, едва они отошли от улицы Бертрельянс, решила распрощаться с кухней Росой, которая направилась вместе с анархистами на кладбище. «Ты куда?» – спросила Роса. Нужно кое-что сделать, отвечала Эмма, для погибшей подруги. Роса поняла, что

других объяснений не дождется, и Эмма двинулась к исправительному заведению монахинь Доброго Пастыря.

Сестра Инес дает урок воспитанницам, сообщили ей у входа.

– Тогда я бы хотела видеть... – Эмма засомневалась, правильно ли она помнит, как нужно обращаться, но спорить с привратницей времени не было. – С достопочтенной матушкой настоятельницей.

– Достопочтенная мать настоятельница занята другими делами.

– Скажите ей, что это важно, очень важно, у меня срочное сообщение от дон Мануэля Бельо, того, что выпускает изразцы, – перебила ее Эмма, – того, что изразцы выпускает, – повторила она для пущей важности.

– Да в этом учреждении все знают, кто такой дон Мануэль Бельо. Жди тут.

– Надеюсь, это в самом деле важно. – Мать настоятельница сидела за столом в том же кабинете, где по-прежнему пахло затхлостью. – Я не собираюсь терять время зря.

– Я хочу отречься от веры! – выпалила Эмма.

Монахиня несколько секунд помолчала, чтобы скрыть удивление.

– Ты не можешь этого сделать, – сказала она наконец.

– Еще как могу! Не хочу быть христианкой! – вспыхнула Эмма. – Я – анархистка! Не верю ни в Бога, ни в Богородицу, ни в...

– Дочь моя, – попыталась монахиня сгладить ситуацию, которая вот-вот могла выйти из-под контроля, – ты не можешь отречься, ты не христианка, тебя не крестили.

Эмма помнила, как сестра Инес говорила, что отречение в глазах Церкви – один из самых страшных грехов, и теперь спокойный тон настоятельницы и довод, который та привела, ее заставили поколебаться, но на одну секунду, не больше. Она настоит на своем!

– Я не хочу иметь с вами ничего общего, – упорствовала она.

– И прекрасно.

– Хочу, чтобы вы порвали бумагу, где записаны мои данные.

– Нам нет никакой нужды ее хранить. Мы предадим ее огню, а сами станем о тебе молиться.

– Не хочу, чтобы вы обо мне молились! – вскричала Эмма.

– Бог нас учит...

– Бог ничему не учит вас! Бога нет! – заорала Эмма так, чтобы все исправительное заведение могло ее услышать. – Вы, гарпии, выдумали

Бога, чтобы подчинить себе всех этих женщин, которые заперты здесь, заставить их работать на вас даром, служить богачам, задирая юбки и сгибаться перед господами, и не возражать, и не бороться с нищетой...

– Монсеррат уже уходит, – прервала настоятельница, обращаясь к монахиням, которые скопились у дверей кабинета, напуганные криками. Эмма продолжала сверлить ее взглядом. – Дочь моя, – продолжала настоятельница все тем же ласковым тоном, – или ты сейчас уйдешь, или мы задержим тебя и вызовем полицию. Тебе же будет хуже. Я услышала твое послание. Ступай с Богом.

– Опять вы с вашим Богом! – Эмма затрясла головой. – Да здравствует революция! – крикнула она, с вздетым кулаком пробираясь между монахинями. – Вот погребение, достойное тебя, Монсеррат, подруга... сестра! – шептала она, уже направляясь к выходу. – Вот почести, которые лично я тебе воздаю.

Траурное шествие, пересекая старый город и Раваль по направлению к юго-восточному кладбищу Монжуик, следовало за гробом без креста на крышке. Люди расступались, обнажали головы; некоторые по ошибке или сознательно осеняли себя крестным знаменем, что порой вызывало нарекания со стороны скорбящих. «Она не была верующей!» – процедил анархист какой-то женщине. «Оставь эти заклинания для своих мертвецов!» – пробурчала другая какому-то старику.

Далмау шел за гробом, который несли на плечах Томас и еще три товарища, и поддерживал мать то за локоть, то за талию: Хосефа висела на нем мертвым грузом; следуя за телом дочери, она едва передвигала ноги и, казалось, вот-вот рухнет на землю. Он сам хотел бы упасть и лежать вниз лицом, чтобы гроб, за которым они шли, удалился из поля зрения, как будто это помогло бы умерить боль.

С тех пор как они вышли из дому, с трудом спустив гроб по лестнице, Далмау искал Эмму взглядом. Он не мог отойти от матери. И свою девушку не увидел. Может быть, она шла позади, хотя почему – непонятно. Его невеста должна быть здесь, рядом с ними, как член семьи. Далмау спросил у матери, но та не ответила. Он то и дело оборачивался. Спросил у одной из фабричных работниц: та на полдороге подошла к нему, прочитав беспокойство во взглядах, которыми он оглядывал толпу. Ее здесь нет, сообщила девушка, отойдя

в сторонку, пропустив тех, кто шел впереди, и потом вернувшись на свое место. Далмау не мог вообразить причины, которая могла бы объяснить отсутствие Эммы, разве что... разве что с ней что-нибудь приключилось, какое-то внезапное недомогание. Прошлой ночью, когда они сидели у тела после того, как власти выдали его, она, видел Далмау, была по-настоящему расстроена и не хотела с ним говорить. В самом деле, выяснив обстоятельства, при которых погибла его сестра, и обсудив детали погребения, они больше не обменялись ни словом. Она плакала не переставая, а когда рыдания стихали, погружалась в себя; Далмау не хотел нарушать эту скорбь. Вдруг она заболела... Далмау стиснул зубы и помотал головой; мать споткнулась, и это ему напомнило, о ком сегодня он должен заботиться прежде всего.

Дорога на кладбище, между склонами гор и берегом моря, была длинной. За верфями начинались сады, затем узкий проселок между морем и прибрежными скалами – это место называлось Моррот – постепенно поднимался в гору, до самого погоста. Далмау не нашел экипажа, чтобы перевезти гроб. Официально забастовка закончилась; на Эшампле появились шарманщики, что было воспринято как возвращение к нормальной жизни, и их механическая музыка сопровождала движение трамваев, которые и водили, и сопровождали военные; в порту снова начали разгружать уголь, в город стали поступать продукты, а на улицы высыпали продавцы газет, что генерал-капитан упорно считал основным признаком общественного примирения.

Лавочки, магазины, фабрики и заводы следовали той же тенденции. Рабочие не сдали позиций, ведь смысл заключался в том, чтобы заявить о себе, провозгласить свое достоинство. Претензии, и экономические, и касающиеся условий труда, были забыты. Конец забастовки воспринимался как праздник, и на третий день все уже ликовали, рабочие отмечали победу танцами и застольем. Металлурги, с чьих требований началась забастовка, вернулись на рабочие места, не добившись никаких уступок. Неделя всеобщей забастовки! Власти восхваляли гражданскую доблесть стачечников! Неделя, не имевшая никаких итогов, кроме погибших, число которых, по мнению тех, кто вел подсчеты, колебалось от десятка до ста с лишним, не говоря уже о множестве раненых и сотнях арестованных.

Забастовка привела к закрытию рабочих обществ и к чрезвычайному положению, которое длилось в Барселоне больше года: в город были стянуты войска, полиция получила подкрепление, дабы предотвратить новые стачки; что рабочие уж точно доказали, так это способность подняться на всеобщую забастовку, в чем, возможно, и состояло единственное достижение этой полной хаоса недели. Но, по правде говоря, истинным итогом стачки явился окончательный отрыв анархистского движения от рабочей массы; либертарики с треском провалились, бросив клич и ничего не добившись. Рабочие уже не станут вдохновляться их лозунгами, тем более не поверят в обещанное ими идиллическое общество. Нет, теперь борьбу за права пролетариев возглавят республиканцы.

Таким разочарованием, таким пессимизмом была окрашена речь, которую произнес Томас перед погребением сестры в общей могиле на ничейной земле, отделенной от освященной католической части. Далмау всем телом чувствовал, как мать содрогается от безмолвного плача; он хотел бы разделить ее горе, но более жгучее чувство мешало вслушиваться в разглагольствования анархистов. До какой степени он сам виноват в этой смерти? Далмау знал, из-за чего Эмма и Монсеррат поссорились на баррикаде. От стука земли, падающей на деревянную крышку гроба, у него скрутило желудок. Он едва сдержал позыв к рвоте. Мать посмотрела на него, он выпрямился. Далмау отказывался придавать ссоре между девушками, которую прервал случайный выстрел, поразивший Монсеррат, то значение, какое приписывал ей брат Томас.

– Ты намекаешь на то, что Эмма желала смерти Монсеррат? – спросил Далмау брата в больнице Святого Креста, пока они стояли перед дверью морга, ожидая, когда им выдадут тело сестры.

– Я утверждаю, что твоя невеста повела себя как дура, – сказал Томас. Далмау обескураженно развел руками. Не хотелось в такой момент ссориться с Томасом. – Ты обманул и меня, и Монсеррат, когда сказал, что отпала необходимость в этой евангельской чепухе, в этих уроках, на которые потом ходила Эмма...

– Тебя бы порадовало, если бы ее продолжали насиловать в тюрьме? – проговорил Далмау.

– Кто тебе сказал, что она не выбралась бы оттуда другим путем?! – кричал на него брат у дверей морга. – Люди выходят из

тюрьмы, Далмау. Необязательно было заключать договор с дьяволом, как ты это сделал... от имени сестры.

– Ее насильовали! – твердил Далмау, сжав кулаки.

– Может быть, она вышла бы еще раньше, чем твоими стараниями, если бы апелляция Хосе Марии Фустера была принята во внимание. А это могло случиться! Предварительное заключение не имело под собой оснований. Девочка не совершила тяжкого преступления.

– Он подал апелляцию? – удивился Далмау.

– Разумеется! Несколько раз подавал...

– Но мне ничего не говорил об этом.

– Хосе Мария предпочитает не обнадеживать родственников. Его утомляет и огорчает, когда родственники, если что-то пойдет не так, на него возлагают вину. Это ты не обсудил с нами то, что собирался предпринять. Если бы ты нас посвятил в свои планы, она, возможно, сейчас была бы жива.

Томас стоял на своем, хотя тогда Далмау не придавал этому значения. Теперь другое дело. Теперь его подтачивало изнутри осознание того, что брат, возможно, в чем-то был прав.

Еще лопата земли. И еще одна. Двое могильщиков, грязных и беззубых, засыпали могилу, искоса поглядывая на скорбящих, прикидывая, насколько те окажутся щедры, какие можно получить чаевые. Никаких чаевых не было.

Прощание с собравшимися вылилось в страстную муку для Хосефы, хотя она стойчески выносила рукопожатия, соболезнования, революционные лозунги и призывы к борьбе, даже неуместные выкрики с вздетыми к небу кулаками в память Монсеррат. Дело анархистов лишило ее супруга и дочери. О смерти мужа она узнала из писем товарищей, таких же изгнанников, и оплакала его на расстоянии, перед небесами поклявшись быть верной рабочей борьбе и революции. Когда люди уже потянулись прочь и сыновья вознамерились увести и ее тоже, Хосефа подняла сжатый кулак на уровень виска, не выше, и стала напевать «Марсельезу», изо всех сил стараясь, стоя у края могилы, где покоилась ее дочь, хранить гордую осанку, борясь с дрожью, охватившей и ноги ее, и руки, особенно ту, которую она пыталась поднять. Далмау с Томасом и те, кто еще не направился к выходу, застыли в молчании, чувствуя, как мурашки

пробегают по телу и к горлу подступает ком; никто не осмеливался подхватить гимн, будто этим нарушилась бы тесная связь между матерью и дочерью.

Закончив петь, Хосефа устало опустила руку и повернулась к сыновьям. Далмау не мог допустить, чтобы мать шла пешком, он и сам чувствовал, что не в состоянии проделать обратный путь: у него подгибались колени, он был изнурен, опустошен смертью сестры; теперь, после похорон, эта смерть впервые предстала перед ним во всей своей жестокости как невозвратимая потеря... К неизмеримой боли примешивалось беспокойство из-за отсутствия Эммы. Он предложил сесть на трамвай до Ла-Рамбла, не всем, конечно, только небольшому количеству людей, поскольку речь шла о маленьком вагоне на конной тяге. Томас отказался.

– Трамваи до сих пор и ведут, и защищают военные, – презрительно заявил он.

– Тем лучше, – ответил Далмау, по горло сытый политическим максимализмом, – мы сэкономим деньги. Когда военные водят трамваи, проезд бесплатный.

Бертран открыл столовую, но Эммы там не было. «Не знаю, – отвечал он на вопросы Далмау, – я думал, она с вами, на похоронах». Потом, у квартиры ее дяди, никто не откликнулся на стук. «Эмма?» – крикнул Далмау, приложив губы к двери. Тишина. Крикнул еще раз. Ничего. Где она может быть? Далмау понимал, что Эмма провела ужасную ночь у тела подруги, в слезах и беспросветном отчаянии. «Может быть, она хотела побыть одна», – сказал он себе, возвращаясь в столовую.

– Пожалуйста, пошлите мне весточку с каким-нибудь мальчишкой, если она появится, – попросил он Бертрана.

Потом отправился на фабрику изразцов. Мать оставил дома, за швейной машинкой.

– У меня много работы, – сказала она на прощание.

– Не хочешь, чтобы я остался? – спросил было Далмау.

– Нет. Пойди выясни, что случилось с Эммой. Обо мне не беспокойся.

У него тоже было много, очень много работы. Рабочий люд Барселоны переживал тяжелые времена. Безработица и нищета

грозили большей части населения. Благотворительные учреждения, в основном находившиеся в ведении Церкви, не справлялись со своей задачей. Нуждающимся ежегодно предоставляли тысячи порций еды, и тысячи нищих, всех возрастов и обоих полов, подбирали с улиц и помещали в приюты и дома призрения. Экономический кризис привел к неисчислимым потерям среди рабочего класса, как среди тех, кто продолжал трудиться, так и среди тех, кто работу потерял.

Тем не менее рядом со всей этой нищетой возрастал класс промышленников и богатых буржуа, стремившихся показать себя, подняться над себе подобными. Когда в середине XIX века снесли стены, окружавшие Барселону и отмечавшие пространство, где нельзя было возводить здания из соображений обороны – оно простиралось на пушечный выстрел, – графская столица получила огромные неосвоенные территории. Урбанизацию всей этой зоны осуществил военный инженер Ильдефонсо Серда, составивший план в соответствии со строгими критериями единообразия; его ослабили провинциальным многие архитекторы, интеллектуалы и артисты; в самом деле, застройка его оказалась простой и безликой.

Когда был принят план, в соответствии с которым Серда разделил барселонский Эшампле на правильные квадраты, архитекторы возмутились: стало быть, нужно, чтобы выделялись отдельные здания; они, монументальные, фантастические, станут лицом нового пространства, где богачи начнут строить свои жилища. Модерн, конструктивное преломление стиля ар-нуво, заполонившего весь западный мир, явился новым словом в барселонской архитектуре.

В том 1902 году осуществлялись три крупных проекта двух великих архитекторов модерна. Доменек-и-Монтанер приступил к строительству новой больницы Санта-Креу-и-Сан-Пау, а также к перестройке дома Льео-и-Мореры в том же квартале Пасео-де-Грасия, где высился дом Амалье архитектора Пуч-и-Кадафалка, который вскоре начнет работы над Домом с Пиками на проспекте Диагональ, огромным строением в неоготическом стиле, предназначенным для трех сестер и увенчанным тремя башенками с коническими острями. В то время Гауди, третий гений модерна, не работал на Эшампле: он строил башню Бельесгуард, работал в Парке Гуэль и возводил храм Саграда Фамилия.

Но рядом с тремя великими мастерами работало много профессионалов, которые оставили чудесный и неизгладимый след на Эшампле в городе, который поднялся на борьбу с пошлостью, используя для этого архитектуру. Виласека строил на Рамбла-де-Каталунья и на улице Рожер-де-Льюрия; Бассевода – на улице Мальорка; Доменек-и-Эстапа – тоже на Рамбла-де-Каталунья; плодовитый Саньер – на улицах Бальмес, Дипутасьон, Пау-Кларис и на Рамбла-де-Каталунья; Ромеу-и-Рибо – на улице Арибау... Также и многие другие воплощали модерн в творениях, магический стиль которых не имел аналогов в мире.

Такие стройки предполагали огромный объем работ для фабрики изразцов дона Мануэля Бельо, и Далмау, как первый его заместитель, выполнял самые важные заказы. Фабрика открылась, хотя дон Мануэль еще не вернулся из Кампродона, где вместе с семьей нашел себе убежище.

Пытаясь отрешиться от состоявшихся этим утром похорон, Далмау надел халат, сел и склонился над рисунками, которые лежали на столе. Те, на которых запечатлелось лицо Монсеррат, те, что он сделал во время всеобщей забастовки, Далмау бережно собрал; слезы, которые не пролились на похоронах, теперь свободно заструились из глаз. Он свернул рисунки и спрятал вместе с другими личными работами, какие держал у себя в кабинете. Снова сел. Глубоко вздохнул, вытер слезы, высморкался. Взял карандаш и без особой охоты нарисовал женскую фигуру. Им заказали проект эксклюзивной панели с изображением женских фигур; ее установят в пролете лестницы, ведущем на парадный этаж здания, строящегося на Рамбла-де-Каталунья. Фигуры стилизованные, томные, парящие и прозрачные, будут сопровождать того, кто пойдет по этой лестнице. Идеал современной женщины, ничего общего не имеющий с образцами прошлых эпох. «Как они не похожи на Эмму... и на Монсеррат!» – подумал Далмау. Провел линию, еще одну и еще. Начал сызнова. Ничего не получилось. Время от времени глаза у него затуманивались и рука дрожала, когда он вдруг осознавал, что никогда больше не увидит сестру. Сколько раз он не делал того, что она просила! Нужно было написать ее нагой, когда ей так этого хотелось. Он предался воспоминаниям и увидел ее юной, сияющей, с веселой улыбкой на устах. Монсеррат бы сама себе понравилась, восхитилась бы своим

женственным телом, но он не исполнил просьбу, сплеховал... как и во многом другом, тогда незначительном, а теперь непоправимом. Он снова попытался придать жизнь феям. Один из сотрудников зашел в мастерскую за угольками и взглянул на рисунки.

– Здорово, – похвалил он.

Ничего подобного. Далмау это знал: рисунки посредственные, попросту пошлые.

Пако принес обед. Курицу с рисом он съел уже ближе к вечеру, когда она остыла, а рис слипся комками. Зато вино выпил. Одного из ребятишек, которые болтались на фабрике, попросил принести еще фляжку, прикончил и ее тоже. Позже Бертран прислал весточку, что Эмма вернулась на работу. Там, дожидаясь, когда она закончит смену, Далмау пропустил еще несколько стаканов. Эмма высунула голову из кухонной двери и тут же вернулась к своим трудам; Далмау даже не понял, кивнула она ему или нет. Бертран со своей стороны рассыпался в соболезнованиях и, не зная, как иначе выразить сочувствие, то и дело подливал ему вино в стакан. Потом уходил на свое хозяйское место, а Далмау оставался сидеть один за столиком, в окружении болтливых едоков, громко обсуждавших стачку. Спиртное и забастовка. Воспоминания. Заговорили о перестрелках. Кто-то даже затарахтел, подражая пулеметной очереди. Далмау вздрогнул всем телом при мысли, что одна из таких пуль разворотила лицо Монсеррат. Это он видел сам: лицо сестры. Они с Томасом ходили в морг опознавать ее, бледную, изуродованную. Далмау выпил и сделал Бертрану знак, чтобы налил еще.

– Ты не пришла на похороны, что с тобой стряслось? – набросился Далмау на невесту, когда та появилась в зале.

Эмма бросила взгляд на пустую фляжку.

– Будто не знаешь? – спросила она недоверчиво.

– Нет, – признался он.

Эмма скривилась и больше не отвечала на вопросы, которые задавал Далмау, еле ворочая языком. Ни у одного из них не хватало духу взяться за руки или поцеловаться.

– Давай прогуляемся? – предложил Далмау.

Эмма пожала плечами, но пошла следом за Далмау, попрощавшись с Бертраном. Они шли молча, Эмма, завернувшись в черный платок, защищавший от холода; Далмау в пиджаке и

неизменной шапочке. Понутив головы, они направились на Паралелль, где в толчее все еще мелькали солдаты, следившие за порядком. Открылись двери кафе, кричали торговцы вразнос, театры и варьете заманивали зрителей, целую неделю обходившихся без развлечений.

Они вошли в шумное кафе. Свободных столиков не было, и они устроились у стойки, между другими посетителями, которые пили и болтали. Эмма попросила кофе с молоком, погорячее, а Далмау, поколебавшись немного, решил, что выпьет еще вина. На ходу он вроде бы протрезвел, но впечатление было обманчивым. Первый глоток спиртного, выдающего себя за кларет, упал в желудок раскаленным камнем; рассудок вновь затуманился, речь и движения замедлились. Эмма заметила его оцепенение еще до того, как он заговорил.

– Ты объяснишь мне, что произошло? – проямлил он. – Я тебя повсюду искал.

Далмау повысил голос, чтобы перекрыть гвалт, но получилось громче, нежели то было необходимо. Мужчина, расположившийся у стойки рядом с Эммой, повернулся к нему.

– Все соратницы твоей сестры, даже соседи, стоявшие на улице, винили меня в ее смерти, – сказала Эмма.

Он, удивленный, попытался вскинуть голову, но чуть не потерял равновесие. Сделал еще глоток, думая, как на это ответить. Эмма прикидывала, попенять ли ему за пьянку или вывести на улицу, на холодок, но так приятно было держать обеими руками большую чашку обжигающего кофе с молоком. Если Далмау хочет напиться, это его дело.

– Неправда, ты не виновата, – ответил он наконец, борясь с виновными парами. – Сама знаешь. Виновата только моя сестра: это ее понесло на баррикаду... Мы сделали то, что должны были сделать, ведь так? Вызволили ее, прикрыли ей спину. С того момента перед Монсеррат были открыты многие пути... и она выбрала неверный. Почему ты не сказала мне об этом на похоронах, а взяла и просто ушла? – спросил он под конец, повышая голос.

Просто ушла! Так он и сказал: «просто ушла»? Их били, оплевывали и оскорбляли, их прогнали прочь, ее и Росу. Эмма покачала головой: какой смысл отвечать? Покинув исправительное заведение монахинь Доброго Пастыря, до того как укор совести не

вонзил опять свое острое жало, Эмма короткое время чувствовала, что освободилась, распрощалась от имени Монсеррат со всеми враками и бесконечными религиозными догмами. Она раздумывала, не рассказать ли об этом Далмау, но, учитывая его проспиртованное состояние, решила, что лучше не надо. Святоша дон Мануэль наверняка взбесится, но ей-то какое дело. Пора Далмау расстаться с этим буржуем, католиком и реакционером; безусловно, ее жених может найти лучшую дорогу в жизни. Обо всем этом они поговорят в другой раз.

– Почему? – прервал Далмау ее размышления.

– Что – почему? – спросила Эмма, начиная терять терпение.

– Почему ты не поделилась со мной своим чувством вины? Я...

Эмма задумалась на мгновение.

– Говори что хочешь, но, если бы ее снова посадили, откажись я ходить к монашкам, вина была бы на мне. Я тебе уже говорила. Но и в ее смерти я виновата. Если бы я не лезла к ней с разговорами на баррикаде, если бы сообразила, насколько это опасно... Конечно, я виновата в том, что ее застрелили.

– Нет!

В этот раз на крик Далмау обернулся не только мужчина по соседству с Эммой, но и многие другие.

– Да, Далмау, – подтвердила Эмма, не обращая внимания на любопытных. – Я виновата.

«И ты тоже», – хотела бы она бросить ему упрек; если бы он не подлачился под требования дон Мануэля, если бы не предложил ей заменить Монсеррат...

– Ты поступила хорошо, – утешал ее Далмау заплетающимся языком, с мутным, блуждающим взором, абсолютно чуждый тому внутреннему конфликту, какой переживала Эмма в этот момент. – Ее насильовали. – Далмау перешел на сбивчивый шепот, чтобы окружающие не узнали о позоре сестры. – Насильовали, – повторил он. – Ты ее видела, обмывала ее...

После напряжения этого долгого дня Эмма, увидев воочию, как ее подруга стоит голая на полу и с нее стекают струйки воды, окончательно лишилась сил. Она помотала головой, как тогда, когда подтирала пол и мыла ноги Монсеррат. Нет, дело не в том, что ее насильовали, все гораздо сложнее.

– Что не так? – спросил Далмау, сделав очередной изрядный глоток.

– Мы не должны были вторгаться в жизнь Монсеррат.

– Что ты такое говоришь? – Далмау пытался сфокусировать взгляд, но хмель ему застилал глаза.

– Это самое: мы должны были отойти в сторону. Она так хотела. И сказала тебе...

– Ее насиловали! – повторял он как заведенный.

– Она тебе сказала, что не хочет катехизиса, что не собирается подчиниться требованиям твоего учителя. Что предпочитает...

– Умереть? – перебил Далмау. – Стать шлюхой?

Эмма нахохлилась, поджала губы.

– Да, – решила ответить, когда в памяти ожило лицо подруги за секунду до того, как пули разорвали его. В нем ясно читались решимость, самоотдача, способность к жертве... Воля к борьбе! Монсеррат никогда не опустила бы до той пародии, в какую вовлек их буржуазный дух покровительства. – Да, предпочла бы умереть! – взорвалась Эмма. – Предпочла бы поругание тела насилью над свободным духом. Предпочла бы...

– Ты с ума сошла! – Далмау швырнул стакан на пол, схватил Эмму за локти и грубо встряхнул. Чашка вылетела у нее из рук, кофе с молоком пролилось на одежду. – Моя сестра не владела собой!

– Отпусти девушку! – велел мужчина, стоявший рядом.

Помимо бармена за стойкой, вокруг них уже собралась порядочная толпа.

– Монсеррат знала, что делает, – продолжала Эмма без сочувствия и страха. – Не то что мы.

– Отпусти ее! – кричали собравшиеся.

– Скажи им, чтобы не встречали, – велел ей Далмау, отмахиваясь от окружавшей толпы.

Эмма взгляделась в покрасневшие глаза жениха. Понятно, что он топит в вине угрызения совести. «Ее насиловали, насиловали, насиловали» – вот оправдание, чтобы не идти до конца.

– Далмау, – проговорила она размеренно. Тот ее отпустил, решив, что ссоре конец. – Мы оба виноваты.

– Нет, – стоял он на своем. – Хочешь взять на себя ответственность, дело твое. Я не хочу. Не обвиняй меня в том, что... –

Далмау умолк, увидев, что окружен людьми. – Не смей меня обвинять! – тут же завопил угрожающе, и двое из тех, кто стоял кольцом вокруг пары, чуть не набросились на него.

– Ты пьян. Оставь меня в покое. Уходи. – Эмма пыталась вразумить его, прервать угрозы, утихомирить посетителей, вставших на ее защиту.

– Так его, девочка! Ничего не потеряешь, – вклинился один из них.

Кто-то захохотал.

– Пьянчуга, – припечатал хорошо одетый мужчина и потащил Далмау к выходу.

– Мать твою! – вывернулся тот и, пошатываясь, ринулся на обидчика.

Тот даже не стал уклоняться от удара, который не достиг цели. Теперь хохотали все.

– Далмау! – решила вмешаться Эмма.

– Заткнись! – Далмау нанес еще один удар вслепую и на этот раз попал, но по лицу Эммы, которая как раз подходила к дерущимся. Как Далмау ни был пьян, до него дошло, что он совершил непоправимое, и слова застряли в горле.

– Я не хочу тебя больше видеть, Далмау. Забудь обо мне, – взорвалась Эмма, поднося руку к лицу.

Далмау не успел ничего сказать. На него набросились, и после первых двух ударов он рухнул на пол. Нападавшие подождали, пока он попытается встать, и стали бить его ногами. Потом заставили ползти к двери на четвереньках, плевали, хохотали, свистели... А Эмма горько плакала.

Далмау уже давно не виделся с Эммой. Он приходил в столовую просить прощения за то, что ударил ее, за то, что напился, и поговорить о том, кто и насколько виновен в смерти его сестры. Он пришел потому, что любил ее и скучал по ней, но Бертран его не пустил. «Она не желает тебя знать, – заявил Бертран. – Тебя здесь всегда привечали, Далмау. Так не создавай теперь проблем». Он ждал, пока Эмма закончит работу, но ее всегда кто-нибудь провожал. Далмау знал, что она регулярно заходит к нему домой посидеть и поболтать с его матерью; она-то и попросила сына не преследовать девушку.

– Она очень переживает из-за смерти Монсеррат, – сказала Хосефа, поднимаясь из-за швейной машинки и направляясь в кухню, чтобы сварить кофе. По тому, как она двигалась, Далмау понял, насколько мама устала. – Да... она не хочет тебя видеть. Не досаждай ей, пожалуйста. Ты ведь знаешь, она мне как вторая дочь. Я уже достаточно настрадалась, Далмау. Дай нам передышку.

– Но то, что она сказала... – начал было он.

– Знаю я, что она сказала, – перебила мать. – Она мне все выложила. Знаю, что она думает. А главное, что чувствует.

– Она винит меня в смерти Монсеррат! – вскричал Далмау. Хосефа промолчала. – Может, и ты тоже?

– Не мне судить, сынок, но чувство вины, как все чувства, нам неподвластно, оно не подчиняется разуму. Эмма себя чувствует виноватой. Время покажет ей другие точки зрения, которые сейчас скрывает боль. Так или иначе, только ты сам можешь чувствовать или не чувствовать за собой вину. Не важно, что говорят другие.

Далмау еще раз попытал счастья в доме, где жил Эммин дядя. Такая настырность привела к тому, что он наткнулся на одного из кузенов, который, как и отец, работал на бойне и таскал на спине четверти разрубленных туш. Эмма не хочет видеть его. Назойливые расспросы Далмау в конце концов разозлили кузена, и бывшему жениху пришлось отступить на пару шагов, упросить амбала успокоиться и в бешенстве удалиться.

С той поры он погрузился в работу, правда, не оставил намерения поговорить с Эммой. Он искал встречи с кузиной, болтался поблизости от столовой, подкатывал к подругам, пока однажды вечером не столкнулся с Эммой нос к носу. Она обогнула его. Далмау не решился ее остановить, несколько минут шел рядом и умолял, твердил: «Прости меня». Эмма не удостоила его ответом. Он прошел еще несколько метров, продолжая вымаливать прощение. Эмма не откликнулась ни словом, ни жестом. После этого Далмау отступился и нашел прибежище в работе: только творчество давало успокоение, которого он не находил в мыслях о бывшей невесте. Правда, перестал ходить к пиаристам, несмотря на мольбы преподобного Жазинта и некоторое давление со стороны дона Мануэля. «Я сейчас не в состоянии, – оправдывался он, – может быть, позже».

– А катехизис? – забеспокоился учитель.

Об этом Далмау не подумал.

– Моя сестра была анархисткой и атеисткой всю свою жизнь. Какую пользу принесло ей то, что она приблизилась к Богу? Именно тогда она и погибла.

Дона Мануэля так и подмывало поговорить с ним о его сестре, о Монсеррат. Вернувшись в Барселону по окончании забастовки, он первым делом наткнулся на письмо матери настоятельницы монастыря Доброго Пастыря, в котором она излагала в подробностях все, что выкинула Монсеррат, опуская лишь, подчеркивала монашка, богохульства, извергнутые девушкой напоследок. Потом одна из горничных рассказала, что сестру Далмау застрелили на баррикаде. «Какая кара за кощунственные и богохульные речи!» – связал дон Мануэль эти две новости, осеняя себя крестным знамением. Он поделился этим с преподобным Жазинтом, тот внимательно прочел письмо, и оба решили не усугублять скорбь Далмау.

– Искренне соболезную кончине твоей сестры, – сказал ему учитель, едва они встретились на фабрике: тогда Далмау еще не прекратил ходить к пиаристам. – Передай мои соболезнования твоей матери и прочим родным.

А теперь сам Далмау усомнился в божественном милосердии. Мануэль Бельо решил не поднимать этот вопрос. Его сестра уже заплатила за свою дерзость, что же до Далмау, то, пусть он и не обратился, панель с феями расхваливали архитекторы и керамисты, что повышало репутацию фабрики изразцов. Еще будет время привлечь юношу к Церкви.

Далмау сдал работу, но не был уверен в успехе. Она по-прежнему казалась ему вульгарной, не вызвала никаких особенных чувств. В отличие от рисунков на японские темы, предназначенных для серийного производства, панель была единственной в своем роде, поэтому использовались не многочисленные шаблоны из восковой бумаги, а единый сетчатый трафарет в натуральную величину, выполненный самим Далмау. Этот трафарет наложили на изразцы и присыпали угольной пылью, чтобы обозначить рисунок; оставалось только расписать их вручную и снова обжечь.

Изразцы, уже на завершающем этапе строительства, доставили в здание, расположенное на Рамбла-де-Каталуния, тенистом бульваре, идущем параллельно Пасео-де-Грасия: многие считали это место

самым престижным в Барселоне. Из просторного вестибюля высотой более пяти метров массивные двери из кованого железа и стекла вели в конюшенный двор. Уже и на входе царил модерн, главенствующий в архитектуре эпохи: мозаичный пол и мраморная лестница, ведущая на второй, основной этаж, где обычно жили владельцы дома. На каждом этаже имелись балконы, парящие над улицей и над парадным входом: идеальные места для наблюдения за городской суетой. У подножия лестницы, которая, как убедился Далмау, на верхних этажах, где квартиры сдавались внаем, теряла в своем великолепии, а в мансарде, где жили швейцары, и вовсе сводилась к деревянным ступеням, стояла фигура летящей женщины из белого камня; ее линии, простые и чистые, тем не менее впечатляли; отсюда начиналась великолепная балюстрада с резьбой на цветочные мотивы. Повсюду в вестибюле – настоящий парад резного дерева ценных пород: настенные плафоны, кабина швейцара, софиты на потолке; кроме того, железные светильники филиграннойковки и огромный цветной витраж, отделяющий лестничную клетку от светового двора. И среди всего этого, напротив балюстрады, панель, рисунок для которой создал Далмау: воздушные феи, провожающие и сопровождающие всякого, кто поднимался на основной этаж. Эти женские фигуры с металлическим блеском, который появился после обжига расписанных изразцов, ни в колорите, ни в ярком зрительном впечатлении не уступали другим декоративным элементам, выполненным лучшими в Барселоне мастерами прикладных искусств.

Далмау снял пиджак, засучил рукава и вместе с другими мастеровыми принялся устанавливать панель, вникая в каждую деталь, вмешиваясь, если нужно. Он досконально знал свое ремесло. Потом взгляделся в свое творение. Восторги не поколебали его первоначального мнения: чего-то тут не хватало, не красоты, наверное, и, наверное, не искусства; возможно, складывалось впечатление, что чувства автора, его внимание, его любовь не были вложены в эту работу, а пребывали вдали от нее; не получилось непреложной сопричастности художника и его создания. Монсеррат, Эмма, даже мать похитили все его чувства, все эмоции. Это не помешало Далмау отпраздновать успех своих фей вместе с учителем, архитектором, многими другими профессионалами и владельцем строящегося дома на Рамбла-де-Каталунья, богатым промышленником и банкиром,

который оплатил все работы, а также устроил за свой счет роскошный ужин в ресторане «Гранд-Отель Континенталь».

– На тебе нет галстука, – упрекнул дон Мануэль, оглядев костюм Далмау, когда дон Хайме Торрадо, владелец здания, предложил отметить событие в ресторане, одном из самых популярных среди барселонской буржуазии.

– А как иначе, – ответил Далмау. – На моей рубашке нет воротничка, не на чем завязать галстук.

– Зато на тебе пиджак, – слышался позади голос дона Хайме, – и этого достаточно: кто посмеет не пустить в ресторан творца, создавшего произведение искусства, которое мы сегодня водрузили в моем доме? Видные художники и архитекторы считают, – добавил он, кладя руку на плечо Далмау, и это показалось юноше жестом чрезмерным и немного стесняющим, – что для продвижения в такого рода работах необходимо владеть рисунком. У тебя есть рисунки, можешь их показать?

– Есть, есть у него рисунки, – вклинился дон Мануэль, хвастаясь ими, будто своими собственными.

– Интересно было бы посмотреть, – заявил банкир.

– Когда пожелаете, – снова вмешался дон Мануэль, взяв на себя главенствующую роль. – Моя фабрика и все коллекции в вашем распоряжении.

До Рамбла-де-Каналетес, где на углу рядом с площадью Каталонии располагался «Гранд-Отель Континенталь», было недалеко, все пошли пешком. Далмау немного отстал от остальных, следуя, словно по инерции, за компанией мастеров, сыпавших остротами. Он думал о рисунках. Конечно, у него есть рисунки! Во множестве! И картины тоже. Еще он неоднократно покушался на глину, лепил из нее фигуры и обжигал в печи. Все хранилось у него в мастерской. Учитель знал эти работы, хвалил их, воодушевлял юношу, обещая, что когда-нибудь устроит ему публичную выставку, где проявится его талант. Нужно работать, подстегивал он Далмау: работать, работать и работать. Далмау не спорил с доном Мануэлем, но ценил не столько сверхурочную, неустанную работу, какой зачастую требовала фабрика изразцов, сколько труды, пусть тяжелые и упорные, которые просто завладевали воображением и приносили радость.

Прошлым вечером, в очередной раз проверив панель, которую должны были перевезти и установить на следующий день, Далмау заперся в мастерской. Домой, где его ждал стук швейной машинки, идти не хотелось, и он всячески откладывал этот момент. Крикнул Пако, чтобы тот принес чего-нибудь поесть. Старик не отозвался, вместо него явился один из живших на фабрике мальчишек.

– Пако пришлось ненадолго отлучиться, – ответил паренек на вопрос Далмау. – Приходила его сестра. Дело срочное. Что-то стряслось с каким-то вроде бы родичем. Старикан совсем разволновался.

Далмау рассмотрел грязное лицо мальчишки, неопрятные волосы, слипшиеся, вставшие дыбом; тусклые, ввалившиеся глаза. Был он малорослый и шуплый, поскольку, как все уличные дети, недоедал.

– Ну-ка, замри, – велел Далмау.

Паренек застыл на месте. Далмау взял лист бумаги и стал рисовать это лицо. Пытался передать глаза, их печаль... нет, наверное, это не печаль, а разочарованный и трезвый, лишенный иллюзий взгляд на жизнь, на целый мир, включая людей и Бога, того самого Бога, к которому учитель призывал являться каждое воскресенье.

Теперь, в обширном зале ресторана, электрический свет, в котором сверкала позолота на лепнине и на рамах картин, висящих на стенах, отраженный в многочисленных зеркалах, ослепил Далмау, контрастируя с полумглой газового освещения, при котором он рисовал портрет мальчика, не выходящий у него из головы. Приглашенные уселись за длинный стол, набралось больше дюжины человек. Льняные скатерти, фарфоровая посуда, серебряные приборы, бокалы тонкого хрусталя, официанты, одетые лучше, чем иные из гостей, и среди всего этого Далмау: в итоге он занял место на нижнем конце стола, далеко от банкира и дона Мануэля, между секретарем сеньора Торрадо, человеком скованным и молчаливым, и помощником архитектора, студентом, изучающим архитектуру; он был немного старше Далмау и не уставал нахваливать творения своего учителя.

Далмау был ошеломлен окружающей роскошью, но не так ей радовался, как мальчишка, прошлым вечером получивший десять сентимо только за то, что позволил себя нарисовать. Паренек схватил монету и обогнул стол, чтобы посмотреть на рисунок Далмау: глаза, только глаза, маленькие, без бровей, без век... Единственная линия,

изгибаясь там, где должен быть подбородок, намекала на лицо, которое должно было их обрамлять.

Далмау не стал поддерживать беседу, которую пытался завязать студент справа, и замкнулся в том же сдержанном молчании, что и сосед с другой стороны. Смотрел на тарелку, стоявшую перед ним, салфетку, серебряные приборы, сколько их, для чего так много? – на хрустальные бокалы... Мальчонка сжал монету в кулаке, словно боялся, что ее отнимут; десять сентимо, целое сокровище! Гул голосов вырвал Далмау из воспоминаний, когда подали первое вино, «Шлосс Йоханнисберг», немецкое белое; он отпил всего несколько глотков, ибо последствия его прошлой пьянки еще бередили душу, а встреча, которую он подготовил для нынешней ночи, подстегивала его. *Bisque d'écrevisses à la française*^[9]. Рыбный суп, определил Далмау по запаху, когда подали первое блюдо. «Речные раки» – подсказал секретарь, видя, как Далмау разглядывает содержимое своей ложки. Суп оказался вкусным.

– Вы еще будете меня рисовать? – спросил паренек.

Далмау никогда не пробовал супа из речных раков. Мальчишка ожидал ответа с улыбкой на губах.

– Ты чего улыбаешься? – спросил Далмау. Ребенок раскрыл кулачок, в котором сжимал монету. Насчет глаз Далмау ошибся: они блестели. Художник почувствовал себя обманутым. Он много раз говорил, даже шутил с этим пареньком, кажется, его зовут Педро... или Маурисио? Далмау их не различал. «Нет, не думаю, что буду еще тебя рисовать», – ответил он.

Мальчик стер улыбку и пощелкал языком, сетуя на судьбу. И вдруг спросил:

– Вы хотите рисовать детей, которые не улыбаются?

За супом последовал *saumon du Rhin*^[10], и Далмау отважился выпить еще немного белого вина. С приборами управлялся, поглядывая на секретаря. За столом завязалась беседа: политическое положение, всеобщая забастовка, недовольство рабочих, экономический кризис, возвышение республиканцев и отторжение анархистов, – но вот принесли третье блюдо, *filet de boef à la Richelieu*^[11]. Телятина, жаренная с вином, салом и помидорами, к ней овощи и зелень, и красное вино, тоже французское, «Шато д'Икем»: барселонские богачи не пьют испанской бурды. «Дети, которые не

улыбаются». «Этого ты хотел?» – спросил он себя с бокалом бордо в руке. И ответил – да. Наверное, ему нужен кто-то такой же грустный, как он сам, способный разделить чувства, угнетающие его дух; мир фей, женщин утонченных и хрупких, глубоко его уязвлял.

– Я знаю многих *trinxeraires*, – начал мальчишка, и Далмау кивнул. – Но и мне вы что-нибудь заплатите, ладно?

Далмау кивнул снова. Потом, когда паренек вышел из мастерской, порвал рисунок, изображавший глаза.

На десерт – ананас или пирожные, на выбор, в золотой тележке, которую официанты подвозят к столу. Далмау выбрал шоколадное. Шампанское, «Моэт и Шандон», сладкие вина и ликеры для желающих, гаванские сигары. Далмау взял одну и положил в карман пиджака, поскольку сам не курил. Шампанское попробовал, почувствовал, как пузырьки лопаются во рту, достигая нёба. Новое ощущение, слишком свежее, слишком игривое, стерло из памяти образ мальчика с грустными глазами, который так растрогал его накануне и не отпускал весь вечер.

Двадцать семь песет с человека. Цена за ужин вертелась у него в голове во время всего пути от «Континенталья» до фабрики. Ночь уже опустилась, и на Пасео-де-Грасия загорелись огни. Яркое солнце днем, освещение ночью, будто это – другой мир, другой город, и он открывается сразу за площадью Каталонии, грязной, зловонной, сырой и темной, всегда темной. В этот темный город, однако, погрузились иные из сотрапезников, желающие развлечься в какой-нибудь таверне, где женщины поют и пляшут под пианино, а может, и попросту сходить в бордель. Когда кто-то из компании его пригласил, Далмау отказался.

Двадцать семь песет. Это сообщил с укором секретарь банкира после того, как помог ему оплатить счет. Растволковав Далмау, что суп сварен из раков, и односложно ответив еще на какие-то вопросы, которые ему задавали, этот человек не сказал больше ни слова, только озвучил цену, двадцать семь песет, причем с такой злостью, будто Далмау и студент архитектуры – а только они его и слышали – не имели права на такие траты. «Знал бы я, – пошутил студент, – вернул бы какое-нибудь блюдо». Потом рассмеялся, ожидая, что и Далмау воспримет шутку, но нет. Тот, наоборот, нахмурился. «Разве не так

устроен мир?» – так и подмывало его ответить. Двадцать семь песет – это девять рабочих дней каменщика. Триста с лишним песет, в которые обошелся банкиру званый ужин, составляют пятую часть суммы, которую учитель одолжил Далмау, чтобы избавить его от военной службы. Двенадцать лет его жизни стоят столько же, сколько пять таких ужинов; да, в самом деле, он не имел права... но как все было вкусно!

Эти песеты, воспоминания об изысканных ароматах и вкусах и мысли о том, как было бы славно рассказать об ужине Эмме, сопровождали его на всем пути. Эмма разносила блюда, но всегда стремилась работать на кухне: она бы слушала его с восхищением, переспрашивала, брала на заметку. Суп из речных раков! Французское шампанское! «Говоришь, оно щиплется?» – точно спросила бы она. При мысли, что ее больше нет рядом, у него все сжалось внутри. Далмау еще не до конца верил в произошедшее. События развивались стремительно: арест Монсеррат, монашки, гибель сестры; все это создало между влюбленными невыносимое напряжение. Но этим вечером Далмау был полон оптимизма: нужно еще немного подождать, а потом попытаться снова. Он улыбнулся, и тоска, теснившая грудь, отпустила, когда он представил воочию, как они с Эммой гуляют, взявшись за руки.

Детишек было четверо. Они ждали у решетки, перед воротами, ведущими на фабрику изразцов: двое своих и еще одна парочка. Пако их не пустил, рассказали они. Неудивительно. Он бы не пустил тоже. Новенькие: мальчик... и девочка? Не разобрать.

– Вы их пропустите, Далмау? – услышал он голос сторожа, подошедшего к решетке с другой стороны.

– Да, – подтвердил Далмау, немного поколебавшись.

– Но вы же знаете правила...

– Под мою ответственность, Пако, – заявил он твердо.

– Если не возражаете, я с вами.

– Мне в мастерской нужен всего один. Остальные будут только мешать. Присмотрите здесь за ними.

Они пересекли обширный двор, где располагались резервуары с водой и сушильни, и пришли к складу, где обычно пребывал Пако. При свете двух свечей Далмау разглядел *trinxeraires*: оборванные, малорослые, тощие. Одна из новеньких и правда была девочка.

Дельфин и Маравильяс, представил их Педро или Маурисио. Брат и сестра, так они сказали. Далмау попытался прикинуть, сколько им лет, но не смог. Десять, двенадцать... восемь?

– Маравильяс, – обратился Далмау к девочке. – Пойдешь со мной наверх. Остальные...

– Что вы будете с ней делать? – крикнул братец.

– Только рисовать ее, сказали же тебе, – вмешался паренек с фабрики.

– Вот именно. Только это, – подтвердил Далмау. – Рисовать ее. Не беспокойся. С ней ничего не случится...

– Вы не станете ее раздевать? Потому что...

– Нет. Разумеется, нет! – рассердился Далмау.

– Потому что это стоит дороже, – закончил брат прерванную фразу.

– Гаденыш!

Trinxeraire отпрыгнул с удивительной ловкостью, уворачиваясь от палки, которой замахнулся сторож.

Девочка последовала за Далмау на верхний этаж.

– Если он что-то станет делать с тобой, кричи! – напутствовал ее Дельфин, стоя на почтительном расстоянии от палки, которой все еще потрясал Пако.

Далмау увеличил газовый свет в своем кабинете и расчистил место, чтобы девочка могла позировать. Глаза нищенки перескакивали с предмета на предмет: карандаши, кисти, картины, изразцы. На долю секунды взгляд ее задерживался на каждом из них, будто она прикидывала, сколько он стоит и получится ли его украсть.

– Встань тут. – Далмау показал место, где свет был ярче всего.

Маравильяс подчинилась, но продолжала смотреть куда угодно, только не на Далмау, он же не сводил с нее глаз. Он был бы и рад сказать, что у нее хотя бы лицо приятное, но это было не так. От истощения кости резко обозначились, а глаза ввалились, Далмау не мог их как следует разглядеть, так быстро они стреляли туда и сюда из лиловых впадин. Корка довольно большой ссадины виднелась на виске, у корней волос, обкорнанных кое-как. Далмау глубоко вздохнул, это на миг привлекло внимание Маравильяс. Она была грязная. От нее дурно пахло. На ней были лохмотья, много слоев, разноцветные, большей частью темных тонов. Ноги обернуты лоскутами ткани, на

манер сапог. Заговорить, что ли, с ней? Или рисовать, ничего о ней не зная; но любопытство пересилило.

– Сколько тебе лет?

Она ответила, глядя в сторону:

– Дельфин говорит, что девять, но... – Девочка пожала плечами. –

Иногда говорит, что восемь или десять. Он придурок.

Сев за мольберт, Далмау уже делал первый набросок на большом, метр на полметра, листе бумаги. Он рисовал углем, держа наготове цветную пастель.

– А родители что говорят?

Еще до того, как она впервые вперила в него взор, Далмау осознал свою ошибку: он спросил, не подумав, чтобы снять напряжение, войти в доверие к девочке.

– Родители? – с горькой иронией повторила Маравильяс.

Далмау пристально глянул ей в глаза: большие, темные, с желтоватыми белками, кое-где испещренными красноватыми прожилками.

– Но брат-то у тебя есть?

– Это он так говорит.

Далмау кивнул, что-то промычал: работа уже захватила его.

– Не ерзай, пожалуйста, – умолял он.

Он бы с радостью рисовал дольше, но через пару часов, несмотря на то что ей часто давали отдыхать, Маравильяс превратилась в нервную, раздраженную, неуправляемую модель.

Все *trinxeraires*, с которыми Далмау имел дело, были одинаковы: хилые, истощенные, пугливые, недоверчивые, непредсказуемые и импульсивные. С короткой памятью, не шибко умные, некоторые вовсе тупые; иные ленивые, а главное, эгоистичные, эгоистичные до крайности.

В Маравильяс, которая приходила еще несколько дней, пока Далмау не закончил ее портрет, наблюдались все эти качества, хотя, может быть, потому, что женщинам труднее, чем мужчинам, выживать в мире нищеты и преступности, девочка обладала живым умом, далеко превосходившим кратковременные проблески сообразительности, на какие были способны ее товарищи по уличным скитаниям.

Поэтому уже в первый вечер она оттеснила Педро, который взял на себя задачу отлавливать *trinxeraires* для рисунков Далмау. Пако рассказал потом, что мальчишки поспорили и чуть не сцепились, но девочка положила конец сваре.

– Если я узнаю, что ты бродишь по округе и ищешь ребят, скажу всем, что ты нас хочешь надуть. – Спор прекратился. – И мне поверят, – сказала она убежденно, – не сомневайся. Ты тут живешь в тепле и холе, а я нахлебалась дерьма на этих клятых улицах. Знаешь, что мы делаем с теми, кто нас разводит?

Педро не понадобилось много времени, чтобы взвесить угрозу.

– Ладно, – уступил он, – но ты должна отдавать нам часть денег.

Она расхохоталась.

– Денежки мои, – припечатала она. И даже ее брат не стал возражать.

Так что Маравильяс приводила к Далмау следующих *trinxeraires*, чтобы тот завершил задуманную им серию из десяти портретов. Дон Мануэль обо всем узнал и, разгневанный, ворвался к нему в кабинет. Заверив учителя, что это не повредит текущей работе, более того, как ему кажется, принесет пользу, вернув равновесие и спокойствие духа, которых он лишился после смерти сестры: о разлуке с Эммой он решил не говорить, дабы избежать скользких вопросов, – Далмау показал учителю портрет Маравильяс, выполненный углем и пастелью.

Дон Мануэль долго смотрел на рисунок и наконец кивнул. Губы его вытянулись трубочкой между пышными бакенбардами, которые смыкались с усами, и он кивнул еще раз.

– Ты похитил душу у девочки, – изрек он, – и мастерски изобразил ее.

Далмау продолжил рисовать *trinxeraires*, теперь уже с согласия дона Мануэля. Все они позировали, как Маравильяс: вертелись, не могли усидеть на месте... или тарасились угрюмо. Некоторых приходилось признать негодными после одного-двух сеансов. Одни кричали и прыгали, другие попросту засыпали. Один даже набросился с кулаками на Далмау, и Маравильяс ринулась художника защищать; другие крали что попало, все равно что: набросок, рисунок, халат с вешалки, глиняную фигурку или блестящий изразец; был такой, что

схватил добычу и убежал, не дожидаясь обещанной художником платы.

Потом многие возвращались, толпились у решетки. Далмау смотрел на них, и у него все сжималось внутри. Он узнавал тех, которые крали. Возвращались и эти! И тот, кто набросился на него, и тот, кто уснул на полу. И буйные возвращались, будто не помнили, какой скандал учинили накануне, неделю или месяц назад. И все их друзья в придачу. Целая армия выброшенных на улицу детей, ищущих, чего бы поесть, где бы заработать несколько сентимо или найти уголок у печей, чтобы поспать в тепле.

Несколько месяцев по вечерам, закончив работу над изразцами и керамикой, Далмау похищал души детей, отторгнутых от человечества, и одушевлял листы бумаги, с которых кричали боль, тоска, отчаяние... нищета.

После того как были готовы первые два портрета, дон Мануэль ежедневно приходил в мастерскую Далмау и следил за тем, как возникают эти рисунки в черном цвете с несколькими, очень немногими, штрихами пастелью. Композиции эти, несмотря на некоторую двусмысленность, неизменно погружали зрителя в бездонный омут печали, где художник обретался вместе со своими моделями.

– Трудно вынырнуть из такой глубины, – признался однажды учитель, хватая воздух ртом, стараясь выровнять дыхание, как будто действительно погружался в бездну.

«Волшебство». «Фантастика». «Подлинное искусство». От портрета к портрету множились похвалы из уст дон Мануэля. «Мы устроим выставку, твою первую публичную выставку, – заявил он однажды как о чем-то решенном, включая и себя в проект, – выставку в Обществе художников Святого Луки». И попросил пару портретов, чтобы показать их там и подготовить почву.

Общество художников Святого Луки, членов которого прозвали «Льюками», в свое время откололось от Общества художников Барселоны. «Льюков» не устраивал богемный дух, который привезли из Парижа такие именитые художники, как Рамон Касас и Сантьяго Рузиньол. Гедонистическое, беспечное отношение к жизни сильно отличалось от чисто каталонского, консервативного и католического духа, который определял мировоззрение «Льюков».

Далмау восхищался Касасом и Рузиньолом, крупнейшими представителями авангарда, а значит, каталонского модерна в живописи, но и не отрицал заслуг художников, а главное, архитекторов, принадлежавших к кружку «Льюков», устав которого запрещал его членам писать обнаженную женскую натуру, – Бассегоды, Саньера, Пуч-и-Кадафалка и Гауди, зодчего, вселявшего движение в камни. Как можно не относить Гауди к модерну?

– Разница в том, – заметил преподобный Жазинт во время одной из бесед, которые они вели у пиаристов, – что «Льюки» – не радикалы, как эти утратившие веру поклонники беспорядка и распущенности, царящих в Париже.

– Стало быть, вы считаете, преподобный, – возразил Далмау даже с некоторым напором, – что Саграда Фамилия или дом Кальвета Гауди – не авангард, не радикальный переворот? Что здания Пуча или Доменека – не модерн, раз они не богема, а порядочные люди?

– Истинный модерн, – высказался под конец пиарист, – можно найти в благочестии, в религиозном чувстве, с которыми «Льюки» подходят к искусству, а не в духовных исканиях тех, что называют себя модернистами лишь потому, что отрекаются от своей истории, своих обычаев и признают хорошим все новое, неизведанное, часто не задумываясь о последствиях.

Далмау умолк, не желая оспаривать такое чуть ли не мистическое понятие об искусстве, высказанное человеком, которому он с каждым днем все больше симпатизировал.

Так или иначе, соратники учителя по кружку с энтузиазмом приняли предложение устроить выставку рисунков Далмау. «Такое видение, – определил один из них рисунки, представленные правлению общества, – погружает нас в Барселону нищих, тогда как другая Барселона погрязла в пошлых удовольствиях. Такая выставка может в ком-то пробудить совесть». «Надо бы тебе вернуться к преподобному Жазинту, – сообщив хорошую новость, дон Мануэль не упустил случая сделать попытку настоять на своем, – твоя карьера может во многом зависеть от этого. Я сказал в Обществе, что ты готовишься принять веру, без этого они вряд ли бы согласились устроить выставку безбожника».

Далмау что-то промышчал в знак согласия; у него не было ни малейшего намерения снова идти слушать проповеди. В последние

месяцы его жизнь ограничивалась работой на фабрике изразцов и рисунками, которые он делал по ночам в обществе Маравильяс и *trinxeraire*, которого выбирал для очередного сеанса.

Он мало виделся с матерью. Приходил на рассвете, когда та спала. Потом, за завтраком, они пытались завязать разговор, но вид пустого стула, где раньше сидела Монсеррат, повергал их в молчание. Далмау знал, что Эмма продолжает постоянно навещать Хосефу, возможно пытаясь заменить ей погибшую дочь. Не было дня, когда он не думал об Эмме, не прокручивал в голове удар кулаком, пьянку, презрение и унижение, угрозы и предупреждения кузена... Далмау пытался увидеться с ней и думал сделать это снова. Замечал, однако, что чувства его остывают, хотя иногда он вдруг ощущал болезненный укол при воспоминании о девушке. В такие минуты он расспрашивал мать, но та отвечала уклончиво. «Должно пройти время», – заявляла Хосефа, кладя конец разговору и нажимая на педаль швейной машинки. Далмау не мог понять, имела ли она в виду скорбную память о Монсеррат или его разрыв с Эммой.

Иногда по утрам он шел по Равалю мимо столовой «Ка Бертран». Множество извозчиков вокруг рынка Сан-Антони; экипажи у заводов, лошади, торговцы вразнос, мастеровые, безработные, нищие и *trinxeraires* – все движение, вся сумятица живого города вроде бы предоставляли ему укрытие, хотя и недостаточное, по мнению Далмау, который под конец всегда прятался в каком-нибудь парадном поодаль от столовой Бертрана. Время от времени видел Эмму, вечно чем-то занятую. Иногда вроде бы решался, делал несколько шагов по направлению к столовой, но неизменно отступал. Так и не мог к ней подойти, когда бывал уже готов это сделать, на память приходил удар кулаком и с презрением брошенное на прощание «Забудь обо мне!». «Болван!» – пробормотал он посреди улицы, не думая, что кто-то может услышать и обидеться. Огляделся. Никого: только двое мужчин шли своей дорогой, мотая головами. Как он раскаивался в своем поведении! Эмма, наверное, ничего не забыла. Мать никогда не упоминала, что девушка хоть в малейшей степени интересуется им. Может, по-прежнему берет на себя ответственность за смерть Монсеррат, и его винит тоже. Может, и правда еще рано. Может, мать права и нужно подождать...

Однажды, когда Далмау направлялся на фабрику, парочка *trinxeraires*, мальчик и девочка, вышли из укрытия и принялись бродить по кварталу.

– Которая? – спросила девочка.

– Та высокая, милашка, в цветастом платье и белом переднике, – ответил ее брат.

– Точно?

– Точно. Он, как завидит ее, скорей бежит прятаться в парадное. Ты разве не замечала? – уверенно говорил Дельфин. Маравильяс замечала, конечно, однако хотела это услышать от брата, удостовериться. – Я даже видел, как он весь дрожит. Только нос высунет, когда она во дворе, а как в дом зайдет, так и всю голову. Дело ясное! Пошли! – поторопил он сестру.

И они побежали вслед за Далмау, чтобы, как чуть ли не каждый день, столкнуться с ним, будто ненароком, где-то за кварталом Сан-Антони. «Вы меня преследуете?» – спервоначалу спрашивал он. «Ага», – отвечала Маравильяс.

И Далмау всегда покупал им поесть у одного из торговцев вразнос, которые разъезжали по городу, криками нахваливая товар и скрипя тележками.

Однажды, вместо того чтобы преследовать Далмау, Маравильяс подошла к заднему двору столовой.

– Дайте хлебушка, добрая тетя, – стала клянчить у Эммы, протягивая руку над невысокой стеной, служившей оградой.

– Хочешь хлеба, – ответила Эмма, не бросая работу, – приходи в полдень, после обеда: поможешь помыть посуду, и я тебя накормлю.

– Я голодная, – заявила нищенка с развязностью, не подобающей тем, кто просит милостыню.

Теперь Эмма на нее взглянула. Маравильяс выдержала взгляд и в свою очередь рассмотрела ее во всех деталях. Конечно милашка. Красавица. Чистая. Молодая, здоровая. Зависть захлестнула *trinxeraire*. Ее собственные крошечные груди не видны из-за выступающих ребер, зада нет вообще, а живот впалый... Ничего подобного чувственным, женственным изгибам, как у этой. Как давно она не видела своего лица в зеркале? Даже не знает, хорошенькая ли она. Дельфин говорит: нет, безобразная, как те тупорылые рыбы, которых иногда можно видеть в садках, но для улицы это не важно. В самом деле: здесь ценятся отвага,

быстрота, решительность, хитрость... Если девочка красива, на нее обратят внимание, изнасилуют или пустят по рукам или и то и другое вместе.

– Потерпишь до полудня, – повторила Эмма, прервав размышления Маравильяс.

– Ну хоть кусочек, – снова попробовала она.

– В полдень.

– Пожалуйста.

– Ты меня слышишь? – потеряла терпение Эмма. – В полдень.

В полдень Далмау временами обедал в доме учителя. С тех пор как началась подготовка выставки портретов *trinxeraires*, он то и дело приглашал ученика. К галстуку уже не придирался. Далмау ел за общим столом, со всей семьей и преподобным Жазинтом, и теперь его приглашали часто; порой юноша даже оставался с преподобным на сиесту, в отдельной темной комнатке, в то время как дон Мануэль дремал в своей спальне. Иногда за стол садились и другие гости, родные или друзья семейства, но это бывало реже. Донья Селия не говорила с ним ни слова и не скрывала своей неприязни. Урсула, старшая дочь, попыталась снова заняться тем же наивным, скованным сексом, что и в первый раз: предложив научить Далмау пользоваться приборами, опять затащила его в кладовку. Даже не позволила заговорить: набросилась на него с поцелуями, схватила за руки, опять положила одну на грудь, вторую между ног, все так же поверх одежды. Потом нашарила пенис, и, пока держалась за возбужденный член Далмау, испытывая запретное наслаждение, тот быстро сунул в вырез руку и извлек одну из грудей на свет божий.

– Что ты творишь?! – заорала Урсула, резко отпрянув и спеша засунуть грудь обратно под платье. – Кем ты себя вообразил?

Тут Далмау сложил пальцы, чтобы ущипнуть ее между ног, и девушка отпрыгнула назад. Опрокинула швабру и таз, которые разлетелись с жутким грохотом.

– Моя сестра умерла, – напомнил Далмау, когда она, торопясь и задыхаясь, билась в дверь, чтобы выйти из каморки, – тебе нечем меня шантажировать.

– Ты меня недооцениваешь, горшечник сра... – Урсула вовремя придержала язык. – Я тебе это попомню, – пригрозила она перед тем,

как хлопнуть дверью.

Во всяком случае, в том, что касалось выставки Далмау в Обществе художников Святого Луки, угроза не осуществилась: выставка открылась в здании Общества на улице Ботерс и имела большой успех. Преподобный Жазинт своим присутствием придал вес заверениям дон Мануэля насчет скорого обращения в веру этого нового художника, которого поздравляли, расспрашивали, осаждали явившиеся на выставку члены кружка, их родные и многочисленная публика, приглашенная на вернисаж. Открывал выставку дон Мануэль, которого сопровождали два члена Общества. Далмау не хотел говорить на публике и сам упросил учителя. «Я очень нервничаю, – признался он. – Голос дрожит и слова застревают в горле». – «Ты же не политик», – ответил дон Мануэль и освободил его от этой роли, зато заставил после своей речи обходить зал и знакомиться с людьми. Усы, некоторые с напояженными кончиками, почти все густые, как у дон Мануэля, и сросшиеся с бакенбардами, и бороды всех видов: квадратные, в мадридском стиле, остроконечные; эспаньолки, иногда просто клочок волос под нижней губой... Эти господа представляли его своим женам и дочерям, хорошо одетым, надушенным; на матерях дорогие украшения. Далмау был совершенно сбит с толку. Он отвечал на вопросы и не успевал закончить фразу, как его уже уводили в другое место, и какая-то дама признавалась, что рисунки вызывают у нее огромное сочувствие к бедным *trinxeraires*, «божьим созданиям, таким же, как мы», твердила она чуть ли не в слезах. Вдруг появлялось какое-то важное лицо, и дон Мануэль отводил Далмау в сторонку, но вскоре вокруг него опять толпился народ.

Также собрались журналисты из специальных изданий и тоже рассыпались в похвалах. «Живописец душ» – озаглавил один из них статью, которая вышла на следующий день; это напомнило Далмау замечание дон Мануэля и навело на мысль о влиянии, какое учитель, возможно, оказал на газетчика, который брал интервью при его активном участии. «Идеализм, с которым молодой художник изображает нищету, – объявил другой критик перед покоренной аудиторией, – придает даже некоторое достоинство детям, предстающим на этих рисунках».

«Льюки» пребывали в эйфории. В их постоянных стычках с богемой Далмау одержал великую победу. Года два тому назад та же

пресса раскритиковала выставленные в «Четырех котях»^[12], барселонской пивной-кафе-ресторане, ставшей для богемы культовым местом, картины молодого художника Пабло Руиса Пикассо. «Неровность рисунка, неопытность, промахи, колебания...» – так тогда оценили его произведения. Для богемы Пикассо превратился в самого многообещающего из молодых живописцев, однако его следующую выставку, год спустя, совместно с Рамоном Касасом в выставочном зале Парес журналисты и эксперты в области искусства даже не удостоили комментария.

– А тебя определяют как живописца душ, – поздравлял Далмау дон Мануэль, раздуваясь от гордости.

Люди, окружавшие Далмау, разразились аплодисментами. Художник не знал, куда девать руки, куда направить взгляд; наконец устремил его в пол, потом быстро обвел глазами мужчин и женщин, кивая, бормоча слова благодарности, не зная, аплодировать ли ему тоже или нет. Решил, что надо. Хлопнул в ладоши, и тут люди расступились, давая пройти женщине, одетой с чрезвычайной простотой, в платье из цветастой ткани, даже без подкладки; если бы не поясок на талии, оно болталось бы, как туника.

Далмау не нужно было смотреть на лица, чтобы почувствовать отторжение, какое вызвала Хосефа у этих зазнавшихся буржуа. Некоторые уже отходили в сторону, когда Далмау повысил голос:

– Моя мать, – представил он, беря ее за руку и подводя к дону Мануэлю. – Мой учитель, мама.

Дон Мануэль изящно поклонился, и иные женщины, уже отошедшие, вернулись, снедаемые любопытством и каким-то пошлым интересом, – разглядеть поближе будущий предмет пересудов и насмешек на их вечеринках: мать художника.

Хосефа, не обращая внимания на похвалы ее сыну, в которых рассыпался дон Мануэль, беззастенчиво уставилась на этих дам.

– Покажи мне это, – попросила потом сына, обводя рукой стены, увешанные рисунками.

Они прошли по выставочному залу, учитель рядом, взгляды всех присутствующих устремлены на них. Хосефа вытерпела объяснения дон Мануэля и Далмау, гордо держа сына под руку, чувствуя, что все на нее смотрят.

Далмау пожалел, что Эммы нет с ними: он бы сжимал ей руку, объяснял бы рисунки, кто есть кто, чего ему стоило этих детей нарисовать, что стащил этот, что выкрикивал вот тот... И она бы смеялась, и они бы разделили триумф. Может быть, теперь, после выставки, он рискнет снова встретиться с девушкой.

– Ты должен быть начеку, – шепнула Хосефа на ухо Далмау, прерывая ход его мыслей, – чтобы кто-нибудь из этих буржуев не смутил твою душу.

Эмма обходила зал, неся поднос, нагруженный грязной посудой, которую она собирала со столов. Шла медленно, осторожно, стараясь, чтобы стаканы и тарелки не стукались друг о друга. Но вдруг, когда она проходила мимо стола, за которым сидели четверо рабочих, один из них с силой шлепнул ее по задку. Девушка споткнулась и выпустила поднос. Стаканы, тарелки и плошки разлетелись по полу, многие разбились вдребезги. Эмме было не до катаклизма: она прижала руку к ягодице и, вся красная от стыда, повернулась к обедающим.

– Кто это был? – закричала она. – Как ты смеешь?

Мужчины, сидевшие за столом, хохотали во все горло. Бертран быстро подбежал к ним.

– Леон, – обратился он к одному завсегдаю, рабочему с мебельной фабрики, нахалу и забияке, – мне здесь не нужны скандалы! У меня приличное заведение.

– Приличное? – возопил мастеровой, развернул большой лист бумаги и показал Бертрану.

Эмма увидела, как побледнел хозяин. А рабочий встал, прижал лист к груди, развернув его до колен, и стал поворачиваться в разные стороны, чтобы люди с других столиков тоже посмотрели. Свистки, аплодисменты, непристойности и грубые словечки, какими приветствовали картинку неотесанные работяги, пришедшие сюда пообедать за несколько сентимо, загудели у Эммы в ушах, когда она узнала на рисунке себя, нагую, в вызывающей, совершенно похабной позе. У нее подкосились ноги, закружилась голова. Все вокруг вращалось с бешеной скоростью, и она уже не слышала гвалта. Она начала падать, но мужчина, сидевший за столиком Леона, ее подхватил.

– Раздевайся! – крикнул кто-то.

– Юбки, задери ей юбки!

Мужчина, не давший Эмме упасть, одной рукой поддерживал ее за талию, а другой похотливо ощупывал грудь.

– Молодчина!

– Покажи нам сиськи! Настоящие! – подстегивал кто-то еще.

Бертран остолбенел. Его жена Эстер и одна из дочерей, привлеченные скандалом, вызволили Эмму из рук работяги.

– Уведи ее, – велела мать, обращаясь к дочери. – На кухню. Живее!

– Ну нет! – хором взвыли клиенты.

– Пусть оголится, как на картинке.

– Шлюха!

– Дай сюда, – подступила к Леону повариха.

– И не подумаю, – воспротивился тот, пряча рисунок за спину. – Мне это стоило моих кровных денежек.

– Где ты это взял? – наконец-то пришел в себя Бертран.

– Где купил, ты хочешь сказать. В борделе Хуаны! – громко расхохотался он. – Там и другие картинки продавались, но мне приглянулась эта.

И пока он снова вертелся, распаяя собравшихся, Эмма сникла окончательно, услышав слова Леона буквально на пороге кухни: были и другие картинки, и к тому же их продавали в борделе.

– Ну хватит! Довольно, – потребовал Бертран. – У меня...

– Приличное заведение? – прервал его Леон под новый взрыв хохота. – У тебя работает девка, которая выставляется голой в... Выставляется голой, как последняя мочалка! – выкрикнул он наконец.

– Должно быть какое-то объяснение, – вклинилась Эстер; прежде чем идти следом за Эммой, она велела другой дочери подобрать все с пола.

Объяснения не было. Во всяком случае, такого, которое удовлетворило бы Эстер: она и ее муж, скромные владельцы столовой, гордились тем, что достигли определенной ступени, заняли место, пусть невысокое, среди городской буржуазии, и очень дорожили этим. Каталонцы к тому же и, разумеется, католики. «Ты позволила нарисовать себя в таком виде? – изумилась женщина, когда Эмма, сидя на корточках, закрыв руками лицо, на все ее расспросы только кивала. – Но... но... что за отношения были у тебя с женихом, девочка? Вы... предавались разврату?» Обе дочери Бертрана, разинув рты, ловили каждое слово; отец тоже вслушивался, стоя в дверях кухни и одновременно присматривая за залом.

– Мне так жаль, так жаль, так жаль... – рыдала Эмма.

Одна из дочерей, желая утешить плачущую, склонилась, чтобы обнять ее за плечи. Мать яростно вцепилась в нее, заставила подняться и оттащила на несколько шагов.

– И нам жаль, Эмма, – изрекла она, – но тебе придется покинуть этот дом.

Бертран напрягся. Но взгляда, который бросила на него жена, было достаточно, чтобы он прикусил язык. Дочери удивленно переглянулись. Эмма отвела ладони от лица и взглянула на Эстер.

– Вы меня увольняете? – медленно, в изумлении спросила она.

– Разумеется, – жестко отвечала хозяйка. – Мы не можем здесь допустить такого неприличия. Рассчитай ее, Бертран, – добавила она, направляясь к мужу. – Вы займитесь готовкой. А ты собери свои вещи и приходи за деньгами. Молчи, – проговорила она сквозь зубы, когда они с мужем вместе выходили из кухни. Народ уже успокоился, слышался только обычный гул голосов, кое-где крики и взрывы хохота. – Знаю, нелегко ее прогонять, – продолжала женщина, – но дело не только в этом рисунке... или в тех, какие могут еще появиться. Ты не замечаешь, что Эмма заменяет твоих дочерей на кухне? Им вольготнее вдали от плиты, они болтают с людьми, дурачатся, флиртуют. Подавальщиц мы всегда найдем, таких или сяких, а вот хороших кухарок мало, и надо воспользоваться случаем. Мы должны научить дочек всему, что умеем: кто меня заменит, если со мной что-нибудь случится? Кто продолжит это дело, когда мы состаримся?

– Но ее дядя... Мясо со скотобойни... – засомневался Бертран.

– Себастьян все прекрасно поймет. Думаешь, ему понравится, если народ побежит сюда с картинками, чествуя его племянницу шлюхой и хватая ее за задницу? Того гляди, он сам ее из дома выгонит.

– Он анархист, почти такой же, каким был его брат, а ты знаешь, что они думают относительно секса и всяческих свобод.

– Да-да-да, милый мой, – язвительно отвечала Эстер. – Пока это их самих не коснется, их собственной плоти и крови. Анархист или нет, он почувствует унижение.

Бертран со вздохом кивнул.

Эмма выскользнула на задний двор, потом через калитку в стене выбралась на улицу. Бертран при расчете не вычел стоимость разбитой посуды. Худой, суетливый, он избегал смотреть ей в глаза. Поджал

губы и пожелал удачи. От Эммы будто оторвали часть ее существа, жизни, рутины, она вдруг попала в водоворот сновавшей по улицам толпы, и никому не было дела до ее несчастья. Увернувшись от повозки, которую тащил хромым мул, она влилась в людской поток и понемногу удалилась от столовой. Все ей казалось чужим, враждебным. Она возвращалась домой в неурочный час. Что ей делать там взаперти? Дядя Себастьян, наверное, спит после ночной смены на скотобойне. Она задрожала при одной мысли о том, что придется объяснить дяде и кузенам, откуда взялись эти рисунки. Роса знала, ей она рассказала, ведь если делишь с кем-то небольшую кровать, это располагает к доверию и интимным излияниям. Представив, как дядя и кузены разглядывают ее наготу, она покрылась холодным потом. Зачем?! Зачем?! Зачем Далмау их продал? Неужели настолько возненавидел ее? Она остановилась посреди улицы, сжала кулаки, крепко, так что ногти вонзились в ладони. «Негодяй!» – проговорила она сквозь зубы. Шедшим позади приходилось огибать ее. На этой самой улице, может быть, на другой, поблизости, Далмау преследовал ее, просил прощения. Может быть, думал, что так легко простить удар кулаком, который она от него схлопотала? Нет, ни за что, даже если учесть, что он в тот вечер был в стельку пьян. И потом, Монсеррат. Она не могла отделаться от чувства вины, и по ночам ее преследовало видение: баррикада, голова подруги, развороченная пулями. Но Далмау не желал брать на себя ни малейшей ответственности, хотя именно он запустил конфликт, попросив ее заменить подругу на уроках катехизиса. «Предательница!» – именно поэтому выкрикнула Монсеррат перед смертью. Далмау должен был передумать, исправиться, умолять тысячу и один раз, чтобы получить прощение, а он вместо этого пропал, сделав несколько попыток; не упорствовал. И теперь рисунки. Эмма не понимала, как они очутились в борделе. Люди видели ее нагой, вождевающей, сладострастной. Она помнила каждый из сеансов рисования: любовь, страсть, наслаждение... Она шла, погруженная в эти мысли, со слезами на глазах, и вдруг обнаружила себя в нескольких шагах от решетки, окружающей фабрику изразцов. Пыталась вспомнить, не задумала ли она в какой-то момент нарочно прийти сюда, и решила, что нет.

Далмау нет на месте, объявил беззубый старик. Спросил, зачем она хочет его видеть. Зачем, повторила она про себя. Чтобы плюнуть

ему под ноги. Расцарапать морду, дать с ноги по яйцам. Да не раз!

– Просто так, – сказала она вслух. – Не беспокойтесь.

– Они с учителем готовят выставку. Говорят, получилось очень хорошо, и... – (Но Эмма уже отошла от решетки.) – Хочешь, скажу, что ты приходила? Как тебя звать?

Эмма несколько мгновений поколебалась, стоя спиной к старику, и наконец ответила, не повернув головы:

– Не надо, не утруждайтесь. Он меня не знает. Я приду потом.

И она направилась к Сан-Антони через те же пустыри, по тем же немощеным улицам без тротуаров, вдоль которых выстроились убогие домишки в два-три этажа, мастерские и фермы, где держали молочных коров, коз или ослиц; по тем же переулкам, где всегда ходила, не очень-то глядя по сторонам.

– Козел, – вдруг пробормотала она вне себя, остановившись перед какой-то молочной фермой. – Козел, – повторила громче. – Козел! – возопила в самые небеса, стоя посреди улицы. – Козел!

Скотница обернулась на эти крики, неодобрительно фыркнула, когда корова, которую она доила, заволновалась и стала брыкаться. Две женщины в черном зашептались, указывая на Эмму, а позади них, спрятавшись между домами, за бельем, развешенным сушиться, всякой утварью и грудями мусора, Маравильяс и ее брат Дельфин обменялись заговорщическими взглядами. Делов-то – выкрасть из мастерской Далмау рисунки, изображавшие девушку, которую Маравильяс узнала, как только увидела в столовой. У Далмау в мастерской был полный кавардак, а рисуя *trinxeraires*, он доходил до такой степени сосредоточения, что, если не считать бумаги, уголька и пастелей, которые он держал в руках, Маравильяс могла стащить у него что угодно: башмак с ноги или рубашку с тела.

Продать их в бордель Хуаны оказалось еще проще. Бандерша, как и следовало ожидать при ее ремесле, не отличалась культурой и утонченным вкусом, однако же она рассматривала рисунки с почтением, будто открывала в них что-то, помимо сладострастия, какое призваны были возбуждать снимки голых женщин, вошедшие в моду после распространения фотографии. Но от почтения цена не стала выше, как их в том уверил Бенито, *trinxeraire*, который и рассказал о том, как странно глядела шлюха на эти картинки; ему Маравильяс поручила миссию продажи рисунков.

– Почему он, а не ты или я? – заныл братец.

– Не надо Далмау знать, что это сделали мы.

– Почему?

– Далмау нам доверяет. Может, даже привязался к нам. Разве ты сам не видишь? Покупает нам еду с тележки, время от времени дает несколько сентимо. Он злится на девчонку, это в глаза бросается, и все-таки в нее влюблен. Иначе не стал бы за ней шпионить. А если они помирятся, мы станем лишними, так и знай.

– А. – Дельфин задумался на несколько мгновений. – А что, если Далмау встретит Бенито и тот расскажет, что его подрядили мы?

Девочка резко взмахнула рукой, отменяя все сомнения.

– Что Бенито встретит, так это смерть свою, кашляет сильно и на каждом шагу кровью харкает.

Маравильяс двинулась было за Эммой, которая, громко обругав Далмау и плюнув под ноги скотнице, продолжила путь, удаляясь вниз по улице.

– Пусть себе идет, – предложил Дельфин.

Но Маравильяс не собиралась пускать дело на самотек. Она хотела знать, что будет с девушкой дальше. Когда-нибудь это ей пригодится... на пользу или во вред Далмау.

Дядя Себастьян уже знал: он ходил обедать в «Ка Бертран» после того, как Эмму выгнали, и гнев его распаялся по мере того, как он дома дожидался ее прихода. Эмма застала его в бешенстве, в буйстве, возможно, в подпитии, на что указывала наполовину опорожненная бутылка анисовки на столе и запах перегара, который девушка почувствовала при первых дядиных словах.

– Что ты натворила, несчастная? – зарычал Себастьян. Эмма отступила к входной двери. Дядя двинулся следом, кричал, брызгая слюной и алкоголем. – Все кому не лень тебя видели голой! Мокрощелка! Шлюха! Так я тебя воспитал? Что бы сказал твой отец, будь он жив?

Эмма стукнулась спиной о закрытую дверь. Дядя Себастьян чуть не столкнулся с ней нос к носу, от запаха перегара и пота ей стало дурно. Она слышала и ощущала на лице его горячее дыхание. Они были дома одни, кузены еще не пришли с работы. Сейчас он ударит ее. Эмма задрожала, закрыла глаза, боясь, что дядя, во власти гнева и

алкоголя, ее изнасилует, но крики стихли. Секунды шли, а она все не решалась взглянуть на дядю. Не могла сдержать коварную дрожь в коленях. Еще немного, и она упала бы, но внезапно по всему дому прогремел удар: это дядя Себастьян грохнул кулаком по двери. Эмма соскользнула на пол. Дядя двинул по двери ногой, совсем рядом с нею: еще и еще раз. Девушка слышала, как трещит пробитая филенка, и все сильнее съеживалась. Дядя вернулся к столу и налил себе рюмку анисовки.

Эмма так и сидела под дверью, скорчившись, прижав колени к груди. Оттуда увидела, как дядя опрокидывает рюмку одним глотком и наливает следующую.

– Завтра подыщу тебе хорошего мужика, готового забыть об этих рисунках и не поминать твое бесстыдство, и ты выйдешь за него замуж. Нелегко найти такого, кто примет с легким сердцем, что его жену видела и желала половина мужчин Барселоны, но, кажется, есть у меня один на примете...

– Нет, – услышала себя Эмма как бы со стороны. – Я ни за кого не выйду замуж.

Себастьян взял рюмку, но отпил всего один глоток, что необъяснимым образом успокоило Эмму.

– Мне следовало бы задать тебе трепку, – пригрозил дядя, – но я обещал брату, что, коли это будет в моих силах, тебя никто и пальцем не тронет, включая меня, конечно. Раз ты не желаешь мне подчиниться, тебе придется покинуть этот дом. Ты достаточно взрослая, и я могу считать себя свободным от обещания, данного твоему отцу.

После такой речи, весьма пространной для забойщика скота, дядя рухнул на один из стульев, стоявших вокруг стола.

– Не беспокойтесь, я прямо завтра... – начала Эмма.

– Не завтра. Сегодня. Сейчас.

– Но Роса... и кузены... – бормотала Эмма. – Мне хотелось бы попрощаться.

– Дождись их на улице и прощайся там.

Эмма принесла с собой узелок со скудными пожитками, какие забрала из столовой: миска, столовый прибор, пара передников, салфетка. Теперь нужно было собирать вещи в доме, который она считала родным со времени гибели отца. Одежда. Цветастое платье,

выкройку для которого ей принесла Монсеррат. Пара башмаков и ее детские портреты, которые нарисовал Далмау. Эмма все их разорвала. От родителей ей остались только исцарапанные очки и самопишущая ручка с золотым колпачком, которая принадлежала отцу и которую Эмма хранила, как величайшее сокровище. Лучше ее с собой не брать.

– Будьте добры, сохраните ее для меня, дядя, – уже с узелком на плече попросила она, кладя ручку на стол. – Надеюсь, когда-нибудь я вернусь за ней, а если нет, пусть достанется старшему из братьев, – добавила она. Дядя хранил молчание. – Спасибо за все, – заключила она. – Я понимаю ваше решение и хочу, чтобы вы это знали.

Эмма нагнулась, чтобы поцеловать его в макушку, как делала не раз. Себастьян отстранился.

– Мне жаль, – повторила Эмма, направляясь к двери.

– Если я не выдам тебя замуж и не выгоню тебя и если ты не появишься на людях с физиономией, разбитой в лепешку, – услышала она, уже стоя на пороге, – люди подумают, что моя Роса такая же потаскуха, как и ты. А этого я ни за что не допущу.

Эмма, уже стоя на площадке, кивнула и исчезла.

Роса расплакалась, когда они встретились в парадном, и Эмма объяснила ей, что произошло. «Они не поймут», – предупредила относительно братьев. И не ошиблась. Они явились, когда Эмма еще прощалась с Росой.

– Ты-то хоть не позировала для этого поганца? – было первой реакцией одного из них; при этом он буравил сестру взглядом и сжимал кулаки.

– Я предупреждал, – вклинился другой брат, – то, что ты позволяла Эмме в нашем доме кувыркаться с этим сукиным сыном, ни к чему хорошему не приведет.

– Мне очень жаль, – извинилась Эмма перед кузенами.

В конце концов она расцеловала обоих в щеки, чего не позволил их отец, отдернув от нее макушку. Правда, братья тоже себя чувствовали неловко, да и соседи, которые поднимались или спускались по лестнице, уже с подозрением косились на сборище. «Что-то случилось?» – спросил один.

Случилось много чего. У Эммы почти не было денег: несколько песет, полученных при расчете, и скудные сбережения. С этим она могла снять комнату в каком-нибудь доме, но во всех знакомых домах,

которые они перебрали вместе с Росой, с ней могли обойтись так же, как дядя Себастьян: узнав о рисунках, ее бы выгнали или... Роса не осмелилась выразиться яснее, а Эмма и без того понимала. Ею могли попользоваться, приняв по меньшей мере за доступную женщину. Пару часов назад она боялась, что родной дядя ее изнасилует. В этом она не стала признаваться кузине, да и сама поняла, что была несправедлива к человеку, который воспитал ее как родную. Но если так получилось с родичем, которого она уважала, которому доверяла, что говорить о посторонних.

Вдруг она отдала себе отчет, что, если не считать борьбы за дело рабочих, стычек с жандармерией и оскорбительных выкриков в адрес буржуев, жизнь ее протекала практически безмятежно. Когда Роса и кузены поднялись к себе, окружающая среда снова ей показалась враждебной, так же как утром, когда она покинула «Ка Бертран». Она совсем одинока. Ей нужна работа. Нужны деньги. Нужен приличный дом, где ее не знают, где она может есть и спать. Нужно заново устроить жизнь, которая вышла из-под контроля с того момента, как арестовали Монсеррат, и теперь выплеснула ее туда, где она сейчас находится, одна-одинешенька посреди Ронда-де-Сан-Антони, в толчее людей, мулов и повозок, вечером злополучной среды в середине июля 1902 года.

Колокол приходской церкви Сан-Пау дель Камп отбил две четверти часа: половина седьмого. Роса сказала, что в муниципальный приют у Парка^[13] нужно поспеть до восьми. Туда принимали с восьми до десяти вечера, но они решили, что лучше прийти пораньше, чтобы не остаться без постели или без ужина. Тогда она села на кольцевой трамвай, круживший по старому городу: он довезет до приюта, до улицы Сицилия. Эмме удалось устроиться на скамейке между двумя солдатами, которые подвинулись с преувеличенной, несколько наигранной вежливостью. Девушка скоро поняла, что к чему: парни мало-помалу начали сдавливать ее с обеих сторон. Вот какой теперь будет ее жизнь. Она громко вздохнула, потом заерзала, с силой повела плечами. «Неужели скамейка съежилась?» – спросила она с насмешкой, повернувшись в одну и в другую сторону; другие пассажиры заулыбались, а солдаты покраснели и отодвинулись.

На Параллели трамвай звонил не переставая, чтобы разогнать толпу прохожих, устремляющихся в кафе и столовые, к тележкам

разносчиков, в театры, кабаре, кино и к аттракционам. Люди разбегались не так быстро, как того хотел бы водитель, что часто приводило к несчастным случаям, особенно на узких улочках. Трамвай не зря прозвали «гильотиной», так легко он перерезал человеческую плоть, отнимая жизнь у жителей Барселоны. Этот кольцевой маршрут часто называли «каретой бедняков», поскольку многие семьи скромного достатка по воскресеньям разъезжали на нем, точно богачи в своих экипажах.

Эмма сошла с трамвая у Парка, разбитого на обширной территории, где два века назад, после поражения Барселоны в Войне за испанское наследство между сторонниками Филиппа V Бурбона и эрцгерцога Карла Австрийского, были выстроены укрепления. В середине XIX века правительство отдало их городу, а городские власти незамедлительно постановили разрушить фортификации, напоминавшие о разгроме. Там состоялась Всемирная выставка 1888 года, а теперь, в свете июльского заката, под свежим морским бризом Эмма смешалась с барселонцами, рассеянно бродившими по различным аллеям: тополиной, липовой, вязовой; они любовались садами, разбитыми в английском стиле, с гигантскими кедрами и множеством магнолий, или шли освежиться к искусственному водопаду немалой высоты, к которому вела аллея, обсаженная эвкалиптами.

Эмма напряглась, ощутив укол зависти: она не раз наслаждалась здесь природой вместе с Далмау. Здесь они бегали и хохотали, обнимались и страстно целовались; потом она отдыхала на лужайке в каком-то из множества садов, а Далмау погружался в свои рисунки: наброски прохожих, иногда бурлескные или сатирические, чтобы позабавить Эмму; иногда деревья или простой цветок. Было это не так давно, а казалось таким далеким.

Она ускорила шаг, чтобы не поддаваться воспоминаниям, пересекла Парк и оказалась на улице Сицилия. Там располагался приют, муниципальное учреждение, при котором имелась бесплатная амбулатория, а также отдельные спальные корпуса для мужчин, женщин, детей и умалишенных. Не считая медицинского и управленческого персонала, учителя и подсобных работников для уборки и приготовления еды, в приюте заправляли четырнадцать монахинь ордена Святого семейства и помощник-капеллан.

В те дни в приюте содержалось около сотни детей, восемьдесят мужчин и сорок женщин, а еще семьдесят идиотов или сумасшедших. Особенность приюта заключалась в том, что мужчины и женщины могли провести здесь три ночи, получая постель, суп на ужин и какой-то завтрак, – днем они должны были уходить – и после этих трех ночей могли снова просить ночлега лишь по истечении двух месяцев.

Эмма остановилась, увидев толпу, скопившуюся на улице. Она заколебалась, ее так и подмывало повернуться и уйти, но никакого другого места для нее нигде не было. Эмма глубоко вздохнула. Они об этом говорили с Росой: ей было нужно время, хотя бы три дня с ночевкой в приюте, чтобы сделать правильный выбор. Эмма пристроилась к очереди, которая змеилась перед цокольным этажом. Вскоре поняла, однако, что все эти люди, раненые, в кровавых повязках, женщины, баюкающие детей, дрожащих в ознобе, немощные старики и пьяные, не держащиеся на ногах, пришли сюда не за ночлегом, а за бесплатной медицинской помощью, то есть в амбулаторию, расположенную в полуподвале.

Эмма отыскивала вход в приют и назвала свое имя администратору, сидевшему за высокой стойкой. Больше ничего не потребовалось. Ей показали дорогу в женское отделение; ночлежка тоже располагалась в полуподвале. Там, среди женщин, пришедших раньше и раскладывавших свои вещи по кроватям, которые рядами стояли в большом зале, Эмма увидела двух монахинь: они-то и приступили к расспросам. Что привело ее сюда? Есть у нее родные? Работа? Что она умеет делать? Какого вероисповедания? На конкретные вопросы Эмма отвечала уклончиво, зато, когда речь зашла о вероисповедании, поразила монахинь, бегло процитировав отрывки из катехизиса, который сестра Инес из приюта Доброго Пастыря накрепко вбила ей в память. Вечером монахини позаботились, чтобы ей налили побольше супу. Положили в отдельную кровать с простынями старыми и колючими, но чистыми, и с этого ложа Эмма слушала храп, кашель и плач сорока с лишним женщин. Были там нищенки, их распознать легко, но также девушки и женщины такие, как она, по воле злой судьбы оказавшиеся здесь; Эмма хотя и не заговаривала с ними, но отвечала на улыбки, которыми они обменивались, узнавая товарок по несчастью. Несмотря на это, несмотря на множество спящих, которые ее окружали, с наступлением темноты Эмме, свернувшейся в позе

зародыша, показалось, что она стала совсем крохотной, до полного исчезновения. Она всем телом ощущала свое одиночество, могла потрогать эту вдруг выросшую вокруг нее стену, и слезы сами собой заструились по щекам. Эмма пыталась бороться. Она всегда была сильной, ей об этом говорили, и она этим гордилась. Минута за минутой она сдерживала плач: зажмурилась, сжала губы, напряглась всем телом. Но глухие рыдания прорывались.

– Дай себе волю, девочка, – послышался голос с соседней кровати. – Тебе станет легче. Никому нет дела до твоих слез, никто не попрекнет тебя. Со всеми нами случилось и еще не раз случится одно и то же.

Эмма попыталась припомнить лицо этой женщины. Не получилось. Нетрудно было последовать ее совету, и она плакала так, как на своей памяти не плакала никогда, даже когда умер отец.

На следующий день монахини порекомендовали ей приличный дом на улице Жироны, за улицей Кортес. Сказали, что можно сослаться на них. Предложили и работу прислуги в другом доме, ведь Эмма накануне заявила, что умеет готовить. А еще они могли посодействовать тому, чтобы ее приняли в школу Непорочного Зачатия, где обучали всем видам услужения в богатых домах. Более восьми сотен девушек постигали премудрости этого дела, а потом получали место.

Кровать в доме на улице Жироны была весьма кстати. Но быть прислугой у буржуев ей, анархистке, боровшейся за рабочее дело, совсем не улыбалось, как бы ни давила нужда. Ее отец перевернулся бы в гробу, да и Монсеррат, без сомнения, тоже. Кроме того, чтобы поступить в школу, где учили готовить и прислуживать, а главное, почитать хозяйку дома и Господа превыше всего, требовалось свидетельство о благонравном поведении, выданное священником прихода, к которому принадлежала будущая служанка. Монашек Эмма смогла обмануть отрывками из катехизиса, но со священником такой номер не пройдет.

– Благодарю, почтенная мать настоятельница, – начала Эмма, – но это мое тело... – Раскинув руки, она обвела контуры своей фигуры. – Это тело навлекло на меня массу неприятностей. Хозяева... их сыновья... Вы понимаете? – (Они понимали.) – Мужчины в богатых

домах думают, что имеют на нас какие-то права, что мы обязаны делать для них гораздо больше, чем просто прислуживать за столом. Я осознаю это и не хочу никого вводить в грех. Может быть, через сколько-то лет, когда юность минует, я и смогу работать в каком-нибудь благопристойном доме.

– Прекрасные слова, дочь моя, – похвалила старшая среди этой дюжины монахинь, в свою очередь оглядев Эмму с головы до ног.

Дом на улице Жироны был скромным, но благопристойным. Как и следовало ожидать от дома, который порекомендовали монахини, благочестивая вдова, носящая траур, владела им и увеличивала свои доходы, сдавая лишние комнаты. За три песеты в месяц Эмма могла делить кровать с другой девушкой, Дорой, симпатичной, приветливой хохотушкой, которая желала одного: выйти замуж и выбраться из комнатенки, где им двоим было не поместиться стоя. У девушки был один недостаток: она вся пропахла кроликами. Этот запах Эмма помнила еще по столовой, но от Доры несло в сто раз сильнее: она работала в скорняжной мастерской и подстригала кроличьи шкурки, а значит, весь день их теребила в руках. Как она ни старалась избавиться от состриженных волосков, к утру кровать была усеяна ими, и Дора, проснувшись, долго пыталась вычесать их из своей шевелюры, одновременно рассыпаясь в извинениях. А еще было невозможно проветрить комнату, ибо единственное окно выходило в крошечный внутренний дворик, откуда не свежестью тянуло, но просачивались тысячи запахов из других туда выходящих квартир: такое впечатление, будто запахи теснились там, ожидая, когда какой-нибудь наивный жилец откроет окно и впустит смрад в свое жилище. И вдова не одобряла, когда они держали дверь в спальню открытой. Это, заявляла старуха голосом более твердым, чем обычно, прямо приглашает мужчин зайти, разжигает их плотские желания; правоту своих слов она подчеркивала, стуча клюкой по мозаичному полу.

Пусть Эмма не могла открыть окно комнатенки, а порой выходила на улицу вся в кроличьих волосках, ей не составило труда подружиться с Дорой, приникая к ней по ночам, чтобы утишить тревогу и обмануть тоску. Общаясь с ней, Эмма воспрянула духом. Положение ее было настолько отчаянным, что она стала понемногу забывать Далмау, дядю Себастьяна, кузину Росу, Хосефу, даже Бертрана и всех, кто прежде ее окружал. Она заплатила вдове за месяц

вперед, и денег оставалось только на скудное пропитание в течение того же месяца. Пересчитывать монеты она не осмелилась, но знала, что дело обстоит так. Нужно было найти работу, этим она и занялась с самого первого утра, не ограничиваясь кухней, хотя сначала обошла столовые и рестораны, пивнушки, винные погребки и таверны, и все без толку: ей либо отказывали, либо старались воспользоваться ее положением и предлагали нищенскую плату. Экономический кризис не ведает жалости и пробуждает худшие качества в тех, кто может дать работу.

Эмма переключилась на лавки, где торговали вышивками и кружевами, шляпами, продуктами и даже экипажами. По нулям. Столь же бесплодными оказались походы по магазинам вееров и зонтиков; ножей; кондитерским и обувным. Наконец, ее нанял тюфячник, который держал магазин на улице Байлен, неподалеку от площади Тетуан, и несколько ночей кроличьи волоски, приносимые Дорой, смешивались с прилипавшими к Эмме клочьями шерсти. Обе по утрам хохотали. Одна подстригала кроличьи шкурки, другая днями напролет ворошила шерсть. Работа у Эммы была такая: она брала тонкий ясеневого прута длиной полтора метра, согнутый под острым углом на конце, подцепляла и подбрасывала шерсть, пока та не ложилась слоями и не становилась пышной; потом сам тюфячник или его супруга укладывали эту шерсть на матрасную ткань и зашивали. Несколько дней Эмма задыхалась среди кип необработанной шерсти, в которую тыкала и тыкала палкой, поднимая пыль, забивавшую горло, пока однажды вечером перед концом работы, когда она, покрытая пылью, вертела в воздухе прутом, разделяя слежавшуюся шерсть, тюфячник толкнул ее в спину и повалил на тюк.

Дора спрашивала, что это за человек. Вроде порядочный, отвечала Эмма. «Не расслабляйся», – предупредила подруга, а Эмма, вместо того чтобы прислушаться, пошутила, что, дескать, у нее все время палка в руках, пусть только сунется, увидит, где раки зимуют. Но теперь... куда же этот прут подевался? К ужасу Эммы, тюфячник взгромоздился на нее, и оба погрузились в шерсть; потеряв рассудок, он одной рукой тискал ей грудь, а другой задирали юбки, одновременно целуя взасос шею, уши, щеки, губы.

Эмме было с ним не справиться. Мужик могучий, сильный: недаром всю жизнь ворошил шерсть и перетаскивал тюфяки с места на

место. Эмма, задыхаясь среди волокон шерсти, искала выход. Пыталась нащупать прут, уже чувствуя его руку в промежности, но не вышло. Прута не было. Под руки попадалась шерсть и только шерсть. Хотела крикнуть. Закашлялась. Куда супруга смотрит, подумала про себя. Хотела вывернуться из-под тела, ее прижавшего к тюку, но это было невозможно. Закричала, на этот раз без помех, и он больно отхлестал ее по щекам, продолжал бить, даже когда она замолчала.

– Нет. Умоляю, – всхлипнула девушка, выбиваясь из сил. – Пожалуйста. Нет. Нет...

Она заметила, что тюфячник, не приподнимаясь, елозя по ней, стаскивает с себя штаны.

– Нет. Нет.

Эмма увидела перед собой воздетый член, уже обнаженный, и снова стала защищаться. Мужчина крепко схватил ее запястья и развел ей руки крестом.

– Пожалуйста, – молила она, глядя ему прямо в глаза.

– Тебе понравится, девочка, – ухмыльнулся тюфячник. – Так понравится, что еще захочешь.

Эмма погрузила ладони в шерсть, сжала кулаки, будто это могло как-то ее успокоить, а мужчина, сев на нее верхом, дергал блузку, пытаясь добраться до груди.

– Будешь меня просить! – твердил с остекленевшим взглядом и побагровевшим лицом. – Повторить захочешь!

Ее осенило. Когда тюфячник открыл рот, собираясь бахвалиться дальше, Эмма приподнялась, как могла, и сунула туда комок шерсти, который сжимала в кулаке. Мужчина, застигнутый врасплох, схватил ее за руку, вывернул кисть. А она сунула ему в рот другой комок, из другого кулака.

– Вот и повторю! – заорала Эмма, пальцами пропихивая шерсть прямо в горло.

Он сопротивлялся. Но злость придавала ей сил, направляла волю, и, выдерживая натиск, она то одной, то другой рукой закрывала ему рот, не давая выплюнуть шерсть. Тюфячник пытался колотить ее, но недолго, через несколько секунд бешеной схватки он начал задыхаться и наконец лишился чувств. Эмма скинула его с себя, поднялась, отскочила на несколько шагов, надсадно кашляя: ей в горло тоже попали волокна шерсти и пыль, которую они подняли во время возни.

Тюфячник после нескольких потуг исторг из горла комки шерсти, потом его вырвало. Продолжая отступать, Эмма наткнулась на ясеневый прут. Подобрала его. Тюфячник стоял согнувшись, спиной к ней, все еще содрогаюсь. Козел! Она сунула прут ему между ног, живо представляя себе уже обвисший член, и, подцепив его загнутым кончиком палки, с силой дернула. Вопль тюфячника возвестил, что она не промахнулась. Бросив прут, Эмма направилась к выходу. По пути забрала из кассы то, что ей причиталось за работу плюс компенсацию за порванную блузку.

– Боюсь, где бы ты ни работала, везде будет одно и то же, – рассудила Дора, когда обе девушки уже лежали в постели и она в очередной раз внимала рассказу Эммы. – Ты, девочка, слишком хороша. – Она прищелкнула языком. – Иногда по ночам и у меня нет-нет да и возникнет искушение...

– Перестань! – вскричала Эмма, шутливо отталкивая ее.

Они лежали лицом к лицу, деля подушку, дыхание, запахи, кроличьи волоски. От души смеялись.

– Нет, – продолжала Дора, когда смех затих, – я серьезно...

– Насчет искушения? – спросила Эмма.

– Нет, подруга, нет. Насчет твоих проблем. Если у тебя есть парень, который встречает тебя после работы, болтается около, куря сигарету, а когда ты выходишь, целует тебя и берет под руку, заявляя свои права, и это видят все, кто с тобой работает, и кто сидит в таверне на углу, и даже болван из магазина, где продают иголки, который день-деньской пялится через витрину, – тогда тебя уважают, зная, что, если переступят черту, будут иметь дело с ним. А ты... – Дора пристально взгляделась в нее. – Ты – красотка, и тебя никто не защищает. Рано или поздно всем становится известно, что у тебя нет семьи, что ты снимаешь комнату пополам с другой девицей и у тебя нету парня. И никому дела нет до тебя и до того, что с тобой приключится.

Насчет последнего Дора ошибалась, хотя Эмме это было невдомек. Маравильяс и Дельфин следили за ней время от времени. Прошли за ней до приюта у Парка. «Почем тебе знать, что она едет туда?» – спросил *trinxeraire*. «Женщина уходит из дома с узелком, садится на Карету Бедняков, идти ей некуда: едет она в приют у Парка, спорим на что хочешь». – «А если есть куда?» – «Тогда нам будет

труднее ее найти», – оборвала брата Маравильяс. Дети пересекли старый город пешком. Убедившись, что ее догадка верна, Маравильяс улыбнулась брату. Они наблюдали также, как Эмма заселялась в дом вдовы. Как напрасно обивала пороги в поисках работы. Видели, как она выбегает из магазина тюфяков в разодранной блузке. «Этот тюфячник всегда был сволочью», – прокомментировала Маравильяс.

– И что, по-твоему, мне делать? – спросила Эмма подругу. – Одеться почуднее? Закрыть лицо?

– Как монашка? Нет, это не пойдет. Практичнее, да и веселее, подыскать жениха.

Тут же, словно при вспышке молнии, Эмме на ум пришел Далмау. Она не переставала думать о нем, хотя и с противоречивыми чувствами. Иногда накатывала ностальгия по счастливым дням, и любовь, которая, казалось, осталась позади, скреблась где-то в глубине и изливалась тихими слезами. Однако большей частью она вспоминала Далмау с презрением и гневом: рисунки, выставившие напоказ ее наготу, а главное, что бесило ее до дрожи, – как он с ними поступил; да и коллизия с Монсеррат... Верно и то, что он не настаивал на примирении, как должно, да и делал это лишь на первых порах, когда от обиды и ярости Эмма даже не могла на него смотреть. А потом пропал. Больше не просил прощения за то, что ударил ее, не желал ничего слышать о своей ответственности за смерть Монсеррат. И ей не удалось потребовать у него объяснений по поводу рисунков. Далмау устранился, и это ее удручало больше всего. Раз он не нашел ее вовремя, теперь, когда она затеряна в таком большом городе, как Барселона, это почти невозможно.

Теперь он, наверно, и не ищет ее, отрешенно думала Эмма. Далмау ушел в работу. «Из моих троих детей, – призналась однажды Хосефа, – старший и младшая характером пошли в отца, оба неустрашимые бойцы; Далмау не такой, он артист, добрая душа и большое сердце, но не от мира сего».

Эмма больше не навещала Хосефу и страдала от этого. Когда-нибудь заглянет повидаться с ней; но о Далмау его бывшая невеста и так кое-что знала. Об успехе выставки его рисунков *trinxeraires* услышала в таверне, куда временами ходила завтракать вместе с Дорой перед тем, как обе отправлялись на работу. В кафе и в тавернах кто-нибудь нередко читал газету вслух, чтобы неграмотные, коих было

большинство, тоже находились в курсе событий. Тот добровольный чтец однажды наткнулся на заметку о том, что в Обществе художников Святого Луки открыта выставка рисунков молодого многообещающего художника из Барселоны по имени Далмау Сала, который «живописует душу своих моделей», с пафосом прочел грамотей.

«Грустные получают души», – посетовала Эмма и подняла чашку с кофе, будто чокаясь с солнцем.

Жениха она не нашла, даже не искала, да и не собиралась, хотя речи Доры не давали ей покоя. Зато обрела старого Матиаса, время от времени поставлявшего цыплят и кур в «Ка Бертран»; он появился, как всегда, нагруженный корзиной с птицами. Было это на слиянии улицы Арагон с Пасео-де-Грасия, где недавно на мадридской ветке построили железнодорожную станцию. Здание в стиле модерн, казалось, поглощали стоящие рядом дома, куда более высокие, так что народ, ничтоже сумняшеся, сравнивал его с общественным писсуаром. Матиас болтал с возницей одного из экипажей, которые выстроились рядом в ожидании пассажиров, сходящих с поезда; Эмма же пыталась именно здесь пересечь улицу Арагон: по железнодорожным путям пройти было труднее, чем по улице, тянущейся поперек откоса наподобие моста.

Девушка пыталась избежать встречи со стариком. Матиасу ни разу не удалось продать ни курицы, ни цыпленка в столовую Бертрана. Как только он появлялся со своей корзиной, Бертран звал Эмму, та рассматривала птиц, обнюхивала их и отвергала. В конце концов старик обратил все в шутку и, когда появлялся в столовой, направлялся прямо к Эмме, бегал за ней по кухне и заднему двору, пытаясь убедить, что его товар первосортный. «Эти хорошие, клянусь». Бертран не вмешивался, только посмеивался над стараниями Матиаса и непреклонностью Эммы. «Только что из Галисии, да ты хоть взгляни на них». Порой Эмма поддавалась на обман, подходила понюхать, морщила нос, строила кислую мину и клялась себе страшной клятвой никогда больше не верить старику. «Какая нежная сеньорита Эмма!» – с укором произносил Матиас, прекратив беготню и распивая вино с Бертраном.

Завидев вокзал, Эмма ускорила шаг; может быть, именно это, легкая походка статной женщины, заставило возниц обратить к ней

взоры, будто бы жаркий, застоявшийся, тяжелый воздух конца лета вдруг пришел в движение.

– Сеньорита Эмма! – раздался голос старика. Эмма не знала, что делать: Матиас был знаком с Бертраном, наверняка заходил в столовую, слышал о том, что случилось, даже, возможно, видел рисунок. – Сеньорита Эмма! – окликнул он еще громче.

Люди стали оглядываться. «Кажется, вас зовут», – какая-то женщина пальцем показала назад, за спину Эммы, которая в итоге остановилась и обернулась к Матиасу.

– Чего тебе? – нехотя пробурчала она.

Старик не ответил, пока не оказался рядом.

– Хотел поздравить тебя, девочка, с тем, что ты ушла от хиляка Бертрана. – Взглянув на лицо Эммы, старик расплылся в улыбке, показав редкие черные зубы, и пустился в объяснения. – Ты никогда не сдавалась. В других местах я обычно уговаривал людей. Сунешь в руку тому, этому – и они, поди, не станут приглядываться. Ты никогда ничего у меня не просила.

– Куры у тебя неважные, – признала Эмма.

– Но и не такие плохие. – Матиас замахал на Эмму руками, будто защищаясь. – Никто не умер, даже не заболел от моих кур и цыплят. Если хорошо приготовить, никто не жалуется. Думаешь, если бы что-то такое случилось, я бы все еще торговал ими на улицах? Люди знают, что куры не первой свежести, потому и дешевые. Кто бы стал продавать хорошую курицу за полцены?

Эмма не могла не согласиться. Покинув столовую и дом дяди Себастьяна, она поневоле стала питаться продуктами, которыми раньше побрезговала бы. «Хочешь вкусенького – иди в „Континенталь“, в „Мезон Доре“ или в другой какой шикарный ресторан. Чего ты от меня требуешь за шесть сентимо?» – распекал ее хозяин постоянного двора, когда она пожаловалась на то, что зелень вялая. Ее так и подмывало сказать, что есть столовые, где за качеством продуктов следят, но ведь она не могла с уверенностью утверждать это относительно «Ка Бертран». Да, она ходила с хозяином за покупками, но скорее затем, чтобы ему не продали скверный товар по высокой цене. В большинстве случаев Эмма не знала, откуда взялись продукты, которые варились или жарились на кухне Эстер.

– И когда ты не смотрела, – вывел ее из задумчивости старый Матиас, – Бертран покупал у меня курочку-другую. – Эмма так широко раскрыла глаза, что веки слились с бровями. Матиас вновь улыбнулся, выставив напоказ с полдюжины кривых, почерневших зубов. – Честное слово!

– Нет! – не верила Эмма.

– Да! – утверждал старик.

– Вот ведь сукин сын этот Бертран. Значит... все было для отвода глаз? Ты бегал за мной по кухне и по двору, я отмахивалась... а после этот козел покупал у тебя кур?

– Нет, – возразил Матиас. – Я бы даром отдал моих кур твоему хозяину, только чтобы побегать за тобой, как в прежние времена. – (Эмма снова впала в изумление.) – Девочка, много ли красоток, таких, как ты, позволят противному, беззубому старику подойти к себе ближе чем на три шага?

Эмма покачала головой.

– Хочешь за мной приударить?

– Нет, нет, нет, – возмутился Матиас. – Как можно приударять за богиней? Дышать одним воздухом с тобой для меня достаточно.

Эмма слегка склонила голову набок и улыбнулась.

– Пошловато, но красиво, – признала она.

– Богиням по нраву кофе? – осведомился Матиас. Эмма сделала гримаску. – Оршад? – На этот раз Эмма громко фыркнула. – Может, мороженое?

Ладно, подумала Эмма. Мороженое подойдет.

Идея была безумная, но Матиас ее убедил. Так ей ни к чему жених, который встречал бы ее с работы, и не нужно постоянно быть начеку, опасаясь, что какой-нибудь негодяй ее изнасилует. С другой стороны, с тех пор как Эмма сбежала из магазина тюфяков, она так и не смогла найти работу.

– Но ты не будешь хватать меня за задницу? – спросила она Матиаса, взвесив его предложение. Иссохшее лицо старикана заметно помрачнело. – Даже не вздумай! – воскликнула Эмма. Матиас развел руками с таким простодушием, будто Эмма проникла в его тайные помыслы. – Пошел ты к черту!

– Клянусь, я тебя и пальцем не трону! – обещал старик, даже не дав Эмме повернуться.

Она оглядела торговца с ног до головы: настоящий мешок костей.

– Я тоже клянусь: не сдержишь слова – яйца тебе оторву, и...

– Думаю, – прервал ее Матиас с наигранным страхом, сгорбившись и выставив руки перед собой, – этого достаточно, чтобы выбросить из головы всякие дурные помыслы.

– Помыслы! Да, уж их, пожалуйста, изгони тоже! Потому что, если я увижу, как ты пускаешь слюни, глядя на меня, я оторву тебе...

– Знаю, знаю, – заторопился он. – Даже глядеть не буду!

Так они пришли к соглашению. Матиас обязался платить ей третью часть дохода, какой они получают с каждой проданной курицы или цыпленка.

– Мы будем ходить по отдельности? – поинтересовалась она.

– Думаешь, я тебя нанял за красивые глаза? – насмешливо осведомился старик. – Эта корзина уже давно для меня тяжеловата. – Он взвесил корзину на руке и протянул Эмме. – Ходить будем вместе, ты с корзиной, с улыбочкой и вот с этим... – Он изобразил округлости Эмминого тела, но, когда та вздернула подбородок и смерила его взглядом, тотчас осекся. – Ну а я привнесу свой опыт.

Они без труда толкнули четырех кур, которые были в корзине. Две галисийские, из тех, что именовались «постными», хотя в Барселону они прибыли жирными, сетовал Матиас; одна русская, тоже тощая, и последняя – из Картахены. Трех они продали кухаркам из богатых домов, перехватив их по дороге на рынок; они тоже получали свою выгоду, разницу между реальной ценой за птицу и той, которую назначал Матиас в зависимости от покупателя, как правило, примерно половину стоимости. К тому же Матиас, ничуть не стесняясь, выписывал квитанцию, исходя из рыночной цены. «За русскую куру из постных, – писал он дрожащей рукой на клочке оберточной бумаги, – три песеты. М. Польеро». Ставил закорючку и получал две песеты, какие просил за курицу в этот раз.

Последнюю курицу, вторую из постных галисийских, которые некогда были жирными, они всучили непосредственно хозяйке, хорошо одетой даме, выступающей в сопровождении служанки, которая улыбалась Матиасу, пока Эмма нахваливала птицу. Наконец убедила покупательницу, продемонстрировав живые глаза и чистые

перья куры. «Две песеты», – хотела назначить она, но Матиас, стоявший позади, ее поправил:

– Две с половиной! И вы выгадываете полторы, сеньора.

После этой продажи утро подошло к концу. Матиас пригласил Эмму пообедать, но она отказалась, сославшись на то, что это не входит в ее обязанности. Матиас согласился, но пытался ее вразумить, напомнив, что ей нужно еще многому научиться. Тут пришлось согласиться Эмме. У нее возникло много вопросов. Хорошо, она с ним пообедает, но только в столовой, ни в коем случае не у него дома. Ему это и в голову не приходило, заверил старик. Они пешком направились к Парку, рядом с которым располагался приют, где Эмма провела свою первую ночь вне дома дяди Себастьяна.

На юге, за кольцом, образованным железнодорожными и трамвайными путями, Парк граничил с зоной чудовищно хаотической застройки, которая выходила к морю. Там располагались, без какого-либо видимого порядка или разумного плана, вокзал, именуемый Французским, поскольку поезда оттуда отправлялись в эту страну; арена для боя быков Барселонеты; бедный квартал, поделенный на квадраты улицами, стремящимися к морю; порт и постройки, с ним связанные: пакгауз, таможня, Пла-де-Палау, торговая биржа, молы и склады для товаров, два газоперерабатывающих завода, кладбище...

Они обедали в большой столовой, из тех, что назывались «круглыми столами»; столы там были огромные, не обязательно круглые; люди приходили и садились за них, если было свободное место. Меню одно для всех, дешевое блюдо дня за шесть сентимо; заплатив их, каждый мог разделить с другими липкую грязь, покрывающую столы и пол, жир, который, казалось, висел в воздухе, и запахи, которые Эмма была не в состоянии распознать.

Старик и его новая работница нашли себе место, сопровождаемые наглыми взглядами, шепотками, даже свистками и бесстыдными предложениями: их окружали матросы, докеры, железнодорожники и всякий подсобный персонал, народ в большинстве своем грубый. Матиас поднял руку и с победоносным видом поприветствовал всех. Возмущенный ропот Эммы заглушили аплодисменты и здравицы, а потом каждый занялся своим делом, то есть продолжил поглощать пищу.

– Зачем ты приветствовал их?

Матиас в общих чертах повторил то, что говорила Дора. Заверил Эмму, что все прекрасно понимает и осознает, что не имеет на нее никаких прав. Даже не собирается выступать в роли ее жениха. Тем не менее, поскольку здесь есть люди, которые его знают и уважают, он надеется, что они окажут уважение и девушке тоже.

Им принесли суп, в котором плавал жир.

– Знаешь, сколько кур и других пернатых ежегодно привозят в Барселону? – начал Матиас после того, как Эмма приняла его объяснения. Она помотала головой, поднося ко рту ложку с куском чего-то плотного. – Четыре миллиона!

– Это целая уйма кур, – согласилась девушка.

– Да. И большинство прибывает по железной дороге, а из этого большинства огромное большинство – на Французский вокзал, там, позади. – Он показал большим пальцем через плечо.

Эмма ждала продолжения. Ела суп и все, что в нем содержалось. Матиас тоже ел, но, когда пытался говорить с полным ртом, суп проливался между беззубых десен.

– Из этих четырех миллионов кур около двадцати пяти тысяч не проходит санитарный контроль. – Старик молча проглотил две ложки, вытер губы рукавом пиджака и взглянул Эмме в лицо. – Думаешь, в Барселоне достаточно ветеринаров, чтобы осмотреть четыре миллиона кур, прибывающих в клетках из Франции, Италии или России? – спросил он, пожимая плечами. – Дело в том, что в Барселоне нет места для забоя птицы, такого, как бойня для скота. Кур, гусей, уток и куропадок перевозят в вагонах. Когда их выгружают, ветеринары проводят беглый осмотр. Здоровых отправляют в магазины или на рынки; тех, что кажутся больными, помещают в карантин, неподалеку от вокзала. Это – голый пустырь, на нем теснятся клетки, которые никто не чистит, так что птицы, даже здоровые, заражаются от больных. – Матиас снова отдал должное супу. Эмма почти доела свой. – Ха! – продолжил старик, проглотив несколько ложек. – Ветеринары возвращают владельцам тех кур, которые выздоровели, что в таком карантине невозможно. Другие околевают, конечно, кто бы не околел после такой дороги, а тысячи птиц забивают, считая нерентабельным их лечить и кормить. На самом деле, никто не желает вкладывать в это деньги. И в такую-то сумятицу внедряемся мы. Монетку там, монетку здесь, и никто не хватится нескольких кур. Кто

бы их считал! Пока власти рапортуют, что было забито столько-то тысяч кур, прибывших в плохом состоянии, дальнейшее никого не волнует, и граждане спят спокойно, поскольку у нас есть кому проследить за качеством нашей еды.

– Ха! – повторила Эмма ироничный смешок Матиаса: ее собственный опыт подсказывал, что старик прав.

Все, что Эмма могла себе представить, бледнело перед тем, что она увидела, когда Матиас после обеда повел ее в карантин, расположенный между двумя железнодорожными путями: по одному поезда шли во Францию через Матаро, по другому – через Гранольерс. Десятки клеток, поставленных одна на другую, нечищенных, сочащихся экскрементами, забиты птицами; девушке показалось, что все они вот-вот околеют. Матиас расхаживал по тропкам, проложенным между клетками, в сопровождении старика, который выглядел не чище кур, порученных его попечению, и который время от времени оборачивался и с любопытством оглядывал ее. Матиас и другой старикан выбрали четырех кур, сунули их в мешок, а мешок положили в корзину, которую носила Эмма.

– Эти живые, – улыбнулся Матиас. – Смотри, чтобы не сбежали.

Он расплатился со стариком из карантина и пригласил Эмму к себе домой.

– Только во двор, – заверил он, чтобы она согласилась.

Жил он в полуподвале трехэтажного дома в одном из переулков, которые вели к арене для боя быков Барселонеты. В распоряжении Матиаса был маленький световой дворик, к которому примыкал соседний дом; только Матиас имел туда доступ, поэтому вдоль стен стояли клетки, девственно чистые; в некоторых квохтали куры.

– Посади этих в клетки. Каждую по отдельности. Налей воды в поилки и насыпь корма.

Старик осмотрел других кур, то удовлетворенно хмыкая, то огорченно прищелкивая языком, а когда был наведен порядок и новые птицы устроены, вынул деньги, вырученные утром, и произвел расчет.

Эмме причитались почти две песеты.

Покинув дом Матиаса, девушка, довольная, пошла вдоль морского фасада Барселонеты. Рыбацкие суда уже вернулись, и она не могла не задержаться на несколько мгновений, любуясь зрелищем, какого не увидишь днем, когда люди, живущие морем, уходят на лов: тысячи

деревянных судов всех размеров и видов скопились в рыбацком порту. Взгляд не мог проникнуть сквозь густой лес мачт со спущенными парусами. Чуть поодаль – большие корабли. «Спору нет, – подумала Эмма прежде, чем пуститься в путь к дому, где делила комнату с Дорой, – можно пересечь весь порт из конца в конец, не замочив ног, если перепрыгивать с борта на борт».

Этой ночью девушка привнесла в общую постель несколько перышек и историю, которая пленила Дору.

Бертран сообщил, что решил отказаться от услуг Эммы, но не пожелал распространяться о причинах.

– Слушай, парень, – сказал он, кладя конец настойчивым расспросам, – если хочешь узнать больше, нужно спросить у нее самой, так?

Это и собирался сделать Далмау, направляясь к жилищу Эммы. На этот раз юноша не выслеживал ее, не прятался по углам, а вошел в столовую со всей решимостью, хотя и не знал, как Эмма примет его, и волновался. Ему не терпелось разделить с Эммой свой успех, попросить у нее прощения. Он не позволит себя оттолкнуть, как тогда, после гибели Монсеррат. Он был готов встать перед ней на колени, ползать в пыли, если необходимо, пообещать ей звезду с неба, всю вселенную, если надо! Он понял, что в триумфах мало толку, если рядом нет любимого человека.

Похвалы, великолепные критические отзывы, признание – все это повысило самооценку Далмау. И колебания, мешавшие ему раз навсегда решить свои проблемы с Эммой, исчезли.

Он взбежал по лестнице через две ступеньки и забарабанил в дверь. Никто не отозвался, хотя он стучал долго; тогда Далмау спустился на улицу и стал ждать у парадного, как больше недели тому назад поступила Эмма, собираясь попрощаться с кузенами. Только на этот раз первой появилась не Роса, а двое братьев.

– Привет. Вы не знаете?..

Далмау не успел закончить вопрос. Один из кузенов Эммы ударил его кулаком по лицу. Другой ударил в живот, и Далмау согнулся пополам. Но ему не дали упасть. Застигнутый врасплох, Далмау был беззащитен под градом ударов, которые сыпались на него. Прижавшись к стене, съежившись, он только закрывал руками голову и лицо, пока братья тузили его, крича: «Козел! Похабник! Сутенер! Развратник! Подонок! Негодяй!..» Прохожие, небольшой толпой обступившие их, смотрели, но не вмешивались. Кто-то визгливо призывал жандармов. Ни одного агента рядом не оказалось, а ближайший участок располагался далековато, на улице Сепульведа.

– Остановите кто-нибудь этих варваров! – не выдержала какая-то женщина.

– Поможем ему? – предложил Дельфин сестре.

– Куда там! – отказалась Маравильяс. – Подставишься под такую плюху, из тебя и дух вон.

Только спасительное появление Росы положило конец избиению. Девушка встала между Далмау и братьями, ей даже пришлось их встряхнуть как следует, чтобы усмирить слепую ярость, обуявшую их.

– Этот сукин сын заманивает девушек, чтобы рисовать их голыми! – объявил один из братьев, обращаясь к толпе. – Он поступил так с нашей кузиной.

– А рисунки продает в бордель! – добавил второй брат.

Раздался возмущенный ропот.

– Поделом ему! – слышалось в толпе.

– Убивать таких гадов мало!

Опасаясь худшего, Роса затащила Далмау в парадное. Братья вошли следом.

– Не приближайся к этому поганцу, – велел один из них.

Роса хотела прикрыть Далмау собой, но тот, с разбитым лицом и сочащимися кровью губами, ее отстранил.

– Не знаю, о чем вы, – еле выговорил он.

Братья собрались было снова наброситься на него. Роса закричала, а Далмау стойко принял вызов. На улице на него напали неожиданно, но теперь он даст отпор. Братья говорили что-то об Эмме, рисунках обнаженной натуры, борделях! Он ничего не понимал.

– Я никогда бы не продал рисунок, изображающий вашу кузину! – возмутился он, искренне недоумевая.

Роса выступила вперед, но не успела прикрыть Далмау своим телом. Братья остановились.

– Твои рисунки ходят по рукам, люди их купили в борделе, – выпалил один.

– Ведь ты и правда рисовал ее голой, – обвинил другой.

– Да, – признал Далмау, – но это искусство. Она сама хотела позировать для меня. Рисунки нравились ей. В этом нет ничего плохого. Если только...

– Но ими торгуют в борделе.

– Не понимаю... – Далмау сглотнул, почти уверенный в том, что собирался сказать. – Нет. Они у меня в мастерской. Их никто никогда не видел. Я бы не позволил.

– Ты разрушил жизнь Эммы, – бросил ему в лицо один из братьев. – Люди считают ее обычной потаскушкой.

– Где она? – спросил Далмау, твердо решив добиться ответа.

Братья плюнули ему под ноги и пригрозили убить, если он снова причинит Эмме неприятности, потом оставили его наедине с Росой, но и та не могла дать никаких сведений о своей кузине. Призналась, что не имела от нее никаких вестей с тех самых пор, как отец выгнал ее из дому. Предложила обработать ушибы, но Далмау отказался. Стер кровь с лица и сел на трамвай, чтобы поскорее добраться до фабрики изразцов, где гнетущее чувство тревоги сменилось тяжелой тоской, когда он убедился, что этюды обнаженной натуры, для которых позировала Эмма, исчезли из папки, где он хранил свои работы. Далмау весь покрылся холодным потом, голова закружилась так, что пришлось опереться о рабочий стол.

Кто украл рисунки? Тот, кто это сделал, имел, конечно же, доступ в мастерскую. Далмау подумал на Пако... Вряд ли такое возможно, хотя деньги, которые, должно быть, заплатили в борделе за такую натуру, могли послужить немалым соблазном. Он вспомнил, как один из мальчишек, живших на фабрике, рассказывал, что у сторожа в семье какие-то проблемы. Нужда всегда подвигала на воровство, а то и служила оправданием. И если не Пако, то кто мог это сделать? Достать ключи от его мастерской совсем нетрудно, они висят на крючке в шкафу, в той камерке, где дежурит сторож. Но старик часто бывает занят другими делами. И о чем Далмау не мог даже помыслить, так это о том, чтобы предать огласке тот факт, что у него украли рисунки обнаженной натуры, для которых позировала его невеста, бывшая невеста, ведь очевидно, что Эмма никогда не вернется к нему после унижений, перенесенных по его вине. Эмма, должно быть, считает его обыкновенным сутенером, мерзавцем, который воспользовался тем, что девушка его любила и полностью отдавалась любви. Далмау вздохнул. То, что он спьяну ударил ее, можно простить, но то, что он продал рисунки, где она изображена обнаженной... «Льюки», как и учитель, не позволяли писать обнаженную женскую натуру, тем более

с девушки, с невесты. Если он раскроет тот факт, что рисунки украли, возникнет еще одна проблема с доном Мануэлем вдобавок к тому, что он бросил посещать пиаристов, которые его наставляли в вере: после выставки учитель еще настойчивее добивался его обращения. Дня не проходило, чтобы он об этом не заговаривал. «С „Льюками“ тебя ждет блестящее будущее, – предрекал он. – Припади к Христу, Он наполнит твою душу. Свет Господа направит твою кисть, твои творения обретут духовное величие».

Весь остаток дня Далмау раздумывал над тем, кто бы мог оказаться вором. Никто не мог бы выкрасть рисунки, пока Далмау находился в мастерской: он бы заметил. Но на фабрике изразцов работало столько народа, что, не объявив во всеуслышание о краже, было невозможно указать на кого-то конкретно. Он стал присматриваться к людям и обнаружил косые взгляды, которых раньше не замечал; отношения, которые, поскольку он затворился у себя в мастерской, проходили мимо него, но не нашел ничего, возбуждающего хоть самое смутное подозрение.

Он возвращался домой уже ночью, угнетенный тем, что его расследование ничего не дало. Устало брел под роскошным, блистающим звездами небом летней ночи. Боль обжигала его каждый раз, как он думал... представлял себе Эмму, нагую, в рискованных позах, переходящую из рук в руки, пробуждающую в мужчинах похоть через рисунки, в которые он вложил все свое мастерство, а она отдавалась ему и верила безоглядно. Он мог припомнить их все до единого. И если он страдал так жестоко, трудно даже вообразить, какого предела достигают терзания Эммы, чья интимная связь грубо выставлена напоказ, чья честь запятнана. Что она сейчас делает? Где работает? У нее нет никого, кроме дяди и кузенов, его самого и его матери, ей неоткуда больше ждать помощи.

На него напали, чтобы ограбить, соврал он матери, чтобы объяснить следы ударов, нанесенных кузенами Эммы. Целая шайка, добавил он на следующий день, повторяя то же самое дону Мануэлю, уверяя его, что все в порядке и он хочет работать. Ему это нужно, подумал про себя Далмау. И все-таки в полдень, отклонив приглашение учителя пообедать у него дома, юноша вышел в город, который показался ему необозримым. От окрестностей фабрики, несколько выше над уровнем моря, Далмау мог видеть всю Барселону:

порт, старый квартал, Эшампле, поселки, поглощенные большим городом. Трамваи сновали туда и обратно, поезда пересекали город: на Сарриа через середину улицы Балмес, на Мадрид через улицу Арагон; французский экспресс... Конные экипажи и телеги, запряженные мулами. Тысячи велосипедов и редкие автомобили. Полмиллиона человек здесь жили, работали, непрерывно передвигались, создавая беспорядочную сумятицу: как проникнешь в нее, как отыщешь среди этой толпы одну-единственную женщину – Эмму.

Кто-то должен знать, где она остановилась. Этим полднем Далмау обошел весь квартал Сан-Антони: рынок, тюрьму, школу пиаристов, куда тщетно призывал его вернуться преподобный Жазинт. Дошел до Параллели, глядя во все стороны, всматриваясь в лица продавщиц в лавках, официанток в барах и уличных кафе, заглядывая через щелочку во все магазины – вдруг Эмма устроилась работать в один из них.

Начиная с этого дня он, закончив работу в полдень или же вечером, отправлялся на поиски Эммы. Нашел каких-то подружек, даже анархисток, товарищей Монсеррат, которые знали и Эмму тоже. Одна сказала, что вроде бы видела ее в Эшампле, другая – в Сантс, но ни одна не сообщила ничего конкретного, что позволило бы продвинуться в поисках. Он прочесал пол-Барселону, глядя направо и налево, расспрашивая, приближаясь с тяжелым чувством, а вдруг Эмма окажется среди них, к череде нищих, просящих милостыню у дверей богатых особняков или ждущих тарелку супа в многочисленных приютах и благотворительных заведениях города.

Как-то вечером, когда Далмау проходил по переулку в квартале Грасия, заглядывая в лавчонки и магазины, к нему приступили Маравильяс и Дельфин. «Давно пора», – твердил он сестре, пока они таскались за Далмау все эти дни. «Почему бы не сказать ему, где она? Может, что-нибудь получим в награду». Маравильяс с братом знали, где живет и ночует Эмма, были также в курсе ее новой работы у Матиаса, торговца курами. «Мы получим от него больше, чем награду, – заверила девочка. – Ты только помалкивай, не профукай все, как обычно», – предупредила его напоследок.

– Маэстро! – окликнула *trinxeraire*.

– Маравильяс, – удивился Далмау. – Что ты здесь делаешь?

– Я у себя дома. Мы живем на улице, помнишь? – ответила девочка. Далмау кивнул, поджав губы, словно об этом сожалел. – А

ты? Что ты делаешь?

– Ищу одну девушку, – невольно вырвалось у него.

– А, – кивнула Маравильяс.

Какое-то время они молчали. Маравильяс ждала, пока Далмау попросит их, а он колебался, хотя ведь дети в самом деле жили на улице. И их было много. Если они займутся поисками Эммы, это может сработать.

– Как думаешь, могли бы ты и твои товарищи мне помочь? Я, как ни стараюсь, не могу ее найти.

Он щедро заплатил Маравильяс. Деньги нужны для других *trinxeraires*, наврала та.

– Больше десяти тысяч пустятся на ее поиски!

– Ну, может, не так много, – в первый раз заговорил Дельфин.

– Тебе-то откуда знать, болван? – тут же повернулась к нему сестра. – Ты и считать не умеешь.

– Но не все из них нам друзья, – стоял он на своем.

– Для того и нужны деньги, дурачок! – Парнишка хотел что-то сказать, но Маравильяс испепелила его взглядом. – Молчи!

Через неделю Пако сообщил Далмау, что Маравильяс с братом ждут его у ворот фабрики. Далмау бросил все и побежал к ним. Они ее нашли. Да. Эмму Тазиес. Так ее зовут, сказал мальчишка, который опознал ее в пекарне на улице Принцессы, в старом квартале. Точь-в-точь как на рисунке, которым Далмау их снабдил, так что нет никаких сомнений. Они сели на трамвай, чтобы прибыть поскорее. Пассажиры глядели с презрением на грязных, оборванных детей и шарахались от них. Девушка в пекарне была не Эмма. *Trinxeraire*, обнаруживший ее, настаивал на том, что это, конечно же, Эмма. «Тазиес?» В ответ на вопрос Далмау бродяжка пожал плечами и недоумевающе уставился на Маравильяс. «Поскольку он не умеет писать, то и забыл фамилию, – пыталась та его оправдать. – Но ведь она похожа, правда?» Девушка была хорошенькая, вот и все сходство. «Не переживай, маэстро. Мы ее найдем, – утешил его Дельфин. – Будем искать повсюду».

Ребята еще трижды обманули его.

– Ее зовут не Эмма Тазиес! – раскричался Далмау в последний раз перед потоком работниц, выходявших с прядильной фабрики. – И она ничуть не похожа на рисунок, который я тебе дал!

– Она такая, точно такая, как на рисунке! – тоже вскричала Маравильяс. – И зовут ее Эмма Тазиес, – добавила она. – Уверю тебя. Это – та, кого ты ищешь. Сам у нее спроси.

Далмау сделал несколько шагов по направлению к женщине, на которую показывали Маравильяс с братом, уверяя, что на этот раз да, да; на этот раз они ее нашли, но остановился, помотал головой, удивляясь, до какого идиотизма можно дойти, потом, нахмурившись, повернулся к *trinxeraire*.

– Почему ты меня обманываешь? Разве я обидел тебя?

– Нет. – На глазах у Маравильяс выступили слезы. Она не была плаксой, не помнила, когда в последний раз, еще маленькой девочкой, пускала слезу, но умела притворяться. В такой жизни, как у нее, не обойтись без умения пробуждать сочувствие и жалость. – Я не обманываю, – захныкала она. – Ее зовут Эмма Тазиес. Она сама мне сказала. Мне. На этот раз мне. Я не вру, честное слово! И она похожа на рисунок. Клянусь тебе, это правда... Зачем ей было меня обманывать?

Девушка, выходящая из ворот прядильной фабрики, даже не была милостивой. Грубая, подумал Далмау уже у себя в мастерской. Может, она и хороший человек, скромная работница, и на лице у нее, как и у них у всех, запечатлелись тяготы непосильного труда, к которому их день за днем принуждают начальники цехов, но она ничуть не похожа на Эмму. Далмау вздохнул: он велел Маравильяс бросить это дело. Та отказалась и, задыхаясь от рыданий, обещала найти его невесту. Далмау знал, что должен сделать это сам: невозможно, чтобы Эмма исчезла бесследно. Рано или поздно до него дойдут какие-то слухи... Он продолжит поиски, хотя вряд ли это чему-то послужит, вряд ли она простит, но попытаться стоит.

У себя в мастерской он был завален работой. Фабрика получала заказы для домов в стиле модерн, которые повсюду строились. Панно вроде того, с феями. Изразцы для серийного производства, как те, что разработал Далмау, вдохновившись японской гравюрой. И это не все: после выставки рисунков и отзывов в прессе имя его передавалось из уст в уста. Производитель оливкового масла заказал ему рекламный плакат для своей продукции; фабрикант, выпускающий карамели, – рисунок на новую коробку. Далмау до сих пор обдумывал, как это сделать. Пристально изучал плакаты, афиши и вообще творчество

великих мастеров модерна: Касаса, Рузиньола, Утрилло, Де Риквера, Льяверьяса...

Рисунок для карамелек получился довольно быстро: плоская коробка извилистых очертаний с закругленными краями, на крышке улыбающиеся личики двух детишек в локонах, много орнамента, яркие цвета. Плакат для оливкового масла потребовал больше труда. К неудовольствию дона Мануэля, Далмау взял за образец и пример для подражания рекламу из одного журнала, где анонсировался санаторий для сифилитиков на бульваре Бонанова, вдали от центра города. Этот анонс нарисовал Рамон Касас, представитель богемы, мастер, каких мало.

Каждый раз, глядя на этот плакат, Далмау чувствовал себя маленьким, неумелым. На анонсе представала женщина, болезненно худая, но все еще красивая, однако вся ее красота, вместе с жизнью, ускользала вместе с взглядом, погруженным в цветок, который она держала в руке на уровне глаз. В шаль, которая не прикрывала голой спины и лишь частично прикрывала грудь, вплелась черная змея, что исключало всякую надежду на излечение, какую смотрящий на объявление мог бы питать. Этим было все сказано! Такой омерзительный предмет, как сифилис, обыгрывался с редкой проникновенностью и непревзойденным мастерством. Трудно было представить, чтобы он мог добиться чего-то подобного. Речь теперь не о том, чтобы выплеснуть на бумагу боль от потери Монсеррат или преодолеть скорбь от разрыва с Эммой, изображая неприкаянных *trinxeraires*; теперь нужно передать чужое послание, и в такой форме, чтобы люди стали покупать именно этот сорт оливкового масла.

Между тем, работая над керамикой и время от времени млея от восторга перед рекламой клиники для сифилитиков, в надежде, что и ему придет в голову что-то, кроме женщин, раскупающих масло, Далмау беспрерывно мелькал на ужинах, празднествах и собраниях. Приглашения обычно поступали через дона Мануэля, и Далмау приходил вместе с учителем, который и у себя дома устраивал банкеты, чтобы похвастаться своим учеником и сотрудником. Он был преподавателем Далмау в Льотхе; продвигал его, сына анархиста, осужденного за причастность к взрывам во время процессии Тела Христова в Барселоне в 1896-м; посвятил его в секреты производства керамики и взял на фабрику; избавил от военной службы; поддерживал

советами; помог семье, когда случилось несчастье с его сестрой, бедняжкой: пусть она и революционерка, а все-таки не заслужила такой смерти; организовал ему выставку. Он, всюду он... Он отвел Далмау к своему портному, назойливому юнцу, чтобы тот пошил ему пару пиджаков и пару брюк, за которые Далмау заплатил цену, в его глазах непомерную. Потом пошел вместе с учеником покупать пальто и башмаки, рубашки, носки и нижнее белье. На этом закончилось все, что оставалось от выручки за рисунки *trinxeraires* – прекрасные, но мало прибыльные, поскольку цену за них назначало Общество художников Святого Луки. В конечном счете, столько и причиталось начинающему художнику, высказал свое мнение учитель, если учесть комиссионные, непредвиденные расходы и тысячу других статей, в которых Далмау не разбирался, а потому доверился дону Мануэлю.

Но шляпу носить Далмау наотрез отказался, так и ходил в своей шапочке. И рубашки носил без воротничков и манжет, памятуя о матери, день и ночь строчащей на швейной машинке. И галстук не надевал, поскольку не на чем было его завязывать. Таким образом, Далмау вращался в среде «Льюков», одетый скорее как их противники, представители богемы, чем как те, кто его приглашал: мужчины в сюртуках или черных фраках, женщины в шелковых платьях, увешанные драгоценностями, затянутые в корсеты.

Дождь из золотых капель, густых и тяжелых, на темном фоне, с проступающими на нем томными, чувственными женскими силуэтами. Производитель оливкового масла был в восторге от нового дизайна, разработанного Далмау, и с радостью заплатил оговоренную сумму, после чего устроил у себя в доме ужин, куда не пригласил дону Мануэля.

– Строго между нами, – откровенно высказался он тем вечером, – знаю: он твой учитель, ты его уважаешь, как должно, а может, питаешь более теплые чувства, но мне он кажется слишком ретроградом, чтобы поддерживать с ним беседу или приятно провести вечер в его компании. Мне это ни разу не удавалось, где бы мы с ним ни сталкивались. Пресвятая Дева, Иисус Христос, бомбы анархистов, богема, каталонские сепаратисты... Больше он ни о чем не говорит! Порядок, мораль и добродетель. Только ему не проболтайся, – добавил фабрикант.

Далмау, к собственному изумлению, кивнул с понимающей улыбкой.

Производителя оливкового масла звали Франсиско Серрано, и его четырехэтажный дом в узком, тихом проулке между Пасео-де-Грасия и Рамбла-де-Каталунья предстал перед Далмау прекрасным образцом стиля модерн: высокие потолки, украшенные резьбой и яркой керамикой; между стропилами, оставленными на виду, и паркетными полами – полихромными или в великолепных узорах – мебель в едином стиле и декор из самых необычных материалов.

Далмау слышал нечто подобное от людей, критикующих течение, сильно привлекавшее его самого. Мол, люди искусства, художники и скульпторы, особенно богема, восстают против буржуазии, презирают ее и высмеивают. Не пишут картин или книг, не ваяют скульптур, привлекательных для публики, но создают искусство ради искусства, и вместо того, чтобы следовать вкусам толпы, навязывают ей свои. Произведения искусства превратились в предмет торговли.

Архитекторы примкнули к этой тенденции позднее, но воплотили ее во всей полноте, более наглядно, чем художники. Они не только проектировали и строили здания, но и делали зарисовки деталей, которые раньше считались второстепенными и отдавались на откуп ремесленникам: балюстрады, решетки, замки, дверные молотки... Кроме этих дополнительных аксессуаров, они занимались также мебелью, вазами и прочими элементами декора. В их число входили гобелены, ковры, посуда, хрусталь, столовые приборы... Архитектор, работающий в стиле модерн, вникал во все; иные даже создавал фасоны платьев для хозяек дома.

Барселонские богачи таким образом тщились встать вровень с европейскими декадентами, которые весь прошлый век заполняли свои жилища множеством экзотических и ценных предметов, украшениями всякого рода, всех эпох и самого разного происхождения, в изобилии почти подавляющем. Но буржуа-модернисты в итоге получали дом, проект и отделка которого отражали не интеллектуальные запросы владельца, не его культуру, не манию коллекционера, не любопытство или даже авантюризм, но исключительно вкус архитектора.

Такой дом и показывали Далмау дочь фабриканта масел и пара ее подруг, приглашенных к ужину; прежде чем садиться за стол, девушки провели его по всем комнатам, включая спальни, где панели, кровати,

шкафы, стулья и столы являли собой образцы мастерской работы по дереву, не уступающей шедеврам Хомара, Пунти, Бускета... Старую лепнину и рельефы XIX столетия заменили более легкими сочетаниями светлого ясеня, розового дерева или ореха с более темным красным деревом или дубом. Люстры из кованого железа, витражи в деревянных рамах, а главное, инкрустации из дерева, металлов, перламутра и черепахи доводили целое до совершенства. Далмау провел пальцами по женским головкам, инкрустированным в изголовье кровати, на которой спала дочь фабриканта.

– Как прекрасно засыпать каждую ночь под таким произведением искусства, – произнес Далмау, пытаясь различить сорта древесины, из которых состоял рисунок.

Девушки, все лет двадцати, заулыбались, стали перемигиваться, и Далмау понял, что фраза получилась двусмысленная.

– Я имел в виду, что...

– Знаем-знаем что, – перебила его одна с лукавой усмешкой, взяла под локоток и направила на лестницу, которая вела к столовой.

Этой ночью, после ужина, под мрачным взглядом дочери фабриканта, не понимающей, почему отец не позволяет ей по ночам выходить из дома, а старшему брату позволяет, Далмау отправился с этим последним и его друзьями в поход по шикарным значным местам, в одном из которых служитель преподнес ему бабочку, поскольку туда без галстука не пускали. Вначале Далмау хотел воспротивиться, но выпитое спиртное и настояния женщин, которые по ходу вечеринки присоединялись к компании, взяли свое, он сдался и позволил себя тормошить: ему нацепляли бабочку, снимали ее, сдвигали в сторону, поправляли, окидывая критическим взором, словно оценивали картину. Если одна одобряла, другая срывала бабочку и развязывала ее под смех, крики и дружелюбные споры: все для того, чтобы подольститься к юноше, которого представили как молодого, многообещающего художника.

Что было дальше, Далмау припоминал с трудом, а проснулся он совершенно голым, на диване в квартире на Рамбла-де-лес-Флорс; двое его спутников, тоже нагие, спали в кровати, вытянувшись во всю длину, будто их специально распялили. Далмау тер себе глаза, пока они не повлажнили и не исчезло ощущение, будто слой песка прилип к роговице. Он не узнавал соседей по комнате, во всяком случае в таком

положении, и не имел ни малейшего намерения встать и взглянуть пристальней. Голова буквально лопалась от бесчисленных образов, которые мелькали перед ним, помогая вспомнить, кто он такой и что с ним было: люстры, столы, музыканты, танцы, женщины, бокалы... Все это обрушивалось на него разом, будто пытаясь силой проникнуть в мозг. Далмау привстал, желудок у него взбунтовался.

– Привет, артист, – неожиданно раздался женский голос у него за спиной.

Далмау хотел ответить, но слова застряли в пересохшем горле.

– Маэстро уже проснулся? – прозвучал другой голос.

Две полуодетые девицы сновали по комнате, пытаясь отыскать в хаосе тряпья, бутылок и самых разных вещей, разбросанных по полу, недостающие предметы туалета.

– Лови, – сказала одна, бросая Далмау трусы.

– Откуда ты знаешь, что это мои?.. – спросил он, еле ворочая языком; попытался поймать их неловким движением, но не получилось.

– То есть как откуда? – перебила его девушка. – Ведь я сама их с тебя сняла, – добавила она с хохотом.

Далмау сделал над собой усилие, чтобы прийти в чувство. Этот смех... Болезненный проблеск сознания вернул ему образ девицы, сидящей на нем верхом с таким точно хохотом. Тут в него полетели штаны и рубашка. Потом пиджак.

– Бабочку кинуть? – с томным выражением лица продолжала насмехаться девица, держа в руке полоску ткани, такую же несвежую, как воздух в комнате, которым они все дышали.

Далмау воспользовался случаем, чтобы пристальней рассмотреть женщину: под тесным корсажем ее груди гордо вздымались, но художник вспомнил, как ночью они болтались, отвисшие. Он бы не рискнул определить на глаз ее возраст: так или иначе, ее потасканное тело носило следы беспорядочной жизни. Заметив пристальный взгляд Далмау, девица поджала губы и вздернула брови. «Какая уж есть», – будто хотела сказать этой гримасой.

Далмау отыскивал остальные свои вещи, оделся, убедился, что не осталось ни сентимо из песет, которые он предусмотрительно прихватил с собой вечером и, наверное, растратил на спиртное и женщин, а потом решил уйти из старого дома вместе с девицами.

– Дружков своих не подождешь? – спросила одна из них.

Далмау наконец-то подошел к кровати. Может, будь молодые люди одеты, художник и смог бы их припомнить, но голые тела ни о чем ему не говорили.

– Нет, – отвечал он, – зачем нарушать такой блаженный сон.

Утром Далмау зашел к себе домой и вздохнул с облегчением, убедившись, что матери нет; должно быть, вышла за покупками или относит готовую работу и берет следующую. Он привел себя в порядок, подумал, не разжечь ли огонь на кухне, чтобы приготовить что-нибудь существенное, но отказался от этой мысли; съел кусок черствого хлеба с половиной луковицы и направился на фабрику изразцов. Контраст между сумраком, сыростью и зловонием на улицах старого квартала Барселоны и игрою восходящего солнца позднего лета с тенями деревьев на Пасео-де-Грасия, предвещавшей погожий день для счастливых, которые там обитали и наслаждались окружающим, снова вызвал ощущение тревоги, мучительные судороги в животе.

Он инстинктивно высматривал Эмму в потоках людей, движущихся туда и сюда по главной артерии города. Не углядел ее, но и не свернул с дороги. Этой ночью он Эмме изменил. Судороги в животе стали сильнее. Хотя он пытался оправдаться, выдвигал доводы в свою защиту: разве не может служить оправданием, пусть и слабым, влияние винных паров? Ведь то были проститутки, настаивал он, будто перед кем-то отчитываясь. О любви и речи не заходило, но он впервые переспал с другой женщиной, и от этого все переворачивалось внутри.

Однако ощущение вины рассеивалось по мере того, как работа, успех, публичное признание, празднества наполняли жизнь Далмау, ломая привычный уклад. Он делал рисунки для изразцов, панелей и изделий из глины. Рисовал и писал: картины, плакаты, виньетки для газет; даже сделал пару экслибрисов. Лично познакомился с Рамоном Касасом, который в этом году закончил двенадцать холстов, украсивших так называемый зал Ротонды в клубе «Лисео». Все на тему, связанную с музыкой, везде на переднем плане женская фигура. Мастерство Касаса проявилось в легких, прозрачных, словно мимолетных мазках; ценители не колеблясь признали эту серию

вершиной живописи модерна. Далмау также представили Рузиньолу, а еще Пикассо, молодому художнику, чуть старше его самого, о котором упоминал учитель и с которым Далмау пересекся во время одного из случайных наездов Пикассо в Барселону.

Но самый яркий расцвет модерн переживал в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. В Европе и Америке бытовал арнуво и разные местные варианты этого художественного течения, но только в Барселоне, в ее жилых зданиях и магазинах эти идеи воплотились наиболее слаженно, во всей полноте. Новое положение Далмау как модного художника и керамиста дало ему доступ в строящиеся здания: он сопровождал архитекторов, подрядчиков, специалистов по изразцам, краснодеревщиков, мраморщиков, чеканщиков и всю когорту, окружавшую истинных творцов всех этих чудес.

Дом Льео-и-Мореры и госпиталь Санта-Креу-и-Сан-Пау Доменек-и-Монтанера. Дом с Пиками Пуч-и-Кадафалка. Башня Бельесгуард и Парк Гуэль Гауди. Далмау мог прикоснуться ко всем этим творениям, даже занимался там любимой работой: выкладывал изразцы, устанавливал керамику дона Мануэля Бельо; попутно слушал указания великих мастеров и, понимая с тяжелым чувством, как ему самому до этого далеко, присутствовал при рождении волшебства. Доменек и Гауди соревновались в строительстве монументальных зданий. Первый возводил госпиталь Санта-Креу-и-Сан-Пау, второй посвятил себя постройке храма Саграда Фамилия. Гауди был до крайности высокомерным человеком, гордецом, мистиком, архитектором Бога. Напротив, Доменек, несмотря на несколько вспльчивый нрав, был умным, культурным, истинным гуманистом. Пуч-и-Кадафалк, младший из троих, ученик Доменека, архитектор и математик, был также членом Барселонской городской управы.

И, несмотря на соревнование, которое, по мысли Далмау, должно было бы поглотить их целиком, исчерпать до дна их творческие способности, три великих архитектора занимались и работами меньшего масштаба, к примеру декорировали коммерческие заведения. Гауди и Пуч-и-Кадафалк совместно украсили одно из главных кафе Барселоны, «Торино» на Пасео-де-Грасия, открывшееся в сентябре того же 1902 года. Гауди спроектировал интерьер дальнего зала ресторана, Пуч – того, что располагался прямо за входом. Доменек, в

свою очередь, перестраивал и декорировал отель «Эспанья», взяв себе в помощь великих мастеров: скульптора Эусеби Арнау, мраморщика Альфонса Жуйола, а главное, художника Рамона Касаса – он украсил столовую отеля настенной росписью с сиренами, которые, казалось, плавали среди едоков.

Заказы текли рекой на фабрику дон Мануэля Бельо. Там были известны проекты всех архитекторов. Доменек собирался облицевать керамикой все павильоны нового большого госпиталя. Полы, стены и потолки будут покрыты изразцами, в палатах – мягких, успокаивающих тонов, на фасадах и прочих внешних поверхностях – яркими, с металлическим блеском, чтобы солнце Барселоны отражалось в них, как в самих формах плиток – стремление к единству искусств: гладкие одноцветные изразцы в палатах можно было мыть и дезинфицировать, что гарантировало чистоту, а во внешних деталях, пинаклях, венцах, отдушинах, да и в покрытиях фасадов и крыш ощущался отход от традиционных форм с их жесткими линиями: фантазия архитекторов заставляла струиться обожженную глину. Новый госпиталь Санта-Креу-и-Сан-Пау наверняка станет шедевром стиля модерн, торжеством изразца и золотой жилой для его поставщиков.

– Не то что этот задавака Гауди, – посетовал как-то учитель, обсуждая с Далмау, как идут дела на фабрике.

– О чем вы? – изумился Далмау.

– В то время как другие уважают наш труд, заказывают нам изразцы и рисунки и, будем надеяться, станут и дальше так поступать, Гауди собирает лом на фабриках и в мастерских и покрывает свои творения так называемым *тренкадис*, плохо подобранной мозаикой из осколков и обломков керамики, стекла и фарфора.

Далмау знал эту технику, придуманную Гауди. Она ему нравилась. Пестрая неразбериха маленьких битых кусочков изумляла. Иногда волновала, но всегда захватывала: цветом, расположением, даже возможностью поразмыслить, от чего откололся тот или иной кусок, тщетной попыткой проследить его историю.

– Это новая, современная техника, – попытался Далмау выступить в защиту великого архитектора.

– Сынок, – перебил его дон Мануэль, – *тренкадис* не более чем вариант заллиджа, который еще мавры применяли в нашей стране

много лет назад. Дело в том, что Гауди помешан на экономии, только и твердит о правильном распределении ресурсов, о сокращении расходов. Он возродил эту технику и добился того, что фабрики даром отдают ему ненужные остатки, а он удешевляет строительство.

Как и в других случаях, Далмау не стал спорить с учителем. Может, *тренкадис* и придумали мавры, а может, и нет; многие постройки в стиле модерн основывались на арабской архитектуре и орнаментах. Одно было неоспоримо: керамика на фасадах зданий, битая ли, целая, меняла облик городской среды. Камень и кирпич, серые, однообразные, унылые, стоило покрыть их изразцами, преобразались в светоносные, разноцветные, сверкающие фасады, способные донести до любого прохожего новые, смелые, впечатляющие формы, не то что скучные классические фронтоны, обрамляющие проспекты больших городов.

Шли месяцы, и Далмау, потеряв всякую надежду отыскать Эмму, посвятил себя работе: делал рисунки для изразцов, писал картины, посещал строящиеся здания в стиле модерн, и чем больше слушал великих мастеров архитектуры и ремесленников, которые, как он в изразцах или керамике, воплощали замыслы гениев, работая над деревом, железом или стеклом, тем больше склонялся в живописи к находкам своего идола Рамона Касаса. Он окончательно избавился от какого бы то ни было влияния символизма, характерного для художников Святого Луки и глубоко укорененного в живописи учителя, и пытался кистью уловить ускользающий миг, отдавая предпочтение размытым цветам перед контрастными, прибегая к игре нечетких линий; реальность, обыденная реальность, такая, какой художник воспринимал ее в данный единый миг. Свет. Далмау гнался за чарующим светом заката, который падает, когда день и ночь вступают между собой в битву, заодно справляясь с реальным миром, и все очертания расплываются.

Но, несмотря на успех его изразцов и многих других работ, Далмау скрывал свои картины даже от учителя, боясь, что их начнут сравнивать с шедеврами и критики разнесут его создания в пух и прах. Ему нужно было освоить, впитать в себя чудесные идеи модерна, проникнуться духом новизны. Не раз планировал он поехать за границу, как это делали раньше и продолжали делать теперь большинство великих художников. Он располагал деньгами благодаря

заказам, которые получал, но у него была мать, прикованная к швейной машинке, и значительный кредит, который нужно было выплачивать учителю, в свое время избавившему его от воинской повинности, хотя Далмау в глубине души полагался на то, что дон Мануэль простит ему долг: фабрикант сам не раз на это намекал, когда заказчики оставались довольны и щедро оплачивали творения молодого художника.

С тех пор как Монсеррат погибла, а Эмма, разорвав помолвку, приходила к Хосефе лишь от случая к случаю, мать Далмау мало кто навещал. Томас жил ради рабочей борьбы, пытаясь взять реванш за провал организованной в начале года всеобщей забастовки. Старший брат не ведал иных привязанностей, кроме политических битв, а потому не признавал за собой обязательств заботиться и печься о матери, это всегда делала Монсеррат, или, на худой конец, Далмау, любимчик. Правда, иногда он неожиданно появлялся на улице Бертрельянс, сваливался как снег на голову, но, помимо этих спорадических визитов, лишь какая-нибудь соседка или старая подруга заходили к Хосефе домой узнать, как у нее дела, попить с ней кофейку, отвлечь от швейной машинки и немного поболтать.

Далмау тоже нечасто бывал с матерью, ел он обычно на фабрике: Пако приносил ему что-нибудь из столовой, а он продолжал работать; или в доме учителя, где донья Селия и ее дочь Урсула всячески старались ужимками и разными каверзами отравить ему обеды, которыми их муж и отец хотел сделать приятное молодому работнику. Если ночами Далмау не оставался в мастерской, то проводил их в тавернах или ресторанах в компании таких, как он сам, людей искусства, и известных, и непризнанных; писателей, которые все как один отличались заносчивостью, хотя иных из них никто не читал. Далмау убедился, что этот порок пишущих людей находится в обратной зависимости от успеха их произведений; скульпторов; журналистов; обнищавших представителей богемы, живущих надеждой на то, что где-нибудь их угостят супом и куском мяса, и золотой молодежи: этих юнцов порочный мир богемы привлекал по контрасту с тем, где они обитали с комфортом, под крылышком богатых родителей, владеющих недвижимостью в Эшампле. Частенько после таких посиделок уже поредевшая глубокой ночью отправлялась на поиски спиртного и женщин, часто проституток, так что Далмау, приходя домой, как правило, заставал мать спящей.

Виделись они по утрам, когда Хосефа оставляла работу и готовила сыну завтрак. Говорили мало. Далмау предвидел, что любая беседа приведет к упрекам, а Хосефе надоело твердить сыну, что он пошел по кривой дорожке.

– Я добился успеха, – ответил он однажды. – Люди меня знают... Ценят мои работы, приглашают меня, хотят со мной общаться.

– Этот твой успех ты должен был бы поставить на службу народу, рабочим, – перебила его мать, – их борьбе.

– Мама... – Далмау попытался уйти от темы. – Чего вы хотите? Чтобы я дарил свои картины рабочим обществам?

Хосефа не слишком пилила его. Она любила сына. Поэтому не рассказывала о визитах Эммы. В первый раз они столкнулись, когда Хосефа шла отдать готовые манжеты и взять другую работу. Девушка не захотела подняться в квартиру. Они побродили немного по старому городу, по переулкам, где никогда не светило солнце, сырым, грязным и зловонным, и разговор их часто заглушался криками или грохотом цехов и мастерских, до сих пор ютившихся в тесном переплетении улочек средневековой Барселоны. Девушка как на духу выложила Хосефе все обстоятельства, которые привели ее к нынешнему положению: как она заменяла Монсеррат у монахинь, как на нее возложили ответственность за гибель подруги. «Не волнуйся, – успокоила ее Хосефа. – Ты ни в чем не виновата. Ты любила ее». Перейдя к Далмау, Эмма рассказала, как он напился и ударил ее, а напоследок изложила историю с рисунками обнаженной натуры, которые продавались в борделе. Хосефа покачала головой и вздохнула.

– Более всего было то, что он отступился, не стал снова просить прощения, не старался всеми силами спасти нашу связь. В первый раз он застал меня на взводе, еще синяк не сошел! – воскликнула Эмма. Хосефа не сводила с нее глаз, в чертах девушки отражалась боль. – Потом эти рисунки, где я в голом виде. Как можно такое простить? – спросила она с тоской. – Сейчас я торгую курами с беззубым старикашкой, который не смеет трогать меня за задницу, – добавила она, чтобы снять возникшее напряжение.

Отчасти это получилось: Хосефа изобразила слабую улыбку, но потом снова покачала головой.

– Далмау изменился, детка, – призналась она. – Он, боюсь, превращается в одного из тех, против кого мы столько боролись. Если

бы я верила в загробный мир, попросила бы его отца наставить сына на истинный путь, но я в другую жизнь не верю, поэтому страдаю, когда думаю, что мой муж напрасно пожертвовал жизнью за идеалы, от которых его младший сын отступился.

Эмма крепко сжала руку Хосефы, и они какое-то время шагали молча.

– Не говорите ему обо мне, – попросила девушка, когда они свернули на улицу Бертрельянс.

Хосефа не только пообещала, но и сдержала слово, и каждый раз, когда сын упоминал Эмму, заговаривала о другом, пока однажды, когда он слишком настаивал, ей не пришлось прибегнуть к более весомым аргументам:

– Как ты можешь думать о каких бы то ни было отношениях с девушкой, когда рисунки, изображающие ее нагой, разошлись по всей Барселоне?

Холодный пот заструился по спине Далмау: мать, оказывается, все знает.

– Ее оскорбили, – вклинилась Хосефа в его размышления, – ославили потаскухой в присутствии многих, многих людей; ты должен это уразуметь: ее унизили, дядя выгнал ее из дому как собаку.

– Как вы об этом узнали? – спросил Далмау.

– Сынок, – удрученно проговорила Хосефа, – люди, они злые. Лишь пройдет какой-то слушок, сбегутся к тебе, как гиены, и выплеснут всякие пакости прямо в лицо. Ты дрался с кузенами на улице, посетители столовой не молчали, Эмма исчезла...

Далмау не стал углубляться.

Со своей стороны, Эмма дала Хосефе адрес дома, где жила, чтобы та при необходимости могла связаться с ней.

– Что бы ни случилось, Хосефа, – добавила она, – не сомневайтесь и не раздумывайте. Что бы то ни было. Что бы то ни было, – с горячностью повторила она. – Вы знаете: я вас люблю, как родную мать, – заключила она, нежно поцеловала старую женщину в щеку и слегка подтолкнула к дому, чтобы ни та ни другая не увидела горьких слез, струившихся у обеих по щекам.

Вот почему, зная позицию матери по этому вопросу, Далмау спрятал от нее фрак, рубашку с жесткими, белыми-белыми воротничком и манжетами, черную бабочку и лакированные туфли: все

это он купил, чтобы явиться на бал, который устраивали в «Мезон Доре», одном из самых престижных заведений Барселоны, расположенном на площади Каталонии. Двое из богатеньких мальчиков, которым нравилось ходить на богемные посиделки, Хосе Париа и Амадео Фабра, уговаривали его пойти, умалчивая, однако, что требуется вечерний костюм. На этом балу, уверяли молодые люди, будут не те женщины, с которыми они обычно завершали свои разгульные ночи. Туда придут их собственные сестры и многие барышни из высшего общества Барселоны, которым родители, за исключением особых случаев, не позволяют выходить по вечерам.

– Все хотят с тобой познакомиться! – воскликнул Амадео.

– Мы много рассказывали о тебе, о твоей работе, о картинах, – подхватил Хосе. – Они просто жаждут поговорить с тобой.

Далмау качал головой. Он не представлял себя на балу рядом с учителем, доньей Селией, Урсулой, всеми богатеями и большими шишками Барселоны вкупе с их семьями.

– Они видели твои рисунки в прессе, знают твои рекламы, – настаивал Амадео. – Моя сестренка, например, хранит коробку из-под карамели, которую ты придумал, складывает туда все свои сокровища.

Далмау не поддавался, праздник этот не привлекал его.

– Далмау, – снова приступил Амадео, – там соберутся твои потенциальные заказчики. Кто заплатит тебе за рекламные плакаты? Промышленники. Кто купит у тебя картины, когда ты решишься выставить их на продажу? Рабочие? Тебе следует пойти туда, познакомиться с этими людьми, подружиться с ними.

– Я не умею танцевать, – только и сказал польщенный Далмау, которого последние доводы совершенно убедили.

В то время, в середине 1903 года, группа воинствующих католичек, в число которых, разумеется, входила и донья Селия, подняла знамя борьбы с богохульствами. Республиканцы и анархисты, да и большинство рабочих богохульствовали на улицах и в тавернах, в мастерских и на фабриках. И в большинстве своем они это делали не по невежеству, не задумываясь о том, что говорят, а по убеждению: они божились, зная, что этим оскорбляют католиков и их веру. Женщины, затянутые в корсеты, одетые в черное, не желая, чтобы имена Господа, Пресвятой Девы и всех святых не исторгали всеу грязные уста кощунников, развили бурную деятельность и собрали более

двенадцати тысяч подписей, которые представили властям, дабы те применили репрессивные меры против божбы. На некоторых фабриках ввели правила внутреннего распорядка, запрещающие божиться, и даже стали увольнять рабочих. Тем вечером, когда Далмау подальше от материнских глаз облачился во фрак у себя в мастерской, праздновался успех столь благочестивого начинания.

Далмау вышел на Пасео-де-Грасия: этот бульвар освещался так, как никакая другая улица в городе. Ему было неловко как из-за фрака, который он купил из вторых рук, боясь, что потратит слишком много, если обратится к портному дона Мануэля или ему подобному, так и из-за взглядов, которыми провожали его бедняки, толпящиеся перед богатыми домами в надежде получить остатки вечерней трапезы или ищущие, где бы провести ночь, хоть и весеннюю, но немилосердно холодную. *Trinxeraire* подошел к нему и попросил милостыню. Далмау сморщился при виде истощенного и грязного мальчишки и дал ему два сентимо. Что-то давно не видно Маравильяс, подумал он, и тут к нему подбежали еще четверо беспризорников, привлеченные его щедростью.

– Я уже дал одному, – отмахивался от них Далмау. – Не могу же я всем подавать, – буркнул он, но дети не отставали, гнались за ним по бульвару, забегали вперед, клянчили, хватали за фалды фрака. – Хватит! – заорал наконец Далмау, потеряв терпение. – Мне кликнуть жандармов? Ночного сторожа?

Не успел он договорить, как мальчишки разбежались. Далмау пересек железнодорожные рельсы на улице Арагон по мостику над перроном и остановился как вкопанный. Справа высился дом Амалье, чуть поодаль – Льео-и-Мореры, построенный Доменеком, а он только что пригрозил несчастным беспризорным детишкам полицией. Жалкий, презренный тип. Из-за восьми сентимо, по два на каждого, а сколько денег угрохал на фрак, пусть и поношенный. Сколько потратил на пьянки и женщин. Чтобы попасть на сегодняшний бал, внес приличную сумму, и поди ж ты, не раскошелся ради нищих ребятишек. Огляделся по сторонам, нет ли их поблизости, но куда там – давно удрали. А может, наблюдают за ним из тайных нор, где ночуют. Далмау вдохнул ночной воздух, прислушался к ночным звукам: женщина напевает у открытого окна, по мостовой стучат копыта, гулко отдается топот убегающих *trinxeraires*. Звуки

раздельные, отчетливые, словно прозрачные, не накладываются друг на друга, как среди дневного шума.

Стоило труда продолжить путь, и все-таки он медленно двинулся дальше. Ностальгия по прошлому грызла его изнутри. Сколько раз он слышал эти звуки, когда искал Эмму. «Что с ней случилось?» – спрашивал он себя, вдруг осознав, насколько перед ней виноват. Прошло больше года с тех пор, как погибла Монсеррат. Примерно в то же время рухнули его отношения с Эммой, а он, примирившись с разрывом, позволил воспоминаниям раствориться в гулянках и в работе, и только в такие моменты, как этот, они возвращались, нещадно терзая совесть. «Такой вот она была, – каялся Далмау перед лицом ночи, – бесстрашной и безрассудной». Почему бы и ему без страха, без задней мысли не заглянуть в прошлое? Ошибка за ошибкой... Страх перед тем, что Эмма его окончательно оттолкнет. Гордыня или трусость помешали ему последовать за Эммой тем вечером, когда она отказалась слушать его извинения. Он должен был пойти следом тем вечером, или на следующий день, или еще через день. События, пережитые тогда, положили конец счастью Далмау, возможно и его юности.

С такими мыслями он подошел к «Мезон Доре», модному кафе-ресторану, расположенному на углу улицы Риваденейра и площади Каталонии, в переулке, выходящем к церкви Святой Анны, откуда два шага до улицы Бертрельянс, где они жили с матерью. Нарядно одетые люди, выходящие из череды экипажей, и многочисленные ротозеи, снующие вокруг, казались специально подсвеченными по контрасту с кварталом, тонущим в полумраке. Далмау проложил себе путь сквозь толпу и просочился в дверь, не дожидаясь, пока очередные новоприбывшие выйдут из наемного экипажа. Показал билет, который дон Мануэль ему вручил в обмен на сумму, вроде бы предназначенную для благотворительности, и смешался с гостями, которые уже заполняли оба этажа; из них, еще из полуподвала, где располагались кухни и другие подсобные помещения, и состояло заведение, декорированное в стиле модерн, хотя и несколько перегруженном, барочном; там стояла французская мебель, а стены украшали фрески знаменитых каталонских художников: Де Риквера, Ванселлса, Уржелли-Инглады, Риу-и-Дориа... Далмау рассмотрел их сквозь ряды железных колонн, увенчанных арками с цветочным орнаментом,

поверх голов приглашенных, сквозь клубы дыма от трубок и сигар. Он уже бывал здесь. В этом кафе-ресторане происходили самые известные в городе сборища – политиков, людей искусства, литераторов, даже тореро, – к которым он присоединялся, порой просто чтобы послушать, не мог же он вступать в дискуссию с людьми, обладавшими такой широкой культурой.

Он прохаживался между приглашенными с бокалом шампанского, который ему вручил официант. Здесь собрался весь цвет Барселоны: богатые промышленники с женами и дочерьми, как и обещали Хосе и Амадео; военные в парадных мундирах с бесконечными рядами медалей, сверкающих на груди. Уж не получена ли какая-то из них за позорное поражение и потерю Кубы с Филиппинами, усмехнулся про себя Далмау. Были там и политики, даже алькальд города, даже епископ: в одной из групп, мимо которых проходил Далмау, упоминали его преосвященство. И разумеется, аристократы, целая уйма, получившие титул графа, маркиза или виконта, выложив чековую книжку на столик какого-нибудь ресторана вроде этого; аристократы нашего времени, соперничающие со старой знатью, чьи титулы, предмет их гордости, тесно связаны с историей Каталонии и боевыми подвигами предков. Донья Селия таяла в присутствии столь важных особ, и Далмау предполагал, что она пожертвовала бы доброй долей своего состояния, только чтобы приобщиться к ним. Что до дона Мануэля, то учитель больше посвящал себя Церкви и живописи, чем светской жизни, хотя и ею не пренебрегал. Далмау понимал, что многим ему обязан: да, учитель наживался на нем, но очень немногим людям скромного происхождения суждено вырваться из нищеты, на которую они обречены. А ему это удалось благодаря человеку, который относился к нему если не как отец, то как наставник, порой суровый; совсем недавно он выговаривал Далмау за его ночные похождения и неприглядный вид, в каком он являлся на фабрику.

– Но мои работы по-прежнему превосходны! Или нет? – выпалил Далмау учителю.

Дона Мануэля поразили и тон, и речи его самого ценного работника.

– Да, – только и ответил он, развернулся и заперся у себя в кабинете.

Ближе к полудню, увидев, что учитель собирается ехать домой обедать, Далмау предстал перед ним и извинился за свое поведение.

– Такая жизнь для меня внове, дон Мануэль, – признался он потом, – она слишком притягивает меня. Наверное, соблазняет. Я постараюсь следовать вашим советам, не беспокойтесь.

Мелодия вальса оторвала его от воспоминаний. Далмау долго любовался тем, как движутся пары. Одни буквально парили, кружились непринужденно, другие неуклюже топтались, следуя ритму. Умение танцевать не зависело от возраста, подметил он: встречались неловкие молодые пары, а рядом с ними – старики, вальсирующие с редким изяществом. Когда оркестр заиграл следующую пьесу, Далмау решил подняться на верхний этаж, где гости пили и болтали, разбившись на группы. Там он встретил Хосе и Амадео, да и других богатых мальчиков, которых знал по ночным вылазкам. И правда: с ними были их сестры, их подруги. Ослепительные девушки, жадные до развлечений, жаждущие узнать все, что было для них под запретом в роскошных домах, где их держали взаперти в ожидании замужества, выгодного, по мнению старших, как для дочери, так и для положения семьи.

Далмау мгновенно оказался в центре внимания, девушки окружили его и, всеми силами стараясь не выходить за рамки приличий, забросали вопросами о его рисунках и о его жизни. «Сын анархиста?» – осмелилась намекнуть одна. Внезапно воцарилось молчание, которое Далмау нарушил со всей непринужденностью.

– Да, – признал он. – Мой отец был осужден на процессе в Монжуике за покушение во время процессии на празднике Тела Христова. Это явилось причиной его смерти.

«Его казнили?» «Гарротой?» «А вы тоже анархист?» Иные из молодых людей пытались умерить нездоровое любопытство девушек, и, пока они ругались, Далмау высмотрел Урсулу; она стояла в нескольких шагах, в другом кружке, хотя юноше показалось, что она больше прислушивается к разговору, завязавшемуся вокруг него, чем к словам ее собеседников. На какой-то момент мелькнула мысль, не поделилась ли она с какой-нибудь подругой своим первым сексуальным опытом.

– Идемте танцевать!

Предложение, высказанное девушками почти единодушно, вернуло его к реальности.

– Анархисты не танцуют, – отнекивался Далмау.

– Бросьте политику, ей не место на таких собраниях, – укорила его одна.

– Да, – вмешалась другая, – здесь танцуют все мужчины, у кого две ноги и кто не носит сутану.

Его со смехом потащили на нижний этаж, и он танцевал, неумело. Шампанское и энтузиазм партнерш настолько ввели его в заблуждение, что ему показалось, будто он уже улавливает ритм вальса: «Раз, два, три, раз, два, три», – напевали они, дергая его за руку и за плечо. Далмау поддавался этой каденции, которая неизменно прерывалась, когда он спотыкался или наступал партнерше на ногу, а та, кусая губы, делала вид, что ничего не случилось. Эти девушки не прижимались к нему, как делала Эмма, когда они плясали под каким-нибудь навесом во время праздника в своем квартале. Эти танцевали откинувшись, выпрямившись, почти не соприкасаясь с партнером, и тем не менее от них исходило такое пламенное, такое сладострастное желание, что Далмау смущался. Он мысленно рисовал их нагими. Из-под угля, скользящего по бумаге, появлялись очертания юных, девственных тел. Иногда его охватывала дрожь, всего, целиком. Он готов был поклясться, что девушки проникают в его мысли, даже краснеют, кокетничая весьма умело, невзирая на свою неопытность.

Ирене. Так звали блондинку с лицом ангела, точеными чертами, безупречно белой кожей; она была ощутимо ниже ростом, чем Далмау, с маленькими руками и грудью. Она выглядела такой хрупкой, что показалась Далмау куклой, с которой следует обращаться очень бережно. С ней он танцевал чаще, чем с другими. Старался не наступать на ноги. «Ее фамилия Амаг», – шепнул Хосе, когда они решили передохнуть и подышать свежим воздухом на террасе верхнего этажа, прихватив по бокалу шампанского. «Дочь одного из магнатов текстильной промышленности», – сообщил приятель дальнейшие сведения. «И я бы сказал, ты ей нравишься», – добавил поспешно, видя, что девушка подходит к ним. Далмау с Ирене болтали, отойдя в сторонку, она блистала, зная, что все смотрят на нее, победительницу в негласном соревновании. Они смеялись. Вернулись на нижний этаж и не расставались больше. Чокались шампанским. Пили и кружились в

вальсе среди толпы, которой не замечали, будто в зале, кроме них, никого не было.

Когда закончился очередной танец, музыканты, игравшие на подмостках, отошли в тень, уступив место группе дам, в числе которых была и донья Селия; они вскарабкались наверх более или менее ловко. Попросили тишины; бокалы с шампанским зазвенели, как колокольчики, требуя внимания собравшихся. Люди спускались с верхнего этажа, в зале стало тесно. Зажатый в толпе, чувствуя тепло тела Ирене, теперь в самом деле близкого, Далмау подсчитал, что набралось человек четыреста, может быть больше.

– Ваше превосходительство генерал-капитан, – нараспев произнесла одна из дам, одетых в черное, – ваше преосвященство, – добавила, еле заметно кивнув в сторону епископа, – ваше превосходительство господин алькальд Барселоны...

Женщина перечислила многочисленных представителей власти, пришедших на праздник, наконец, поприветствовав публику, поблагодарила барселонцев за щедрость, проявленную в столь человеколюбивом деле, как благотворительность и вспомоществование нуждающимся, а потом пустилась в длинную диатрибу против богохульства. Далмау перестал слушать примерно тогда, когда ораторша приветствовала членов кафедрального капитула. Он искоса взглянул на Ирене: девушка слушала серьезно, будто с подмостков ей предлагали Святое причастие. Далмау пытался прикинуть, сколько ей лет. Наверное, от восемнадцати до двадцати. На вид не больше шестнадцати, но это никак не вязалось с кругом подруг, в котором она вращалась, и с вольностями, которые позволяла себе: пила, танцевала, хотя, несомненно, под бдительным надзором родителей; те, конечно же, успели узнать о жизни Далмау больше, чем знал он сам. Восемнадцать, заключил он, хотя не был вполне уверен. Погруженный во внутренние дебаты по поводу возраста этого ангела, Далмау не заметил, как Урсула пробилась сквозь толпу, подошла к молодому человеку, который выглядел безупречно, несмотря на то что бал длился уже много часов, и заговорила с ним, указывая на подмостки. Молодой человек улыбнулся и кивнул. Произнес речь епископ. Произнес речь алькальд. И когда казалось, что торжественная часть подошла к концу и скоро возобновятся танцы, молодой человек вспрыгнул на подмостки. Публика от неожиданности затихла.

– Дамы и господа, – проговорил он развязно, звонким и сильным голосом, – мы, молодежь, понимаем всю важность данного акта и ценим усилия наших отцов и начальников, направленные на то, чтобы оставить нам мир более благополучный, праведный и покоящийся на постулатах католической религии, а потому от лица всех нас великий художник Далмау Сала вызвался, поднявшись на эту эстраду, произнести благодарственную речь.

Далмау не слышал, с упоением разглядывая прямой носик Ирене; ну, может, немного вздернутый, совсем чуть-чуть, только чтобы смягчить строгость средиземноморских черт, характерных для женщин латинской расы. Он только собрался перейти к созерцанию губ, как они раздвинулись в чудесной улыбке.

– Вот хорошо-то! – воскликнула девушка. – И ты молчал!

Далмау улыбнулся в ответ и пожал плечами:

– О чем ты?

И умолк, оглушенный аплодисментами окружающих, которые расступились, оставив его в центре. Его поздравляли, а он не понимал с чем. Молодой человек спрыгнул с подмостков и смешался с толпой, его место заняла одна из дам в черном, подошедшая к самому краю.

– Далмау Сала! – позвала она оттуда. – Поднимайся, сынок, поднимайся, – подбадривала она, махая рукой. – Мы ждем.

– Зачем? – с запинкой спросил Далмау.

– Ты вызвался сказать речь от лица нас всех, – ответил уже подскочивший к нему Амадео.

– Хорошая тактика, чтобы завоевать всю эту публику, – шепнул Хосе. – Мои поздравления, – добавил он, подталкивая Далмау к подмосткам, словно выставляя его напоказ.

Люди расступались, образуя проход, ведущий прямо к даме в черном, которая по-прежнему протягивала к нему руку. Далмау на несколько мгновений остолбенел, и Хосе пришлось снова слегка его подтолкнуть. Собравшиеся подбадривали его, женщина в черном призывала; он обернулся взглянуть на Ирене, та улыбнулась ему. Хосе, дама в черном, улыбка Ирене – все и вся влекли его к подмосткам, хотя он уже ощущал предательскую дрожь в ногах. Он не мог говорить на публике.

– Многие из нас, – начала дама в черном. – Многие из нас... – повторила, добиваясь тишины, – побывали на прославленной выставке

рисунков *trinxeraires* в Обществе художников Святого Луки. Одна из нас даже приобрела рисунок. – Она обернулась к другой даме, которая стояла позади, вместе с другими дамами в черном, отступившими и смешавшимися с музыкантами; та кивнула. – Он оказал нам честь своим присутствием здесь, своей помощью и поддержкой в борьбе с богохульством. Вы, знаменитые артисты, за которыми люди следуют, которым подражают, должны подавать обществу пример богобоязненной и умеренной речи. Вам предоставляется слово! – заключила она, отступила на пару шагов и присоединилась к своим.

«Вам предоставляется слово!» Далмау никакого слова не просил! Он никогда не умел говорить на публике. У него вспотели руки и спина. Он стоял один как перст, за ним строй музыкантов и дам в черном, перед ним сотни людей в ожидании не сводят с него глаз. Внутри у него все перевернулось. Он прочистил горло, только чтобы выиграть время, поскольку знал, что не сможет выдать из себя ни слова. Он видел, как сверкают медали военных и драгоценности дам, различал безупречные сутаны священников и шелковые платья женщин; поймал взгляд зеленых глаз Ирене, устремленных на него. Ему стало стыдно, он увидел себя смешным во фраке из вторых рук, слишком, как он это только сейчас понял, широко в плечах и тесном в талии. Все, должно быть, это заметили.

– Давай начинай! – послышалось в публике.

– Решайся! – крикнул кто-то еще.

Он не мог. Пытался опять прочистить горло. Закашлялся. Даже горло и то дрожало.

– Молчит, – протянул кто-то с насмешкой.

Паника охватила Далмау, пальцы скрючились, прижатые к животу. Смех звенел в ушах, голова кружилась от выпитого. Так он стоял, не в силах пошевелиться, и пот струился у него по вискам.

– Скажи что-нибудь, парень, – сочувственно обратился к нему старик, стоявший у самых подмостков.

– Просто скажи «спасибо», – посоветовал кто-то другой.

– Молчит, – повторил зубоскал.

Смех усилился.

Не прошло и минуты. Целая вечность. Надо что-то делать! Но тело не повиновалось. В зал он тоже не мог смотреть: там была Ирене.

– Язык проглотил, – заметил кто-то.

– И в позу встал, как натурщик.

Взрывы хохота.

– Большое спасибо, – выдавил Далмау дрожащим голосом.

Похоже, его услышал только старик да тот, кто подал совет. Остальные разбрелись по залу, соединились в группы и кружки, принялись болтать. Вновь появились официанты с подносами, уставленными бокалами с шампанским.

– Музыку! – потребовал кто-то из зала.

– Этот пусть идет малевать! – раздался еще крик.

Далмау выпил слишком много шампанского, и теперь оно волнами подкатывало к горлу. Пару раз едкий прилив достигал рта. В первый раз это совпало с насмешками молодых шалопаев, во второй случилось, когда та, в черном, деликатно взяла его за плечи, чтобы увести. Ощувив прикосновение, Далмау обернулся, и его вывернуло на платье и туфли дамы. Посыпались комментарии, раздались возгласы отвращения. Пока двое официантов салфетками счищали рвоту с шелкового, отделанного кружевом платья, третий вывел Далмау через полуподвал и служебную дверь. Он безропотно покорился.

Эмма и торговец курами ехали в поезде на Сарриа, по ветке, которая отходила от площади Каталонии и заканчивалась в маленьком городке, еще не вошедшем в состав Барселоны. Железнодорожные пути пересекали улицу Бальмес, деля ее надвое, что не было редкостью в городе, по которому курсировали трамваи и поезда. Однако, в отличие от трамваев, большинство которых ходило на электрической тяге, и лишь немногие до сих пор тащили лошади или мулы, по линии Сарриа двигались настоящие поезда с тяжелыми локомотивами, и те грохотали, свистели, выпускали клубы пара и густого черного дыма, прилипавшего к зданиям и людям, и все это раздражающе регулярно, с интервалом в пятнадцать-двадцать минут, к полному отчаянию окрестных жителей.

Именно о большом локомотиве и думала Эмма, пока поезд отъезжал от улицы Бальмес. Много лет назад, когда построили станцию Барселонета на первой во всей Испании железной дороге между графской столицей и Матаро, местные женщины передавали из уст в уста легенду о том, что машинисты воруют детей, чтобы их жиром смазывать локомотивы. С ностальгией, стиснувшей нутро, Эмма вспомнила, как отец подшучивал над ней, девчонкой, и пугал ее этой сказочкой. По правде говоря, машинист такого огромного локомотива, подумала Эмма, должен был бы красть детей целыми партиями, чтобы как следует смазывать машину, и улыбнулась, вспомнив указательный палец, направленный на железное чудовище, пока она в страхе пряталась между отцовских коленей.

– Вспомнила что-то смешное? – поинтересовался Матиас, нарушая прихотливый ход ее мысли.

– Нет, – задумавшись на секунду, ответила Эмма. Незачем посвящать торговца курами в ее воспоминания.

Уже несколько дней Эмма замечала, что беззубый старикашка все смелее приступает к ней; выполняет, правда, свое обещание и не распускает руки, но пожирает ее своими мутными глазками, вот и сейчас он вперился в ее лицо, вроде бы сомневаясь в искренности ответа, а потом скользнул взглядом к воротнику пальто и еще ниже,

туда, где, по его расчетам, находилась ложбинка между грудями. Стояла зима, декабрь, было холодно, очень холодно, особенно в разбитом, низшего пошиба вагоне, где гуляли сквозняки, словно напоминая людям, что они едут третьим классом. Выпрямившись на неудобной деревянной скамье, Эмма поставила корзинку с двумя живыми гусями и прикрыла грудь. Старик оставил нечистые помыслы и устался в окно. Эмма взглянула, как там гуси: ради них они и сели в поезд до Бонановы, станции, куда не дошла еще городская застройка, между Барселоной и Сарриа; кое-где виднелись роскошные, величественные особняки, окруженные обширными и ухоженными садами. Здесь, в Бонанове, у торговца курами была постоянная, выгодная клиентка, она покупала гусей, и за каждого можно было спросить до девяти песет, а это куда больше, чем стоили куры, цыплята, утки или куропатки.

Эмма знала, что рано или поздно торговец курами шлепнет ее куда не надо, обнимет за талию под смехотворным предлогом или заденет грудь, воспользовавшись близостью, которой не избежать, когда весь день ходишь рядом.

– Я ему знатную оплеуху закачу! Так и сделаю, честное слово, – убежденно говорила она Доре месяца три назад, когда только начала работать с Матиасом. – Последние зубы повыбиваю, – припечатала под конец.

– Он просто старый похабник, – отмахнулась соседка по кровати.

– Ты хочешь, чтобы меня лапал этот... этот сатир?

Дора ничего подобного не хотела, и, верная своей теории, что каждой женщине нужен мужчина, чтобы ее защищать, стала усердно знакомить Эмму с друзьями своего жениха, который работал продавцом в шляпном магазине и был таким безответным и рассеянным, к тому же еще и тощим, что Эмма сомневалась в его способности защитить хотя бы самого себя, не говоря уже о женщине. Правда, своими опасениями не стала делиться с Дорой, которая была в полном восторге от кавалера и не переставала ему выказывать нежные чувства.

Эмма покорила воле новой подруги. Она прекратила общаться со знакомыми из квартала Сан-Антони, даже с Росой, и с товарищами из круга Монсеррат, вместе с которыми когда-то призывала народ к забастовке и ходила на манифестации. Иногда сталкивалась с кем-

нибудь и всегда в конце концов задумывалась, искренне ли они говорили или держали в уме рисунки, изображающие ее наготу, и все, что люди напридумывали, исходя из этого. Стало быть, она послушалась Дору, а та познакомила ее с кузеном Хуана Мануэля, так звали ее жениха; кузен тоже работал в шляпном магазине и был еще более тощим; потом с парой друзей, один из которых был безработным, и его пришлось угощать вином и потрохами в какой-то таверне... Серенькие, пошлые люди, которых Эмма отвергала с ходу, не давая им ни малейшего шанса.

– Ты все еще влюблена в Далмау, – заявила Дора несколько дней тому назад, когда они уже лежали в постели, словно упрекая Эмму за то, что она в тот же самый вечер отшила очередного претендента, водителя трамвая; он был гораздо старше ее и говорил только о маршруте, который проделывал каждый день, причем хвастался так, будто перевозить с места на место кучку жалких пассажиров – все равно что пересекать океан, управляя парусным судном.

Эмма задумалась над словами подруги. Прошел уже почти год с тех пор, как погибла Монсеррат, а они с Далмау так нелепо расстались. Ясно, что забыть Далмау она не могла и невольно сравнивала с ним всех мужчин, с которыми ее знакомила Дора. Далмау, он... он был гением. Все остальные – серые людишки. Тысячу раз она мечтала о будущем рядом с Далмау: он на вершине славы, им восхищаются, ему завидуют. Она рядом, делит с ним его успех; все так, как Далмау ей обещал много раз. Что могла Дора предложить ей взамен: почти лысого водителя трамвая?

– Этот твой гений вышвырнул тебя, как старую шлюху! – выверилась Дора и повернулась спиной, уязвленная признаниями подруги.

– Ты права, – удрученно согласилась Эмма.

И решила принять кандидата, следующего за отвергнутым водителем трамвая. Ей пришлось пообещать это Доре, поскольку та отказалась и дальше устраивать свидания. «Ради чего? – посетовала девушка. – Мы с Хуаном Мануэлем стараемся из приязни к тебе, а ты капризничаешь, как царица Савская, и это для нас обидно».

Его звали Антонио, и он был каменщик. Эмма прикинула, что ему двадцать два – двадцать три года. Довольно приятной наружности, хотела она уверить себя, чтобы не впасть в предубеждение. Нет, все-

таки пришлось признать правду. Твердые, правильные черты портил приплюснутый нос, видимо сломанный в драке или при падении; густые брови срастались на переносице, курчавые черные волосы падали на лоб. Не так уж он и безобразен, утешала себя Эмма. Зато уж точно большой и сильный. Еще какой. Дольше, чем позволяли приличия, Эмма разглядывала его руки: могучие, с грубыми толстыми пальцами, шершавые даже на вид, такими руками можно ухватиться за самый толстый канат и тянуть его, а можно, наверное, и ударить... Никакой культуры, он ведь каменщик, может, даже неграмотный, они почти все такие, но Эмма невольно удивилась, когда Антонио, немного освоившись, с жаром заговорил о том, что знал: о рабочей борьбе.

Идеи у него были грубые и простые. Он всего лишь повторял слова Лерруса, одного из лидеров радикальных республиканцев. «Попов мочить в сортире!» «Нам должны платить больше, наши заработки курам на смех». «Дети не должны работать. Знаешь, сколько я видел детишек, покалеченных на производстве?» «И нам полагается отдыхать по воскресеньям». «И насчет рабочего дня: что скажешь о рабочем дне?» Они гуляли по Параллели, где развлекался простой народ, сидели на террасе кафетерия, откуда мигом исчезли Дора с женихом, поскольку малодушный продавец шляп не выносил революционных речей. Зато Эмма как замороженная слушала слова Антонио; эти лозунги когда-то были для нее привычны, составляли часть повседневной жизни; за эти иллюзии ее подруга лишилась чести в тюрьме, а на улицах – жизни. Она сама лишилась... Резко взмахнув рукой, так что спутник ее удивился, она выкинула Далмау из своих мыслей и сосредоточилась на голосе каменщика: хриплый, страстный, он звучал укором, ведь после гибели названной сестры Эмма оставила борьбу угнетенных бедняков против богобоязненных богатеев. Голос этот воодушевлял, а ей так долго этого не доставало; казалось, будто рядом с таким мужчиной жизнь снова призывает ее к славным свершениям.

Торговец курами взял ее под локоть: пора было вставать, выходить из поезда, и это вернуло Эмму к реальности. Она стукнула старика по руке корзиной, пробежала по вагону и выпрыгнула на голый перрон станции Бонанова. Пошла вслед за Матиасом по немощеным улицам, за которыми простирались поля. Им на пути попадались фермы, монастыри, коллежи и большие господские дома, а между ними –

обработанные участки или пустоши; зимнее солнце поднималось из-за горизонта, и туман, окутывавший их, понемногу развеивался. Многие из домов, рассказывал торговец курами, в это время года пустуют, это летние резиденции тех барселонских богачей, которые еще не привыкли проводить лето на побережье или в местах, более отдаленных от большого города.

То были настоящие дворцы, рядом с которыми Эмма себя почувствовала совсем маленькой. Челядь клиентки, которой Матиас вез гусей, не пустила торговцев даже на кухню, их приняли в дверях черного хода. Там им заплатили восемнадцать песет и отправили восвояси. Эмма отстала, не в силах отвести глаз от дома: колонны, портики, огромные окна, мраморные плиты, башня, с которой, наверное, можно увидеть весь город и даже море. Она делит постель со своей подругой Дорой, которая стрижет шкурки кроликов и помолвлена с ничем не примечательным продавцом шляп; вот все, что у Эммы есть в жизни: половина кровати в съемной комнатенке, темной и такой крохотной, что негде повернуться. А богачи Барселоны закрывают на зиму роскошные дворцы, дожидаясь, пока летняя жара заставит искать прохлады на более возвышенной и открытой местности.

Эмма не слышала, как Матиас торопил ее, забежав на несколько шагов вперед и в изумлении остановившись. Старик промерз насквозь, притопывал, пытаясь согреться, и что-то кричал. Эмма не вникала в слова, которые вылетали у него изо рта вместе с облачками пара. Многие из этих особняков, несомненно, принадлежат дельцам-промышленникам Барселоны, тем самым, что яростно противятся борьбе их работников за свои права.

Об этом ей рассказывал Антонио. Экономический кризис ударил по массе рабочих. Во всем мире повысились цены на хлопок, и это пошатнуло текстильную промышленность Каталонии, ведущую отрасль ее экономики. Механизация на фабриках отнимала у людей рабочие места. Мужчин увольняли и нанимали женщин за половинную плату. После провала злополучной всеобщей забастовки начала 1902-го, во время которой погибла Монсеррат, рабочие продолжили борьбу, но уже не слушая анархистов, потерпевших крах, а вверившись другим политическим и общественным движениям, и в том числе леррусизму.

– Ну, я пошел, а ты оставайся! – кричал старик ей в спину.

Недостаток рабочих мест, а главное, нужда позволяли хозяевам проявлять непреклонность. Многие вынужденно становились штрейкбрехерами и занимали рабочие места товарищей, с борьбой которых они были солидарны. Их семьи умирали с голоду!

– Несправедливо, несправедливо, несправедливо, – твердила Эмма, не в силах остановиться.

– Повторять не буду! – надрывался старик.

Тем не менее, рассказывал Антонио, повышая хриплый голос, акции на Барселонской бирже росли, и финансисты, считая город процветающим, были заинтересованы в инвестициях.

– Останешься здесь!

Девушка вздохнула, сжала кулаки и плюнула в сторону дворца.

– Сукины дети, – пробормотала она сквозь зубы, разворачиваясь, чтобы догнать Матиаса, который шел уже по дороге, ведущей к станции, – когда-нибудь вы дорого за это заплатите.

Антонио и Эмма пришли в один из сорока с лишним республиканских центров, рассеянных по всей Барселоне, маленькую таверну, владелец которой предоставил ее в распоряжение партии: в зале теснились мужчины и женщины, с нетерпением ожидая, когда один из республиканских активистов начнет речь; тем временем хозяин таверны и его домашние подавали кофе, вино и пиво в гораздо больших количествах, чем в любой другой вечер этого декабря 1902 года: надо заметить, что он даром уступал партии свое заведение, но за еду и напитки взимал плату с удручающей пунктуальностью.

Эмма, притиснутая к Антонио – оба стояли, поскольку немногие стулья были заняты задолго до их прихода, – ждала, держа в руке стакан красного вина, терпкого, забористого, как мужчины, ее окружавшие: они громогласно беседовали, криками приветствовали друг друга, оглушительно хохотали. Близилась выборы в городской совет Барселоны; большинство рабочих поддерживало радикалов, возглавляемых Леррусом, и люди верили в успех республиканцев.

– Мы пойдем голосовать с бюллетенем в одной руке и пистолетом в другой, – предупреждали республиканцы, нужно было не допустить махинаций с голосами, к которым с незапамятных времен прибегали власти.

Вдруг зал взорвался аплодисментами, и молодой человек, один из соратников Лерруса, вскарабкался на шаткую трибуну, кое-как сколоченную из четырех досок в углу заведения, и, воздев руки к потолку, попросил тишины. Эмма буквально вдыхала напряжение: простой народ на глазах превращался в реальную, мощную политическую силу. Анархисты, снова вступившие на путь терроризма, взрывающие бомбами все без разбора, утратили любое влияние на рабочие массы после провала всеобщей забастовки, а Социалистическая рабочая партия, которую основали люди огромной культуры, глядевшие свысока на рабочих, по большей части неграмотных, не смогла уловить момент перелома, когда рабочий класс начал осознавать свою силу.

Боевой дух, возмущение несправедливостью, классовая солидарность, все, что сумела сплотить вокруг себя Республиканская партия, кипело в Эмме, пока не прорвалось наружу: она чуть не впала в экстаз, когда оратор яростно обрушился на стоивший жизни ее отцу судебный процесс в Монжуике, требуя привлечь виновных к ответственности, а жертвам возместить ущерб. Слезы заструились по ее щекам, когда прозвучали имена истязателей.

– Лейтенант жандармерии Нарсисо Портас! – выкрикнул молодой республиканец с подмостков. – Участвовал в пытках!

«Да, то был он». Эмма задрожала. Нарсисо Портас!.. Этот человек истязал ее отца и других анархистов, арестованных после покушения во время праздника Тела Христова возле церкви Санта-Мария дель Мар. В застенках применяли плети, раскаленное железо, обручи, сжимавшие голову... Вырывали ногти, скручивали тестикулы. Сломленные люди признавались в преступлениях, которых не совершали. То был он, да: Нарсисо Портас. Ее отец и отец Далмау, оба изувеченные, открыли это Хосефе, когда им разрешили повидаться после оглашения смертного приговора, замененного потом на изгнание, которого ни тот ни другой не смогли пережить. Эмме тогда было двенадцать лет. Вид отца ужаснул ее, и она вместе с Монсеррат приникла к Хосефе. Отец, видя, как девочка перепугалась, даже не попытался приблизиться; гримаса, заменившая улыбку, – вот все, что осталось в памяти от той последней встречи.

– Ублюдок! – выкрикнула Эмма, присоединяясь к хору возмущенных голосов.

Оратор теперь нападал на Церковь, на дельцов, на буржуев. Собравшиеся потрясали кулаками, изрыгали проклятия. «Бороться, бороться, бороться!» – такой лозунг бросил в толпу молодой республиканец. Он попросил пожертвований на строительство Народного дома, затеянное Леррусом. Люди стали раскошелиться. Кликнул добровольцев, готовых работать ради общего дела, и все как один, мужчины и женщины, подняли руки.

Молодой республиканец, донельзя довольный, разулыбался.

– Вы можете руку опустить, – проговорил он снисходительно, обращаясь к женщине, стоявшей к нему всех ближе. – Заботьтесь о своих мужьях.

В ответ слышались смешки. Эмма огляделась: большинство мужчин улыбались или кивали. Антонио стер улыбку с лица, когда увидел, что девушка на него смотрит.

– Что ты сказал, сосунок? – произнесла какая-то женщина, уже в возрасте. – Думаешь, мы хуже мужчин?

– Нет-нет... – отнекивался активист, пытаясь оправдаться. – У вас своя задача первостепенной важности: семья. Вы должны внушить детям республиканские идеалы; в рабочей борьбе необходимым подспорьем является единство семьи. Помощь заключенным, солидарность с бастующими, поддержка нуждающихся тоже в ваших руках, и...

– И отсосать кому-то из вас, когда приспичит, а? – перебила какая-то молодуха, погрозив ему кулаком.

– Нет... – пытался выступающий перекрыть брань и насмешки, какими принялись осыпать друг друга мужчины и женщины. Наконец ему это удалось. – Я хочу сказать...

– Вы когда-нибудь стояли в живой цепи перед конной жандармерией, вооруженной до зубов? – В таверне установилась тишина, и Эмма смолкла, дожидаясь ответа. Активист растерялся. – Я стояла! – крикнула она во всю силу голоса. Люди расступились те, кто впереди – чтобы рассмотреть говорившую, другие – чтобы ее было видно всем. – Я стояла! – повторила Эмма перед коридором, который открылся между ней и подмостками, где стоял выступающий. – С детских лет. Они были ближе ко мне, чем вы сейчас: кони ржали, покрытые пеной, жандармы грозили оружием, уничтожали нас взглядами, пока мы их осыпали бранью. Частенько приходилось

бежать от них со всех ног. Вот ее я видела там много раз. – Эмма искала глазами женщину, которая возмутилась первой, но не нашла. – И ее, и ее, и ее. – Она указывала без разбору на женщин, находившихся в зале, уверенная, что большинство из них участвовали в подобных стычках. – А вас, – указала она пальцем на молодого человека, – я никогда не видела среди тех женщин, которые боролись вместо мужчин, чтобы тех не избивали жандармы или солдаты во время забастовки. – Пронесся громкий ропот одобрения, и Эмма подождала, пока он стихнет. – Моя... – Тут она осеклась. От бесчисленных воспоминаний и ощущений все сжалось внутри, судорога стиснула горло. – Моя сестра погибла во время всеобщей забастовки. Ее застрелили солдаты, когда она сражалась на баррикаде! И вы говорите, что наша задача – воспитывать детей и помогать заключенным?

Под конец она сорвала горло, последний вопрос прозвучал хрипло. Многие женщины плакали, некоторые из мужчин с трудом сдерживали слезы; Антонио рядом с ней вытирал глаза. Молодой человек, их всех призывавший к борьбе, воспользовался моментом и зааплодировал Эмме.

– Всем женщинам-республиканкам! – крикнул он, спускаясь с подмостков и направляясь к ней.

Собравшиеся присоединились к аплодисментам, громкими возгласами приветствуя матерей, сестер, жен или подруг. Много поднялось стаканов, много прозвучало здравиц. В этой суматохе оратор в сопровождении двух телохранителей приблизился к Эмме.

– Меня зовут Хоакин Тручero, и я поздравляю тебя. – Он протянул Эмме руку, и та пожала ее. – Прекрасная речь. Партии нужны такие женщины, как ты. Пойдешь со мной?

Не дожидаясь ответа, активист и телохранители повели Эмму сквозь толпу, которая ее провожала аплодисментами. Антонио двинулся следом. Они вошли в комнатку, скорее всего кладовку, и когда собирались уже закрыть за собой дверь, Антонио ее придержал.

– Ты оставайся, – нахмурился Хоакин. – Мне нужно поговорить с товарищем наедине.

Каменщик, немного оробев от такого тона, послушался и отступил. Но Эмма не робела.

– Он со мной, – заявила она, сама открыла дверь и впустила Антонио.

Молодой республиканский активист не стал возражать и предложил Эмме присесть на ящик. Сам сел на другой. Телохранители и Антонио остались стоять.

– Сегодня ты преподавала нам урок, – начал он, слегка прочистив горло и невольно разглядывая ноги Эммы, скрещенные под юбкой, которая под взглядом молодого человека каким-то непостижимым образом укоротилась. – Нам нужны такие женщины, как ты, способные вселять боевой дух... пробуждать пыл в сердцах, вдохновлять на защиту рабочего дела.

Хоакин со всей страстью пустился произносить вторую речь, на этот раз для единственной слушательницы, которую с явным удовольствием оценивал взглядом, улыбался ей, касался время от времени, будто желая подкрепить высказываемую мысль. Эмма искоса взглядывала на Антонио, который слушал, нахмурившись так, что густые брови сошлись на переносице. Каменщик стоял рядом с двумя телохранителями, такими же высокими и сильными. Молодой республиканский активист был ненамного старше ее. Был он дерзким и, подумала Эмма, судя по всему, бессовестным. Велеречивый, с улыбкой настолько заразительной, что Эмма невольно улыбалась в ответ. Обольститель, он знал, что хорош собой, и вел себя соответственно. Надел поношенный, потертый пиджак, чтобы не выделяться из рабочих, которые его слушали, но ботинки его выдавали: хотя и грязные, они были гораздо дороже тех, что мог себе позволить любой рабочий. Он их нарочно запачкал, решила Эмма, одергивая юбку, чтобы хоть на несколько сантиметров прикрыть ноги, так привлекавшие оратора.

Хоакин Тручero закончил речь и на прощание пригласил Эмму в новый штаб Республиканского Братства, который Леррус разместил на Эшампле, рядом с университетом, и тут она осознала, что почти не вслушивалась в слова импульсивного активиста, больше думая о том, как выглядит она сама, как выглядит он, как Антонио реагирует на постоянные прикосновения республиканца то к ее руке, то к плечу, то к локтю. Однажды он позволил себе коснуться даже ее волос. Эмма пыталась припомнить, что он говорил тогда: вроде советовал их остричь, чтобы быть на кого-то там похожей... Мать твою, еще не

хватало, чтобы какой-то юнец ей указывал, что делать с волосами! И все-таки, когда его пальцы скользнули по шее...

– Эмма, мы идем?

Эмму как будто пробудил хриплый, мощный голос Антонио. Откуда такой тон? Поняла откуда, увидев побагровевшее лицо каменщика и обнаружив, что сама стоит, погружившись в размышления о стрижке волос и держа за руку Хоакина Тручеро.

– Идем... – пробормотала она и резко выдернула руку. – Идем... конечно идем.

– Так я увижу тебя в Братстве?

– Где-где?

Хоакин, изумленный, вскинул голову.

– В Братстве. Мы ведь договорились, разве нет?

– А... да-да, конечно.

Эмма вышла в зал, еще полный республиканцев, которые выпивали и спорили, иные весьма горячо. Пара направилась к выходу, Антонио придержал перед Эммой дверь. Почему тот молодой краснобай привел меня в такое смятение, думала она, вместе с Антонио проскальзывая на улицу.

Отношения между Эммой и Антонио расстроились с того дня, как она познакомилась с Хоакином Тручеро. Вечером после собрания они гуляли по Параллели, как делали уже пару месяцев, и каменщик был хмурым, задумчивым, погруженным в себя. Эмма старалась понять почему. Возможно, молодой республиканский активист, пока проповедовал, прикоснулся к ней столько раз, сколько Антонио не удалось за все время их встреч. Он, должно быть, ревновал или, во всяком случае, был расстроен, угнетен, сравнивая себя, застенчивого и неуклюжего, с напористым, галантным соперником. Девушка решила не обращать внимания. Это у него пройдет. И ведь они еще не обручились, что бы там ни думала Дора, которая полагала, будто после трех встреч подряд отношения уже настолько крепкие, что пару можно считать женихом и невестой.

Однако все стало серьезнее, когда Эмма пришла в здание Республиканского Братства. Хоакин показывал ей здание с гордостью человека, причастного к его устройству, и, в отличие от других мест собраний республиканцев, какими они располагали в городе, тесных,

состоящих из одной темной и душной комнаты или имеющих иное назначение, как таверна, где они познакомились, это пространство было огромным. Братство насчитывало более полутора тысяч членов, и в резиденции было все: бар и зал собраний, потребительский кооператив, школа, юридическая консультация, медицинский и хирургический кабинеты и другие службы, облегчавшие жизнь партийцам.

– А сейчас мы строим Народный дом, – похвастался молодой человек. – Еще больше этого!

Они шли целой процессией: Хоакин, на этот раз хорошо одетый и вычистивший свои дорогие ботинки, Эмма, другие молодые люди, погруженные в политику, – Леррус окружал себя юными радикалами, для которых был идолом и которые действовали в тени великого человека, – а позади всех тащился Антонио. Эмму снова смутило внимание Хоакина, хотя на этот раз он старался, чтобы Антонио ничего не замечал. Но это было невозможно, ибо все остальные увлеченно следили за ухаживаниями, как будто Эмма уже принадлежала молодому лидеру. Партийцы решили, что первым поручением для нее будет давать уроки чтения и письма работницам, которые приходили в центр, и предложили ей это, когда показывали аудиторию.

У Эммы невольно закружилась голова при виде пустых парт; она потрогала желобок для карандашей, полистала буквари, простые, для начального обучения, по каким и сама занималась в детстве. Она не видела себя в роли учительницы, но и не могла отрицать, что предложение для нее лестно.

– Ты сказала мне, что умеешь читать и писать, – напомнил Хоакин.

«Я это сказала?» – всполошилась Эмма.

– Да, умею, – призналась она, – но стать учительницей...

– Твое место здесь.

– Мое место на улице. Стоять в живой цепи перед жандармами. Я никогда никого ничему не учила.

– Улица от тебя никуда не убежит, – заверил Хоакин, – и ты выступишь во главе работниц, которых просветишь. Важно не только научить их грамоте, но и склонить к нашему делу. К борьбе против Церкви...

– Если они и правда работницы, их уже не надо склонять, – перебила его Эмма, взмахнув рукой.

– Не будь так уверена.

– Любая работница знает, кто ей враг!

– Нет! – решительно возразил Хоакин. – Не суди по себе. Я поэтому и предлагаю тебе эту должность. Многие из наших товарищей, работницы, республиканки, все-таки склоняются к вере. Надо признать: за редкими исключениями женщины из рабочей среды невежественны и суеверны. – Эмма хотела вмешаться, но он остановил ее движением руки. – Не только у нас, в этой проклятой отсталой стране, прозябающей под гнетом попов и знати; то же и во Франции, на примере которой мы учимся. Там женщин не допускают к голосованию по той же самой причине. – Сомнение, отразившееся на лице Эммы, заставило Хоакина продолжить диатрибу. – Женщины слабы и доверчивы, поэтому они легкая добыча для попов. Это всем известно. Сама посмотри: если церковник кого-то обратил в веру, будь уверена, что речь идет о женщине. Ими движет не только похоть, они знают: подчинив женщину себе, можно повлиять на ее мужа, даже заполучить его голос на выборах, и призирать за воспитанием детей. Когда женщина исповедуется, – заключил он, – муж теряет всякую власть над женой и семьей: жена отдает себя в руки Господа через посредство исповедника.

В отличие от той первой встречи в кладовке таверны, Эмма вслушалась в его слова и серьезно задумалась над ними. В прежние времена она слышала иногда от Хосефы, что некоторые женщины-анархистки предавали дело и примыкали к Церкви. Мать Далмау и Монсеррат в гневе честила их на все корки и да, называла легковверными и невежественными, идолопоклонницами, предательницами; все так, как утверждал молодой активист.

– Не раздумывай, – снова приступил к ней Хоакин. – Ты нам нужна. Надо просветить товарищей-женщин, только так они смогут освободиться от влияния попов. Улицы на твою долю хватит, не сомневайся.

Молодой республиканец подходил к Эмме все ближе, улещая ее словами, глядя ей прямо в глаза.

– Занятия, конечно, проходят по вечерам, – пробормотала она, как будто про себя, чувствуя неловкость от такой близости.

– Когда женщины заканчивают работу, – подтвердил Хоакин. – Обычно часов в шесть, – в семь, иногда позже.

– Моя квартирная хозяйка не позволит, – перебила Эмма. Хоакин, Антонио и прочие ждали объяснений, но некоторые уже догадывались, в чем дело. – Девушка возвращается ночью одна: наверняка грешит. Мне удалось пропустить несколько молитв, но если я буду слишком часто возвращаться ночью, она меня выгонит.

– Поменяй квартиру, – предложил было Хоакин.

Нет, это не выход. Не этого ждала от него Эмма. «Ты лопухнулся, дорогой мой, фанфарон, хвастунишка», – подумала она, резко повернулась к нему спиной и обратилась к Антонио.

– Как тебе кажется? – спросила она. Каменщик, застигнутый врасплох, смутился. – Думаешь, я могла бы давать уроки?

– Еще бы! – воскликнул Антонио. – Ты девушка боевая!

– Хорошо сказано! – встрял Хоакин, пытаясь вновь обратить на себя внимание Эммы.

– А квартирная хозяйка? – спросила она опять у Антонио.

Активист пожал плечами с деланным равнодушием.

– Если бы мы обручились... Только для вида, не взаправду, – поправился он, будто предложил что-то несусветное. – Я хочу сказать... Мы не будем обрученными по-настоящему, только для твоей квартирной хозяйки, тогда она не сможет возражать...

– Она захочет ближе с тобой познакомиться. Это точно. Испытать твою добродетель. Ты готов читать молитву вместе со всеми, если она тебя пригласит?

Впервые с той поры, как они вошли в Братство, Антонио улыбнулся.

– Хоть пять молитв, если надо! – заверил он.

– Ну, вот и решили вопрос с обучением и квартирной хозяйкой, – снова вмешался Хоакин с плохо скрытым сарказмом. – Добро пожаловать в Республиканское Братство. Ромеро, мой помощник, – показал он на совсем зеленого юнца, который видом, речами и манерами тщился походить на него, – посвятит тебя во все необходимые детали.

Сказав это, он развернулся и вышел из аудитории вместе со всей свитой, которая до сих пор его сопровождала, остались только помощник, Антонио и Эмма; та провела по парте кончиками пальцев.

«Я буду учительницей!» – втайне ликовала она. Далмау тоже давал уроки рабочим, правда, недолго, до того, как застрелили Монсеррат. Он гордился тем, что помогает рабочей молодежи, пусть даже католической. Эмма сомневалась, что сможет встать с ним вровень, хотя, по правде говоря, преподавать не так и трудно. Она вспомнила, как помогала с домашним заданием пареньку, которого Бертран нанял поваренком в столовую. И тот делал успехи. Потом учила младшую дочь Бертрана, в грамоте на редкость тупую, притом что отец хотел, чтобы девушка могла брать у клиентов заказы. Это было просто, даже весело.

– А! – Хоакин снова вывел ее из задумчивости. Он что, преследует ее, этот хлыщ? На этот раз он просунул голову в дверь, согнувшись в три погибели, будто изображая карлика. – Думаю, излишне напоминать, что ты безвозмездно отдаешься нам...

– Отдаюсь? – возмутилась Эмма. – Издеваешься, что ли?

– Работаешь безвозмездно, я хотел сказать. С отдачей...

– Мне никто не платил, когда я стояла перед жандармами во время забастовок! – выдала ему Эмма, гонор сердцеда надоел ей. – Больше того: я теряла свой кровный заработок.

– Понял, – сказал Хоакин и на прощание помахал рукой, тоже из-за двери, скрючившись, будто сложенная марионетка, желая, наверное, позабавить, но не вышло.

– погоди, – велела Эмма. Рука застыла. – Ты тоже добровольно и безвозмездно отдаешь себя партии?

Ромеро скривился, а лицо его начальника, забавно просунутое в дверь, исказилось от злости.

– Девочка, – отчитал он ее, выпрямляясь. – Не твое дело, как функционирует партия. Хочешь работать учительницей для этих неграмотных работниц – вперед; в противном случае – выход там.

– Вы не должны так говорить с Эммой, – оскорбился Антонио, закрывая ее своим могучим телом.

Хоакин не дал себя запугать.

– Говорю, как считаю нужным. Вы услышали: вот дверь, если дело вас не интересует.

И, сказав это, оставил их наедине с Ромеро.

Антонио провожал ее домой по вечерам, как будто вместо того, чтобы давать уроки чтения в республиканском атенее, она гуляла с ним по Параллели. И участвовал в общей молитве. Даже несколько раз, поздним вечером – вместе с квартирной хозяйкой, служанкой, парой жильцов, соседями, которые время от времени присоединялись, Дорой и, наконец, Эммой, которая что-то невнятно бормотала.

– Моя мать из тех, про кого говорил твой начальник, – объяснил Антонио, когда Эмма поинтересовалась, откуда он знает все эти литании. – Такая добрая, что ее легко обмануть. Отец сперва злился, потом махнул рукой. По пьяному делу, когда что на уме, то и на языке, – признался он Эмме, будто выдавая страшный секрет, – говорит, что по крайней мере хоть кто-то молится за семью... на всякий случай.

Эмма улыбнулась. Если после знакомства с Хоакином на собрании в таверне их отношения с Антонио разладились из-за того, что каменщик боялся потерять ее, а она – к чему отрицать? – немного заинтересовалась хлыщом и пустомелей, то теперь их связь укрепила помолвка, пусть притворная: Антонио наслаждался этим фарсом с наивностью и простодушием десятилетнего мальчугана. Все его несовершенства проявлялись иногда в доброте, подчас трогательной. Цветок, бережно зажатый между толстых пальцев. Улыбка, громкий утробный хохот над самой немудрящей шуткой. Полный томления взгляд, неожиданный на таком brutальном лице. Расхожая песенка. Антонио напевал мелодии, которые Эмме понравились, когда они слушали музыку в парке или под каким-нибудь навесом в квартале. Пел он плохо, очень плохо, но выводил песенки под сурдинку, когда они возвращались из Братства, только те, какие отличала Эмма. В такие моменты каменщик покорял Эмму, она таяла, давала волю всем противоречивым чувствам; тогда ей хотелось приласкать этого могучего мужчину с дубленой кожей и руками жесткими, как наждак; взять его под руку, прижать к себе, попробовать, сможет ли она хотя бы сдвинуть его с места, но приходилось себя сдерживать. Ей хотелось все это проделать, но Антонио явно не так поймет. Когда Эмму начинали преследовать такие мысли, она переводила дыхание и выбрасывала их из головы. Уже больше года у нее не было сексуальных отношений с мужчиной. Часто ночами она вспоминала Далмау и ласкала себя... но вовремя останавливалась. «Этот гений

тебя выбросил вон, как старую шлюху!» – открыла ей глаза Дора. Нет, Далмау не стоил того, чтобы она дошла до вершины, до момента магии, вспоминая его. Кого же тогда представлять? Антонио? Только воображая, как это огромное тело лежит на ней, Эмма содрогалась от страха, приходила в волнение, от которого долго не могла избавиться. Задавалась вопросом, соответствует ли член столь мощному телосложению. Чаще всего прекращала мастурбировать, иногда продолжала ласкать себя, думая только о своих пальцах, об увлажненном влагалище, а раза два, ну, может, три прижалась к Доре, притворяясь, будто крепко спит, и отодвигаясь прежде, чем придет первое содрогание.

Сомнения, одолевавшие Эмму, вроде бы не мучили Антонио, он, казалось, был счастлив просто находиться рядом, и это ее тоже беспокоило.

– Я сама не знаю, чего хочу, – призналась она однажды Хосефе, в которой нашла добрую подругу и наперсницу. С Дорой об этом говорить она не могла, ведь ее жених был дружен с Антонио, а Дора, натура искренняя, во всех таких делах проявляла невиданное простодушие.

Эмма продолжала встречаться с Хосефой, вне дома, боясь пересечься с Далмау. «Не беспокойся, – однажды сказала ей та, – он сюда почти не заходит, разве что на рассвете». Так или иначе, она предпочитала встречаться с доброй женщиной на улице, приглашать ее на чашечку кофе в какое-нибудь заведение на Ла-Рамбла.

– Забудь моего сына, Эмма. Забудь его, – повторила она, видя, что Эмма, больше из уважения к матери, собирается возразить. – Ты уже совсем взрослая, и в твоём положении тебе нужен мужчина. Судя по тому, что ты рассказываешь, Антонио парень достойный, он к тебе расположен и тебя уважает, что очевидно. Любой другой давно задрал бы тебе юбки. – Посмеявшись, они отхлебнули кофе, сидя за столом в кафетерии, младшая – с пустой, покрытой куриными перьями корзиной у ног, старшая – тоже с корзиной, набитой заготовками для белья, которое требовалось пошить. – Дочка... – Хосефа взяла ее за руку. – Раз он хороший человек, не отвергай его, закрой глаза и отдайся ему. Если он не слишком смекалист, не беда: гляди, где теперь эти умники – твоего отца и моего Томаса убили за то, что они много читали и много знали; Монсеррат... что я расскажу тебе о ней, чего бы

ты не знала? Что до Далмау... Все, как я предупреждала: буржуи украли у него душу. Жизнь заключается в том, чтобы вместе стареть, помогать друг другу, поднимать детей. Мужчины слишком умные то и дело покидают тебя, поскольку не мирятся с несправедливостью, и рано или поздно погибают или, что еще хуже, не погибают, а приходят к старости, полные горечи, уставшие от жизни и от тех, кто их окружает. Мужчина добрый, крепкий, простой, работающий, – заключила Хосефа, – вот что нам нужно. – (Эмма, прикусив губу, кивнула, после слов Хосефы у нее будто бремя свалилось с плеч, и поэтому дальнейшее застало ее врасплох.) – Но и жена не должна превосходить мужа.

– Что вы имеете в виду?

– Ты будешь давать уроки работницам, так? – спросила она, и Эмма кивнула. – Твой мужчина может почувствовать себя ущемленным.

– Не похоже на то.

– Это пока, – стояла на своем Хосефа.

– Что же мне делать?

Хосефа сморщилась.

– Поступай умнее: не показывай, что тебе это нравится. Пусть думает, что тебя это утомляет, что ты предпочла бы побыть с ним.

«Как же не показывать?» – спросила себя Эмма. На самом деле ей нравилось давать уроки, это окрыляло ее. Дарило такое сильное удовлетворение, что она выходила из Братства, полная гордости. В классе было семь женщин, все старше ее, от тридцати пяти до пятидесяти. Домохозяйки, матери семейств. На занятия – по понедельникам, средам и пятницам – никогда не приходили все. Всегда у кого-то появлялось неотложное дело, заболел ребенок, намечалось собрание, но они не бросали учебу, продолжали упорно и непреклонно. Хотели обучить своих детей. Стать для них примером. Культура, знания вели их к свободе, приобщали к прогрессу, это признавала каждая.

– Эмма, зовите меня Эмма, – умоляла она Хасинту, которая неизменно обращалась к ней «товарищ учительница».

Ромеро, помощник Хоакина, советовал принять официальный тон, заставить себя уважать, но мнение Ромеро ее не интересовало.

Начали с буквы «а».

– Простая буква «а», понятно? – (Антонио, провожавший Эмму домой, кивнул.) – Они знают букву «а». Могут произнести имя «Эмма», а там есть «а». Но не знают, как это пишется, и не умеют присоединять букву к букве, чтобы получилось слово. Нужно показать им букву «м». «Эм», «эм», «эм», – произносила она, смыкая и размыкая губы. – Э-м-м-а. Они так не умеют.

– Для этого есть ты, – отвечал Антонио. – Чтобы их научить.

Воспользовавшись тем, что он умолк, выдав свое заключение, Эмма склонила голову набок и подняла взгляд, чтобы рассмотреть лицо Антонио. Вспомнила слова Хосефы: кажется, его не ущемляет то, что она дает уроки.

– Тебе не мешает, что я даю уроки? – вдруг выпалила она.

Антонио сдвинул брови, остановился.

– Нет. С чего бы?

– Да так. – Она не знала, что сказать дальше, и пожалела, что спросила.

– Ты умеешь месить бетон? – спросил Антонио. Эмма искренне расхохоталась и покачала головой. – А бросать отвес?

– Отвес?

– Ну а я умею. И очень хорошо.

Эмма подошла ближе, взяла его под руку. Антонио зашагал дальше как ни в чем не бывало, вот только девушка опиралась о его локоть в первый раз с тех пор, как они познакомились. Но ее охватывала дрожь.

– А еще я знаю буквы моего имени, – продолжал Антонио. И проговорил их все, одну за другой. – И могу его написать, конечно. И вообще, спроси о чем хочешь.

– Ну, тогда... – Эмма дважды прочистила горло. – Если ты умеешь бросать отвес, разбирать по буквам и писать слова, ты знаешь больше меня.

И она заметила, что каменщик выпрямился, не сбиваясь с шага.

Говорили, что первый демократический пикник, организованный Республиканской партией на горе Коль, возвышающейся над кварталом Грасия, собрал больше шестидесяти тысяч человек. Был праздничный день, 15 февраля, когда зимний холод на последнем издыхании борется с солнцем средиземноморской весны. Эмма и

Антонио, Дора с женихом и их друзья явились все вместе, нагрузившись утварью и припасами, чтобы приготовить настоящий рис по-каталонски, не забыв прихватить фрукты, вино, много вина, одеяла, чтобы сидеть на них, даже кусок парусины, который хотели раскинуть на ветвях, чтобы укрываться под ним. Эмма принесла пару цыплят для риса. Стоило труда убедить Матиаса продать их задешево, за те же деньги, какие брал с него сообщник в карантине для больных птиц возле Французского вокзала.

– Так я ничего не выгадаю, – ныл старик. – А я ведь их кормил.

– Эти для меня, – напомнила Эмма. – С какой стати ты на мне будешь выгадывать.

– Если на тебе нельзя выгадывать и за задницу тоже нельзя хватать, для чего ты вообще мне нужна?

– Чтобы работать, похабник, старый козел, работать, как ломовая лошадь. Мотаться целыми днями туда-сюда, дурить людей, впаривая им твоих цыплят и кур. Разве я не лезу из кожи вон, чтобы продать твоих птиц?

– Любая бы делала то же.

Эмма не стала спорить. Схватила двух цыплят за лапы и сунула под нос Матиасу.

– Ну что, – спросила, – продашь их мне?

– Ну что, – отозвался старик, протягивая к ней руку, – дашь потрогать титьки?

– Еще чего, – возмутилась Эмма, однако подняла цыплят повыше, показывая упругую, высокую грудь. – Хватит с тебя и того, что ты на них пялишься каждый день.

– Хоть покажи чуть больше, – умоляюще заблеял Матиас. – Спусти рубашку.

– Если спушу, с тобой беда случится. До сортира не добежишь.

– Хорошо же ты меня изучила! Когда-нибудь...

– Никогда. Эй! – воскликнула Эмма, будто грозя малолетнему шалунишке, и снова закрылась цыплятами, – Довольно, хватит.

Она заплатила Матиасу из денег, собранных в складчину, и оставила его, даже не пригласив с собой на Коль. Старый сатир, думала Эмма, проходя через Парк, за которым располагался первый приют, куда она пришла в тот далекий вечер, когда дядя ее выгнал из дому. Улыбнулась, поняв, как легко оказалось уговорить Матиаса.

Просто разрешила посмотреть на «титьки», будто такое ее соизволение создает между ними связь. Старику не нужно было пялиться украдкой, за чем его не раз заставляла Эмма; иногда бранила его, иногда смеялась, а чаще всего делала вид, что не замечает.

Она стерла улыбку с лица уже дома, когда Дора, квартирная хозяйка, пара суженых или подружек мужчин, входивших в круг знакомств жениха Доры встретили ее ликующими криками: ведь умудрилась же достать таких великолепных птиц по сходной цене. Им моментально свернули шеи и разделали, чтобы приготовить с рисом.

На горе было не протолкнуться. Там и сям горели костры, и столбы дыма поднимались в небо. Партия, во главе с Леррусом, устроила соревнования для детей, они бегали или прыгали в мешках. Взрослые танцевали, пели хором... Посадили дерево свободы. По всей горе происходили митинги, часто спонтанные, то мирные, то буйные, как и положено рабочим собраниям. На подступах к Колю раздавали еду и питье нуждающимся, собирали пожертвования, самые молодые оказывали помощь, давали поесть старикам, у которых не было другой семьи, кроме республиканской.

Атмосфера установилась веселая, праздничная; дух солидарности, скрепивший тысячи людей, сверкал над горой ореолом, видный всей Барселоне, к нему могли приобщиться сторонники каталонской автономии, консерваторы, католики, даже анархисты; многие из последних влились в ряды Республиканской политической партии, которая боролась за дело рабочих. После долгих поисков девушки нашли своих кавалеров: те вышли на рассвете, чтобы занять хорошее место, и выбрали ровную площадку под одиноко растущим деревом, и уже доставили за несколько ходок дрова и тяжелую утварь. Женщины несли Эмминых цыплят, порубленных на куски, потроха и кровь – в отдельных горшочках; сало, нарезанные помидоры, оливковое масло, хлеб, каракатиц, крупных креветок, угря, лук, мидий, фасоль, жареный красный перец, подогретый шафран, чеснок, соль и черный перец.

Они были молоды, все семь парочек. Продавцы из разных магазинов, в том числе из шляпного, как жених Доры. Каждый расспросил матерей или других родственниц, как готовить такой рис, и когда сковороду водрузили на огонь, все наперебой стали давать советы, часто противоречивые. Что сначала – цыпленка, кровь или угря? «Может, помидоры?» – предложила толстушка по имени Мария.

– Эмма была поварихой, – заявила Дора, положив конец перепалке.

Мужчины отошли от костра. Женщины упрямылись дольше, но Дора пользовалась среди них влиянием, и Эмма смогла подключиться; она помнила, как готовить это блюдо, с угрем или с уткой, без разницы, последовательность действий одна и та же.

– Надо обжарить цыплят вместе с салом; кровь, желудки и печенки пока не трогать.

Девушки бросились выполнять указания Эммы. Обжарили цыпленка вместе с салом и, не доводя до готовности, добавили, по команде Эммы, нарезанные помидоры. Мужчины, сидя под деревом, пили вино и вели беседы. Эмма заметила, что Антонио огорчен: другие парни время от времени вставали, обнимали невест, целовали их, говорили комплименты, давали выпить вина из своего стакана. А он...

– Почему ты не принесешь мне вина? – спросила Эмма с укором.

Антонио просиял, встал с одеяла, подошел к ней и протянул стакан. Эмма отпила.

– Спасибо, милый, – сказала потом и вlepила смачный поцелуй прямо в губы, чем вогнала в краску могучего каменщика. На всех лицах играли отблески костра, поэтому его смущения никто не заметил. – Теперь, – продолжила Эмма руководить готовкой, – нужно положить хлебную корку в это уже кипящее масло... – Она показала на вторую сковородку, не ту, в которой обжаривался цыпленок. – Чтобы смягчить запах и вкус.

Во вторую сковородку на десять минут положили каракатицу и креветок. Потом добавили угря. Затем накрошили лук и снова протушили с рыбой.

– Подождем, пока все это хорошенько дойдет, и сложим в латку с цыпленком, – объявила Эмма.

Никто не отозвался. Эмма удивилась, почему все молчат. Толстушка Мария, стоявшая позади костра, взглядом показала куда-то за спину Эммы.

– Что?.. – начала она, оборачиваясь.

Мужчины встали, из компаний, расположившихся рядом, прибывали еще люди, оставляя костры, лишь издали присматривая за ними.

Сам Леррус, с длинным лицом, высоким лбом, загнутыми вверх усами, безупречно одетый, с Хоакином Тручеро и всей свитой вокруг, ждал реакции Эммы.

– На всех не хватит, – проговорила девушка, большим пальцем через плечо показывая на рис.

– Я бы только чуть-чуть попробовал. – Леррус отделился от группы, подошел к Эмме и подал ей руку. Прежде чем пожать ее, Эмма вытерла свою о фартук. – Многие женщины ждут, что ты выступишь с речью.

Эмма побледнела. Леррус отвернулся, стал здороваться с людьми.

– Ты ведь этого хотела?

Это сказал Хоакин. Антонио подошел ближе, за ним – телохранители, сопровождавшие лидеров.

– Мне надо готовить рис, – пыталась отговориться Эмма.

– Уверен, кто-то из твоих товарок знает, что делать, хотя, разумеется, не так хорошо, как ты. – Леррус сказал это, не переставая здороваться: некоторые не торопились разжимать руку, желая подольше побыть рядом со своим идолом. – Но не думаю, что любая из них способна произнести речь, для этого у нас есть ты. Ты говоришь, они стряпают. Правда, девушки?

Те хором, под сурдинку, выразили согласие.

– Когда рыба дойдет до готовности, – распорядилась Эмма, по всей видимости больше озабоченная рисом, чем своей речью, – положите ее в латку вместе с цыпленком, и когда все как следует подрумянится...

– Кладем мидии и фасоль, – перебила ее Дора.

– Да, а потом...

– Рис, – прозвучало на этот раз несколько голосов. Эмма обвела подруг вопросительным взглядом. – И когда рис станет золотистым, доливаем бульон, – добавила толстушка Мария, скорчив симпатичную рожицу. – А ты толкай речь.

– Вперед, – вставил свое слово Хоакин.

– Прямо здесь? – удивилась Эмма.

– Чем тебе не место?

Туда, где стоял Леррус со свитой, прибывало все больше людей, они располагались ниже по склону или забирались наверх. Вождь республиканцев подошел к Эмме, взял за руку, поднял ее к небу.

– Граждане! – крикнул Леррус. – Представляю вам Эмму Тазисес, республиканку, атеистку, революционерку, пламенного борца; она обучает в Братстве ваших жен, вот их. – Он показал на учениц Эммы, жавшихся позади Хоакина. – Она скажет вам несколько слов.

– Я не знаю, что говорить, – шепнула Эмма Леррусу, пока люди приветствовали ее криками и аплодисментами. – Я не готовилась.

– Тем лучше. Я этого и хотел. Подготовленную речь прочесть нетрудно. А я хочу выяснить, правда ли ты так хороша, как мне доложили.

– А если я людей насмешу?

Собравшиеся ждали.

– Люди посмеются, – ответил Леррус, отошел в сторону и предоставил ей слово широким жестом руки.

Эмма чувствовала, как вся покрывается потом. Глубоко вздохнула. Хасинта, прямо перед ней, не сводила с нее восторженных глаз.

– Сильвия! – указала Эмма на женщину лет сорока. – Знаешь букву «с»? Где есть буква «с»? – (Упомянутая Сильвия потрясла сжатым кулаком, сомкнула губы и покачала головой: нет, дескать, еще не проходили. Многие засмеялись.) – А «в»? Эту мы выучили: третья буква алфавита. – (Тут Сильвия кивнула.) – «С» и «в» вместе, – теперь Эмма обращалась ко всем присутствующим, – «с», «в», добавляем «о»...

– Свобода! – послышалось в толпе. Эмма бросилась туда, откуда слышался голос.

– Да. Свобода! – вскричала она. – Вот чего добиваются эти женщины, стараясь учиться, – свободы. Крадут время у своих детей, своих семей, которое потом наверстывают ночами, когда все спят, чтобы выгадать часы на уроки чтения и письма. Только знание сделает их свободными.

Леррус просто сиял, слушая речь этой новой звезды. Хоакин умел выбирать. Перед ним стояла женщина до крайности привлекательная, красивая, чувственная; только этого достаточно, чтобы вывести ее на подмостки и завоевать внимание слушающих. Но она к тому же умная, говорит страстно, неистово, однако блистательно составляет речь, что характерно, спонтанную, и вождь республиканцев одобрительно кивал.

– Только знание освободит нас от цепей, наложенных Церковью, – выкрикивала Эмма, – от религиозных догм, которые связывают души, возлагают на них вину, делают беззащитными перед участью, назначенной по Божьей воле! Мы не можем смириться перед этой долиной слез, перед несправедливостью, как того хочет Церковь, внушая нам, что все это – испытание, преодолев которое мы достигнем блаженства в загробном мире, в существование которого она же нас заставляет верить. Пусть сами идут своей долиной слез! Мы хотим улыбаться, хотим, чтобы наши дети громко смеялись, радуясь жизни. Все это – чепуха, все это выдуманно для того, чтобы оправдать существование церковников и защитить интересы буржуев, которые им платят и содержат их!

Эмма раскрепостилась. Сжимала кулаки, выкрикивала фразы в толпу, с каждым разом все более многочисленную и покорную ей. Речь складывалась легко: то же самое она не раз слышала из уст своего отца. Она даже не различала людей, которые ее слушали, видела только лицо отца, губы его шевелились, и он, брызгая слюной, обвинял Церковь во всех грехах.

– Мы не можем, как нас учит Церковь, смириться с несправедливостью! Мы должны бороться! Женщины! – вскричала она. – Не позволяйте превратить себя в орудия Церкви. Образование. Воспитание. Государство все дальше отходит от Церкви у нас и в сопредельных странах, и католики занимаются воспитанием детей, чтобы поддержать, как-то оживить веру в этого их бога. Нет, в трех богов! Нелепое суеверие: если бы не страх, который они умудряются вселить в своих последователей, это было бы вроде дурной приметы, черного кота, перебегающего дорогу. – (Народ захохотал.) – Товарищи! Культура освободит нас от суеверия, которым хотят опутать нашу жизнь попы и монахи, и, главное, поможет воспитать наших детей в доблести, свободе, равенстве и братстве!..

Воздев сжатый кулак, Эмма закончила речь и затянула первую строфу «Марсельезы»: «*Allons enfants de la Patrie, le jour de gloire est arrive!*»^[14] Леррус, взволнованный, присоединился к ней, обнял за талию, тоже поднял сжатый кулак. «*Contre nous de la tyrannie l'etendard sanglant est leve*»^[15], – пропели они вдвоем. Хоакин попытался присоседиться к Эмме с другого бока, но она отстранилась,

и молодой активист пел сам по себе, рядом с парой, тоже грозя кулаком небу.

Через несколько секунд десятки тысяч собравшихся на горе Коль, и те, кто знал слова наизусть, несмотря на свою безграмотность, и те, кто просто подхватывал мелодию, пели гимн, веря, что он принесет им свободу и справедливость, как это осуществилось в сопредельной стране более века назад.

«Aux armes, citoyens! Formez vos bataillons! Marchons, marchons! Qu'un sang impur abreuve nos sillons!» [16]

При кличе взять в руки оружие и выступить против тирана дрожь охватила мужчин и женщин, слезы выступили на глазах. Эмма тоже содрогалась со стиснутым горлом. Отголоски песни, должно быть, разлетались по всей Барселоне. С ними соединялись гудки заводов и поездов, звонки трамваев, сирены кораблей, и люди думали, что просто слышат многоголосый городской шум.

Допев до конца французский гимн, собравшиеся криками и аплодисментами приветствовали уже не Эмму и не Лерруса, а самих себя. Они хлопали друг другу, обнимались и целовались, осознав, что только сила народа сломает все преграды, что они – главные герои истории, участвовать в которой им до сей поры было отказано.

Покорный всеобщему порыву, Леррус крепко обнял Эмму.

– Фантастически! Невероятно! – шептал он ей на ухо. Потом отодвинулся, не выпуская ее рук, так что оба продолжали стоять лицом к лицу. – Мы еще поговорим, товарищ. Тебя ждут важные поручения. Мой секретарь свяжется с тобой.

Леррус отпустил ее, поцеловал ей руку, и его тотчас же окружили люди со сжатыми кулаками, поднятыми к небу, и с криком «Свобода!» вся свита отправилась к другому митингу, другому костру, другим верным последователям.

Эмма шумно вздохнула, огладила и одернула платье, потом занялась прической, отдавая момент, когда придется предстать перед друзьями, уже обступающими ее, а главное, перед Антонио, который подходил с каким-то померкшим лицом.

– Ну ты даешь! Невероятно! – загалдели все в унисон.

– Неужели это говорила ты, – спросила Дора, выкатив глаза, изображая крайнее изумление, – ты, которая каждую ночь спит со мной в одной кровати?

– Что с рисом? – Эмма пыталась отмахнуться от комплиментов. – Никто не смотрит за кастрюлей! – рассердилась она.

Рис, пропитанный ароматом дров, вышел на славу. Все ели и просили добавки, даже Антонио, поглощавший двойные порции. Вино пошло по кругу, и разговоры, смолкшие, пока были набиты рты, возобновились, дошло до баек и присказок. Все смеялись. После фруктов достали три бутылки крепкого, одну анисовки и две ратафии – типичного каталонского ликера на основе водки, или анисовки, или того и другого с сахаром, тертыми орехами и ароматическими травами по вкусу, мятой или вербеной, с добавлением мускатного ореха и корицы.

После крепких напитков молодых людей разморило. От соседнего костра доносились звуки гитары. Парочки приникли друг к другу, некоторые нежно обнимались и целовались, другие шептались, не решаясь нарушить магию момента. Эмма взглянула на Антонио, который сидел рядом на одеяле со стаканом ратафии в руке. Мгновения шли, а он так и не глядел в ее сторону.

– Что с тобой? – забеспокоилась Эмма. Она подметила, что Антонио не смеялся вместе со всеми. Не участвовал в беседе. Грустил.

Он поджал губы. Эмма изумилась. Она ведь поцеловала его! Впервые поцеловала. Разве он не должен быть доволен?

– После... – Антонио осекся. Поморщился. – После этого...

– Митинга? – подсказала она, начиная беспокоиться.

– Да. Митинга. Этого. Я думаю...

– Что ты думаешь, Антонио? – спросила она с нетерпением. – Выкладывай!

– Я тебе не пара, – выдавил он смущенно.

– Что?

– То самое.

– Не говори глупостей.

– Это не глупость.

Эмма окинула его взглядом с ног до головы, и мурашки побежали по всему ее телу. Внутри струился поток, медлительный, под стать богатырю, сидевшему рядом. Слезы выступили на глазах. Неужели она любит грубого, неуклюжего каменщика? Не углубляясь в такие тонкости, она взяла у него стакан ратафии, отпила солидный глоток и положила голову ему на грудь.

– Можешь выдохнуть, – разрешила, почувствовав, что он затаил дыхание.

Доре было дано поручение оправдаться за Эмму перед квартирной хозяйкой: заболела кухня Роса, да, чахотка или тиф, кто разберет; ясное дело, какая только хвороба не прицепится к человеку в тех кварталах с гнилой водой и заразным воздухом, не повезло беднякам!

В тот же ночной час Эмма и Антонио высматривали, нет ли кого из соседей в проходе, ведущем к его жилищу. Им пришлось добираться чуть ли не до самого Сан-Марти, квартала, где были сосредоточены почти все городские фабрики. Там, во внутреннем дворе шестиэтажного дома, выстроились вдоль одной из стен четыре низенькие хибары с плоскими крышами, крохотными дверями и единственным окном, выходящим во двор; жилая площадь в каждой составляла где-то двадцать квадратных метров. Эмма слышала о таких: спекуляция земельными участками и высокий спрос на жилье вызвал появление домиков, которые называли «коридорными», или «проходными», внутри основных зданий; в домики эти приходилось проникать через вестибюль или даже через коридор главного дома, или «дома-затычки», как его иногда называли.

Эмма с Антонио, пройдя через вестибюль основного здания, очутились в узком проходе, который вел к четырем хибарам, занимавшим почти весь внутренний двор, оставляя только эту узкую полосу, по которой можно было к ним подобраться. Открыв дверь, Антонио вынужден был пригнуться, чтобы не стукнуться о косяк. За дверью находилась одна комната на все про все: кухня, столовая, спальня. Туалет, указал каменщик, находится на втором этаже главного дома, один на всех жильцов. Водопровода нет, газового освещения тоже.

Эмма кинула взгляд на захлащенное, грязное жилище холостяка.

– Скольких женщин ты сюда приводил?

Вопрос возник спонтанно, и Эмма, не подумав, задала его. Изумленное выражение на лице Антонио, который только что зажег масляную лампу, чей слабый свет только сделал глубже тени, чуть не заставило Эмму взять свои слова обратно, но она решила: нет, это нужно выяснить. Сколько женщин было в жизни каменщика?

– Я слишком грубый, девушки не любят меня, – ответил тот. – Ты сама знаешь.

В неверном свете лампы Эмма окинула его взглядом с ног до головы. Правда, грубый. Обратный путь с горы Коль занял у них больше часа, за это время успел выветриться алкоголь и прошло возбуждение от речи. Чувство нежности, облегчение, которое она испытала, прикинув к его груди, остались на той горе. Эмма сама напросилась к нему домой. Антонио ни за что бы на это не осмелился. Однако теперь, оказавшись взаперти в мрачной каморке, Эмма как-то охладела. Повернулась к нему спиной. Не слышно было, чтобы он пошевелился. Это могло стать началом или концом. Нужно решаться. Она сглотнула. Ее страшила его мощь, его колоссальное тело, его неотесанность, но они уже долгое время встречались, и Антонио ни разу не причинил ей ни малейшего вреда.

– Ты хочешь сказать, что я первая? – решила она спросить, подавшись наитию.

Обернулась и подошла ближе, всего на два шага, больше не было места, и оказалась рядом с нависшим над ней великаном, который бормотал что-то невнятное.

– Скажи, что это так, – попросила девушка, – обмани меня.

– Просто я...

– Тогда помолчи.

Эмма прижалась к его груди, попыталась обнять. Не хватало рук. Вдохнула запах пота, скопившийся за целый день: кисловатый, крепкий. Противный? Пока еще непонятно, может быть все, что угодно. Антонио положил руки ей на спину. Эмма замерла, вся сжалась. Она ничего не почувствовала! Никакого влечения. Почему? Чего недостает? Он стиснул ее затылок, плотнее прижал к своей груди. Эмма ощущала, как ее волосы цепляются за его мозоли. Что с ней такое? Будь то Далмау, она бы уже отметила, как из лона сочится влага, а теперь... Далмау! Он ее держит, она все еще в плену у этой первой любви. Она отклонялась назад, пока не увидела подбородок Антонио. «Поцелуй меня», – попросила.

Она первая решила просунуть язык после того, как они долго терлись губами. Антонио свой язык прячет? Поджал его? Быть того не может! Она рассмеялась гортанно, не разжимая губ, пошарила у него

во рту, нашла, надавила, оросила своей слюной, тогда он расслабился, вступил в игру и наконец просунул ей в рот весь свой язычище.

– Грубиян! – Эмма отстранилась, закашлялась.

– Прости.

– Ты не умеешь целоваться?

– Не умею.

Эмма засомневалась:

– А... остальное?

– Это умею.

Она не сразу поняла: проститутки предпочитают не целоваться.

– А. Но ты здоровый? Чистый?

– Да, – заверил Антонио. – Я всегда очень осторожен. Меня отец научил. Хочешь посмотреть? – Он ткнул пальцем в ширинку.

– Нет-нет-нет! Ладно, – поправились она, – думаю, я его все-таки увижу, а? Придется, – добавила она словно бы про себя.

Снова подставила ему губы. Антонио действовал уже не с таким напором. Положил руки ей на талию, весь погрузился в этот поцелуй. Эмма слышала его учащенное дыхание. Это ее возбудило, она вонзила ему в спину ногти, один сломался. Парень будто бы весь железный! Эмма почувствовала непреодолимое желание увидеть его торс, живот, спину; стала расстегивать на нем рубашку. Антонио продолжал взапрос целовать ее. Эмма отстранилась, как могла, стянула с него рубашку. Мускулы скрывались под курчавыми волосами, сливались с множеством шрамов, некоторые – простые отметины, а два пересекали всю грудь. Она провела пальцем по рубцу, по краям его виднелись следы швов, которыми стягивали рану. Антонио смотрел, прерывисто дыша. Эмма прижалась щекой к этому обнаженному торсу. «Ты как бык, – прошептала. – Мой бычок».

Антонио осмелел: руки его скользнули к ягодицам Эммы, она сильнее прижалась к нему, чувствуя эту мощную хватку. Теперь да: появилась влага. Она желала, чтобы этот мужчина ею овладел. Отстранилась так, чтобы он мог видеть ее всю, и расстегнула цветастое платье, оно облачком газа скользнуло по телу и, смятое, упало к его ногам. После упорной борьбы с корсетом тот отправился туда же, и Эмма предстала перед Антонио обнаженной, в одних только длинных чулках, соски ее полных, упругих грудей напряглись и поднялись вверх.

– Иди ко мне, – позвала она.

Взяла его руки, положила себе на грудь. Его ласки были как тысяча уколов сразу, Эмму пробрала дрожь, она вся съежилась. Грубые, в порезах, руки Антонио царапали кожу. «Что с тобой?» – спросил он, видя, как Эмма ежится. «Продолжай! Пожалуйста, продолжай», – торопила она.

Эти руки кололись, будто тонкие иголки пронзали нежную, гладкую кожу груди и живота; уколы достигали порога боли, не переступая через него, не причиняя ни малейшего вреда, вызывая притом бесконечное множество противоречивых ощущений, смешанных то с желанием, то с опасением, а когда какой-нибудь укол был сильнее или их было несколько сразу, Эмма вздрагивала всем телом.

– Пошли, – проговорила Эмма между двумя приступами дрожи.

Здесь же, у стены, стояла кровать. Эмма на ходу стала снимать чулки и чуть не упала. Антонио ее поддержал.

– Осторожно, – сказал он. – Спешить некуда.

– Мне есть куда спешить, – возразила она, обнимая его, уже совершенно нагая. – Я очень спешу. Мне очень нужно почувствовать тебя внутри. – Она на мгновение заколебалась. – Резинки есть?

– Нет.

После короткого раздумья она все-таки повалилась в постель, на спину, раскрываясь навстречу ему.

– Не важно. Потом поведешь меня в одну из клиник старого города. Раздевайся! – поторопила она, видя, что Антонио стоит столбом, не сводя с нее глаз. Не смутила ли она его таким напором? Но нет. Нет, нет, нет, испугалась Эмма, когда Антонио извлек возбужденный член, просто громадный, и прижал к ее животу.

– Ого, – выкрикнула она, до глубины души потрясенная. – Ой, мамочки! – добавила, когда каменщик навалился на нее всем своим телом. – Ты меня не изувечишь, а?

– Нет... Конечно нет.

– Поклянись.

– Ей-богу!

– Оставь Бога в покое! – выдохнула она. – И возьми меня!

Эмма развела ноги, как только могла. Подняла их и обвила вокруг бедер Антонио, а тот, опираясь на локти, чтобы не раздавить ее, начал

осторожно вводить свою махину.

Эмма подумала, что это разорвет ее надвое.

– Так, тише, тише, – твердила она с придыханием. Потом глупо захихикала. Потом взвыла, прикусив нижнюю губу. Ее как будто ломали, как будто четверговали. – Тише, тише! – молила она.

Он подчинился и продолжил так медленно, что Эмма не выдержала и стала бить его по спине кулаками. Наконец ее тело откликнулось и вобрало в себя колоссальный член, дробящий плоть на куски. Потом боль уступила место удовольствию.

– Оооооох, – выдохнула Эмма.

После этого все началось. Антонио задвигался, ритмично, не торопясь. Цепляясь ногами за его бедра, Эмма выгнулась под ним, предлагая себя. Он продолжал в том же ритме, ровном, почти механическом, пять, десять минут. Пятнадцать. Эмма, вся в поту, задыхалась, корчилась. Теряла рассудок.

– Еще! – потребовала она.

Улыбнувшись, Антонио толкнул сильнее.

Эмма взвыла.

– Еще! – попросила чуть позже.

Он исполнил просьбу. Она не смогла сдержать крика. Потом сомкнула губы, стараясь не стонать. Не выдержав, снова издала ликующий вопль, громко прозвучавший в ночи. Антонио продолжал. Эмма достигла оргазма раньше его. Все ее мышцы напряглись. Пора бы ему остановиться. Она хотела раскинуть ноги и руки, глубоко вздохнуть, но Антонио никак не мог кончить. Когда дошел до высшей точки, Эмма испугалась, что ее разнесет на куски.

Она даже не заметила, как в этом заведении грязно. Второй этаж дома в барселонском квартале Раваль, полным-полно шлюх, встречаются и женщины вроде нее. Эмма как будто пребывала в трансе. Это Антонио стал расспрашивать, где найти клинику для любовных дел, «для секса», поправила старуха, к которой он обратился. Антонио спорить не стал, и старуха направила его в переулок, такой узкий, что им с Эммой пришлось прижаться друг к другу, чтобы пройти между домами. У входа висело выцветшее объявление: КЛИНИКА ЛОПЕСА. СИФИЛИС. ГОНОРЕЯ. ГЕРПЕС.

ВСЕ ВИДЫ ИНФЕКЦИЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ. ПРОМЫВАНИЕ ВАГИНЫ. ВТОРОЙ ЭТАЖ.

Антонио заплатил чуть больше, чем стоила процедура, и их пропустили вперед, мимо жалкой толпы, скопившейся в приемном покое.

– Как поживает твоя расчудесная оглобля, каменщик? – спросила женщина с волосами, выкрашенными в лиловый цвет.

Антонио ее не узнал, но она-то его точно знала: сделала губы сердечком и помахала в его сторону вытянутой рукой. Женщины хрипло захохотали. Эмма как будто ничего не видела и не слышала. Пройдя через приемный покой, они попали в маленький кабинет, где их приняла санитарка, не скрывающая отвращения: на лице ее, покрытом морщинами, явственно читалось, насколько ей все это обрыдло. Она повалила Эмму на кушетку, задрала на ней юбки, сняла чулки, но на секунду замешкалась перед тем, как ввести в вагину резиновую трубку.

– А где доктор? – спросил Антонио.

– Доктор такими вещами не занимается, – пробурчала санитарка свирепо и уставилась на него с вызовом: продолжать ей процедуру или нет.

Антонио вопросительно взглянул на Эмму.

– Приступайте, – сказала та.

Санитарка ввела трубку, соединенную с фарфоровым сосудом цилиндрической формы, «промывателем», как она его назвала, откуда вода с антисептиком, чаще всего уксусом, закачивается во влагалище и матку женщины. Санитарка начала процедуру, и жидкость хлынула в лоно Эммы, оттуда стекая в таз, который санитарка опорожнила в бадью.

– Придется проделать это трижды, – усмехнулась Эмма, когда санитарка вышла.

Антонио усмехнулся тоже. Закрыв глаза, Эмма восстанавливала в памяти минувшую ночь. Один, два, три раза каменщик доводил ее до экстаза. Трижды ей казалось, будто она теряет рассудок. Никогда... никогда, принимая в себя Далмау, она даже вообразить не могла, что достигнет подобного наслаждения. В данный момент забеременеть ей не хотелось. Они с Антонио познакомились слишком недавно. Она взяла его за руку: ту самую, шершавую, которая ласкала ее тело. Даже

сейчас, распростертая на кушетке, она почувствовала приятную щекотку внутри. Эмма еще не хотела от него ребенка, но с этой ночи их отношения определенно переменились. Сколько еще раз он сможет подарить ей столько наслаждения, сколько подарил этой ночью?

Когда спринцевание завершилось, они вышли из мерзкой, зловонной клиники и стали искать таверну, где бы позавтракать. Сардины в рассоле на добром ломте свежеиспеченного хлеба, щедро политого оливковым маслом; еще поджаренный хлеб, с салом, с сахаром; яичница, колбаса, чеснок и лук, хлеб и вино – всему отдали должное Эмма и Антонио. Вначале ели молча, утоляя голод: с тех пор как почти сутки назад они смаковали рис по-каталонски, у них маковой росинки во рту не было. Когда насытились, пришел черед взглядов, улыбок, заговорщического смеха.

– Bravo, Антонио! – передразнила Эмма крик, донесшийся посреди ночи из соседней хибарки.

Тогда она умолкла, словно застигнутая врасплох. «Давай, не стесняйся, милочка!» – ободрил ее голос, явно женский, из-за другой стены.

– Вы занимаетесь любовью все вместе? – сейчас, в таверне, спросила она у Антонио.

Тот не знал, что ответить, и, пристыженный, потупил взгляд. Эмма взяла его за руку.

– Вечером зайдешь за мной в Братство? – спросила она, хотя была уверена, какой получит ответ.

– Конечно найду.

После пикника на горе Коль республиканцы развернули бурную деятельность. Создали новую партию – Республиканский Союз, чтобы выйти на апрельские выборы. Эмма вложила много пыла в предвыборную кампанию. Несмотря на то что правительство в Мадриде предпринимало все усилия, чтобы гарантировать честные выборы, без массовых фальсификаций по всей Испании дело не обойдется, это понимали все. В течение нескольких предвыборных месяцев митинги следовали один за другим. Они проходили в закрытых помещениях, чаще всего в театриках на Параллели, поскольку губернатор запретил уличные манифестации. Эмма

приходила на все, вместе с Леррусом или другими ораторами; «товарищ учительница» – так стали ее называть.

На большинстве из них произносила речь. Короткую: ей выделялось ровно столько времени, чтобы она могла призвать немногих присутствующих женщин повлиять на мужей, сыновей, отцов и прочую родню и обеспечить их голоса республиканцам. Женщины не имели права голоса, тем более не могли занимать какую бы то ни было должность, поэтому, выполнив свою миссию, «товарищ учительница» умолкала и ее сменяли мужчины.

Ее речи были полны воодушевления, отличались напором: ей нравилось говорить на публике. Это приводило ей на память отца, и образ его порой представлял настолько живым, что горло перехватывало от грусти, и с этим приходилось бороться. Перед этой памятью, этим живым присутствием отступали смущение и страх; Эмма обращалась к отцу, искала его одобрения, от него, не от публики, ждала аплодисментов. За те несколько минут, что ей выделялись, она зажигала аудиторию. Образование, Церковь, монархия, Церковь, Церковь, Церковь... Вожди просили, чтобы на этих митингах не звучали нападки на буржуазию и капитал, поскольку в Республиканском Союзе были представлены самые разные течения – правые, центристские, левые, их объединяло лишь то, что все они отвергали монархию.

Раз уж нельзя было нападать на капитал, Эмма вначале вообще отказалась говорить, но Леррус ее убедил: «Будущее всех стран – в руках рабочих, но сначала нужно опрокинуть гнилую, порочную структуру. Добиться, чтобы касики утратили контроль над выборами. Нам надо постепенно увеличивать свое присутствие во власти. Добьемся всего этого – тогда и наступит наше время».

Мишенью нападков стали монархия и Церковь, тесно с ней связанная. Иногда, стоя на трибуне, Эмма боялась услышать голоса, обвиняющие ее в смерти Монсеррат: вдруг какая-нибудь из анархисток, видевшая, как застрелили ее подругу, встанет и заклеит Эмму? Но они, наверно, не ходили на митинги, а если и ходили, никак не проявляли себя. Старые знакомые, даже те, кто жил в квартале Сан-Антони, подходили к ней, приветствовали и поздравляли. Только не Далмау. Далмау отошел от рабочей борьбы, как призналась Хосефа, и не мог знать, что это она – «товарищ учительница», даже если слышал

или читал о митингах. Думая об этом, Эмма даже заводилась немного: после того, что она претерпела от Далмау, было бы неплохо, если бы он увидел, как она вдохновляет людей, то есть что-то в этой жизни значит. Но всякое желание снова встретиться с ним исчезало, когда она, сходя с трибуны, опиралась на крепкую, мозолистую ладонь каменщика.

В самом деле, и на этих выборах опять выявились массовые фальсификации по всей стране: подкуп избирателей, «карусели», поддельные списки, голосующие покойники, недоступные избирательные участки; землевладельцы и собственники, заставляющие своих арендаторов и работников голосовать как надо; фальсифицированные бюллетени и бюллетени из мелких местечек, не доставленные по почте. Консерваторы, цепляющиеся за власть, продолжали самоуправствовать безнаказанно.

И все-таки в Барселоне, где Леррус наказал своим сторонникам быть максимально бдительными и пригрозил властям беспорядками, если вскрыются нарушения, республиканцы получили втрое больше голосов, чем регионалисты: прошел весь список Республиканского Союза.

Если вклад Эммы в приближение республиканцев к власти, о котором говорил Леррус, был ограничен по политическим причинам, все же «товарищ учительница» имела случай чуть позже поквитаться и за цензуру своих речей, и за малое время, какое ей предоставили во время избирательной кампании на митинге в Барселонете, на арене для боя быков, совсем рядом с карантинном, где они с Матиасом покупали кур. Около пятнадцати тысяч человек собрались там, двенадцать тысяч расселись в амфитеатре, остальные стояли прямо на арене, чтобы почтить годовщину процесса в Монжуике, которую взяли на вооружение республиканцы, требуя пересмотра решений суда, амнистии для приговоренных и их полной реабилитации.

Зрелище, повторяющееся каждый вечер, когда проходит бой быков, перед Эммой предстало не впервые, они с Матиасом часто встречались неподалеку: ожидая подачи, бесчисленное множество калек с флейтами и аккордеонами соревновались между собой – кто сыграет громче и привлечет к себе внимание. Какофония резала слух. И все-таки Эмма расщедрилась, бросила несколько сентимо, которые и

для нее не были лишними, в драную шапку, стоявшую у ног какого-то инвалида.

– Зачем ты им подаешь? – спросил Антонио.

– На удачу...

– Так ты в приметы веришь? – рассмеялся он.

Эмма пожала плечами, но, приближаясь к арене, осознала, что удача ей потребуется, еще как потребуется. Многотысячная толпа подавляла – это не театрик и не крытый цирк, куда вмещается несколько сотен человек, никак не больше тысячи. А это море людей вселяло ужас.

– Не знаю, смогу ли я, – призналась она каменщику, окинув взглядом забитые ряды амфитеатра.

Ответ Антонио заглушили крики толпы. Да Эмма и не слушала. Она вся вспотела, ей было не по себе, ее пугало такое скопление людей. Ромеро, помощник Хоакина Тручеро, встретил их и провел к трибуне, помещавшейся над загоном, откуда выпускали быков.

«Этим путем я и сбегу отсюда», – усмехалась про себя Эмма, пока ее представляли другим ораторам; она автоматически пожимала руки, не запоминая имен и не вникая в слова; ее тревожило лишь одно: как бы по ее вспотевшим ладоням кто-нибудь не догадался, до чего ей страшно. Они все расселись в первом ряду, под навесом. Ромеро устроил Антонио где-то поодаль, почти что у барьера, за которым на арене толпился народ. Среди всех этих политиков Эмма почувствовала себя маленькой и одинокой. Она-то всего лишь торговка курами, которых к тому же и достает мошенническим путем. Эмма никому в Братстве не рассказывала, чем на самом деле занимается, а на упорные расспросы Хоакина Тручеро отвечала: «Торгую съестным», тем и удовлетворяя его любопытство. В противоположность ей, все ораторы, собиравшиеся выступить, были важными персонами, в темных пиджаках, при галстуках, в котелках, – люди серьезные, основательные, вдвое старше ее.

Эмма подготовила речь с помощью и при долготерпении Антонио, который раз за разом выслушивал ее. Теперь все стерлось из памяти. Не осталось ни единого слова... Эмма беспокойно заерзала на стуле. Ораторы кричали в полную силу, чтобы их услышали в таком громадном пространстве, и это ее отвлекало. Аплодисменты, приветственные крики; выступающий на трибуне потрясает сжатым

кулаком; похоже, закончил речь. Когда ее черед? Был бы хоть Антонио рядом... Эмма обернулась, стала искать его глазами, но не нашла. Взглянула на дверь, ведущую в загон. Туда можно улизнуть.

Ее выкликнули. Она поднялась на трибуну. «Товарищ учительница!» – представили толпе. Люди зааплодировали. Эмма несколько мгновений колебалась. Огляделась вокруг. Люди ждали. На этой арене во время корриды, если устанавливалась тишина, можно было слышать, как по песку шуршат копыта нападающего быка. Сейчас Эмма услышала, как кто-то кашлянул.

– Моего отца замучили в Монжуике!

Не нужно было кричать, как предыдущие ораторы. Тот самый шелест песка под копытами разъяренного зверя. Люди встали все как один и аплодировали стоя.

Приветственные крики и память об отце вдохновили ее. Она вспомнила свою речь и прокричала ее над толпой. Правительство до сих пор не признает, что заключенных пытали. Церковь, наследуя инквизиции, морально оправдывает беспредел. Как можно утверждать, будто заключенных не пытали? Она сама, девчонкой, видела следы пыток и в страхе отшатнулась от изувеченного отца. Люди слушали эту исповедь затаив дыхание. «Я больше никогда не видела его». Эмма умолкла, голос прервался, больше было не вымолвить ни слова, и она расплакалась прямо на трибуне, перед толпой. Да, ее осиротил этот несправедливый процесс! Сначала она пыталась сдерживать слезы, но потом, стиснув зубы, выпрямилась, не скрывая горя. Единодушный рев вырвался разом из пятнадцати тысяч глоток и устремился в небеса.

– Пусть вас услышат в замке! – взвизгнул кто-то из республиканских лидеров, одной рукой обнимая Эмму, а другой показывая на гору Монжуик, которая высилась на другой оконечности побережья.

– «„Товарищ учительница“ воспламенила собравшихся. – Старик в таверне, расположенной неподалеку от стройки, где работал Антонио и где они с Эммой договорились позавтракать, читал газету вслух для всех посетителей. – Сирота, потерявшая отца-анархиста, несправедливо приговоренного во время процесса в Монжуике, захватила присутствующих потрясающе эмоциональной речью, завершив которую не смогла сдержать слез...»

Эмма и Антонио с нежностью взглянули друг на друга поверх стола, за которым сидели вместе с прочими людьми со стройки; одни уходили, другие присаживались, и мало кто не бросал заинтересованный взгляд на женщину, пришедшую вместе с каменщиком.

– Ты очень хорошо говорила, – похвалил ее Антонио.

– Слушайте дальше! – крикнул чтец, привлекая внимание рабочих, теснившихся в таверне. – «В то время как республиканцы добиваются пересмотра и осуждения процесса, который позорит и унижает Испанию в глазах любой цивилизованной страны; процесса, в результате которого были казнены или высланы невинные люди, чьи имена нужно реабилитировать, буржуазия, клир и власти города с привычной для них роскошью, оскорбляющей неимущих, устроили бал с целью собрать средства для кампании против богохульства на улицах и в цехах...»

– В бога душу! – донеслось из-за какого-то стола, затем отовсюду посыпалась брань и непристойные шуточки насчет попов.

– Ладно, ладно, ладно, – возвысил голос старик, когда собравшиеся слегка успокоились. – Хотите слушать дальше или как? – Все дружно закивали. – Ладно... «На улицах и в цехах...» – повторил он. – Да. «Мероприятие возглавили...»

Эмма перестала слушать, пока не вздрогнула, услышав имя: Далмау Сала.

– «Известный молодой художник и керамист, – продолжал читать старик, – которого весь вечер с сердечным участием сопровождала Ирене Аамат, дочь одного из наших текстильных магнатов, выставил себя на посмешище: когда его пригласили на подмостки и попросили произнести несколько слов благодарности в адрес самоотверженных женщин, радеющих о благе общества и не жалеющих сил ради того, чтобы изгнать дьявола из наших уст, он был не в состоянии вымолвить ни слова. Парадоксальная ситуация сложилась, когда художник, вместо фонтана красноречия, изверг из себя выпитое прямо на одну из этих дам, за что был выведен из роскошного ресторана; некоторые утверждают, будто жертва извержения в свою очередь исторгла ряд смачных богохульств, с неодобрением воспринятых благочестивым собранием».

Стены таверны сотряслись от хохота, посыпались новые остроты.

Эмма съежилась на своем стуле. «Буржуазия». «Роскошь». «Сопровождала с сердечным участием». «Посмешище». «Извержение». «У тебя и правда похитили душу, Далмау», – заключила она, вспомнив слова Хосефы. Глубоко вздохнула раз, другой. Выпрямилась, взглянула на Антонио, который спокойно ел.

– Я люблю тебя, каменщик, – вдруг вырвалось у нее.

Тот поперхнулся яйцом и картошкой, которые только что сунул в рот, закашлялся и долго не мог отдышаться.

За два вечера до того Маравильяс и Дельфин отирались на площади Каталонии и улице Риваденейра, клянча милостыню у ротозеев, которые останавливались возле кафе-ресторана «Мезон Доре», чтобы поглазеть на экипажи, ждущие своих владельцев. *Trinxeraires* были не одиноки: их собратья приставали к прохожим или ждали, пока кто-нибудь зазеваётся, чтобы стащить кошелек. Были и нищие постарше, мужчины и женщины, оборванцы всех возрастов: обойдя с протянутой рукой дома на Пасео-де-Грасия или поев супу в одной из благотворительных столовых, находившихся в ведении Церкви, они шли попытать счастья среди скопища богачей.

Правда, только самые отчаянные осмеливались приблизиться к дверям ресторана: радея о безопасности важных персон, проводивших время внутри, заведение охраняла жандармерия и муниципальная полиция; не подойти было и к экипажам, поскольку кучера, вроде бы беспечно болтавшие и шутившие между собой, ловко щелкали бичами, если кто-то начинал крутиться около карет.

Только Маравильяс предложила брату уйти отсюда прочь и поискать место для ночлега, как из двери служебного входа показался официант, он вел хорошо одетого юношу, который шел, пошатываясь и ничуть не сопротивляясь. *Trinxeraire* схватила Дельфина за руку и остановила его.

– Погоди, – велела она.

– С чего это, – захныкал Дельфин, проследив за взглядом сестры и узнав Далмау. – Я устал, пошли спать.

– Иди, если хочешь, – отозвалась Маравильяс.

Дельфин остался.

Далмау глубоко вдохнул ночной воздух и смерил взглядом зевак. Хмель не выветривался, несмотря на прохладу.

– С вами все в порядке? – поинтересовался официант, понимая, что этого клиента нельзя третировать, как обычного пьяницу.

– Нет, – ответил Далмау, еле ворочая языком, ощущая привкус рвоты во рту.

– Хотите наемный экипаж? – Официант уже поднимал руку, чтобы позвать извозчика.

– Нет... спасибо, – с трудом выговорил Далмау.

Официант попрощался и исчез в здании. На несколько секунд Далмау, казалось, застыл в раздумье: хохот и насмешки, какими его проводили из «Мезон Доре», все еще жгли каленым железом, терзая уязвленное самолюбие. В желудке опять закрутило, рвота прихлынула к горлу. «Буржуи, сукины дети», – пробормотал он, направляясь к Ла-Рамбла. Ему нужно было выпить. Маравильяс и Дельфин двинулись следом. Пересекли проспект и углубились в Раваль. *Trinxeraires* увидели, как Далмау входит в первую попавшуюся таверну на улице Тальерс. Маравильяс заняла пост снаружи, а Дельфин, недовольно ворча, нашел парадную и свернулся калачиком на пороге, намереваясь заснуть. Не прошло и пяти минут, как старая проститутка, вернувшись после очередного клиента, пинками прогнала его прочь. Тем временем Далмау сел за пустой столик, и хозяин кабака уже налил ему первую рюмку абсента. Маравильяс знала этот напиток зеленого цвета, вызывающий галлюцинации, даже сама его пробовала. В том состоянии, в каком находился Далмау, ему хватит двух рюмок, чтобы отрубиться, особенно если пить абсент неразбавленным, с сахаром, как он вроде бы собирался. Дельфин нашел другую парадную, немного поодаль. Старая проститутка переводила взгляд с одного на другую.

– Эй! – крикнула она Маравильяс. – Ты мне всех клиентов распугаешь.

– Твоих-то клиентов уже не напугаешь ничем, – ответила *trinxeraire*.

Двое прохожих захохотали. Шлюха оглядела Маравильяс с ног до головы: грязная оборванка, куча ветхих одежонок, одна поверх другой, ноги вместо обуви обернуты какими-то тряпками. Маленькая, тощая, ходячий скелет.

– У тебя язык без костей, – проворчала профессионалка, подумав, что в ее-то годы вряд ли за девчонкой угонится.

– Зато он у меня не для того, чтобы отсасывать у мужиков.

– Пока что да, – согласилась проститутка. Затем помотала головой и плюнула. – Бог даст, еще увижу на этом самом месте, как ты сосешь у сифилитика.

Маравильяс заглянула в глаза старухе: тусклые, они не выражали ничего, даже гнева, и девочка умолкла. Снова стала следить за тем, что происходит в таверне. Вторая рюмка. Первую Далмау, по-видимому, осушил одним глотком. Какая-то женщина, пьяная, размалеванная, с огромной грудью, выпирающей из тесного корсета, и с высоким шиньоном, колом торчащим над головой, села за его столик. Хозяин таверны принес вина, хотя Далмау об этом не просил, он даже не обратил внимания на женщину, присевшую рядом. Разозлившись, Маравильяс невольно подошла к двери слишком близко. У кабатчика было меньше терпения, чем у проститутки: завидев девочку, он схватил с прилавка рейку и погнался за *trinxeraire*; та пустилась наутек под хохот старой шлюхи.

– Поддай ей, Матеу, – науськивала она кабатчика, но тот даже не ступил за порог заведения.

Когда Маравильяс осмелилась вернуться к двери, женщина с шиньоном уже держала Далмау за руку и что-то говорила ему, хотя он, похоже, не слушал; Маравильяс тоже не разбирала слов. Еще рюмка абсента. Глоток, второй...

– «Рюмочница» его не отпустит, – проговорила старуха за ее спиной. Маравильяс обернулась. – «Рюмочница». – Проститутка кивнула на женщину в таверне. – Специализируется на пьяных. Поэтому Матеу и пускает ее внутрь; она их выдаивает в мгновение ока и делится добычей. Если это твой дружок... Просто подожди. Как станет у него пусто в карманах, так его и выставят.

Как будто последовав ее совету и решив подождать, Маравильяс прислонилась к стене дома, откуда было видно таверну, совсем рядом с парадной, где старая проститутка поджидала клиентов; та удивилась, что девчонка посмела устроиться так близко.

– Что у тебя с этим? – мотнула она головой в сторону таверны. *Trinxeraire* не ответила. – Не важно, – продолжала шлюха, – скоро здесь не на что будет смотреть. – Тут Маравильяс очнулась и непонимающе уставилась на проститутку. Та снова мотнула головой, теперь в сторону улицы Тальерс, где показались двое мужчин во фраках и с ними двое слуг. – Вот идут его приятели, – указала проститутка.

Один был постарше, другой совсем молодой. В старшем по густым бакенбардам, переходящим в усы, Маравильяс узнала хозяина

фабрики, где работал Далмау и где ее рисовал. Молодого она никогда не видела; «Амадео», – окликнул его тип с бакенбардами. Вскоре они поравнялись с Маравильяс, заглянули в таверну и узнали Далмау.

– Вот он! – крикнул учитель слугам. – Ты поищи экипаж, а ты ступай со мной, – раздал он приказания.

Слуги бросились исполнять. Первый повернулся и побежал к Ла-Рамбла, второй вошел в таверну вместе с доном Мануэлем. Маравильяс подошла ближе, пользуясь тем, что хозяин таверны разбирался с двумя господами, и увидела, как «рюмочница» исчезает, лавируя между столиков. Интересно, подумала девочка, успела ли она общипать Далмау. Слуга и Амадео подняли его и поволокли; Далмау не подавал признаков жизни. Тот, с бакенбардами, разбирался с кабатчиком, который требовал, чтобы ему заплатили за столько рюмок абсента, сколько Далмау и не выпил, а также за целый графин вина.

– Не платите, дон Мануэль, – предупредил Амадео. – В таких тавернах не выписывают счет. Клиент платит сразу, за каждый стакан.

– Господа... – стал защищаться кабатчик.

– Любезный, – перебил его дон Мануэль, роясь во внутреннем кармане фрака в поисках кошелька, – мне кажется несколько странным, что за столь короткое время этот молодой человек сумел выпить все, что вы перечислили, но я не стану спорить. Сколько с нас причитается?

В то время как он расплачивался, Маравильяс распласталась по стене: экипаж подъехал и остановился прямо у дверей таверны. *Trinxeraire* оказалась зажатой между стеной и задним колесом.

– Где живет Далмау? – спросил Амадео.

– Где-то в старом городе, – ответил дон Мануэль, – но где точно, не знаю.

– Куда же его отвезти? – осведомился Амадео под пристальным взглядом извозчика, склонившегося с облучка.

Учитель несколько мгновений раздумывал, наконец приказал:

– Ко мне домой!

Далмау затащили в экипаж. Туда же сели дон Мануэль и Амадео, слуги встали на запятки, и извозчик пустил лошадей вскачь. Маравильяс поднялась на цыпочки, чтобы колесо ее не задело, и проводила карету взглядом. Потом молча направилась к Ла-Рамбла.

– Эй! – окликнула ее старая проститутка. – Ты про мальчонку забыла.

Далмау рухнул обратно на постель и закрыл глаза в тщетной попытке избавиться от боли, сдавившей голову, едва он попытался приподняться. За стенами комнаты слышались приглушенные голоса. Он принялся вспоминать: праздник, посмешище, таверна, какая-то женщина... Дальше провал. Он несколько раз глубоко вздохнул и открыл глаза, стараясь не двигаться: слабый свет проникал в комнату через слуховое окно. Маленькая, скромно обставленная. Кровать, кувшин на комод, в углу стул из некрашеной древесины, с плетеным сиденьем, на нем одежда, аккуратно свернутая. Это его вещи? Он заметил, что лежит совершенно голый. Больше в комнате не было ничего. Окон, как таковых, тоже не было, слуховое окошко выходило во внутренний двор. Далмау все-таки решил приподняться, но его замутило. Голова опять превратилась в бомбу, готовую взорваться, и почти лопнула, когда дверь распахнулась, впустив свет, воздух и шум, все сразу. Жизнь со всей силы обрушилась на него.

– Господин изволил проснуться?

Он не сразу узнал зычный голос и мощную фигуру Анны, кухарки дона Мануэля и доньи Селии. Растерянный, подумал, что, наверное, находится у них дома.

– Да, – сказала Анна, не дожидаясь вопроса. – ты ночевал в доме дона Мануэля Бельо. Похоже, он не знал, куда тебя отвезти, а сам ты на ногах не стоял. – Слушая кухарку, Далмау вспомнил, что лежит голый, и поспешил прикрыться. Та расхохоталась и указала пальцем на его причинное место, уже прикрытое простыней. – Гонору-то, гонору: и то не так, и это не этак, а там у тебя то же, что и у других, ни больше ни меньше.

– Ради бога, Анна! – застонал он, снова закрывая глаза. – Чья это комната?

– Одной из горничных. Девчонкам пришлось лечь в одну постель, чтобы ты мог проспать.

Кухарка ждала, что он скажет.

– Мне очень жаль, – хрипло проговорил Далмау. – Который час?

– Около полудня. Хозяин наказал, чтобы тебя не беспокоили. Принесу тебе чашку бульона, это тебя взбодрит.

В самом деле, хотя от одного запаха его затошнило, бульон придал силы: Далмау встал, умылся из кувшина, оделся в вечерний костюм. Хотя фрака не было, его Анна где-то повесила на плечики, одежда казалась тесной, неудобной; рубашка и брюки кусались, царапали кожу. Выйдя из комнаты, он очутился в части дома, предназначенной для прислуги. Спальни горничных, чуланы, кладовка и кухня, куда он и направился.

Но добраться туда не удалось. Урсула вышла ему навстречу, окинула высокомерным взглядом. Злополучная сцена на балу ожила в памяти Далмау. И тут при виде Урсулы, загородившей проход, его осенило.

– Ты, ты, – обвинял Далмау. – Ты устроила эту речь. Ты!

– Я тебя предупреждала, горшечник, – оборвала его Урсула, тыча пальцем в низ его живота.

– Ты знала, что я боюсь выступать на публике; твой отец... или преподобный Жазинт... Кто-то из них, наверное, рассказал тебе.

– Ты меня не послушался, – гнула свое Урсула.

– Ты, ты... – Далмау осекся: как ни был он возмущен, благоразумие оказалось сильнее.

– Ну, давай, говори! Кто? Кто я?

Теперь голос ее звучал вкрадчиво. Девушка подошла ближе, с огоньком в глазах.

– Ты ненормальная! – вскричал Далмау и отступил на шаг.

Урсула остановилась.

– Хочешь войны?

– Да пропади ты пропадом! – гаркнул Далмау, так ему осточертела и она сама, и весь этот разговор.

На кухню он не пошел. Фрак забирать тоже не стал. Даже не попрощался с Анной. Выбежал из этого дома, хлопнув дверью.

Далмау направился к фабрике изразцов. Напился воды из фонтанчика. Он почти сутки ничего не ел, а бульон и особенно перепалка с Урсулой пробудили аппетит, и он остановился у лотка торговца вразнос. Попросил бутерброд с колбасой, но, собираясь заплатить, обнаружил, что у него нет ни сентимо. Четко возник, доселе скрытый в тумане опьянения, образ женщины с огромными грудями и тугим шиньоном; Далмау даже чувствовал, как она его трогает,

ощупывает. Так, наверное, и пропали его денежки. Продавец воззрился с подозрением на то, как он все шарит и шарит у себя в карманах, и положил на место бутерброд, который уже ему протягивал.

На это Далмау вытянул губы и пожал плечами.

– Возьмете бабочку взамен? – решил пошутить, выуживая из кармана смятый галстучек.

Лотошник даже ухом не повел.

– Нет, – ответил он. – Вот туфли бы взял.

– Вряд ли они вам впору, – припечатал Далмау и отошел.

У фабричных ворот попросил Пако принести ему что-нибудь поесть в мастерскую; потом выпрямился, вздохнул и направился к кабинету дона Мануэля.

– Я хотел... – пробормотал он, постучав в дверь, приоткрыл ее и просунул голову. – Хотел извиниться.

– Входи, – пригласил учитель, указывая на один из стульев для посетителей, стоявших перед столом, за которым он сам восседал.

Далмау не хотел начинать разговор, который, как он предвидел, неумолимо надвигался, но знал, что избежать выволочки никак нельзя: он это заслужил. Он выдержал взгляд дона Мануэля и рассыпался в извинениях еще до того, как учитель заговорил.

– Мне очень жаль, что так получилось, честное слово... Но ведь все вы знали, что я не умею говорить на публике, – едва присев, стал оправдываться Далмау.

– Так и не надо было, – ответил дон Мануэль. – Ты вовсе не обязан был произносить какую-то речь.

– Меня ободряли, аплодировали, давили на меня... – защищался Далмау.

– Ты был пьян, сынок.

– Я не отдавал себе отчета, что выпил так много. И потом, нервы не выдержали: говорить речь перед всеми этими людьми... Мне очень жаль, – заключил он, не зная, что еще сказать.

Между ними установилось молчание. Далмау облизал губы, все еще пересохшие. Опустил голову, набрал воздуха в грудь, снова поднял глаза и догадался, что у дона Мануэля есть что еще сказать ему.

– Ты должен избегать выпивки на таких торжествах. Сколько раз я тебе твердил, насколько важен имидж? Хорошо одеваться, прилично

себя вести – вот путь к успеху, для людей искусства тоже. Как же тебе не пришло в голову, что ты не в состоянии выступить с речью?

– Нашлись такие, кто вынудил меня подняться на эстраду... – проговорил Далмау. «Ваша дочь, например», так и подмывало добавить. – Меня нарочно подставили, дон Мануэль, надо мной посмеялись. Мне напомнили...

– Не надо так думать... – перебил учитель.

– ...кто я такой. Рабочий, сын рабочих, живу в старом центре и не заслуживаю того, чтобы со мной считались, уважали меня.

Снова установилось молчание, но на этот раз ни один из двоих не спешил нарушить его. Далмау решил, что сказал достаточно. Дон Мануэль, со своей стороны, видел, что его аргументы бессильны перед позицией ученика. Что греха таить: он сам наблюдал, как люди показывали на Далмау пальцем и смеялись над ним. Даже Селия бессовестно наслаждалась потешным зрелищем!

– Соблюдай меру в выпивке, – повторил он, словно подавая последний совет. – Поедешь обедать к нам? – предложил под конец чуть ли не виноватым тоном.

Далмау отговорился срочной работой, хотя на самом деле отдал бы все, что угодно, лишь бы никогда больше не видеть гарпию, которую учитель почитал за дочь. Урсуле удалось унижить его. Далмау прошел к себе в мастерскую и, пока надевал будничные костюм, который оставил здесь, переодеваясь для вечера, чтобы мать не увидела его во фраке, вспомнил Ирене, девушку-ангела, с которой танцевал и пил шампанское. Что она могла о нем подумать? Все сжалось у него внутри, когда он увидел вживе, как его выворачивает на даму в черном. Ирене, поди, и знать его не захочет. Все потешались над ним, наверно, и теперь потешаются. Он вздохнул. Постарался выкинуть все из головы. Ему стало гораздо вольготнее в собственной рубашке, брюках, старых башмаках. Он заканчивал застегивать рабочую блузу, которую носил в мастерской, когда явился Пако с обедом: капустный суп с хлебом, свиная колбаса и белая фасоль, поджаренная в сале. По счету, который представил старый сторож, Далмау заплатил деньгами, припрятанными в мастерской. Попробовал капустный суп. Мать его готовила изумительно, добавляла тертый сыр, тот плавился в горячем бульоне; в этом супе сыра не было. Мама... Если бы она только знала, что произошло... Он не пришел ночевать.

Не в первый раз, да и не в последний. Он отговаривался, что, дескать, ночевал в мастерской или у приятеля; она кивала, но в каждой черте ее лица отображалось недоверие. Иногда, когда они встречались дома, мать пыталась заговорить об этих его новых привычках, «порочных», как она однажды их осмелилась определить; привычках, которые до того изнурили его, что он спал с лица и тела, но Далмау никогда не давал ей высказаться до конца. «Мама, я уже взрослый, я знаю, что делаю».

Хосефа готовила ему завтрак, если он бывал дома, и, присев рядом, переводила разговор на такую тему, чтобы он в сердцах не вскочил из-за стола и не выбежал из дому. Кормила его обедом и ужином, если он вовремя приходил. Как же она хорошо готовит, подумал Далмау, проглотив еще ложку супа. Взглянул на фляжку вина, которую Пако принес вместе с обедом: желудок свело, в голове запульсировала боль. Надо ли пить, засомневался он, но, проглотив еще пару ложек супа, налил себе и сделал хороший глоток. Пошло хорошо, очень хорошо, признался он себе после пары стаканов. Образы прошлого вечера хлынули потоком: Урсула, Ирене, учитель, дама в черном, публика, ждущая речи, которая никак не шла с языка; в зале смешки... хохот! Где-то на краю сознания мелькали другие тени: мать, Эмма... Он отодвинул тарелки, взял карандаш и листы, разбросанные по столу. Вгляделся в один из набросков. Хохот, хохот... Порвал листок. То было нечто вроде катарсиса. Через несколько минут Далмау погрузился в работу. Он трудился над рисунками для серии изразцов на цветочные мотивы. По мнению Далмау, трудность заключалась в том, что имелось множество подобных моделей. Нужно что-то другое, сказал он учителю, к примеру, обойтись без листьев аканта, поискать что-то новое, в духе модерна. При слове «модерн» дон Мануэль поморщился. «Вам понравится», – пообещал Далмау.

Он черпал вдохновение во французских альбомах дона Мануэля. Языка он не знал, но подробных, со всеми деталями, рисунков, которыми изобиловали эти книги, было вполне достаточно. Весь день он просидел за рабочим столом, делал эскиз за эскизом, включал цветы или их части в геометрический орнамент, сочетал их, раскрашивал... пока, как всегда, не явился Пако предупредить, что час уже поздний. Далмау оставил наброски цветов и стал глядеть на мольберт, где, занавешенная простыней, стояла картина, над которой он работал.

Подумал, не продолжить ли, но не было настроения. Решил выйти; к счастью, в мастерской у него были припрятаны деньги, на всякий пожарный случай, такой, как сейчас. На пороге остановился: идти домой тоже не было настроения. Тем более разыскивать Амадео, Хосе или кого-то еще из золотой молодежи по кафе или ресторанам, где они сейчас начинают свои ночные похождения. Неизвестно еще, как его примут, после вчерашнего он наверняка стал притчей во языцех. Ничего хорошего ждать не приходится: уж очень злобно они насмеялись.

И он принялся бродить по кварталу Сан-Антони. Пару раз прошел мимо столовой Бертрана: гул голосов был слышен даже на улице. Лицо Эммы всплыло из глубин памяти, где Далмау его схоронил. Он пошатнулся, будто все чувства покинули его, оставив пустую оболочку, и замер посреди улицы. «Придурок!» – выбранил он себя. Счастье было в руках, а он его упустил. Эмма то и дело являлась в воспоминаниях. Порой он ощущал щемящую, гнетущую тоску, от которой трудно дышать; порой – гнев: он так и не узнал, кто похитил рисунки обнаженной натуры, и это незнание его терзало, приводило в бешенство. Во что бы то ни стало нужно сказать Эмме, что он рисунки не продавал. Эмма не поверит, Эмма, несомненно, ненавидит его, но он должен объясниться. Но Эмма пропала, даже *trinxeraires*, у которых глаза и уши по всему городу, не смогли ее отыскать. Лелея образ Эммы в памяти, Далмау решил зайти в другую столовую, более скромную, чем «Ка Бертран». Через пару часов он выходил оттуда, напевая и пошатываясь, в компании рабочего с газоперерабатывающего завода и ассенизатора; они сидели за одним столом, ели блюдо дня, эскуделью с мясом, картошкой и бобами, распили несколько фляжек вина и осушили больше чем надо рюмок анисовки. Все трое затерялись в проулках старого города. Только так можно было добиться, чтобы образ Эммы рассеялся, выпал из памяти.

Злополучный вечер в «Мезон Доре» стал поворотным пунктом в жизни Далмау; теперь в ночных попойках он искал спасения от одиночества. Он подозревал, что все эти буржуи, которые смеялись над ним, его ни во что не ставят, и подозрения оправдались через несколько дней в одном кафешантане квартала Раваль, где Далмау наткнулся на компанию таких вот молодчиков, пристрастившихся к

разврату: похваляясь своим положением, выставляя себя напоказ, они швырялись деньгами в самых гнусных притонах, чем гнуснее, тем лучше, чтобы потом вернуться к удобствам и роскоши особняков и квартир на Эшампле. Одно время и Далмау кутил вместе с ними, а теперь шлялся по кабакам с рабочими или попросту в одиночку.

Она располагалась за доками, эта жалкая таверна, куда с улицы Сиды вел полутемный крытый проход. Внутри стойка, столики, крохотная сцена, где старые, третьеразрядные артисты пытались привлечь внимание публики, но та больше склонялась к запрещенной карточной игре, которая велась в одном из углов заведения; к женщинам, порхавшим от столика к столику в поисках клиента, готового раскошелиться; или к беседе, или к выпивке. Так что музыка представляла собой не более чем адский грохот, который приходится перекрикивать. В Барселоне было полно таких заведений, где секс, азартные игры и алкоголь, если не морфин и опиум, угрожали благополучию семей и нравственному здоровью народа, порождая преступность и пороки; власти о них знали и осуждали, однако ничего не могли поделать.

Где-то перед рассветом туда заявила компания молодых богачей во фраках, то есть с концерта, из театра или с какого-то праздника, чтобы в златном месте завершить ночь. Далмау бросил на молодчиков взгляд, и ему показалось, что они пересмеиваются. Кто-то даже указал на него пальцем.

Он сидел в пестрой компании: трое безработных мастеровых, радикалов, возможно, подумал Далмау, и анархистов; сумасшедшая, наверняка знавшая лучшие времена; представляясь, она каждый раз называла другое имя; и двое неудачников из богемы: бедные как церковные крысы, они тем не менее были способны рассуждать на любую тему, что порождало такие дискуссии с анархистами, что проститутки, случайно подхитившие к их столику, в страхе разбежались. Ряд пустых бутылок из-под крепкого, большей частью заказанных за счет Далмау, красноречиво говорил о том, сколько они уже успели выпить.

Далмау наблюдал за буржуйчиками. Смех, шуточки, бесстыжие, полные презрения к нему, судя по жестам, которые молодчики и не пытались скрыть. Далмау ловил на себе их взгляды, и гнев разгорался

в нем. Один, совсем мальчишка, с пушком на подбородке и на верхней губе, даже поднял стакан, будто чокаясь с ним издалека.

– Идете со мной? – спросил Далмау собутыльников.

– Куда? – спросил один из анархистов.

– Устроить взбучку этой шайке пидоров.

Мастеровые вскочили из-за стола еще раньше, чем Далмау. Женщина пронзительно завизжала и присоединилась к ним. Остальные двое не осмелились покинуть свои места. Вчетвером, не считая женщины, они направились к буржуям, которых было семь или восемь. Не задавая вопросов, не бросая вызов, не изрыгая брань, мастеровые набросились на буржуев совершенно безмолвно. Далмау последовал их примеру.

Молодые франты дали отпор. Они не были так пьяны, как Далмау и его спутники, чей кураж сошел на нет, как только их неловкие, неуклюжие выпады показали всю нелепость и неуместность атаки.

Далмау не дрался никогда в жизни. Пытаясь нанести удар одному из противников, он промахнулся и рухнул всем телом на двоих других, а те не замедлили дать сдачи: два удара в живот и один в лицо уложили его на пол, откуда он уже не смог подняться. Мастеровым повезло не больше. Сумасшедшая визжала, подсакивала, подначивала их, и они нанесли-таки несколько ударов, но схлопотали гораздо больше, особенно когда вмешались хозяин притона и пара громил, надзиравших за игорным столом; первый орудовал палкой, двое других, огромные амбалы, – попросту кулаками.

Драка продолжалась не более двух минут. Мастеровых и женщину вытолкали вшаей, Далмау ухватили за брюки и пиджак, подняли с пола и выбросили в переулок, словно куль с мусором. Ему, грязному, вывалянному в глине, помогли встать анархисты.

– Продолжим в другом кафе? – спросил один из них, когда Далмау сумел кое-как удержаться на ногах.

Сумасшедшая от удовольствия захлопала в ладоши. В ответ Далмау отвернулся и выблевал все, что поглотил за вечер.

К этим разгульным ночам, на исходе которых Далмау засыпал на каком-нибудь постоялом дворе, у себя в мастерской на фабрике, даже на улице, но редко когда дома – он стыдился того, что скажет мать, вернее, того, о чем она промолчит; укора в ее взгляде, может, даже безмолвных слез, – прибавлялись усталость, смятение и беспокойство,

какие он испытывал днем, что не преминул заметить дон Мануэль: не только мешки под глазами, бледный и неухоженный вид любимого ученика, но и низкое качество его работ говорили об этом. Учитель узнал о драке в кафешантане. Урсула была в курсе, поскольку этот эпизод смаковали в кружках молодежи из знатных семей, и не замедлила пересказать его за обедом, с самым простодушным и невинным видом, вроде бы возмущаясь, как она это не без сарказма определила, «наветами, по всей вероятности лживыми и злонамеренными». К тому же дон Мануэль прослышал, что Далмау, худо-бедно справляясь с работой на фабрике, не выполнил в срок заказы, которые получал самостоятельно, независимо от основной его деятельности, связанной с изразцами: афишу для праздника, организуемого попечительским советом в одном из кварталов Барселоны, и экслибрис. Наконец учитель решил поговорить с ним.

– У меня трудные времена, – оправдывался Далмау.

Учитель взял его под руку, крепко прижал к себе, и так они вместе расхаживали по фабрике.

– Рад был бы тебе помочь, – вздохнул дон Мануэль. – Если бы ты продолжил свое религиозное образование с преподобным Жазинтом, Бог указал бы тебе путь, отличный от того, каким ты идешь сейчас.

«Бог!» О Боге с учителем было говорить нелегко.

– Не знаю, дон Мануэль, какие такие пути мне укажет Господь, но знаю: на те, какими я иду сейчас, меня направили ваши друзья и дети ваших друзей своим презрением, унижениями, которым меня подвергали. Они играли, забавлялись со мной. Привлекали меня к себе, чтобы потом раздавить.

– Но... – Дон Мануэль не находил слов.

– Нет, – отрезал Далмау. – Я сам виноват. Я был наивным дурачком. Вот что я читаю на лице моей матери каждый раз, когда мы избегаем называть вещи своими именами.

– Не изводи себя, сынок. Ты – мастер. Гений. Ты все это преодолешь, поверь; но ты должен исправиться, не терзать свое тело, свой дух. Забудь обиды, не сетуй, работай, и если Иисус будет водить твоей рукой, тем лучше. Ты преуспеешь в жизни.

После этой короткой беседы дон Мануэль положил себе поддерживать юношу, которого взрастил и за состояние которого считал себя отчасти в ответе, поскольку продвигал его и ввел в

общество, хотя мальчик, очевидно, не был к этому готов. С тех самых пор он так давил на Далмау, так настойчиво приглашал к себе домой обедать и вообще проводить с семьей Бельо больше времени, что тот в конце концов согласился, хотя прежде и поклялся себе никогда в жизни не видеть Урсулы. Так или иначе, заключил Далмау, что такого может сделать ему девчонка: возможно, она оказалась в еще более щекотливом положении, нежели он.

– Твои родители и преподобный знают, что ты гладила моего петушка? – шепнул он ей на ухо по своем возвращении в квартиру на Пасео-де-Грасия.

– Тебе никто не поверит, – без околичностей заявила Урсула.

Далмау посмотрел в одну и в другую сторону. Поблизости не было никого, кто бы мог подслушать.

– Давай попробуем?

– Ты всего лишь жалкий выпивоха, – процедила она сквозь зубы, не забывая при этом чарующе улыбаться. – Горшечник, возмечтавший взобраться на небо и свалившийся в грязь, где тебе, паршивому псу, и место. Таишь обиду на всех, кто выше тебя. Давай. Пробуй.

– И попробую, – пригрозил Далмау: уж очень хотелось ему пристыдить дерзкую на язык девчонку.

– Удиви меня, – бросила она без малейших признаков страха.

Далмау осекся. Как ни обернется дело, поверят этому или нет, после такого откровения он будет уволен с фабрики дон Мануэля. А если он потеряет работу, жизнь его безвозвратно покатится под откос.

– Далмау хочет вам кое-что рассказать, – выпалила она, когда все, с доньей Селией во главе, направлялись в столовую.

– Да неужели? – спросил преподобный Жазинт, беря Далмау под руку так деликатно и крепко, как умеют только священнослужители.

– Нет... Нет-нет. Это была шутка. Забавная история! Пусть она сама расскажет, если хочет.

Тем временем все уселись за стол.

– Дочка? – спросил дон Мануэль, кладя на колени салфетку.

– Мне неудобно, папа, – отозвалась девушка, скромно потупив взгляд. – Там... там есть немного скользкие места.

– Далмау! – подскочила донья Селия. – Мы не для того приглашаем тебя в дом, чтобы ты развращал нашу дочь!

– Дорогая... – вмешался дон Мануэль.

– Донья Селия... – одновременно вклинился и священник.

Урсула и Далмау не вступали в прямое противоборство, вроде бы не решались, но в тот миг, когда их взгляды встретились, будто сверкнула молния: девушка снова бросила ему вызов, гордая, надменная, величавая... Далмау затаил дыхание. Невероятно! Ослепительно! Он закрыл глаза, стараясь удержать в памяти этот миг. Надо это написать. Перенести свои ощущения на холст. Способность передавать... Он уже давно не прикасался к кисти. Так и не снял полотнище с холста, застрявшего на мольберте. Он вспомнил, как однажды нарисовал глаза одного из пареньков, которые ютились на фабрике, потом порвал рисунок, поскольку решил, что мальчик его обманул. Глаза Урсулы не лгали: ее дерзость самая что ни на есть подлинная.

– Что скажешь, юноша?

Это спросил преподобный Жазинт. Далмау совсем потерял нить разговора.

– Думаю, Урсула придала некоторым словам другой смысл, – попытался он уйти от ответа.

– Так расскажи нам эту историю, – настаивала мать.

– Я бы не хотел, чтобы у вас сложилось превратное впечатление, донья Селия. Уверен, вы с вашим умом все истолкуете верно, – не преминул он подпустить шпильку дочери, – но поймите меня правильно: я не хочу рисковать.

Мужчины закивали, и если хозяйка дома ждала извинений, она их не дождалась.

Заботясь о духовном благе Далмау, дон Мануэль не давал ему ни минуты покоя. Не только приглашал к себе домой, но и обязывал сопровождать его в регулярных визитах к потенциальным клиентам.

– А как же работа? – сетовал Далмау. – Эскизы...

– Сейчас у нас достаточно собственных наработок для изразцов, хватит больше чем на год, если потребуется. Мне бы хотелось, чтобы ты познакомился с другой стороной нашего дела: продажами. Сам я, конечно, не торгую, – пояснил он, отмечая саму возможность опуститься до такого уровня, – но совершенно необходимо поддерживать личные контакты с теми, кто решает, у кого покупать, а

у кого нет. Даже если мы разработаем самые лучшие изразцы, что это нам даст, если мы не сможем выйти с ними на рынок?

Дон Мануэль умолк, ожидая ответа Далмау, и тот согласился, без особого энтузиазма, будто все, что отдаляет его от мастерской, ему не по нраву. Но учителю нужно было сильнее вовлечь Далмау в дело, помимо разработки рисунков и творческих задач. Две его дочери в счет не шли; их предполагаемые мужья тем более, поскольку ожидалось, что они предоставят женам больше, чем те имеют, и ни в коем случае не будут зависеть от фабрики тестя; что же касается малыша, наследника, пройдет еще немало лет, прежде чем он сможет хотя бы приблизиться к делу. При таком раскладе, еще имея в виду, что с доном Мануэлем всегда может что-то случиться, единственно возможной опорой мог стать этот почти усыновленный им отпрыск осужденного на смерть анархиста.

Далмау знал главные постройки модерна; он был знаком с архитекторами и их бригадами, особенно с прорабами, которые часто видели, как юноша встает на колени и сам выкладывает собственные изразцы и керамику; большинство занятых на стройках почитали его за эксперта в своей отрасли. С другой стороны, известность, которой он достиг, создав рисунки *trinxeraires* и другие превосходные вещи как в керамике, так и в графике; слава, открывшая перед ним все двери, – все развеялось прахом после того, как он выставил себя на посмешище во время чествования дам в черном и затеял драку в кафешантане. Он не сделал ничего, чтобы защитить свой престиж, восстановить свое имя как художника; тем более ему претило якшаться с теми, кто, по выражению учителя, решал, у кого покупать, а у кого нет; пустив свою жизнь под откос, плывя по течению, он жил ночами и перемогался в дневные часы. Возможно, заметив это безволие, эту апатию, дон Мануэль хотел подстрекнуть его, вовлечь в тот мир, с которым сам он, если бы не чисто экономические интересы, не стал бы особенно сближаться.

Так они снова посетили Парк Гуэль, где затеял строительство Гауди. То был огромный участок в пятнадцать гектаров; промышленник Эусеби Гуэль, меценат Гауди, задумал застроить его, разделив на отдельные участки – их предполагалось шестьдесят, – и распродать вместе с готовыми особняками таким, как он, богачам. Парк располагался далеко от центра города, за кварталом Грасия; дон

Мануэль и Далмау, приехав в экипаже, в нем же продвигались по дорожкам; учитель молчал и хмурился при виде щедрой фантазии, какую Гауди вкладывал даже в планировку парка.

Многое изменилось с тех пор, как Далмау в последний раз побывал здесь вместе с учителем. Все идеи Гауди, казавшиеся мечтой вдохновенного безумца, воплощались в реальность. Далмау попросил кучера остановиться и вышел из экипажа, чтобы подойти поближе к жардиньеркам, установленным поверх колонн, неправильных, как будто качающихся, словно их приладил ребенок; высотой более двух метров, они выстроились по обе стороны моста. Далмау замер перед наклонными колоннами: каждая поддерживала свод, а все своды в совокупности составляли портик, по которому можно было передвигаться. Все колонны были разные, одни витые, другие цилиндрические, из разных секций, некоторые с перетяжками, все из простого, дикого камня. Далмау почувствовал себя совсем крохотным перед таким порывом, зовом природы; всякий, кто стал бы бродить между этих колонн, не остался бы к нему равнодушен; новая, невообразимо изменчивая перспектива открывалась с каждой точки обзора.

К тому времени, как Далмау вернулся к экипажу, все его чувства обострились. Он поднялся, снова сел рядом с учителем, и тот приказал кучеру ехать к главному входу, где наверняка можно встретить Гауди. Если дорожки и мостики привели Далмау в восторг, то здания, выстроенные по обе стороны от въезда, преисполнили его благоговения: домик привратника и сторожка, сложных волнообразных очертаний, многоцветные, без единой прямой линии в общем плане, с необычной асимметрией в деталях.

Дона Антони Гауди можно найти в гипостильном зале, объявили им в привратницкой.

Сразу за входом начиналась монументальная лестница из двух пролетов, разделенных каскадом; она вела к многоколонному залу, который в свою очередь служил опорой площадке, где Гауди задумал разместить театр под открытым небом, воздушный, прозрачный; там будущие обитатели парка могли бы устраивать любые представления. Гипостильный зал состоял из восьмидесяти шести дорических колонн с каннелюрами, над ними – купольное покрытие неправильной, волнообразной формы, его предполагалось облицевать мозаикой

тренкадис, которую столь часто использовал гениальный архитектор. Между колоннами можно было расположить торговые ряды, чтобы обитатели зоны новой застройки могли покупать все необходимое, не спускаясь вниз, в Барселону.

Там они нашли керамиста и архитектора в окружении помощников, с которыми, поприветствовав Гауди, тотчас же смешался Далмау. Поставщик изразцов и архитектор заговорили о Парке Гуэль и о творении, которое станет кульминацией этой новой застройки: о церкви, капелле – она будет воздвигнута на самом высоком месте парка, чтобы приходить оттуда за его обитателями. Дон Мануэль был благочестив, Гауди, архитектор Бога, – не меньше; он ежедневно слушал мессу, исповедовался и причащался.

– Даже представить себе не могу, повидав здания у входа и храм Саграда Фамилия, какой будет эта церковь, – признался дон Мануэль, когда архитектор указал ему точное место, прямо над ними, где будет выситься храм.

Далмау не расслышал ответа Гауди, который взял дону Мануэля под руку и что-то шепнул ему на ухо, но увидел, что оба улыбнулись, после чего учитель приступил к цели своего визита.

– Надеюсь, ты будешь иметь меня в виду в плане изразцов и керамики, – забросил он удочку. – Ничто не доставит мне такого удовольствия, как участие в строительстве Дома Божьего.

Гауди кивнул, но, как сказал дон Мануэль уже в экипаже на обратном пути в Барселону, единственный итог этого дня заключался в том, что он обещал бесплатно поставить зодчему выбракованные и битые изразцы, чтобы тот их использовал в *тренкадис* – мозаике, которую применял во всех своих творениях.

В тот же день, к вечеру, еще под впечатлением от гения Гауди, терзающего все чувства, Далмау сдернул простыню с мольберта, взглянул на незаконченную картину, на другие, скопившиеся в мастерской, и натянул на подрамник чистый холст, этим действием будто оповещая весь свет, что собирается приступить к новой работе. Отошел, сел за стол, взял бумагу и начал зарисовывать глаза, чей надменный взор все еще пронзал ему память; на этом вот белом холсте он желал воплотить их, придать им жизнь.

Ничего не вышло. Он делал наброски и рвал их; некоторые состояли из нескольких линий, и неосведомленный зритель вряд ли бы угадал, что художник хотел изобразить. Чем больше он бился, каждый раз терпя неудачу, тем четче оживали в памяти наклонные колонны, поддерживающие дорожку; волнообразные линии зданий у входа в парк; окна неправильной формы; величественный гипостильный зал, увенчанный разнообразными куполами... Если там, среди тех творений, он ощутил смятение, то теперь им завладело чувство, сковывающее руку, которая держит карандаш; замедляющее движения, отчего линии получались неточными, банальными. «Страх? – громко спросил себя Далмау. – Не может быть, чего мне бояться? Это смешно!» Он порвал последний набросок. «Просто я под впечатлением. Что есть, то есть. Да. У меня голова кругом. Это естественно. Трудно избавиться от впечатления, которое производит гений».

Он вышел из мастерской. Бросил несколько сантимов мальчишкам, которые жались к печам в эту холодную предновогоднюю пору, попрощался с Пако, запахнул пальто, натянул шапку до ушей и направился к Равалю, безжалостному и манящему, чтобы вновь затеряться в барселонской ночи. Образы теснились у него в голове, беспрестанно сменяя друг друга: дамы в черном, Гауди, мать, снова дамы в черном, учитель, воздушная, нежная Ирене, бездушная Урсула. А над ними над всеми – Эмма. Все время Эмма... «Где же ты? Что с тобой случилось?» Пара рюмок... может быть три, и все видения оставят его, словно убегая от хмеля.

Анна, кухарка дона Мануэля, в тот день порадовала их всех тушеной телятиной: телячья нога режется на куски и обжаривается с салом. В мясном соке томится нашинкованный лук. К этому добавляется белое вино, резаный чеснок, петрушка, соль и перец. В те времена, когда Далмау ел на кухне, он дивился тому, как готовится это блюдо. Сложив все в латку, поставив на слабый огонь, Анна закрывала ее оберточной бумагой, тестом прикрепляя к краям, а сверху ставила миску с водой. Далмау как-то спросил, зачем нужна эта миска, и Анна стала что-то объяснять насчет пара, который поднимается от воды и осаждается на бумаге. Далмау попытался, зачем это нужно, и кухарка пожала плечами. «Так всегда делают», – отвечала она.

С миской или без нее, тушеное мясо вышло на славу. Далмау ел, поддерживал разговор с доном Мануэлем и терпел молчание или приглушенный шепот доньи Селии, иногда более выразительные, чем речи ее супруга, настолько яркой и очевидной была ненависть этой женщины. В беглом, полном отвращения взгляде, каким она, нимало не таясь, окидывала его одежду, недвусмысленно отражалось все, что она думает о нем, о его происхождении, о его семье. Язвительные комментарии, на какие она не скупилась при малейшей возможности, ставили под сомнение его культурный кругозор, к несчастью и в самом деле не такой уж широкий во всем, что не касалось керамики, рисунка и связанных с ними видов искусства.

– Вы владеете каким-нибудь инструментом, Далмау? – спросила она однажды, когда застольная беседа коснулась новой программы театра «Лисео». – Музыкальным, я имею в виду, – добавила она, чтобы уж сразить наповал.

Далмау на несколько секунд призадумался; донья Селия ждала; учитель, возможно устыдившись, прикрыл глаза; Урсула ликовала, с интересом следя, как он выкрутится.

– А! Хорошо, что вы уточнили насчет «музыкального», донья Селия, потому что я владею швейной машинкой моей матери, с ножным приводом, и когда жму на педаль, она монотонно жужжит, так же тоскливо, как скрипки пиликают на концертах, которые посещают знатоки, – ответил Далмау. Хозяйка дома выпрямилась с оскорбленным видом. Но Далмау продолжал, уже отвечая прямо на вопрос. – А музыкальными – нет, не владею. У нас дома мы никогда не видывали другого инструмента или механизма, кроме той швейной машинки. Мы, знаете ли, были бедные. Даже флейты и то не припомню. Хотя иногда мы свистели.

Стоило атмосфере немного разрядиться, как Далмау улучал момент, когда дон Мануэль или донья Селия обращались к Урсуле, и поверх серебряных приборов и тонкого хрусталя глядел на нее, делая вид, будто увлечен беседой: на самом деле ему было нужно, чтобы она снова испепелила его взглядом, хотя бы с намерением пристыдить. Он хранил в памяти первоначальное ощущение, то самое, которое подвигло его на попытку перенести этакую надменность на холст, но ни один из набросков его по-прежнему не удовлетворял. Он понимал, что рисункам, которые он отбрасывал, не хватало нежных полутонов,

на чьем фоне выступят линии; не хватало перспективы, необходимой в картине; женского лица, рамы, в которую будут вставлены эти глаза, но проблема заключалась в том, что даже в простом наброске он не мог достичь цели, выразить центральный мотив.

Дон Мануэль, посещая стройки, продолжал брать его с собой. После Парка Гуэль Гауди они побывали в доме Льео-и-Мореры, который Доменек перестраивал в том же квартале Пасео-де-Грасия, где Пуч перестроил дом Амалье. Оба дома были построены в ходе реализации плана Серда, после разрушения крепостных стен, до того, как новое искусство, модерн, явилось в графскую столицу. Постройки функциональные, солидные, правильные с архитектурной точки зрения, но ничем не выделяющиеся, разве что своим неподражаемым местоположением. Против такого однообразия, против скучной регулярной застройки, осуществляемой по проекту Серда, инженера путей сообщения, к тому же присланного из Мадрида, и выступили архитекторы Барселоны вместе с земельными собственниками и инвесторами Каталонии.

Даже городская управа изменила правила застройки: после Всемирной выставки 1888 года, согласно новому регистру, допускались декоративные элементы на фасадах, венчающие части, балконы... Строгость XIX столетия уступила место роскошным орнаментам, единообразие – неповторимым чертам, и с развитием промышленности, которое привело к обогащению буржуазии и обнищанию трудящихся, многие богачи захотели придать новый облик монотонным зданиям, простоявшим всего каких-нибудь пятьдесят лет, приспособить их к новым временам, особенно к художественному течению, допускавшему полет фантазии.

Это и происходило с домом Льео-и-Мореры, который Доменек превращал в один из лучших в городе образцов архитектуры и декоративного искусства, причем последнее мыслилось не как нечто независимое, некое дополнение, но как неотъемлемая часть всего ансамбля. Далмау самозабвенно слушал, как Доменек вещает о слиянии света, цвета и форм в интерьерах. Для этой цели он привлек лучших тогдашних мастеров: Арнау, Жуйоля, Серра, Ригалта, Эскофета, Бру, Хомара. Они были первыми в своих отраслях: мозаике, керамике, скульптуре, маркетри... и всеми ими руководил, все держал под контролем великий архитектор. Доменек придерживался

эkleктизма в рамках стиля модерн, ратовал за обилие декоративных элементов на фасадах и в интерьерах, но, в отличие от Гауди, который изгибал камни, сохранял в своих творениях порядок, подкупающее эстетическое равновесие.

Это было не то что пройтись по Пасео-де-Грасия, разглядывая здания, как столько раз делал Далмау на протяжении всей своей жизни. Посещая стройки, юноша углублялся в причины, мотивы того или иного решения; постигал страсть, какую все эти архитекторы и мастера декоративных искусств вкладывали в свои проекты. Доменек был эрудитом. Человек глубокой культуры, он мог пропустить званый обед ради того, чтобы в одиночестве почитать книгу. Политик, писатель, очеркист, историк, преподаватель, архитектор, видный общественный деятель Каталонии; все заслуги и достоинства соединялись в одном человеке, а он, этот человек, с энтузиазмом вырисовывал деталь мебели, или флюгер, или водосток, или камин.

Гауди и Доменек. Два гения. Оба чарующие, бестрепетно смелые, дерзкие в своих творениях. Один вспыльчивый, другой уравновешенный. Один надменный, другой безмятежный. Далмау сравнивал себя с обоими и не находил в себе достоинств, подобных тем, какими каждый из них обладал. Ему не доставало культуры, не хватало смелости. На самом деле он был всего лишь сыном пары анархистов из рабочей среды, ему посчастливилось выделиться в рисовании и обратить на себя внимание учителя, который взял его под свое крыло. Он, дитя анархизма и нищеты, возгордился, добившись кое-какого успеха, стал заноситься не по чину; богатые этого не потерпели и публично унизили его. Далмау сделал набросок глаза на лежавшем перед ним листке и взглянул на него беспристрастно: какая пошлость. Гениям удается показать свое искусство в самых непритязательных вещах, хоть бы и в дверном молотке. Он снова попробовал изобразить глаз Урсулы. Потом еще раз. И еще. Одни листки порвал, другие скомкал.

Решил заняться другими предметами, цветами например, которые он всегда изображал мастерски. Но сейчас и цветы ему не понравились. Потом и тела, которые он попытался набросать. У него будто похитили магию.

– К чему эти взгляды, горшечник? – спросила Урсула однажды после обеда, улучив минуту, когда они остались одни.

На столе под хрустальной люстрой, застеленном зеленоватой скатертью, искусно расшитой цветочным узором, придуманным самим учителем, сверкали приборы и бокалы, но Урсула, словно играя с ним, во время всего обеда прятала глаза.

Далмау, как мог, скрыл потрясение и оглядел ее с ног до головы: старшая дочь дона Мануэля Бельо, похоже, избавилась от консервативного влияния родителей. На ней было длинное, в пол, светло-лиловое платье с вышивкой и кружевными вставками черного цвета, такое тонкое, изящное, что каждое ее движение словно запечатлевалось, будто она, следуя веяниям модерна, французского ар-нуво, диктовавшего моду для женщин, стремилась казаться эфирным созданием. Корсаж, стягивавший живот и поднимавший бюст, возвышался над осиной талией.

– Все смотришь и смотришь, – разрушила чары Урсула.

Дерзкая улыбочка нарисовалась на ее губах, это задело Далмау, но ведь такой Урсулы он и искал. Хотел видеть ее гордой, дерзкой. Должен был лицезреть в ней повелительницу.

Донельзя бережно Далмау прикоснулся к талии, скользнул пальцем вниз.

Урсула затрепетала, хотя попыталась это скрыть. Задрала подбородок, смерила Далмау надменным взглядом. Мурашки побежали у него по спине. Как весь облик столь юной девушки может выражать такую суровость? Урсула схватила палец Далмау, который, очертив контур ее живота, остановился на бедре, и переместила его на венерин бугорок. Они стояли у входа в музыкальный салон, их любой мог увидеть. Урсула втощила его внутрь, и они спрятались за открытой дверью. Там она сунула руку в штаны Далмау. Он пытался заглянуть ей в глаза: по-прежнему холодные, непроницаемые.

Далмау постарался доставить ей наслаждение, хотя бы через лиловое платье с узким кружевом. Хотел посмотреть, изменится ли ее лицо, проявится ли на нем неистовство желания, но Урсула по-прежнему стояла недвижно, как статуя.

– Хватит, не то игрушку сломаешь, – предупредил он: Урсула довольно долго мяла в руке его возбужденный пенис, а он напрягал слух и через полуоткрытую дверь вглядывался в коридор.

Урсула в очередной раз пронзила его взглядом.

– Ты мой пупсик, – заявила она решительно. – А я никогда не ломала своих игрушек.

Ему удалось изобразить глаза девушки, но не в мастерской, не за рабочим столом, не на листе для рисования и не на холсте, поставленном на мольберт. Он это сделал через пару ночей, напившись в одном из притонов, ютящихся в самых темных и грязных закоулках города, куда нужно идти по мусорным кучам, обходя неподвижные тела пьяниц. Компания, с которой он пил, ему надоела, да он уже и не помнил, кто они такие. Отвратительная старуха с гнилостным запахом изо рта подошла, явно напрашиваясь на выпивку. Что-то бормотала, брызгала слюной, цеплялась липкими руками. Далмау заказал ей рюмку водки и засахаренные финики, но не позволил сесть рядом. Потаскуху это ничуть не задело, она взяла рюмку и потащилась, шатаясь, к соседнему столику. Музыканты надсаживались вовсю, и Далмау стало плохо. Духота, дым и вонь донимали его. Он начал задыхаться, поднес руку к груди, будто пытаясь остановить бешено бьющееся сердце. Нашупал альбомчик, который всегда носил во внутреннем кармане пиджака, и вынул его.

Нелегко было сфокусировать взгляд. Он взял карандаш и в тусклом свете питейного заведения стал рисовать, и в рисунке узнал Урсулу, ее заносчивость, ее надменность. «Горшечник!» – кричал этот глаз, едва обретающий очертания. Кто-то, любопытствуя, заглянул ему через плечо. Далмау отпихнул его неловким движением. стакан свалился на пол. Жидкость выплеснулась прямо на Далмау, под ногами разлетелись осколки. Любопытствующий заворчал, но Далмау не в состоянии был с ним разбираться. «Официант! – крикнул он, поднимая карандаш, как дирижерскую палочку, – Еще рюмку!» Он обвел зрачок. Так легко идет линия! Струится! Каждая точка внутри радужной оболочки выкрикивала оскорбления. Там заключалась вся Урсула, в простом пятнышке, не более точки. Он встал, отодвинул стул, намереваясь допить спиртное перед уходом, схватил рюмку, поднес к губам. Но в последний момент передумал, решительно, с силой поставил обратно на стол, так что содержимое выплеснулось и пролилось. Далмау вполголоса извинился, хотя рядом никого не было. Спрятал альбомчик и вышел в холодную ночь. Свернув в переулок, столкнулся с каким-то нищим.

– Болван! – закричал тот.

Далмау опять извинился. И вдруг почувствовал настоятельную потребность вернуться домой.

Утром, умывшись, он уселся за кухонный стол и положил перед собой рисунок. Мать, подавая завтрак, увидела альбомчик, смятый, весь в пятнах, и нахмурилась. Далмау, погруженный в рисунок, не заметил этого. То, чего не удавалось достичь за несколько дней, получилось в единый миг, в бессознательном состоянии, под воздействием винных паров. Карандаш летал сам собой, и вот итог: ловкая, легкая техника и глубокое содержание.

– Вам нравится, мама? – спросил он, показывая ей рисунок.

– Какая она из себя? – поинтересовалась Хосефа, взяв альбомчик в руки и разглядывая рисунок.

– Вы не догадываетесь?

– По одному нарисованному глазу? – рассмеялась она. – Я всего лишь швея, сынок.

Далмау взглянул на нее. Нет, она сейчас неправду сказала. Она гораздо больше, чем швея, она его мать, хотя в последнее время сын не балует ее лаской, как она того заслуживает. Не успел он додумать эту мысль, как Хосефа уже уселась за швейную машинку. Далмау вздохнул, когда по квартире распространился монотонный рокот. Оставил рисунок на столе. Не мог продолжать: Урсула покинула его. А вот прошлой ночью... «Прошлой ночью ты был пьян в стельку!» – напомнил он себе.

– Мама, – вырвалось у него. Она в соседней комнате, в спальне, куда из окна проникало немного света, и можно было шить, прервалась на минутку, словно приглашая его к разговору. Далмау этим воспользовался. – Спасибо, что приготовили завтрак.

– Тебе спасибо, Далмау, что вспомнил обо мне и пришел домой.

– Не надо так говорить, мама!

– Далмау, остерегись. Знаю, ты не должен отчитываться передо мной, ты взрослый мужчина, но не дай себя увлечь пороку; ты молод, тебя ждет успех, у тебя вся жизнь впереди, так не растрачивай ее, как те несчастные, которые уже не находят в себе силы сделать следующий шаг.

Тишина воцарилась в обеих комнатах и заполонила весь дом; даже машинка молчала. Далмау хотел что-то сказать, но Хосефа опередила

его и вновь принялась за работу. Далмау встал, прошел в спальню матери. Она не строчила. Качала ногой чугунную педаль и плакала, комкая в руках недошитые вещи.

Далмау прикоснулся к ее волосам. Хосефа продолжала сидеть. Тогда он склонился, прижал ее голову к своей груди, как давно уже не делал.

– Не плачьте, умоляю, не надо плакать.

– Далмау, – всхлипывала она, – мы с твоим отцом долго боролись вместе. Я потеряла его, потеряла и твою сестру. – Хосефа подняла голову, немного пришла в себя. – Жизнь не была ко мне милосердна. Томас в любую минуту может закончить тем же. Только ты у меня и остался. Умоляю, не подведи нас. Какой тогда смысл в моем существовании, в жизни и смерти твоего отца, твоей сестры, в нашей борьбе? Мы сделали все, чтобы ты выучился, приобрел знания, которые должны были тебе гарантировать свободу, то, чего мы так и не вкусили, заявляя о своих правах через бомбы и революции. Употреби свою свободу во благо, Далмау; это единственное, что завещал тебе отец.

Далмау обнял ее, чуть дыша, с тяжестью в сердце. Это его вина. Уже давно он нимало не заботился о матери, разве что оставлял на кухонном столе горстку монет. В тех редких случаях, когда он ночевал дома, являлся в неурочные часы, в самом плачевном состоянии. Мать наверняка могла почуять запах, заметить грязь, да и одежда, которую она стирала раз в две недели в одной из общественных прачечных недалеко от порта, о многом могла поведать; а чего стоил шум, который он, пьяный, поднимал по пути в свою спальню, натываясь на их скудную мебель. Может, ей и рассказывали что-то. Люди любят сплетничать. Что мама знает о его пороках? «У тебя вся жизнь впереди, тебя ждет успех», – сказала она. Но и предупредила: «Остерегись».

В тот день он не пошел на работу. Отправил дону Мануэлю записку с мальчиком, которому дал несколько сентимо, не прося ничего передать на словах, никаких объяснений, и уговорил мать выйти из дому. Близилось Рождество. В семье Томаса Сала его никогда не праздновали, но одно дело быть анархистом и антиклерикалом, и совсем другое – оставаться в стороне от праздника, которым жила вся Барселона.

Далмау и его мать, гордо выступающая под руку с сыном, прошли по улицам старого города, где развернулись базары и бойко шла торговля с лотков. В магазинах тоже постарались украсить витрины, чтобы привлечь покупателей, которые переходили с места на место под крики продавцов, расхваливающих свой товар; на Ла-Рамбла продавали нугу и сезонные фрукты; на улице Кортес – скобяные изделия. Хосефа стала перебирать наперстки и ножницы. «Хотите, я вам что-нибудь подарю?» – предложил Далмау. Она, улыбаясь, покачала головой. На широкой площади Конституции, которая простирается между двумя великолепными зданиями, муниципалитета и судебной палаты, где много веков назад располагался Женералитат Каталонии, продавали фигурки для вертепов и рождественские украшения. Мать и сын влились в поток, струящийся от столика к столику, и не могли налюбоваться. Фигурки Девы Марии, младенца Иисуса, святых, ангелов, пастухов... тысячи статуэток из обожженной глины предлагались барселонцам на этом базаре. Далмау не мог не выделить некоторые работы, в самом деле прекрасные, первосортные, даже поинтересовался, кто их автор, а мать слушала с таким вниманием, будто ей читали лекцию.

Настал полдень, и Далмау повел мать пообедать. Поели они на улице Ланкастер, уже в Равале, между улицами Арк-дель-Театре и Конде-дель-Асальто, в таверне «Талль де Бакалья» – «Кусок трески», скромном заведении, где подавали только эту рыбу и где за несколько сентимо можно было получить кусок трески, жареной или в соусе, по вкусу посетителя, плюс хлеб и вино.

Потом они пошли людными улицами в сторону бульвара Индустрии, где продавали живых индюшек, потом оказались на Рамбла-де-Каталуния, где торговали другой домашней птицей и дичью. Опускались декабрьские сумерки, становилось темно и холодно. На Рамбла-де-Каталуния еще не провели освещение, и многие торговцы зажигали у своих лотков керосиновые лампы и свечи.

– Может, купим цыпленка? – предложил Далмау матери, разглядывая скорее мощные здания, выстроившиеся вдоль улицы, чем развернувшийся на тротуаре рынок.

Этот невинный вопрос оглушил Хосефу, пригвоздил ее к месту. А если Эмма торгует там? Вполне можно предположить, что ее патрон не пропустит такую ярмарку разной птицы.

– Пойдем отсюда, – решительно заявила она.

Далмау изумленно воззрился на мать:

– В чем дело?

– Я устала, сынок. Пойдем отсюда, пожалуйста.

Хосефа не смотрела на сына. Вглядывалась в темноту, в толпу, которая их окружала. Далмау проследил за ее взглядом.

– Вы пока можете присесть, а я схожу, – предложил он, не сводя глаз с лотков.

– Слишком холодно, Далмау, – перебила она. – Я не хочу садиться. Я хочу вернуться домой.

– Хорошо, как скажете, – уступил Далмау.

Хосефа вздохнула с облегчением. Она не могла ничего сказать, она обещала Эмме: та забеременела от каменщика. Эмма перебралась к мужчине, с которым поддерживала отношения. Она уже давно рассказала об Антонио, может, без того пыла, какой обычно вкладывала в свои признания, но и не без намека на нежность и с надеждой на будущее, что не укрылось от Хосефы. Потом сообщила о беременности. До того как Эмма познакомилась с каменщиком, даже когда только начинала выходить с ним, Хосефа в глубине души питала надежду, что Эмма вернется и сумеет наладить жизнь ее сына. Думала об этом много раз, когда напрасно ждала его по ночам или слышала, как он приходит пьяный. Это желание крепло, когда по утрам она замечала лиловые круги под глазами сына, слышала его хриплый, прерывающийся голос, следила за мучительно замедленными движениями. Нужно, чтобы рядом с Далмау была хорошая женщина. Но мечта развеялась прахом меньше месяца назад, когда Эмма навестила ее с уже заметным животиком. Она просила ничего не говорить Далмау, а ведь Хосефа и ее любила, как дочь, почти что удочерила после смерти ее отца.

– Мама! – Далмау схватил ее за руку. – Это не?..

Хосефа напрягла зрение. Они стояли на другой стороне бульвара, но да, это была Эмма. Они уже проходили по той стороне, но, видимо, в толчее ее не заметили. «Вот невезение!» – подумала Хосефа. Оставалось три или четыре лотка до конца улицы, и пожалуйста, вот она, Эмма, явно в положении, держит цыпленка за лапы, торгуется с какой-то парой. Рядом, на ящике, сидит старик.

– Эмма! – вскрикнул Далмау.

Та обернулась, услышав свое имя, и сначала увидела Хосефу, которая бессильно развела руками: мол, все вышло случайно, она этого не хотела. Потом взгляд ее упал на Далмау, и тот снова окликнул ее:

– Эмма!

Но тут какая-то компания подошла и скрыла Эмму с глаз Далмау. Тот стал пробиваться к лотку с цыплятами. Толкнул какого-то старика, тот возмутился. «Осторожнее!» – буркнул он. Далмау будто не слышал. Двое молодых вступились за старика, обернулись к Далмау, видя, что тот продолжает напирать. Хотя прохожие и загородили ему путь, он даже не глядел на них, глаз не спуская с того места, где заметил Эмму, которую теперь скрывала еще более плотная толпа: люди шли в том и в другом направлении, останавливались перед лотками, делали покупки на Рождество. Потеряв ее из виду, Далмау впал в отчаяние. «Извинитесь», – потребовал один из мужчин, задержавших его. «Прошу прощения», – покорно проговорил Далмау, пытаясь проскользнуть между ними. Его пропустили. Он побежал, расталкивая толпу, и наконец добрался до лотка с цыплятами. Там сидел старик на своем ящике, больше никого.

– А где же девушка?! – закричал Далмау.

Старик поднял голову.

– Кристина? – переспросил Матиас.

– Не Кристина, нет. Эмма! Девушку зовут Эмма.

Старик осклабился, показав пять черных, кривых зубов, какие оставались у него во рту.

– Жаль вас огорчать, – сказал он, – но ее зовут Кристина. Будьте уверены. Я давно ее знаю, можно сказать с рождения. Она моя племянница.

– Ваша племянница? Это точно?

– Разумеется.

– И где она сейчас?

– Вы с ней знакомы?

– С Эммой – да. А... как вы сказали, с Кристиной? Нет, незнаком.

– Так почему я должен вам докладывать, где она?

– Я готов поклясться, что тут была Эмма, – обратился Далмау к матери: та тоже подошла к лотку, где торговец, не вставая с ящика, что-то отвечал женщине, которая приценивалась к птице.

– Я тоже, сынок, я тоже, – покривила душой Хосефа.

В тот вечер он опять не остался ужинать дома. Чуть не поссорился с матерью из-за Эммы. До сих пор был уверен, что видел именно ее, и совсем забыл, какую суровую отповедь выслушал в свое время от Хосефы. Почему он должен выбросить Эмму из головы? Ведь, вспомнил он, таков был ее совет.

– Почему? – допытывался Далмау. – Скажите мне, мама.

Хосефа хранила молчание. В какой-то момент у лотка с цыплятами сердце ее дрогнуло при мысли, что Далмау и Эмма снова соединятся. Но поняла, что этим надеждам не суждено сбыться. Эмма беременна, более того, она сбежала. Достаточно ясно дала понять, что даже видеть не хочет ее сына. Так Эмма решила, и решение это следовало уважать.

– Ты ей достаточно попортил жизнь, – изрекла наконец Хосефа.

– Мама!

«Но это так!» – упрекал себя Далмау, сидя в какой-то столовой за круглым столом и поглощая на ужин все ту же *escudella i carn d'olla*^[17]. По мере того как проходило время, соседи менялись, но он ни с кем не заговаривал. Люди садились справа или слева, о чем-то спрашивали, но он не отвечал. Некоторые были настырны. Все напрасно. Он ушел в себя, воображая, как гиены, о которых говорила мать, рассказывают ей о его ночах в кафешантане, или в борделе, или под утро попросту в канаве. И он пил, потому что вино и крепкие напитки помогали похоронить заботы, но мысли все время возвращались к Эмме. Он не хотел ей портить жизнь, как он мог причинить ей вред, если всегда так любил? Вдруг до него дошло, что скоро два года, как умерла Монсеррат. Два года! За этой внезапной вспышкой сознания последовало горькое откровение: он подвел трех женщин своей жизни, мать, сестру и невесту. Одной только *trinxeraire* Маравильяс, кажется, не в чем было его упрекнуть: она появлялась как-то вдруг, в самом неожиданном месте, то утром, под ярким солнцем, заливающим своими лучами Пасео-де-Грасия, как будто богачи для себя откупили, присвоили все права на солнечный свет; то в предрассветный час в самом темном и смрадном закоулке старого города. На испитом, исхудалом и грязном лице Маравильяс появлялся робкий намек на улыбку, и Далмау в награду подавал ей несколько монет. Смутное, почти болезненное воспоминание: *trinxeraire* и ее брат

куда-то ведут его ночью, но куда, он уже не помнил. Вот все, что у него оставалось: нищенка, которая улыбалась ему и помогала куда-то пройти, когда он напивался. Далмау вздохнул. Взглянул на мужчину, сидящего справа, и заключил, по его одежде, по пятнам на блузе, что он работает на заводе, имеет дело со станками и машинным маслом. Он шумно прихлебывал суп. Рабочий представился, когда сел, это Далмау помнил, но имя как-то пропустил мимо ушей.

– Меня зовут Далмау, – вдруг объявил он, как будто прошло всего несколько минут.

Рабочий не донес ложку до рта, с нее капало в миску.

– Далмау, – повторил он задумчиво. – Поздновато вступаешь в разговор, парень.

И продолжил хлебать свой суп.

Ночью, вдали от столовой, среди дыма, музыки, криков и смрада какого-то притона, которого Далмау не узнавал, хотя бывал там неоднократно, когда сознание вины и совесть тонули в спиртном, он вынул свой альбомчик и зарисовал рабочего, сидевшего справа и хлебавшего суп: было видно, как ложка дрожит в нарисованной руке.

На следующий день он вернулся на Рамбла-де-Каталунья, на ярмарку птицы: беззубый старик сидел на своем ящике, а рядом стояла толстая, некрасивая девица, которую никак нельзя было перепутать с Эммой.

Глаз и ложка. Рабочий. Здание. Шлюха. Непризнанный писатель. Портрет друга. Еще одно здание. Цветок... увядший. Портрет еще одного друга. Да правда ли они друзья ему? Этими рисунками и многими другими Далмау заполнял листы альбомчика между рюмками, и тостами, и уплывающими воспоминаниями. Далмау пил все больше, и настал день, когда он принес бутылку водки в мастерскую. «Так мне лучше работается», – оправдывался перед самим собой. И верно: воображение парило, творческой силы прибывало; после пары стаканов водки исчезали робость и опасения, его уже не сковывали ни личный пример, ни шедевры таких гениев, как Гауди, Доменек, Касас или Нонелл.

А когда в середине дня дон Мануэль приглашал его к себе домой обедать, алкогольные пары выветривались и Далмау мог вести себя пристойно, пока не добавлял за столом пару бокалов вина. Тогда, осовев, ссылаясь на усталость. «Мне никак не удастся заснуть». «Моя

мать болеет, я за ней ухаживаю», – выдумывал он. Стал присоединяться к послеобеденному сну, которому предавались дон Мануэль и преподобный Жазинт, в те дни, когда приходил туда обедать; дон Мануэль спал в своей спальне, а монах – в кресле, в небольшом зале, примыкавшем к столовой; там, когда опускали жалюзи, царила полумгла. Преподобный не досаждал Далмау: едва скрестив руки на животе и закрыв глаза, монах погружался в глубокий сон. Вот Урсула та досаждала: когда весь дом впадал в дремоту, донья Селия, сидя в эркере, нависавшем над Пасео-де-Грасия, клевала носом над рукоделием, которое выскользывало у нее из рук, все прочие спали и прислуга отдыхала, девушка поднимала Далмау на ноги и тащила в укромное местечко.

– Пупсик мой, – шептала Урсула, зажав его в каком-нибудь углу.

Эмма затерялась в толпе, едва завидев Далмау и его мать. «Держи цыпленка! – крикнула она Матиасу, бросая ему птицу. – Ты меня не знаешь, запомни: меня просто нет на свете!» Пара торопливых шагов, и она исчезла в толчее; потом, вся сжавшись, поверх голов и спин наблюдала, как Далмау подбежал к лотку торговца птицей. Видела, как один отнекивается, другой настаивает. Хосефа так и стояла на противоположной стороне Рамбла-де-Каталунья, глядя то на сына, то на прохожих. Конечно же, высматривала ее. Эмма отошла подальше, погладила свой выпирающий живот – это ее успокаивало. Почему она бросилась бежать? Как-то спонтанно, не раздумывая. Потом обернулась. Далмау не следовал за ней. Эмма остановилась у дверей какого-то здания и глубоко вздохнула: удивительно, как быстро бьется сердце. Ведь она уверена, что может вернуться к лотку с курами и лицом к лицу столкнуться с прошлым, которое, как ей казалось, она окончательно оставила позади. Эмма всегда осознавала, что рано ли поздно их с Далмау пути пересекутся, но, когда такая возможность ей приходила на ум, она отказывалась размышлять дальше. Теперь же, когда все сбылось, сбежала, спряталась.

Последний раз она слышала о Далмау в той таверне, где старик, читавший газету вслух, наткнулся на статью о происшествии в «Мезон Доре»; при встречах с Хосефой обе избегали упоминать его имя. Тогда, в таверне, она призналась каменщику в любви. Прижавшись к стене дома, улыбнулась при воспоминании: Антонио поперхнулся, потом, как всегда неловкий, не знал, что сказать, и ей пришлось положить конец его лепету поцелуем в губы, к великому ликованию собравшихся.

Это случилось за несколько месяцев до того, как Далмау разглядел ее на рождественской ярмарке птицы. Узнав из газеты, какую жизнь он ведет, Эмма с легкостью приняла решение: распрощалась с квартирной хозяйкой и перебралась к Антонио. Когда та спросила, что она собирается делать, Эмму так и подмывало ответить, что она уходит к мужчине, жить во грехе, поскольку ей надоело вечно быть начеку и избегать козней лукавого, который, похоже, подстерегает ее в каждом

углу этого дома; надоело читать молитвы, выслушивать наставления и отчитываться; но вместо того солгала хозяйке, сказав, что в Барселону приехал родственник, у которого она может найти приют. Тогда почтенная вдова впервые позволила Эмме себя поцеловать, и та заметила, что по щекам старухи катились настоящие, неподдельные слезы. Такие же, как те, что обильно проливала Дора, подружка, делившая с ней кровать. Эмма крепко обняла ее на прощание.

– Я ведь не уезжаю из города, – поспешила она успокоить девушку.

Потом чуть не упомянула в шутку о ненавистных кроличьих волосках, в которых просыпалась каждое утро, но вовремя сдержалась. Отношения между ее подругой и продавцом шляп разладились: волоски зверьков нахально и непрерывно обнаруживались на котелках, цилиндрах и даже шапках. Один сотрудник, называвший себя другом, выдал Хуана Мануэля, тот получил нагоняй от шляпника и всю свою досаду излил на Дору. И потом держался от нее в стороне, будто от зачумленной.

– Не поцелует, не обнимет, – жаловалась девушка ночами, когда наступало время делиться сокровенным.

Эмма хотела сказать, чтобы Дора бросила жениха, который о котелках заботится больше, чем о невесте, сколько бы кроличьих волосков ни принесла она в их общий дом; чтобы нашла такого, как Антонио: он нежный и внимательный, а в постели – зверь, чудище, феномен, устрашающий и улаждающий. Эмма не привыкла иметь над собой или под собой этакую выпущенную на волю громаду. Влага выступила при одной мысли: раз за разом Антонио поднимал ее до самых вершин. Бывали моменты, когда она желала, даже нуждалась в том, чтобы он умерил свой пыл; она обмирала, силы ее иссякали, ей было не вмоготу следовать за его ритмом, выдерживать его вес, и тогда она отстраняла его, а он беспокоился, спрашивал, не навредил ли ей. «Навредил? Не заставляй меня взлетать выше звезд», – отвечала Эмма.

– Ты работающая, когда нужно, серьезная, веселая в компании, молодая, хорошенькая, – все-таки решила она все высказать Доре, памятуя о собственном счастье. Почему не посоветовать, чтобы и она приискала себе кого-то? Не хотелось выгораживать того слабака. – Поищи кого-нибудь, кто не променяет тебя на шляпу.

Бесполезно. Дора заплакала и плакала потом, когда они прощались. Эмма обещала ее не забывать, часто видется с ней, даже если с Хуаном Мануэлем все уладится. Да. Да, если она так хочет... Да, конечно. Да, да, да... твердила она без устали, повторяла тысячу раз. Потом со скудными своими пожитками и с комом в горле пошла на улицу Трафальгар, где села на трамвай, идущий до Сан-Андреу. Вышла в районе Клот и оттуда, с дубликатом ключей, который ей дал Антонио, направилась к своему новому дому: целая комната, просто дворец!

Был месяц май 1903 года. Погода стояла прекрасная, с густой синевы небес светило яркое солнце, хотя ни единый луч не проникал в световой дворик, где Эмма наткнулась на двух теток, бесцеремонно рассеявшихся в проходе, ведущем к четырем лачугам. Дети, целая орава, галдели и резвились, натываясь друг на друга в узком, стесненном пространстве. Невозможно, чтобы всех их родили эти две женщины.

– Мы за ними присматриваем за пару сентимо, – видя изумление Эммы, объяснила одна, отложив вышивание. – Меня звать Эмилия. А это – Пура, – указала она на другую.

– Ты всегда убегаешь рано утром, до того, как приводят ребятню, – тут же выпалила означенная Пура.

У Эммы так вытянулось лицо, что обе расхохотались.

– О-о-о-о-о-ох! – взывала Эмилия с придыханием, закрыла глаза, прижала рукоделие к груди и вся изогнулась, изображая экстаз.

Эмма зарделась, поняв, что ее слышали. Это они отпускали комментарии через стенки! Хотела укрыться от них в доме, но было никак не попасть ключом в замочную скважину. Руки дрожали, а кто-то из детишек дергал ее за юбку.

– Еще! Да! Да! Да! – включилась Пура.

– Эта кричала еще хлеще тебя, – заметила Эмилия, показывая на товарку, – когда мужу приходила охота заняться с ней кое-чем.

– Блаженные времена! – горестно вздохнула та, утирая пот со лба.

Обе рассмеялись, хотя в смехе и сквозила грусть по прежним временам.

– Не сердись, – сказала Эмилия.

– Да, девочка, не надо. Мы не вредные.

Эмма поднатужилась и вставила ключ. Но поворачивать не стала, прислонилась к двери дома Антонио и обернулась к соседкам, двум женщинам, которых жизнь не щадила.

– По правде говоря, мы тебе завидуем, – заявила Пура.

– Ты даже не представляешь как!

Эмма улыбнулась:

– Я много кричу?

– Мало, с таким-то каменщиком сверху...

– Кричи дальше, – перебила Эмилия, – может, и наши мужики вспомнят, для чего еще нужна штучка, которая болтается у них между ног.

Все трое расхохотались. Эмма представилась. Этой ночью она кричала и подвывала с придыханиями без всякой опаски; лица Эмилии и Пуры вставали перед ней посреди вспышек наслаждения вместе со скудной обстановкой убогого жилья. Она часто беседовала с ними, и эту их зависть, которой они и не скрывали, можно было пощупать руками. Речи женщин, уставших от жизни, прикрытые иронией и сарказмом. Лет им, скорее всего, было не так-то много, но они себя чувствовали старыми, некрасивыми, никому не нужными.

– Наслаждайся сейчас, Эмма; наслаждайся от всей души, – с горечью советовала Эмилия, а Пура кивала, – ведь всякий раз, когда ты отдаешься мужчине, он крадет у тебя частицу молодости и красоты, чтобы однажды подарить ее другой.

«Это мою украденную юность дарит Далмау богатеньким девочкам?» – задавалась Эмма вопросом, пока Антонио спал, размеренно дыша, занимая почти всю кровать. В темноте Эмма прищелкнула языком. Первое, что они сделают, когда появится лишняя песета, напомнила она себе, совершенно забыв о Далмау, – купят кровать побольше. В этой они вдвоем не помещались: Антонио спал, широко раскинувшись, а она – на боку, на самом краешке. Эмма протянула руку к груди каменщика, потербила густую, длинную поросль, намотала на палец, дернула, выдернула несколько волосков. Антонио не шелохнулся. Эмма вздохнула и прижалась к нему, подпихиваясь, чтобы не упасть с кровати.

Она подружилась с Эмилией и Пурой. Женщины болтали, помогали друг дружке. Эмилия была замужем за кожевником, из шестерых детей, которых она родила, выжили трое: взрослые парни,

они уходили и приходили, ночевали или нет, объявлялись, в основном когда были голодные или нуждались в деньгах. Муж Пуры работал на бумажной фабрике неподалеку отсюда. Две ее выжившие девочки были младше сыновей Эмилии и все еще ютились вместе с родителями в одной комнате. Четвертый домик, выстроенный во дворе, занимал вдовец, неопрятный, старый и угрюмый, промышлявший какими-то мелкими поручениями: он от себя сдавал свою лачугу целым семьям и сам жил вместе с ними.

1903 год начался в Барселоне с серьезных трудовых конфликтов. Красильщики, плотники и пекари вступили в борьбу за свои права и добились определенных уступок. Эмма торговала курами, но, когда товар подходил к концу, спешила примкнуть к женщинам и детям, которые сопровождали мужчин. Плотники дольше всех не могли добиться соглашения. Они боролись за восьмичасовой рабочий день, этим правом уже пользовались рабочие других специальностей, например каменщики, и бастующие без колебаний применяли силу, когда хозяева их заменяли штрейкбрехерами.

Точно так они с Монсеррат в свое время опрокинули трамвай на Ла-Рамбла. На сей раз то была повозка с древесиной, не отмеченной печатью рабочего общества.

Охранники, сопровождавшие повозку, сбежали вместе с возницей, когда наткнулись на пикет, остановивший их на пересечении улиц Рожер-де-Льюрия и Провенса. Эмма прибежала вместе с плотниками, как и другие женщины. Мулов распрягли, отвели в сторону. Эмма пристроилась к кузову, большому, достаточно широкому, чтобы загрузить туда все эти доски. И тяжесть немалая. Тяжелее трамвая, показалось Эмме, может быть, потому, что рядом не было Монсеррат.

– Толкайте! – слышались крики.

Кто-то повыше ростом встал позади, протянул руки поверх ее плеч и уперся в борта повозки.

– Сильнее! Толкайте сильнее! – кричал над самым ее ухом.

Эмма толкала. «Где ты, сестра?» – вопрошала со слезами на глазах, чувствуя незримое присутствие Монсеррат. Довольная, гордая, испустила вопль, когда повозка покачнулась.

– Гляди на меня! – крикнула в небеса, когда повозка перевернулась.

С грохотом посыпались доски. Забастовщики быстренько забросали их зажженными факелами, и вечерние сумерки озарило пламя. Эмма снова подняла голову к небесам. Монсеррат там нету! И в преисподней тоже. Ее нет нигде, ее жизнь завершилась, подумала Эмма, не сдерживая слез.

– Молодец, – похвалил мужчина, который стоял позади.

Эмма высморкалась и кивнула.

Ночью с Антонио и другими каменщиками, которые помогали бастующим, они, как это делалось по всей Барселоне, проникли на две строительные площадки, содрали и разбили на куски все, что там было деревянного.

– Товарищ учительница, – вдруг обратился к Эмме уже пожилой мужчина, – хочешь?

И протянул топор. Они всего лишь просят восьмичасового рабочего дня и увеличения зарплаты, чтобы кормить своих детей, подумала Эмма и схватилась за рукоятку. Топор был тяжелый. А подрядчики – сколько получают подрядчики?

– Аааааа! – завопила она и рубанула по подготовленной к установке оконной раме.

А буржуи, которые заказывают для себя дома или финансируют строительство, – сколько у них денег? Она уже приготовилась снова крикнуть, снова ударить, но лезвие застряло в древесине. Эмме было никак не вытащить его. Мужчины заулыбались, но прежде, чем Эмма о чем-то попросила, Антонио одной рукой взялся за рукоятку, мигом вытащил топор и вручил Эмме:

– Давай еще.

Не вышло: их предупредили, что едет жандармерия. Они покинули стройку, и жандармы преследовали их в ночи. Они бежали в темноте, а позади цокали копыта и раздавались крики всадников. Эмма крепко держалась за руку Антонио, и тот не выпускал ее руки. Они продолжали бежать, даже когда погони уже не было слышно. Остальные растворились в ночи, рассеялись по улицам города. Когда уже стало невмоготу, они остановились; чтобы отдышаться, согнулись, опершись руками о колени. Огляделись и, захлебываясь кашлем, расхохотались. Они добежали до моря и теперь пошли к берегу, в такой час пустынному.

– Взбунтуйся! – крикнула Эмма, подняв голову к луне, которая отражалась, мерцая, на чернеющей глади спокойного моря. Антонио обнял Эмму за плечи, прижал к себе, они вдвоем стояли на песке перед морским простором, в нескольких шагах от них заканчивалась серебристая полоса, нарисованная лунным светом. – Как может она... – зашептала Эмма, – как может луна равнодушно смотреть на то, что происходит в этом городе, на всю эту несправедливость... – Антонио крепче обнял ее, а она продолжала: – Как может показывать такую красоту, когда дети умирают от голода.

– Эта красота и для нас тоже, – тихо возразил Антонио. – Ее у нас не могут отнять богатеи.

– И что нам с ней делать, накормить ею детей?

Каменщик умолк. Хотел поцеловать Эмму, но та отвернулась.

Плотники добились восьмичасового рабочего дня, но многие потеряли место. Хозяева не брали бастовавших, нанимали штрейкбрехеров, которые поддерживали работодателей во время кризиса. Это происходило во всех отраслях промышленности, для всех специальностей. Через несколько месяцев после забастовки на газоперерабатывающем заводе только шестьдесят рабочих из четырех сотен остались на предприятии.

В то время как личная жизнь с каменщиком, невзирая на социальные потрясения, складывалась счастливо, и работала Эмма по-прежнему с торговцем курами, ее деятельность в Республиканской партии, если не считать поддержки забастовок, участия в митингах и манифестациях в защиту прав рабочих, была направлена в основном на женщин. Она продолжала вести уроки в вечерней школе: руководители партии во главе с Леррусом много внимания уделяли обучению детей, неграмотных рабочих и женщин, считали это одной из основных задач и вступали в открытую борьбу с церковными учреждениями, которые, по их мнению, притязали на то, чтобы контролировать общество через посредство своих знаменитых коллежей, где учащимся затуманивали разум и забивали голову религиозными доктринами.

После основания Братства поблизости от Барселонского университета подобные учреждения во множестве возникали в самых разных районах города, не такие значительные, как созданное

Леррусом, но гораздо крупнее и, разумеется, активнее, чем с полдюжины старых республиканских клубов: те пришли в упадок, и их деятельность ограничивалась организацией гражданских похорон, насмешками над религией во время церковных праздников и ежегодным банкетом в честь Первой республики, провозглашенной тридцать лет назад и продержавшейся менее двух лет, до реставрации Бурбонов; памятью о ней жили, с ней же умирали, отчаявшись, полные горечи старики.

Однако с подъемом новых республиканцев, на гребне их успеха на выборах братства разрастались, открывали школы, кооперативы, медицинские кабинеты и юридические консультации. Под крылом этих учреждений множились общественные группировки в кварталах, направленные на кооперацию, самозащиту, взаимопомощь.

Эмма имела успех как учительница и как оратор; ее доходчивая, прямая и страстная диалектика находила отклик в рабочих массах, которым нужны вожди в бурные времена перемен. Среди товарищей по борьбе появились завистники, которые, боясь, что такая женщина их затмит, всегда готовы были напасть исподтишка; Эмма их видела насквозь. Но слава привлекла к ней и других женщин, которые возглавляли движение за равенство полов. Они нашли ее в Братстве, Эмма приняла их радушно и выслушала с интересом, главным образом потому, что эти активистки в большинстве своем выступали как здесь, так и во Франции за светское государство и основывались на антиклерикализме, что совпадало с ее позицией. Они себя называли феминистками. И все-таки Эмма быстро поняла, какая пропасть отделяет ее от них. Все эти женщины обладали культурой, много путешествовали, одни происходили из мелкой буржуазии, другие преподавали, учились в университетах, нашлась даже одна женщина-врач... Все убежденные радикалки.

Они рассуждали о свободе совести, о светской этике, далекой от религиозных постулатов, о равенстве полов и всеобщем братстве. Они владели диалектикой, а узнав, что Эмма дает уроки работницам, стали излагать принципы современной школы; многие из них такие идеи уже применяли на практике.

– Нужно пробуждать духовную энергию детей...

– И в каждом уважать индивидуальность, высвобождая духовный потенциал.

– Нужно отучить ребенка от любых проявлений эгоизма, воспитывать его в духе взаимодействия.

– Да, необходимо поставить индивидуальность на службу коллективу.

«Духовный потенциал, индивидуальность, взаимодействие...» А она всего лишь учит обездоленных женщин писать буквы и составлять из них слова! «Буква А пишется вот так», и рисует шалашик между такими же, как у них в тетрадках, косыми черточками, которые проводит на доске, потом добавляет поперечную планку. «Три черты, видите?» – говорит им. И повторяет. А они смотрят. И делают то же самое. В чем же тут духовный потенциал?

– Нужно воспитывать их так, чтобы они уважали права противоположного пола.

– Вот именно...

– Вы знаете, зачем ставится точка над «і»? – решила Эмма сказать свое слово. Эти женщины наверняка знают, кто она такая, что она скромного происхождения, хотя об этом и по одежде можно было догадаться. А то и слышали какое-то ее выступление: она та самая, чьего отца-анархиста замучили во время процесса в Монжуике. – Одна моя ученица, Хасинта, задала такой вопрос, – на ходу придумала Эмма, изумив феминисток, – а я не знала, как отвечать.

Феминистки призадумались.

– Чтобы отличить эту букву, – наконец заявила одна.

– Отличить от чего?

– От «и». Если бы над «і» не стояла точка, «и» можно было бы перепутать с двумя «і», написанными подряд.

Тут призадумалась Эмма.

– Вы знаете какое-то слово, в котором было бы два «і» подряд? – заявила она наконец. Феминистки нахмурились. Ответа не было. – Если такого слова нет, зачем отличать «і» от «и»?

– Но это не важно, – отмахнулась одна из учительниц. – Всего лишь какая-то точка.

– Ой-ой-ой! Это вы расскажите Хасинте. Она добрая женщина, но слишком дотошная.

И оставила их, сославшись на дела, убежденная, что этот самый феминизм ей не по ранжиру, каким бы он ни казался привлекательным. Возможно, подумала она через короткое время, чуть успокоившись,

эти женщины не задавались целью принизить ее, просто слишком велико было их интеллектуальное превосходство. Трудно на таких равняться. Или им на самом деле нравилось кичиться культурой? Эмма этого не знала. Знала она другое: феминисткам противостояли не женщины, а мужчины, те же республиканцы, такие как Хоакин Тручero; они во весь голос кричали о правах и свободах, но боялись свободной женщины, которая отойдет от своих семейных обязанностей и перестанет подчиняться мужчине.

Так или иначе, новая партия Лерруса, Республиканский Союз, росла и нуждалась в поддержке женщин, потому и задачи Эммы уже не ограничивались обучением определенного числа неграмотных работниц, ей поручили расшевелить женщин, вывести их из пассивности. Эмма должна была воспламенить дух своих товарок, пробудить в них интерес к образованию.

Так, пригласив ее к себе в кабинет, инструктировал Эмму Хоакин Тручero.

– Ищи женщин, любых женщин, еще не охваченных вниманием партии. С работницами и мастерицами мы уже вступили в контакт, они имеют понятие о нашей организации, о нашей борьбе, включены в нее так же, как и мужчины. Что я буду тебе рассказывать? Ты всех их знаешь: они ходят на митинги, учатся у тебя. И все же существуют работницы, находящиеся вне сферы нашего влияния, до них нам не так-то легко достучаться. – Тут молодой республиканский лидер сделал паузу, и Эмма ждала продолжения. – Я имею в виду тех, кто кормится иглой, – он, очевидно, намекал на тех, кто, как Хосефа, пробавляется шитьем на дому, – и тех, кто прислуживает в богатых домах: десятки тысяч женщин находятся вне каких бы то ни было организаций, будь то профсоюзы или рабочие ассоциации. Они не кооперируются, мы никак не контролируем их, не имеем на них никакого влияния.

Эмма обдумала слова Хоакина. Действительно, она знала многих таких женщин.

– Я и так веду вечерние занятия, – напомнила она. – Одно дело – время от времени приходить на митинг. Но то, что ты предлагаешь мне, означает постоянный, ежедневный труд. Я не могу бросить работу и всецело посвятить себя партии. Как я добуду себе пропитание?

– Мы здесь работаем не за плату, – отрезал Тручеро. – Ты это знаешь. Но все-таки... – Сидя за столом в своем маленьком кабинете, Хоакин смерил ее похотливым взглядом, который так докучал ей. Судя по тому, что говорилось прежде, Эмма ожидала любого непристойного предложения, согласившись на которое она получит дополнительные деньги, но слова молодого лидера застали ее врасплох. – Ты ходишь по домам, продаешь цыплят и кур... – продолжал он, и Эмма невольно вздрогнула, поняв, что ему известно, как она зарабатывает на жизнь. – Чем не предлог для того, чтобы войти с этими курами в буржуазные дома и добраться до массы домашних работниц?

Смущенная, выбитая из колеи, она согласилась не думая. Хотела поскорей уйти, чтобы избежать вопросов о своей торговле курами; кроме того, избавиться от бесстыдного напора, выйти на воздух: может быть, его свежесть сотрет с кожи патину грязи, оставленную откровенно непристойными взглядами молодого активиста. Выйдя из кабинета, она глубоко вздохнула. «Неужели он также знает, откуда Матиас берет этих кур?» – задалась она вопросом, подставляя лицо бодрящему ветерку. Улыбочку, с которой Хоакин проводил ее, Эмма не могла разгадать: в ней смешались желание и насмешка, снисходительность и удовлетворение.

Она посоветовалась с Антонио и новыми подругами, соседками по двору, Эмилией и Пурой, и решила принять этот новый вызов, действуя точно так, как предложил республиканец: воспользоваться тем, что она имеет доступ к прислуге в богатых домах. В Барселоне насчитывалось двадцать тысяч домашних работниц, большей частью из самого города и окрестных местечек. Возраст этих женщин колебался между пятнадцатью и пятьюдесятью годами, хотя в большинстве своем они были ровесницами Эммы, двадцатилетними. Молодые девушки, питающие надежду выйти замуж и избавиться от службы в богатых домах, чтобы делать то же самое в убогих жилищах, с одним туалетом на этаж, без водопровода, света, газа, каких бы то ни было удобств, да и такую квартиру часто приходилось делить с другой семьей.

Эти девушки ничем не отличались от Эммы. Разве не живет она в лачуге, выстроенной во дворе, с человеком хорошим, но бедным? Можно предположить, что большинство этих девушек готовы бороться, учиться, чтобы избавиться от давления Церкви, от вины и

греха и начать новую, свободную жизнь. Но не тут-то было. Все, как одна, не желали ее слушать. Прятались по углам, стыдясь и тушуясь, как будто даже говорить о свободе, культуре и правах человека было проступком. Их рабочий день продолжался дольше, чем на предприятиях, они были в распоряжении хозяев днем и ночью, на домашнее услужение не распространялся закон о двенадцатичасовом рабочем дне. Их не отпускали даже по праздникам, когда наемные работники в большинстве своем имели право на отдых. Закон о воскресном дне еще обсуждался в Мадриде, в парламенте, как Эмма слышала в Братстве; для нее, антиклерикалки, в этом заключался парадокс: действовавшие со времен Средневековья религиозные нормы, согласно которым необходимо отдыхать от трудов в день Воскресения Господня, были упразднены в прошлом веке, но никто не озаботился назначить другой выходной для трудящихся.

Прислуга не была включена ни в один из трудовых кодексов, которые худо-бедно регулировали отношения между работодателями и трудящимися; девушки оставались без какой бы то ни было защиты. Ни профсоюзы, ни политические партии не занимались прислугой. Никто ничего не делал для этих женщин! Эмма скоро поняла, что Хоакин задал ей непосильную задачу. Домашние работницы не входили ни в одну организацию. Работу они получали по рекомендации, какую давала прежняя хозяйка следующей – «Девушка добросовестная, чистоплотная, честная», – или через посредство вездесущей Церкви: существовали школы, где девушек учили прислуживать, слушаться хозяев и бояться Бога, такие, как школа Непорочного Зачатия, примерно на тысячу учениц, куда сестры Святого Семейства хотели устроить Эмму в тот день, когда она явилась в приют у Парка после того, как ее выдворил дядя Себастьян.

Их звали Мари Крус, Кристина, Колома, Эстела, Сусанна, Виоланте, Ремеи...

Одну такую изнасиловал хозяин. «Но он мне дал пять песет и попросил прощения! Сам сеньор дон Марселино! У меня! У меня попросил прощения...»

– Зачем ты столько говоришь с прислугой, – укорял ее Матиас.

– Говорю сколько хочу.

«Не хочешь заявить на него?» – возмутилась Эмма, глядя на девочку семнадцати лет с круглым свежим личиком и ладной

фигуркой. «Я сама виновата, – выпалила та. – Я ввела его в соблазн, хоть и не нарочно, – затараторила она. – Сеньор Марселино мужчина... у него свои слабости...» Эмма уже знала, что последует дальше, и ждала с нетерпением, в гневе: «Так мне сказал преподобный Хуан, священник нашего прихода». В самую точку. «Доброй христианке полагается прощать!» – крикнула девушка вслед, когда Эмма, поморщившись, повернулась к ней спиной.

Не ей их судить, упрекала она себя, стирая одежду Антонио и свою в прачечной близ Рек-Комталь, старого римского акведука, превращенного в оросительный канал, берущий начало в речке Бесос и протекающий позади церкви Санта-Мария дель Мар. Прачечная, как почти все остальные в Барселоне, была частным предприятием, собственник предоставлял места для стирки и выдавал мыло. То был квадратный водоем, искусственный, на нем где-то с полсотни мостков, где женщины, стоя впритык друг к дружке, стирали, гомонили, визжали, хохотали или напевали; погрузив руки в ледяную воду, терли белье о наклонно поставленные рубчатые деревянные доски. В таких местах, как это, волей-неволей собиралось большинство женщин Барселоны, в чьих домах не было водопровода, а стало быть, и мойки. «Они невежественные», – сказала женщина, стирившая рядом, когда Эмма ей поведала о своей неудаче с прислугой. «Кроме того, они боятся, – прибавила та. – Я ведь, ни много ни мало, предлагаю научить их читать и писать». «Где, когда мы могли бы учиться?» – сетовали девушки, выказавшие хоть какой-то интерес. Они никогда не покидали господский дом, свободные вечера проводили с женихами на скамейке в парке, а если выгадывали какие-то деньги помимо тех, что копили на приданое, тратили их на Параллели.

– Ты когда-нибудь ходила в кино? – спросила одна такая простушка. Нет, Эмма никогда в кино не была. Девушка лукаво улыбнулась. – Епископ и святые отцы осуждают кинотеатры, потому что там темно и можно целоваться.

– Целоваться? Тебя никогда... – Эмма не знала, как поставить вопрос. – Он тебя никогда не щупал? – спросила она наконец, хотя имела в виду хороший перепихон.

– В этом доме мы больше не продадим ни одной куры, – выговаривал ей Матиас после того, как служаночка в сердцах, сгорая от стыда, выпроводила их в толчки, пригрозив пожаловаться госпоже.

«Или пойду в полицию!» – орала она, пока торговцы спускались с лестницы.

– Нет, зачем в полицию! Иди сразу в свой приход! – несмотря на причитания Матиаса, ответила Эмма в том же тоне. – Пожалуйся святому отцу, уж он-то тебя пощупает будь здоров! Рукою Бога!

Ей никак не удавалось найти к этим девушкам подход. Их собственные женихи, рабочие и лоточники, прядильщики, кожевники или ткачи, многие из них республиканцы, некоторые даже симпатизирующие анархистам, все это запрещали. «Лучше научись шить и готовить, – говорили они, – следить за домом, вот что важно: за домом и за детьми».

После зимних забастовок рабочая борьба ожесточилась в июне. Забастовали разгрузчики угля, и хозяева их заменили штрейкбрехерами. Присоединились возчики, которых постигла та же судьба. Сапожники, токари и пильщики не остались в стороне от трудового конфликта. Поэтому, когда в середине июня каменщики решили объявить забастовку, требуя повышения оплаты труда, в город уже стянули военных.

Более тридцати тысяч трудящихся, из них четырнадцать тысяч каменщиков, бастовали летом 1903-го. Для Эммы это был качественно новый этап. Каменщики, будь то профессионалы или подручные рабочие, отстаивая свои требования, прибегали к насилию чаще всех. Пикеты ходили повсюду, множились патрули поменьше, их полиция не замечала, но они действовали так же, если не более жестко. Эмма ходила со своим каменщиком закрывать работы на стройплощадках. Этим людей штрейкбрехеры боялись, им не раз задавали взбучку, одного даже забили до смерти. Но жандармы и воинские части, все время прибывавшие в Барселону, действовали не менее жестко. Кавалерия с саблями наголо атаковала бастующих; кое-где начали прибегать к огнестрельному оружию, как во время всеобщей забастовки, когда Монсеррат убили из пулемета.

Когда на одной из стройплощадок между забастовщиками и силами правопорядка началась перестрелка, Антонио с Эммой находились там. Каменщик велел ей укрыться за грудой мешков с песком.

– Сегодня ты ходила со мной в последний раз, – повысил он голос, перекрывая крики и брань своих товарищей.

– Ха! – рассмеялась Эмма. – Не родился такой человек...

– Правильно, – перебил Антонио, обхватив сильными, мозолистыми руками ее лицо. – Не родился, – повторил он, – но... я хочу, чтобы он родился.

Какой-то миг Эмма недоумевала, потом поняла, сначала побледнела, потом вся вспыхнула от злости: вот же гарпии! Ведь обещали, что ничего не скажут! Они с Антонио перестали предохраняться в часы любви, и подвергаться спринцеванию Эмма не была расположена. Как же было не забеременеть от такого воплощения мужской силы? Но она не хотела взваливать на Антонио еще одну заботу, когда он и так бастовал и не получал платы. Пока ничего не видно, и говорить незачем; она сообщит, когда все как-нибудь наладится; но не прошло и четырех дней, как Эмилия и Пура по некоторым признакам определили, что она в тягости, и Эмме пришлось признаться.

– Вот сучки! Ведь обещали же, что ничего не скажут.

Антонио приложил палец к ее губам, призывая к молчанию.

– Ты не должна рисковать, – решительно заявил он.

Вернувшись домой, Эмма ринулась в проход, прокладывая себе путь среди ребятни, даже не глядя на приятельниц, которые, как всегда, сидели на своих стульях, зашивая и штопая одежду. Погруженные в рукоделие, они тоже сделали вид, будто не замечают соседку. Эмма открыла дверь, но не вошла, а обернулась, и все трое заговорили разом. Ни одна не закончила фразы:

– Ведь просила же не говорить, что я беременна!

– Там стреляют!

– Твоя мать ни за что бы не отпустила тебя туда!

Все трое переглянулись. Даже дети стихли на несколько мгновений, пока женщины, одна за другой, не улыбнулись.

В первый понедельник августа, когда солнце не желало впускать в город ночную прохладу, Эмма говорила с прачками. Это ей посоветовала женщина, стиравшая рядом с ней в заведении на Рек-Комталь, после того как Эмма пожаловалась на свою неудачу с прислугой: «В Орте живет много прачек, они приходят по

понедельникам, забирают белье из богатых домов на Эшампле. Это совсем другие женщины. Решительные. Независимые».

Всей Барселоне были известны прачки, которые по понедельникам и пятницам шагали по городу с внушительными узлами за спиной. В начале недели они забирали грязное белье, в конце недели возвращали чистое, чтобы богатеи в воскресенье могли поменять подштанники.

Каменщики продолжали бастовать, и Эмма целыми днями ходила с торговцем курами. Нужно было платить за жилье, покупать еду, но и у Матиаса не было новых кур на продажу. «Сколько есть, столько есть», – бурчал он в ответ на ее жалобы. Антонио так и не позволял ей ходить в пикетах, поэтому с того момента, как птицам приходил конец, и до начала вечерних уроков чтения и счета в те дни, на которые они были назначены, Эмме было необходимо себя чем-то занять; в доме ей было тошно – чистоту она давно навела, готовить было не из чего, а гам ребятишек, за которыми присматривали Эмилия и Пура, действовал ей на нервы. Поэтому она пошла на встречу с прачками.

– Научиться считать и читать всегда пригодится, – выступила старшая из полудюжины стоявших у постоянного двора в ожидании остальных, заметив, как одна из девушек равнодушно пожала плечами в ответ на предложение Эммы. – Если мы не умеем читать и цифр не знаем, хозяйки нас обсчитывают и мы теряем в деньгах.

Девушка оживилась, другие тоже подошли послушать, и Эмму обьяла дрожь при виде такого интереса, такой жажды знаний у совсем простых женщин. Да. Все верно: они очень отличаются от прислуги. Селение Орта располагалось над Барселоной, в долине, где протекало много речек и ключей, чем и воспользовались его жительницы, предоставляя обитателям большого города, богатым и не очень, возможность отдавать белье в стирку за умеренную плату. В Барселоне в немногих домах имелся водопровод, а даже если имелся, не везде были установлены мойки. Женщины Орты поняли свою выгоду и превратили селение, уже почти включенное в состав Барселоны, в огромную прачечную, которой сами управляли. Сотни женщин, и хозяйки собственных прачечных, и их родственницы, и просто поденщицы, стирали всю неделю от рассвета до заката, даже порой ночами, а по понедельникам и пятницам шли за семь километров в город, пешком, поместив узлы на повозку, если могли заплатить; потом

разносили по домам чистое белье или собирали грязное, таская узлы на спине или на голове. Место сбора у них было назначено на Соборной площади, у постоянного двора вблизи от дома Каноников; там Эмма с ними и заговорила, оттуда они и отправятся обратно в Орту, как только соберутся все.

Эмма разглядывала десятки запряженных мулами повозок, готовых принять узлы с грязным бельем, которые скапливались в кузовах по мере того, как женщины, неся с собой свой груз, возвращались на Соборную площадь. Потом смотрела, как они уходят, вымотанные после целого дня беготни по городу. Их ждал семикилометровый подъем, а может быть, этой самой ночью они начнут распределять белье по семьям. Двести, триста женщин, может и больше, двигались длинными, нестройными рядами между десятками повозок, нагруженных бельем, и горожане расступались. У Эммы складывалось впечатление, будто этот исход опустошает Барселону. Однажды она сама поднимется в Орту уже с конкретными предложениями; так они договорились перед постоянным двором с женщиной постарше.

Забастовка каменщиков еще длилась, когда Эмма решила пойти проведать Хосефу. Они уже давно не видались. Эмма поджидала швею в час, когда та обычно шла отдать работу, узнать новости, купить еды. Эмма подошла к ней на улице. Они поздоровались тепло, будто дочка с матерью, немного прогулялись, и Эмма сообщила о своей беременности. Ни та ни другая не смогли сдержать слез. Потом поговорили об Антонио, о домике во дворе, о малыше... Эмма поделилась своими мечтами: несколько детей, много работы, а главное – упорная борьба за права рабочих и женщин. «А свадьба?» – поинтересовалась Хосефа. Молодая женщина пожала плечами: об этом они с Антонио не говорили. «Так не откладывай в долгий ящик, – посоветовала Хосефа, – пусть создаст семью». Они избегали упоминать Далмау, хотя призрак его витал над ними во время всей встречи; под конец Эмма стала расспрашивать о швеях. Пойдут ли они учиться в республиканские школы? Мать Далмау вспомнила дни, когда сама боролась за те же идеалы, преследовала те же цели. Образование было одной из самых важных, она сама тому живое доказательство: неграмотная дочь разнорабочих, она научилась чтению и счету, уже будучи замужем, вынашивая детей; потом изгнание и смерть супруга

лишили Хосефу иллюзий и надежд и оставили с иглой и нитками: приходилось бороться исключительно за выживание семьи. Потом Далмау подарил ей швейную машинку...

– Не думаю, чтобы ты многого добилась от швей, – твердо заявила она. – Ты же знаешь: мы работаем при свечах, в темноте, за нищенскую плату. У женщин не будет времени... Между одной и другой рубашкой, одной и другой манжетой нужно позаботиться о детях, о муже, о хозяйстве: приготовить еду, убраться в доме. Мы – рабыни, Эмма, а рабыни пребывают в невежестве. Прислуга живет лучше, чем мы! В господском доме им дают кров и стол.

Швей тоже не защищал никакой профсоюз. Не существовало организации, которая объединяла и представляла бы их. Разбросанные по городу, лишённые профессионального самосознания и возможности вместе бороться за свои права, они зависели от воли посредников и хозяев предприятий, которые их эксплуатировали, назначая расценки и рабочие нормы по своему усмотрению.

За разговорами они вернулись вспять, и Хосефа проводила Эмму к тому месту, где посредник раздавал заказы и забирал готовые вещи.

– Только не говори, что я тебя привела, – попросила Хосефа, издали указывая нужный дом. – Иначе я останусь без работы.

Опасение... даже страх в словах женщины, в которой Эмму восхищали честность, крепость духа и упорство, предварили тон тех бесед, какие Эмма завязала с парой швей.

Одна презрительно расхохоталась: «Учиться? Ты шутишь, наверное». Другая, истощенная, с желтым лицом и кругами под глазами, хотела ответить, но приступ кашля помешал ей. Да и потом говорила с трудом, будто дыхание и речь были не в ладу друг с другом. Бронхит, туберкулез? Эмма знала, что этими болезнями в основном страдают швей, часами сидящие в зараженной атмосфере, среди миазмов, поднимающихся от гнилой почве старого города. Эта рано состарившаяся девушка выдавила из себя улыбку, ужасюще грустную. «Я бы рада, но времени нет», – сказала она и медленно, короткими шажками удалилась по узкой, темной улочке старого квартала. Когда вдали лишь намечался ее силуэт, остановилась и усталым жестом переложила в другую руку корзинку с заготовками, которые предстояло прострочить.

Эмма больше ее не видела. Весь этот день безрадостная улыбка швей терзала ее. Эмма представляла ее дома, с детьми: определенно, у нее есть дети. Они и выпивают из бедняжки соки, то же самое – муж. Может, еще и мать, или старый тесть, или еще какой родственник, больной или калека; сколько их страдает, кое-как перебиваясь благотворительностью и заботами родни. Самоотверженные женщины! А она старается убедить их, привлечь к учебе. Эмма замотала головой, остановилась перед аудиторией, где уже ждали ученицы. Хорошо ли она поступает? Какое право имеет она вмешиваться в жизнь людей, кормить их фантазиями, сулить новый, прекрасный путь, по которому жестокая реальность им до сих пор мешала пойти?

Она открыла дверь и с изумлением увидела, как полдюжины ее учениц встают и аплодируют ей.

– Что?..

– Поздравляем! – хором закричали они.

На ее столе лежал пакетик, завернутый в ткань. «Это мне?» – спросила Эмма, подходя поближе. Одни закричали «да», другие закивали: все счастливые, сияющие. Эмма открыла пакет. Детские вещи. Льняные. Белоснежные. Мягкие. Распашонка и длинное платье. Вещи пахли вкусно, свежестью, какой-то ароматической травой, кажется лавандой. У Эммы на глазах выступили слезы. У ее учениц не больше средств, чем у швей или прачек. Со слезами вырвался наружу ураган чувств, испытанных в этот день: бурная радость Хосефы, поцелуи, под которыми она пыталась скрыть горечь разочарования оттого, что Эмма носит ребенка, но не Далмау, а другого мужчины. Эмма это заметила, так же как ощутила гнетущее присутствие Далмау. Сообщить Хосефе о беременности означало окончательно порвать с прошлым. Потом перед ней предстала реальная жизнь других женщин, швей. Одна невесело рассмеялась, услышав ее предложение, другой помешал ответить приступ кашля. К остальным она уже и не стала подходить. Вся в сомнениях, в тоске направлялась она к Братству, а теперь, получив подарок, не чувствовала под собой ног. Расцеловав всех своих учениц, Эмма расплакалась.

Некоторые участки селения Орта представляли собой благоухающую топь: земля смешалась с мыльной водой. Канализации не было, и прачки выливали воду на улицу. Хотя Антонио уговаривал ее сесть на трамвай до Орты и она пообещала, что так и сделает, все же, приняв от него несколько сентимо, которые, надо думать, были последней заначкой каменщика, решила подниматься пешком: она была здоровая, сильная, прекрасно чувствовала себя, а от квартала Клот, где они жили, идти было не так и далеко.

В Орте спросила о Монсеррат, так звали пожилую прачку, которая высказалась в ее пользу у постоянного двора. Имя привело на память подругу, сестру, с которой они расстались навеки, так и не простив друг друга. Где-то внутри она ощутила болезненный укол вины: Монсеррат умерла, а она, Эмма, счастлива.

Прачка повела Эмму к товаркам своего возраста, хозяйкам собственных прачечных; они обходили невысокие дома – в три этажа, с белеными стенами; при каждом – дворы, огороды и большие мойки. Эмма все больше убеждалась в том, какой это тяжелый труд: прачки начинали в четыре утра и едва-едва заканчивали к ночи. Заметила, что белое и цветное белье стирается в разных чанах. «Самое грязное отдельно», – сказали ей. «Обычно это детские пеленки», – добавила одна из прачек, кивая на выпирающий живот Эммы. В других домах уже выстиранное белье отбеливали в горячей воде со щелоком и древесной золой, а в следующих его расстилали на крышах, в огородах, даже в поле, вдоль которого располагалось селение.

Они собрались у самой большой мойки, и Эмма заговорила о важности образования, о правах женщин, избегая антиклерикальных высказываний. Какие-то из них заправляли собственным делом, другие принимали в нем участие и разделяли взгляды хозяек; все они в каком-то смысле преодолели такой атавизм, как полное подчинение мужчине, будь то муж или отец, но Эмме не было известно, освободились ли они от Бога и его представителей на земле. Слова Эммы падали на благодатную почву, и она дала обещание: партия позаботится о том, чтобы прачки могли посещать занятия в каком-нибудь атенее или братстве, а там время покажет, кто готов сам ковать собственную судьбу, а кто уповает на Божий промысел.

Пробастовав почти три месяца, каменщики ничего не выгадали: не добились выполнения ни одного из своих требований и были вынуждены вернуться к работе. Безуспешной оказалась также и забастовка газовщиков и водителей трамваев. Владельцы, сплотившись, дали жесткий отпор рабочей борьбе. Жандармерия и войска железной рукой подавляли любые выступления. Власти наняли целую армию военных инженеров, и те заменили стачечников в отраслях, необходимых для повседневной жизни горожан, но решающую роль сыграла позиция гражданского губернатора Барселоны, который пригрозил, что всякий, кто призывает к забастовке, не преследующей чисто экономические цели, будет арестован и судим за подстрекательство к мятежу, причем военным судом, нагнавшим такого страху и столько вреда причинившим в памятном процессе в Монжуике; это положило конец объединенным забастовкам рабочих разных специальностей и любым попыткам поднять народ на всеобщую забастовку. В итоге не только многие пали духом и вернулись на рабочие места, увлекая за собой остальных, но и профсоюзы вместе с прочими структурами, защищавшими права наемных тружеников, потеряли силу.

Когда Антонио сообщил ей новость, Эмма сжала кулаки и стиснула зубы, чтобы не закричать, не заплакать. Но этого было мало: Антонио выделился как один из главарей, застрельщиков рабочих волнений, поэтому прорабы перестали нанимать его.

– Работа для меня найдется, – все-таки заверил он Эмму.

Найдется, конечно, но Эмма знала, на какие работы он может рассчитывать с этих пор: стройки, где не соблюдаются даже минимальные правила безопасности. Или незаконные стройки. Рабочий день без конца и края. Опасный труд за нищенскую плату, такую, какой никто не прельстится.

– И для меня найдется тоже, – пообещала она.

– Ты должна думать о ребенке. Тебе надо...

– Чем я хуже тебя? – вспыхнула Эмма.

– Ничем, – возразил Антонио. – Ты намного лучше. Береги себя... пожалуйста.

Ей тоже не удалось найти дополнительной работы, помимо продажи кур с Матиасом. Она уже готова была бросить политическую деятельность: митинги, вечерние занятия и все усилия, какие

прикладывала, чтобы убедить женщин учиться в республиканских школах. Как и обещала, она добилась от Хоакина Тручero, чтобы тот послал в Орту учительницу давать уроки прачкам, которые того пожелают. Эмма лично явилась в день открытия класса в одном из атенеев, сидела во втором или третьем ряду, позади всех партийных шишек, присутствовавших на церемонии. Не важно: там, среди других девушек, была и та, что хмуро пожала плечами у дверей постоянного двора на Соборной площади. Эмма продолжала работу, на этот раз среди гладильщиц. Если большинство профессиональных прачек жили вне Барселоны, гладильщицы, напротив, устраивались в городе, в Эшампле, там же, где жили богачи. Они тоже трудились в поте лица, много часов орудуя тяжелыми чугунными утюгами, которые нагревались на углях, и при этом зарабатывали так же мало, как и прачки, но имелась разница, для Эммы существенная: гладильщицам недоплачивали из-за конкуренции многочисленных монастырей, где монахини использовали для глажения бесплатный труд женщин и девочек, туда поступивших, тем самым сбивая цену.

Вот еще почему республиканцы и анархисты исповедовали антиклерикализм: монастыри и обитатели составляли нечестную конкуренцию рабочим многих специальностей.

Но даже и в монастыре Эмма не могла бы найти работы: заметив, что она беременна, ей всюду отказывали наотрез. Она пыталась изо всех сил. Даже встретила с Дорой: может, ей тоже стричь шкурки кроликов? «В последний раз беременная, которая работала с нами, – предостерегла та, энергично мотая головой, – выкинула плод... весь покрытый шерстью!» Девушка все еще поддерживала отношения с продавцом шляп, призналась она потом, но перед каждой встречей раздевалась догола у себя в комнате, перетряхивала всю одежду, тысячу раз проводила щеткой по волосам, которые еще и подвязывала косынкой, потом тщательно оглядывала всю себя, и только после этого выходила на улицу, где он ждал.

– Ни волоска! – выпалила она, вживе изобразив то, что проделывала ради встречи с женихом. – Клянусь, если какой-нибудь попадет на котелке или шапке, это не от меня.

– Может, было бы разумнее ему счищать волоски перед тем, как идти в магазин?

Дора шмыгнула носом и ответила:

– Да, но он говорит, что раз я эти волоски приношу... Приходится мириться, если я хочу оставаться с ним, и я уж знаю, что ожидает меня.

Такой вот оборот приняла жизнь Эммы перед Рождеством 1903 года, когда она заняла свое место рядом с торговцем курами у лотка на Рамбла-де-Каталунья. Тогда у нее и в мыслях не было, что Хосефа и Далмау выйдут вместе на прогулку, придут сюда и обнаружат ее. Она попыталась объяснить это Матиасу после того, как мать с сыном скрылись из виду, и долго его уговаривала, но в конце концов они поссорились.

– Мне-то какое дело, был этот хлыщ твоим женихом или нет? Мне нужно, чтобы ты работала, а от тебя в последнее время одни проблемы, эти твои заморочки со школами, образованием... Да еще и сегодня, когда такой наплыв, когда мы можем продавать по тем же ценам, что и другие, ты меня бросаешь одного на полдня.

– Какие полдня!

– Сколько бы ни было. Больше ни минуты!

Две женщины остановились, стали рассматривать цыплят.

– Я не могу остаться, – тихо, чтобы не отпугнуть покупательниц, сообщила Эмма, уверенная, что Далмау вернется. Она это предчувствовала... знала! – Потерпишь, пока не закончится ярмарка, ладно?

– Не потерплю, милая, – без обиняков заявил старик угрожающим тоном. – Если завтра не придешь в самую рань, забудь, что я нанимал тебя.

Женщины, оставив товар, в открытую упивались скандалом.

– Завтра-то я приду, – отвечала Эмма. – Я имею в виду сегодня. Мне придется уйти, и больше на ярмарку я не вернусь.

– Если сейчас уйдешь, можешь вообще больше не возвращаться, ни на ярмарку, ни после нее.

– Матиас, пожалуйста.

– Нет.

– Заплати, что мне причитается за сегодняшней день, – разозлилась Эмма. Старик пошарил в кармане и протянул деньги, даже не взглянув на нее. Потом обернулся к покупательницам. – Не берите у него этих кур, сеньоры, – выскочила вперед Эмма. – Они больные.

Объясни людям, где ты их добываешь, – бросила она старику и гордо удалилась.

По дороге домой тысячу раз пожалела об этом. Не те времена, чтобы бунтовать. Антонио работал гораздо больше восьми часов, добиться которых стоило каменщикам такого труда, но не зарабатывал и половины того, что ему платили за нормальный рабочий день. Возвращался вымотанный, угрюмый. Эмма подмечала, что этот великан, добродушный по природе, должен был делать над собой усилие, чтобы изобразить улыбку. Антонио не умел притворяться. Эмма, на митингах воспламенявшая народ, не знала, как объяснить, что лишилась работы, чтобы не встретиться с прежним женихом, о котором никогда не упоминала. Но тогда, на ярмарке, ее охватил неодолимый, панический страх. «Вот дура!» – проклинала она себя. Им нужны были деньги на еду. Плата за лачугу во дворе поглощала все, что они зарабатывали. Эмилия и Пура учили ее по-разному готовить картошку и свеклу, чтобы, как они говорили, обмануть зрение и вкус. «Из вчерашних картошек – сегодня новый обед».

– Это и значит создавать новое, – потешалась одна из них, размахивая руками, – а не то, что творит ваш Гауди в соборе Саграда Фамилия. Вот бы его ребенок неделями сидел на черством хлебе да картошке: стал бы тогда ерепениться этот ненормальный?

Вечером Эмма ничего не сказала каменщику, встретила его ласково, окружила заботой, предложила суп с картошкой и луком на говяжьей кости, уже вываренной в другом супе, который Пура приготовила для своей семьи. Вкуса от нее мало, может, и никакого, но посмотришь, как она плавает в кастрюле, и душа радуется, убедила Эмму подруга, передавая ей кость. Завтра она все уладит с Матиасом. Извинится. А если Далмау придет на ярмарку цыплят, расскажет об Антонио, о ребенке, о том, как она счастлива с таким мужчиной.

Она явилась в дом торговца курами на рассвете, когда солнце с трудом пробивалось сквозь темную, густую пелену влажных испарений. Было очень холодно, дыхание Эммы тут же превращалось в облачка пара. Пальто уже не сходило с живота и не могло защитить ее от немилосердной погоды; может быть, от него будет какой-то прок потом, когда солнце поднимется выше. Матиас впустил ее в дом, где была печка, жарко натопленная углем. Эмма долго не могла согреться.

– Прости меня, – повинилась она, даже еще не размотав шарф. – Извини. Я была не в себе. В моем положении...

Матиас слушал, не прерывая. Угостил кофе с молоком. Сам пил анисовку и понимающе кивал.

А Эмма рассыпалась в извинениях:

– Тот парень был моим женихом... И я не была готова с ним объясняться.

Стук в дверь заставил ее умолкнуть. Матиас встал и впустил толстую девицу, такую же замерзшую, как Эмма.

– Познакомься, это Росарио. – Старик взял вновь пришедшую за руку и ввел ее в комнату.

– Привет, – проговорила Эмма, предчувствуя неладное, и точно: девица подпрыгнула, истерически завизжала, когда старик ущипнул ее за ягодицу.

– Матиас! – бросила она с укором, изображая скромницу.

Эмма несколько мгновений колебалась. Она-то думала, что держит похоть старого хрыча под контролем; соблюдает дистанцию, хоть и разжигает желание, но вот, гляди-ка, является толстуха, которая позволяет трогать себя за задницу. Эмма глубоко вздохнула, выпрямилась. Она не позволит!.. Потом взглянула на свой живот, и омерзение пересилило страх потерять работу.

– Старый козел! – с яростью выкрикнула она на прощание и направилась к двери, расталкивая сладкую парочку.

– Маэстро, маэстро...

Услышав оклик, Далмау остановился на мосту, нависавшем над железнодорожными путями, которые пересекали Барселону по улице Арагон. В нескольких метрах внизу, между крепкими откосными стенами, ходили поезда. Маравильяс с братом, *trinxeraires*, которые то появлялись в жизни Далмау, то исчезали, возникли перед ним, словно по волшебству. Далмау в очередной раз оглядел их с ног до головы: его всегда поражало, насколько они убогие и грязные.

– Я ее нашла! – воскликнула девочка.

Далмау помотал головой. Он отобедал у дона Мануэля и за столом выпил. Потом, пока все дремали в разных комнатах, Урсула набросилась на него. На этот раз они укрылись в каморке, полной всякого хлама, которая являлась частью широкой лоджии, выходящей в задний, световой двор. За ней начиналась лестница, ведущая к хитросплетению разных технических служб, общих для всего здания; к служебным входам в магазины нижнего этажа и к маленькой задней двери, ведущей прямо на улицу.

Урсула, как всегда, тискала его возбужденный член. Далмау добился того, чтобы она не слишком давила, а когда он кончал, Урсула вскрикивала от омерзения и отдергивала руку, чтобы не запачкаться. Сам он не получал никакого удовольствия.

– Сколько времени ты продержишься, отказывая своему телу в наслаждении, которого оно требует каждый раз, когда ты меня трогаешь?

– Наглый горшечник, что ты о себе возомнил.

Те же привычные оскорбления, но тон уже не такой резкий, даже взгляд, который Далмау не мог отобразить на холсте и оттого мучился, время от времени смягчался.

Он стиснул ей грудь через платье, через вышивку, украшавшую корсаж: ничего больше девушка не позволяла.

– Разве тебе не нравится? – (Урсула не ответила.) – Нравится, правда? Ты вообразить не можешь, как тебе понравится, если я укушу твой сосок.

– Молчи, свинья!

Но Далмау замечал, что с каждым разом, когда они оставались наедине, а это случалось все чаще и чаще, Урсула делала маленький шаг вперед: закрывала глаза и предавалась наслаждению, которое в доме донна Мануэля и его супруги доньи Селии моментально оборачивалось виной и грехом, будто с любого, кто туда входил, срывали яркий плащ, который он носил на улице, и набрасывали другой, мрачный, черный, тяжелый. И Далмау не мог отрицать, что игра его увлекала; он осознавал, что в один прекрасный день Урсула не устоит, будет его домогаться взглядом. Он воображал этот момент, представлял себе этот взгляд, беззащитный, покорный, влажный, возбужденный, молящий о милости.

Весь погруженный в ощущения, одновременно сладостные и полные горделивого вызова, он плотнее запахнул пальто, поскольку этот февральский день 1904 года выдался пасмурным и холодным, и обратил наконец внимание на Маравильяс.

– Что ты такое нашла? – рассеянно спросил он, уже сунув руку в карман, чтобы дать *trinxeraires* несколько сентимо и избавиться от них.

– Эту, которую ты искал, Эмму...

– Тазиес, – помог ей Далмау, внезапно очнувшись.

– Ее самую.

– Маравильяс, – сказал он с укором, припомнив, сколько раз девчонка обманывала его, чтобы вытянуть деньги, – ты уже это говорила неоднократно, и...

– На этот раз точно! – перебила его нищенка, подходя ближе.

Внизу прошел поезд, и Далмау не расслышал, что говорила *trinxeraire*; перестук колес и лязг железа о железо отдавались от плотных откосных стен, и, словно из резонатора, доносились до моста, где они стояли, и до близлежащих зданий. И все-таки Далмау догадался, о чем идет речь, даже до того, как по указке Маравильяс слово взял Дельфин.

– Да, мы нашли ее, – подтвердил мальчик.

«Что еще он может сказать, если во всем слушается сестру?» – подумал Далмау. Но все же уступил: что он теряет, еще раз попробовав?

– Если вы опять ошиблись, – пробурчал он, не слишком многого от них ожидая, – клянусь, больше не получите от меня ни сентимо.

– А если не ошиблись? – приступила к нему Маравильяс.

– Я вам заплачу.

Trinxeraire подавила улыбку, не хотела, чтобы Далмау догадался, как долго они водили его за нос. Вместо того кивнула с серьезным видом, будто и в самом деле боялась лишиться милостыни из-за новой ошибки. Но никакого риска не было просто потому, что Маравильяс изначально знала, где искать Эмму. В какой-то момент вроде бы ее потеряла, когда та исчезла из дома, где делила постель с Дорой, но бродяжка вышла на торговца курами, проследила за Эммой до Республиканского Братства, а потом до жилища каменщика. Время от времени, когда блуждания приводили их в те места, где можно было встретить Эмму, Маравильяс старалась разузнать свежие новости. В конце концов, какая разница, где ночевать: у богатых домов на Эшампле или в квартале, где жила Эмма с ее каменщиком? И там и там они с братом укрывались в каком-нибудь подъезде, пока среди ночи их не вышвыривал пинками либо жилец, либо другой бездомный, посильнее, который тоже позарился на это убежище. Она узнала, что Эмма потеряла работу у торговца курами, поскольку увидела рядом с ним другую девушку. Бродяжке было неизвестно, где Эмма теперь работает, и работает ли вообще, но она точно продолжала жить со своим каменщиком. «Почему это вдруг мы сейчас ему скажем?» – удивился Дельфин, когда сестра изложила ему свой план. «Разве ты не понял, что она беременная, уже и живот торчит?» – отвечала Маравильяс. Мальчик кивнул: да, понял. «Вот поэтому. Разве маэстро станет любить тетку, которая беременна от другого?» – «Что мы с этого получим?» – спросил брат, и *trinxeraire* сама задалась этим вопросом. «Денежки», – брякнула она, только чтобы от него отделаться. В самом деле, что получит с этого Маравильяс, кроме очередной подачки? Ничего. Ей и не подойти к Далмау, разве чтобы попросить милостыню, или ночью, когда он, пьяный, качаясь, бредет по улицам, а иногда и падает. Тогда, если Дельфина не было поблизости, она осмеливалась осторожно прикоснуться к его грязным, спутанным волосам. Далмау бормотал какую-то несуразицу, или, что бывало чаще, его рвало, и он приходил в себя. Бывало, что появлялась проститутка или карманник, который отталкивал ее и обчищал Далмау. Но у того после ночных скитаний по притонам редко оставались деньги, зато однажды с него сняли ботинки, а в другой раз шапку и

пальто. Маравильяс и правда ничего с этого не получала, но ей хотелось, чтобы Далмау увидел свою зазнобу, так горячо любимую, с огромным пузом, которым ее наградил каменщик. К тому же однажды она пожалела для девочки черствого хлеба; так ей и надо.

Далмау весь задрожал, увидев Эмму из-за дерева, где затаился вместе с *trinxeraires*, на пустыре как раз напротив дома, в котором, как уверяла Маравильяс, Эмма жила: темного, обшарпанного здания с дешевыми, предназначенными для рабочих квартирами, куда они набивались в огромных количествах, если судить по гомону, доносившемуся с каждого этажа, словно из дьявольской музыкальной шкатулки. Далмау остолбенел при виде раздутого живота, но еще большее было смотреть на потрепанную одежду, на грустное, осунувшееся лицо. Все в Эмме буквально кричало о бедах и невзгодах.

– Я же тебе говорила! – торжествовала Маравильяс. – Теперь она несет обед мужу на стройку, он там работает. Он – каменщик. Она каждый день ему носит обед. Видишь кастрюлю и буханку хлеба?

Далмау тупо кивал, весь во власти горестного изумления. Внутри у него будто разгоралось пламя, а по щекам катились слезы: с этой ли женщиной он делил любовь, мечты, радости, неповторимые моменты наслаждения, ее ли с восторгом изображал обнаженной? Он содрогнулся, увидев, как тяжело, неуклюже она ступает, по-утиному переваливаясь, широко расставляя ноги.

– Пойдем за ней? – предложила Маравильяс.

Далмау помотал головой и отвернулся, скрывая слезы. Куда Эмма приведет его, как не к мужу, которому несет обед, а Далмау не желал его знать, хотя в глубине души назревали противоположные чувства. Пока он раздумывал, Эмма удалялась. Ей, должно быть, холодно в этом изношенном пальтеце, которое не сходится на огромном животе, свисает по бокам, незастегнутое. Далмау чувствовал этот холод, все внутри у него оледенело. На мгновение задался вопросом, мальчик или девочка родится у Эммы, но тут же одернул себя. Какая ему разница, будет у каменщика сын или дочь? Он упустил свое счастье, не был настойчив, просил и умолял недостаточно. Потом не смел ничего предпринять, чтобы вернуть ее, а когда решил пойти в «Ка Бертран» после выставки портретов *trinxeraires*, будто дожидался успеха, чтобы подарить любовь, Эммы там уже не было.

Женщина шла враскачку, и это позволяло Далмау долго следить за ней взглядом. Мрачный, серый горизонт, к которому она направлялась, усиливал тоску и печаль. Все его подавляло. Закружилась голова, он оперся о ствол дерева. Сделал глубокий вдох: его лихорадило, не хватало воздуха. Далмау задрожал, объятый страхом. Как он мог допустить, чтобы Эмма дошла до такой крайности?

В этот вечер он не пошел на работу. Щедро заплатил Маравильяс и ее брату и отправил их на фабрику, передать, что сам ушел на стройку дома Льео-и-Мореры. Дон Мануэль порадует, ведь Доменек одно за другим возводит великолепные здания, требующие огромного количества керамики. Далмау же отправился по кабакам Равалья, и образ Эммы, уродливой, несуразной, толстой, неуклюжей, всюду преследовал его, но шла она всегда впереди. К концу вечера он снял проститутку: нужно было избавиться от Эммы.

– Нет, нет, нет! – закричал он, когда женщина, раздевшись, пыталась возбудить его руками. Ничего не получалось. – Оставь меня!

Он все еще видел, как Эмма своей тяжелой походкой уходит к серому горизонту, направляясь к мужу.

– На-ка вот, – проговорила шлюха.

Далмау лежал на убогой койке в насквозь провонявшей комнате. Кажется, снаружи шел дождь. По металлической крыше какого-то строения на световом дворе, куда выходило окно, стучали капли, сочиняя мрачную симфонию. Проститутка, чей возраст скрывали следы профессии, накинув вылинявший голубой халат, присела на край кровати, которая протестующе заскрипела. Женщина держала в руках шприц. Далмау знал, что в нем: морфин. Многие употребляли его, все превозносили.

– Дай-ка руку, – велела она. Далмау заколебался. – Забудешь печали, которые терзают тебя.

Далмау протянул руку. Эмма все шла и шла впереди, и это было мучительно. Игла вонзилась в бицепс, и через пару мгновений его затошнило, страшно пересохло во рту. Женщина пыталась его успокоить, а он метался в постели, весь в поту, и желчь подступала к горлу.

– Спокойно, – шептала ему на ухо проститутка, лаская его. – Это быстро пройдет. Спокойно. Дыши глубже... Спокойно.

Наконец тошнота улеглась и Далмау мало-помалу успокоился. Капли дождя стучали по металлической крыше уже не настырно и угрожающе, но размеренно и благозвучно. Шлюха оказалась привлекательной: юная танцовщица жестом, полным чувственности, снимала с себя одежду. Голубой халат, легкий, невесомый, плыл в воздухе, пока наконец не упал на пол, как и Далмау плыл, лежа в постели. Он не слышал, что говорила женщина, хотя она произносила слова, и слова эти плавали вокруг, оведали его, сначала льстивые и ласковые, потом чего-то взыскующие.

Далмау проснулся дома, в своей постели. Он ничего не помнил... Как удалось ему добраться сюда? Голубой халат, женщина, секс, обратный путь – все это проявлялось постепенно, будто он сам рисовал происходящее на холсте, и контуры заполнялись красками, все ярче и ярче. Сердце сильно билось, он обеими руками схватился за грудь: больно. Полежал без движения, терпя эту острую боль. Однако через несколько минут все прошло, и боль, и тревога. Далмау потрогал бицепс, там на месте укола остался крошечный струпик. Сковырнул его. Морфин. Подождал немного, не вернется ли болезненное ощущение тревоги. Но нет. Он себя чувствовал прекрасно. Осторожно приподнялся в постели, боясь, что закружится голова. Даже это ощущение пропало, когда он встал и вытянул руки перед собой, дабы убедиться, что все в норме. Подпрыгнул, походил. «Черт возьми!» – подумал про себя. Он не успел напиться, выпил только немного вина, и голова была, как никогда, ясная. «Может, и правы те, кто так хвалит морфин», – поразмыслил он, и тут воспоминание об Эмме, из-за которого он и получил укол, обрушилось на него, как пощечина.

– Мама! – позвал он, выходя из своей спальни.

Хосефа приготовила сытный завтрак: подсушенный хлеб, сало, чашку молока, без кофе; кофе кончился, извинилась она. Отошла от швейной машинки, села с ним за стол, радуясь тому, что он ест за двоих: обычно, переночевав дома, он не завтракал с таким аппетитом. И говорил спокойно, отчетливо, не откашливался, не прочищал горло, избавляясь от миазмов, какими надыхался ночью.

– Я вчера видел Эмму, – признался он, не переставая есть. Хосефа заметила, как он весь подобрался, сжался. – Она беременна, на сносях.

И в самом плачевном состоянии. Думаю пойти предложить ей помощь, может, сколько-то денег.

– Нет!

Далмау попятился, споткнулся обо что-то, чуть не упал. Мать сказала ему то же самое: «Нет!» Предупредила его, а он не прислушался. Эмма всего лишь позволила ему войти в крошечную лачугу, и он вошел, все еще с вытаращенными глазами, с невнятной речью; да и впустила она его лишь тогда, когда дети, резвящиеся в узком проходе, набросились на постороннего под любопытными взглядами двух сидевших на стульях теток, которые за ними присматривали. «Не совершай такой ошибки, – советовала мать. – Эмма гордая. Она ничего от тебя не примет». Мать была права: Эмма оправилась от изумления и вскинула подбородок. Далмау улыбнулся. Она – нет.

– Чего тебе надо?

Эти ее слова прозвучали как пощечина. «Если девочка в таком плачевном состоянии, как ты говоришь, последнее, чего она захочет, это видеть тебя», – предупреждала Хосефа. Шалью, которая была у нее на плечах, Эмма старалась прикрыть ветхий халат, в котором ходила дома. Это мало помогло. Она еще выше задрала подбородок, чтобы Далмау смотрел ей в глаза и не заметил, что на ногах у нее старые носки Антонио, отчего ступни казались огромными. Детишки обступили их.

– Входи, – неохотно пригласила она.

«Ты только унизишь ее», – добавила Хосефа. Но он спорил, приводил аргументы. Прошло уже немало времени, сказал он. И раз она теперь с другим... «Зачем тебе это? – спросила мать. – Оставь ее. Забудь». Он просто хочет помочь, настаивал Далмау, ради любви, которую они испытывали друг к другу, ради нежности, которая в нем все еще жива. Эмма наверняка уже забыла старые обиды. Иначе и быть не может. «Сынок, – изрекла мать, – боль и гнев, как и другие чувства, не забываются, просто загоняются в угол и загораются с той же или большей силой от малейшей искры».

– Как ты живешь? – спросил Далмау у Эммы.

Та издевательски расхохоталась, показывая на свой живот, обводя взглядом дом.

– Разве ты сам не видишь? Разве ты не затем пришел, чтобы посмеяться надо мной и над тем, как я живу? Мало тебе было того, что ты в твоих рисунках выставил меня голой перед всей Барселоной?

– Насчет рисунков я не виноват... – стал оправдываться Далмау, но Эмма перебила его:

– Это верно: я сама виновата, что позволила тебе себя рисовать...

– Я хотел сказать, их у меня украли.

– ...и доверяла тебе, – заключила Эмма.

Далмау совсем потерялся.

– Я... хотел тебе помочь. Я узнал, что... В смысле... Я думал, что могу дать тебе сколько-то денег. Мне сказали...

И тогда Эмма прервала его точно так, как предупреждала мать: «Нет!»

Но Хосефа не успела предупредить сына о том, что женщина с таким нравом, как у Эммы, почувствовав себя уязвленной, униженной, не станет плакать, не покажет, что ей больно, а даст отпор, словно львица. Сидя за шитьем, она пожалела Далмау.

Он не прислушался к советам. Эмма причинит ему боль.

– Эмма, – снова начал Далмау, сделав шаг вперед. Та, напротив, не пошевелилась, так и стояла неподвижно, выпрямившись, в вызывающей позе. – Я всегда любил тебя. И нет... никогда не хотел навредить тебе! Я люблю тебя. Продолжаю любить. – (Эмма молча слушала.) – Мы могли бы снова... – Он покосился на живот и понял, какую глупость чуть было не сморозил. Развел руками, будто извиняясь. – Я был дураком, что не настаивал, не преследовал тебя, не вставал перед тобой на колени. У нас были проблемы. Я выпил лишнее... Погибла Монсеррат... Мы могли бы их решить. Мы так любили друг друга, что могли бы все преодолеть, а я... поверь, я до сих пор тебя люблю.

– Козел! – крикнула Эмма так же громко, как перед молочной фермой, когда Бертран выгнал ее из столовой, а она оказалась перед воротами фабрики изразцов и не застала там Далмау. – Козел! – повторила в бешенстве, сжимая кулаки, чтобы боль вырвалась криком, а не излилась потоком слез.

С того дня, как ее уволили из столовой из-за рисунков, где она была изображена голой, вся ее жизнь рухнула, покатилась под откос. Да, она любила Антонио и ребенка, еще не рожденного, но они

бедствовали. Им не хватало на еду! Каменщик изнурял себя, чтобы она выносила младенца, которому родители не могли гарантировать будущее. Беременная, она не могла найти никакой работы. Некоторые проявляли милосердие: «Что ты умеешь, девочка?» – «Готовить еду, – могла бы она ответить, – торговать больными курами, украденными из карантина, и произносить революционные речи перед женщинами, призывая их отречься от религии, от Церкви, даже от собственных мужей, если будет надо». Беременная, без профессии: даже те, кто искренне хотел помочь, не решались нанимать ее. В конце концов Эмма явилась в Республиканское Братство и постучалась в дверь Хоакина Тручеро. Молодой политик продолжал благоденствовать под крылом Лерруса, несомненного лидера рабочих масс Каталонии.

– Чего ты хочешь? – спросил он вместо приветствия, сидя за письменным столом, лишь на секунду оторвав взгляд от бумаг и даже не предложив ей сесть.

Неприязненное отношение Тручеро к Эмме укоренялось по мере того, как увеличивался ее живот, и похотливый взгляд, каким он раньше ее окидывал, сменился вот этим: секунда рассеянного внимания и полное пренебрежение; вместо того чтобы выслушать, молодой лидер снова погрузился в партийные документы.

– Чего ты хочешь? – снова спросил он, поскольку Эмма молчала.

– Мне нужна работа, – ответила та, призвав на помощь всю свою выдержку.

– Половине Барселоны нужна работа. – Сказав это, Хоакин Тручеро поглядел Эмме в глаза, и та сразу же поняла, что никакого снисхождения не будет. – Но преобладающее большинство этой половины Барселоны составляют мужчины, которым нужно содержать семью, жен и детей. Женщин за жалкую мзду нанимают на фабрики, где используются машины, мужчин выставляют на улицу, а дети умирают от голода. Твой мужчина, сделав тебе ребенка, должен был бы и содержать тебя... Или он недостаточно мужчина для этого?

Эмма не нашлась что ответить. Решимость, с которой она вошла и выпалила первую фразу, рассеялась, и случилось то, чего она так боялась: полились слезы. Она, всю свою жизнь скупая на слезы, теперь начинала плакать перед самой банальной проблемой, самым незначительным затруднением. «Не переживай, – пыталась ее успокоить Эмилия в проходе между домами, – беременные все время

плачут как дурочки; наверное, наша женская природа полнее всего проявляется в момент зачатия, и тогда же мы становимся неуклюжими, слабыми и глупыми. Как же после этого будет нас уважать эта банда сукиных сынов, ведь они только и умеют, что похвалиться куском плоти, который твердеет редко и ненадолго?»

– Слезам ты ничего не добьешься, – вернул ее к реальности Хоакин Тручеро. – Вижу, великая «товарищ учительница» так же ноет и пускает нюни, как и все остальные, – бросил он ей в лицо. Эмма никак не реагировала, будто тяжесть нависающего живота сковала и тело ее, и дух. Просто стояла и плакала. И ничего не могла с этим поделаться! – Эмма, у тебя не осталось аргументов, чтобы и дальше бить на жалость. Уже все знают, что твой отец умер от пыток после процесса в Монжуике; всем известно, что та, кого ты называешь «сестрой», пала смертью храбрых во время всеобщей забастовки два года назад, и всем надоело снова перед жандармерией вместе с тобой, другими женщинами и кучкой ребятишек. Все. Этому пришел конец. Теперь живи, как другие женщины, как те, кому ты даешь уроки. Бери с них пример. Они не плачут. Их мужья работают, а они делают все, что от них требуется. Полагаешь, все они приходят в Братство, когда у них возникают проблемы?

Выложив ей все это, Хоакин Тручеро вернулся к бумагам, давая понять, что разговор окончен. Эмма еще мгновение постояла, потом развернулась и вышла из кабинета.

И вот теперь Далмау явился к ней в дом, в эту жалкую комнату, кичливо похваляясь своими деньгами, унижая ее подачкой...

Эмму передернуло; ее и так уже достаточно унижали.

– Козел! – повторила она.

– Успокойся, – попросил Далмау, протягивая руку, чтобы взять ее за локоть.

Эмма резко отпрянула.

– Убирайся, негодяй! – заорала она. – Чтобы я больше никогда не видела тебя в моей сучьей жизни! – продолжала она вопить ему в спину: Далмау уже пробирался между детишками, которые бегали по проходу. – Забудь обо мне! Я для тебя не существую. Не в добрый час я тебя узнала, мерзавец, сволочь! Не нужно мне!..

Эмма бежала за ним до привратницкой, выскочила на улицу с криками и проклятиями. Далмау обернулся, сделал еще одну попытку:

– Я тебя любил, и...

– Иди в жопу! Чтоб ты сдох с твоими деньгами и богатенькими шлюшками! Козел!..

– Эмма! – окликнула ее Пура, которая шла за ней следом. Та обернулась, разгневанная, запыхавшаяся, готовая продолжать свою диатрибу. – Его здесь нет, дочка, – увещевала женщина. – Успокойся. Он смылся, – добавила она, указывая на спину Далмау.

Хосефа жала на педаль швейной машинки, давила ногой с силой, без устали. Далмау неосторожен. Может быть, он и гений, рисует и пишет на славу, но мало знает о жизни. Сердце у него доброе, но он легко поддается влияниям. Он – не борец. Ничего хорошего не выйдет из этой встречи. Ничего. Он хочет вернуть Эмму, вот в чем дело. Пусть даже она беременна от другого! Просто безумие! Он не хотел признаться. Оправдывался: нежность... память о прошлой любви... Она – мать, и разгадала его истинные намерения так же отчетливо, как если бы он объявил о них наподобие тех людей, которые ходят по улицам Барселоны с плакатами от шеи до пят, сзади и спереди. Далмау жил в мире фантазий; он, художник, привык воплощать в жизнь свои мечты, перенося их на холст или на изделия из керамики. Хосефа неправильно подложила под иглу манжету, которую строчила. Хотела поправить, но запуталась нить. Пока останавливала машину, появились лишние стежки. Работа испорчена. Хосефа закрыла руками лицо и расплакалась. Точно так же, как Эмма, одна у себя дома, в изнеможении бросившись на кровать, защищая живот от неведомой опасности. Точно так же, как Далмау, который брел не разбирая дороги, желая одного: чтобы ему помогли обрести забвение. Он представить не мог, чтобы Эмма повела себя так, чтобы так взбеленилась, хотя мать и предупреждала его. Разве это – его Эмма? Она изменилась. Нищета, беременность, очень вероятно, что этот каменщик... не исключено, что он грубо обращается с ней. Да, наверное, так и есть: это заметно. Эмма исполнена горечи, и всякая надежда хотя бы завоевать ее дружбу, добиться прощения, так ему необходимого, развеялась прахом. Да, ему очень нужна помощь, он должен забыться.

Помощь Далмау обрел той же ночью, после попыток придумать новую модель изразца, которая удовлетворила бы запросам дона Мануэля. Тщетных попыток. Ничего не получалось, хотя Далмау подстегивал себя изрядными порциями водки; мысли его не отрывались от Эммы, тесно сплелись с бедой и печалью, которые источал весь ее облик, и творческая сила его оказалась погребена под тяжелой обидой девушки, запечатана, будто в коконе, чтобы больше не оскорблять ее: ведь в какой бы дали она ни существовала, ничего не зная о произведениях Далмау, это его преимущество по-прежнему причиняло боль. Он даже не стал ужинать, сразу направился в кафешантан, расположенный в недрах старой Барселоны, в одном из бесчисленных ее закоулков. Как во многих других притонах, там употребляли морфин, время от времени кто-нибудь выкуривал трубку опиума; также был в ходу героин, новый опиат, которым многие врачи рекомендовали лечить зависимость от морфина. Отсюда название, которое ему присвоила немецкая фармацевтическая фирма, его выпустившая на рынок: героин, средство, не приводящее к такой зависимости, как морфин, хотя Далмау слышал, что один наркотик попросту заменялся другим, не принося наркоманам никакого облегчения.

Морфин был не так распространен в Барселоне, как в Париже, Лондоне, Берлине или во многих крупных американских городах, но его употребляли настолько регулярно, что муниципальные медики в публикуемых сводках приводили статистику отравлений морфином. Сначала Далмау подумал было пойти в аптеку и купить пузырек; он знал, что фармацевты продают такие средства сравнительно дешево, но спохватился, что из-за своей неопытности в таких делах может ошибиться с дозой или неправильно сделать укол, тем самым причинив себе вред. Поэтому решил направиться в «Черное Небо»: там наверняка сидит Адольфо Лопес, поэт, пишущий стихи под диктовку морфина, погруженный в то безмятежное, побуждающее к творчеству состояние, к которому неоднократно предлагал приобщиться и художника Далмау.

Поэт причислял себя к модернистам; у него никогда не бывало денег, чтобы расплатиться за то, что он заказывал в кафешантане, хотя морфина всегда было в достатке. Вид его отчасти даже восхищал Далмау: длинные седые волосы, редкие и сальные; потертый сюртук,

рубашка и галстук в жирных пятнах, неопределенного цвета; помятый, потерявший форму котелок.

– Сын мой, – вещал поэт, когда Далмау присаживался к столику, который тот неизменно занимал в углу, рядом с подмостками, – модернизм в литературе – это довольно просто: выбираешь кучку редких, звучных и непонятных слов, какими нормальные люди не пользуются, и сочетаешь их друг с другом. Вот, например, «хризолитовый»! Как тебе нравится «хризолитовый»? – (Далмау усмехнулся, будто услышал шутку.) – Так вот, ты говоришь о хризолитовости чего-то такого... Ну, всегда лучше приплести нечто, не имеющее цвета: ветер, к примеру. «Рокотал хризолитовый ветер...» – сочинил он на ходу. – Или приписываешь неодушевленным предметам качества, им совсем не подходящие: «В дворцах счастливой Аркадии, меж аркбутанов усталых...» – продекламировал он нараспев.

– В этом нет никакого смысла, – заметил Далмау.

– Эка важность! Все дело в эстетике. Вот чего мы взыскуем: красоты. Речь не о том, чтобы передавать идеи. Сегодня мы гонимся... – Поэт взмахнул рукой. – Гонимся за красотой... даже в смерти. Важно лишь одно: искусство. Искусство для искусства. Ни учреждение, ни территория, ни власть, ни чувство не заставят нас написать ни единой буквы.

Далмау раздумывал над этим в тишине, которая наступала, когда поэт пропадавал, сделав себе укол заржавевшей иглой. Разве не то же самое происходит в архитектуре, производящей такое глубокое впечатление? Неопределимое смешение архитектурных стилей в случае Доменека или Пуча подобно слиянию непонятных и звучных слов; стремление раскрасить ветер, поцелуй, улыбку столь же фантастично, как и старания Гауди привести камень в движение. Искусство для искусства, лозунг, столь ненавистный дону Мануэлю. Искусство должно служить какой-то цели: защищать страну, укреплять католическую веру. Реакционеры не способны понять искусство, которое ищет вдохновение в себе самом, а не во вне его лежащих ценностях.

«Нельзя заставить искусство окаменеть», – витийствовал поэт перед Далмау. И каждый раз, когда они сидели вместе за столиком, один со стаканом спиртного, другой со своим морфином; один – принадлежащий к богеме старый неудачник, другой – молодой

художник в расцвете творческих сил, – их объединял единый духовный порыв, и в конце они уходили вдвоем, пошатываясь, держась друг за друга, и брели по улицам, раскинувшимся в ночи.

Далмау написал портрет поэта, и тот, гордый, благодарный, повесил его над своим столиком в «Черном Небе», угловым, перед подмостками, к которому и направился Далмау в тот день, когда Эмма выплеснула на него всю свою ненависть. На сцене девушка в желтом платье с оборками по подолу, в большущих черных серьгах, с гребнем в волосах и кастаньетами в руках пыталась привлечь внимание публики, а та болтала, хохотала, играла, пила и кричала, безразличная к танцу фламенко, который танцовщица пыталась исполнить под гитарный перебор и куплеты хриплого кантаора.

Рядом с поэтом устроились какие-то женщины и цыган с длинными черными волосами и густой бородой, уверявший, будто он приходится дядей девушке, исполнявшей танец. «Недобрые люди», – уже однажды предостерегали Далмау, но сейчас он уволок стул от другого столика, чтобы присоединиться к компании.

– Привет, – проговорил он, придвигаясь к Адольфо.

Поэт улыбнулся, ласково похлопал его по коленке. Цыган что-то буркнул в ответ; возможно, он единственный во всем заведении следил за движениями танцовщицы, которая отбивала чечетку на сцене. Женщины даже не заметили, что кто-то подсел за их столик: улетели куда-то далеко, потерялись в пространстве. Адольфо поднял руку, подзывая официанта, но Далмау пригнул ее обратно.

– Нет, – сказал он. – Сегодня мне не надо выпивки.

Других объяснений не потребовалось.

– Тебе это предначертано, – осклабился старый поэт, показывая испорченные зубы, один из которых плохо держался в деснах, плясал не хуже цыганочки в желтом. – Такие гении, как ты, не могут смириться с миром ограниченных ощущений. Сам увидишь, что здесь, – добавил он, постучав пальцем по шприцу, лежавшему на столе, – все бесконечно.

Этой ночью Далмау научился колоться. В самом деле, как просто: воткнуть иглу в бедро или в руку. Можно в вену, но это сложнее. Лучше прямо в бедро, через брюки. Максимум одна инъекция.

– Вот такого объема. – Поэт показал на шприц. – Я бы на твоём месте не превышал одной такой дозы в день, если ты собираешься

ежедневно вкалывать морфин, что вовсе не обязательно, – продолжал он свои наставления. – Если останешься на таком уровне, достигнешь того, что называется «опиумной мерой». Будешь наслаждаться наркотиком, не подвергаясь хронической интоксикации и не страдая от абстинентного синдрома: эту опасность ты должен всегда осознавать.

Далмау хотел забыть Эмму, образ которой целый день мучил его: вот единственное, что он осознавал. На мгновение заколебался, схватив шприц и занеся его над собой, как нож.

– Совсем не обязательно вонзать его со всей мочи, будто хочешь кого-то убить, хотя силу приложить придется, – советовал поэт, приготовив ему инъекцию и показав, куда колоть: в бедро, сбоку.

И Далмау вонзил иглу. Перетерпел боль, стиснув зубы. Потом закачал жидкость и молча ждал, когда она окажет действие и перенесет его во вселенную, где Эммы не существует.

Если алкоголь помог ему избавиться от комплексов и восстановить былое мастерство в рисунке и живописи, морфин, водянкой рукой Далмау, вознес его до гениальности. Формы, цвета, тени, одухотворенность, мощь самой жизни проступали на холсте... Далмау продлевал свои рабочие дни: поработав с керамикой, выполнив разные коммерческие заказы, он в покое, в тишине опустевшей фабрики принимался писать. Порой рассвет заставал его там, обессиленного, заснувшего на стуле или даже на полу после того, как вместе с действием наркотика иссякала энергия, утихал водоворот творческих сил.

Новое свидание с живописью произошло, и ему нетрудно было увидеть, как проявляются в его творениях те же черты, что и у великих мастеров модерна, которым он одно время завидовал. Мало-помалу в мастерской копились холсты: одни явно незаконченные, простые этюды, дерзкие по замыслу; другие отделанные, в большинстве своем мрачные, темные, произошедшие из эскизов, набросанных во время ночных походов по кафешантанам, театрам и публичным домам, так непохожие на этюды обнаженной женской натуры в его альбомчике. Те девушки радовались солнцу, которое богачи вот уже три года как купили для своих квартир на Пасео-де-Грасия.

Также он научился понимать здания в стиле модерн, за возведением которых следил, усиленно посещая стройки, иногда

чтобы доставить керамику с фабрики дона Мануэля и проследить за ее укладкой, иногда чтобы поддерживать контакт с архитекторами и подрядчиками, обеспечивая новые заказы. Ужасающий экономический кризис ударил по строительству, работы лишились каменщики, плотники, штукатуры, кузнецы и представители других специальностей, связанных с возведением зданий, но это происходило на дешевых стройках по жалким типовым проектам. Толстосумы Барселоны, богатея с каждым днем, воздвигали себе памятники в виде бессмертных творений, а простой народ умирал с голоду.

Доменек продолжал строить дом Льео в том же квартале, что и дом Амалье, а текстильный магнат Жузеп Бальо нанял Гауди, чтобы тот перестроил расположенное рядом старое здание. Леса уже покрывали фасад дома, которому, судя по слухам, дошедшим до ушей Далмау, суждено было превратиться в невероятный дворец, подлинное воплощение фантазии. Три здания в одном квартале, три фасада, выходящих на Пасео-де-Грасия. Три лучших архитектора стиля модерн. Три разных архитектора. Три гения.

Кроме только что начатого дома Бальо, Гауди продолжал работы в Парке Гуэль, строил башню Бельесгуард и храм Саграда Фамилия. Пуч возводил Дом с Пиками на Диагонали и дворец барона Куадраса на том же проспекте, буквально рядом. Доменек продолжал строить дом Льео и больницу Санта-Креу-и-Сан-Пау. То были великолепные творения, и Далмау, посещая их все, приходил в восторг от каждой детали, какую эти чародеи дизайна добавляли к целому, его восхищали венцы, террасы, горгульи, колонны, статуи, работа по дереву, изразцы, мозаики, кованое железо, витражи... Молодой художник переживал период обостренной чувствительности. Он полагал, что выдерживает ту опиумную меру, о которой говорил Адольфо Лопес. Он купил шприц с серебряной иглой в никелированном футляре, морфин доставал в старом городе, в аптеке на Королевской площади, рядом с городской управой, и делал инъекцию, только когда писал картины или создавал что-то даже для дона Мануэля или по независимым заказам. До сих пор он ни разу не превысил дозу, придерживаться которой порекомендовал старый поэт.

Потом, когда действие наркотика проходило, сама возможность держать его под контролем, поглаживать в кармане никелированный футляр, но не вынимать его, как бы тело ни требовало очередного

укола, считать себя выше столь сокрушительной силы, заставляла гордиться собой, даже держаться надменно. Пил он мало, может быть рюмку-другую водки, когда Эмма вновь бередила его совесть, вина во всех своих несчастьях; то, что Далмау оставил позади бесконечные пьянки, подарило ему уравновешенность и безмятежность, о каких он уже и мечтать не мог.

Дон Мануэль был безумно доволен своим учеником: и его работой, и новым отношением к жизни. Преподобный Жазинт радовался за него, и даже донья Селия пару раз удостоила его улыбки. И среди такого расположения к нему буржуазной среды крепили и отношения с Урсулой. Далеко в прошлом осталось унижение, испытанное на празднике дам в черном, а заодно и попытки стать своим в обществе, к которому он не принадлежал. Иногда Далмау задумывался, какой была бы его жизнь рядом с Ирене Аамат, белокурой наследницей текстильной империи. Просто трудно себе представить. Зато девушка с гневным взглядом, от которой он ждал унижения и знал, что она этих ожиданий не обманет, стала настоящим наваждением. Урсула, со своей стороны, старалась держаться гордо, надменно, полностью подчиняя себе своего пупсика: изгнав из духовного обихода понятие о грехе, она пробовала с Далмау то, чего даже и предложить бы не посмела кому-либо из себе равных. Она таскала Далмау по всему дому, из конца в конец огромной квартиры с множеством комнат, парадных и служебных, шкафов, более просторных, чем иные каморки, где жили рабочие; было там несколько кладовок, ледник и даже домашняя капелла; длиннейшие коридоры соединяли фасад, выходящий на Пасео-де-Грасия, с противоположной стороной, откуда открывался вид на двор, замкнутый внутри квартала; там был выход на просторную террасу, настоящий сад; там же располагалась кладовка, где хранилась всякая утварь и где они наслаждались моментами наибольшей близости. Но чтобы дойти до нее, нужно было пересечь террасу под нескромными взглядами тех, кто мог бы следить за ними сквозь цветные витражи.

Каждый раз, когда они прятались, Далмау пытался вывести Урсулу на новый, более высокий уровень. Однажды, когда девушка его тискала и целовала, не открывая рта, Далмау заметил, что губы ее чуть дольше задерживаются на его губах. Попробовал высунуть язык, облизать ей губы. Урсула позволила. Далмау попробовал снова, и она

приоткрыла рот, робко, но достаточно, чтобы просунуть язык. «Какая гадость!» – возмутилась она в тот день, но на завтра сама охотно раздвинула губы. Через неделю Далмау уже ласкал напрямую, без кружев, шелков и корсета, ее торчащий сосок. Урсула стояла тихо, ждала, что будет. «Молишься?» – спросил Далмау, после чего осторожно, нежно ущипнул за грудь; она застонала от наслаждения.

На той же неделе Далмау укололся дважды за день. Он работал над изразцами, но никак не мог добиться нужного эффекта, это терзало его, вызывало тревогу и беспокойство. «Ничего страшного не случится», – сказал он себе, нащупав в кармане рабочего халата никелированный футляр. Легкое затруднение, небольшой сбой – но когда словно электрический ток прошел по телу Урсулы, застывшему в напряженном ожидании, пока Далмау ласкал ей грудь и облизывал соски, он уже регулярно кололся два раза в день.

Однажды вечером после званого ужина они спрятались в той кладовке на террасе, куда добрались под покровом темноты; за витражными окнами тоже не было света, стало быть, никто не следил за ними; там они обнимались и ласкали друг друга, пока Далмау не кончил.

– Я мог бы выйти прямо отсюда, – предложил он. – Не нужно будет возвращаться в квартиру и прощаться с гостями.

– И я могла бы выйти с тобой, – к его изумлению, проговорила Урсула.

– Выйти со мной на улицу? Мы с тобой вдвоем? Без всякого присмотра?

– Да.

– Это безумие, Урсула.

– А то, что мы делаем, не безумие? Жди меня здесь, – приказала она, не желая ничего слушать.

Всю ночь они развлекались на Параллели, среди рабочих, Далмау, одетый как любой из них, в пиджаке, рубашке без воротничка, в шапочке; Урсула в старом платье прислуги: такая одежда оставалась в доме, не принадлежа никому конкретно, – ее могла позаимствовать любая из горничных, если в один из редких свободных вечеров шла на свидание с кавалером. К темно-коричневому платью, поношенному, безликому, и обшарпанным черным туфлям на низком каблуке Урсула добавила шляпу, закрывавшую пол-лица.

– Тебя родная мать не узнает, – заверил Далмау при виде ее.

Такие ночи повторились: удирая из квартиры на Пасео-де-Грасия, где, как все верили, Урсула спала в своей постели, они шли на Параллель, там танцевали в переполненных залах, ходили в театры, даже в кино; бродили между ярмарочных и цирковых балаганов, установленных на этой дороге веселья и греха, особенно между тех, что сгрудились вокруг цирка «Испанский театр». Смотрели боксерские бои и восковые фигуры, пожирателей огня; факиров, пронзавших свое тело шпагами; силачей, акробатов, дрессированных собак, магов и чревоушителей. Неизменная, сияющая улыбка стерлась с лица Урсулы при виде уродов, которых тоже показывали в балаганах: женщин бородатых или с четырьмя ногами; мужчин с двумя торсами и двумя головами или с толстыми, необъятными слоновьими ногами; еще людей с костями не толще иголки; девочек, которые передвигались, как животные, на четвереньках...

Далмау вынужден был ограничить эти ночные походы, которых Урсула домогалась после каждого ужина. Однажды они попадутся: кто-то войдет в ее спальню и обнаружит, что под одеялом никого нет, одни подушки.

– А твоя сестра, – поинтересовался Далмау, – она ни о чем не подозревает?

– В последний раз, когда сестра вошла ко мне в спальню, она вылетела оттуда в слезах, с отпечатком от корешка книги через всю щеку. Вряд ли ей захочется повторить. Я не вхожу в ее спальню, пусть и она не входит в мою.

– А родители?

– Когда мы уходим, они уже удаляются к себе. Отец ни за что не войдет ко мне в спальню, скорее попросит мать, а та... Будь хоть пожар, хоть потоп, она и в коридор не выйдет, пока не оденется, не причешется и не накрасится как подобает.

– А прислуга не станет болтать? – продолжал волноваться Далмау.

– Слуги не выходят за пределы своей половины, – с презреньем бросила Урсула. – Никто ничего не узнает. Мы очень осторожны, осмотрительны, всегда проверяем, нет ли поблизости сторожа... даже сделали два ключа.

Так и было. Они предусмотрели все, даже ключ от кладовки, от двери, ведущей на лестницу, по которой они удирали, оставался

внутри, чтобы, паче чаяния, кто-нибудь не вошел в кладовку и не обнаружил пропажу; дверь они закрывали дубликатом, который прятали в щель под одной из ступенек. Но все равно Далмау было нелегко противостоять желаниям девушки. Каждый раз после обеда Урсула настойчиво домогалась секса.

– Вечером, – уговаривал Далмау. – Я приду вечером, мы получим удовольствие в нашей комнатенке, а потом пойдем на Параллель.

И глаза Урсулы загорались. Она по-прежнему называла Далмау «пупсиком», но куда девалось прежнее высокомерие? Далмау не ждал уже унижений, на которые уповал раньше. Урсула стала другой: веселой, покладистой, увлеченной, и Далмау нравилось с ней бывать.

Тем вечером дочь учителя впервые достигла оргазма в их комнатенке. Задрав на ней юбку, Далмау тискал ее через нижнее белье, насквозь промокшее. Она подавляла вздохи и стоны, пока его пальцы ласкали вульву. Охала то и дело. Хотела отстраниться в порыве раскаяния, но Далмау ее удержал. Стоны участились. Урсула извивалась, держась за живот, содрогалась, тяжело дышала, стонала и замолкала. Она не смогла до конца подавить вопль наслаждения: впервые познав экстаз, замяукала, будто кошка, в темноте и тишине огромного двора внутри квартала.

– Мать Божья, – прошептала потом, – что это было? – И отошла от Далмау, словно чувствуя себя виноватой. – Мне никто не говорил, что... – сказала, отводя взгляд. – Боже всемогущий! Я и представить себе не могла, что тело способно испытывать такие острые ощущения. Этакого безумия не познала ни одна из моих подруг.

– Хочешь, научим их? – пошутил Далмау.

– Я никогда не делилась своими игрушками, – отвечала она со своей обычной надменностью.

Чуть позже Урсула, весело смеясь, танцевала среди множества пар, кружившихся в одном из бесчисленных залов Параллели.

Однако к тому времени Далмау практически попал в лапы морфина. Уколы не действовали, эйфория длилась все меньше и меньше времени, творческие силы быстро расточались. А между одной и другой дозой он дрожал, его лихорадило, бил озноб, подкатывала тошнота, было трудно дышать, ломило ноги и спину. Он решил увеличить дозу, удвоить число инъекций. Теперь наркотиком сопровождалась не только живопись и работа на фабрике, но и вся его

жизнь, включая встречи с архитекторами и подрядчиками. Далмау приходил туда безмятежный, спокойный под действием опиата, но все чувства были настолько обострены, что здания буквально валились на него. Изразцы ослепляли. Глянцевые, они искрились, бросая яркие блики, синие, красные, желтые... непрерывная череда ощущений, которым он с наслаждением предавался, довольный тем, что часть этого волшебства зародилась в его фантазии. Но если керамика была по чувствам, обильный декор смущал, от волнообразных фасадов и крыш, лестниц и перил кружилась голова, будто он сам безостановочно скользил между ними. Такая манера строить, украшать, писать картины, даже книги, эти усилия, направленные на то, чтобы произвести впечатление, изгибая чугунные прутья, которые до сих пор оставались прямыми, либо искажая слова, чтобы дерзновенно раскрашивать Бога, порождали у Далмау глухую тоску, которую он мог одолеть, лишь сиюсь достигнуть высшей точки волшебства, а то и превзойти ее.

Для этого он писал картины. Писал со страстью, день ото дня дерзновеннее. Держал работы в огромной папке, с каждым разом все более пухлой; трудясь над керамикой, старался сдерживать порывы, побуждавшие играть со светом, колоритом и фигурами, все более томными и воздушными; учителю эти творения не показывал, не желая его пугать.

Как-то раз дон Мануэль сообщил, что они с супругой должны присутствовать на званом обеде у какого-то важного лица, в честь чего-то, что Далмау пропустил мимо ушей.

– А ты пообедай у нас, – попросил он. – Преподобный Жазинт тоже придет, но ты же знаешь, девочки его ни в грош не ставят, он их всегда баловал. Может, при тебе они будут вести себя приличнее.

Поскольку хозяев не было, преподобный Жазинт, как ему и велел учитель, занял место во главе стола и, не ощущая на себе вечно осуждающего взгляда доньи Селии, выпил больше вина, чем позволял себе под ее строгим присмотром. Он даже не добрался до зальчика, где дремал после обеда, а заснул прямо за столом, перед пустой тарелкой из-под десерта. Сестра Урсулы рассмеялась и вышла из столовой, прихватив с собой малыша. Служанка вошла убрать со стола и предложить кофе, но Урсула зашикала, приложила палец к губам и кивнула в сторону спящего монаха.

– Оставьте его, не будите, – прошептала она. – Не входите, я позову, когда он проснется. – Служанка вышла на цыпочках, а Урсула расхохоталась, повернувшись к Далмау. – Вдруг он притворяется?

– Да нет, спит сном праведника, – изрек Далмау, улыбаясь во весь рот.

Потом налил девушке полный бокал вина. Если не считать праздников, за обедом Урсуле наливали половину бокала и разводили водой, да и то лишь в присутствии отца как некий акт неповиновения их обоим воле матери, которая сетовала и сердито ворчала. «Иисус Христос пил вино, – однажды заметил ей дон Мануэль, – и вино избрал для нас как причащение к Его жертве».

– Твоя дочь не Иисус Христос, – возразила донья Селия. – Просто девчонка, и вино может лишить ее разума... а заодно и понятия о добродетели и приличиях, – добавила она, хмуря брови.

Далмау не присутствовал при том разговоре, но, как донья Селия и предостерегала супруга, глаза Урсулы заискрились, стоило ей отпить пару глотков из этого первого бокала. Преподобный Жазинт продолжал храпеть, не испытывая ни малейшего неудобства оттого, что так и сидит на стуле в столовой. Далмау снова налил ей и себе и, пока девушка пила, набросал в своем альбомчике карикатуру на преподобного; Урсула поперхнулась и закашлялась, когда он перевернул листок и показал ей через стол. Монах чуть пошевелился и захрапел снова. Далмау сделал Урсуле знак и стал что-то корябать на новом листке. Урсула сама наполнила свой бокал.

– Уй! – воскликнула она, оставив дорожку капель на розовой камчатной скатерти, потом сделала изрядный глоток.

Не успела она прикончить этот бокал, как Далмау показал ей альбомчик с ее портретом. Хотя Урсула надела в этот вечер закрытое платье, плечи на портрете были голые и под линией ключицы тоже не наблюдалось никакой одежды. Девушка в недоумении всплеснула руками.

– Тут нет одежды! – возмутилась она.

– Я ее не вижу, – возразил Далмау.

Урсула выпила еще и, изображая смущение, опустила подбородок и взглянула на платье, закрывавшее грудь.

– Все там, под ним, – пролепетала она.

– Да, но сокрыто.

Далмау снова наполнил два бокала.

– У-у-у-уй, – пропела Урсула, проводя пальцем по скатерти, на которую из хрустального графина пролились последние нетерпеливые капли.

Они рассмеялись, чокнулись, а преподобный Жазинт по-прежнему самозабвенно храпел.

– Хочешь, чтобы я рисовал тебя, скрывая твою красоту? – После того как она столько времени играла с ним, как с куклой, Урсуле оставалось преодолеть два барьера: отдать свою девственность, добродетель, за которую девушка цеплялась с невиданным упорством, и раздеться перед Далмау, показать себя всю, не только то, что он мог разглядеть, лаская ее. – Не хочешь увидеть себя богиней?

К изумлению Далмау, Урсула спустила с плеча бретельку, обдернула платье и обнажила одну грудь. Далмау взглянул на преподобного, который сидел как раз напротив девушки. Урсула заметила этот взгляд, и глаза ее загорелись.

– Пошли, – велела она, прикрываясь.

Одним глотком осушив уже непонятно который бокал, она потащила Далмау в мастерскую отца. Дойдя до порога, попыталась вставить ключ, но никак не могла попасть в замочную скважину, так что Далмау пришлось самому открыть дверь.

– Не знаю, подходящее ли это место... – заметил он, оглядывая множество полотен с изображениями святых, церковей и библейских сцен.

Девушка проследила за его взглядом.

– Ха! – вдруг воскликнула она. Встала рядом с картиной, изображавшей Пресвятую Деву, кормящую Младенца, и подняла свои груди руками. – Видишь? Здесь то же самое. – Она засмеялась. – Нам нечего волво... волнн...

– Волноваться, – подсказал Далмау.

– Именно.

Далмау нашел большой лист бумаги и прикрепил его к холсту, уже стоявшему на мольберте, прикрыв сделанный, видимо, учителем набросок фигуры какого-то мученика, уже почти четвертованного. Далее приготовил все необходимое, чтобы рисовать девушку углем, может быть, с добавлением отдельных штрихов пастели. Времени у

них немного, а он не делал с нее никаких набросков, разве что этот, в альбомчике.

– Помоги расстегнуть корсет, – вдруг услышал он. Урсула сидела на полу, запутавшись в ворохе одежды.

– Иду, – отозвался Далмау.

Он нащупал в кармане никелированный футляр, вынул шприц, наполнил из пузырька, который тоже носил с собой, и сделал укол в бедро: все это так быстро, что девушка даже не успела обернуться.

Потом пришлось сражаться с корсетом, с платьем, с пряжками и пуговицами и еще с Урсулой, вконец захмелевшей, безвольной. Наконец на девушке осталась только прозрачная льняная сорочка. Далмау сел в низкое креслице, мягкое, удобное, и стал оттуда смотреть. Урсула поднялась с пола, цепляясь за ножку стола, кое-как стащила с себя последнюю одежду и явственно задрожала, представ перед Далмау нагой.

Он тоже встал и прошел мимо нее к мольберту.

– Ты прелесть, – решил он сказать ей приятное, потом ласково провел по щеке тыльной стороной ладони. Потом точно так же прикоснулся к соскам, которые тотчас затвердели. Далмау отошел, впервые оглядел ее во всей ее наготе: молодая, влекущая, но его цель – сделать наброски, может быть, потом они предадутся наслаждению, которое Урсула познала несколько дней назад. – Ладно, – добавил он, уже стоя перед белым листом с кусочком угля в правой руке. – Давай, двигайся.

Девушка воззрилась на него с испугом.

– Как ты хочешь, чтобы я двигалась? – с запинкой пробормотала она, подняв руки и самозабвенно встряхивая ими. Потом уронила их и, как дурочка, рассмеялась. – Что я должна делать?

– Покажи себя богиней, – попросил Далмау. – Приворожи меня, распали. Заставь мучиться, вождедельть...

«Хочу, чтобы воздух плавился, касаясь твоего тела; чтобы все запахи испарились перед желанием, истекающим из твоего лона». «Хочу, чтобы время остановилось перед вечностью твоей красоты». «Хочу...» Далмау не знал, обращается ли он к этой девушке, которая пыталась ему угодить, принимая неестественные позы в подражание пошлым порнографическим картинкам, какие продаются на каждом углу, или говорит с Эммой, как несколько лет назад, когда рисовал с

нее обнаженную натуру. Теперь морфин предавал его, возвращал Эмму.

– Хочу, чтобы ночь озарилась и вся вселенная любовалась царицей страсти.

Урсула остановилась, пытаясь понять, чего хочет от нее Далмау. После этих самых слов в свое время Эмма подняла глаза к небу и бросила вызов звездам, выгибая спину, лаская себя, выставляя себя напоказ, молодая, красивая, бессмертная: царица страсти. Эмма... Далмау почувствовал холод, его объяла дрожь. Действие морфина заканчивалось, быстрее, чем когда бы то ни было. Будто бы память об Эмме мгновенно впитала в себя наркотик, высушила сердце и чувства, словно укоряя его за то, что он захотел от другой того, что принадлежало ей и только ей. Далмау снова стал рыться в карманах.

– Что еще?.. Что ты хочешь, чтобы я сделала? – спрашивала Урсула, еле ворочая языком.

Далмау ее не слушал. Ему вдруг срочно понадобилось ускользнуть. Он наполнил шприц до отказа, сделал еще укол. Урсула следила за каждым его движением. Поняв, что вколол слишком большую дозу, Далмау поковылял к креслицу. Там, закрыв глаза, сидел и ждал, пока тошнота пройдет. И пока он пытался изгнать Эмму из памяти, Урсула увидела шприц, оставшийся на столе рядом с пузырьком. «Морфин», – кое-как сумела она прочесть, несмотря на опьянение. Безобидное лекарство. Мать принимала его в те дни, когда рыдала, простертая в постели, умирая от ужасной боли в спине, которая периодически терзала ее. У доньи Селии тоже есть шприц, его принес доктор Рамирес, семейный врач. Урсула присутствовала при том, как он учил мать делать уколы, чтобы ему не нужно было самому приходить каждый раз, когда начинался приступ. «Слушай, как доктор объясняет, дочка, – наставляла донья Селия Урсулу, – вдруг мне понадобится твоя помощь». Иногда такое случалось. Иногда Урсуле хотелось вколоть себе те несколько капель, которые оставались в шприце... Это ведь так просто. И она взяла шприц Далмау, наполнила его до отказа, как это сделал он на ее глазах, не колеблясь, вонзила себе в бедро и медленно ввела наркотик.

Лист за листом клал Далмау поверх начатого учителем холста с четвертованным мучеником. Он рисовал как одержимый. Урсула перед ним дрожала, задыхалась, потела, падала на пол, ползла на

четвереньках, поднималась из последних сил. Девушка страдала: она не могла дышать, воздух не поступал в легкие. Пыталась заговорить. Не вышло, и она с мольбой протянула дрожащую руку. Урсула смутно различала у мольберта художника, яростно водящего углем по бумаге. Кто это? Что он здесь делает? Далмау, одурманенный морфином, тоже не мог истолковать, как должно, судорожные движения модели.

Смертный пот, покрывший тело Урсулы, виделся ему сиянием, подобающим богине. Она дрожала, да, от сдерживаемой страсти, и задыхалась потому, что вся вселенная ее заключила в объятия. «Продолжай», – подбадривал он. «Хорошо, очень хорошо!» – воскликнул, когда она упала на четвереньки. Нарисовал ее так. «Царица зверей!» «Продолжай. Ищи меня. Смотри на меня». Глаза, которые его заворожили, которые он не мог изобразить, пока алкоголь не указал дорогу, не сумели передать послание о смерти, ее отпечаток в застывающих зрачках. Вместо того томное бессилие Урсулы, вызванное удушьем, ее апатия, неподвижность отразились в рисунках Далмау как высший порыв чувственности и сладострастия, какого только могла достичь женщина, а та извивалась на полу, издавая предсмертные хрипы, с потерянным, опустошенным взглядом; сжавшаяся в комок, дрожащая, она тщетно пыталась согреться, обнимая себя...

Уголь черным по белому изображал агонию нагой девушки, распростертой у ног Далмау, и продолжал скользить по бумаге еще долго после того, как последний вздох прервался, словно тонкая ниточка, отделяя ее от мира живых.

– Великолепно, – шептал Далмау еле слышно, чтобы слова не мешали волшебному полету угля по бумаге. – Да. Гениально!

Дверь поддалась после третьего удара и распахнулась со скрипом, нарушившим мрачную тишину, которая царила в мастерской донна Мануэля. Он и ворвался первым. За ним – преподобный Жазинт, заранее осеняя себя крестным знаменем, и донья Селия, которая истерически завизжала при виде нагого, обмякшего тела дочери, распростертого на полу. Слуги скопились в проеме сорванной с петель двери, не решаясь войти; одна из горничных закрыла рукой глаза младшему отпрыску супружеской четы, другая безуспешно пыталась проделать то же самое с сестрой Урсулы.

Далмау так и сидел на том удобном, низком креслице в окружении разбросанных по полу рисунков, устремив взгляд в какую-то неведомую даль. Учитель взглянул на дочь, потом на него.

– Что ты наделал, паршивец! – воскликнул он, встал на колени перед телом дочери и приподнял ее запястье, пытаясь нащупать пульс.

– Она жива? – спросила донья Селия прерывающимся голосом.

– Не знаю, – отвечал ей супруг. – Откуда мне знать, Боже мой! – Оставив запястье, он похлопал девушку по щеке. – Дочка. Боже правый! Очнись! Урсула!

– Она жива? – повторила донья Селия, застывшая неподвижно над телом дочери.

– Да откуда же мне знать! – взорвался учитель. – Никаких признаков. Урсула! – Он приподнял дочери голову. – Я не знаю, какие признаки!

– Пульс, – подсказал преподобный Жазинт.

– Не знаю. Не нахожу. Не знаю, так ли я делаю. Там ли ищут, где надо. Если он слабый?

– Сходите за врачом! – велел монах столпившимся у двери слугам.

– Уже пошли, преподобный.

– Встряхни ее, Мануэль, – предложила жена. – Встряхни ее, может быть, она придет в чувство...

Учитель стал трясти дочь, и в какой-то момент ее нагота раскрылась полностью. Донья Селия прижала руки к груди, будто это ее выставили напоказ в непристойном виде, потом обвела взглядом мастерскую, нашла то, что искала, и набросила на тело дочери полотнище, одно из тех, которыми ее муж прикрывал холсты. Его не хватило. Женщина машинально потянула вниз, чтобы спрятать ноги, но тогда показались плечи и ложбинка между грудями. А когда она обошла тело и дернула полотнище на себя, обнажились бедра. Она собиралась вроде бы начать все сначала, но вместо того разразилась слезами. Преподобный Жазинт встал на колени в головах у девушки, взял в руки распятие и начал читать молитву.

– А Святые Дары? – сквозь рыдания проговорила мать. – Разве вы не должны дать ей последнее причастие?

– Это невозможно, если она мертва, – ответил монах донье Селии, прервав молитву.

– Кто говорит, что она мертва! Я не знаю, мертва она или нет! – взвыл дон Мануэль, вцепившись в свои бакенбарды, там, где они соединялись с пышными усами, и вырывая из них волоски. – Я не врач. Вдруг в ней еще теплится жизнь? Кто может точно сказать, что она не жива?

– Раз мы этого не знаем, – настаивала донья Селия, – дайте ей Святые Дары, преподобный.

– У меня их нет с собой, – посетовал тот.

– Так скорей бегите за ними!

В эту минуту, не говоря ни слова, Анна, кухарка, с трудом опустилась на колени между двумя мужчинами и приложила чистое зеркальце к губам Урсулы. Большинство присутствующих в ожидании, не запотеет ли зеркальце от дыхания девушки, сами затаили свое. Прошло время, больше времени, чем человек может выдержать, не сделав вдоха, но поверхность оставалась гладкой. Кухарка покачала головой и вручила зеркало дону Мануэлю как доказательство того, что его дочь скончалась. Ей, тучной, стоящей на коленях перед трупом девушки между двумя мужчинами, было трудно подняться с полу. Никто и не подумал помочь. Все-таки встав, она глубоко вздохнула и невольно оперлась о подлокотник кресла, в котором так и сидел Далмау, чуждый всему происходящему.

– Паршивец! – припечатала кухарка.

Горничная принесла простыню, и тело Урсулы накрыли полностью. Преподобный Жазинт продолжал читать молитву, а донья Селия плакала, прижавшись к соседке, которая явилась в квартиру, услышав грохот и крики. Дон Мануэль повернулся к Далмау, огляделся вокруг; взгляд его упал на рисунки.

– Собери! – рявкнул он горничной.

Потом увидел морфин. Схватил пузырек, закрыл глаза и со всей силы запустил его в стену, разбив вдребезги.

– Сукин сын! – Взяв Далмау за грудки, дон Мануэль поднял его с кресла, но не смог поставить на ноги: тело висело мертвым грузом. – Что ты сделал с моей дочерью, голодранец?

Вне себя от гнева, весь побагровев, буквально выплевывая слова, дон Мануэль пытался одной рукой удержать Далмау стоймя, чтобы надавать пощечин. Рубашка порвалась, юноша выскользнул из рук

учителя, ударился о подлокотник кресла и рухнул на пол. Только слабо застонал, ничего больше.

– Мерзкий ублюдок! – орал дон Мануэль, пиная его в живот. – Каналья! Еретик! Как я мог доверять тебе? Я тебя убью!

И опять пнул его, и снова, и снова. Кто-то из соседей, прибежавших на помощь, пытался его удержать, но женщина, пришедшая первой, схватила защитника за плечо и не дала вмешаться. Остальные не двинулись с места, позволяя избивать Далмау, который инстинктивно скорчился, пряча голову; наконец дон Мануэль, обессилив, закрыл руками лицо и упал на колени.

Далмау притащили в участок муниципальной гвардии на улице Россельон и бросили в камеру после того, как работники городских служб отвезли труп Урсулы в больницу Санта-Крус, а полицейский и судья, вместе с патологоанатомом, принялись составлять соответствующее заключение. Зеваки, скопившиеся на тротуаре, почтительно расступились, пропуская носилки. Потом окружили агентов, которые вели Далмау в наручниках, то и дело подталкивая его: парень выглядел несколько бодрее, но было очевидно, что он все еще находится под действием чрезмерной дозы морфина, которую себе вколол.

– За что его посадили?

Вопрос, робким, смиренным тоном заданный, прозвучал из уст Хосефы, она сидела на самом краю лавки, вделанной в стену участка, напротив столов, за которыми работали полицейские. Помещение пропахло табачным дымом и испарениями от массы людей, которые проходили через участок. Было шумно, гвалт не прерывался ни на минуту и, казалось, не прервется никогда: люди входили, выходили, а суматоха не прекращалась. Несмотря на гомон, Томас расслышал, о чем спросила мать. Не в первый раз она об этом спрашивала с того вечера, уже много часов назад, когда уселась на скамью, прямая, неколебимая, всей своей позой показывая полицейским, что собирается до последнего бороться за свои права.

– Я уже говорил вам, мама, – ответил Томас как можно мягче. – Далмау не сделал ничего плохого. С минуты на минуту его должны освободить.

– Но почему они так тянут?

«Потому что сукины дети», – хотел ответить анархист, как и раньше, когда мать задавала этот вопрос. Но она и сама знала. Она много боролась в жизни и испытала на себе надменную повадку обладающих властью. Но Томас просто поглядел, как она сидит на краю скамьи, сложив руки на коленях и мелко перебирая пальцами, будто продолжая шить.

– Бумажная волокита, мама. Скоро его отпустят, – сказал Томас, поправляя ей волосы.

Долго тянуть они не могли. Кто-то из знакомых видел, как Далмау вели в наручниках по Пасео-де-Грасия, разнес эту весть, и она, как все дурные вести, достигла ушей Хосефы меньше чем через час. Та побежала искать Томаса, старшего сына, анархиста, а Томас снова прибег к помощи адвоката Фустера. Не прошло и полутора часов, как все трое уже прибыли в участок на улице Россельон. Томас с матерью уселись на скамью, а Фустер стал ходить от стола к столу, от одного чиновника к другому, спрашивал, требовал, кому улыбался, а перед кем делал серьезное лицо.

– Надо идти в суд, – сообщил он наконец. – Там как раз сейчас и решается дело.

– Когда ты вернешься? – спросил Томас.

– Не знаю. Нужно посмотреть, что у них есть; ознакомиться с результатами вскрытия, свидетельскими показаниями, и прочим, и прочим...

Адвокат, седой, с короткой стрижкой, получил возможность ознакомиться с материалами дела, которое возбудили срочно, вели серьезно и старательно, имея в виду, кто была погибшая и кто ее отец, и немедленно передали в судебные инстанции.

– Они не смогут долго задерживать его, донья Хосефа, – обобщил дело юрист, вернувшись в участок уже поздней ночью и присаживаясь рядом с матерью клиента, чтобы подбодрить ее. – Ваш сын, – повторил он то, что говорил раньше, – не совершил никакого преступления, и они это знают. Патологоанатом осмотрел тело девушки и не нашел ни малейших следов насилия или дурного обращения. Ни синяков, ни ссадин, ни порезов. Более того: она умерла девственницей. Также ничто не указывает на принуждение. Смерть от удушья – обычное дело в таких обстоятельствах, и след от укола на бедре явственно просматривается. Далмау не сделал ничего плохого. Даже если он

вколол ей морфин, тут нет состава преступления. Девушка была пьяна и, судя по всему, сама ввела себе изрядную дозу наркотика; организм не выдержал. Такой случай не первый. Судья уже решил освободить Далмау, я сам видел постановление.

– Тогда почему его не отпускают? – еле слышно проговорила Хосефа.

Еще через час ожидания они поняли причину проволочки. Дон Мануэль, осунувшийся, изможденный, в мятой одежде явился в участок на улице Россельон. С ним два жандармских офицера, не имевших ничего общего с муниципальной гвардией. Они прошли чеканным шагом, ни на кого не глядя; прошествовали мимо столов, за которыми работали полицейские, и исчезли за дверью.

– Куда это он? – спросил Томас у Фустера.

Адвокат помотал головой, ничего не понимая, и тут же бросился к полицейскому, который выслушивал посетителей.

– Куда направился этот человек? – спросил Фустер. Полицейский пожал плечами. – Я должен срочно увидеть своего клиента, – потребовал юрист.

– Не положено, – категорически отказал дежурный.

– Я имею право увидеться с клиентом. Эти два жандарма и отец погибшей девушки пошли к нему...

– Не обязательно.

– Я хочу увидеть его!

Полицейский вновь ответил отказом, но Фустер, его игнорируя, направился к двери. Еще два агента набросились на него и схватили за руки. Адвокат не сопротивлялся.

– Я – юрист! – выкрикнул он. – И требую пропустить меня к клиенту.

Полицейские не ослабили хватку.

– Эй, вы, слушайте... – Томас подошел ближе, понизил голос. – Вы меня знаете, правда? – (Кивнул только один из троих.) – Я – Томас Сала. Я уже давно отошел от дел, поэтому нахожусь на свободе, но клянусь всеми святыми, в которых вы верите, что, если вы нас не пропустите в камеру, где сидит мой брат, и немедленно не освободите его, я не успокоюсь, пока весь ваш участок не взлетит на воздух, и вы вместе с ним. По правде, там, снаружи, товарищи уже ждут моих

указаний, – соврал он, хотя несколько анархистов действительно стояли перед участком, ожидая развития событий.

Двое полицейских, которые не знали Томаса, бросили на третьего вопросительный взгляд; тот вместо ответа отпустил Фустера.

– После вас, – расшаркался тот, разминая руки и поправляя одежду.

Они подошли как раз в тот момент, когда двое жандармов выводили Далмау из общей камеры в коридор.

– Куда вы его ведете? – закричал Фустер, спешно преграждая им путь.

– Что вы собираетесь с ним делать? – вторил ему Томас.

Жандармы заколебались, а трое полицейских с улицы Россельон заняли выжидательную позицию.

– Допросить, – нагло заявил один из жандармов.

– Для допроса нет никаких оснований, – возразил адвокат Фустер. – Судья постановил освободить его, не предъявляя обвинения. – Услышав это, жандармы зашущукались. – Немедленно! – потребовал юрист.

Один из жандармов выпустил руку Далмау, схватил Фустера за горло и притиснул его к стене; адвокат разинул рот, силясь вздохнуть.

– Ты, идиот, нам без разницы, один или трое! – пробурчал он сквозь зубы.

– Вы отсюда живыми не выйдете, ублюдки! – пригрозил Томас.

Жандарм немного ослабил хватку, и Фустер заговорил, стараясь сохранять хладнокровие:

– Теперь вы убиваете и адвокатов тоже? Вы представляете, что из этого выйдет? Все юристы Барселоны, республиканцы и монархисты, правые и левые, набросятся на вас.

В темном, вонючем коридоре установилось молчание. Слышалось только частое дыхание Далмау, который, весь дрожа, переступал с ноги на ногу в нескончаемом танце.

– Вы возьмете на себя такую ответственность? – продолжал адвокат, обращаясь теперь к трем из муниципальной гвардии. Двое помотали головой, третий потупил взгляд. – Тогда пошли, – заключил Фустер, беря Далмау за руку.

Но увести его не удалось. Дон Мануэль помешал этому, вцепившись в другую его руку.

– Я тебя убью, – прошипел он, тряся Далмау за плечо. – Ты заплатишь за то, что сделал с моей дочерью. Богом клянусь, я не успокоюсь, пока не увижу тебя мертвым, тебя и всю твою семейку.

– Начинайте с меня, ханжа паршивый, – с вызовом проговорил Томас, отталкивая его.

Жандармы подступили ближе, Томас и Фустер тоже. Полицейские с улицы Россельон встали между двумя группами.

– Уходите, – велел один из них Томасу.

Адвокат, не раздумывая долго, направил братьев дальше по коридору, пока полицейские сдерживали жандармов. Хосефа вскочила со скамейки, увидев сына. Хотела обнять его, но Далмау ее оттолкнул. В полуподвале было не очень-то светло, но все отметили его воспаленные, налитые кровью глаза, грязную, порванную одежду; весь бледный, он обильно потел, и каждый мускул был напряжен до предела.

– Мои вещи! – заорал он, оборачиваясь и оглядывая помещение, не обращая ни малейшего внимания на мать, брата и юриста. – Где мои личные вещи?

– Я схожу за ними, – вызвался Фустер.

– Пойдем на улицу, брат. – Томас взял его под руку.

Далмау высвободился резким движением.

– Сынок, пожалуйста, – взмолилась мать.

– Мои вещи! – повторил Далмау и, оставив брата и мать, направился к Фустеру, который как раз разговаривал с полицейским.

– У него наркотическая ломка, – сказал Томас матери. – Что это: опиум, морфин? Вы об этом знали, мама?

– Разве мать может знать обо всем? Ведь и ты, Томас, тоже не знал.

– Тут был пузырек морфина! – орал Далмау перед столом полицейского, тщетно перетряхивая все свои вещи. – Где он? Кто его взял?

– Его взяла моя дочь, – раздался голос донна Мануэля, который уже поднялся к ним. – Этот пузырек, который ты так старательно ищешь, убил ее.

Далмау не посмел взглянуть учителю в глаза. Он забрал свои вещи, рассовал их по карманам. Подхватил пальто и шапку и выбежал из участка, не попрощавшись ни с кем.

– Сынок... – безуспешно старалась удержать его Хосефа.

Никто из троих не пошел следом за Далмау, когда тот покинул участок на улице Россельон.

– В таком состоянии нет смысла с ним говорить. Он никого не станет слушать, пока не уколется снова, – поведал Томас.

– А что потом? – произнесла Хосефа шепотом, будто не осмеливалась в полный голос задать этот вопрос.

Тут дон Мануэль и двое жандармов прошли мимо них, направляясь к выходу.

– Соболезную вашей утрате. – Хосефа воспользовалась случаем, чтобы выразить сочувствие дону Мануэлю.

– Вы? – спросил тот с издевкой, останавливаясь перед ней. – Ведь это ваш сын...

– Нет, – перебила она. – Это вы. – Учитель нахмурился. – Да, это вы улестили, поманили выгодой хорошего паренька и позволили ему пойти по кривой дорожке. Вы, богатые, располагаете людьми по своей воле, используете их, губите, а потом сами жалуетесь. Да, вы потеряли дочь, и мне правда жаль, но что вы оставили мне? Отброс, который покатится все ниже и ниже, пока не умрет в канаве.

– На это я уповаю и этого желаю, сеньора, – изрек дон Мануэль Бельо.

Ее столько раз били, что боль стала основным в ее жизни ощущением, хотя и не слишком приятным. Но вот голода Маравильяс не выносила: потребность съесть что-нибудь, хотя бы позеленевший огрызок хлеба, доводила ее до безумия. От холода она укрывалась где-нибудь за углом, лежала неподвижно, мелко дрожа, смирившись с мыслью, что утром, возможно, уже не проснется. Такие ощущения, как любовь или удовольствие, отсутствовали в жизни *trinxeraire*, которая с тех пор, как помнила себя, бродила по улицам. А вот боль всегда сопровождала ее, жила вместе с ней, то усиливаясь, то ослабевая... Дельфин говорил, будто отец прибил ее сразу после рождения, через несколько часов жизни на ней уже были синяки.

– Тебе-то откуда знать, ты ведь младше меня, болван, – отозвалась она после короткого раздумья.

– Кто тебе сказал, что я младше?

Никто, в самом деле. Маравильяс даже не осмелилась бы утверждать, что они с Дельфином брат и сестра. Ни одно воспоминание детства их не связывало. Правда, она и о самой себе мало что помнила. Иногда прошлое возникало какими-то вспышками: лица с нечеткими чертами, много народу, куча детей, бродяги; зловонные клоаки, голод и нищета, крики и плач, и все время боль. И однажды, когда они побирались на улице и полицейский остановил их, Дельфин сказал, что она – его сестра, а может, это она сказала.

– Конечно, я старше! – стояла она на своем. – Ты совсем дурак? Разве не видишь, что я старше?

Мальчик посмотрел на нее сверху вниз. Оба, как все уличные дети, состояли в основном из лохмотьев и грязи, а вообще, вследствие недоедания и болезней, все они были хилые, малорослые, некоторые почти карлики: живые мощи с бледными, изможденными лицами.

– Кто тебя защищал вчера ночью, а? – настаивал Дельфин. – Кто? Если бы я не был старше, стал бы я тебя защищать? Как младший защищает старшего? Всегда бывает наоборот. Признай уже это!

Они продолжали двигаться среди толпы. Люди их, как правило, обходили стороной, но некоторые напирали с угрожающим видом,

готовые дать пинка, отшвырнуть с дороги. Маравильяс и Дельфин, как все *trinxeraires*, таких угадывали и старались держаться от них подальше; один из первых уроков для уличных ребяташек: если не научишься избегать таких бессердечных людей, выпадут на твою долю одни тычки да затрещины, будто ты паршивый пес, которого можно ругать, бить, измываться над ним. Чуть позже дети разбежались, пропуская двухколесную тележку с соломой, которую тащил какой-то мужчина. Да, Дельфин ее защитил, хотя мог бы этого не делать: от первой затрещины упало сердце и голова закружилась так, будто уже отделилась от тела; других ударов она, наверное, уже бы и не почувствовала. Дельфин выступил вперед, не дал влечь ей следующую оплеуху, которой, наверное, ей бы своротило скулу, а может, все ее раны затянулись бы, пристало ли ей, злополучной, чувствовать сердце, разве когда оно перестанет биться. Дельфин принял на себя второй удар. А предназначался он Маравильяс и пошел бы ей на пользу. Боль лечит, боль в них поддерживает жизнь, заставляет быть осторожными; боль им напоминает, кто они такие.

– Мог и не защищать, – упрекнула она брата.

– Вот и не буду. – Они перешли на другую сторону улицы, чтобы не столкнуться с полицейским, который двигался им навстречу. – И все равно я старше, – уверенно проговорил Дельфин, когда опасность миновала. – Куда мы идем?

– Хочу увидеть эту шельму.

Дельфин шмыгнул носом. Ничего не сказал. Знал, что не переубедит Маравильяс. Далмау, ее Далмау вlepил ей затрещину. Да, ночью они наткнулись на художника: он бродил по закоулкам Равалья, совсем один, дерганый, весь в поту. Дельфин предупредил сестру: «Оставь его. Не подходи. Ему ширнуться надо». Перед ними был опасный наркоман. «Не делай этого, Маравильяс», – крикнул он вслед, когда девочка вырвалась от него и направилась к Далмау.

Тот сказал, что она – шлюха, прошмандовка; что она сломала ему жизнь, когда показала, где живет Эмма; довела до самого ее дома, чтобы он увидел свою любимую беременной от другого. Зачем она это сделала – ведь знала, знала? Он подсел на морфин из-за Маравильяс, только из-за нее; если бы она не привела его туда...

– Есть у тебя морфин? – спросил он, прерывая череду проклятий. Маравильяс отрицательно покачала головой. – А деньги, чтобы его

купить? – настаивал он. Тоже нет. – А у тебя? – повернулся он к Дельфину, который отступил, качая головой. – Паршивая сука! – вновь обратился он к Маравильяс. – Ты меня довела до ручки! Кто тебя просил искать ее? Я уже о ней и думать забыл! И ты ведь знала, что она беременна от другого!

Тут его одолела ломка, он весь затрясся, начались конвульсии; казалось, он вот-вот упадет, но вместо этого со всей силы ударил Маравильяс по лицу. Дельфин подбежал, встал между ними; второй удар достался ему.

– Вы сломали мне жизнь, – выдавил из себя Далмау, будто этот всплеск насилия лишил его последних сил. – Я ненавижу тебя, девчонка. Ты приносишь мне одни несчастья. С тех пор как я нарисовал твой портрет, моя жизнь превратилась в сплошное мучение. Чтоб ты сдохла поскорее! Не хочу тебя больше видеть.

Маравильяс не плакала, просто остаток ночи просидела в парадном, вся сжавшись, прислонившись к Дельфину. Боль напоминала ей о том, что плакать не годится, уж такой она родилась, бесслезной, как родятся безрукие или безногие.

– Зачем тебе нужно видеть эту шельму? – спросил брат, когда утром она предложила пойти поискать Эмму.

– Далмау не знает, что несет, – нашла ему оправдание Маравильяс. – Он под наркотой. Но сукина дочь знает, что делает: она его погубила.

– Маравильяс, это не наша проблема. Он долго не протянет. Скоро помрет, сама знаешь. А не помрет, так его прибьют, когда попытается что-то стырить, чтобы купить наркоту, или в тюрьму посадят, что еще хуже. А до той, другой, тебе какое дело? Почему бы нам и о той, и о другом не забыть?

– Далмау помрет? – задумалась *trinxeraire*. – Помрет, конечно. Но кто тебе сказал, что я не помру еще раньше? Или ты? Прямо завтра: от тифа, туберкулеза, оспы... или навахой кто полоснет. Разве такое не случается каждый день? Помнишь Косматого? – спросила Маравильяс. Дельфин кивнул. Он знал, о чем пойдет речь, но позволил сестре продолжать. – Так вот, он вчера помер. А позавчера – та шлюшка, которая пряталась вместе с нами, помнишь? – Да, Дельфин и это помнил. – А третьего дня... – Она продолжать не стала. – Завтра, Дельфин, может наступить наш черед. Я хочу видеть шельму, по

которой Далмау плачет; маэстро – самое хорошее, что случилось со мною в жизни. Просто видеть, ничего больше, – прибавила она. Мальчик недоверчиво хихикнул. – Не хочешь, не ходи.

– Она беременная, – заметил Дельфин, будто этот довод мог бы убедить сестру не причинять Эмме вреда.

– Уже, поди, родила.

Так оно и было. Эмма привязала младенца к груди большим платком, полностью скрывавшим малышку. Она несла обед Антонио на стройку, где, как вызнала Маравильяс, работал каменщик: возводили шестиэтажный дом в одном из переулков квартала Сан-Пере. Там было практически не пройти. Леса загромождали часть улицы, и без того узкой. Люди старательно обходили заготовленные стройматериалы: груды кирпичей, мешки с песком, штабеля досок... Одни кричали, другие ворчали, кто-то острил. Там и стояла Эмма вместе с другими женщинами, дожидаясь, пока прораб объявит законченной утреннюю смену и каменщики спустятся с лесов.

– И что теперь? – спросил Дельфин у сестры; они остановились в двух шагах, перед полуразрушенным домом на другой стороне улицы, как раз напротив стройплощадки.

«Что теперь?» – задумалась Маравильяс, глаз не сводя с Эммы. Девочка стояла так близко, что могла до нее дотянуться.

– Прочь с дороги, побирушка! – крикнул кто-то позади.

Маравильяс обернулась и увидела, что на нее надвигается телега с грузом досок для строительства. Ее тащил, дрожа от напряжения, огромный першерон, а возчик кричал и щелкал кнутом, иначе по переулкам старого города было не проехать.

«Ну, я тебе покажу», – подумала Маравильяс и вместо того, чтобы посторониться и пропустить телегу, сделала вид, будто споткнулась, а сама нарочно напугала коня, трясая перед самой его мордой тысячей своих одежек, словно пытаясь удержать равновесие и не попасть под копыта. Реакция последовала незамедлительно: испуганный конь прынул в сторону, туда, где стояли Эмма и другие женщины, которые тотчас же в страхе разбежались.

Маравильяс видела, как они убегали, перепрыгивая через горшки с едой, караваи хлеба и бурдюки с вином; девочка обернулась к брату и торжествующе расхохоталась; передразнивая женщин, она скакала, размахивала руками и делала испуганное лицо, пока ужасный грохот

не привлек ее внимание: не только першерон врезался в стену, обратив в бегство жен каменщиков, но и телега последовала за ним, и одно колесо зацепилось за столб, удерживающий леса.

Возчик, услышав треск, понял, какая опасность ему грозит, и вместо того, чтобы удерживать лошадь, спрыгнул с телеги, чтобы вся конструкция не обрушилась на него. Першероном никто не управлял, колесо застряло; конь попытался высвободиться, но добился лишь того, что леса затряслись и бочки, вода, песок и доски посыпались на него; тут першерон окончательно обезумел и рванул со всей мочи, напрягая свой огромный раздвоенный круп и ноги, толстые, словно бревна, увлекая на этот раз за собой целиком все леса, возведенные у фасада строящегося здания, а заодно каменщиков, которые работали там и рухнули с высоты вместе с обломками стены, строительным мусором, досками и кирпичами.

В переулке еще не осела пыль, и першерон, упавший на землю, раненый, привязанный к телеге, все еще бил копытами, а жены каменщиков уже бросились искать мужей. Вскоре к ржанию коня прибавились стоны раненых и крики женщин, и наконец с ближней церкви Сан-Пере де лес Пуельес часто, настойчиво зазвучал набат.

Эмма ничего не видела, не могла дышать. «Смотри, чтобы конь не задел копытом!» – предостерег кто-то. Прикрыв личико Хулии, своей дочурки, она пыталась как можно дальше отойти от того места, где бился раненый першерон, стуча копытами по земле и обломкам. Казалось, что в узком проулке, похожем на большую трубу, пыль никогда не осядет. «Антонио!» – кричала она. Налетела на другую женщину, та кричала: «Рамон!»

– Антонио!

Она кричала, встав на штабель досок, но не слышала ответа. Крик ее сливался с другими, ему подобными, и мало-помалу в этот общий вопль вливались стоны раненых, голоса людей, пришедших на помощь, пронзительное ржание першерона и звон колоколов Сан-Пере. Снова ржание и стук копыт: конная полиция. Пыль начала оседать, можно было лучше разглядеть сцену катастрофы. Все были грязные. Эмма еще плотней закутала девочку в платок, которым та была привязана к материнской груди. Дочка не подавала голоса, но была жива: Эмма чувствовала, как бьется ее сердечко. Полицейские

пытались навести порядок, но никто на них не обращал внимания. Люди разбирали завалы из досок и разных обломков, чтобы вызволить каменщиков. Некоторые женщины помогали, другие, как Эмма, стояли не двигаясь, затаив дыхание, всматриваясь в толпу, чтобы взглядом найти того, кого искали. Наконец Эмма увидела Антонио: двое мужчин тащили его за руки, будто куклу. Она побежала туда по доскам и чуть не упала.

– Осторожнее! – набросилась она на тех, кто вытаскивал Антонио из-под завала.

Они остановились. Не выпустили Антонио, который так и остался висеть безвольно у них на руках.

– Сеньора... – начал один из них.

– Охранник! – позвал другой.

Кто-то подошел сзади, взял ее за плечи.

– Он мертв, – услышала она шепот, в то время как те двое продолжали тянуть тело.

Эмма взглянула на Антонио: такой большой, сильный. Ни ран, ни крови. Как мог умереть такой богатырь?

– Нет, – тихо проговорила она.

Охранник посуровел.

Люди разбирали завалы, а Эмма, чуждая всему, встала на колени перед телом Антонио.левой рукой придерживала головку девочки, а правой гладила Антонио по припорошенным пылью волосам. Не могла поверить, что он мертв. Похлопала его по щеке, стараясь привести в чувство. Молодой врач из муниципальной амбулатории в Парке, ближайшего медицинского учреждения, встал на колени рядом с ней.

– Вот мы сейчас проверим, – мягко проговорил он и взял запястье Антонио, чтобы нащупать пульс. – Сожалею, – изрек, выдержав время, достаточное, по его мнению, чтобы Эмма оказалась готова принять трагическое известие.

С той минуты последовательность событий в памяти Эммы спуталась. Она плакала. Плакала над трупом каменщика, могучего даже в смерти, крепко прижимая к себе Хулию. Ее пытались поднять, но она не давалась. «Надо унести мертвых и раненых, сеньора», – твердили со всех сторон. Она уступила, молодой врач помог ей подняться на ноги, и она, не двигаясь, смотрела, как Антонио кладут на телегу. «В больницу Святого Креста», – ответили ей на вопрос,

хрипом вырвавшийся из горла. Хотя ей было необходимо прикоснуться к нему еще раз, этого ей не позволили: принесли раненого.

– Зайдите сначала домой, – наставляли ее. – Морг не место для младенца.

Кто-то обнял ее, какая-то женщина.

– Где ты живешь? – спросила она.

Эмма кое-как объяснила. Пара добрых самаритянок вызвались ее проводить.

– А кастрюля с едой, а бурдюк? – вдруг спохватилась Эмма, уже признавшись, что у нее нет даже десяти сентимо на трамвай.

Ее успокоили: кастрюлю и бурдюк поищут, а за трамвай они заплатят из своего кармана.

Во дворе, в проходе, куда выходили лачуги, Эмилия и Пура мгновенно поняли, что произошло. Эмма до сих пор была вся покрыта пылью, волосы и одежда перепачканы землей. Только на лице чистые полоски были прочерчены слезами. Женщины чуть ли не силой отобрали у нее дочку. Продолжая приглядывать за детьми, уложили Эмму. Почистили, отряхнули, принесли бульон, к которому она не притронулась. Зато Хулия охотно припала к груди. «Сильная женщина», – подумали обе соседки, не нарушая молчания: надо же, и молоко не пропало. Но никто не мог гарантировать, насколько этой силы хватит.

Муниципалитет взял на себя расходы по погребению, убедившись, что Эмма не располагает средствами. Все свершилось быстро, меньше чем за сорок восемь часов: стоял август 1904-го, и было жарко. Несмотря на такую спешку, пришло человек двенадцать, что поразило Эмму. Других двоих погибших при обрушении лесов хоронили не в свободной зоне, а в освященной земле: на те похороны пришли представители строительной компании. Эмма не успела никому сообщить о своем несчастье. Да и некому было сообщать: может быть, Доре, но продавец шляп не позволил бы ей прийти, еще чего: запятнать репутацию. А что касается Хосефы... Эмма давно уже не навещала ее, с тех пор как Далмау явился предлагать помощь. Ведь только Хосефа могла сообщить сыну, где живет его бывшая невеста, и с кем живет, и как ее найти, так что Эмма невольно стала питать к матери Далмау недобрые чувства. Эмилия и Пура прийти не смогли: они и так уже помогли достаточно. С родней Антонио Эмма не была

знакома; знала, что мать и две сестры, с которыми он не поддерживал связь, живут в каком-то селении неподалеку от Барселоны. «На свадьбе познакомитесь», – отмахивался он всегда, но дела обернулись так, что заключение брака все откладывалось и откладывалось.

И все-таки на похороны пришли товарищи, с которыми они вместе бегали от жандармов во время последней забастовки строителей. «Да здравствует республика!» – крикнул один из них, потрясая сжатым кулаком, когда могильщики опустили гроб с телом Антонио в общую яму. «Это бы ему понравилось», – подумала Эмма, чуть улыбнувшись. Нападок на Церковь никто себе не позволил, может, из уважения к скорби людей, которые чуть поодаль хоронили своих любимых.

И к изумлению Эммы, пришел Хоакин Тручеро, на этот раз в ботинках, начищенных до блеска, в сопровождении Ромеро, своего помощника. С тех пор как родилась Хулия и все пошло наперекосяк, Эмма уже не вела вечерние занятия.

– От лица партии и от меня лично выражаю искренние соболезнования. – Тручеро подал ей руку, когда Антонио уже исчез под землей и провожавшие его товарищи прощались.

– Спасибо, – поблагодарила Эмма, протягивая правую руку, а левой придерживая девочку, снова примотанную к груди большим платком. – Тручеро... – позвала она, когда тот уже стал поворачиваться, чтобы уйти. Молодой активист обернулся. – Мне нужна работа.

– Мы уже говорили об этом, Эмма. Ты знаешь ответ.

– Мой товарищ, отец моей дочери, погиб потому, что попал в черные списки...

Почти все, кто пришел на похороны, теперь окружили Эмму и двоих партийных деятелей.

– Я тоже в этих списках с последней забастовки, меня туда внесли вместе с Антонио, – заявил один из мужчин.

– А мне повезло, – заметил другой.

– Антонио погиб потому, что был вынужден работать за скудную плату в ненадлежащих условиях, – продолжала Эмма, – и все оттого, что поддерживал партию и боролся за права трудящихся.

– Не он один боролся, многие потеряли работу и от этого страдают, – отвечал Тручеро.

– Непохоже, чтобы ты страдал, – сердито пробурчал один из каменщиков.

Эмма снова посмотрела на сверкающие ботинки Тручеро; молодой щеголь явно некстати почистил их.

– Конечно, таких много, – пришел на помощь Эмме еще один товарищ, – но Антонио погиб, оставив женщину без средств, с грудным ребенком, и сейчас мы именно о ней говорим.

– Ей помогут в братствах.

– Мне не нужна помощь. Мне нужна работа. – Эмма явно ожесточилась. – Если не можете подействовать, нечего болтать, будто вы служите рабочим, тем, кто за вас борется.

– Партия не в силах заботиться о каждом из вас.

– Скажи Леррусу, – пригрозила Эмма, – пусть найдет мне приличную работу, или же я снова пойду на митинги агитировать женщин, но только против этой вашей революции, о которой вы горазды только болтать.

Эмма и Тручеро стояли лицом к лицу, глядя друг другу в глаза. Солнце пекло нещадно, и даже могильщики ждали, чем кончится перепалка. Эмма стиснула зубы и сжала кулаки, как в те времена, когда стояла лицом к лицу с жандармами, и рядом была Монсеррат, и они вместе бросали угнетателям вызов; не было тогда никаких республиканцев, кроме кучки стариков, горюющих по прошлому. А они – да, они были там, сызмала выдерживали полные ненависти взгляды полицейских, которым не позволялось стрелять в женщин и детей. Тручеро даже еще ни разу не задерживали, он был всего лишь молодым политиком радикального толка, готовым повернуться туда, откуда ветер дует, что говорило не в его пользу: через несколько секунд он это понял и кивнул, поддаваясь давлению.

– Я умею готовить, – напомнила Эмма, когда он уже уходил.

Ромеро даже не осмелился к ней подойти, чтобы попрощаться; просто поднес руку к котелку.

Но такая манера поведения не сработала, когда они с двумя друзьями Антонио после похорон отправились на стройку. Хотя уже прошло какое-то время, обломки всего лишь убрали в сторону, чтобы по переулку можно было проехать, и каменщики усердно трудились, возводя новые леса. Скопилось много народу: рабочие, инженеры,

чиновники и изрядное число зевак. Эмма подошла к крепышу, по виду охраннику, и спросила, где найти прораба.

– Зачем он тебе? – поинтересовался тот.

– Затем, что отец моей дочери погиб здесь два дня назад.

Эмма потупила взгляд, будто ища на земле точное место, где умер Антонио, но, когда подняла голову, охранник уже подошел к человеку, который присматривал за работами по возведению лесов, и шепнул ему что-то на ухо. Через мгновение он уже стоял перед Эммой, комкая шапку в кулаке.

– Мои соболезнования, – сказал прораб. – А вы что тут делаете? – спросил у каменщиков, которые пришли с Эммой и которых он явно знал.

– Мы идем с похорон товарища, – гневно проговорил один из них. – Того, кто раньше был и твоим другом, пока ты не начал нанимать штрейкбрехеров и эксплуатировать рабочих.

– Вы об Антонио? – спросил прораб, хотя прекрасно понимал, что ему ответят; Эмму он не узнал, но та кивнула. Прораб вздохнул. – Я его предупреждал: неправильный это путь, чтобы...

– Защищать интересы трудящихся? – вскинулась Эмма.

– Кормить семью, – заключил начальник. – Но с тобой я спорить не собираюсь, – пошел он на попятный.

К тому времени к ним подошли еще люди.

– Какое у вас дело? – спросил у Эммы хорошо одетый господин, в строгом черном костюме, белой сорочке и цветном галстуке, с густой, ухоженной бородой.

– Дон Хосе Санчо, – представил его прораб, – владелец здания, которое строится.

– Мой... – «Мой – кто?» – мысленно спросила себя Эмма, ведь они так и не поженились. – Отец моей дочери погиб два дня назад на этой стройке.

– Мои самые искренние соболезнования, – сочувственно проговорил буржуа.

– Я хотела востребовать компенсацию, которая полагается сироте.

Владелец участка и прораб нахмурились. Двое каменщиков, друзья Антонио, пришедшие вместе с ней, молча поддерживали ее, хотя и предупреждали по дороге на стройку, что ей не заплатят ни

сентимо. «Я хочу услышать это от них самих», – уперлась Эмма. И услышала:

– Никакой компенсации не полагается, голубушка, – покачал головой собственник.

– Но...

– Несчастный случай, – вмешался прораб, – не был связан со строительными работами, не явился результатом небрежности или несоблюдения техники безопасности со стороны работодателя. В том, что лошадь взбесилась и опрокинула леса, нашей вины нет.

– Но и Антонио в этом не виноват! – воскликнула Эмма.

– Да, верно, – продолжал начальник работ. – Поэтому такой случай называется «форс-мажор», понимаешь? Никто конкретно не виноват... Ты можешь, конечно, потребовать компенсацию с возчика, но ведь и он потерял все: и телегу, и коня. Ты даже не покроешь расходы на адвокатов и поверенных.

– Хотите подать в суд, – собственник, видя, что вокруг собирается толпа, явно желал положить конец разговору, – это ваше право.

– Вы... – Тыча пальцем в буржуя, Эмма буквально выплевывала слова. – Вы – отбросы, шлак, бесполезная накипь. Плодите вдов и сирот, чтобы выгадать лишний грош. Те леса были хлипкие, неустойчивые. Доски, кое-как сколоченные посреди переулка, никакой страховки. Вам только бы деньги сэкономить.

– Никто не заставлял Антонио работать на этой стройке, – вмешался прораб. – Он был опытным каменщиком. Если бы дело обстояло так, как ты говоришь, он бы отказался.

Цинизм прораба, который прекрасно знал, что голод и нужда заставляют людей соглашаться на такие тяжелые условия, вывел Эмму из себя.

– Сукин ты сын! – крикнула она и набросилась на прораба.

Тот отступил, хотя мог этого и не делать, поскольку Эмма остановилась, вспомнив, что при ней девочка.

– Паршивые псы! – честила она всех собравшихся. – Негодяи!

Полицейский, надзиравший за стройкой, направился к ней. Собственник покачал головой.

– Женщина в расстроенных чувствах, – заявил он. – Что и понятно, исходя из обстоятельств. Мы простим ей эти дурные слова. Отцу ее дочери что-то причитается за работу? – спросил он у прораба.

Эмма, пылая гневом, стиснув зубы, оглядывала их всех, одного за другим, и наконец остановила взгляд на полицейском, который так и стоял, выжидая. Ярость побуждала к действию, но здравый смысл возобладал: что станет с девочкой, если ее арестуют? Она плюнула на землю и собралась уже уйти, отказавшись от жалких грошей, какие ей предложат. «Тебе понадобятся эти деньги», – шептали друзья Антонио. И она все-таки подошла к буржую в черном сюртуке, с ухоженной бородой, но долго не могла заставить себя протянуть руку за песетами, которые тот скрупулезно отсчитывал. Все же пришлось. Рука, протянутая помимо воли, дрожала.

Пока она не ушла, какая-то женщина вручила ей бурдюк, вымытый, смазанный жиром.

– Кастрюлю мы не нашли, – повинилась она. Эмма стиснула ее в объятиях. – Крепись, – шепнула та ей на ухо. – Ты нужна дочери. Не сдавайся. Многие из нас через это прошли.

Даже если бы не было взбесившегося коня, объяснили ей каменщики по дороге домой, хозяева все равно бы не раскошелились. По-настоящему, они должны были заплатить: четыре с лишним года назад был принят соответствующий закон. Но судьи продолжали требовать конкретных доказательств вины работодателя, а собрать их было очень трудно, особенно если учесть, что даже товарищи пострадавшего отказывались свидетельствовать против хозяина, боясь потерять работу.

Эмма драила тарелки и чашки вязким, глинистым песком с Монжуика точно так же, как некогда в столовой Бертрана. Мыла полы, протирала столы, лампы, двери и приборы в кафе-ресторане Республиканского Братства. Мыть, протирать и драить – вот работа, которую нашел для нее Тручерио. Три вечера в неделю она снова учила работниц грамоте. После смерти Антонио прошло время, и люди, тогда помогавшие ей, иные от щедрого сердца, вернулись к своей рутине, собственным бедам. Эмма плакала по ночам, и по мере того, как вместе со слезами утекала прочь память об Антонио, проблемы множились и жизнь, которую надо было продолжать, будто нарочно преследовала ее, оказывалась более жестокой, чем можно было представить.

Трех песет в день, которые ей платили, не хватало на еду для нее и для дочери и на оплату убогой халупы во дворе. Эмма добилась отсрочки на пару месяцев, но хозяин дома, еще один буржуй, разбогатевший за счет бедняков, прислал управляющего, тощего, лысого старикашку, дурно пахнущего и трясущегося, и тот, хотя как раз тогда она кормила грудью Хулию, пригрозил немедленно выселить ее, если только... Полный похоти взгляд водянистых глазок привел Эмму в отчаяние. Нет с ней рядом ее мужчины, ее каменщика, и даже этот старый мерзавец готов воспользоваться ее нуждой. Возвращались времена тьюфячника и торговца курами.

– Шел бы ты!.. – Эмма вовремя осеклась. – О какой отсрочке мы можем договориться? – спросила она, вставая с постели и отстраняя Хулию, так чтобы паршивец мог хотя бы частично рассмотреть голую грудь.

– Не знаю... – Управляющий подошел ближе. – Какая тебе нужна?

Эмма положила девочку на постель и повернулась к старику, показывая грудь, уже совершенно обнаженную, с торчащим соском, из которого продолжало струиться молоко. У старого сатира пена выступила в уголках рта. Он протянул руку к тугой груди Эммы, и та пнула его ногой в пах. Старикан взвыл, схватился за тестикулы, и Эмма пнула еще раз. После третьего пинка старик сложился пополам и рухнул на пол.

– Ты дашь мне отсрочку еще на месяц, правда? – проговорила она. Старик не ответил. – Правда? – повторила Эмма и встала коленями безобразнику на спину, которая хрустнула так, будто сломался хребет.

– Да, – прохрипел управляющий, захлебываясь кашлем.

Эмма заставила старика написать расписку в том, что она внесла арендную плату за месяц. Она это сделала, приставив ему к почкам наваху Антонию, которую отдали в больничном морге вместе с другими личными вещами. Этой навахой каменщик пользовался для всего на свете: резал хлеб, накалывал картошку, которую Эмма приносила ему на обед, даже развлекался, строгая деревяшки, пытаясь вырезать из них какие-то фигурки, которые выходили ни на что не похожими. Эмма, видя результат, вечно подтрунивала над ним.

– Документ, подписанный под давлением, не имеет законной силы, – проскрипел старик, прервав поток счастливых воспоминаний.

Эмма крепче прижала острие навахи. «Стану всегда иметь ее под рукой», – пообещала себе.

– Но он вступил бы в законную силу, если бы ты его подписал, облизав мне киску, правильно? – Тут она надавила так сильно, что почувствовала, как нож вонзается в плоть; старик корчился от боли. – Через месяц приходи посмотреть на другую титьку.

Этот день приближался, а денег не было. Львиная доля их уходила на еду; Эмма должна была хорошо питаться, чтобы не пропало молоко, чтобы девочка росла здоровой. Вот-вот наступит зима, Хулии нужна теплая одежда, пусть даже поношенная; а еще свечи, уголь, да и за трамвай заплатить, когда Эмма уже выбивалась из сил и не могла идти на работу пешком через пол-Барселоны. Единственное облегчение: девочку она оставляла в яслях Братства, где за ней присматривали и куда она приходила кормить всякий раз, когда ее звали.

Наваха Антонио пригодилась, когда управляющий кафе в очередной раз поставил Эмме на вид ее постоянные отлучки. В тот день мужик накинулся на нее неистово, с особой яростью, наверное, потому, что выпил больше обычного.

– Так дальше нельзя! Ты не можешь сновать туда-сюда целыми днями! Посуду никто не моет, вечно не хватает то рюмок, то стаканов, то...

Эмма подошла.

– Простите... – стала было извиняться она.

Тут оба заговорили наперебой:

– Этого мало...

– Ты же знаешь, у меня ребенок...

– Пусть с ним кто-нибудь посидит!

– Я кормлю грудью.

– Найди кормилицу...

Эмма подошла так близко, что мужчина мог даже дотронуться до нее; он это неправильно понял. Запах перегара был невыносим.

– Мне нечем платить кормилице, – проговорила она сквозь зубы.

– Тогда придется отработать по-другому, – намекнул управляющий.

И умолк, почувствовав острие навахи в паху. Отпрянул, но Эмма прижала сильнее. Он все отступал, чуть ли не с поднятыми руками, пока не прижался к стене. Эмма не отводила ножа.

– Только попробуй приставать ко мне и вредить моей дочери, я тебе яйца отрежу, понятно?

Однако Эмма была уверена, что старик, собирающий квартиру плату, не попадется во второй раз и не позволит ей еще месяц жить в дворовой пристройке. В тот день у Эммы не было вечерних уроков, и она знала, что остается единственная возможность. От Братства, расположенного рядом с университетом, она направилась в квартал Сан-Антони, где когда-то жила с дядей Себастьяном и кузенами. Дом находился в двух шагах, хотя этой дорогой, по этому району она избегала ходить с тех пор, как ее выставили вон.

Дверь была открыта, Эмма постучала и вошла, не дожидаясь приглашения. Вся семья сидела за ужином: дядя, Роса и двое кузенов. Они пребывали в замешательстве, пока Роса не вскочила и не бросилась ее обнимать. Эмма дала волю слезам.

– Поставьте еще тарелку, – велела кузина.

– Не надо... – пробовала Эмма отнекиваться.

Никто из сидящих за столом не пошевелился.

– Вы меня слышите, отец? – крикнула Роса.

Эмма только хотела забрать вечное перо с золотым колпачком, принадлежавшее ее отцу; продав его, она могла бы внести арендную плату за месяц, может быть, за два; но в конце концов отведала вкусного супа с овощами, с мясом в изобилии, как и полагалось в доме забойщика скота, а Роса тем временем играла с Хулией, посадив ее к себе на колени.

Антонио, ее муж, да, они поженились, решила Эмма приврать, недавно погиб: несчастный случай на стройке. Он был каменщик. «Это когда лошадь взбесилась и опрокинула леса?» – «Именно тогда», – подтвердила Эмма, отвечая на вопрос одного из кузенов. Нахмуренное чело, с каким встретил ее дядя Себастьян, понемногу разгладилось, он даже позволил себе взять за ручку малышку Хулию. Эмма не стала слишком подробно рассказывать о себе. Она работает в Братстве, хотя уже не участвует в республиканских митингах. Женщинам обычно нечего сказать, и Эмма, похоже, исчерпала все темы. Дядя Себастьян, даже не закончив ужин, пошел за вечным пером.

– Почему ты не подарила его мужу, когда вы поженились? – спросил как бы невзначай, прежде чем снова сесть за стол и взяться за ложку.

Вечное перо лежало на столе, аккуратно обернутое в марлю.

«Почему не подарила?» – задумалась Эмма; все, включая малютку Хулию, казалось, ждали ответа.

– Потому что он не умел писать, – закрыла Эмма вопрос. – Не хотелось лишний раз это подчеркивать.

Дядя Себастьян поужинал и ушел. Он работал в ночную смену. Поколебался немного, но все-таки подошел к столу попрощаться. «Ты еще к нам зайдешь?» – спросил напоследок. Эмма встала, чмокнула его в лоб. Он слегка улыбнулся. Чуть позже братья пошли выпить по стаканчику; Эмма и Роса остались одни и, сидя на кровати, которую столько лет делили, положив между собой крепко спящую Хулию, рассказывали друг дружке все, что случилось с того дня, как они расстались.

От кухни Эмма узнала новости о Далмау. Где он обретается, никто не знал. Некоторые утверждали, будто видели его в разных местах, но все сходились в одном: он был пьян либо под наркотиком, как все попрошайки, что бродят по городу в ночной темноте.

– А как Хосефа? – спросила Эмма.

– Постарела на тысячу лет, но держится. Мы пересекаемся иногда, – отвечала Роса. – Говорят, однажды ночью Далмау явился домой и забрал все, что было там ценного. Говорят также... Не знаю, верить ли этому...

– Что говорят? – насторожилась Эмма.

– Говорят, он поколотил мать. Та пыталась удержать его, успокоить, поговорить, но... – Роса умолкла. Эмма вспомнила удар кулаком, который сама получила в кафе на Параллели. – Каждый рассказывает свое, сама знаешь, как это бывает. Так или иначе, без помощи деньгами, какую оказывал сын, Хосефе пришлось сдать комнату Далмау семье, недавно приехавшей из деревни близ Лериды: муж, жена и двое детишек.

Несмотря на то что уже стемнело, когда они с кухней распрощались, Эмма пошла на улицу Бертрельянс. Если не успеет на последний трамвай, можно переночевать в Братстве, кто-то всегда тайком оставался там, и она сама не раз это делала. Многие, не имея денег на жилье, спали на прилавках магазинов, где прибирались, даже и жили там. Среди ночных шорохов Эмма распознала стрекот швейной машинки еще раньше, чем заметила слабый огонек свечи, при свете

которой работала Хосефа: света этого не хватало даже на подоконник, где свеча стояла. Эмма не могла поверить в то, что Роса ей рассказала, не могла представить себе Далмау-наркомана, пропащего. Пока они с кузиной общались, та трещала без умолку, и это мешало осознать непоправимость произошедшего, но теперь, в недрах старого города, сырость и зловоние улиц окутали Эмму, и воспоминания, смешанные с чувством вины, все сильнее терзали ее. «Вдруг Далмау и правда умер?» – явился вопрос. К тоске, которую навевали окрестные дома, прибавилась дрожь. Эмма плотнее закутала дочку. В последнюю встречу она оскорбила Далмау, облила презрением. Когда он пытался объяснить, что рисунки обнаженной натуры у него украли, не поверила ни единому слову. Какой-то рабочий, кутивший у стены, сделал ей комплимент. Эмма нащупала наваху. Что он может ей сделать, ведь она закричит на всю улицу и кто-нибудь придет на помощь, разве нет? Эмма прибавила шагу, прежде чем нырнуть в темный подъезд дома Хосефы, оглянулась на рабочего: тот по-прежнему курил, прислонившись к стене.

Их Эмма почуяла еще с лестницы: куры. Поработав с Матиасом, она узнает этот запах даже в свой смертный час, когда все чувства, должно быть, оставляют человека. Похоже, жильцы Хосефы полностью заняли крохотную площадку, куда выходили двери квартир: там играли двое почти голых ребятишек и громоздились две клетки, в каждой из которых сидело по две куры. Этот дом никогда не был ее домом, хотя одно время она и думала, что когда-нибудь поселится здесь, но Эмма почувствовала, будто кто-то вторгся в ее личное пространство, когда заглянула в дверь и увидела, как двое крестьян, только что от сохи, грязные и дурно пахнущие, сидят за столом в кухне. Наваха Антонио казалась игрушечной рядом с той, что лежала на столе подле буханки черствого хлеба.

Эмма не стала стучать, даже не кашлянула, чтобы привлечь внимание, просто вошла, не здороваясь.

– Я к Хосефе, – объявила она и направилась прямо в спальню.

Пришлые оставались невозмутимы.

Стрекот швейной машинки прекратился еще до того, как Эмма на этот раз постучала костяшками. Хосефа встретила ее с распростертыми объятиями и со слезами на глазах, так, как будто уже очень долго ее ждала.

Эмма забрала с собой колыбельку Хулии, свое белье и белье постельное, пару тарелок и пару стаканов, несколько столовых приборов, наваху, вечное перо и тряпичную куклу девочки. Больше ничего бы в доме Хосефы и не поместилось.

Она договорилась с поставщиком льда, обслуживавшим Братство, чтобы тот отвез колыбельку и все прочее в своей тележке, отдав ему взамен старое пальто Антонио, в которое до тех пор укутывала Хулию по ночам. Какие-то вещи распродала; настояла, чтобы Пура и Эмилия взяли что-то на память, а остальное спустила старьевщику за несколько песет, которые оказались не лишними в ту холодную зиму 1905 года.

Эмма не могла сказать, хватило бы у нее духу попроситься самой, но она чуть не лишилась чувств от благодарности, когда Хосефа предложила: «Перебирайтесь ко мне». Будто все напряжение, копившееся со дня смерти Антонио, разом ее отпустило. Она не заплакала, не могла больше плакать после того, как они с Хосефой излили друг дружке все свои горести. «То был не он, не он, не он», – выгораживала Хосефа сына, признаваясь Эмме, что – да, он поднял на нее руку в ту ночь, когда ворвался в дом, чтобы украсть. Услышав предложение Хосефы, Эмма так и рухнула ничком на кровать, сидя на которой они разговаривали.

– Это значит, что ты согласна? – спросила Хосефа. Эмма кивнула, прижимаясь щекой к покрывалу. – Я сообщу той семье, что им придется съехать, и ты займешь комнату Далмау.

Хосефа уже поведала, что, по ее мнению, Далмау вряд ли вернется. Его брат Томас задействовал все свои связи в мире анархистов, чтобы найти его; знал о его падении и нисхождении в ад. «Похоже, там он и обосновался, – с глазами, полными слез, прошептала мать, – рядом с самим сатаной». Его так и не отыскали. Никто ничего не мог о нем сообщить, он попросту исчез из города.

– Наверное, умер, – всхлипывала Хосефа. – Его подобрали на улице, без документов и где-нибудь похоронили: мало ли нищих так заканчивают свои дни.

Эмма обняла ее, а Хосефа все рыдала, ей было никак не остановиться. «Я не смогла его похоронить», – твердила снова и снова. Боль и печаль несчастной матери заразили Эмму, слезы невольно

заструились по ее щекам. «Я не должна плакать по нему», – пыталась она себя усовестить. Далмау того не стоит. Но смерть... Смерти она никогда ему не желала.

– Не теряйте надежды, Хосефа, – прошептала она. – Далмау приходил ко мне, знаете?

– Я его предупреждала, говорила, чтобы не ходил.

Эмма поколебалась немного, но, поскольку она собиралась здесь жить, следовало выяснить все до конца.

– Зачем вы дали ему мой адрес?

– Я не давала.

– Тогда как же он меня нашел? – изумилась Эмма.

– Понятия не имею. Как он тебя нашел, ума не приложу.

Обе умолкли. Хосефа вновь погрузилась в свою боль, а Эмма пыталась распутать интригу: как все-таки Далмау оказался у ее двери.

«Так или иначе, – пришлось ей признать в конце концов, – это могло быть простое совпадение».

– А жильцы, – чтобы хоть немного развеять печаль Хосефы, осведомилась молодая женщина, указывая в сторону кухни, – думаете, они съедут?

– Я верну им деньги, – заверила Хосефа и глубоко вздохнула, подавив рыдания. – Это нехорошие люди. Дети... ну ладно, дети как дети, озорничают, что с них возьмешь; а несчастная женщина терпит побои, раз за разом. Они все неотесанные, очень грубые, грязные, но сам Анастаси – опасный человек. Тот, кто их рекомендовал, обманул меня, да я и сама не сразу поняла, что они собой представляют. Когда этот скот напивается, я запираюсь у себя в спальне и дрожу от страха. Вместе мы как-нибудь проживем.

– А если они не возьмут деньги?

Они не взяли. Анастаси грохнул кулаком по кухонному столу с такой силой, что куры перестали квохтать в своих клетках, а дети, уйдя с площадки, просунули головы в дверь.

– Совсем недавно я заплатил тебе за целый месяц и собираюсь целый месяц здесь жить! – орал мужик. – Некогда мне квартиру присматривать, надо работу искать.

– Не очень-то ты стараешься, – возразила Хосефа. Анастаси пронзил ее взглядом. Эмма встала рядом, чтобы ее поддержать. – Торчишь все время либо здесь, либо в таверне внизу.

– Ты, что ли, будешь мне указывать?

– Почему нет...

– Послушайте... – Поставщик льда, ждавший указаний, куда девать детскую колыбельку, прервал дискуссию. – Куда это отнести?

– На площадку, где куры, – скомандовал Анастаси.

– В мою спальню, – поправила Хосефа. Эмма, изумленная, кинула на нее вопросительный взгляд. – Всего на месяц, – успокоила она Эмму. – Колыбель поместится между шкафом и ножками кровати, а спать мы будем вдвоем.

– И если тебе надоест старуха, можешь перейти ко мне, – расхохотался мужлан.

Ремеи, жена Анастаси, тоже сидевшая за столом, даже не поморщилась.

– Я скорее... удавлюсь.

Хосефа стиснула Эмме плечо, призывая к молчанию.

В спальню Хосефы набилось столько вещей, что не повернуться. Кровать задвинули в угол, чтобы возле окна поместились швейная машинка, табурет, корзины и все прочее, что было необходимо как в домашнем обиходе, так и для шитья. В ногах кровати стоял деревянный шкаф с помутневшим зеркалом внутри, на одной из дверец; размещая свою одежду и одежду Хулии, Эмма обнаружила, что там же висит и одежда Далмау: Хосефа, видимо, вынесла ее из комнаты, куда вселился Анастаси с семьей. Когда молодая женщина прикоснулась к этим вещам, у нее сжалось сердце: ведь когда-то она видела их на своем бывшем женихе, который, скорее всего, уже мертв. Проблема заключалась в том, что, если поставить колыбель, дверцы шкафа не открывались. «Ничего страшного; нужно будет открыть шкаф, колыбель переставим», – решила Хосефа, уже усевшись за свою машинку и готовая к работе. Кроме кровати, колыбели, шкафа, швейной машинки, табурета и корзин, в комнате поместился только маленький столик и таз для умывания.

– Остерегайся этого человека, – предупредила Хосефа Эмму. – И запирай дверь на ключ.

Эмма согласилась с ней и показала наваху. Хосефа, ничего не сказав по этому поводу, нажала на педаль швейной машинки. Эмма забралась в самый угол кровати, к стенке, и дала девочке грудь. Потом

разделась до сорочки, подползла на четвереньках к Хосефе и поцеловала ее в щеку.

– Не работайте допоздна, – попросила.

– Ты же знаешь, я мало сплю, – отвечала Хосефа.

Перед тем как ее окончательно сморил сон, Эмма успела подумать: как часто их с Далмау раздражал этот монотонный, унылый стук, перебивавший их признания, их ребяческий смех; напоминавший о нужде, из-за которой машинка стрекотала не переставая, а главное, о мизерной плате, какую получала швея за четырнадцать часов работы. Но этой ночью скрип педали и стрекот иголки, кладущей стежки, звучал ласковой, согревающей душу песней.

Эмма и Хосефа считали дни, которые оставались до того, как Анастаси с семейством должен будет покинуть квартиру на улице Бертрельянс – та стала местом угнетающим, для Эммы даже опасным. Ни Ремеи, ни Анастаси не получили той вожаделенной работы, мечта о которой заставляла земледельцев срывать с места и перебираться в город. Экономический кризис коснулся многих профессий, сократил рынок труда. Более двадцати процентов женщин, занятых в текстильной индустрии, остались без работы. В строительстве ситуация тоже была плачевной: пятьдесят процентов плотников не были заняты, зато на фабриках Барселоны работало больше двадцати двух тысяч детей. Ремеи, грубая, бескультурная, неграмотная, никак не могла попасть в услужение к кому-то из каталонской буржуазии и не владела никаким ремеслом. Но Анастаси был куда хуже своей супруги. Эмма видела его в Братстве: громила на подхвате, он отирался около республиканских группировок, которые либо охраняли лидеров, либо сеяли панику среди населения и разгоняли митинги тех, кто мыслил иначе.

Ибо насилие вернулось в Барселону. Уже в предыдущем, 1904 году анархисты перестали выполнять соглашение, достигнутое после провала всеобщей забастовки 1902 года, и снова стали забрасывать бомбами улицы города; если Леррус обещает рабочим революцию, то и они не собираются уступать. Партийные и профсоюзные деятели не выходили из дому без пистолета, стычки следовали одна за другой, дошло до того, что союз коммерсантов запросил в соответствующих службах позволения создать собственную полицию, поскольку муниципальная показала свою несостоятельность. Тем не менее

редкие забастовки, на какие рабочие, исходя из обстоятельств, осмеливались, почти все заканчивались провалом. В 1904 году количество стачек сократилось на шестьдесят процентов по сравнению с предыдущим годом, и в своем большинстве они ни к чему не приводили из-за жесткой позиции хозяев, которые дошли до того, что нагло отказывались предоставлять обязательный выходной день в воскресенье, положенный по закону, принятому в марте прошлого года.

Так вот обстояли дела, и если Анастаси не участвовал в какой-то конкретной акции и не шел напиваться в таверну, поскольку шальные деньги жгли ему карман, двое крестьян и их дети, которых благодушная Хосефа назвала «озорниками», потеряв стыд и совесть, часами сидели за кухонным столом и громко скандалили, пока Анастаси не клал конец спору ударом кулака, который чаще всего приходился в грудь или в лицо Ремеи, ибо мальчишки предвидели отцовскую вспышку гнева так же точно, как бывалый моряк предвидит бурю, и уносили ноги.

– Вы подыскиали себе новое жилье? – время от времени интересовалась Хосефа по мере того, как проходили дни.

Анастаси иногда отвечал, а иногда бурчал что-то невнятное. «Не беспокойтесь», – выпалил он однажды. «Нас в любой дом примут, денежки многим нужны», – высказался в другой раз. «Съеду, когда поменяю мою женушку на ту молодуху, что вам греет постель», – захохотал в последний раз, подмигивая Эмме, словно приглашая ее зайти в спальню, некогда принадлежавшую Далмау.

Совладав с гневом, Эмма не ответила грубияну, даже потупила взгляд, в котором читался вызов. Хосефа вырвала у нее обещание молчать. «Не противоречь ему», – чуть ли не приказала. Это Эмма и делала: обходила соседа стороной, когда он попадался на пути; надевала на себя побольше одежек, чтобы он меньше пялился; запиралась в спальне Хосефы – и молчала, молчала, молчала, даже с Ремеи, которую охотно подстрекнула бы к бунту, к неповиновению, к борьбе. «Не вмешивайся, – убеждала ее Хосефа. – Тебя это возмущает, как и меня, но осталось недолго, дочка. Еще пара дней – и они съедут».

Срок близился, а Анастаси с семьей ничего не предпринимали, чтобы отыскать другое место, где они бы ругались за кухонным

столом, дети бегали бы по дому, а куры квохтали на площадке. Было раннее утро; Хосефа ждала, пока Ремеи накормит завтраком своих, чтобы приготовить еду для себя и Эммы. Эмма дала дочке грудь, ополоснулась в тазу. Анастази разгуливал по кухне в нижнем белье, почесывая то голову, то брюхо, то задницу, то яйца, как вдруг в проеме открытой двери показались трое мужчин.

– Далмау Сала? – спросил один из них, потрясая бумагами, которые сжимал в руке.

Хосефа бросилась к ним.

– Его здесь нет, – ответила, запинаясь. – Вам что-то о нем известно? – Она протянула к незнакомцам руки, будто прося подаяния.

– Вы кто? – спросил пришедший.

– Я его мать.

– А вы кто? – спросила в свою очередь Эмма, вышедшая следом за Хосефой с девочкой на руках.

– Я служащий канцелярии суда первой инстанции района Атарасанас, – пробурчал один сквозь зубы. Потом показал на своих спутников. – А это – судебные исполнители и приставы, – добавил он, показывая через плечо на площадку и лестницу.

– Далмау! – воскликнула Хосефа, кидаясь к судейским. – Что с ним?

– Нам ничего не известно о вашем сыне, – прервал ее служащий и посторонился, впуская судебных исполнителей. – Говорите, его здесь нет? – При этих словах Хосефа замерла. Анастази, поняв, что пришли судейские, скромно отошел в сторонку. Ремеи продолжала готовить завтрак, поскольку мальчишки, ни на что не обращая внимания, настырно просили есть, а Эмма почувствовала, как мурашки бегут у нее по спине, что не предвещало ничего хорошего. – Где он?

– Кто – Далмау? – недоуменно переспросила Хосефа.

– Ну да, Далмау Сала.

– Я не знаю. Мне уже давно неизвестно, где обретается мой сын... если только он еще жив.

Чиновник и судебные исполнители обвели взглядом присутствующих и остановили его на Анастази.

– А вы кто такой? – спросил один из них.

– Жилец, – ответила за него Хосефа.

– Анастази Жове, – одновременно отозвался тот. – Показать удостоверение?

– Покажите, – велел ему чиновник. – Хорошо. Далмау Сала здесь не присутствует, а вы, по вашим словам, его мать... – Он сверился с бумагами, которые держал в руке. – Хосефа Порт, верно?

– Да.

Эмма подошла к Хосефе. Мурашки все еще бегали.

– Хорошо. Это и вас касается. Держите. – Чиновник протянул ей бумаги, Хосефа взяла их с опаской, словно могла обжечься. – Речь идет об иске, который предъявляет дон Мануэль Бельо вам двоим, Далмау Сала и Хосефе Порт, – разъяснил он. – Истец требует с вас сумму... – Судейский попытался подсчитать с ходу. – Точно не скажу, но около тысячи двухсот песет золотом плюс проценты.

– Что? – заголосила Хосефа.

– Это самое. Сеньор Бельо требует с вас тысячу двести песет.

– С нее, с матери? – вмешалась Эмма.

– Ну да. С нее тоже. – Теперь и чиновник просмотрел бумаги. – Сеньора, – заговорил он суровым тоном, – здесь сказано, что вы подписали договор, согласно которому сеньор Бельо дал вашему сыну займы тысячу пятьсот песет золотом, чтобы тот откупился от военной службы. Это так?

– Да, – признала Хосефа, – но...

– Никаких «но», – перебил ее чиновник. – Ежегодные выплаты в сто песет перестали поступать, и договор расторгнут. Конфискуем имущество.

– Куры мои, – выскочил вперед Анастази.

– У вас есть договор аренды?

– Нет. Я прямо ей плачу каждый месяц.

– Стало быть, все, что есть в этом доме, принадлежит съемщице, – остановил его чиновник, устало взмахнув рукой. – Можете оспорить это в суде. Начинайте, – велел он судебным исполнителям, которые пустили вперед приставов, ждавших на площадке.

Куры; две навахи, большая Анастази и маленькая Эммы; принадлежавшее ее отцу вечное перо с золотым колпачком; картины и рисунки Далмау в рамках; стеклянные фигурки; костюм и почти новые ботинки Анастази, которые он только что купил для своей работы и в которых щеголял не хуже какого-нибудь маркиза; набитый деньгами

кошель, который нашли у него под матрасом: то, что он привез из деревни под Леридой, продав жалкий земельный участок, – семь потов с тебя сойдет, пока его обработаешь, а проку никакого – и то, что он заработал в Барселоне как наемный головорез, всего около четырехсот песет.

– Это мое! – взвыл Анастаси, оглядывая чиновника, двух судебных исполнителей и кучку приставов, будто прикидывая, нельзя ли схватить кошель и сбежать. «Даже не вздумай», – прочитал он в глазах чиновника. – Это мое, – повторил Анастаси настойчиво, хотя уже тише.

– Заявите об этом в суде, – усмехнулся чиновник; уже усевшись за кухонный стол, он раскладывал монеты, чтобы подсчитать их и внести в опись отчуждаемого имущества.

И пока сыновья Анастаси яростно сражались с приставами, отстаивая кур, двое судебных исполнителей вышли из спальни и прошествовали перед Хосефой, унося табурет, корзины с бельем и чудесную швейную машинку, купленную в торговом доме сеньора Эскудера на улице Авиньон.

Эмма, с Хулией на руках, вовремя удержала Хосефу: внезапно побледнев, открыв рот, но не в силах издать ни звука, та чуть не упала замертво при виде своей швейной машинки в руках безжалостных похитителей.

На фабрике изразцов она была только один раз: пришла туда, чтобы выяснить, зачем Далмау продал рисунки, для которых она позировала, и высказать все, что она об этом думает. В тот день ее не пустили, и сейчас тоже, после того как Пако сообщил дону Мануэлю, что его хочет видеть бывшая невеста Далмау.

– По какому делу? – спросил сторож.

– По личному.

Пако отрицательно покачал головой и продолжал точно так же качать ею, когда вернулся в будку сторожа, чтобы передать отказ дону Мануэля.

– Я могу подождать, – предложила Эмма. – Или лучше прийти завтра? – спросила она, невзирая на то что сторож так и продолжал качать головой.

– Он тебя не примет, девочка. Зря стараешься.

Как же было ей не стараться? Дон Мануэль их разорил. Кроме кровати, необходимой одежды и мебели, кухонной утвари и посуды, из дома вынесли все, далеко не покрыв этим долга. Хосефа помешалась. То, что Далмау пристрастился к наркотикам и исчез, потрясло ее; но когда чужие люди вторглись в ее жилище, где она разделяла жизнь и судьбу мужа, где растила детей, в ее убежище, она впала в такое расстройство, что Эмма ничего уже не могла поделать. Хосефа упорно искала швейную машинку и, когда не находила ее подле кровати, где та стояла долгие годы, мотала головой, что-то бормотала в недоумении, выходила на кухню и на площадку и возвращалась в спальню, уверенная, что машинка окажется на месте. А машинки не было.

– Я буду ждать здесь, – заявила Эмма сторожу, становясь у ворот, за решеткой, ограждавшей фабрику.

– Делай что хочешь, девочка, но ты ничего не добьешься, – ответил тот.

Но она должна добиться. Что выгадает дон Мануэль, преследуя такую женщину, как Хосефа? Она тоже потеряла сына. Его сбили с пути, не уставала она твердить Эмме: буржуи украли у Далмау душу, и он, неискушенный, впал в гордыню, поддался соблазну богатства и наконец пристрастился к пороку.

С другой стороны, Анастаси последовал за исполнителями до самого суда в Атарасанас и уже нашел адвоката, чтобы тот возбудил дело о возврате имущества субарендатору, хотя без особой надежды на успех, как разъяснил адвокат Хосе Мария Фустер. Томас снова привел его в дом Хосефы, где юрист ознакомился с иском, который принесли судейские, и услышал из уст Хосефы, потрясенной, чуть не потерявшей дар речи, что да, она действительно подписала договор, чтобы избавить Далмау от военной службы.

Об этом думала Эмма, воображая, в какой ярости вернется из суда Анастаси, когда ворота фабрики изразцов распахнулись и лошади, запряженные в экипаж, обычно трусившие неспешной рысцой, рванули галопом; все-таки Эмма успела разглядеть внутри мужчину с широкими, густыми бакенбардами, который выдержал ее взгляд. Она побежала за экипажем, но всего лишь наглоталась дорожной пыли, и камешки, летевшие из-под колес, дождем посыпались на нее.

Эмма затопала ногами в бессильном гневе. Было уже поздно, время поджимало. В Братстве она еле отпросилась с работы; Хулия

наверняка проголодалась, а начальник рвет и мечет, требуя чистых стаканов и чашек. Она не могла рисковать, лишиться работы было никак нельзя, похоже, только на эти деньги им с Хосефой и придется жить, поскольку головорез, который, скорее всего, будет продолжать одним предоставлять защиту, а у других вымогать деньги, пусть даже лишившись костюма и почти новых штиблет, уже заявил, что он и его семья не сдвинутся с места и он не станет платить ни сентимо, пока не получит назад то, что ему принадлежит. Вопрос только в том, думала Эмма, возвращаясь с фабрики изразцов в Братство, как они, основные квартиросъемщики, сами смогут вносить квартирную плату.

Она прилежно отработала остаток дня. Часто думала о Хосефе, о том, как жестоко с ней обошлась жизнь. Она потеряла мужа и дочь Монсеррат в борьбе за рабочее дело; потеряла сына Далмау по совершенно противоположной причине: буржуи украли у него душу, а теперь и у нее самой отнимают последнее. Поговорить с доном Мануэлем было просто необходимо: если он такой добрый католик, как все говорят, его долг – проявить сочувствие. Ясно, что на фабрику ей проникнуть не удастся, а где он живет, Эмма тоже точно не знала. Где-то на Пасео-де-Грасия, часто рассказывал Далмау, в квартире с высоченными потолками, с просторной террасой, выходящей во внутренний двор квартала; там без числа комнат, картин, ламп, серебра и прочего. Но Эмма не знала, где это. Зато знала, к кому можно обратиться.

Хотя час был поздний, у пиаристов на Ронда-де-Сан-Антони еще шли вечерние занятия, так же как в братствах и атенях. И Далмау их там проводил, когда она сама, подменяя Монсеррат, учила катехизис в исправительном заведении монахинь Доброго Пастыря. Оставив Хулию на улице Бертрельянс на попечении Хосефы и принеся последней немного еды, Эмма отправилась к пиаристам и назвалась привратнику невестой Далмау Сала. Тот признал, что помнит такого, парень давал здесь уроки, и провел ее в скупой обставленной, темную комнату; иных и не бывает в религиозных учреждениях – на стене, на самом видном месте, распятие; деревянный стол и несколько стульев вокруг.

– Ты, должно быть...

В дверь вошел мужчина в черной сутане. Священник ей не подал руки.

– Эмма Тазиес. Я была невестой Далмау... Далмау Сала.

– Да-да, – перебил ее преподобный Жазинт. – Я знаю, о ком речь. И что же тебя сюда привело?

Эмма ринулась объяснять, почему ей пришлось прибегнуть к помощи преподобного, а тот слушал безучастно, пока она не упомянула, что никто уже давно ничего не слышал о Далмау и все считают, что его нет на свете.

– Вы в этом уверены? – спросил священник.

– Нет. Быть совершенно уверенными в таком невозможно. Хотя, если бы он был жив, его кто-нибудь да увидел бы. Родная мать считает, что его нет на свете, а теперь... Как я вам говорила, у нее отняли единственное средство к существованию. Она вдова, ей не от кого ждать помощи. Так что и ей недолго осталось жить.

– И ты хочешь, чтобы дон Мануэль вернул ей швейную машинку?

– Да. Я знаю, преподобный, что было между Далмау и дочерью дона Мануэля и какой трагедией это обернулось, но знаю также, что дон Мануэль – добрый христианин, а добрый христианин призван прощать обиды и не таить ни зла, ни ненависти, ни жажды мести. – Эту часть своей речи Эмма приготовила заранее, как только решила пойти к монаху; тот даже вздрогнул и выпрямился на стуле, услышав такие доводы. – Не думаете ли вы, что не выгода в несколько песет от продажи старой швейной машинки движет доном Мануэлем, а отвратительное, недостойное желание отомстить матери Далмау?

– Ты получишь возможность спросить его об этом сама.

Такая возможность представилась на следующий день. «Пусть только попробует не отпустить меня: яйца отрежу!» – с таким настроением шла Эмма отпрашиваться у начальника, хотя навахи у нее уже не было. Преподобный Жазинт дал знать, что дон Мануэль примет ее до обеда у себя дома, по такому-то адресу.

Она должна была добиться своего: Хосефа таяла на глазах.

Ее впустили с черного хода, провели по служебной лестнице на главный этаж, где она стоя ждала битых полчаса, пока та же самая служанка, которая с презрительной миной открыла дверь, сопроводила ее на господскую половину. Далмау не преувеличивал, описывая убранство дома, его богатство и великолепие. «Смотри, ничего не

трогай; постарайся ничего не разбить», – свысока наставляла служанка.

Ее приняли в главном зале, где дон Мануэль, в глубоком трауре, и преподобный Жазинт удобно устроились на двух диванчиках. С ней не поздоровались и не предложили сесть.

– Значит, ты полагаешь, что я должен простить, – начал учитель; Эмма стояла перед ними двоими, а служанка за ее спиной, – и не преследовать своей мезтью мать того, кто убил мою дочь?

– Далмау не убивал ее, – возразила Эмма.

– Ты пришла спорить со мной по этому поводу?

– Нет, я не поэтому пришла, – поправила Эмма. – И да, я считаю, что вы не должны из мести преследовать мать Далмау. Эта женщина умрет, если у нее не будет машинки; она умеет только шить, а если учесть, как в нашем городе обстоят дела с работой, ей иначе просто не выжить. – Набрав полную грудь воздуха, Эмма подавила гордость. – Молю вас о милосердии, дон Мануэль.

– Ты говоришь о милосердии, величайшей христианской добродетели! – воскликнул тот. – Преподобный Жазинт мне передал, что и вчера ты приводила те же доводы...

Учитель не закончил фразы.

– Да, приводила, – пришлось ответить Эмме.

– Но ты – революционерка, анархистка или там республиканка: кто вас теперь разберет! – вымолвил он с отвращением. – Как же ты можешь выдвигать христианские аргументы в защиту своих претензий?

– Разве вы прислушались бы к чисто социальным аргументам? – Сказав это, она тут же поняла, что опять ошиблась. Взглядом поискала поддержки у монаха. Не нашла ее. – То есть к аргументам...

– Знаю я, что это за аргументы, – отмахнулся дон Мануэль, – их вы возводите в принцип, ими оправдываете забастовки, стычки, манифестации. Они известны и ненавистны мне. Но, как я замечаю, вы, революционеры, прибегаете к тем и к другим аргументам, судя по тому, что вам выгодно. А это называется лицемерие.

– Я пришла сюда не для того, чтобы вас оскорбить.

– Но ты оскорбляешь. Насмехаешься над моей верой, моей религией...

– Я с уважением отношусь к людям. Ничего подобного у меня и в мыслях не было.

– Еще как было, – убежденно проговорил дон Мануэль. – День за днем вы богохульствуете, обвиняя Церковь и верующих во всех пороках. А после не стыдитесь прибегать к таким понятиям, как христианское милосердие, чтобы добиться своего. Вы тоже так это видите, преподобный?

Преподобный Жазинт молча кивнул.

– Вы лжецы и лицемеры, – продолжал дон Мануэль. – У вас самих нет ни чести, ни совести, но вы хотите, чтобы мы склонились к вашим мольбам во имя Бога, в которого вы даже не верите.

Эмма стерпела эту суровую отповедь, снова подавив гордость, которая толкала ее выступить в защиту рабочего дела и собственного достоинства.

– Может быть, – вступил преподобный Жазинт, – может быть, дон Мануэль отнесется к тебе благосклоннее, если ты ему скажешь, где сейчас Далмау.

– Этого я не знаю, преподобный, – отвечала Эмма.

– Они никогда ничего не знают! – осклабился дон Мануэль. – Только просят и просят, ничего не давая взамен. Они – паразиты, которые пользуются нашими фабриками и даже не благодарят за то, что мы им даем работу. Где бы вы были без хозяев, на которых так нападаете? Что случилось бы с такой, как ты, несчастная, если бы в этом городе для тебя не нашлось рабочего места? Я скажу тебе что: ты бы пошла на панель торговать своим телом и телом твоей дочери, ибо нет у тебя ни морали, ни понятия о приличии, ни страха Божьего... Далмау – шваль, и ты, раз гуляла с ним, наверное, того же разбора... Шваль!

У Эммы подогнулись колени. Слова дон Мануэля били по чашечкам, словно железным прутком. Она пошатнулась, схватилась за столик и опрокинула вазу, которая упала на пол и разбилась вдребезги. Никто в комнате не пошевелился. На Эмму вдруг обрушилось все мироздание. Ее внезапно охватила такая тоска, что по щекам сами собой заструились слезы, она расплакалась прямо там, перед доном Мануэлем и преподобным. Она не предприняла ничего, чтобы скрыть свое горе, те двое тоже не стали ее утешать; непреклонные, сидели, выпрямившись, не двигаясь с места.

– Чего вы от меня хотите? – сквозь рыдания проговорила она. Никто из двоих не ответил. Эмма всхлипывала, крепко стиснув руки, выставив их вперед. – Хотите, чтобы я молила вас?

Она рухнула на колени. В правое вонзился осколок вазы, потекла кровь, пачкая ковер. Преподобный Жазинт встал, собираясь, по-видимому, прекратить представление.

– Нет, – обратился к Эмме дон Мануэль. – Мы не хотим, чтобы ты молила нас, голубушка. Преклони колени перед Господом и моли Его. – Учитель указал на распятие, висевшее на стене.

Эмма уронила голову на грудь, готовая покориться, но краем глаза увидела на губах дон Мануэля улыбку, насмешливую, снисходительную. Поняла, что унизит себя напрасно, что этот человек, ослепленный великой ненавистью, никогда не уступит.

– Хватит! – крикнула она и вскочила, не обращая внимания на обильно текущую кровь. – Я не встану больше на колени. Ни перед вами, ни перед вашим Богом. Я уже проделывала это в прошлом... – Эмма рассмеялась, и смех вернул ей силу и достоинство. – Думаете, вы такие умные, но вы ничего не знаете. Поверили, будто Монсеррат, сестра Далмау, творила дурацкие молитвы, явившись к вам, словно заблудшая овечка, но она и не думала этого делать. Это я, да, я заменила сестру Далмау. Вам невдомек, как мы смеялись над монахинями! Хотите, прочту «Отче наш»? До сих пор помню...

– Вон! Убирайся прочь, богохульница! – возопил дон Мануэль. – У тебя, блудница, следует отобрать дочь, пока ты не продала ее сутенеру! Хочешь, чтобы мы вернули старухе швейную машинку? Так иди снова в монастырь Доброго Пастыря, проси прощения у монахинь, стань одной из них и отдай нам свою дочь. Мы подыщем ей хороший дом, подальше от такой пропащей лгуни, как ты.

– Нет! – снова крикнула Эмма. – Я вам и близко не дам подойти к моей дочери. Я стану бороться против вас, и моя девочка будет рядом. И мы, если так нужно, погибнем вместе.

Часть вторая

Это место называли Пекин: окраина, созданная в конце XIX века китайцами или филиппинцами – мнения на этот счет расходились, но, во всяком случае, людьми восточными, которые эмигрировали в Барселону с испанских островов, Кубы или Филиппин, когда там начались войны, закончившиеся поражением Испании в конфликте с Соединенными Штатами Америки. Немалое количество обездоленных бедняков обосновались на узкой прибрежной полосе между морем и железной дорогой, ведущей во Францию через Матаро, в месте, где речка Орта впадает в море, неподалеку от порта и Барселонеты.

Там, на берегу, без каких бы то ни было удобств, отданное на милость штормов, регулярно опустошавших зону, возникло скопление лачуг из досок, глины, тростника, парусины, чего угодно, что могло предоставить хоть какое-то укрытие. Со временем многих восточных людей оттуда выселили как нелегальных иммигрантов, не имевших в Барселоне жилья, и Пекин заселила пестрая публика, представители разных слоев и рас, рыбаки и старьевщики, поденщики и торговцы, продававшие что угодно, вплоть до секса, даже детского, причем задешево, что привлекало в поселок всякого рода извращенцев.

Именно в Пекине Маравильяс и Дельфин сбывали то, что умудрялись украсть у ротозеев. Дон Рикардо еще хранил в своем облике заморские черты: смуглую кожу он унаследовал от бабки, негритянки с Кубы. Он женился на каталонке и жил вместе с ней в деревянной халупе, битком набитой животными, вещами, всяческой рухлядью, а еще детьми, теми пятерыми, которые у них выжили. Толстяк Рикардо всегда сидел укрытый одеялом, перед железной печкой, наверное, единственной во всем Пекине; дым сочился сквозь щели в трубе, которая, наподобие каминной, выходила на крышу, отчего в хибаре было просто нечем дышать. Маравильяс была уверена, что он и спал на том же распотрошенном кресле, сидя на котором принимал клиентов. Она никогда не видела скупщика на ногах.

Trinxeraire, однако, добилась того, что он выпрямился, и огромный двойной подбородок, обычно свисавший вдоль шеи, напрягся и подпрыгнул к челюсти.

– Я тебя предупреждал, – шепнул Дельфин сестре, когда та высказала свое предложение. – Ты его только разозлила.

Маравильяс и ухом не повела.

– Ты продаешь мне этого типа? – изумился дон Рикардо и показал на Далмау, которого Дельфин силился удержать стоймя. – Отпусти его! – велел скупщик мальчику. Далмау рухнул на землю, как только Дельфин развел руки. – Да ведь это дохляк, – с укором сказал Маравильяс хозяин хибары.

– Нет, он еще живой, – возразила та.

– Но едва-едва...

Пес-крысолов обнюхал Далмау, который лежал без чувств на земле.

– Если помрет, я с тебя денег не возьму, – нагло заявила девчонка.

– Неужели ты думаешь, что я заплачу тебе хотя бы сентимо вот за это? Ты продавала мне женщин, детей, мальчиков и девочек, педерастов, но этот... Что с ним такое? Наркотик, да?

– Морфин.

– Гиблое дело. Морфиниста не вылечить.

– Он не так давно подсел, – объяснила Маравильяс. – Несколько месяцев колется. Может, не так и прогнил изнутри.

– И что ты хочешь, чтобы я с ним делал? Какой будет уговор?

– Вот он, перед тобой. Если помрет, никакого.

– Кто мне вернет деньги за еду, которую я стану давать ему, пока он не помер?

– Стоит рискнуть, – перебила его девчонка.

Дон Рикардо закатил свои узенькие глазки. Эта *trinxeraire* ему нравилась. Приносила хороший товар, была отчаянная. В Барселоне, где большинству жителей грозили голод и нищета и целая армия *trinxeraires*, нищих и попрошайек сновала по городу, трудно было раздобыть что-то существенное: время от времени бумажник, одежду, товары из лавки, но Маравильяс однажды привела ему ослика, а в другой раз принесла снятые с жандарма треуголку и саблю; их дон Рикардо не стал продавать, а с восторгом оставил себе. Теперь вот она явилась с полумертвым наркоманом.

– А если выживет? – осведомился фартовый.

– Он – великий художник, – ответила Маравильяс. – Во сколько тебе обходятся эти открытки с голыми женщинами? – спросила,

показывая на стопку порнографических картинок, лежавшую на столе рядом с биноклями и двумя выщербленными кофейными чашками. – Он тебе нарисует задаром. Напишет голой любую женщину, какую скажешь. Может, даже сделает с тебя портрет вот такой величины. – Завлекая скупщика, девочка широко развела руки.

– А тебе с этого что перепадет? – после недолгого раздумья спросил дон Рикардо.

– Знаю, ты человек щедрый.

– Я? Стало быть, тебе так дорог этот морфинист? – раскрыл скупщик ее секрет.

Дельфин, который до сих пор больше следил за собачонкой и за детьми, окружившими Далмау, покачал головой: мол, берегись, сестренка, толстяк обдурит тебя.

– Не говори глупостей! – взвилась Маравильяс. – Это чисто деловое предложение. Если тебе интересно, договоримся; если нет, бросим его здесь, на песке, – она махнула рукой в сторону берега, – пусть его унесет море.

– Договоримся. Я его беру.

Маравильяс остереглась сразу выдохнуть весь воздух, какой удерживала в легких, пока толстяк раздумывал. Продать ему Далмау было единственным решением, какое пришло ей в голову, когда она нашла его умирающим на одной из улиц Равалья. В тот же день, когда Эмма силой заставила управляющего домом, где жил Антонио, продлить срок аренды на месяц и тем самым решила насущную для них с дочерью проблему жилья, двое *trinxeraires* взвалили Далмау к себе на плечи и притащили в место, которое станет его новым домом, – в Пекин. «Помрет? – спрашивала она себя, чувствуя, как расслаблены все его мышцы. – Вероятнее всего», – сама себе и отвечала. Но больше она ничего не могла для него сделать. Муниципальные полицейские даже не забирали его. Когда он валялся на земле, тыкали носком сапога, проверяя, не умер ли, а раз шевелился, шли себе дальше.

Морфинистов нельзя было излечить, так же как и многочисленных алкоголиков, которых помещали в диспансеры; но, выпив горячего бульону и проспавшись, вторые зачастую возвращались на улицы, даже клялись больше не пить, хотя и нарушали клятву у дверей первой же таверны; а наркоманов, переживающих ломку, мучили такие припадки, что санитары ничего

не могли поделаться. В больницы наркоманов не принимали, в приютах и благотворительных центрах им тоже не были рады; в диспансере им нужно было давать какую-то замену наркотику: алкоголь – врачи, которые лечили богатых, рекомендовали шампанское, но в муниципальных заведениях обычно давали то, что случалось под рукой, – или какое-то лекарство, содержащее морфин либо героин, вроде микстуры от кашля. Потом, возродив к жизни, их выпускали, в уверенности, что они скоро вернуться. Богачи лечились шампанским в санаториях, в основном расположенных на юге Франции, и возвращались к пагубной привычке, едва выйдя за ворота; но такие обездоленные, как Далмау, могли только длить свою агонию, воруя или попрошайничая в ожидании смерти.

– Ты, – велел дон Рикардо одному из своих шестерок, которые всегда его окружали, – займись им. Дай ему пить. Да не воды, черт! – выругался он, видя, как парень хватает кувшин. – Вина, анисовки или водки! Чего-то такого, чтобы он очнулся. Потом попробуй его накормить.

Маравильяс смотрела на Далмау: тот лежал там же, куда выпал из рук Дельфина. Пес-крысолов стерег его. Этот человеческий отброс мало походил на художника, прославившего себя рисунками *trinxeraires* и керамикой. Он был одет как всякий нищий, в дырявые и драные лохмотья, слой за слоем, один прикрывает другой; вместо обуви – обрезки ткани и старые газеты, перевязанные веревками. Заросший бородой. Грязный. Бледный. Истощенный. *Trinxeraire* показалось, что Далмау шевельнулся, когда подручный дона Рикардо влил ему в рот немного анисовки. Он открыл глаза, и Маравильяс спряталась за облезлой ширмой, покрытой лаком – на ней когда-то можно было разглядеть изящный восточный орнамент. Оттуда продолжала смотреть, не замечая, что толстяк с нее глаз не сводит, и, стиснув зубы, мысленно толкала Далмау, когда тот попытался встать. Ее усилия ни к чему не привели: Далмау упал снова.

– Я сделаю это ради тебя, Маравильяс, – отвлек ее голос дон Рикардо. – Если выживет, напишет картину, как ты обещала, а потом я тебе его верну или просто отпущу на все четыре стороны, как скажешь; но ты мне за это дашь... То, что я попрошу. Договорились?

– Только если он вылечится, – настаивала девочка.

Дон Рикардо пожал плечами и руками развел: откуда, мол, ему это знать.

– Никто не может быть уверен, каким путем пойдет наркоман. Не требуй от меня невозможного.

– Договорились, – все-таки согласилась Маравильяс, немного подумав.

Дон Рикардо кивнул, уткнув нижнюю челюсть в двойной подбородок.

– Окуни его в море, пусть наконец очнется, прах его раздери! – приказал он шестерке.

– Ты так собираешься его лечить? – Маравильяс вытаращила глаза от изумления.

– Не знаю. Я не врач, – отвечал скупщик, – но с пьяными мы так поступаем, и это работает. Хотя... будь спокойна, девочка: крысолов его признал, а я тебе гарантирую, что этот пес и близко не подойдет, если учует смерть.

Маравильяс вышла из хибары посмотреть, как Далмау тащат на берег. Стояла осень 1904 года, и море, беспокойное, серело под пасмурным небом. Один только ветер, засыпавший Маравильяс песком и взметнувший на ней лохмотья, уже пробрал ее до костей. Шестерка толкнул Далмау в море, но тот не желал окунаться и остановился, когда холодная вода дошла до колен; парень с берега орал на него и жестами приказывал идти дальше. Далмау как будто не слышал, стоял неподвижно, весь сжавшись, и волны наплывали на него, обдавая брызгами. *Trinxeraire* повернулась и сделала Дельфину знак следовать за ней.

– И что ты будешь делать, когда дон Рикардо вернет тебе Далмау? – спросил тот, когда они уже далеко отошли от Пекина. – Мы ведь могли бы выудить какие-то деньги у толстяка.

Девочка пожала плечами.

Итак, чтобы излечить от морфиновой зависимости, имелось немного клинических методов. Наркотик заменяли другим токсичным продуктом, например алкоголем, или резко и моментально, или назначая более медленную терапию; к этому обычно добавлялся строгий надзор за наркоманом, а для тех, кто мог себе это позволить, – физические упражнения и работа с психологом.

Дон Рикардо, разумеется, избрал резкий и моментальный метод.

– Узнаю, что кто-то дал художнику хоть понюхать морфина или чего-нибудь подобного, – яйца отрежу, – пригрозил он домашним и всему своему окружению. – Давайте ему выпить крепкого, а когда встанет на ноги, впрягайте в работу. Пусть даже думать забудет о наркоте.

Так с ним и поступили. Далмау – или все, что от него осталось, – лохматого, обросшего бородой парня, тощего как скелет и изможденного, приковали за лодыжку в сараюшке без двери меж двумя халупами, с песчаным полом; два ящика служили единственной мебелью, а одеяло кое-как спасало от холода. Пес-крысолов остался снаружи, вместе с другими собаками всех мыслимых и немыслимых пород.

– Сторожите его хорошенько, – наказал им подручный дона Рикардо.

И свора, хорошо обученная таким командам, не подвела. Сарай всегда кто-нибудь да сторожил.

На Далмау, сидящего взаперти, накатывали приступы тоски и тревоги, вызванные морфиновой ломкой. Понос и рвота не прекращались, а в сарае никто не убирал, и все оставалось внутри; один за другим следовали мышечные спазмы, терзала нестерпимая боль... Он кричал, ногтями рвал на себе кожу, бился о доски сарая ногами и кулаками, а когда и головой. Орда полуголых детишек вовсю потешалась над ним: малыши плевались, бросали в него всякой дрянью, а когда наступал пароксизм, ликовали и подзадоривали: давай, мол, бейся сильнее, не жалей себя. В такие моменты кто-нибудь из свиты дона Рикардо приносил спиртное.

– Морфина! – однажды посмел потребовать Далмау, истошно крича. – Дайте морфина!

Подручный поставил стакан анисовки на ящик и вlepил Далмау такую затрещину, что тот отлетел к стене.

Дети, которые даже не разбежались, когда взрослый вошел в сарай, засмеялись и захлопали в ладоши.

– Ты почитай что дохляк, дурья твоя башка, – обругал его подручный. – Не знаю, зачем только шеф тратит на тебя силы. – Потом, вместо того чтобы оставить анисовку на ящике, взял стакан и выплеснул Далмау в лицо. – Втягивай, если хочешь.

Далмау хотел было ответить, но сумел лишь пробормотать несколько неразборчивых слов. «Я еще не дохляк», – хотел он сказать.

Ему давали еду. Зловонные остатки рыбы, овощи со дна кастрюли, огрызки хлеба. В Пекине было полно рыбаков. Алкоголь его порою бодрил; тогда ему удавалось связать воедино какие-то мысли; даже являлись воспоминания: Эмма, Урсула, учитель, мать... В эти моменты просветления он не мог уразуметь, как очутился здесь, среди хибар, прикованный.

– Ты принадлежишь дону Рикардо, – ответил один из людей скупщика, когда Далмау смог наконец задать этот вопрос, не без усилий, потому что говорить ему было трудно.

В те краткие промежутки времени, когда на него не накатывала тоска, не терзала лихорадка или попросту им не овладевало безумие, Далмау бормотал что-то, но язык не шевелился в изъязвленном рту и пересохшие губы не слушались.

– Я не... – хотел было он возразить, но подручный дона Рикардо схватил его за горло.

– Ты – да. Ты – отребье, ты не стоишь куска хлеба, который тебе дают. Скажи и за это спасибо. Понял меня? Ты принадлежишь дону Рикардо. Признай это. Или хочешь сдохнуть?

Далмау не ответил. В тот же самый день, как и в остальные, он вернулся к безмерной пустоте, в которую погружался его дух, к глубочайшей темной бездне, где лишь тусклым огоньком светилась неумолимая жажда нового укола. И как-то раз, ночью, эта лампада стала разгораться все ярче и ярче по мере того, как усиливалась дрожь. Морфин – вот единственное, чего он вожделел, и ничто не могло удержать его в этом месте. Он должен вернуться в город, выпросить, украсть... убить, если нужно, только бы достать дозу морфина. Он подобрал камень, из тех, какими кидались в него дети, и, в пароксизме ломки забыв об осторожности, стал колотить по доске, куда было вделано кольцо от цепи, прикрепленной к его лодыжке. К стуку, громом прогремевшему в ночи, добавился лай собак.

– Дон Рикардо! Ваш художник задумал смыться! – слышалось из какой-то хижины.

Через несколько минут один из подручных дона Рикардо явился в сарайчик и пинками разогнал собак. Далмау продолжал колотить по доскам, в своем ослеплении даже не замечая пришедшего, а тот

лениво, будто выполняя досадную обязанность, вlepил ему пару затрецин и двинул ногой в живот; у Далмау прервалось дыхание, и он скорчился на полу.

– Не шуми, – будто ребенку, наказал ему шестерка. – Люди хотят спать.

– Шеф сказал, – сообщили ему наутро, – что раз у тебя есть силы, чтобы колотить по цепи, их должно хватить и для работы.

Тогда-то Далмау и узнал, что значит быть собственностью дона Рикардо. С того дня он помогал поддерживать порядок на складе, в хижине скупщика и в жилищах его подручных. По утрам, перед выходом, ему давали достаточно спиртного, чтобы он начал рабочий день в должном состоянии; его всюду сопровождал один из шестерок, следя, чтобы узник не убежал.

Почти каждый день его заставляли ходить по берегу, искать доски и всякий хлам, выброшенный прибоем; если печка дона Рикардо топилась углем, всем остальным требовалась древесина.

– Балбес! – Одна из женщин, вместе с которыми он прочесывал каждую пядь прибрежного песка, может возлюбленная кого-то из шестерок, выругала его, когда он пропустил сухую ветку, наполовину погребенную. – Подбери это!

– Простите, – извинился Далмау. И сам удивился, как это у него получилось: чисто и внятно. – Простите, – повторил он, чтобы закрепить достигнутое, уже наклоняясь за жалкими остатками запорошенной веточки.

– Бог простит, – отрезала женщина, пару раз пихнув его, чтобы привести в чувство. – Сюда ты пришел трудиться, не молиться.

Эта всего лишь пихнула. На другой день жена скупщика привела его к баркасу, только что приставшему к берегу.

– Держи, – крикнули ему с борта, – это для дона Рикардо!

Бочка, слишком тяжелая, выскользнула из рук Далмау, и рыба вывалилась на песок. Рыбак сбил его с ног первой же затрециной, в глазах у Далмау помутилось, и он не видел уже этих рыб, которые отчаянно били хвостами, словно пытаясь добраться до моря и укрыться в волнах. И Далмау тоже не удалось укрыться от рыбака, который отвел душу, пиная его ногами в живот.

– Это чтобы ты о наркотиках и думать забыл! – кричал моряк, все больше ожесточаясь. – Мерзкий паразит! Хоть бы вы все передохли.

При полном невмешательстве шестерки, который всегда его сопровождал, удары и оскорбления множились. Порой, когда ломка одолевала и Далмау корчился, криками требуя морфина, его снова окунали в море; детишки хохотали, издевались над ним; некоторые вместе с собаками, которые прыгали среди волн, бежали следом, набирали воду горстями и поливали его сверху. Казалось, никого не заботило, будет он жить или умрет. Об этом, как слышал Далмау, твердили все: «Дону Рикардо без разницы. Коли он не подойдет, то вылечится». Бывало, что с работы его приносили без чувств. Несколько раз он заболел, поднималась температура; тогда его заворачивали в одеяла и по-прежнему давали алкоголь, овощи и тухлую рыбу. Однажды, когда его притащили с берега, Маравильяс и ее брат явились и подошли к сараю.

Далмау их даже не узнал. Он рухнул без сил на одеяло и скорчился в позе эмбриона.

– Ты не уморишь его? – спросила *trinxeraire* у дона Рикардо. – Он еще слишком слаб для такой работы.

– Наоборот, девочка. Необходимо, чтобы он делал что-то, двигался, трудился; чтобы забывал думать о наркотике. Только таким манером он напишет для меня картину и я смогу вернуть его тебе. А если помрет тем временем, что ж, значит не судьба.

Маравильяс кивнула.

Работа становилась все тяжелее с каждым днем: встречать рыбаков, носить дрова, воду, вещи... Ему поручали все подряд. Ужесточились условия, в каких его содержали. Доза алкоголя уменьшилась до такой степени, что Далмау умолял уже не о морфине, а о лишнем глотке спиртного.

– Сдохни уже! – отвечали ему.

Он провел три месяца в Пекине, в заточении, и перестал уже безропотно сносить побои: в один прекрасный день даже попытался оказать сопротивление рыбаку, который с криком «Давай-давай!» пнул его под зад, понуждая идти быстрее с бочкой на плечах. Далмау пробежал несколько шагов, поскольку пинок придавал ему ускорение, потом сбросил бочку на песок и обернулся к рыбаку, который с тех пор, как художника притащили в Пекин, тысячу раз лупил его. И, несмотря на дерзкий вызов, рыбак добавил еще; ненависть,

проснувшись в Далмау, не нашла опоры в изможденном теле, неспособном драться.

Также Далмау стал мучить голод; ощущение, глубоко взволновавшее его: он как будто рождался заново. Его уже не устраивали объедки, какие ему приносили день за днем, он стал требовать настоящей еды, правда, без успеха. Дон Рикардо велел по-прежнему давать ему подтухшую рыбу, овощи и огрызки хлеба. И все-таки у него появилась слюна, хотя бы при воспоминании о разнообразных яствах, какими он наслаждался раньше; язвы и порезы во рту и на губах постепенно затягивались. Речь исправилась, стала беглой, он начал лучше видеть... и лучше понимать. «Какого черта я здесь делаю?» – то и дело спрашивал он себя. Он все еще жаждал морфина и алкоголя, но не страдал уже ни от ужасных припадков безумия, ни от лихорадки, ни от конвульсий. По мере того как проходила зима 1905 года и средиземноморское солнце светило все ярче и все сильнее грело, Далмау понемногу поднимался из преисподней, где ум его блуждал без какой-либо связи с реальностью. Улыбнуться ясному небу, морю, даже псу-крысолову, который продолжал его сторожить, означало затеплить в себе огонек иллюзии, постепенно возвращавшей блеск глазам; на этом фундаменте выстраивалось здание вновь обретенной жажды жизни.

– Я хочу видеть дона Рикардо, – заявил он однажды утром шестерке, который принес завтрак.

Далмау никогда не видел того, кто объявил себя его хозяином. Знал, что тот жил в хижине, к которой примыкал его сарайчик. Слышал, как люди заходят туда и оттуда выходят в любое время суток; до него доносились споры, иногда крики, но он никогда не видел хозяина вживе.

– Тебя работа ждет, – ответил шестерка, не придав словам узника ни малейшего значения.

Но Далмау продолжал настаивать, и однажды утром, уверенный, что его опять ведут на работу, оказался в хижине дона Рикардо.

– Значит, ты и есть мой художник?

Глаза Далмау не сразу привыкли к полумраку и дыму от печки, наполнявшему комнату. Когда он начал что-то различать, его поразило многообразие нагроможденных повсюду предметов. Он будто бы попал на базар, в центре которого, у железной печки, испускающей

дым, восседал в кресле, по-видимому, сам дон Рикардо, тучный, укрытый одеялом. Там же присутствовали двое подручных и два или три ребенка из тех, что прежде насмехались над Далмау; теперь же никто не обратил на него никакого внимания. Здесь властвовал один только дон Рикардо.

Далмау растерялся. Так странно выглядел этот человек, что все слова казались излишни.

– Чего ты хочешь? – требовательно спросил толстяк.

– Почему все говорят, будто я принадлежу тебе? – все-таки выдавил из себя Далмау.

– Потому что это так, – отвечал дон Рикардо. Далмау всего лишь протянул руку ладонью вверх, будто этот жест мог выразить несогласие лучше любых слов. – Тебя притащили сюда полумертвым, а я вернул тебе жизнь. Ты мне принадлежишь.

– Но...

– Я мог бы убить тебя прямо сейчас, – перебил его дон Рикардо. – Никто тебя не хватится. Никто не востребует твой труп. Тебя уже сочли мертвым.

Далмау, стоящий перед доном Рикардо, нахмурился и потупил взгляд. Этот толстяк, развалившийся в кресле и кутающийся в одеяло, будто старуха, наверное, прав: никто его не хватится, не станет искать. Вспышкой молнии мелькнуло воспоминание о том дне, когда он ворвался в дом своей матери и обокрал ее, чтобы купить наркотик. Крики, брань, его дрожащие руки, лихорадочно шарящие в поисках денег, вещей на продажу... И даже сейчас он подозревал: что-то от него ускользало, образы, взрывающиеся в мозгу, были неполными, за ними скрывалась реальность, от которой все сожмется внутри и накатит тоска вроде той, давешней, уже оставленной в прошлом. А Эмма? Помнится, она была замужем за каменщиком, ждала от него ребенка. У него не оставалось никого, даже тех, с кем он вместе работал. Растратив скопленные деньги, которые он хранил в доме матери, и спустив все, что у нее украл, то немного, что у нее было, он явился на фабрику изразцов забрать то, что ему принадлежало: наброски, картины, халат, чтобы и это продать; может, хватило бы на несколько доз. Тут не осталось никаких его вещей, сообщил Пако суровым голосом, с угрюмой миной. Старик, которого он называл другом, смотрел ему в лицо, взглядом обвинял в смерти Урсулы, питал

отвращение к тому, во что он превратился. Старикам позволено не скрывать своих чувств, зато Педро и Маурисио, парнишки, которые до сих пор жили на фабрике, следили за ним из окон украдкой.

«Их сожгли. – Старик буквально выплевывал слова. – В печах». Так велел сказать дон Мануэль в случае, если Далмау объявится. Сторож пошел еще дальше. Он сам, лично, их спалил, заверил Пако, шевеля в воздухе высохшими пальцами, показывая, как поднимается дым. «А у девочки были права?» – ответил Пако, когда Далмау заявил, что они не имели права распоряжаться его имуществом. Потом назвал его убийцей, уже повернувшись, уходя прочь.

«Убийца. Да правда ли это?» – спросил себя Далмау, поднимая взгляд на дону Рикардо, который сверлил его узенькими, слегка раскосыми глазками. В свое время морфин помог подавить сомнения и чувство вины, но теперь, ценой побоев достигнув спокойствия духа, он уже не был ни в чем уверен. Несмотря на неподатливость и надменность, Урсула была всего лишь наивной девушкой, пожелавшей испытать то, что семья, общество и Церковь от нее скрывали. Он вспомнил, в каком она была неопишемом восторге, когда после первого оргазма перед ней открылся целый мир наслаждений. Не будь он на следующий вечер под кайфом, Урсула бы не умерла.

– Почему же ты не убьешь меня? – Вопрос возник сам собой: может, это и есть решение, выход из незадавшейся жизни, где он только и делал, что заставлял страдать близких людей.

Предложив это, Далмау почувствовал страшное облегчение, но вот прозвучал ответ толстяка:

– Потому, что ты должен написать мне картину. Чтобы заняла пустое место вот на той стене. – Он показал довольно обширное пространство, куда собирался повесить портрет. – Когда закончишь, сможешь уйти с Маравильяс.

– С Маравильяс?

– Она тебя привела. Такой был с нищенкой уговор.

Далмау и не представлял себе, куда он еще пойдет, как не на улицу, к тому же под руку с *trinxeraire*.

– С той едой, какую ты мне даешь, я никакого портрета написать не смогу, – вдруг, словно по наитию, проговорил он.

И вытянул руку ладонью вниз, растопырив пальцы: не нужно было ни напрягаться, ни прикидываться – от запястья до кончиков

ногтей вся рука дрожала.

Нужно было вернуться к ученическим годам в Льотхе, чтобы найти картину, похожую на ту, что Далмау преподнес толстяку. Она была ужасна. Но дон Рикардо пребывал в восхищении, как и соседи, которые наплывали день за днем, толпились в хижине, шептались за спиной у Далмау, следили, как возникают наброски фигуры, потом накладываются мазки, запечатлевая пахана, величественно застывшего в своем кресле и, как всегда, прикрытого одеялом. Он и так первым в Пекине заимел железную печку, а теперь к ней прибавится и портрет, вещь куда более редкая, такую непросто достать.

Далмау взгляделся в картину: донельзя реалистичная, можно сказать, большая фотография, разве что цветная и более четкая, чем это доступно современной технике. В тот день ее собирались повесить на деревянную стену хижины, по этому поводу дон Рикардо пригласил некоторых соседей, среди них были и те, кто бил и шпынял Далмау, но художник не обращал на них ни малейшего внимания, весь погруженный в созерцание портрета: ни капли искусства, никаких эмоций; простое отражение реальности, не истолкованной, не пережитой артистом. Далмау и близко не подошел к духовной сущности этого человека, не отразил ни места, в котором тот жил, ни людей, которые его окружали.

Он это понял, уже когда прорисовывал контур и писал на холсте рукой, в меру твердой: дон Рикардо изменил условия его содержания в поселке. Теперь он питался лучше, чем кто бы то ни было, хотя ночевал в том же сарае, прикованный к стене, и его сторожили собаки; правда, ему принесли постель и подушку. Выдали и одежду, старую, но в хорошем состоянии; башмаки и даже шапку.

– Нищие ко мне валом валят, но подолгу не задерживаются, продадут ботинки, и айда, – разоткровенничался дон Рикардо в тот день, когда подобрал для него вещи, – но раз уж ты будешь торчать в моем доме, рядом со мной, пока пишешь портрет, такой твой вид мне глаза режет. – Он показал на лохмотья Далмау, будто ища оправдание своей щедрости. – К тому же кто поверит, что оборванец сумеет написать с меня портрет?

Впервые с тех пор, как его привели в Пекин, Далмау вымылся по собственной воле; воду приносил, то и дело подливая ее в таз,

шестерка, явно обозленный поручением; а потом по рекомендации дона Рикардо цирюльник, живший в хижине по соседству, подровнял ему бороду, которая доходила до ключицы; два-три взмаха ножницами придали ей форму, но она как была, так и осталась жидкой и неказистой. Тот же цирюльник, закончив с бородой, обошел Далмау кругом и обстриг ему волосы по плечи.

Поздравления, аплодисменты зазвучали в хижине, когда портрет повесили на стену и он тем самым стал частью дома. Дон Рикардо даже встал, откинув с ног неизменное одеяло: две затянутые в штаны колонны из плоти, рыхлой, как представлял себе Далмау; до колен плотно прижатые одна к другой, ниже они расходились, образуя овал, будто лодыжки, щиколотки и стопы изгибались, не выдерживая веса. Так или иначе, дон Рикардо недолго простоял на ногах: вернулся на свой трон и к своему одеялу, как только убедился, что картина, подвешенная на двух гвоздях, крепко держится на стене. И пока гости крутились вокруг хозяина и поздравляли его, Далмау смотрел на портрет, и все в нем резало глаз: линии, формы, цвета.

Такое ощущение сопровождало художника в течение всего месяца, пока он работал над картиной. Даже бледно-коричневый тон, которым он выписал лицо и руки внука негритянки с Кубы, казался кричащим. Не из-за недостатка материала: дон Рикардо раздобывал все, что Далмау требовал. Алкоголь или морфин – вот чего ему не хватало. Несколько добрых глотков абсента смягчили бы палитру, а после укола эти глазки, ныне лишенные выражения, зажглись бы жизнью, передали бы чувства, как глаза Урсулы, нарисованные силой алкоголя и обретшие жизнь в искусстве. Дон Рикардо предлагал ему вино на завтрак, обед и ужин. Далмау к нему не притрагивался. Морские купанья, побои, лихорадка, непроходящая тоска и вспышки безумия – все, пережитое за последние три месяца, отвращало его даже от стакана вина. Он хотел выпить, как временами жаждал дозы морфина, однако что-то изменилось в нем. Он уже давно не пробовал наркотика и чувствовал себя в силах погасить эту жажду; более страшными казались улицы, одиночество, нечистоты и голод, чем паника, раньше охватывавшая его при малейшей угрозе остаться без дозы; он не вернется к прошлому, даже рискуя утратить дар, заключил Далмау, повернувшись спиной к портрету. Пропало искусство, гений,

которым он вроде бы обладал и который сблизил его с великими мастерами барселонского модерна.

Он пытался. Днем задавался вопросом, не тучная ли модель, среда, или то, что он вынужден писать картину ради обретения утраченной свободы, сковывает его дух, заставляет умолкнуть магию, которая пела в нем, пока он не падал на улицах; но когда ночами, один, при свете свечи он тщился создать что-то очень простое, например нарисовать угольком на бумаге пса-крысолова, лежащего в дверях сарая, и ничего не получалось, в нем крепло убеждение, что ни при чем здесь хижина, ни при чем нищета вокруг. Он потерял душу.

– Дон Рикардо... – Далмау протиснулся сквозь толпу, окружавшую пахана. – Я так понимаю, вы довольны моей работой.

– Да. Очень. Ты уходишь? – спросил тот. Далмау кивнул. – Держи. – Дон Рикардо остановил его, принял из рук шестерки несколько монет и вручил Далмау. – Это поможет тебе продержаться несколько дней. Конечно, Маравильяс ждет тебя снаружи, я послал ей весточку, – добавил он. Спрятав монеты, Далмау протянул ему руку, и дон Рикардо пожал ее, потом продолжил: – И если город тебе не придется по нраву, ты знаешь, где твой квартал.

Далмау язвительно расхохотался.

– И вот эти его жители? – спросил, обводя взглядом подручных барыги, которые раз за разом лупили его; рыбака, который его, лежащего, пинал ногами; типа, который дал ему пинка под зад, и многих, многих других...

– Ты несправедлив. Вот эти его жители, – проследил дон Рикардо за его блуждающим взглядом, – избавили тебя от порока. Посмотрим, сможешь ли ты продержаться сам. Мало кому удастся выбраться из дерьма, в которое ты влип.

– Значит, я должен еще и спасибо сказать? – спросил Далмау так же язвительно.

– Должен, – ответил тучный пахан совершенно серьезно.

Этот серьезный тон заставил Далмау задуматься. Возможно, он прав. С ним обращались сурово, били и окунали в море, когда он бесновался, но все это мало-помалу заставляло забыть о томившей его жажде, пока наконец непосильный труд и дурное обращение не стали ощущаться болезненнее, чем отсутствие наркотика.

– Спасибо вам всем, – выдавил он из себя перед тем, как выйти из хижины.

Снаружи, в толпе любопытных, которых не пригласили на праздник, его ждали Маравильяс и Дельфин. Далмау подошел к *trinxeraires*, окликнул их, и все вместе они отошли от толпы в сторону берега.

– Как дела, маэстро? – спросила девочка.

Далмау взгляделся в нее. За месяц, который ушел на создание портрета, сам он отъелся, стал выглядеть лучше, а *trinxeraire* оставалась такой же, как всегда, оборванной и грязной замухрышкой.

– Дон Рикардо сказал, что это вы нашли меня на улице и притащили сюда.

– Да, мы, – ответила Маравильяс. – Ты был как мертвый...

– Спасибо вам.

– Спасибо – и только? – Девочка нахмурилась.

Далмау скорчил недовольную мину.

– Я видел, как толстяк тебе заплатил, – сказал Дельфин с упреком.

– Да, но... – Далмау сдался и вытащил монеты, которые дон Рикардо только что вручил ему. – Сколько вы хотите?

– Сколько стоит твоя жизнь? – спросила Маравильяс.

Далмау ссыпал монеты в протянутую ладонь девочки.

– Теперь мы в расчете?

– Да, – отвечала та. – До следующего раза.

– До следующего? – повторил Далмау. Истощенная, грязная и оборванная, жалкая и вонючая, Маравильяс всем своим загробным обликом вдруг вернула художника на тонущие в нечистотах улицы, по которым он скитался. Он взгляделся в лишенное выражения лицо: глаза, глубоко сидящие в лиловых глазницах, сухие, в трещинах губы, короста на лбу и на щеках. Встретил ее взгляд, пустой и мертвый, и понял, что она имела в виду. – Следующего раза не будет, – заверил он. – В этот капкан я больше не попадусь.

Маравильяс поджала губы и вновь подтолкнула брата в сторону хибар, из которых состоял Пекин.

В приюте у Парка на три дня максимум ему предоставят постель, завтрак и вечером суп. Это место первым пришло ему в голову, пока он брел вдоль железнодорожных путей к Французскому вокзалу, откуда

два шага до заведения, так много сулящего. Сотрудник мужского отделения, ведущий регистрацию вновь прибывших, не понял, кто это, пока не услышал имя Далмау Сала, и даже после этого не сразу узнал в молодом человеке с редкой бороденкой и длинными волосами, в старой, но опрятной одежде наркомана, который не раз попадал в диспансер, устроенный при том же приюте.

Сотрудник хотел было сказать что-то, но предпочел промолчать; многие вроде бы реабилитировались, во всяком случае на первый взгляд, но очень скоро возвращались к пагубной привычке. Не хотелось в очередной раз ошибиться, преждевременно порадоваться за одного из бедняков, прибегающих к благотворительности: город никого не щадит, а годы, проведенные на этом посту, сделали его толстокожим. «Далмау Сала», – записал он в регистрационной книге.

– Профессия? – спросил устало.

– Плиточник, – уверенно отвечал Далмау.

Он думал об этом всю дорогу от Пекина. Если не считать дизайна изразцов и живописи, единственное, что он умел делать, это укладывать плитку. Как он убедился, пока писал портрет дона Рикардо, способность творить покинула его, да и во всяком случае место рисовальщика на фабрике изразцов ему не светит. Было бы глупо даже пытаться найти таковое на любой из фабрик Барселоны. Однако никто не мог оспорить его опыт в укладке любого вида керамических деталей, этим он занимался с тех самых пор, как поступил на работу к дону Мануэлю Белью. Каменщики, привыкшие работать с материалами типа кирпича или камня, не уделяли керамике должного внимания, а изразцы требовали к себе деликатного, чуть ли не любовного отношения. Фабрик было немного, мест рисовальщиков еще меньше, а вотстроек – предостаточно; там-то Далмау и найдет себе приличную работу.

С этими мыслями он присоединился к полусотне мужчин, либо нищих, либо безработных, на которых с избытком хватило коек в благотворительном приюте: мягкая средиземноморская весна позволяла многим бездомным ночевать под открытым небом; а может быть, многие лишенные крова уже провели свои три ночи в приюте и вынуждены были как-то перебиваться два месяца, прежде чем снова туда вернуться. У Далмау было три дня, чтобы найти работу, которая позволила бы снять жилье, хотя бы койку в общежитии, и использовать

шанс, предоставленный жизнью через посредство *trinxeraires*. Он съел суп, который разливали монахини; люди, сидевшие с Далмау за одним столом, хлебали шумно и жадно, искоса поглядывая на соседей, не зарятся ли те на чужую порцию. Разбавленное вино Далмау уступил соседу справа. Много раз, по мере того как продвигался портрет донна Рикардо и приближалась его свобода, Далмау со всех сторон обдумывал возможность вернуться к матери. Стоя за мольбертом, Далмау постепенно вспоминал, что случилось той ночью, когда он ворвался в дом, о возвращении куда сейчас думал. Мазок за мазком в сознании оживал эпизод, который он сам, своей волей погрузил в забвение. И наконец увидел мать, лежащую на полу с рассеченной губой после того, как он... он... Его замутило, рот наполнился желчью, пришлось выйти из хижины, чтобы извергнуть реальность, которая и потом не переставала терзать его. Нет. После того как он поднял руку на мать, да, поднял руку, он не посмеет предстать перед Хосефой. Будет трудиться как простой рабочий, чуждый химерам, иллюзиям и надеждам, каких не подобает иметь беднякам, и, может быть, придет день, когда он осмелится попросить у матери прощения. Да простит ли она его? Думая о матери, он заново переживал свое падение: может ли кто-то быть хуже сына, который так обошелся с женщиной, давшей ему жизнь, ласку, заботу, внимание? Как бы не пришлось ему до конца своих дней жить непощеным.

Далмау порадовался койке, хотя бы и жесткой; ему даже нравилось, как она скрипит при каждом резком движении; этот скрип добавлялся к концерту шорохов, стонов, кашля, звучавшему в общей спальне; под такой аккомпанемент Далмау прикидывал, куда наутро пойдет искать работу. Он знал многих: плиточников, прорабов, инженеров... Что все-таки случилось с матерью? Он в очередной раз повернулся на койке. Как она справляется без его помощи, без денег, которые он ей давал? Далмау лег на спину и затих, глядя в потолок, тонущий в темноте. Мысли постоянно возвращались к матери. Может, отложить свидание с ней до того, как... он получит работу? Обустроится? Время сотрет оскорбление, которое он ей нанес? Но он должен узнать, что с ней! Только представить, как она идет с корзинкой шитья, и комок подступает к горлу. Далмау заворочался снова. «Многие застройщики захотят нанять меня», – подумал он, и эта уверенность подействовала лучше любого успокоительного. Он

встал на заре, свежий и умиротворенный. Давно не чувствовал себя таким живым, ко всему готовым. Съел завтрак, слишком скудный, но недовольство испарилось в тот самый миг, когда он вышел на улицу Сицилии. Солнце, еще стоящее невысоко, уже провозгласило намерение сопутствовать ему весь день. У него не было ни сентимо, он все отдал Маравильяс и ее брату. Глубоко вздохнув, направился пешком к Пасео-де-Грасия, где богачи по-прежнему платили за солнце, вечно сияющее с высоты.

Он прошел мимо строящихся зданий в стиле модерн, где прикладные искусства, в том числе керамика, находили применение, щедро украшали фасады и крыши: характерная черта нового стиля, выражавшегося не только в постройке домов, но и в отношении к жизни. Далмау их знал наперечет, бывал там, пока работал на дона Мануэля: дом Модеста Андреу архитектора Телма Фернандеса; дом Франсеска Буреса на улице Аузиас Марч, который выстроил подрядчик Беренгер, самый близкий к Гауди и незаменимый его сотрудник, которому удалось в вестибюле и главном этаже здания слить воедино самые яркие черты модерна; дом Мульераса архитектора Саньера на Пасео-де-Грасия и дом Малагриды, который Кодина только начинал строить. Далмау дошел дотуда, уворачиваясь от ручных тележек и повозок, запряженных мулами; трамваев, горничных, рассыльных из пекарен, разносящих по домам свежий хлеб; уборщиц и всякого рода служащих, спешащих на работу, и между платанами, затенявшими бульвар, разглядел дом Льео-и-Мореры в соседнем квартале, построенный Доменеком. Фасад был в основном каменный, с большими окнами, поэтому обилие декоративных элементов не утяжеляло постройку, не казалось чрезмерным, вычурным. Далмау знал, что в интерьере архитектор использовал керамику, но эти работы наверняка уже завершены.

Он прошел еще несколько метров мимо дома Амалье архитектора Пуча и остановился перед соседним, домом Бальо, который возводил Гауди на месте, как припоминал Далмау, безликого, пошлого здания, состоявшего из прямых линий и правильных балконов: продукта строительной лихорадки на Эшампле, части скучного, единообразного, рутинного градостроительного плана, предложенного Серда, концепции которого, основанной на единой модели, едином видении городской застройки, бросали вызов гении модерна.

Разглядывая дом Бальо сквозь платаны и леса, закрывавшие фасад, Далмау думал, как много времени потерял в плену морфина и на суровую реабилитацию в Пекине. Здание, чьи линии и формы лишь намечались, когда Далмау работал на дона Мануэля, уже возвышалось над соседним домом Амалье, будто собираясь его поглотить. Треугольный ступенчатый фронтон, который до той поры высился над кварталом, выделялся на фоне плоских крыш, затмевал сейчас волнообразный хребет дракона, венчающий дом Бальо. И если фасад дома, выстроенного для кондитера Амалье, очерчивался строгим геометрическим орнаментом, соседний, задуманный Гауди, весь будто извивался, тщился прийти в движение, к чему и стремился архитектор во всех своих работах и добился в этой, велел вручную обтесывать первоначальную стену, чтобы она перестала быть гладким полотном.

И вся конструкция, хребет дракона и фасад, покрывалась керамикой. Дракон – переливчатыми плитками в форме чешуек, наложенных друг на дружку; фасад – в знаменитой технике *тренадис*, к которой мастер так часто прибегал; на этот раз цветное стекло и круглые изразцы должны были воссоздать поверхность озера, волны и кувшинки. Истинный триумф стекла, фарфора и керамики, которые, заменив камень и кирпич, стали подлинной кожей здания.

– Можно мне попробовать, Жоан?

Далмау подошел к покрывавшим фасад деревянным лесам, куда в этот ранний час уже подтягивались каменщики, и обратился к стоявшему к нему спиной Жоану Солеру, подрядчику, человеку пожилому, но крепкому, с изрядной лысиной; он охромел в результате несчастного случая, но тщательно скрывал увечье. Услышав свое имя, подрядчик обернулся; они с Далмау были знакомы, работали вместе на нескольких стройках, и их отношения без боязни ошибиться можно было назвать дружбой. Солер вроде бы узнал голос, но долго вглядывался в молодого человека, исхудавшего, обросшего бородой, который застыл перед ним в ожидании.

– Это ты? – спросил он в свой черед. Далмау кивнул. Подрядчик засопел. – Мне сказали... Говорят... – Он не знал, как продолжать. – Тебя объявили мертвым.

– Так оно, почитай, и было.

– Что привело тебя сюда?

Далмау показал на большой деревянный ящик, где громоздились осколки цветного стекла, материал, который Гауди использовал для своего знаменитого *тренадис*. Ему был известен метод мастера: Гауди просил каменщиков выбирать куски керамики, или в данном случае стекла, по цветам, тонам каждого цвета, формам, размерам и складывать отобранное в корзину; потом лично осматривал каждую и судил о тонкости восприятия, какой обладает тот или иной рабочий. Те, кто правильно подбирал разнообразные формы, цвета и тона, затем работали под руководством самого архитектора или его помощников над созданием *тренадис*.

– Мне бы хотелось попробовать со стеклом.

– Ты хочешь работать на стройке? – изумился Солер. – Ты слишком хорош для этого.

– Нет, Жоан, – энергично качая головой, перебил его Далмау. – Я хочу заниматься именно этим. Я должен работать. Я пережил трудные времена, и сейчас мне нечего есть и негде ночевать, – признался он. – Я не умею кидать отвес и возводить стену, но в том, что касается керамики, я дока.

– Как по мне, так ты уже, считай, нанят. Сильно поможешь нам, на этой стройке стекло и керамика – главная работа. Я только должен сообщить...

– Жоан, – прервал его Далмау. – Чем меньше людей будут знать, кто я такой, тем лучше. Мне особо гордиться нечем.

Подрядчик заплатил Далмау авансом за пару дней, чтобы покрыть самые насущные расходы после того, как Жузеп Мария Жужоль, сотрудник Гауди, покопался в корзине Далмау, рассмотрел выбранные стекла и задал несколько вопросов о технике укладки плиток, на которые тот послушно ответил, и принял его в команду плиточников, составлявших *тренадис* на фасаде дома Бальо.

С того утра начал работать, как прочие, над воплощением того, что создавали другие. Он должен был покрывать мелкими осколками цветного стекла всю часть фасада над эркером с окнами неправильной формы, которые обрамлялись тонкими колоннами: из-за этих необычных очертаний здание в конце концов прозвали «домом костей».

Сердце забило быстрее к концу рабочего дня. До тех пор оно стучало размеренно и неспешно, в том самом ритме, в каком Далмау

составлял абстрактную, волнообразную мозаику из цветных стекол. Теперь, по мере того как он с Пасео-де-Грасия спускался в старый город, пульс учащался и прерывалось дыхание. Глубоко вздохнув, он остановился на площади Каталонии, где пересекались две большие улицы, та, по которой он шел к Ла-Рамбла, и та, что вела от Порталь-дель-Анжель до Рамбла-де-Каталуња. Потом пошел по улице Риваденейра, мимо ресторана «Мезон Доре», где его осмеяли, с чего и началось его падение; оставил позади новую, строящуюся церковь Святой Анны, монастырь и старую церковь и вышел к началу улицы Бертрельянс, где жила его мать. Возчик крикнул, чтобы он посторонился, но Далмау стоял неподвижно, не смея вступить в проулок, где, если раскинуть руки, можно было коснуться фасадов стоящих друг против друга домов; проникнуть в это гнетущее пространство, где здания нависают над человеком, скрывая солнце и не пропуская ветер, означало вернуться домой. Возчик настаивал, он торопился. Далмау услышал его, прижался к стене какой-то постройки на улице Святой Анны, более широкой. Потом стал снова смотреть вперед. Там, на той улице, все его знали: супружеская пара, владевшая галантерейной лавкой, хотя, наверное, там уже заправляет их сын. Дети они тысячу раз играли здесь вместе. И плотник из этой вот мастерской мог его узнать, и булочник, и цирюльник, и содержатель таверны, и многие другие... Он испугался, что имя его вот-вот прозвучит, отдаваясь от стены к стене, как крики и даже обычные разговоры, но никто его не окликнул. Может быть, старая одежда, подобающая рабочему, худоба, длинные волосы и борода, все еще редкая, скрывали от соседей того Далмау, которого они знали, а может быть, их смущали апатия и меланхолия, какими был проникнут весь его облик.

Он ходил кругами, глаз не сводя с переулка своего детства. На строительстве новой церкви Святой Анны кипела жизнь, сновали туда-сюда прихожане и нищие, ищущие приюта; эту дорогу выбирали барселонцы, чтобы попасть в старый город, и слушатели вечерних курсов направлялись к монастырским постройкам на занятия; все это позволяло Далмау, смешиваясь с толпой, сколько угодно ходить взад и вперед, но ни разу не осмелился он пройти на улицу Бертрельянс и подняться в квартиру матери. Воспоминание о том, как он ударил Хосефу, было невыносимо; думая об этом, Далмау закрывал глаза и

отчаянно мотал головой. Может быть, она и простит, но молить о таком великодушии ему было стыдно. Как он мог совершить подобное?

«Ла Воладора». Так называлась таверна, такая узкая, что между столами, придвинутыми к стене, и стойкой мог поместиться только один человек. Липкий пол, липкие стены; кислый уксусный запах, исходящий из двери, мимо которой Далмау проходил уже несколько раз, вспоминая, как в детстве и юности бегал сюда с графином за вином к обеду. Давид – вот как звали хозяина таверны. Любезный, разговорчивый. Сомнение, чувство унижения, бесчестья, овладевшее им, напомнили телу, как разрешались такие проблемы несколько месяцев назад. Далмау задрожал в неодолимом пароксизме и невольно застыл перед дверью «Ла Воладоры». Два, три стакана, и все пройдет: чувство вины затмится. Один, всего один стакан придаст ему храбрости, которой так не хватает для того, чтобы подняться к матери и попросить прощения. Он сделал шаг к двери, но остановился на пороге. Ему нельзя. Он не должен. «В этот капкан я больше не попадусь», – всего лишь вчера пообещал он *trinxeraire*, которая спасла ему жизнь. Холодное море, пинки моряков, лай собак, насмешки детей... Далмау сжал кулаки, развернулся и твердым шагом направился к дому, где был рожден.

– Далмау? – Он обернулся, этот голос он никак не ожидал услышать: Эмма! Сердце затрепетало при виде нее. – Это ты? – осведомилась она, сделав шаг навстречу, чтобы поближе его рассмотреть; во взгляде ее читалось удивление. – Мы... мы думали, ты умер, – объявила она и внезапно подалась назад, будто вдруг нахлынули горькие воспоминания. – Что ты здесь делаешь? – спросила холодно, враждебно.

Она выглядела усталой, но по-прежнему была красивая, статная. Прямо источала чувственность. Даже в толпе, среди зловония улиц Далмау, кажется, узнал ее запах, тот самый, какой он вдыхал, положив ей голову на живот... и облизывая пониже. Попытался улыбнуться. Первоначальное удивление уступало место другим чувствам, которые на миг лишили его дара речи. Он был так рад ее видеть, что готов был стерпеть все, что она ему скажет, любое обвинение из уст женщины, которую он не смог позабыть.

– Что с тобой? – Эмма глядела исподлобья, говорила резко, разрушая чары, под которые он на мгновение подпал.

Далмау стер улыбку с лица; от резкого тона Эммы, как от пощечины, стерлись и пропали блаженные ощущения, только-только проникшие в душу; зато возникло ясное осознание того, что ее тело, ее желания, ее любовь принадлежат теперь другому мужчине.

Два человека прошли между ними, стоящими у входа в переулок Бертрельянс, словно проложив путь, по которому проследовали другие, разрывая хрупкие узы, какие еще могли бы их соединить.

– Я пришел повидаться с матерью, – проговорил Далмау серьезно, улучив момент, когда никто не проходил между ними. – Мне нужно, чтобы она меня простила.

– Козел! – набросилась на него Эмма.

– Следите за языком! – сделал замечание какой-то мужчина, направлявшийся в церковь.

– Шли бы вы к черту! – обозлилась Эмма.

Мужчина обернулся было, но прежде, чем Далмау смог вмешаться, Эмма взглянула на моралиста так свирепо, что тот решил не создавать себе проблем и пошел своей дорогой. От Далмау не укрылось, что Эмма на взводе, будто его появление распалило ее, разожгло ярость.

– Прощения пришел просить? – продолжала Эмма с той же злостью, но уже обращаясь к Далмау. – За что именно? Ты ее оскорбил, поднял на нее руку, украл все, что у нее было. Ты исчез, и она выстрадала твою смерть без похорон, без могилы; мало того, проклятый ханжа, сукин сын твой учитель вчинил ей иск, потребовал вернуть деньги, которые одолжил, чтобы освободить тебя от военной службы, и забрал единственное, что ты оставил в доме, – швейную машинку, ту самую, такую шумную, только она позволяла Хосефе платить за квартиру, покупать еду, сохранять независимость.

Произнеся эту диатрибу, Эмма заметила, как мучительно исказилось лицо Далмау. Они не тронулись с места, но никто уже не проходил между ними, как будто возникшее напряжение создавало барьер, который люди не осмеливались преодолеть.

– Так за что ты пришел просить прощения? – не отставала Эмма, бередя Далмау душу.

– Я пришел просить прощения за все, – взял он себя в руки. – Если на то пошло, даже за то, что появился на свет.

И к изумлению Эммы, обогнул ее и вступил на улицу Бертрельянс, в полумрак среди бела дня. Далмау засопел, поднял голову, высматривая солнце. Солнца не было, оно не заглядывало сюда. Вот какая жизнь подobaет им: темная и холодная.

– Ты сейчас держишься или на то похоже, но как скоро ты снова напьешься или уколешься после извинений? – спросила Эмма, последовав за ним. – Через неделю? Через месяц?

– Ты безжалостна, – с укором бросил Далмау, не оборачиваясь.

– Нет, Далмау, нет. Это неправда. Я страдала, глядя на Хосефу... Мы живем у нее, – пояснила она.

Далмау, услышав это, замедлил шаг.

– Вы живете тут? – недоуменно переспросил он и совсем остановился. – Почему?

– Я видела, что она выстрадала из-за тебя, – гнула свое Эмма, будто не слыша его вопроса. – А если ты вернешься к старому? Снова начнешь колотиться? Такое часто, очень часто случается.

– Кто именно живет с моей матерью? – задал он очередной вопрос, думая о каменщике. «Неужели и он тут живет?» – подумал с горечью.

– Моя дочка Хулия и я. Антонио... умер, – была вынуждена объяснить Эмма.

– Мне жаль, – пробормотал Далмау, устыдившись своей мгновенной ревности.

– А если вернешься к старому? – снова спросила Эмма, пропустив его соболезнования мимо ушей. – Что можешь ты предложить матери?

Далмау посмотрел на дверь своего дома, уже в нескольких метрах, и только потом обернулся к Эмме.

– Ничего, Эмма, – ответил он. – Я ничего не могу ей предложить, потому что у меня ничего нет. Я – отброс, человеческий мусор, который двое нищих, более достойных, чем я, подобрали полумертвым на улице. Я только хочу, чтобы она меня простила. И даже, как ты верно подметила, – добавил он, вспомнив, как чуть не зашел в «Ла Воладору», чтобы спросить вина, – не могу гарантировать, что не начну все сначала.

Эмма не стала отвечать. Что-то в его словах тронуло ее больше, чем если бы он стал рассыпаться в обещаниях. Далмау прошел эти несколько метров, переступил порог и поднялся по лестнице, узкой, сырой, с разбитыми ступеньками. Эмма осталась позади, на улице, охваченная противоречивыми чувствами: она не могла не испытывать злости и в то же время не могла отрицать, что рада видеть его. Знать, что он жив, что пришел сюда. Через несколько секунд она спохватилась и побежала следом. Дверь в квартиру была открыта настежь, на площадке шумно резвились дети Анастаси и Ремеи.

– Хосефа пустила жильцов, – сочла нужным сообщить Эмма, уже почти догнавшая Далмау. – Они заняли твою комнату.

Предупрежденный, Далмау вошел и в знак приветствия кивнул женщине, которая, сидя за кухонным столом, лущила горох. Оглядывать всю квартиру он не стал. Направился к комнате матери, дверь в которую была открыта, глубоко вздохнул, постучал по косяку и вошел. Хосефа сидела на шатком стуле там, где раньше была швейная машинка. Теперь она шила вручную, медленно, чуть приподняв работу к окну, откуда, вдобавок к огарку парафиновой свечи, которая стояла на подоконнике, прилепленная к какой-то картонке, просачивалось еще немного дневного света. Взгляд Далмау невольно обратился к втиснутой между кроватью и шкафом колыбели, где спала девочка. Когда он снова взглянул на мать, та уже опустила шитье на колени и, узнав сына, вся задрожала, широко улыбаясь. Эта улыбка вернула Далмау в детство: точно такой улыбкой она встречала своего малыша, обнимала его, ерошила волосы, тормошила, наконец, спрашивала, как прошел день.

– Сынок! – воскликнула Хосефа. – Я знала, знала, что ты не умер.

Улыбка сменилась слезами. Далмау не посмел подойти, броситься в раскрытые объятия, так и оставался в дверном проеме. Эмма стояла позади.

– Простите меня, мама, – наконец выдавил он. – Простите за все то горе, какое я вам причинил. Мне искренне жаль.

Хосефа решительно встала, вытерла слезы рукавом, в два шага пересекла спальню и сама обняла Далмау.

– Мама, я этого не стою.

Хосефа обнимала сына, положив голову ему на грудь, и что-то шептала, будто молилась. Далмау показалось, будто он уловил имя

отца. Томас, снова и снова. И «спасибо», еще и еще раз.

– Простите меня, – повторял Далмау.

– Что тут прощать, Далмау, – наконец смогла она произнести. – Ты мой сын. Увидеть тебя живым... и здоровым, – добавила она, чуть отстранившись и тиская его за плечи, словно желая убедиться в том, что это правда, – большей радости я не испытала за всю мою жизнь. Все позади, Далмау. Матери не помнят обид от тех, кого родили: ты был и навсегда останешься частью меня.

Далмау ощутил дрожь во всем теле, услышав это признание. А он сомневался, простят ли его, медлил, не осмеливался умолять, скрывался... Не бывает обид между матерью и сыном, отсюда простота, искренность в поведении Хосефы, хотя все равно...

– Но я поднял на вас руку. Мне нужно, чтобы вы простили меня, мама. Я должен это услышать.

– Если у кого тут и нужно просить прощения, так это у меня!

Далмау обернулся и увидел, как мощный детина грубо оттолкнул Эмму, выпихнув ее в коридор.

– Это еще кто?

Больше Далмау не успел ничего сказать. Не дав ему опомниться, мужчина ударил его по лицу. Все, кроме Эммы, набились в тесное пространство между кроватью, колыбелью, стеной и дверью.

– Анастази!

Это крикнула Эмма. Далмау отстранил от себя мать, но сам не увернулся от второй оплеухи. Тогда и он ударил Анастази кулаком в лицо. Рев, который исторг детина из огромного рта, заглушил крики Эммы и Хосефы и даже плач девочки, которая проснулась, перепуганная. Одновременно амбал с силой подался назад, налетел на Эмму, стоящую в коридоре, и притиснул ее к стене. Молодая женщина ушибла спину и голову и не удержалась на ногах. Далмау в бешенстве набросился на Анастази, выставив оба кулака. Ничего не вышло. Амбал парировал удары предплечьями, которые показались Далмау железными брусками, и внезапно схватил его за горло одной рукой: этой ручищи хватило, чтобы стиснуть шею целиком и перервать дыхание. Не ослабляя хватки, Анастази приволок Далмау на кухню и усадил за стол, где его жена продолжала лущить горох.

– Ты, должно быть, и есть пресловутый Далмау, мертвый морфинист, – начал он, усаживаясь напротив. – Я не ошибся?

– Нет, – прохрипел Далмау и закашлялся: ему все еще было трудно дышать. – Это я.

Жена амбала поспешно собирала со стола горох, чтобы муж в пылу ссоры не разбросал его; дети, грязные и сопливые, приникли к отцу; Хосефа встала за спиной сына, а Эмма, корчась от боли, укачивала Хулию, чтобы та перестала плакать.

– По твоей вине, – продолжал Анастаси, тыча пальцем в Далмау, – я потерял много денег, больше четырехсот песет, все мои сбережения. Наваху, новый костюм, все, что у меня было. Круглым счетом на восемьсот песет.

– Почему по моей вине? – изумился Далмау. – Я-то тут при чем?

– Когда судебские пришли выносить из дома имущество за твои долги, забрали заодно и мое.

– По договору, который ты заключил с доном Мануэлем, когда тот тебя откупил от армии, – сочла нужным пояснить Хосефа, не зная, что Эмма опередила ее.

– Ясно, – кивнул Далмау.

– Ясно... И дальше что? – рявкнул Анастаси. Удар, которого ожидала Ремеи, обрушился на стол с силой кувалды. Ей оставалось убрать всего несколько стручков гороха, которые и подскочили в воздух. Анастаси пронзил Далмау взглядом. – Как ты мне все это вернешь?

– У меня ничего нет.

– Е-е-е-сть, – протянул амбал нараспев. – Конечно есть. У тебя есть мать и вот эта, – добавил он, указывая на Эмму. – Как-то ведь она с тобой связана.

– Но они ни в чем не виноваты.

– Клянусь тебе, они заплатят, если ты не решишь мои проблемы. Я очень быстро верну себе все, если пушу в оборот девчонку. Ты меня понял? Дело рискованное, но я не остановлюсь ни перед чем, если мне не вернут то, что мне принадлежит.

Эмма глядела на Анастаси с ненавистью, нахмутив брови. Он не в первый раз грозился, что пустит ее по рукам, продаст какому-нибудь сутенеру. Так часто повторял это, что однажды, встретив в Братстве друзей Антонио, которые присутствовали на похоронах, Эмма поделилась с ними своей проблемой. Потом четверо каменщиков поджидали Анастаси у дома на улице Бертрельянс. Беседа продлилась

ровно столько, сколько потребовалось, чтобы амбал хорошо уяснил себе, какими печальными последствиями для него и его семьи чревато исчезновение Эммы или любое другое несчастье, какое может с ней приключиться. С того момента на последние два месяца в доме установилось шаткое равновесие, сопровождаемое невыносимым напряжением. Уйти Эмма не могла; собственно, ей и некуда было идти, но главное – как оставить Хосефу во власти бесноватого громила, который отказывался съезжать; Хосефа же не собиралась покидать свой домашний очаг. Так и сказала: «Дочка, отсюда меня вынесут только ногами вперед». Все-таки Анастаси продолжал свои угрозы, и Эмма предвидела, что этот человек способен на любое злодейство, пусть даже четверо каменщиков, у которых своих проблем невпроворот, и пытались запугать его у дверей дома.

– Теперь беги выручать мои денежки, – потребовал Анастаси у Далмау, большим пальцем показывая на входную дверь у себя за спиной, – и без них сюда не возвращайся. Ты меня слышал?!

– Не тебе указывать, что я должен или не должен делать у себя дома.

Анастаси вскочил из-за стола. Далмау тоже.

– Сынок... – взмолилась Хосефа, страшась последствий стычки.

– Слушай, что тебе мать говорит, – рыкнул громила.

Хосефа умоляюще взглянула на сына. Далмау сдался, подошел ближе и на этот раз сам ее обнял.

– Прости мне все беды, какие из-за меня произошли.

– Я тебя прощаю, Далмау.

– Пошел! Убирайся! – неистовствовал Анастаси.

– Мне очень жаль, – сказал Далмау Эмме, проходя мимо нее к двери.

Ему бы хотелось с ней поговорить, объясниться, тоже попросить прощения, извиниться тысячу раз, но он заметил в этой отважной женщине, куда более закаленной жизнью, чем та девушка, которую он оставил несколько лет назад, недоверие, и, пожалуй, обиду: Эмма, в отличие от Хосефы, не могла ее в себе искоренить. Эмма держала дочку перед собой, как щит, словно та была смыслом ее жизни, ее светочем.

– Мы еще увидимся? – только и спросил Далмау.

– Я здесь живу, – сухо отозвалась Эмма.

– Но чтобы я не видел тебя в этом доме, – ввернул Анастази, – без денег, которые ты мне должен.

Далмау даже не взглянул на амбала, он глаз не сводил с Эммы, стараясь выведать, не теплятся ли еще чувства, когда-то соединявшие их.

Эмма оставалась холодна.

Вечером Эмма видела, как Хосефа улыбается, кроша хлеб: сухие крошки, остававшиеся в горсти, отправляла себе в рот, а остальное размачивала в молоке и кормила Хулию. Даже напевала при этом. Ужинали они поздно, после Анастази и его семейства, и надеялись, выходя на кухню, что уже развеялись или слились с уличной вонью и чадом, исходившим из домов, запахи еды, которую Ремеи готовила для своих. С наступлением темноты амбал выходил работать в какой-нибудь притон, где его нанимали вышибалой, или просто шел выпить; его супруга выскребала остатки ужина, если съедено было не все, собирала кастрюли и уходила, ничего не оставляя на кухне. Дикие их сыновья, насытившись, еще раньше выбегали на лестницу, на площадки, где орали во все горло, устраивали возню и беготню, пока не падали, обессиленные; иногда они возвращались домой, а иногда Анастази или кто-то из соседей находил их спящими в каком-нибудь углу.

Хосефа и Эмма ждали, пока Ремеи закроет дверь в свою спальню, потом садились за кухонный стол. Но по правде говоря, ароматы чужой еды никогда не исчезали полностью, а преследовали их, словно кошмар, даже в спальне, каждую ночь напоминая женщинам об их плачевном положении. Им не хватало денег. Вынужденная шить на руках, Хосефа не вырабатывала и десятой доли того, что выходило у нее на швейной машинке, а Эмме в республиканском центре по-прежнему платили три жалкие песеты в день. Она воровала еду в Братстве, сражалась за обеды, остававшиеся на тарелках клиентов. Помощь, которую в знак солидарности партия распространяла через ассоциации, вся уходила тем семьям, чьи кормильцы остались и вовсе без работы. Экономический кризис усугублялся; из-за новых технологий, внедряемых в производство, люди тысячами лишались работы; приток в Барселону деревенских жителей, неквалифицированной рабочей силы, резко снизил расценки – приезжие были готовы работать за мизерную плату; люди болели, даже умирали от голода. Хосефа и Эмма должны были сами полностью оплачивать квартиру на улице Бертрельянс; Анастази не вкладывал ни

гроша, упирая на то, что у него и так по суду отобрали все его деньги, и женщины, пересчитывая монеты, которые день за днем выгадывали за счет еды и одежды, чтобы заплатить домовладельцу, дрожали от страха при одной мысли о том, что им, может быть, придется бродить по улицам с малышкой Хулией на руках. Когда набиралось двадцать пять песет, квартирная плата, они вздыхали с облегчением. «Еще один месяц», – думали они про себя. На остальные свои доходы они кое-как выживали: разбавленное, снятое молоко; увядшая зелень, лежалые овощи; черствый хлеб и мясо, явно несвежее, уж Эмму-то не обманешь; пару раз она просила помощи у дяди Себастьяна, и он достал ей приличного мяса по дешевой цене, скрепя сердце, поскольку запросто мог продать его подороже; кухня Роса помогала тайком от отца, но их семья тоже страдала от кризиса, и у них было больше ртов; к нищете прибавлялась неуверенность в завтрашнем дне: вдруг болезнь, или несчастный случай, или другая неожиданность; самое страшное – вдруг что-то случится с девочкой.

Но этим вечером Хосефа улыбалась. «Он получил работу на стройке, важной стройке на Пасео-де-Грасия», – рассказывала она Эмме до ужина, когда они сидели на кровати, дожидаясь своей очереди поесть; Хулия ползала между ними, а на кухне Анастаси и его сынки за столом кричали и спорили. «Смотри, что он мне дал, – добавила Хосефа и, словно великое сокровище, показала несколько монет, которые сжимала в горсти. – Он будет нам помогать. Он пообещал, что будет помогать». Эмма вспомнила момент, когда спина Далмау скрылась из виду на темной площадке; Хосефа встрепенулась, будто выкинула из головы угрозы Анастаси, от которых звенел весь дом, и, освободившись от страха перед громилой, побежала следом за сыном.

– Далмау! – послышалось на лестнице. – Сынок, погоди!

Она вернулась почти через час, и Эмме пришлось оставить все мысли, все возможности, какие она перебирала в уме после возвращения Далмау, перед вихрем, водоворотом чувств, нахлынувших на Хосефу. Та плакала, и смеялась, и пыталась что-то сказать.

– Я знала, – снова и снова твердила она, – знала, что Далмау жив. – Хосефа взяла Эмму за руку, потом обняла ее. – С ним все хорошо. Он не употребляет наркотики и не пьет, – всхлипывая, прошептала ей на ухо.

«Он ударил мать!» – содрогнулась Эмма. И украл последнее. «А если он опять подсядет?» – спросила она себя, поскольку знала: так бывает чаще всего, большинство наркоманов начинают все сызнова. Но не сейчас об этом говорить! И она кивнула и крепче обняла Хосефу.

– Он работает. Говорит, что будет работать только на стройках. Что уже не пишет картин. И хорошо, что не пишет! Живопись погубила его. Он изменился в том окружении.

Хосефа отстранилась, держала Эмму за руки и все говорила, говорила о сыне, с воодушевлением, с надеждой. «Живопись и мою жизнь сломала», – подумала Эмма. Эти рисунки, где она предстает голой, переходили из рук в руки в столовой Бертрана и дальше... Где еще они ходили по рукам? У нее засосало под ложечкой, как всякий раз, когда она представляла себе грязных, похотливых мужиков, пускающих слюни над рискованными, чувственными позами, в которых Далмау ее изобразил. Она тогда была девчонкой, наивной, влюбленной дурочкой.

– Он пробьется! – предвещала Хосефа, полная желаний, чтобы это сбылось, делясь этим желанием с Эммой.

– Конечно пробьется, – поддакнула Эмма, скептицизм оставив при себе. – Обязательно.

За тот час, что они проговорили, рассказывала ли Хосефа что-то о ней? Спрашивал ли Далмау? Эмма припомнила взгляд, одновременно потерянный и любопытный, каким Далмау окинул ее на прощание.

– Он сказал, что хотел бы переговорить с тобой. Выяснить отношения, – добавила Хосефа, будто прочитав ее мысли.

– Хосефа... – вскинулась Эмма: нужно было сразу расставить все по местам.

– Не беспокойся. Я сразу сказала ему, что лучше не надо. Он причинил тебе много зла, а ты не мать ему, чтобы простить без оглядки.

Эмма воочию увидела перед собой картину: мать и сын вместе, беседуют, помирившись.

– Если хотите, я уйду, чтобы он мог вернуться сюда, к вам... – начала она.

– Если ты заберешь от меня эту девочку, я умру. – Хосефа потискала Хулию, которая играла на кровати с лоскутком. – Нет, дочка, – решительно заявила она. – Далмау восстановится... я в это

верю и желаю этого, но, что бы ему ни сулила судьба, его место уже не здесь.

Хосефа ненадолго умолкла. Эмма заменила ей семью, заняла место погибшей дочери, призналась она себе, поджимая губы, а Хулия... да что тут говорить? Далмау – мужчина, свободный, ничем не связанный; это он должен найти себе место где-нибудь еще. Нельзя допустить, чтобы Эмма и Хулия пострадали.

– В этом доме, – проговорила она вслух, следуя ходу своих мыслей, – следует остаться нам, чтобы как можно лучше заботиться о нашей чудесной малышке. Пусть Далмау помогает, это его долг; нам любая помощь понадобится, чтобы решить проблему Анастаси. Просто ума не приложу, как от него избавиться... – Хосефа покачала головой, потом снова радостно засмеялась. – К тому же я не представляю, как бы я спала с Далмау в одной постели, – пошутила она.

«Мало чем поможет нам Далмау, ведь и ему самому предстоит жить на заработок простого каменщика», – подумала Эмма, но промолчала, чтобы не обескуражить Хосефу.

Ночью, после ужина, когда Хосефа уже размеренно дышала, повернувшись на бок, Эмма привстала, стараясь не разбудить ее. Ей самой не спалось, мысли сами собой перескакивали от Далмау к Хосефе, от наркотиков к обнаженной натуре, к Антонио, потом снова к Далмау, к их общим мечтам, к их любви... к Монсеррат... От этого можно сойти с ума! Кроме того, впереди маячила возможность; вопрос, действительно мучивший ее, вставал за каждой мыслью, каждым образом, которые не давали уснуть: не должна ли она простить? Признаваться в этом не хотелось. Убедив себя, что Далмау умер от морфина, Эмма изжила ненависть, похоронила обиды, помня только моменты счастья, но теперь, зная, что он жив, колебалась, возненавидеть ли его снова или простить окончательно. Встряхнула головой, чтобы избавиться от непрошенных мыслей.

– В тебе весь смысл моей жизни, – прошептала, склонившись над колыбелью, где спала Хулия.

Девочка тоже долго не могла заснуть. Эмма это приписала тревожностям, пережитым за день; Хосефа, взяв Хулию на руки, укачивая ее, не согласилась. «Ребенок питается плохо и скудно», – заявила она. Волнения, терзавшие Эмму до сей поры, улетучились

разом при таком предположении. Им нужно больше еды, больше средств, чтобы вырастить девочку, и Эмма, кажется, знала, как все это добыть. Сидя в ночи, она слушала, как спокойно, размеренно дышит дочка, потом приласкала ее, и все неприятности дня исчезали, когда она касалась нежной кожи ребенка.

– Ты – все, что есть у меня, – повторила Эмма и снова легла рядом с Хосефой.

Хосефа и Эмма с дочкой рано вышли из дому: колокола церкви Святой Анны едва прозвонили шесть утра. Если ужинали они после Анастаси и его семьи, то с завтраком все было наоборот: они занимали кухню, пока амбал отсыпался после ночных походов. Женщины попрощались на улице. Хосефа пощекотала Хулию, та подпрыгнула на руках у матери и вознаградила их таким чудесным смехом, что даже на этой сонной улице прибавилось веселья. Эмма направилась в Братство, а Хосефа – к посреднику, от которого получала и которому отдавала работу. Сделала она немного и знала, что получит несколько сентимо, не больше. За шитье в Барселоне платили хуже всего: сотни женщин, запертых в монастырях, шили даром, и монахини обрушивали расценки, а если к тому же и шьешь на руках, приличных денег не заработаешь. Корзина Хосефы, когда-то полная готовых вещей, теперь была легкой-легкой и свободно болталась на сгибе локтя.

Посредник ее ничем не удивил. Жалкие крохи. Еще и забраковал плохо сшитый воротничок. Он тщательно проверял всю работу Хосефы с тех пор, как она лишилась машинки. «Ты плохо видишь, и рука у тебя нетвердая», – оправдывал он свою придирчивость. Иногда Хосефа спорила, но не сегодня: ее мысли были уже в церкви Святой Анны, куда она и устремилась, спрятав, не пересчитывая, сентимо, которые ей вручил посредник.

– А вдруг я тебя обманул? – спросил тот, приписав ее жест небрежности.

– Всю свою жизнь ты нас всех обманываешь, – обернулась к нему Хосефа. – Какая разница: сентимо больше, сентимо меньше.

Не дожидаясь ответа, она развернулась и зашагала к церкви Святой Анны.

– Я ищу преподобного Педро, – объявила она клирику, который сидел у входа в нижний этаж капитула, перед великолепным

внутренним двором, прямоугольным, окруженным изящными галереями в готическом стиле – по десять арок с каждой стороны.

Капитул и внутренний двор располагались между старинной церковью, частично сохранившейся с XII века, и церковью новой, которую как раз тогда начали строить, в размахе состязаясь с церквями Санта-Мария дель Пи и Богоматери Вифлеемской; строительная площадка простиралась до самой Ла-Рамбла: предполагалось, что вход в новый храм будет с улицы Риваденеяра.

Священник, к которому обратилась Хосефа, оглядел ее с головы до ног, прежде чем ответить. Он не служил привратником, в его обязанности входило оказывать неотложную помощь больным. Так или иначе, он ответил женщине, хотя в церкви не видел ее ни разу.

– Преподобному Педро уже очень много лет. Он отошел от дел. Уже не принимает прихожанок, хотя не думаю, чтобы ты была из их числа.

– Преподобный Педро – мой друг, – отвечала Хосефа, дабы избежать разговора о вероисповедании.

– Вот не знал, что преподобный Педро...

– Пожалуйста, передайте ему, что пришла Хосефа Порт, мать... мать той девочки, которую преподобный уберег от извращенца. Он поймет.

Священник исполнил просьбу Хосефы и послал монашка с сообщением; преподобного Педро в церкви Святой Анны любили и уважали; клирик, пусть и настроенный скептически, не решился прогнать женщину: вдруг она и в самом деле дружила со стариком. «Ты найдешь его во дворе», – объявил он через несколько минут, когда монашек прибежал, запыхавшись.

Хосефа издали увидела старика: он стоял в глубине одной из галерей, опираясь на посох. Направилась к нему, раздумывая, хранить ли на лице торжественное выражение, какое она приняла, едва войдя в храм. В конце концов, в двух шагах от священника, которого она нашла куда более старым, чем помнилось, Хосефа улыбнулась.

– Преподобный, – поздоровалась она.

– Хосефа, – только и ответил тот.

Клирик предложил ей пройти с ним вместе по галереям, окружающим прямоугольный двор. Растения, высаженные в грунт, и деревья, которых было немного в таком небольшом дворике, всего

четыре или пять, почувствовав весну, распустились, расцвели на славу. Несколько минут они шли молча, пока преподобный Педро не произнес вслух то, что про себя подсчитывала Хосефа.

– Девять лет.

– Да, – подтвердила она.

Столько времени прошло с 7 июня 1896 года, праздника Тела Христова, когда в процессию, отправившуюся от церкви Санта-Мария дель Мар, бросили бомбу. Двенадцать человек были убиты, полсотни ранены. Вся жизнь Хосефы обрушилась после ареста Томаса и почти всех его товарищей-анархистов, которые могли бы помочь. Томасу-младшему было тогда шестнадцать лет, Далмау – четырнадцать, Монсеррат – двенадцать, а Хосефа осталась без денег, без друзей; посредники ей не давали работы, и соседи в большинстве своем обращались с ней как с преступницей. Детей это тоже коснулось. Далмау даже решил оставить учебу в Льотхе. Хосефа колебалась, но как раз тогда дон Мануэль взял его к себе на фабрику. Монсеррат тоже устроилась на текстильное предприятие, а Томас уже и так работал в скобяной мастерской. Однако настоящий заработок приносил только Томас, двоим другим платили как детям, исходя из того, что им полагается дополнять доходы родителей, а не содержать семью.

Примерно в те времена преподобный Педро, выйдя из церкви, заметил, как тучный мужчина, неплохо одетый, протягивает хлеб с салом девочке, свернувшей на улицу Бертрельянс. Девочка подошла ближе, мужчина оторвал от сала кусочек, девочка жадно схватила его, сунула в рот, будто боялась, что это неправда, что еду сейчас отберут. Мужчина оторвал другой кусок и поманил ее, улещая словами, в темный подъезд. Девочка ни минуты не колебалась. Проглотила, почти не жуя, первый кусок и уже собралась было идти за мужчиной. Но тут священник схватил кусок сала, который наподобие приманки высовывался из подъезда, и вырвал его из рук мужчины, который прятался в темноте.

Извращенец вышел, изумленный, а увидев перед собой пылающее гневом лицо священника, завопил и попытался сбежать, но преподобный Педро схватил его за руку и удержал. Вокруг них стал скапливаться народ. Священник подозвал девочку, отдал ей отобранный кусок, потом вырвал у злодея хлеб и остаток сала и тоже вручил ей.

– Она в этом нуждается больше, чем ты, не так ли? – бросил он в лицо негодяю. – Видит Бог, в тебе предостаточно жира... и грязных поползновений. – Тот заскулил, сделал скорбное лицо. Не поддавшись на такую уловку, преподобный Педро встряхнул его и повысил голос, чтобы услышали жители квартала, плотной толпой обступившие их. – Чтобы не смел больше крутиться вокруг церкви и заходить на ближайшие улицы! Посмотрите на него хорошенько! – обратился он к собравшимся, среди которых были и знакомые ему прихожане. – Этот мерзавец охотится за невинными девочками, такими, как эта. – Он кивком указал на Монсеррат, которая, отрешившись от всего, поедала сало и хлеб. – В следующий раз, когда снова увидите его здесь, гоните негодяя взашей!

– Зачем ждать следующего раза! – заорал кто-то из присутствующих и набросился на толстяка.

Другие последовали его примеру, и развратника погнали по улице Бертрельянс, колотя, пиная, обзывая и оплевывая.

Преподобный Педро проводил Монсеррат домой и поговорил с Хосефой. Рассказал ей о том, что случилось; мать задрожала, представив себе, как ее девочку насилуют в темном, сыром, вонючем подъезде, а немного придя в себя, обещала принять меры. Она уже говорила с девочкой о скверных мужчинах, но, видимо, придется поговорить еще раз.

– Она голодна, – напомнил преподобный.

– А кто сыт? – пожала плечами Хосефа.

– Церковь помогает семьям в твоём положении. У нас есть средства.

– Вы не знаете, кто я, – перебила его Хосефа.

– Знаю, – изумил ее клирик. – Ты жена анархиста, одного из тех, кого арестовали за бомбу во время праздника Тела Христова.

– Тогда что вы тут делаете, почему со мной говорите? – спросила она, ошарашенная.

– Я не верю, что твой муж виновен. Даже не верю, что это сделали анархисты. Бомба взорвалась в хвосте процессии, а не в голове ее, где шли представители власти. Зачем анархистам убивать обычных, простых горожан? – (Хосефа кивнула. Сами анархисты приводили точно такие доводы. Никто не взял на себя ответственность за

покушение.) – Но в любом случае, – продолжал священник, – даже если бы он и был в чем-то замешан, все мы – дети Божьи.

– Мы, анархисты, не верим в Бога. Не можем считать себя Его детьми, – возразила Хосефа даже с некоторым ехидством.

– Но вы голодаете так же, как и те, кто верит в Него.

С этим Хосефа, подумав немного, согласилась.

– Преподобный, – сказала чуть погодя ровным и спокойным голосом, – моего мужа держат в Монжуике и жестоко пытаются. Вероятно, его приговорят к смерти. Он не бросал бомбу, но против Церкви всегда боролся. Вы думаете, что я, его супруга, воспользуюсь вашей милостью, пока он, не щадя жизни, высоко держит знамя освобождения в стенах проклятого замка?

Преподобный Педро понимающе кивнул.

– Если ты передумаешь или когда-нибудь захочешь меня повидать, приходи, – предложил он, уже направляясь к двери.

– Спасибо за то, что вы сделали для моей девочки, – поблагодарила Хосефа, провожая его на площадку. – И за ваше предложение тоже, – добавила она, когда священник уже спускался по лестнице.

Зато на следующий день посредник, заказывающий шитье, который не раз отправлял Хосефу восвояси, доверху наполнил ее корзину, ничего не объясняя. Хосефа ни о чем не спросила, но про себя подумала о добром человеке, побывавшем накануне у нее дома. В тот день она работала чуть ли не двадцать четыре часа, наверстывая упущенное время. Шила на руках с самой зари при скудном солнечном свете, который так неохотно просачивался меж тесно сомкнутыми домами бедняков, а ночью зажигала огарки парафиновых свечей, за которые отчаянно торговалась со старьевщиками.

– Монсеррат умерла, – начала Хосефа разговор с преподобным Педро: вдруг священника интересует судьба девочки, которую он защитил девять лет назад.

– Знаю, – к ее удивлению, ответил клирик. – Твоя дочь была популярна в квартале. Я за нее молился, – признался он.

Хосефа пожалала плечами:

– Мы, преподобный, не верим в загробную жизнь. Мертвым не нужны молитвы.

– Ладно, – кивнул тот, устремив на женщину остекленевшие, усталые глаза, – если Монсеррат нет нигде, ни в каком загробном мире, ее мои молитвы не беспокоят, а если загробный мир все-таки существует, это ей не повредит, правда?

Хосефа позволила себе улыбнуться:

– Если все так, как вы проповедуете, моя девочка в аду.

– Бог милостив. Он и тебе готов помочь, – добавил священник, давая ей возможность высказаться: она ведь явно пришла за помощью.

Ее внучка Хулия голодает, начала рассказывать Хосефа, самовольно присвоив себе родство. Ей всего годик, и она на грани истощения. Того гляди, заболит или, в лучшем случае, вырастет рахитичной, как большинство детей рабочих. Она, Хосефа, теперь снова шьет на руках, а мать малышки работает за нищенскую плату. У них нет денег, и да, они нуждаются в помощи. Она готова выполнить требования, какие Церковь предъявляет к тем, кто пользуется благотворительностью прихода Святой Анны? – спросил священник. Хосефа закивала: да, она сделает все, что нужно, душу черту продаст, если черт существует, только чтобы достать еду для малышки. Правда, она ничего такого не сказала вслух, зная, что преподобный Педро может попросить ее о том единственном, чего она не могла принять.

– Я помогу тебе, – пообещал преподобный, – ведь сама по себе ты никогда не примешь условия, каких требует приход.

– Вы знаете, что я никогда не приму веру, – согласилась Хосефа. – Зачем же вы станете мне помогать?

– Затем, что, несмотря на ваше мнение о Церкви, Господу угодно показать, что Его служители – хорошие люди.

Преподобный Педро внес Хосефу в список бедняков прихода и убедил попечительский совет, который проверял нуждающихся, что эта женщина достойна помощи: речь не идет о тунеядстве или попрошайничестве, таких отвергали сразу; она швея, но на вырученные за работу деньги не может содержать маленькую внучку, которая находится на ее попечении, солгал монах, не упомянув о матери.

Преподобный Педро вручил Хосефе карточку, на которой было указано ее имя и адрес, а на оборотной стороне – обязательства, какие брал на себя получающий помощь. Прежде чем поставить подпись, Хосефа их внимательно прочла. «Не богохульствовать и не браниться».

В ушах у нее зазвучали оскорбления, какими Томас и Монсеррат осыпали Церковь; да и она сама бранила и безжалостно нападала на легковверных женщин, отдающих себя во власть попов и монахов; Эмма всю свою жизнь со страстью делала то же самое; и еще неистовее, с еще большей ненавистью сейчас, после унижения, какому подверг ее дон Мануэль во время недавней встречи. Мертвые не станут беспокоить ее, разве что ночами, когда не приходит сон; а вот Эмма... как она воспримет решение Хосефы? Хулии нужна еда, оправдывала она себя, переходя ко второму требованию, обозначенному на карточке: «Не посещать питейных заведений, игорных притонов и тому подобных мест». Пустое: Хосефа туда и не ходила. В-третьих, она обязуется «почитать священнослужителей и представителей власти» и, наконец, «вести себя достойно, как истинная христианка». Зная, что преподобный Педро смотрит на нее, Хосефа молча перечитала смертный приговор своим идеалам, борьбе, всему, во что она верила вместе со всей семьей. Когда она подняла от карточки глаза, полные слез, преподобный Педро потупил взгляд, будто не желая созерцать унижение женщины честной и цельной, которая вынуждена поступиться принципами ради любви к голодающей внучке.

– Ты так ее любишь? – прошептал монах, осмелившись наконец поднять глаза.

Слезы уже струились по лицу Хосефы. Она попыталась ответить, но в горле стоял комок.

– Всем моим существом, – наконец сказала она, сглотнув. – Я должна видеть, как она смеется. Хулия – всего лишь девочка, она имеет право быть веселой и счастливой. Если с ней что-то случится, я умру.

Преподобный Педро кивнул, сознавая, что лишь очень сильное чувство могло заставить анархистку, подобную Хосефе, отказаться от своих убеждений. «Подписывай», – велел он, опасаясь, что некий изнутри идущий порыв заставит ее отказаться. Хосефа несколько раз глубоко вздохнула, стиснула зубы и, кивнув священнику в знак благодарности, подписала карточку твердой рукой; столь же твердым было ощущение вины перед памятью мужа и дочери за это предательство.

С полученным документом Хосефа должна была каждую пятницу в двенадцать часов дня приходить в монастырскую церковь и там, прочитав молитвы и прослушав проповедь вместе с сотней бедняков, принятых приходским советом Святой Анны, получать талон, по которому в магазинах квартала ей выдадут трехфунтовый хлеб высшего качества, фасоль и рис. В заранее оговоренных случаях также выдавались талоны на мясо, курятину и молоко.

В первую пятницу, присоединившись к сотне неимущих, скопившихся в приделе, потолкавшись среди них, ощущая, как шибает в нос запах пота, перегара и нестираной одежды; вместе со всеми едва дождавшись конца наставлений, на которые не скупился священник, Хосефа схватила талоны и скорей побежала обменять их в магазинах на хлеб и овощи, а вечером, когда Эмма, не веря своим глазам, спросила, откуда столько еды, вместо ответа положила на стол карточку.

– Что это значит? – взорвалась молодая мать, впад в бешенство при одном лишь взгляде на правила. – Вести себя как истинная христианка и почитать!..

Но тут же умолкла. Хосефа даже не взглянула на нее. Всячески забавляя и развлекая Хулию, она ложку за ложкой отправляла девочке в рот густое пюре из зеленой фасоли, риса и хлеба, которое специально приготовила. «Красавица наша, – напевала она, – поест вкусной каши, чтобы расти здоровенькой, хорошенькой и умненькой».

– Кушай, радость моя, – приговаривала она, отправляя малышке в рот очередную ложку, но не оборачивалась к ее матери, чтобы не видеть, как та плачет.

Хосефа отказалась от борьбы, которой посвятила всю жизнь; предала память мужа и Монсеррат, погибших за их общие идеалы. Покорилась Церкви, священникам. И все ради того, чтобы накормить ее девочку, ее дочку!

– Я по-прежнему не верю в Бога, – с улыбкой призналась она Эмме, положив в колыбель сытую девочку, устраиваясь у окна и зажигая свечу, чтобы продолжить шитье.

– Я в этом не сомневаюсь, – ответила та, уже лежа в постели; собственно, другого места в комнате и не оставалось, – но мы принимаем милостыню от Церкви, унижаемся перед этими... Что за

обязательства на вашей карточке!.. Мы всегда считали, что так люди и попадают в сети, расставленные попами.

Хосефа отложила шитье и какое-то время молчала.

– Так и есть, – признала она наконец.

– Простите меня, – тут же взмолилась Эмма, поворачиваясь на кровати так, чтобы видеть лицо Хосефы. – Я не имею права упрекать вас. Я вам благодарна...

– Настали тяжелые времена, дочка, – прервала ее Хосефа. – И знаешь что? Я не жалею о том, что сделала. Улыбка твоей девочки стоит любой жертвы.

«Жертва». Эмма делала вид, будто заснула, лежала спокойно и дышала размеренно, однако слово это не выходило из головы, не давало покоя: жертва. Хосефа только что указала ей путь, ужасно далекий от сожалений, какими она жила до сих пор. Не нужно смиряться. Не нужно сетовать на обстоятельства или на судьбу. Надо бороться. Обманывать, если надо. Использовать все средства, любое оружие, какое имеется в ее распоряжении. Эмма приоткрыла один глаз и сквозь ресницы смотрела на огонек свечи, на Хосефу, склонившуюся над шитьем.

– Спасибо, – прошептала она.

– Спасибо вам, – отозвалась Хосефа, не прекращая шить. – Без вашей любви я не пережила бы исчезновения Далмау.

На следующий день Эмма ждала в коридоре, куда выходила дверь кабинета Хоакина Тручеро, пока тот или его помощник Ромеро, с которым она говорила, не пригласят ее войти. В Братстве кипела жизнь, люди сновали туда-сюда, читали, иногда вслух, чтобы все слышали, или яростно спорили о политике.

Эмму принял сам республиканский лидер. Дверь открывалась внутрь, и он, изобразив улыбку, одну руку положил на засов, а другую протянул ей навстречу, приглашая войти. Сам, однако, не отодвинулся, занимая половину дверного проема под предлогом того, что держит дверь открытой для дамы и пропускает ее вперед. Эмме пришлось проходить боком, она задела Тручеро грудью, и тот улыбнулся шире.

– Давненько мы с тобой не беседовали, – заметил молодой партиец, поздоровавшись с Эммой и усадив ее на один из двух стульев, стоявших перед столом.

Эмма уселась, а он, к ее изумлению, всего лишь оперся ягодицами о край стола и вытянул ноги. Женщина поняла, что не сможет сдвинуться с места, не задев его. Заняв доминирующую позицию, возвышаясь над ней и храня молчание, сопровождавшееся глупыми гримасами – он поджимал губы, качал головой, ухмылялся, – Тручеро разглядывал ее, словно вещь, выставленную на аукцион. Эмма инстинктивно попыталась спрятать руки, покрасневшие, потрескавшиеся от бесконечного мытья тарелок и чашек, но это ей не удавалось. Она просто не знала, что с ними делать, куда девать. Тручеро это заметил и надменно выпрямился: смущение молодой женщины явно тешило его самолюбие. Эмма испугалась, что от напряжения у нее пойдет молоко: она все еще прикармливала Хулию грудью. Руки судомойки, пятна молока на блузке. Куда подевалась юная богиня, воспламенявшая людей речами!

– Твой начальник мне говорил о тебе, – начал Тручеро.

Эмма не слушала. Украдкой взглянула на свои руки и ощутила себя уродиной. А что с волосами? Она даже не осмелилась поправить прическу. И как одета? После смерти Антонио она почти не заботилась о своей внешности. Хулия, Хосефа, Анастаси, нужда, голод...

– Итак, чего бы ты хотела? – кончил Тручеро свою речь.

– Что? – переспросила Эмма.

– Спрашиваю, чего бы ты хотела. Зачем просила о встрече со мной.

Если она уродина, рассудила про себя Эмма, почему мужчина смотрит на нее, преисполнившись похоти. Она снова взглянула на свои руки, на этот раз внаглую, открыто, даже повертела ими перед животом. Помотала головой, прищелкнула языком.

– Ручки совсем не белые, не чета буржуйским.

– Нет, – подтвердил он, – это – руки рабочей, труженицы, – провозгласил горделиво, будто открывая митинг.

Эмма встала. Теперь они с Тручеро сравнялись. Руки, может, и некрасивые, но в этот миг, чувствуя себя желанной, она впервые за долгое время ощутила свое тело, обновленное после рождения Хулии, тугое, сладострастное. Дрожь пробежала по спине, пробуждая порывы, не дававшие о себе знать после смерти Антонио. Она ведь не хочет Тручеро... Или хочет? Она уже давно не занималась сексом, разве что мастурбировала в одиночестве, в тишине, торопливо, почти без

удовольствия. Эмма отогнала эти мысли, но так или иначе почувствовала, что может обрести над ним власть, добиться того, что этот мужчина покорится ее воле и исполнит все ее желания.

– Руки рабочей, да. – Их тела оказались зажаты между столом, о который Тручеро все еще опирался, и стулом, с которого встала Эмма. Они вдыхали запах друг друга. – Рабочей, которой надоело получать три песеты в день...

– Это можно исправить, – нежно проговорил он и обнял Эмму за талию. Эмма усмехнулась: ведь главным оружием лидера был его зычный голосина, а тут вдруг такой медоточивый тон. Тручеро по-своему истолковал ее улыбку, и рука его скользнула ниже. Эмма это предвидела, к тому все и шло, и все-таки не смогла сдержать дрожи. – Чего бы ты хотела? – повторил он и стиснул ей ягодицу.

– Место поварихи в Народном доме, – заявила Эмма, – с хорошим жалованьем.

– Работы еще не завершены, – возразил Тручеро, распалившись, тяжело дыша. – Придется подождать...

Эмма взяла его руку и с ехидной улыбкой отвела от своей ягодицы.

– В таком случае и тебе придется подождать.

– Но...

Эмма отодвинула стул, отстранилась.

– Наверняка работа найдется, хотя кухню еще не открыли. Говорят, осталось около года?

– Именно, – подтвердил Тручеро, – но там и без того многие заняты: прорабы, поставщики... Высокооплачиваемых мест на всех не хватает. Почему бы тебе не пожелать чего-нибудь попроще?

Эмма насмешливо улыбнулась, выпрямилась и самодовольно вздернула подбородок, давая Тручеро понять: если он откажет, ему надеяться не на что. Ее грудь, полная и тугая, вздымалась над плоским животом и округлыми бедрами, обрамлявшими лобок, с которого республиканец не сводил глаз. Эмма ощутила всю свою мощь, ужасающую мощь.

– Но я не хочу ничего другого, – заявила она. – Если недостаточно работы на строительстве кухни в Народном доме, займи меня покамест чем-нибудь еще. Я знаю, что партия готовит беспорядки. – (Тручеро вздрогнул.) – Это знают все, кто отирается тут! – выпалила она и

потом продолжила: – Вам будут нужны организаторы, помощники, которые смогут все держать под контролем, и тебе известно, что после моих выступлений на митингах и занятий с работницами я пользуюсь авторитетом у товарищей. Ты будешь мне хорошо платить за ту и другую работу, и я тебя не подведу ни там ни там. Я хорошо готовлю, у меня есть опыт, а какая из меня активистка – это ты знаешь.

Тручеро сделал шаг к Эмме, та отступила. Он остановился.

– То, что ты просишь... – начал он, пытаясь выровнять дыхание.

– Если тебе это не под силу, я могу обратиться к другим партийным боссам. В пору митингов многие мне предлагали помощь, – заметила она с угрозой. – Были нежны со мной.

В уме у Тручеро замелькали имена и лица товарищей, друзей и не совсем, которые, не колеблясь ни секунды, удовлетворили бы просьбу Эммы.

– Посмотрю, что можно сделать, – посулил он.

– Нет, – сама себе удивляясь, возразила Эмма. – Не посмотришь, а просто сделаешь!

Одарив его на прощание красноречивой улыбкой, молодая женщина вышла из кабинета, оставив лидера в расстроенных чувствах. Стоило ей закрыть за собой дверь, как предательски задрожали колени. Держась за стену, Эмма торопливо прошла по коридору: вдруг Тручеро ненароком выглянет и увидит ее в таком состоянии. Вышла из здания, завернула за угол и теперь, избежав опасности, прислонилась к стене, вся дрожа, ничего не видя перед собой. Что она сотворила? Вела себя как вульгарная проститутка, вроде той мерзкой толстухи, которая отбила у нее работу с торговцем курами, позволив старику щипать себя за задницу. И ведь Тручеро тоже ущипнул ее! Нет, одернула она себя, со всей силы колотя по стене ладонью. Никакая она не шлюха. Вспомнила о Хулии: пора кормить ее грудью. Несколько раз глубоко вздохнула и направилась в ясли при Братстве. «Жертва», – твердила она про себя. Нет, она не торгует собой, как делают шлюхи, она приносит себя в жертву ради Хулии, ради Хосефы. Что еще она может предложить, кроме своего тела? Ее красота – единственное оружие, только им она может сражаться. А что такое тело? Какая разница, с кем спать, если не считаешь это грехом?

Далмау даже и трех положенных ночей не провел в приюте у Парка, на третий день перебрался в общежитие для рабочих, которое муниципальные власти открыли в конце 1904-го на улице Сида, в Равале. Жоан, подрядчик, выбил для него место в этом заведении, где насчитывалось семьдесят пять коек и постояльцы платили пятнадцать сентимо за ночь. Пристанище только для рабочих – плата, чисто символическая, исключала нищих и неимущих. Рабочим предоставлялась койка, две простыни, зимой – два одеяла, а также полотенца, поскольку в общежитии имелись умывальники с запасом мыла и даже бесплатная душевая. В общежитие можно было входить с семи до девяти часов вечера, и в эти часы производился врачебный осмотр, а покидать заведение полагалось между шестью и восемью часами утра.

В отличие от приюта в Парке, куда являлись разного рода нуждающиеся, отчего там всегда было шумно, поминутно вспыхивали ссоры и драки, в общежитие на улице Сида люди приходили отдыхать, накопить силы для следующего рабочего дня. Они сами поддерживали определенный порядок, а главное, тишину, чтобы засыпать сразу, как только в общей спальне гасили свет.

Неподалеку от общежития, в переулке, отходящем от той же улицы Сида, находилась гнусная таверна, где Далмау с четырьмя пьяными анархистами и одной сумасшедшей набросился на молодых буржуев, которые насмехались над ним после скандала в «Мезон Доре». Далмау вживе припомнил взбучку, какую задали ему те здоровые и крепкие парни. «Болван!» – выругал он себя. А еще здесь, во чреве Равалья, он вернулся к запахам и к атмосфере улицы Бертрельянс. Сырость, прохудившаяся канализация. Вонь. Отравленная почва, гнилые сточные воды. Дети, бледные и худые, истощенные... такие печальные. Непрекращающийся, надсадный, мучительный кашель звучал в ночной тишине из десятков каморок, возвещающая о туберкулезе – скорой смерти.

Уже в первую ночь, сквозь свары жителей квартала, доносившиеся из открытых окон, сквозь храп соседей по общей спальне Далмау, лежа без сна, различал этот зловещий концерт чахотки. Как и запахи, звуки заполняли улицу Бертрельянс времен его детства. Однако раньше он, несмотря на гомон и драки, крепко спал, а сейчас не мог заснуть, размышляя, как решить проблему с громилой,

который требовал от матери восемьсот песет – Хосефа подтвердила это. Сколько там точно было денег, трудно сказать, призналась женщина, но у Анастаси действительно забрали все, что он имел: кошель с деньгами, все барахло... и четырех кур в придачу, расхохоталась Хосефа, удивив сына. Мать простила его, и это придавало Далмау сил; но положение сложилось отчаянное: где взять такую сумму? И если учесть, чем бугай угрожал Эмме... Эмма! Если хочет вернуть ее, советовала мать, пусть подождет, пусть докажет, что он парень порядочный, не наркоман; что готов работать и сможет ей предложить какое-то будущее. А он все расспрашивал и расспрашивал, не мог удержаться. «Оставь ее в покое! – рявкнула наконец Хосефа, которой это надоело. – Или добьешься, что она тебя возненавидит».

И к угрозам громилы, невзгодам матери, вынужденному отказу от общения с Эммой, в моменты тоски и тревоги добавлялся еще один повод для душевной смуты: дон Мануэль. Он унизил Эмму. Старый козел допустил, чтобы девушка стояла перед ним на кровоточащих коленях и умоляла его, – со слезами на глазах рассказывала мать. На нее саму он тоже ополчился. Богатому производителю керамики не было никакой нужды забирать швейную машинку и вещи из дома. Действительно, Далмау не успел погасить кредит, предоставленный доном Мануэлем, чтобы откупиться от армии; но видит Бог, то и дело слетающий с языка святош, что прибыль от его работы в тысячу раз уже этот долг превысила. Дон Мануэль его эксплуатировал! Так поступают все буржуи, все богачи с людьми, которым меньше повезло в жизни, – а ведь учитель даже намекал, что простит ему заем. Чем виноваты женщины, мать и Эмма, в смерти Урсулы? Ничем. Можно понять, что дон Мануэль возненавидел его, причинившего такое горе, но то, как остервенело преследует фабрикант близких ему людей, показывает, сколько низости скрывается под личиной христианского благочестия, какую надевают на себя ханжи. Тот, кто был его учителем, навредил его семье, злобно преследовал и довел до разорения; это грызло Далмау изнутри, он ворочался в постели, и чем чаще дон Мануэль приходил ему на ум, тем сильнее разрасталась и крепла ненависть.

Далмау совсем не пил вина. Не ходил обедать и ужинать в обычные городские столовые: несмотря на их доступность, цены там были выше, чем в благотворительных заведениях. Он облюбовал одно

такое, для рабочих, «Санта-Мадрона» на улице Калабрия, рядом с Параллелью, где дочери милосердия Святого Викентия де Поля отпускали еду по еще более низким ценам. Там он в молчании съедал скудный ужин, экономя каждый сентимо, чтобы отдать его матери; покупал что-нибудь, чем позавтракать в общежитии и пообедать на стройке, складывал все в кастрюльку и шел по Параллели, не обращая внимания на праздничную суматоху; добирался до улицы Сиды, здоровался с врачом, который его, как постоянного жильца, уже не осматривал, и с рабочими, пришедшими раньше, а потом ложился в постель. Порой он не шел сразу в общежитие, а продолжал путь до порта, где погружался в созерцание кораблей: его завораживали сотни воздетых к небу мачт, которые под звуки симфонии, каждый раз новой, сходились и расходились в танце, словно соревновались друг с другом, желая выразить себя, свою неповторимую сущность.

Эти суда всех видов и размеров, на вид беспризорные, покорные воле волн и ветров, задувавших в порту, напоминали Далмау детали, из которых составлялась стена дома Бальо: все разные, стекло или изразцы, и каждая – неотъемлемая часть шедевра, декора, чем-то похожего на захватывающее зрелище движущихся мачт; они подступают все ближе по мере того, как темнеет, и вот уже на горизонте – только полчище черных игл, царапающих небо.

Только работая над этим магическим творением, да еще встречаясь с матерью, чтобы отдать ей отложенные деньги, Далмау чувствовал себя почти счастливым. Изгибы и слепящий блеск изразцов, изображающих чешуйки дракона, вызывали у Далмау благоговейное восхищение, он старался разместить одинаковые плитки так, чтобы каждая выглядела по-своему, понимая, с каким искусством были они задуманы и исполнены; и когда мастер выкладывал их, любовно и с тщанием, все его заботы рассеивались – как от благодарной улыбки Хосефы, принимающей от него помощь. Они тогда разговаривали, и Хосефа рассказывала, как у Эммы дела... Пока оба не возвращались к реальности, вспомнив о бугае и его угрозах.

Нужно было что-то предпринять, как-то выйти из положения, которое сложилось из-за того, что учитель обрушил свою месть на головы Хосефы и Эммы... Взобравшись высоко на леса, видя Пасеоде-Грасия и буржуев у себя под ногами, приблизившись к солнцу

богатеев и морскому бризу, уносившему прочь миазмы города, столь беспощадного к беднякам, Далмау различал дом дона Мануэля: через квартал, на том же бульваре, на уровне улицы Валенсия за железнодорожным мостом. Вечерело. Жоан, подрядчик, объявил конец работы, и товарищи Далмау стали поспешно спускаться с лесов.

– Ты идешь? – спросил один из них, Деметрио: ему пришлось повиснуть над пустотой, чтобы не наступить на Далмау, который присел на корточки.

Тому нужно было все спокойно обдумать, одному, в тишине.

– Нет, – ответил он, помогая товарищу спуститься. – Две не то три чешуйки из вот этих, – он показал на ярко-синие изразцы, которые на хребте дракона начнут отливать зеленым, красным или охрой, все одной формы и размера, изогнутые, наложенные друг на друга, – плохо закрепились, – соврал он и для пущего правдоподобия подергал последнюю чешуйку, которую только что прицепил крючками к основе, каждый раз другой, новой, за счет чего Гауди добивался извилистой, волнообразной линии хребта. – Боюсь, они отцепятся и другие посыплются следом. Надо их закрепить получше и немного подождать: я никуда не спешу.

Деметрио был активным членом Рабочего общества каменщиков Барселоны, пусть и утратившего влияние после всеобщей забастовки 1902 года и в условиях экономического кризиса, поэтому ответил, хмурясь:

– Хорошо, только имей в виду: нам стоило большого труда и невероятных лишений добиться восьмичасового рабочего дня. Товарищи умирали от голода, видели смерть своих маленьких детей. В виде исключения оставайся, но в дальнейшем соблюдай распорядок дня. Не хватало, чтобы ты похерил наши достижения. Можешь где угодно работать сверхурочно, здесь ты заканчиваешь вовремя, понял?

Далмау кивнул и попросил там, внизу, сообщить подрядчику о возникшей проблеме; подчеркнул, что беспокоиться не о чем, он уйдет, как только убедится, что чешуйки хорошо держатся, и, не дожидаясь ответа, вместо которого Деметрио буркнул что-то невнятное, сделал вид, будто занят изразцами.

Вскоре стройка опустела, а чуть позже на Пасео-де-Грасия поредели толпы гуляющих кавалеров и дам, рассеялись скопления экипажей, стали расходиться торговцы с тележками. Магазины

закрылись, и нищие, которые приставали к прохожим, выпрашивая милостыню, выстроились перед подъездами богатых домов, стараясь оказаться поближе, когда слуги начнут раздавать остатки хозяйской трапезы. Скрытый на самом верху лесов вокруг дома Бальо, откуда открывался обзор редкостной широты, Далмау присутствовал при том, как замирает движение на главной артерии города.

Фонари стали загораться на бульваре, как и свет в домах и квартирах, еще до того, как полностью стемнело. Далмау встревожился, будто и ему надлежало на чьей-то стороне вступить в борьбу, которую вели между собой красноватое сияние солнца и белый блеск газовых фонарей, два мира, природный и рукотворный. Он бы поставил на солнце, играющее заодно с темнотой и опустошившее Барселону, окончательно скрывшись за горизонтом. Далмау направил взгляд на дом учителя. Эркер, парящий над Пасео-де-Грасия, откуда донья Селия с дочерьми наблюдали за тем, что творится на улице, и одновременно показывали себя, гордо возвышаясь над толпой, был освещен. Вспомнив Урсулу, Далмау стиснул зубы, мотнул головой. У них все начиналось скверно, очень скверно, но мало-помалу они... привязались друг к другу? Полюбили? Урсула была девушка неплохая; капризная, как положено избалованной дочке богача, но, наверное, неплохая. И конечно, Урсула умерла по его вине и порой являлась по ночам в его сны, чтобы об этом напомнить. Но в тот день, когда она погибла, пытался оправдать себя Далмау, он был под наркотиком, морфин затмил ему разум. Он в тот вечер не делал ей укола и ни разу, пока длились их отношения, не предлагал морфина. Тем не менее Урсула время от времени возвращалась к нему, бередя и без того растревоженную совесть.

Напротив, ее отец, дон Мануэль, к которому Далмау всегда относился с почтением, повел себя низко и жестоко с Эммой и Хосефой. И не заслуживал уважения. Если он винил Далмау в смерти дочери, то должен был поставить точку, уверившись, что виновник исчез и скорее всего умер. Вместо того, уже считая Далмау мертвым, дон Мануэль, будто питающийся трупами стервятник, обрушился на беззащитных женщин.

Размышляя о смерти Урсулы, Далмау вернулся к прежним дням и понял, что даже не задавался вопросом, было ли между ними что-то большее, чем секс и ночные вылазки на Параллель. Ночные вылазки!

Мысль прозвенела звоночком в голове и обрела форму постепенно за те часы, какие он провел на лесах, повторяя, что дон Мануэль, отыгравшись на Эмме и Хосефе, больше не заслуживает уважения. Потом, когда свет в домах и квартирах, подражая солнцу, погас, Далмау тихо спустился вниз, улучив момент, когда удалился сторож, обходивший квартал с распевным «Ча-а-а-с но-о-о-о-чи!».

Далмау перешел железнодорожный мост над улицей Арагон и направился к дому бывшего учителя. Прохожих было мало, да и те не обратили на него никакого внимания, так что очень скоро он уже стоял перед маленькой дверью, которая вела в подсобки магазинов на нижнем этаже, в помещения коммунальных служб и на лестницу, что поднималась к кладовке для инструментов и разной утвари и примыкала к огромной террасе, которой пользовался дон Мануэль. Прежде чем повернуть чугунную ручку двери, Далмау глубоко вздохнул. Двери полагалось быть закрытой, чтобы никто не проникал в коридор, поскольку дальше ходу все равно не было, но Далмау знал, что дело обстоит по-другому. Некоторые продавцы уходили из магазинов позже, и у них не было ключа, чтобы запереть дверь; он вспомнил даже, что одна продавщица жила там же, где работала, в отделе дорогих тканей, а значит, входила и выходила когда хотела, будто у себя дома. Привратник, живший вместе с семьей в крохотной квартирке на чердаке, не собирался жертвовать отдыхом и раз за разом спускаться, чтобы проверить, заперта ли служебная дверь на улицу.

Она и не была заперта, в чем убедился Далмау, повернув ручку. Притворив за собой входную дверь, он направился к той, что вела на лестницу и к кладовке. Со смерти Урсулы прошло уже порядком времени, но, если исключить какие-то непредвиденные обстоятельства, вряд ли кто-то наткнулся на дубликат ключа – в самом деле, он так и лежал в щели под ступенькой, куда они с Урсулой его сунули в их последнюю вылазку. С ключом в руке Далмау заколебался: открыть дверь означало вторгнуться в дом дон Мануэля, но, представив себе Эмму, на коленях молящую о милосердии, отбросил все сомнения. Вложил ключ в замочную скважину, отворил дверь, запер ее за собой и поднялся по лестнице. Мгновенно очутился на выходящей во двор террасе дон Мануэля. Задние фасады домов квартала высились над Далмау, оставляя ему лишь кусок звездного неба, которое он так недавно созерцал бескрайним с высоты лесов:

каждый раз, приближаясь к дону Мануэлю, он будто терял частицу свободы. Далмау направился к двери в квартиру решительным шагом, чтобы, глядя из окон домов, окружающих двор, никто ничего не заподозрил; впрочем, мало где горел свет, и тем более не было заметно движения.

Вдоль террасы дон Мануэля тянулась галерея, деревянная до половины человеческого роста, а выше украшенная великолепным витражом, где воздушные нимфы прохлаждались в цветах и травах. Витраж был подлинным произведением искусства, выполненным в технике модерна: не роспись по стеклу, а сочетание отдельных фрагментов разного цвета, так что окантовка не просто удерживала стекло, но производила сильное эстетическое впечатление. В темноте Далмау едва различал фигуры, но память запечатлела изумительную игру света и цвета при солнечном освещении.

Витражи использовали все великие архитекторы модерна: Доменек начал с готических мотивов в кафе-ресторане Всемирной выставки 1888 года и достиг подлинного блеска, истинных вершин стиля, играя со светом, цветом и текстурой стекла в галерее дома Льео, где витраж изображал кур и других птиц в окружении зелени, плавно переходящей в далекие синие горы. Пуч по-прежнему предпочитал старый стиль, а Гауди, которого упрекали в том, что он вообще пренебрегал витражами, в доме Бальо использовал их по полной программе, даже керамике придавая светонесущий, проницаемый цвет, способный привести в движение камни.

Ключ от двери на галерею тоже был спрятан, на этот раз под карнизом стены, окружавшей террасу. Очевидно, ни дон Мануэль, ни его супруга не подозревали о ночных похождениях Урсулы, стало быть, и не догадывались о наличии дубликатов. Заперев за собой дверь на галерею, Далмау погрузился в тишину и покой, царившие в доме. Дом этот он знал как свои пять пальцев. Сразу за галереей – столовая. Далмау пробирался в полумраке: тьму рассеивали огоньки, мерцавшие где-то в доме, и Далмау знал где: свечи в капелле теплились денно и ночью.

На обеденном столе стояли два серебряных канделябра, большие, на вид тяжелые. Далмау не мог подсчитать, можно ли выручить за них восемьсот песет, чтобы расплатиться с Анастаси и отдать то, что осталось от его собственного долга, – швейная машинка и другие

конфискованные для торгов вещи не покроют требуемой суммы. Он планировал направиться в Пекин и заключить сделку с доном Рикардо. За исключением тех отморожков, с которыми он сталкивался, нисходя в морфинистский ад, и с которыми больше не хотел пересекаться, Далмау не знал никого на черном рынке, кому мог бы продать краденое. С другой стороны, Далмау, пока писал портрет, наблюдал, как жестко дон Рикардо сбивает цену. Главное для скупщика – нажива, его мало интересуют проблемы тех, кто продает ему вещи. Далмау бывал свидетелем настоящих грабежей, но коль скоро продавец был таким же вором, как покупатель, художника не слишком волновало, что цена за изумрудное кольцо назначается меньше, чем стоил в свое время его подержанный фрак.

Вряд ли дон Рикардо будет к нему более щедрым, так что канделябры не подойдут. Нужен предмет, цена которого гораздо выше суммы, которая ему необходима. Несколько секунд хватило, чтобы понять: мерцающие во тьме огоньки и есть решение проблемы. Дон Мануэль не имел привычки хвастаться богатствами, которых у него было немало. Может, гордился картинами известных художников, украшавшими дом, но видел в них произведения искусства, восхищался их творцами, не вспоминая о цене, которую за них заплатил. Но был в доме предмет, которым дон Мануэль не уставал похвастаться: литой серебряный реликварий в форме креста, инкрустированный множеством драгоценных камней: бриллиантов, рубинов, сапфиров и изумрудов. Посередине верхней перекладины имелась круглая полость, прикрытая прозрачным кварцем: там, внутри, по словам дон Мануэля, покоились мощи святого Иннокентия. Далмау направился в капеллу. Дом был по-прежнему погружен в тишину, которую время от времени неожиданно нарушали то кашель, то скрип половиц, то пьяный выкрик на улице... При каждом таком звуке Далмау замирал, сам не зная почему. Что будет, если его застигнут здесь, стоящего столбом? Потом в доме все затихало, и он двигался дальше, к свету. «Сосчитать невозможно!» – ответил учитель в тот день, когда Далмау спросил, сколько стоит произведение искусства, которое учитель показал ему, не позволив прикоснуться.

«Ему больше тысячи лет», – обмолвился в другой раз. «Епископ просил его у меня для кафедрального собора, – похвастался за обедом

перед всей семьей. – Я пообещал, что учту это в своем завещании». Только Далмау заметил гримасу ярости, на секунду, может быть, на две искажившую лицо доньи Селии, когда она услышала о предназначении реликвария.

Тяжелый. Даже очень. И большой, гораздо больше, чем помнилось Далмау. Священный предмет. Далмау засопел и сказал себе, что нет никакого Бога. Там же, в капелле, взял расшитые белые покровы, лежавшие на алтаре, и завернул крест. Схватил его и поспешил прочь. Впервые в жизни он что-то украл, но ведь дон Мануэль их унизил и разорил. Это распятие решит проблему. Он вышел, и в коридоре, в полутьме, заметил, как бросается в глаза белый сверток: на улице, во мраке ночи, он станет выделяться еще резче. Поняв это, Далмау вернулся, положил крест и открыл шкаф, где висели ризы, которые надевал священник, чаще всего преподобный Жазинт, служа мессу. Выбрал черную и завернул в нее крест. Выйдя из капеллы, вновь окунулся в покой и тишину. В доме хорошо пахло – воском, духами. Далмау глубоко вздохнул. Мерцание свечей в капелле едва достигало высоченных узорчатых потолков. Если, совершая преступление, Далмау и испытывал чувство вины, оно тотчас же улетучилось при виде богатства, которое в этом доме буквально кололо глаза. К швейной машинке и жалкой утвари его обитатели побрезговали бы прикоснуться. Дон Мануэль хотел навредить его матери, ведь его самого считали мертвым, а имущество Анастаси конфисковали по чистой случайности. А в доме Хосефы единственной ценной вещью была швейная машинка.

Далмау плюнул в сторону капеллы: Церковь и ее адепты, миряне и клирики, только и делали, что создавали проблемы ему, его родным и близким. Потом направился к террасе, уже почти не таясь. Шел быстро, не обращая внимания на ночные шорохи, пока, проходя по коридору мимо просторных комнат, где спали члены семьи, не услышал продолжительный металлический звон; звук этот, разорвавший тишину, заставил Далмау отскочить назад и прижаться к стене. Он подумал было, не пуститься ли наутек, но с тяжелым крестом далеко не убежишь, да к тому же перебудишь весь дом. Далмау не знал, на что решиться, даже вспотел от волнения, но металлический звон разрешился журчаньем. Он с облегчением вздохнул: это дон Мануэль мочился в ночную вазу. Далмау направился

дальше, к террасе, усмехаясь: от могучей струи учителя дом содрогнулся до основания.

Было нетрудно выйти из квартиры и спуститься на нижний этаж; Далмау прихватил с собой, чтобы от них избавиться, дубликаты ключей, которые они с Урсулой раздобыли для ночных приключений. Служебная дверь, выходящая на Пасео-де-Грасия, по-прежнему была не заперта: выглянув и убедившись, что сторожа поблизости нет, Далмау начал спускаться к порту, стараясь идти вдоль стен. Было, наверное, часа два ночи, достаточно времени, чтобы дойти до Пекина, а там уже дожидаться рассвета и попасть к дону Рикардо. Далмау шел с оглядкой, избегая сторожей и полицейских, обходя подворотни, где мог найти себе приют какой-нибудь нищий. Улицы были почти пустынные, редкие прохожие старались не сталкиваться друг с другом: кому охота нарваться на неприятности. И все равно двое пьяных попрошаек привязались к нему и долго шли рядом: кланчили деньги, допытывались, что такое он прячет под черным покрывалом, пытались потрогать, дергали за пиджак, стараясь остановить. Наконец упорное молчание Далмау разозлило их, они вырвались вперед и преградили ему путь. Далмау видел свое отражение в этих двух бедолагах, бормочущих что-то невнятное, брызгая слюной, пропитанной дешевым поддельным пойлом, которым их ночь за ночью травят. Он сам прошел через это. И тоже приставал к прохожим? Возможно, хотя он этого и не помнил. Но точно знал, что эти двое не устоят перед самым легким толчком.

– Да... дай нам это!.. Черненькое. Это... черненькое... у тебя, – пролепетал один из них и потянул за край ризы.

Поскольку пьяный вцепился в ткань, Далмау развернул крест и ударил его в челюсть длинной стороной. Особой силы применять не потребовалось: попрошайка пошатнулся и упал навзничь.

– Тебе тоже дать? – спросил Далмау у другого; тот попятился, кое-как, неверными шагами, пустился наутек, оставив товарища валяться посреди улицы.

«Вот она, ночь», – напомнил себе Далмау, прежде чем продолжить путь. Все получилось гораздо проще, чем он боялся, пока та парочка цеплялась к нему. Крест – отличное оружие. На самом деле... Далмау по-другому понес реликварий, взял крест за перекладину, и стало похоже, будто под черной ризой спрятан пистолет. Мало что разбирая в

темноте, другие полуночники, гораздо более опасные, чем пара пьяниц, особенно по дороге в Пекин, не решались подойти к типу, который шел твердым шагом, нимало не робея, с чем-то, напоминающим пистолет.

Хижины, выстроившиеся в ряд перед морским простором, были объяты сном. Первым навстречу вышел пес-крысолов и, что удивительно, не облаял Далмау. Следом из хибары дона Рикардо высунулся один из шестерок.

– Что ты здесь делаешь, художник? – спросил он, когда глаза привыкли к темноте.

– Мне нужно видеть дона Рикардо.

– В такой час? Ты с ума сошел? Что это у тебя? – Он показал на крест. – Пистолет?

– Что-то в этом роде. Я могу подождать здесь? – спросил Далмау, кивая на сарай без дверей, где проходило его мучительное выздоровление.

Шестерка ухмыльнулся:

– Это твой дом.

Эмма привела в порядок нижнее белье, руками, по-быстрому, разгладила платье, занялась волосами. Тручеро, с уже застегнутой ширинкой, вынул расческу из внутреннего кармана пиджака и протянул ей. Эмма не стала ее брать, взбила прическу пальцами. Свидание было быстрым, на скорую руку, как и две предыдущие встречи с республиканским лидером: всегда в его кабинете, дверь заперта изнутри на засов, Ромеро отправлен куда-то по делам с наказом не возвращаться, пока не увидит, что вход свободен; они блудили на старом двухспальном диване, притулившемся у стены, непонятно зачем здесь оказавшемся, не иначе как для их любовных прыжков.

– Ты красавица, – нахваливал Тручеро, пальцем проводя по ее груди поверх одежды. – Богиня: Афина, Кибела... Испания!

– Не болтай чепухи, Хоакин, – оборвала его Эмма, убирая с груди его палец. Тот надул губы, будто ребенок, который вот-вот заплачет. – Хватит на сегодня, – добавила она и направилась к двери.

– Я хочу еще, – попытался Тручеро задержать ее.

– Мне нужно в туалет, – решительно заявила Эмма и добавила с иронией: – Не переживай, мы еще увидимся.

Она подмылась так тщательно, как могла. Тручеро не желал надевать резинки. «Я хочу ощущать тебя, чувствовать; проникать в твое лоно без посторонних помех, – распинался он, – а этот колпачок...» Через короткое время она его убедит или обяжет, ликовала про себя Эмма. Она это знала с самого первого дня, когда предстала перед ним в его кабинете полностью обнаженной. Он этого потребовал, но когда Эмма выпрямилась, гордая своим телом, лицо у республиканца опрокинулось, и она увидела, как одна за другой спадают маски, за которыми он прятался, выставляя напоказ тщеславие и самомнение, помогавшие ему в каждодневном общении с людьми. Тручеро ласкал ее, как ребенок, поклонялся, не вожделем; с бесконечной нежностью ощупывал все ее тело; а потом все свершилось быстро, как будто молодой руководитель очнулся от сна и понял, что в его кабинет в любой момент может зайти кто-нибудь из партийных боссов.

Тогда Эмма зашла в ту же уборную, где подмывалась сейчас. Все вышло не так скверно, как она боялась. Она не ощущала ни вины, ни даже отвращения: Тручеро был молод, здоров, опрятен, даже хорош собой; правда, она уговорила, убедила себя, что должна это совершить, после сделки, какую Хосефа заключила с Церковью; и, будто такого примера самоотверженной любви было недостаточно, однажды вечером, недели через две, Далмау заявился к матери в сопровождении адвоката Фустера и принес восемьсот песет, ровно столько, сколько Анастаси с них требовал; и еще пятьсот, чтобы окончательно погасить в судебных инстанциях долг, который взыскивал дон Мануэль.

«Где ты взял такие деньжищи? Что ты натворил, сынок?» – шепотом спрашивала Хосефа перед дверью в спальню, в коридоре, уводя Далмау с кухни, где Фустер предлагал Анастаси съехать с квартиры и признать, что не имеет никаких денежных претензий к Хосефе и Далмау, подписав соответствующий документ. «Ничего, мама, – упрямо, снова и снова твердил Далмау. – Не беспокойтесь». Слушая их разговор из спальни, Эмма опять прижимала Хулию к груди, словно щит, будто само присутствие Далмау создает угрозу. Он изменился, конечно. Года на два старше ее, то есть ему сейчас двадцать три, а выглядит по меньшей мере на десять лет старше. Та же

поношенная одежда, в которой он явился нежданно-негаданно, восстав из мертвых; такой же тощий, еще и больше исхудал, размышляла Эмма. Те же длинные волосы, редкая клочковатая бороденка; вроде бы содержит себя в чистоте – Эмма слышала от Хосефы, что в общезжитии есть душевые, – но взгляд его и вся фигура дышали такой печалью и запустением, что молодая женщина еще крепче прижала дочку к груди.

Ее возмутило упрямство Далмау, он ни в какую не соглашался отвечать на расспросы Хосефы, чье воображение, Эмме хорошо известное, уже создавало по поводу происхождения денег десятки гипотез, одна другой страшнее.

– Почему ты не хочешь сказать нам, где взял тысячу триста песет? – вмешалась она в разговор.

Глаза Далмау засветились – еще бы, Эмма заговорила с ним.

Украл. Далмау поведал без утайки о всех обстоятельствах кражи, заявив под конец, что сама мысль о том, чем Анастаси угрожает Эмме, ужасала его. «Я сама могу за себя постоять!» – невольно вскинулась та, и Хосефа чуть не задохнулась от возмущения.

– Все равно спасибо, – все-таки снизошла до благодарности молодая мать.

Но в тот день, когда Эмма впервые разделась перед Тручеро, память о том, как поступили Хосефа и ее сын, помогала перенести отвращение и стыд, овладевавшие ею по мере того, как она снимала одежду под похотливым взглядом мужчины, который то дышал часто-часто, то вовсе задерживал дыхание. «Далмау украл ради меня», – думала Эмма, снимая перед Тручеро чулки. Потом – цветастое платье, легкое, невесомое, потом белье. Руки, влажные от пота, дрожали. Оставалось снять корсет. Тручеро пообещал триста песет в месяц плюс питание – самая высокая ставка для поварихи второго разряда в столовой Народного дома. Триста песет в месяц! И платить ей будут с этого самого дня, добавил Тручеро; с того момента, как она разделется, подумала про себя Эмма. Она будет помогать в работах по устройству кухни, пока столовая не откроется для товарищей, а сейчас, поскольку дел там немного, – осуществлять связь между партийными лидерами и молодыми республиканскими бойцами, которые агитировали на улицах. Передавать от одних к другим распоряжения, предложения, жалобы. Закрыв глаза, думая о Хулии, о будущем, которое можно с такими деньгами обеспечить для девочки, Эмма развязывала корсет

неловкими, одеревеневшими пальцами, стесняясь своей неуклюжести. Влажная жара барселонского лета обволакивала их, но холодная дрожь пробежала по всему телу Эммы, когда последняя одежка упала на пол. Она пару раз глубоко вздохнула и открыла глаза, будто услышав воодушевляющие слова Хосефы: «Улыбка твоей девочки стоит любой жертвы».

Кража мощей святого Иннокентия наделала в Барселоне чрезвычайно много шума. Алькальд, генерал-капитан и даже кардинал и епископ Барселоны проявили личную заинтересованность в этом деле, объявив его приоритетным для правоохранительных органов. С высоты лесов, покрывавших яркий, волнообразный силуэт дракона, венчающий дом Бальо, Далмау наблюдал, как перед домом дон Мануэля снуют туда-сюда полицейские, журналисты, собираются зеваки, подъезжают экипажи.

– Что там такое? – спросил один из каменщиков.

– Без понятия, – отвечал Далмау.

На другой день новость попала во все газеты города. Консервативные, такие как «Эль Диарио де Барселона», «Эль Коррео Каталан», «Ла Вангвардия» или «Эль Нотисьеро Универсаль», давали хищению самую разную оценку – от обычного грабежа с корыстной целью до непростительного кощунства, оскорбляющего чувства всей христианской общины. Со своей стороны, республиканская пресса, например «Эль Дилувио» или «Ла Публисидад», орган, распространяющий идеи Лерруса и наиболее непримиримо и жестко проводящий антиклерикальную кампанию, а также «Ла Кампана де Грасия» или «Л'Эсквелья де ла Торратса», всюду насмехалась над фактом кражи, публикуя сатирические статьи всех видов и полные сарказма карикатуры, где, например, можно было видеть, как призрак святого Иннокентия проникает в дом учителя, перелетает через брачное ложе, где тот спит с доньей Селией, забирает свои кости и исчезает, раздражаясь хохотом, от которого супруги в ужасе просыпаются; или как нищее, голодное семейство заправляет мощами суп, в котором плавают картофельные очистки. Но все: консерваторы, регионалисты, либералы и республиканцы – особо подчеркивали щедрое вознаграждение, какое предложил, заявив о том во всеуслышание, знаменитый производитель керамики дон Мануэль Бельо тому, кто вернет крест и мощи: десять тысяч золотых песет; такие монеты уже не чеканились, и люди ими очень дорожили, в том числе и донья Селия, которая горько упрекала мужа за такую

щедрость, тем более что крест и мощи уже были завещаны кафедральному собору.

– Я отдал бы все мое состояние, включая фабрику, только чтобы вернуть мощи святого Иннокентия, – возгласил дон Мануэль с таким искренним порывом, что его жена пришла в ужас.

Под давлением властей жандармы и городская полиция проводили облавы и обыски во всех подозрительных притонах, где, по их сведениям, могли продавать краденое. С другой стороны, обещанная сумма воодушевила всех, кто вел в Барселоне такого рода дела или поддерживал связи с преступным миром – от крупных дельцов до простых лоточников. Слухи распространились мгновенно, толпы мошенников выстраивались у дверей дон Мануэля, и каждый уверял, будто что-то знает, будто напал на след пропавших мощей. Во многих церквях служили молебны за скорое возвращение в целостности и сохранности избавленных от надругательства останков святого Иннокентия, в то время как ясновидящие, чародейки и колдуньи предлагали свои услуги дону Мануэлю или давали интервью прессе, высказывая самые разнообразные теории относительно кражи, одна другой причудливее, – от предположения, будто сонм святых в ходе междоусобной борьбы на небесах взял святого Иннокентия в заложники, до утверждения, будто святой заключил союз с дьяволом, а посему последний закопал мощи где-то в городе, чтобы из них выросло проклятое дерево, корнями уходящее в ад. В борьбу за власть на небесах никто из обитателей Барселоны не мог вмешаться, но иные принимались копать там, где видели недавно разрытую почву, пытаясь отыскать кости, которые могли принести городу столько бед в случае, если бесовской союз все-таки был заключен.

Вся Барселона обсуждала пропажу мощей и строила предположения. В тавернах и столовых тех, кто вслух читал газеты, слушали с неослабным вниманием; в общежитии на улице Сиды несколько вечеров подряд только и говорили что о краже, и каждый имел по этому поводу свое мнение. Тем временем со своего несравненного наблюдательного поста Далмау пожинал непредвиденные плоды своего преступления и с тревогой следил за толкотней в дверях дон Мануэля и развертыванием полицейских сил. По своему обыкновению, дон Рикардо, сидя в кресле и прикрыв ноги одеялом, несмотря на жару, немилосердно сбивал цену.

– Такую вещь трудно пристроить, – сетовал он. – Кому, кроме Церкви, нужны кости святого? А как я продам их Церкви? Меня посадят.

– А серебро, а драгоценные камни? – возразил Далмау.

– Хочешь поглядеть? – Тучный барыга с трудом приподнялся, пошарил в кармане и извлек несколько необработанных алмазов. – Таких у меня полно, художник. Людям сейчас подавай современные украшения. Ты-то ведь в этом разбираешься, а? Камушки блестящие, хорошо ограненные, вставленные в женскую фигурку, или в крылышки стрекозы, или в хвост павлина.

Дон Рикардо покрутил в воздухе толстыми пальцами, посмеиваясь над новой модой, а Далмау действительно вспомнил украшения, созданные Льюисом Масрьерой, в которых замысел, рисунок, дизайн оказывались важнее камней и прочих драгоценных материалов; в первую очередь ювелир добивался художественного эффекта. Новый стиль модерн, следуя за ар-нуво и главным его выразителем Рене Лаликом, возрос на почве натурализма и символизма, основывался на цвете и использовал самые разные камни, жемчуг, слоновую кость, а чаще всего прозрачную эмаль, и все это, как правило, в золотой оправе. Экзотическая фауна, цветы, птицы, рептилии, лебеди, аисты, насекомые, драконы и прочие фантастические существа или женские фигуры, воздушные, летящие: феи или принцессы; но в отличие от других ювелиров, например французских, в Барселоне их никогда не показывали нагими, таковы были установки художников-католиков, принадлежавших к кружку «Льюков», к которому относился и Масрьера, золотых дел мастер, великолепный живописец, писатель, театральный режиссер, декоратор и актер, настоящий интеллеktуал, подлинный артист, под стать великим архитекторам и живописцам модерна.

Далмау перебрал в памяти все эти украшения и сравнил их с прислоненным к ширме грубой работы серебряным распятием с немудрящими выемками, куда были вставлены рубины и прочие необработанные камни. На лице у него отразилось разочарование: тучный делец мог праздновать победу.

– Я окажу тебе милость, художник, – привлек он внимание Далмау. – Какая сумма тебе нужна?

Следя за развитием событий с высоты дома Бальо, Далмау задавался вопросом, задержит ли полиция дона Рикардо, а если задержит, то выдаст ли тот его. Он поднял глаза к небу, поскольку под ложечкой засосало и слегка закружилась голова, чего никак нельзя было себе позволить, стоя на хребте дракона Гауди.

Дона Рикардо не задержали, он подкупил достаточно полицейских и представителей власти, чтобы избавиться себя от таких неприятностей, но агенты приходили к нему, это было неминуемо, поскольку речь шла об одном из самых крупных в Барселоне скупщиков краденого. Десять тысяч золотых песет распалили алчность дона Рикардо. Если вычесть тысячу триста в купюрах по сто песет, истрепанных, перебивавших во многих руках, которую он заплатил Далмау, барыш получался невероятный.

– Я не имею с этим ничего общего, – подгадав удачный момент, заявил он двум полицейским, которые стояли навтыжку перед креслом, – вы знаете, я веду дела честно, никогда не покупаю товар... сомнительного происхождения. – Недоверие, отразившееся на лицах двух офицеров, которым приходилось терпеть унижение, выслушивать бандита, стоя перед ним посреди жалкой хибары, воздвигнутой прямо на прибрежном песке и битком набитой краденными вещами, вызвало у дона Рикардо прилив оскорбленных чувств. – Сомневаетесь? Я могу удостоверить происхождение каждой вещицы, какую вы видите тут.

– Ладно, ладно, ладно, – утихомирил его один из полицейских, вечно державший во рту сигарету, зажженную или потухшую: казалось, ему это безразлично. – Тогда откуда ты знаешь о кресте?

– Я много чего знаю, – жестко проговорил скупщик. – Даже о вас знаю кое-что, – указал он на полицейского, который его перебил. – Хотите, расскажу? – Тот отрицательно покачал головой. – Ну, так знаю и насчет креста и могу получить его из рук того, кто украл эту штуку.

На следующий день, тайком, соблюдая осторожность, чтобы не привлечь внимания прессы и не спугнуть тучного скупщика, как посоветовали агенты, которые пришли к нему с этим известием и сопровождали его в Пекин, дон Мануэль Бельо собственной персоной вышел из наемного экипажа и явился в хижину на морском берегу.

– Говорить будем мы, – в который раз повторил дону Мануэлю полицейский с сигаретой во рту, пока они входили в хибару, натываясь на мебель, вещи, разную утварь, уворачиваясь от лающих псов и

шныряющих повсюду детишек. Несколько шестерок, расставленных посреди кажущегося беспорядка, глаз не сводили с вновь прибывших.

Дон Рикардо принял их, как всегда сидя в кресле, укутав ноги в одеяло, скрытый в клубах дыма, исходящего из печки, которая этим теплым, солнечным утром топилась в полную силу, специально чтобы переговорщики чувствовали себя неуютно.

– Добрый день, дон Рикардо, – поздоровался тот полицейский, который урезонивал учителя и выступал от лица всей группы, – представляю вам дона Мануэля Бельо, это у него украли крест, о котором вы можете что-то знать.

Скупщик кивнул в сторону дона Мануэля, который тер глаза, разъединенные дымом.

– Говорят, вы готовы заплатить десять тысяч песет тому, кто вернет крест? – спросил дон Рикардо, желая услышать это из уст самого учителя, как бы тот ни мучился от рези в глазах.

– Да, верно, – подтвердил дон Мануэль.

– Это делает вам честь, – уважительно проговорил барыга. – Не всякий, каким бы ни был он верующим...

– К делу, – прервал его полицейский, видя, как туго приходится фабриканту. – Каким образом вы планируете вернуть реликвию?

– Я ничего не планирую возвращать. Ее вернет тот, кто ее украл. Я всего лишь по доброй воле вызвался послужить посредником. Нехорошо, если Барселона утратит столь почитаемые мощи, – с иронией заключил он.

– Дальше? – торопил полицейский.

– Думаю, человек, у которого сейчас крест, или его доверенное лицо, мог бы отнести его в какую-нибудь церковь, Санта-Мария дель Мар например, храм у моря, как эти хижины, и когда священник подтвердит, что мощи доставлены, этот сеньор, – он указал на дона Мануэля, – который с вами и с моими людьми будет ждать в другом месте, вручит деньги, чтобы я смог передать их по назначению.

– Вас устраивает? – спросил полицейский учителя.

– Вы профессионалы, вам решать, – согласился тот, понемногу приходя в себя, хотя и с воспаленными, налитыми кровью глазами.

– Когда мы это сделаем? – задал полицейский очередной вопрос.

– Когда вам угодно. Я уже переговорил с...

– Далмау!

От вопля сотряслись стены хижины. Полицейские и делец повернулись к учителю, а тот впери́л взор в портрет толстяка, висевший позади него на стене.

– Далмау, – повторил дон Мануэль, выступив вперед и глядя прямо в лицо барыге.

Шестерки, присматривавшие за встречей, тут же плотным кольцом окружили визитеров и шефа, многие потянулись к заднему карману, за оружием. Какие-то вещи по́пали на пол, еще увеличивая неразбериху. Снова залаяли собаки.

«Тихо, спокойно», – урезонивали собравшихся полицейские, разводя руки в стороны, показывая, что оружия нет. Подручные дона Рикардо остановились по его знаку, не вынимая рук из задних карманов.

– Что вы хотите сказать, сеньор Бельо? – спросил полицейский, который до сих пор вел переговоры.

– Вот что, – зарычал вне себя дон Мануэль, указывая на картину дрожащим пальцем, – то, что этот портрет написал Далмау Сала, подмастерье, который... убил мою дочь Урсулу! Значит, он жив и скрывается. Это он украл мощи святого Иннокентия. Теперь я все понял!

– Это правда? – вмешался второй полицейский.

– Правда – что? – невозмутимо осведомился дон Рикардо, поудобнее устраиваясь в кресле; на фоне такой его безмятежности еще сильнее выделялось возбуждение учителя. – Эту картину нарисовал какой-то бродяга, просивший помощи...

– Далмау! Здесь его подпись! – перебил его дон Мануэль.

– Далмау, Педро – откуда мне знать. Я попросту звал его «художник». У нас тут не принято интересоваться именами, да, ребята? – Шестерки закивали, некоторые рассмеялись. – Ему нужны были деньги, и я заплатил за портрет. Хороший, правда? – Скупщик хотел было обернуться, чтобы посмотреть на картину, но толстая шея не слушалась, и он отказался от такого намерения, про себя проклиная проклятого ханжу, который исхитрился опознать автора. И решил не рисковать, возвращая мощи, чтобы никто не связал его с кражей. Придется потрудиться, да и рискнуть по новой, но где-нибудь за границей, во Франции или в Италии, например, он выручит больше,

чем предлагает святоша в бакенбардах. – Украл ли мощи художник, – заговорил он снова, – понятия не имею; одно могу сказать: теперь вы и без меня обойдетесь. Займитесь этим... Как вы сказали, его зовут? Ага, Далмау, – заключил он, когда один из полицейских подсказал ему имя.

– Это он, Далмау, должен был через ваше посредничество вернуть крест? – спросил полицейский с сигаретой во рту.

– Нет.

– Но если вам не было известно имя... – Полицейский явно пытался подстроить ловушку.

– Зато мне известно: то не был мой художник. – Скупщик с улыбкой вышел из затруднения. – Говорю вам: если художник украл мощи, обращайтесь к нему.

– Но тогда... кто же вам предложил стать посредником?

Дон Рикардо пожал плечами. Учитель переводил взгляд с одного собеседника на другого, искоса посматривая на портрет.

– Тот человек, наверное, ошибся. Он уже старый.

– Ну да, – насмешливо фыркнул один из полицейских.

– И вы не знаете, где сейчас может быть этот Далмау? Ваш художник... – осведомился другой.

– У нас тут также не принято интересоваться, откуда люди приходят и куда идут. – В голосе дона Рикардо появились резкие нотки. – Ладно, кажется, нам больше не о чем говорить. Если не хотите что-нибудь приобрести. – Барыга обвел рукой весь свой товар, подождал секунду, не более, и при полном молчании учителя и полицейских распрощался. – Жаль, что мы не поладили. Ты, – велел он одному из шестерок, – проводи их.

– Но как же... – спохватился дон Мануэль. – Как же мощи святого Иннокентия?

– Спросите о них у...

– Далмау, – на этот раз подсказал один из шестерок, видя замешательство шефа.

– Ну да. Хорошего дня, сеньоры.

Дон Мануэль не сразу покинул хижину, но полицейские, глаз не спуская с подручных барыги, решительно указали ему на дверь.

– Вы окончательно потеряли эти мощи, – сообщил полицейский с сигаретой, едва они вышли за порог.

– Что вы хотите сказать?

– Вы сболтнули лишнее, сеньор Бельо.

– Их украл Далмау! – вскричал дон Мануэль, вдруг осознав, что негодяй был жив в то время, как он, дон Мануэль, считал его мертвым.

– Возможно. И продал их толстяку. Ясно, что они знакомы. Поэтому вещь ни за что не появится здесь; скупщик не захочет, чтобы между ним и Далмау обнаружилась какая-то другая связь, кроме портрета.

– Ну так... ну так обыщите хижину! Вызовите жандармов! Найдите святого Иннокентия!

– Неужели вы думаете, что этот ворюга здесь держит крест? Его и целая армия не найдет.

– Я буду говорить с генерал-капитаном!

Полицейские не проронили ни слова, пока учитель, продолжая вопить, забирался в экипаж, их поджидавший. В это же время в хижине дон Рикардо давал поручение своим людям.

– Найдите эту *trinxeraire*, Маравильяс, пусть предупредит художника, что за ним придут. Парень мне по душе. Портрет отличный. И на всякий случай, хоть я и не думаю, что они сунутся в Пекин, уберите все, что может нас впутать. Придется выждать, пока эти блаженные забудут о мощах и похоронят раз навсегда святого Иннокентия. Уж давно пора, черт бы его побрал.

Дон Рикардо посмеялся собственной шутке и замахал руками, выпроваживая подручных.

– Тебя ищут люди дона Рикардо.

Весть дошла до Маравильяс в тот же день, как барыга отдал приказ. Не важно, где в огромной Барселоне находилась девчонка; были такие личности в преступном мире – дон Рикардо один из них, – чьи распоряжения молниеносно передавали из уст в уста воры, мошенники, нищие и *trinxeraires*. А только последних – уличных ребятишек, бродящих по городу, – насчитывалось около десяти тысяч.

Маравильяс и Дельфин бегом побежали в Пекин, выслушали дон Рикардо и постарались вернуться в Барселону до того, как прораб на строительстве дома Бальо объявит о конце рабочего дня. Девочка знала, что там работает Далмау. Знала также, где он спит и где ест и, что еще хуже, где живет шлюха, которая вышла замуж за каменщика.

Trinxeraire не хотела его убивать – она никогда не задумывалась, зачем напугала того першерона, – но раз уж так вышло, решила, что теперь Эмма исчезнет из жизни Далмау, а вместо этого проклятая тварь просочилась в дом его матери. И он виделся с ней и с ней говорил, и никакой каменщик уже не мог этому помешать.

– Ты сама же его и убила, – насмеялся над ней Дельфин.

Брат без конца твердил, чтобы она раз навсегда забыла художника и всех, кто его окружает, и на какое-то время Маравильяс послушалась и больше не приближалась к Далмау, хотя продолжала следить за ним. Теперь ждала на углу Пасео-де-Грасия и улицы Дипутасьон, куда выходит фаска дома Льео, построенного Доменек-и-Монтанером: здесь Далмау проходил каждый день, направляясь в рабочую столовую «Санта-Мадрона».

– Денег у меня нет, – предупредил Далмау, едва завидев парочку *trinxeraires*.

Потом остановился в растерянности. Они пересекались не так давно, в тот день, когда Далмау покинул Пекин, и все же складывалось впечатление, что эти дети совсем не растут, наоборот, самым жалким образом усыхают, с каждым разом становятся все более зачуханными, тощими, бледными.

– У меня для тебя послание от дона Рикардо, – объявила Маравильяс, подойдя ближе.

Trinxeraire поведала о визите учителя и двух полицейских в Пекин. «Целых двух!» – подчеркнул ее брат. Далмау это не удивило: дон Рикардо не упустит возможности получить вознаграждение в десять тысяч песет.

– И что, он отдал крест?

– Какой крест? Как бы он мог его отдать! У дона Рикардо нет креста, который ищет твой учитель.

– Он мне уже не учитель.

– Но ведь был.

Далмау засопел: что толку спорить с бродяжкой.

– Ну и что за послание ты должна передать?

– Твой учитель увидел портрет, который ты написал с дона Рикардо, и давай вопить как оглашенный, что это ты стащил крест. – Далмау весь покрылся холодным потом. – Дон Рикардо сказал, чтобы ты остерегался, за тобой придут.

Полагая, что на этом разговор закончен, Далмау попрощался и поблагодарил Маравильяс за сообщение. С сожалением прищелкнул языком, уверяя, что ничего им не может дать, а когда уже собирался продолжить путь, девчонка выдала еще одно предупреждение:

– Еще он сказал, чтобы ты помалкивал. Что он тебя ценит, но, если ты распустишь язык, будет хуже, чем тогда, с наркотой. Понимаешь? – спросила Маравильяс. Далмау кивнул. – Ты хорошо понял?

– Что ты на меня нападаешь? – возмутился он.

– Так велел дон Рикардо: я должна быть уверена, что ты все правильно понял.

– Скажи, что да, я все отлично понял, пусть не беспокоится: у него не будет проблем.

Этой ночью в общежитии он почти не спал. Чтобы составить документ об уплате долга Анастази, он обратился к брату Томасу и адвокату Фустеру и был вынужден им рассказать, откуда взялись деньги; эта парочка и помогла ему замести следы.

– Как можно связать меня с кражей? – недоумевал Далмау. – Меня никто не видел.

– Улики часто появляются в ходе расследования: что-то состыкуется, возникает самое немыслимое стечение обстоятельств, – ответил адвокат.

Если его по какой-то причине задержат, заключили все трое, он не сможет сказать, где был в ту ночь, когда совершилась кража; в общежитии вели строгий учет постояльцев. Поэтому, когда тема Анастази была закрыта и тот покинул дом Хосефы вместе со всем семейством, они отправились на постоялый двор, где люди спали даже на полу, а в теплых постелях теснилось по несколько человек, и все такие постели были заняты, иногда проститутками, которые там принимали клиентов, одного за другим. Хозяйка постоялого двора, Эмилия, издавна состояла в дружбе с анархистами и поэтому не задавала вопросов, когда Томас показал ей на брата и намекнул, что такую-то ночь тот провел в ее заведении.

– Знаете, сеньор полицейский, – принялась ёрничать дама, – почему я так уверена, что этот парень ночевал здесь? – Старуха, вся высохшая, как древний пергамент, сделала паузу; Томас с адвокатом переглянулись и заулыбались – они ее знали хорошо. – Потому, что он

спал со мной! – заявила она, строя забавные рожи, закатывая глаза в сладострастной истоме, так что все ее морщины, чуть не трескаясь, зашевелились, задвигались. – Неужели ты бы не был рад? – набросилась она на Далмау, видя выражение его лица.

– Конечно, был бы, – пришел на выручку Томас.

– Да-да, – под взглядом брата поспешно согласился Далмау.

– Ах! – вздохнула хозяйка, вроде бы простив ему минутное колебание.

Остается найти правдоподобную причину того, что Далмау ночевал на вонючем постоялом дворе, а не в рабочем общежитии с душевыми, заметил Фустер уже на улице, куда они вышли, вручив хозяйке несколько монет.

– Это как раз просто, – отвечал Далмау. – Мне пришлось задержаться на стройке, я ушел оттуда после девяти, когда в общежитие уже не пускают.

– Кто-то может подтвердить, что ты задержался на работе? – спросил юрист.

– Да, разумеется, – уверенно отвечал Далмау.

– А громила, которому ты заплатил восемьсот песет, – вмешался Томас, – не может выдать Далмау? Не покажется ли подозрительным, что за день до того, как Далмау вернул деньги, украли реликвию у сеньора Бельо, того самого, по иску которого было изъято имущество Анастази?

– Он мог бы, – ответил Фустер. – Но в документе, который я заставил его подписать, не оговорен ни факт оплаты, ни определенная сумма; просто значится, что он отказывается от каких-либо претензий к Хосефе или к Далмау; признает, что имущество было у него изъято не по их вине, и так далее, и тому подобное. Через этого громилу никто не сможет сопоставить суммы; даже нельзя доказать, что какие-то деньги были уплачены. Что до прочего, то есть пятисот песет, которыми будет окончательно погашен долг по иску, предъявленному в суде, я подумал то же, что и ты: деньги попадут непосредственно к Бельо, и он не преминет сопоставить факты – Далмау или его мать вносят сумму, значительную для людей, живущих своим трудом, как раз после того, как украли гребаный крест; это откроет ему глаза.

– И что?.. – не терпелось Томасу.

– Я придержал деньги. Суды работают до ужаса медленно. Когда-то еще поставят на аукцион вещи и кур, а куры к тому времени, поди, передохнут, или их кто-нибудь слопает, – засмеялся Фустер, – стало быть, мы еще не скоро узнаем окончательную сумму долга. Будет время расплатиться в разное время, мелкими суммами, будто бы внести всю сумму сразу нам не под силу, и таким образом никто не сможет ничего заподозрить.

Несмотря на эти предосторожности, Далмау совсем пал духом, и утро застало его еле влачащим ноги к дому Бальо после мучительной полудремы, в которой прошла ночь: он все время ворочался на койке, засыпая на несколько минут и просыпаясь в поту и нестерпимой тревоге. Начинало светать, и Пасео-де-Грасия оживал через шум и гомон служанок, и наемных работников, и нищих, и торговцев вразнос, и возчиков с их телегами и мулами; иные торопились, иные двигались лениво, будто дожидаясь рассвета, чтобы проснуться. Крики угольщиков и булочников спорили с лязгом трамвайных колес; вагоны были битком набиты пассажирами, даже на крыши забирался народ; и к этому прибавлялся грохот мадридского поезда, который шел по путям на улице Арагон.

И среди всего этого гама Далмау расслышал... Нет! Не может быть! Пронзительный голос одного из мальчишек, торговавших газетами на углу, проник в самый его мозг, прошел по телу от макушки до пят; Далмау покачнулся, прислонился к платану.

– Обнаружен вор, похитивший мощи! – Вжавшись в дерево, Далмау слушал крики мальчика. Чем громче и пронзительнее он будет кричать, чем больше заголовков озвучит, тем больше продаст газет, и парнишка, занявший выгодную позицию на одном из самых оживленных в Барселоне перекрестков, знал, как привлечь внимание потенциальных покупателей. – Производитель керамики дон Мануэль Бельо выдал полиции своего ученика Далмау Сала!

Далмау дрожал, видя, как прохожие выхватывают газеты из рук паренька. Ему казалось, будто все на него смотрят. Он огляделся вокруг: нет, ничего подобного. Случайные, равнодушные взгляды. «Полиция ищет вора!» Далмау выпрямился, на шаг отошел от дерева, пытаясь казаться спокойным. «Фабрикант Бельо предлагает вознаграждение в сто песет за любые сведения о его местонахождении!» «Сукин сын! – пробормотал Далмау сквозь зубы

при этом новом оповещении, – сукин сын! Мерзкий козлина!» Он – вор? Если бы дон Мануэль не стал отыгрываться на его матери, ему не пришлось бы воровать. Он всего лишь возвратил себе тысячу триста песет, чтобы мать и Эмма жили спокойно и Анастаси не угрожал бы им насилием и чтобы полностью, вместе с процентами и судебными издержками, погасить иск, когда адвокат Фустер выплатит мелкими порциями пятьсот песет. Он же, со своей стороны, полагал, что своим трудом с лихвой вернул сумму, которую дон Мануэль когда-то одолжил, дабы избавить его от военной службы; вот о чем должен был вспомнить старый козел: творения Далмау во много раз обогатили его. Стало быть, дело не в деньгах. Это – низкая, подлая личная месть богатого буржуа скромной, уже немолодой швее, его матери. Но какие бы доводы ни приводил Далмау в свое оправдание, люди продолжали покупать газеты. Многие проходили мимо, не замечая его, погруженные в чтение или на ходу обсуждая последнюю новость. Далмау краем глаза увидел свое лицо, рисунок крупного формата посередине полосы. Учителю нетрудно было нарисовать портрет, он на этом набил руку. Далмау попытался успокоиться: по этому рисунку его, теперешнего, почти невозможно опознать, но как быть с теми, кто сейчас, недавно, общался с ним? Каменщики на стройке дома Бальо, рабочие из общежития и столовой «Санта-Мадрона», персонал приюта в Парке... Никто бы не связал его с тем Далмау Сала, который работал в мастерской дон Мануэля Бельо, но теперь все об этом узнали. За сто песет многие, наверное, уже обивают пороги полицейских участков. Уже услышали новость в тавернах и столовых от тех, кто умеет читать. В недобрый час написал он портрет короля преступного мира! Не узнай дон Мануэль подпись, ему бы и в голову не пришло, что Далмау украл крест, ведь он был уверен, что бывший его ученик мертв.

Церковные колокола прозвонили семь утра. Опоздал на работу. Эта мысль насмешила Далмау: какая теперь разница? Явиться на стройку он не мог, хотя, предусмотрительно оставаясь на другой стороне Пасео-де-Грасия, подошел близко, будто сам дом, революционный по стилю и замыслу, мог его защитить. У дверей железнодорожного вокзала в стиле модерн, посередине улицы Арагон, через дом от строительства особняка Бальо, мальчишки-газетчики сновали между экипажами и кучерами, торговцами, бродягами и пассажирами; соревновались между собой, кто крикнет громче и

пронзительней, чтобы переманить к себе покупателя. «Далмау Сала». «Реликвия». «Вор». «Полиция». Они подготовили алиби на ночь кражи, но какой наивной и смешной казалась эта выдумка перед многоголосым ревом продавцов газет, который тяжким грузом обрушивался на Далмау! Кто поверит в ночь любви с высохшей, одеревеневшей старухой? Остатки уверенности вдруг покинули его, живот свело, он инстинктивно прижался к стене и, оробевший, побледневший, с трепетом наблюдал сцену, которая разыгрывалась на другой стороне бульвара, где прораб и несколько каменщиков беседовали с двумя полицейскими. Стало быть, его выдали. Один из товарищей, Хенаро, припомнилось имя, показывал вверх, на хребет дракона, очевидно объясняя полицейским, где Далмау работает. Поддавшись наивному порыву, Далмау тоже поднял взгляд к самым верхним лесам. Хенаро вроде был неплохим парнем, может, выдал не он.

– Если так и будешь здесь торчать, тебя очень скоро сцапают. Ты весь как деревянный и бледнее мертвяка, будто кто-то тебя прислонил к стенке: пусть, мол, постоит, пока не подъедут из управы и не положат покойничка в сосновый гроб. – Маравильяс расхохоталась. *Trinxeraire* стояла перед Далмау, замурзанная как всегда. Далмау никогда не слышал от нее такой длинной речи. Не припоминал, чтобы ей когда-либо удавалось связать вместе столько слов. Она явно нервничала. Далмау хотел было спросить, куда подевался ее братец Дельфин, ведь они всегда неразлучны, но девчонка не дала ему и слова сказать. – Идем со мной. Я тебя спрячу, пока не решишь, что делать дальше.

– В Пекине? – уточнил Далмау.

– Там тебя видеть не хотят. И близко не подходи, так будет лучше. Идем со мной, – торопила она, дергая его за руку.

Полицейские все еще обсуждали что-то с прорабом и каменщиками. Далмау пошел следом за *trinxeraire*; похоже, она спасала его во второй раз, а может, и больше, если учесть, сколько ночей он без памяти валялся на улице, одурманенный наркотиком. Они свернули направо по улице Арагон и двинулись по узкому проходу между откосной стеной, за которой ходили поезда, и фасадами домов.

– Куда мы идем? – спросил Далмау у девочки; он шел позади, след в след.

– В надежное место. Не бойся.

Через несколько кварталов, на углу улицы Брук, когда Далмау обернулся налево, заглядевшись на рынок и церковь Консепсьон, появился целый отряд полицейских, они прятались за последним на улице зданием и теперь угрожающе приближались. Далмау даже не успел как-то отреагировать.

– Далмау Сала! – проговорил один из полицейских, с силой ткнув его в живот концом своей дубинки.

– Ты арестован! – объявил второй и, воспользовавшись тем, что у Далмау пресеклось дыхание и он сложился пополам от боли, завел ему руки за спину и надел наручники.

Через несколько секунд, когда дыхание у Далмау восстановилось, он был уже скован и двое полицейских вели его под руки. Он не мог понять, как это произошло. Полицейские выскочили из-за угла, будто дожидались его, а это означало...

– Ты меня предала! – с упреком бросил он Маравильяс, которая отошла подальше от схватки.

Девочка нахмурилась и пожалала плечами, что было почти незаметно, столько одежек и лоскутков было на ней наверхено; этот серый, бесформенный силуэт мрачным пятном выделялся на фоне легких и ярких платьев, которые уже начали наводнять город.

– Тебя все равно бы сцапали, – оправдывалась *trinxeraire*. – Так сказал Дельфин. Просто дождались бы, пока ты пойдешь провести мать или ту шлюху... – Услышав оскорбление в адрес Эммы, Далмау так резко обернулся, что чуть не вырвался из рук полицейских; те навалились сильнее и чуть не волоком потащили его в участок Консепсьон. – Тебя все равно бы сцапали, сам знаешь, – твердила Маравильяс, стараясь не отставать от полицейских. – Вот и Дельфин говорит, что так бы и было.

Последнее, что услышал Далмау перед тем, как его затолкали в участок, был голос Маравильяс, которая требовала свои сто песет.

– Придется тебе подождать, пока придет фабрикант! – крикнул ей один из полицейских. – За ним уже послали.

– Сцапали парня, который слямзил крест с костями.

Это сообщил юнец лет шестнадцати, только что подошедший к группе молодых боевиков, которые стояли перед церковью, дожидаясь,

когда прихожане потянутся на молебен, чтобы начать к ним цепляться. Эмма почти не вслушивалась в реплики, которые градом посыпались из уст человек пятнадцати «молодых варваров»^[18], составлявших отряд: «Жаль!», «Туда им и дорога!», «Вот бы он еще и осквернил гребаные кости», «Этим и мы должны бы заняться: поснимать поганые кресты по всему городу», «Уф, бывают совсем неподъемные!». Такое соображение вызвало смех, последовали еще шутки, насмешки, оскорбления в адрес Церкви и верующих.

– Где его держат? – спросила Эмма среди всеобщего гвалта, который несколько поутих, как только она проявила интерес.

Многие обернулись к ней. С тех пор как Эмма оставила кафе Братства ради Народного дома и кухонь, за обустройством которых она наблюдала почти ежедневно, прошло немного времени, но молодая женщина уже не просто осуществляла связь между руководством и боевыми отрядами, а наряду с другими лидерами направляла их действия. Это ей не составило труда: «товарищ учительница» моментально получила признание среди действительно молодых, от шестнадцати до двадцати лет, радикально настроенных ребят из рабочих кварталов, которых Леррус использовал в борьбе с политическими противниками и Церковью. Многие с восторгом слушали ее речи на бывших республиканских митингах, собиравших толпы; юнцы и те, кто постарше, были ею увлечены: красивая, чувственная, страстная, преданная борьбе, владеющая словом, дочь жертвы Монжуика, сама пострадавшая... Для иных она превратилась в предмет мечтаний, а поэтому, стоило Эмме появиться в тавернах и рабочих братствах, где собирались «варвары», многие безоглядно подчинялись ее воле, выполняли малейшее ее желание.

– У меня нет намерения сместить вас с ваших постов, – успокаивала она капитанов, возглавлявших эти городские партизанские отряды, – считайте, что я по-прежнему всего лишь осуществляю связь с руководством.

С тех пор она ходила вместе с ними как рядовой боец, когда они расстраивали множество католических свадеб, крестин и похорон, врывались в церкви и на кладбища, всячески понося священников и призывая горожан восстать против религии.

– Этот поп, – кричала Эмма, указывая на священника, проводящего обряд бракосочетания, и обращаясь к жениху, и

разозленному, и напуганному вторжением на его свадьбу группы бесноватых, – выпытает все грехи твоей жены, а вот сам ты о них – ни сном ни духом! И простит ее за горсточку молитв... а может, и за отсос в исповедальне! Ты никогда не узнаешь, что она тебе изменила или ей пришлось воровать либо торговать собой, добывая хлеб вашим детям, ибо вы не станете об этом говорить, ибо не будет между вами доверия, пока твои и ее проблемы обсуждаются в церкви, за твоей спиной, перед великим обманом, этим Богом и его последователями, а не перед тобой, ее товарищем, ее опорой. Как же ты этого не понимаешь?!

Потом прибывала полиция и они удирали, предварительно разбросав канделябры, потоптав цветы и покровы и отпустив пару-тройку богохульств. В дни строжайшего поста жарили на решетке мясо у церковной паперти, затевали гражданские шествия на Страстной неделе, а также просачивались на митинги оппозиционных партий или на собрания консервативных обществ, чтобы устроить обструкцию. То были опасные предприятия, ибо политические противники защищались, поэтому туда ходили большими группами. Тогда на сцену являлись дубинки, навахи и даже пистолеты, по каковой причине Эмма потребовала от Тручеро, чтобы тот и ее снабдил оружием, целый арсенал которого прибыл из Франции. «Ты до меня не дотронешься, пока я не заполучу один из этих пистолетов», – поставила она ультиматум. Тручеро с лихвой получил свое после того, как вручил ей бельгийский полуавтоматический браунинг модели 1903 года; Эмма ни разу из него не выстрелила, хотя молодой лидер научил ее, но, участвуя вместе с молодыми бойцами в дерзких набегах, всегда носила пистолет с собой, пока Хосефа не узнала об этом и не наложила запрет, сославшись на то, что, если она пустит оружие в ход или ее задержат с оружием, обвинение будет куда более тяжелым.

– В участке Консепсьон, – ответил парень, сообщивший об аресте Далмау.

Эмма вздохнула и распрощалась с ребятами, горестно качая головой.

– Ты куда?

– Что собираешься делать?

Вопросы сыпались один за другим.

– Сама не знаю, – отвечала Эмма. – Пойду в участок. В любом случае это не ваше дело... То есть я хочу сказать, – поправила она,

чувствуя, что взяла слишком резкий тон, – что это дело не касается партии, не связано с ее целями.

– Арестованный – твой друг? – уточнил один из ребят.

Эмма кивнула.

– Мой бывший жених, – добавила чуть погодя. – Мы были так близки, что я до сих пор живу в доме его матери.

– Нам не раз случалось помогать друзьям в нерабочее время, – высказался другой, вызвав всеобщий смех и оживленные комментарии. «Помнишь?..» «Помнишь?..» – припоминал чуть ли не каждый ту или иную акцию.

– Спасибо вам, но я настаиваю, чтобы вы не вмешивались: это личное дело, ни к чему всей группе создавать проблемы.

– Парень стащил крест с мощами у одного из главных в городе святош, – вмешался Висенс, молодой капитан отряда, – а теперь его держат в кутузке, куда богатые буржуи помещают всякого, кто борется за свободу; так с чего ты взяла, что это – личное дело? Церковь, святые, полиция, буржуи... Все они – наши враги! Твоему другу нужно поставить памятник за кражу – так унижить католиков! Мы с тобой!

Эмма решила, что не время убеждать товарищей в невиновности Далмау, которые, пока она колебалась, разразились восторженными криками.

– Не знаю, как насчет памятника, – сказала она, когда все двинулись к участку, уже не сомневаясь, что крест украл Далмау, – но, если мы его освободим, он напишет картины для Народного дома.

– Стало быть, ты хочешь освободить его из участка Консепсьон? – уточнил Висенс, шедший с нею рядом.

– Да. Не знаю... Наверное, – заколебалась Эмма.

– Только здесь это можно сделать. Когда его переведут в Модело или в Монжуик, мы будем бессильны. – Вспомнив Монжуик и пытки, которым подвергли ее отца, Эмма задрожала, отпрянула в смутении. Висенс понял, чего она испугалась. – Да, – сказал он, – там с твоим другом может произойти все, что угодно.

– Нужно вытащить его сейчас, – придя в себя, решительно заявила Эмма.

– В участке, – начал рассуждать Висенс, – бывает не больше пяти полицейских.

Эмма кивнула. Она знала расклад: городская полиция Барселоны насчитывала около тысячи человек личного состава; люди дежурили посменно, по восемь часов, стало быть, во время каждого дежурства в наличии имелось чуть более трехсот полицейских, которые в свою очередь распределялись по двадцати трем участкам города. В среднем получалось десять полицейских на каждый комиссариат. Если из получившихся десяти вычесть тех, кто назначен в конный разезд, и тех, кто патрулирует улицы, поддерживая порядок в кварталах, да еще заболевших, весьма вероятным будет предположение, что внутри участка окажутся именно пятеро.

– Нас гораздо больше, – с гордостью объявил Висенс и подозвал пару парней: те внимательно выслушали указания и, отделившись от группы, побежали вперед.

Капитан отряда «молодых варваров» продолжал направо и налево раздавать приказы, пока они не оказались около участка Консепсьон, а там оставшиеся рассредоточились по улицам, как им велел Висенс, – он не хотел, чтобы полиция заметила их, прежде чем два убежавших вперед застрельщика не ворвутся в церковь Консепсьон, расположенную в соседнем квартале. Эмма и Висенс, опершись об откосную стену, за которой ходили поезда на Мадрид, заняли позицию напротив участка и наблюдали: то было большое муниципальное здание, там наряду с комиссариатом находились и городские службы. Четырехэтажный дом был построен в конце прошлого века в модном тогда псевдосредневековом стиле. В здание можно было попасть через три арки, на которые делился фасад. Только один полицейский стоял у решетки, спиной к улице: его больше занимало то, что происходит внутри.

Наконец прибежал дьякон, подскочил к полицейскому у решетки и стал что-то говорить, бурно жестикулируя и все время показывая в сторону церкви Консепсьон.

– Похоже, наши хорошо поработали, – шепнул Висенс Эмме.

– И что дальше? – спросила та.

– Погоди.

Через пару мгновений двое полицейских вышли из участка и отправились следом за дьяконом. «Их уже меньше», – пробормотал Висенс. Он сделал знак другим бойцам, чтобы они дальше следовали плану, и Эмма увидела, как трое из них смешались с толпой горожан,

пришедших в отделы городской управы по каким-то делам. Часовой у входа ни за чем не следил: то отходил к отделам комиссариата, то возвращался. Троим юнцам было несложно раздобыть корзину для бумаг, сунуть туда пару связок документов, спрятать за колонной и поджечь. Сразу повалил густой дым. Двое парней выскочили из-за колонны с криком «Пожар!», а третий продолжал подкладывать папки.

– Дом не сгорит? – забеспокоилась Эмма.

– Нет, – утешил ее Висенс, указывая остальным членам отряда, что пора входить. – Корзину можно потушить, вылив туда ведро воды, а рядом нет ничего такого, что может гореть. Главное – побольше дыма, чтобы вызвать панику.

И паника, точно как предсказывал капитан, началась через несколько секунд. Юнцы вопили, изображая ужас, и призывали людей спасаться. Люди побежали, расталкивая друг друга и визжа от страха. Полицейские вышли из участка посмотреть, что творится в другом крыле, там, где отделы городской управы, и попали в абсолютный хаос. Улучив момент, человек десять «молодых варваров» ринулись в полицейский участок. Висенс оказался прав: после того как полицейские разошлись кто в церковь, кто на пожар, внутри осталось всего двое: они стерегли мужчину в наручниках, с лицом, разбитым в кровь; он сидел за столом, а над ним нависал другой, постарше, с пышными, густыми бакенбардами, которые соединялись с усами.

Юнцы их всех застали врасплох. Одни набросились на полицейских и дона Мануэля, повалили их на пол. Остальные подхватили Далмау и вынесли его наружу. Несколько секунд – и, растолкав чиновников и ротозеев, которые с улицы наблюдали, как рассеивается дым, все они уже бежали по улице Арагон по направлению к Парку. Дон Мануэль метался в толпе, кричал, требовал, чтобы полицейские пустились за штурмовиками в погоню, но агенты, погасив огонь, проверяли, насколько повреждено здание, и вовсе не собирались гоняться за бандой революционеров.

Дон Мануэль продолжал бесноваться, воздевая руки к небу, вперя гневный взор туда, где терялись следы Далмау. Он впал в такой раж, что даже и не заметил, как парочка *trinxeraires* стащила у него бумажник и часы на цепочке, свисавшей из жилетного кармана; ребята скрылись в толпе, убежденные, что добыча эта намного превосходит

сто песет, которые фабрикант отказался им заплатить, всячески изругав при этом.

Заключение врача, которого велели позвать, Далмау выслушал, ужасно страдая от боли, поскольку Хосефа запретила давать ему лекарства на основе морфия. «Лучше пусть потерпит, – стояла на своем женщина, – чем вспомнит вкус наркотика». Один зуб расколот, два других шатаются. «Будут держаться», – обещал доктор. – И сломана переносица. «Не исключено, что челюсть повреждена; время покажет, хотя я думаю, что все обойдется; остальное, – добавил он, – ушибы, довольно значительные, но они заживут».

Врач порекомендовал покой и, ворча и махая руками, стал выгонять людей, набившихся в квартиру: как может пациент отдыхать, когда кругом такой гвалт; и Далмау перенесли в его прежнюю кровать, которую Эмма уступила ему, вернувшись вместе с Хулией в комнату Хосефы. В темноте своей бывшей спальни, в тишине, которая мало-помалу установилась в доме, лежа абсолютно неподвижно, ибо стоило пошевелиться, как тотчас же возвращалась боль, Далмау дал волю эмоциям. Его пытали, чтобы выведать, где мощи святого Иннокентия, и дон Мануэль все время был рядом, пока не вспыхнул пожар и хаос не воцарился в здании. Но Далмау не сознался. Затрешины и зуботычины напоминали ему о Пекине, и гнева дона Рикардо он боялся больше, чем полицейских. Маравильяс пришла ему на ум: то девчонка подбирает его на улице и спасает от почти неминуемой смерти, то выдает властям. И она все время врала, когда Далмау платил ей за поиски Эммы, теперь он в этом был убежден. Она – *trinxeraire* с непредсказуемыми реакциями, как все эти маленькие попрошайки, истощенные, неграмотные, неспособные на связные мысли и поступки. Им нельзя доверять.

Лежа в постели, Далмау вновь пережил столпотворение, которое «молодые варвары» устроили в участке. Его вытащили наружу, ошеломленного, избитого, и заставили бежать. Тогда он и увидел Эмму рядом с собой. Пытался заговорить с ней, но прерывалось дыхание. Уже дома кто-то сказал, что Эмма организовала всю эту суматоху, чтобы освободить его. От такого известия кровь быстрее побежала по жилам, ритмично запульсировала в поврежденных местах. В

сломанной переносице, во рту, по всему лицу, покрытому синяками, ощущалась глухая, упорная боль и другая, на корню убившая все иллюзии, прибавилась, когда Эмма вошла в квартиру.

Далмау разглядел ее среди молодых бойцов, которые сновали по квартире, битком набитой соседями и просто любопытствующей публикой; все они вторгались нагло, без спроса, и между прочими – дежурный судья, которого привел адвокат Фустер. Эмма появилась в обществе какого-то мужчины, потом Далмау узнал, что то был лидер республиканцев: надменный, молодой, хорошо одетый, по всей вероятности пользующийся успехом у женщин, он брал Эмму за руку, обнимал за талию, щупал, целовал, что-то шептал на ушко, и все это с глупой улыбкой, обращенной к присутствующим. Наконец, поздоровавшись с теми и другими, они подошли туда, где сидел Далмау, и Эмма представила своего спутника: «Хоакин Тручеро, мой начальник».

– Ну, возможно, и больше, чем начальник! – пошутил тот, легонько шлепнув ее по ягодице.

Эмма и бровью не повела.

Хосефа нахмурилась.

Биение крови в ранах Далмау прекратилось. Он не слышал того, что Тручеро ему говорил. Глаз не сводил с Эммы, которая отвечала ему таким же холодным взглядом, что и республиканцу несколько секунд назад.

– Это верно? – расслышал Далмау вопрос республиканца.

«Что? О чем это он?»

– Нет... – кое-как проговорил он.

– Эмма сказала, что ты напишешь нам картины для Народного дома, – перебил Тручеро, видя его замешательство. – Мы будем тебе благодарны.

Висенс, капитан боевиков, услышав о картинах, подошел поближе.

– Эмма нам это пообещала, если мы освободим тебя.

Далмау снова взглянул на Эмму, та приоткрыла рот, будто безмолвно моля о том, чтобы художник подтвердил ее обещание. Он только что видел, как ее хватили за задницу, и все надежды рухнули с той же скоростью, с какой явились на свет. И все-таки не мог

опровергнуть перед всеми ее слова, выставить лгуньей даже перед слюнтяем, который ее щупал, так что Далмау согласился.

Той же ночью, неподвижно лежа в постели, Далмау решил как можно скорее покинуть этот дом: через пару дней, максимум через три; у него не хватало духу жить в том же пространстве, что Эмма, соприкасаться с ней, вдыхать ее аромат... Пока он залечивал раны, судья допросил Деметрио, каменщика из рабочего общества, который видел, как Далмау оставался на стройке той ночью, когда произошла кража в доме дона Мануэля. Допросил он и Жоана, прораба, который подтвердил показания своего подчиненного, а потом, пользуясь случаем, навестил Далмау и сообщил с прискорбием, что для него больше нет работы на строительстве дома Бальо. Дело в том, что Гауди, архитектор Бога, более ревностный в вере, чем сам Всевышний, выслушав из уст дона Мануэля историю о том, как кто-то, предположительно Далмау, украл у него мощи святого Иннокентия, велел виновника немедленно расчитать. Жаль, очень жаль, признавался прораб. Далмау ему поверил. Как и судья поверил Эмилии, хозяйке постоянного двора, которую тоже вызвали для дачи показаний.

– Вы хотите сказать, что разделяли?.. – Судья схлопнул ладони, соединив вместе указательные пальцы: никак иначе он не мог огласить то, что женщина только что ему рассказала.

– Именно! – подскочила старая анархистка, и Фустер отвел взгляд, уставился в один из углов судейского кабинета: он знал, что за этим воспоследует. – Постель. Мы разделяли постель, ведь свободных мест не было. Мы спали вместе, ваша честь. И мальчику было хорошо, поверьте. Я слишком старая, слишком высохшая, чтобы... ну, чтобы кто-нибудь взгромоздился на меня... – Судья делал ей знаки, умоляя умолкнуть, но Эмилия вошла в роль. – Все-таки я еще умею доставить мужчине удовольствие.

Эмилия сложила ладонь лодочкой и стала качать ею вверх и вниз, иллюстрируя сказанное выше.

– Довольно! – рявкнул судья.

Ни одна улика не указывает на то, что Далмау Сала украл мощи, постановил судья. То, что он написал портрет человека, который потом вызвался помочь полиции вернуть крест, явилось простым совпадением, не имеющим никакого отношения к краже. Кроме того,

не наблюдалось никаких следов взлома. Дон Мануэль признал, что никогда не давал Далмау ключей от своей квартиры. О дубликатах никто не знал, поэтому судья был склонен думать, что тут скорее работали профессионалы, чем неискушенный человек, такой как Далмау. И наконец, в ходе расследования было неопровержимо доказано, что он провел всю ночь в пансионе Эмилии, а стало быть, ему никак невозможно было предъявить обвинение. Что же до побоев, каким подвергся Далмау в участке, полицейские единодушно показали, что задержанный пытался бежать и упорно сопротивлялся, отчего и пришлось применить к нему силу.

На этом все и закончилось, даже для «варваров», о которых никто не осмелился упомянуть, даже полицейские, – себе дороже. Единственным, кто жаловался и кипел от возмущения, был дон Мануэль Бельо: он по-прежнему был убежден, что Далмау украл самое ценное его достояние, а поэтому снова отыгрался на матери бывшего ученика, добившись того, чтобы ее лишили помощи от Церкви. В первую же пятницу после того, как дон Мануэль опознал подпись на картине, висящей за спиной толстяка из Пекина, Хосефу не пустили в монастырь Святой Анны, где выдавали талоны на хлеб, рис и фасоль. Женщина даже не стала спорить, когда священник, стоявший в дверях, в грубой форме потребовал вернуть карточку неимущей, стараясь всячески унижить ее перед сотней несчастных, явившихся за подаванием.

– Ты солгала, женщина! – возгласил он. – Ты не христианка. Ты анархистка, атеистка, богохульница.

– Да, я такая, – призналась Хосефа, разрывая пополам карточку неимущей христианки.

Комната, которую Далмау снял на улице Сепульведа в квартале Сан-Антони в типично каталонском доходном доме конца прошлого века, была просторная, солнечная, окнами на юго-восток. У Далмау никогда не было столько пространства для него одного, а главное – вида на улицу. Кровать с мягким тюфяком, шкаф, рабочий стол со стулом, другой стул, куда донья Магдалена, квартирная хозяйка, ставила таз с чистой водой; ко всей этой мебели Далмау добавил мольберт, хотя до сих пор не решился натянуть холст на подрамник.

Неделю назад Далмау покинул дом матери, и хотя нос так и оставался свернутым на правую сторону, зуб – расколотым, а щетина пробивалась сквозь ссадины, он уже достаточно оправился, и Эмма напомнила о данном им обещании написать картины для Народного дома.

– Я больше не пишу картин, – заявил Далмау, в семейном кругу можно было не стесняться.

– Так придется снова начать это делать, – ответила она серьезно. – Я обещала людям, которые тебя спасли... а ты подтвердил.

– Меня избили, – стал оправдываться Далмау, хотя прекрасно помнил момент, который Эмма имела в виду. – Даже не знаю, о чем ты говоришь. И потом, вряд ли я смогу что-то написать.

– Почему не сможешь, сынок? – вмешалась мать, к изумлению обоих. – Ты ведь раньше писал картины. Хорошие, даже очень! Тебя хвалили. Постарайся, и у тебя получится.

Пока Далмау выздоравливал, Жоан, прораб на стройке дома Бальо, навестил его пару раз и посоветовал попытать счастья в мастерской итальянского мозаичиста, который сотрудничал с крупными архитекторами, а в данный момент работал с Доменеком на строительстве Дворца каталонской музыки, первый камень которого был заложен 23 апреля, в день святого Георгия, покровителя Каталонии.

– Я знаю, что итальянец ищет способных людей, таких как ты. Он взял на себя немалый труд, и ему нужны люди. Ты хороший парень, – поспешил он ответить на немой вопрос, отразившийся во взгляде Далмау, – никто тебя ни в чем не обвиняет, не думаю, чтобы у тебя возникли проблемы в этом плане.

Далмау знал, кто такой этот итальянец; только он один держал в Барселоне открытую мастерскую и был достаточно хорош, чтобы сотрудничать с Доменеком и другими великими архитекторами, – Марио Маральяно; хотя в тот момент он пропустил совет прораба мимо ушей, сгорая от ревности при одном воспоминании о переплетенных пальцах Эммы и Тручеро.

Хосефа все это видела и, пока шила, мало-помалу убеждала себя: сын должен окончательно забыть Эмму, а для этого ему нужно снова добиться успеха, заново обрести свою прежнюю страсть, что бы она, мать, раньше ни думала о живописи и о несчастьях, какие навлекла

она на Далмау. Не мог он оставаться простым рабочим, жить как обыватель, искупая ошибки, совершенные под действием алкоголя и морфина. Пусть хотя бы попробует!

– Напиши картину! – напутствовала она, когда Далмау торопливо, чтобы поскорей отдалиться от Эммы, попрощался с ней, перебираясь в новую комнату. Но ни один из набросков не удовлетворял Далмау, и рисунки копились на столе.

«Напиши картину!» Наказ матери звучал у него в ушах каждый раз, когда он отвергал очередной набросок. Ничего не поделаешь: ни один его не устраивал. Рисунки выходили банальными, их было невозможно представить себе перенесенными на холст. Такое же чувство он испытывал в те дни, когда пытался запечатлеть на обычном листе бумаги надменный взгляд Урсулы. Тогда решение нашлось; и теперь укол... или просто рюмка абсента, чтобы его снова захлестнул водоворот творчества. «Хоть бы стакан вина!» – часто говорил он себе. В моменты, когда искушение одолевало, он сжимал кулаки и колотил себя по коленям, уповая на то, что боль вернет его на улицы, где он влачил жалкое существование, или перенесет в Пекин, в сарай, где он пережил столько унижений, пока не победил зависимость. «Как скоро ты снова напьешься или уколешься после твоих извинений?» – спросила Эмма в тот день, когда они встретились после его возвращения из ада.

Бросая вызов самому себе, Далмау дрожащей рукой хватал другой листок, делал несколько штрихов, очевидно топорных, не будучи в силах окончательно изгнать из памяти образ Эммы.

– Забудь ее, сынок, – таким был второй совет матери в тот день, когда он ушел из дому.

Он должен это сделать. Их юношеская любовь осталась в прошлом. Эмма его бросила: ладно, он сам виноват, но какая теперь разница? Потом сошлась с каменщиком, родила от него дочь, а теперь оказывается, что работает под началом надменного республиканца, а тот прилюдно заявляет свои права, хлопая ее по заду. Порвав в клочки очередной листок, Далмау, хоть и было поздно, отправился к матери.

– Я никогда не давал обещания писать картины для Народного дома республиканцев.

Он это выпалил, холодно поздоровавшись с женщинами, которые вместе с девочкой мирно ужинали в квартире на улице Бертрельянс.

Дверь на лестничную площадку, как обычно, была открыта: так квартира словно бы прирастала пространством. Эмма вздрогнула. Хосефа склонила голову набок, скорее заинтригованная, чем удивленная.

– Да, это правда, – признала Эмма, не вставая с места, но поворачиваясь к Далмау, который стоял в каком-то шаге от них. – Я сделала это от твоего имени. Мне пришлось это сделать, чтобы тебя освободили. Помнишь? Тебя схватили, пытали.

– И я благодарен тебе, – перебил Далмау. – Но это не значит, что я обязан написать три картины.

– Плохо же ты благодаришь меня, – сурово проговорила Эмма.

Резкость молодой женщины уязвила Далмау. Да, Эмма освободила его, но ведь его арестовали только потому, что он помог матери, ей и малютке Хулии избавиться от угрозы, какую представлял собой Анастаси. Он один во всем виноват. Его откупили от армии, а он подсел на наркотик и навлек на себя гнев дона Мануэля, погубив Урсулу. Они, эти женщины, нисколько не виноваты в том, что произошло, но и то, что Эмма не признает за ним никаких заслуг, несправедливо. А сама живет здесь, в доме, с его матерью!

– Я попал в участок за то, что помог вам, – выпалил он, – украл тот крест и избавил вас от Анастаси.

– Я тебя об этом не просила.

– Тогда мы квиты: я тоже не просил, чтобы ты освобождала меня. – (Эмма скривилась.) – Мы никогда до конца не понимали друг друга.

Далмау не стал дожидаться ответа. Поцеловал мать, которая следила, остолбенев, за ожесточенным спором, и даже позволил себе стащить кусочек мяса с ее тарелки. «Вкусно», – заметил, ероша волосы Хулии. Девочка рассмеялась так звонко, что всякое напряжение должно было сойти на нет. Но Далмау не собирался оставаться дольше: он распрощался и слился с сумраком лестничной площадки. Мускулы живота, напряженные с того самого момента, как он решил объясниться с Эммой, внезапно расслабились. Голод настиг его, рот наполнился слюной. Он еще успевал поужинать в рабочей столовой «Санта-Мадрона».

Все издавна знакомые места квартала Сан-Антони на пути из мастерской итальянца, которых Далмау до сей поры избегал, поскольку они пробуждали мучительные, будоражащие воспоминания, с того вечера стали восприниматься как простые отсылки к уже оставшейся в прошлом истории их с Эммой отношений: «Ка Бертран», процветающая столовая, всегда полная рабочего люда; как-нибудь надо сходить туда поесть, пообещал себе Далмау: это будет окончательным доказательством того, что он переживает катарсис. Монастырь пиаристов. Тюрьма «Амалия». Дом, где Эмма жила с дядей и кузенами. Рынок Сан-Антони, где застрелили Монсеррат.

Мастерская Марио Маральяно располагалась в Эшампле, в нижнем этаже здания на улице Жирона, чуть выше улицы Дипутасьон, и занимала большую часть двора, образованного зданиями квартала. В отличие от фабрики изразцов Мануэля Бельо, мастерская итальянца скорее походила на кустарный промысел, с печью на арабский манер, покрытой куполом, но очень мощной; ее топили дровами, котел находился под землей, а камера для обжига – сверху, посреди двора. Остальную часть свободного пространства занимали хаотически расположенные сушилки, резервуары с водой, склад готовой продукции и кучи глины. В мастерской работало человек двадцать, многие, как Далмау, в полуподвальном этаже, за столами для рисования эскизов и составления мозаик.

Сорокалетний Маральяно освоил свое ремесло в Генуе, откуда перебрался в Барселону уже признанным мастером мозаик в римском и византийском стиле; он знал Далмау по его работам на фабрике дона Мануэля и высоко их ценил, потому и нанял его без малейших колебаний. В первый день они долго разговаривали, итальянец с певучим, музыкальным акцентом, хотя избегали касаться политики и того, что случилось в Далмау в полицейском участке. Церковь и «Льюки» оказывают огромное влияние на рынок, упомянул мастер; лучше не говорить лишнего. «Знаю», – подтвердил Далмау с кривой улыбкой на все еще распухших, багровых губах.

Мозаичист работал на многих стройках как в Барселоне, так и вне ее – недавно он открыл мастерскую в Мадриде, – с Доменеком на строительстве дома Льео, а теперь во Дворце каталонской музыки вместе с другим крупным мозаичистом тех лет, Льюисом Бру. Зная, как старательно работает его новый сотрудник и какими способностями

обладает, Маральяно все же не стал выделять его, хотя и уравнивал в статусе с самыми искусными мастерами. Тем более что Далмау, классному рисовальщику и специалисту по керамике, еще предстояло освоить прославившее мастерскую итальянца искусство мозаики.

– Жаль, что вы не задействованы в строительстве больницы Санта-Креу-и-Сан-Пау, – заметил как-то Далмау, имея в виду другой проект Доменека в Барселоне, – там гораздо больше работы для такой мастерской, как ваша.

– Да, – признал итальянец, – больница – строительство крупное, огромное, но Дворец... Знаешь, какую площадь занимает больница? – (Далмау не знал.) – Более трехсот тысяч квадратных метров. Доменек изощряется, украшая свои павильоны, он может это позволить себе в постройке такого размаха, в которой, без сомнения, много работы для таких художников, как мы. А теперь скажи-ка мне, какую площадь занимает Дворец музыки? – (Далмау даже отвечать не стал, просто помотал головой.) – Меньше полутора тысяч квадратных метров, к тому же участок неправильной формы, втиснутый между переулками одного из старейших кварталов города. Даже не будет никакого обзора для здания, встроенного в ряд домов, из окон которых жители смогут дотянуться рукой до фасада. Горожанин наткнется на Дворец внезапно! Триста тысяч квадратов против тысячи пятисот. И на этих полутора тысячах, плохо расположенных, Доменек предполагает уловить дух музыки через архитектуру; хочет выразить каталонскую традицию хорового пения, поддерживаемую Каталонским Орфеоном, народным хоровым коллективом, с подачи которого и затеяли строительство; желает к тому же достигнуть вершин модерна, стиля, который в этом городе находится в зените, в то время как в других странах его уже превзошли новые художественные течения; но главная цель – создать такое место, где простые, скромные люди смогут наслаждаться музыкой, жить ею; отсюда и выбор участка. Планы архитектора мне известны. Наверное, больница будет колоссальным творением, да, удивительным, но уверяю тебя: потомки запомнят Доменека благодаря Дворцу музыки, и мы приложим к этому руку.

Локоть к локтю с другими сотрудниками за длинным столом, облаченный в выцветший синий халат, который был ему широк, но дарил безмятежное спокойствие, вроде того, что снисходило на него на вершине хребта дракона, венчающего дом Бальо, Далмау стал

постигать незнакомую технику: изготовление и обрезку кусочков смальты для колонн, потолков и фасада Дворца согласно рисункам самого Доменека; все подготовительные работы производились в мастерской, чтобы впоследствии каменщики и мозаичисты не мешали друг другу. Увидев планы и рисунки, Далмау скоро понял, что, в отличие от дома Льео и даже новой больницы, Доменек, как и говорил Маральяно, предполагал обилие керамики, мозаики и *тренкадис*; а если прибавить к этому скульптуру, работы по дереву, витражи и литье, то получится здание, равного которому нет в мире.

И, деля с сотрудниками по мастерской рабочий стол, Далмау начал делить с ними досуг и развлечения. Заработок был хороший, так что деньги у него водились; не имея никаких обязательств, он всего лишь содержал себя, по-прежнему не роскошествуя, платил за жилье и каждый месяц откладывал на новую швейную машинку для матери, которая от его помощи отказалась. «Эмма хорошо зарабатывает, – сказала она, – нам троим хватает, да и я кое-что добавляю шитьем. Пользуйся случаем, устраивай свою жизнь, сынок». Далмау не хотел говорить Хосефе, каких усилий стоило ему накопить сумму, достаточную для того, чтобы купить машинку. Товарищ из мозаичной мастерской посоветовал обратиться в ломбард, взять кредит и приобрести ее безотлагательно; но когда Далмау узнал, что за люди стоят во главе учреждения, он отказался от этой мысли, чтобы не пересечься снова с друзьями дона Мануэля. Он подумывал также взять займы у кого-то из несметного множества людей, которые помещали объявления в газеты, предлагая ссуду, но то были ростовщики, бравшие иногда по десять процентов в день от полученной суммы. Далмау не хотел попасть в порочный круг, в плену которого оказывалось большинство рабочих, подстрекаемых нуждой. Лучше каждый месяц откладывать, заключил он.

А покамест он слышал смех и заново учился смеяться. Радовался простому, доступному досугу: красочным праздникам, которые устраивались в кварталах; танцам под навесом где-нибудь на улице; посиделкам в тавернах, шуткам, спорам, партиям в шашки или в карты, хотя сам он, не зная правил, и не играл, и не делал ставок; время от времени походам в кино, в цирк, в театр или на игру в пелоту. Далмау заново открывал город своего детства: конные состязания в парке, выставки цветов и растений, концерты гражданских и военных

оркестров, выступления народных хоров, конкурсы местных танцев, шествия, маскарады, костры и вдобавок то, чего он не видел в детстве: гонки автомобилей. В Барселоне к тому времени их насчитывалось почти две сотни, они с грохотом проносились по улицам, оставляя за собой голубоватый удушливый дым, а то и сбитого с ног пешехода, не успевшего увернуться вовремя.

Некоторые из этих автомобилей участвовали в гонках на дистанцию в один километр вместе с велосипедистами, мотоциклистами, да и просто бегунами; дело было на улице Кортес, между улицами Энтенса и Мунтанер; их подбадривал оркестр, люди стояли вдоль всего маршрута, среди них Далмау, его товарищи по мастерской и прочие друзья. Победитель среди автомобилистов проехал километр за пятьдесят одну секунду, всего на тридцать секунд уступив победившему велосипедисту и намного опередив мотоциклиста, выигравшего в своем заезде.

По воскресеньям, после развлечений с друзьями, Далмау завел обыкновение приглашать свою мать поужинать; они намечали столовую и шли туда пешком, под руку, и, пока выбирали блюда и отдавали им должное, болтали обо всем на свете так непринужденно, как никогда еще не было в жизни Далмау.

В воскресенье, 26 апреля 1906 года Леррус торжественно открыл нижний этаж Народного дома на углу улиц Арагон и Касанова. На других этажах еще велись работы. Самым важным на этом этаже был огромный зал наподобие театрального, со сценой, с двумя рядами галерей по обеим сторонам, предназначенный для разного рода политических митингов, какие устраивали республиканцы, театральных представлений и лекций; в любое другое время он служил рестораном.

Всю неделю Эмма работала как заведенная, урывая по ночам пару часов для сна. Первые два дня она еще бегала проведать Хулию, а на третий объявила Хосефе: пока не запустится эта чудовищная машина, будет сложно возвращаться домой; на работе хотя бы можно отыскать уголок, рухнуть там и немножечко отдохнуть. Она мыла и чистила, покупала ткани, заказывала и проверяла посуду, столовые приборы и стаканы, сковородки, черпаки, кастрюли и горшки; доставала дрова и уголь для чугунных плит и песок для чистки посуды. Одним словом,

чтобы машина запустилась, следовало обо всем позаботиться. Эмма не подвела Феликса, шеф-повара, и не подводила ни разу, пока по распоряжению Тручеро они вместе работали над устройством зала: она хорошо помнила все, чему научилась в столовой «Ка Бертран». Под началом Феликса трудились два повара первой категории, которые руководили четырьмя поварами второй категории, в том числе Эммой и другой женщиной, Энграсией, лет на десять старше; а те уже имели полное право командовать толпой поварят и официантов, даже кричать на них. Кухни были большие, на много конфорок, по мерке самого зала, где вольготно помещалось более пятисот рабочих, которым следовало полностью угодить, что, как убедились Эмма и ее товарищи, было не так легко: эти люди чувствовали себя хозяевами заведения и вели себя соответственно, привередничая так, как никогда бы не посмели в любой другой столовой. Многие в свободное от работы время добровольно и бескорыстно помогали в строительстве, и все как один были совладельцами: то был дом народа, Народный дом! «Здесь рабочие обретут оплот для защиты своих прав», – провозгласил Леррус в речи, произнесенной во время торжественного открытия, и этих-то прав они громогласно домогались.

Во время банкета 26 апреля зал был набит битком, украшен гирляндами, испанскими и французскими флагами; народный хор исполнял каталонские и испанские песни, не говоря уже о «Марсельезе» – гимне революции, который собравшиеся встречали восторженными криками и все время просили повторить.

Еду приготовили такую же, как на праздниках в каталонских домах, там, где люди могли себе это позволить: мясная запеканка, чато, жареная курица и запеченная телятина. На десерт – сливочное пирожное и «мато де монха»^[19]. Все это орошалось водой и красным вином; к десерту подавались сладкие вина, а к кофе – ликеры. Эмме было любопытно, не объявится ли Матиас, торговец курами, но такое дело ему оказалось не по плечу, сюда он никак не мог толкнуть свой порченный товар; Эмме, однако, любопытно было бы знать, кто сейчас сопровождает беззубого старика.

Феликс поручил ей приготовить чато – салат, типичный для каталонского побережья, известный не со столь уж давних пор, с середины прошлого века; первенство в его изобретении оспаривали несколько селений к югу от Барселоны, особенно Ситжес, Виланова-и-

ла-Желтру и Вендрель. Основные его ингредиенты – цикорий, соленый тунец, треска, тоже соленая, разломанная на кусочки, анчоусы и черные маслины. Для заправки – соус из сушеных ньорас, горьких красных перчиков, обжаренного миндаля и орехов, хлеба, чеснока, оливкового масла и уксуса. До этих пределов все отцы-основатели чато пребывали в полном согласии, если не считать некоторых расхождений по поводу сухофруктов, но на кухне Народного дома спор разгорелся не на шутку: каждый из поваров, даже второй категории, бросился высказывать свое мнение насчет того, какие еще продукты и приправы следует добавить в соус. «Красный перчик чили, – настаивал один, – нужно положить чили». – «Нет, ни за что!» – возражал другой. «Хлеб нужно поджарить», – снова советовал первый. «Нет, только подрумянить слегка», – спорили с ним. Кто-то даже утверждал, что хлеб нужно раскрошить и смочить в уксусе. Лук, жареные помидоры, больше анчоусов... Уже вымочив треску и тунца, Эмма ждала у ступок, чтобы окончательно смешать все необходимое для соуса и поручить поваряткам это истолочь. Она не знала всех подробностей приготовления блюда, и было забавно слушать такой ожесточенный спор: вокруг чато вечно ломались копыя, и за любым столом, поев вкусного салата и учтиво его похвалив, каждый считал своим долгом указать, чего в нем не хватает, а что лишнее. Ясное дело, что, как во всякого рода стычках, атмосфера накалялась. Дело зашло уже далеко, когда Феликс подмигнул ей.

– Чато по рецепту Народного дома! – гаркнула Эмма, перекрывая галдеж. – Прочь с моего рабочего места! Я сама решу.

И решала, запоминая рецепт на будущее, хотя все на кухне следили за ней исподтишка и встречали ее выбор нарочитыми стопами или улыбками. Эмма забавлялась, поднимала повыше каждый ингредиент, на минуту задумывалась, а потом принимала или отвергала его.

Салат понравился. Даже очень, так же как мясная запеканка и прочие яства. Леррус позвал в зал поваров и поварят, поздравил их, и пятьсот приглашенных разразились аплодисментами. Эмма и кое-кто еще во время банкета выглядывали из кухни, особенно когда хор студентов из Валенсии раз за разом запевал «Марсельезу». Как всегда, мурашки бегали по спине у Эммы, когда она с восторгом слушала гимн революции, зовущий к свободе.

Но на этот раз подчиненные Феликса протиснулись между столами, чтобы подойти как можно ближе к Леррису и его соратникам. Политик во всеуслышание похвалил еду, провозгласил тост, и все встали, поднимая бокалы за тех, кто ее приготовил. Эмма увидела Хоакина Тручеро прямо перед собой, за два столика впереди. В последнее время они встречались редко, что удивляло Эмму, а за неделю, предшествующую открытию, не виделись ни разу. Теперь она все поняла. Тручеро нашел себе новую подругу: блондинку, худую, бледную, воздушную, будто фея; платье на бретельках вялыми складками ниспадало с ее тощих плеч. Девушка подняла бокал не в честь поваров, а в сторону своего спутника; их руки переплелись, и, осушив бокалы, они приникли друг к другу в долгом поцелуе, забыв о том, что происходит вокруг.

Вокруг раздавались аплодисменты, звучали приветственные крики, а Эмму буквально трясло от бешенства. Тручеро ей ничего не сказал! Их отношения длились уже больше года, и Эмма не сомневалась, что у Тручеро есть другие женщины. Это ее не волновало. Не ревновала она и к томной блондинке, но прилюдная демонстрация чувств задевала ее самолюбие, а главное, означала потерю поддержки в партии и ее структурах; вот это ее беспокоило, и еще как.

– Ты уже не шлюшка этого дурачка, и, как всегда бывает, узнаешь об этом последней, – сказала ей на ухо Энграсия, не скрывая злорадства. – Как ты думаешь, почему все на кухне ухмылялись, цеплялись к твоему блюду, подмигивали? Думаешь, кого-то волнует, как ты приготовишь треклятый салат? Всем интересно, кто первый затащит тебя в темный угол и оттрахает. – Эмма резко обернулась к Энграсии, но та и глазом не моргнула. – Добро пожаловать в лагерь пропащих.

– Пропащих?

– Разве не видишь, как все на тебя смотрят? – (На какой-то миг Эмме, оглушенной рукоплесканиями и криками, показалось, будто все взгляды обращены на нее; она смутилась.) – Без обид, – пробудила ее Энграсия, – все мы, женщины, через это прошли.

– Я всего лишь хотела прилично зарабатывать.

Энграсия расхохоталась.

– Многие работницы сочетают честный труд с проституцией, чтобы получить несколько лишних песет. Мужья знают или догадываются, но так или иначе терпят. Знаешь, что есть такой бордель, где все бляды – торговки мясом и днем работают в магазинах и на рынках? Такая уж наша доля, девочка. Не горюй. Пользуйся, пока можешь. Закрой глаза, подожди попу... потом подмойся хорошенько и забудь.

Женщины смотрели друг дружке в глаза. Аплодисменты стихли, люди разговаривали стоя: банкет подходил к концу. Тручеро смеялся, бесстыдно лапал молодую блондинку, точно так же, как когда-то Эмму. Та увидела свое отражение в этой девочке, и ей стало противно.

– Не смотри на них, – посоветовала Энграсия. – Не стоит. Ты добилась, чего хотела: работы, оплаты. Без обид, – повторила она, – ладно? Мы должны помогать друг дружке.

Эмма задумчиво кивнула и пожала Энграсии руку.

Она работала, не жалея сил, как никто из ее товарищей. С Тручеро больше не имела дела, хотя Братство, располагавшееся возле университета, перебралось в Народный дом и они время от времени пересекались. Хосефа стала для Хулии настоящей бабушкой, заботилась о ней, отводила в садик и приводила домой. «Не шейте столько, – умоляла Эмма. – Нам троим хватает на жизнь того, что я зарабатываю. Занимайтесь девочкой: она вас обожает». Кроме того, участвовала, насколько могла, в борьбе рабочих и антиклерикальных выступлениях. В Барселоне продолжался кризис, разрушавший семьи, сеявший болезни и смерть среди бедняков. Безработица росла. В том же апреле, когда Леррус открыл с такой помпой Народный дом, город Сан-Франциско был почти полностью разрушен землетрясением. Когда появились новости о рухнувших зданиях, о вспыхнувших затем пожарах, нескончаемая очередь каменщиков и плотников выстроилась перед консульством Соединенных Штатов: все они собрались эмигрировать в поисках работы. 1 мая анархисты предложили провести всеобщую забастовку, требуя установить восьмичасовой рабочий день, который соблюдался не на всех предприятиях. «Если двое рабочих будут работать восемь часов вместо двенадцати, они создадут одно рабочее место для безработного товарища», – убеждали революционеры и готовили на этот день террористические акты. Но никакие доводы не действовали на рабочих, окруженных

штрейкбрехерами, которые зарились на их места, и забастовка не состоялась, и не было ни одного покушения. Анархисты потерпели полный крах и подверглись политическому ostracism, даже худшему, чем после всеобщей забастовки 1902-го.

Оставалась борьба против Церкви. И «молодые варвары». И политические митинги, и прямое противостояние. Но Эмма заметила, что к ней стали относиться не так, как пару недель назад, когда бойцы приветствовали ее с восторгом, чуть ли не с благоговением. Теперь иные осмеливались флиртовать, старались оказаться поблизости, словно невзначай прикоснуться. Во время уличных стычек Эмма даже замечала, как чья-то рука скользит по ее ягодицам, как ее хватают то за руку, то за бедро под любым предлогом. На кухнях Народного дома – то же самое. Стоило внезапно оглянуться, как она ловила на себе полный похоти взгляд поваренка, официанта или повара, устремленный на ее грудь, бедра или ягодицы. Она одевалась как можно скромнее, но не могла скрыть своего созревшего для любви тела.

– Придется кого-то выбрать, – внезапно сказала Энграсия, когда они уже в темноте вместе возвращались домой, поскольку жили неподалеку друг от дружки.

– Что ты имеешь в виду?

– Пока у тебя нет мужика, за тобой будут гоняться. И кто-нибудь непременно догонит. А уж потом...

Эмма вспомнила, как такой же совет, может не столь паникерский, она услышала из уст Доры, с которой делила постель, пока не перебралась к Антонио. Интересно, вышла она замуж за продавца шляп? Нелегко решить проблему кроличьих волосков, подумала Эмма с улыбкой.

– Что тут смешного? – возмутилась Энграсия. – Тебе, вообще-то, не до шуток. Ты и представить не можешь, что о тебе рассказывают.

– Ты это о чем?

– Так вот: судя по тому, чем похвалялся Тручеро, чего навывдумывали остальные и что каждый от себя добавил, когда история стала разрастаться, как снежный ком, ты – богиня любви, развратная, доступная, легкого поведения, готовая вытворять все, что угодно, любые пакости. Ты не представляешь, сколько мужчин хвастаются, будто переспали с тобой.

– Вот дураки! – сказала Эмма с насмешкой, хотя гнев и бросился в голову, скрутил желудок.

– Дураки-то дураки, но горазды хвастаться победами, настоящими или выдуманнными, все равно. Пока ты была с Тручеро, тебя не трогали, но он еще даже ни разу не поцеловал эту дохлую блондинку, ходячие мощи, а уже поползли слухи, будто пара мужиков на тебя залезли.

Рот Эммы наполнила горькая, едкая желчь. Главное, чтобы Энграсия не заметила, как ей худо. Эмма понимала, что, отдавшись Тручеро, она сама возбудила пересуды. Тысячу раз в ночной темноте она думала об этом, но приходила к одному и тому же выводу: было необходимо выбиться из нужды, достойно содержать дочь, и, коль скоро пришлось воспользоваться телом, она воспользовалась. Но куда деваться от боли и унижения, когда ты на устах у всех как заурядная шлюха.

– А как же ты устраиваешься? – спросила она у Энграсии.

Той было уже за тридцать, но она еще могла похвастаться кое-какими прелестями, хотя и увядшими: роды, тяжелый труд, муж; прелести эти могли еще привлечь тех, кого дома ожидали только усталость, отвращение к жизни, вялость и безразличие.

– Мануэль... – ответила Эмма сама себе; имя буквально носилось в воздухе.

– Да.

Эмма вскинула голову.

– Повар первой категории, – добавила Энграсия.

– Знаю.

– Он женат, тем лучше для меня: отсосик здесь, перепихончик там, по-быстрому, в мгновение ока, юбку задрала, и айда. Больше никто ко мне не лезет.

Эмма вспомнила торговца курами и тюфячника, от которого отбилась в последний момент. И управляющего тем домом, где хибары во дворе, и Пуру с Эмилией. Конечно, за каменщиком она жила спокойно и, нужно признать, за Тручеро тоже, пока они поддерживали отношения. Какое дерьмо этот мир мужчин!

– Я сражаюсь бок о бок с «молодыми варварами», – вдруг выпалила она. – Борюсь за партийное дело. Разгоняю манифестации и митинги, вступаю в схватки, рискуя собой. Я добилась хорошей

должности. Так неужели, чтобы сохранить ее, я должна отдаваться другому придурку? Мне нужна эта работа, Энграсия. Моя дочь... Хосефа, ее бабушка... Нам больше не на что жить, – жаловалась она в тот момент, когда им пришла пора расставаться: Эмме идти на улицу Бертрельянс, Энграсии – к морю, на улицу Эскудельерс. – Все мужики – сволочи.

Энграсия задержалась. Эмма тоже.

– Не все. Есть добрые, но их меньше. Но сейчас, говорю тебе: ты – завидный трофей: красивая, привлекательная, молодая, одинокая... и, по слухам, нечто особенное в постели. Поварята, которые пялятся на тебя, не посмеют распускать руки, хоть и слюнки текут. Но есть другие мужчины, наглые, подлые; самцы, которым нужно показать свою власть. Мужчины! Такое впечатление, будто вселенная движется в такт оргазмам этих козлов, будто их сопенье, извержение их семени ей придает сил. Только подумай: девочки в этом городе начинают торговать собой с десяти лет. Таких сотни, если судить по тому, сколько их попадает в исправительные дома. – Женщина взмахнула рукой. – Мы все это знаем, это не секрет. Что за животные способны растлевать девочек, у которых даже грудь не выросла?

– Мужчины, – еле слышно прошептала Эмма в ночной темноте.

– Знаешь, сколько дел об изнасиловании рассматривалось в Барселоне за прошлый год? Мне рассказывал партийный юрист. Сколько, по-твоему?

– Понятия не имею. Каждый день кого-то насилуют.

– Одно! Одно дело об изнасиловании женщины. В таком городе, как Барселона, где девочки торгуют собой с десяти лет. Одно дело об изнасиловании! Такая наша доля, Эмма, ее для нас уготовили мужчины, которые распоряжаются нами и даже не дают нам права голоса. Одно-единственное дело! Подумай об этом хорошенько.

Дурные предчувствия Энграсии скоро сбылись. Другой повар первой категории, по имени Эспедито, толстый, потный, противный, воспользовался своим рангом и накинулся на Эмму, когда они остались вдвоем во дворе, примыкающем к кухне. Атаковал ее сзади, прижался пупом к спине, обхватил ручищами, стиснул груди. Эмма сопротивлялась. «Тихо, – твердил он, усиливая хватку, – угомонись... ну и бой-баба».

– Пусти меня, сукин сын!

Эмме было никак не вырваться из объятий толстяка. Оставалось кричать, звать на помощь. «Кто-то должен обратить тебя, дикарка, – гудел ей в ухо Эспедито, одной рукой тиская грудь, другой оглаживая живот. – Сделай мне все, что делала Тручеро, пока была его киской; все, что, говорят, ты делаешь лучше всех». Крик о помощи застрял в горле у Эммы. Она поняла, что здесь в ней видят только шлюху, возлюбленную Тручеро, воображаемую любовницу кучи фанфаронов. То же самое думают юные бойцы, раньше благоговевшие перед ней. Кто станет ей помогать? Повар уже сунул ей пальцы между ног, сопел, принимая колебания Эммы за готовность отдаться. «Вот это мне нравится. Так и должна себя вести мокрощелка», – шептал он, задирая ей юбку. Эмма чувствовала его позади. Из-за брюха его возбужденный пенис не доставал до ее ягодиц, но горячее, прерывистое дыхание обдавало затылок. Эмма недолго думала. Опустила голову пониже, для размаха, и резко подняла, со всей мочи, удесятеренной бушующим в ней гневом.

Яростный, точный удар. Что-то хрустнуло: нос Эспедито всмятку. Эмма вырвалась; повар захлебывался кашлем, кровь хлестала из него, как из недорезанной свиньи. Эмма плюнула ему под ноги и, вся дрожа, не замечая, что и у нее ушиблен затылок, укрылась в леднике, где хранили мясо.

С того дня похотливые взгляды обернулись ледяными, невидящими. Эмма жила в постоянном напряжении, в тревоге, постоянно ожидая подвоха; все понимали: рано или поздно что-то произойдет. Эмма беспрестанно оглядывалась, была настороже. Даже по людным улицам ходила торопливо, то и дело озираясь. Плохо спала. Поговорила с Энграсией. «Ты сама так решила», – ответила повариха.

– Разве мы не должны помогать друг дружке? – Эмму потряс такой холодный ответ.

– Я помогла. Предупредила тебя, что будет. Ты сама развязала войну. Меня не впутывай: у меня муж малахольный, а детей надо кормить.

Эмма призналась Хосефе.

– Мы пробьемся, дочка, – подбодрила ее та, посоветовав не сдаваться, не уступать. – Мы еще и не то пережили.

Хосефа не упрекала ее за связь с Тручеро. «Мужчины как скоты», – высказалась она и принялась вспоминать разные случаи из

собственной жизни, Эмме до сих пор неизвестные и теперь поразившие ее, но большей частью – чужие истории. «Но на что же мы будем жить?» – думала Эмма, слушая ее. На шитье Хосефы? На заработок Далмау, если согласится что-то принять от него? И потом, будут ли ее уважать на другой работе? Когда Хосефа умолкла, Эмме стоило труда улыбнуться ей.

– Я разберусь, – обещала она. – Я всю себя отдала партии. Они не могут так со мной поступить!

В первый раз то были макароны по-итальянски. Рабочим они очень нравились: блюдо солидное, сытное. Эмма старательно готовила их. Сварила макароны, откинула в холодной воде. Занялась соусом: лук и ветчину обжарила в сливочном масле, добавив лавровый лист. Когда лук приобрел золотистый оттенок, положила чеснок и хорошо протертые помидоры, а через несколько минут полила все это мясным бульоном. Еще пара минут, и вылила соус в макароны. Потом разложила по тарелкам первые порции, заказанные из зала, и разогрела в печи, щедро посыпав тертым сыром.

Она посыпала сыром новые порции макарон, когда главный официант ворвался на кухню с криком:

– Какая гадость! – И швырнул три тарелки, которые были приготовлены первыми, на столешницу, за которой работала Эмма. – Что ты туда положила, девочка?

Эмма вся сжалась, глаз не сводя с опрокинутых тарелок и разлетевшихся макарон. Она пробовала свою готовку: вкус был восхитительный.

– Это и в рот не возьмешь! – бушевал шеф официантов. – Меня там, в зале, чуть не прибили.

– Что происходит? – вмешался Феликс, встав между Эммой и официантом.

– Сам попробуй, – предложил тот, скривившись от отвращения.

Эмма и шеф-повар попробовали одновременно. И одновременно сплунули: кислятина, и тухлым отдает.

– Кто-то... – Эмма обвела взглядом присутствующих; некоторые, как Эспедито, встретили его с затаенной усмешкой, другие отвели глаза. – Кто-то что-то подложил...

– Кто и зачем? – спросил Феликс. Эмма не решилась ответить. «Когда они умудрились это сделать?» – думала молодая женщина.

Вылить в кастрюлю из крохотной склянки какой-нибудь дряни, например желчи, которую извлекают из туш на бойне, улучив момент, когда она отвернулась. – Не возводи обвинений, не имея доказательств, – отчитывал ее Феликс. – Ты сама недоглядела, больше некому. Масло, должно быть, прогоркло, а ты не заметила.

– Масло было хорошее, – возразила Эмма.

Шеф-повар замахал на нее руками.

– Вычеркните это блюдо из меню! – крикнул он, ни к кому в отдельности не обращаясь. – Что до тебя, я вычту убыток из твоего жалованья, – добавил он, повернувшись к Эмме и с омерзением тыча пальцем в кастрюлю с макаронами. – И если такое повторится...

Такое повторилось. Зря Эмма думала, что сможет владеть ситуацией и быть все время настороже. Кухни жили собственной жизнью, не поддающейся контролю: вечная суета, распоряжения, огрехи, споры, жар, чад... На этот раз была вермишель. Снова возвраты, снова крики, и оправдания, и взгляды, и упорное молчание. И вермишель, отдававшая дохлой крысой.

– Я тебя предупреждал, – сурово проговорил Феликс. – Говорил, что, если такое повторится, ты потеряешь работу.

Эмма, не дослушав, выбежала из кухни. Шеф-повар крикнул вслед, что увольняет ее. Тручеро ее не принял. Ромеро, его секретарь, говорил снисходительно, словно с маленькой девочкой. «Ты тоже со мной переспал?» – рявкнула она, кипя от возмущения. Выражение, появившееся на лице функционера-подхалима, говорило само за себя: да, и он распространял небылицы, которых наслушалась Энграсия.

– Дурак! – набросилась на него Эмма. – Тебе никогда и близко не подойти к такой женщине, как я. Какой вообще из тебя мужчина. Скажи своему начальнику...

– Что он должен мне сказать? – Тручеро подошел сзади.

Эмма взглянула на него в бешенстве.

– Что, если ты мне не поможешь, я обращусь к самому Леррусу, к кому угодно, и тогда все узнают, что творится у нас на кухне.

– На кухне творится, – отчеканил Тручеро, – то, что ты не умеешь готовить. Сперва были макароны, да? – Эмма вздрогнула. Ему известна история с макаронами. – А сегодня ты какое блюдо испортила? – Республиканский лидер несколько секунд помолчал, и Эмма поняла, что победа за ним, поэтому приготовилась услышать то,

что он сказал дальше. – Вот в чем твоя проблема. Больше, Эмма, ни в чем. Можешь отсосать у Лерруса или у всего партийного руководства, но, если ты не умеешь готовить, тебя не оставят на кухне, поскольку там командует Феликс, и никто другой. Может быть, если ты проявишь старание, тебя официально назначат партийной шлюхой. Тогда ты вернешься сюда, чтобы и Ромеро с тобой позабавился.

– Козлы! – заорала Эмма во всю силу легких.

Бешенство, с каким она изругала тех двоих, исчезло, стоило ей на пару шагов отойти от двери. Она с трудом сдерживала слезы. Тручеро предоставил ей это место и не отнял, когда променял ее на блондинку, но и помогать не собирался. Ни Эспедито, ни любой из тех, кто работал на кухне и портил ее готовку, не мог предоставить ей ничего, кроме той защиты, о которой говорили Дора и Энграсия. Но такая защита ей не нужна! Одно дело – отдаться ради определенной цели, чтобы обеспечить всем самым лучшим родную дочь, и совсем другое – стать подстилкой для мужчины, который ей ничего не дает и только угрожает лишиться того, чего она добилась такой огромной ценой. Но Тручеро прав: ни Леррус, ни кто угодно из руководителей не смогут закрепить за ней это место, не считаясь с мнением Феликса, который только что ее уволил. Она шла по коридорам и в такт этим мыслям колотила кулаком в стену. Выйдя из Народного дома, притаилась у железнодорожных путей и стала ждать, когда начнет смеркаться и закроются кухни. Работники вышли оттуда, Эмма следовала за ними, пока они не разбрелись каждый в свою сторону.

– Ты ведь знаешь, что я не виновата, – выпалила она, перехватив Феликса, когда он шел уже один по старому кварталу.

Шеф-повар поджал губы, покачал головой и бессильно развел руками.

Несколько мгновений они глядели друг на друга. «Мне жаль, мне очень жаль», – без конца повторяла Эмма.

Феликс вздохнул:

– Единственное, чего я хочу, Эмма, это чтобы кухни работали. Моя семья от этого зависит; никто и ничто не заставит меня подвергнуть риску благоденствие моей семьи. Я знать не хочу, что происходит между вами, ваших обид и ваших чаяний. Это не мои проблемы. Ты понимаешь? – Повар пристально взглянул на нее. Эмма кивала не переставая, подбородок у нее дрожал, на глазах показались

слезы. Феликс сжалился над ней. – Даю тебе еще один шанс, – сказал он. – Разруливай то, что должна разрулить, потому что этот шанс – последний.

Потом он пошел своей дорогой, и ночные звуки хлынули Эмме в уши, и она съежилась под черным беззвездным небом. Резкий порыв ветра, может быть просто морской бриз, обернулся ледяной крупой, которую бросил ей в лицо немилосердный город. Тогда она разрыдалась от незащитности и одиночества, и дрожь объяла и дух ее, и тело, и заменила ей сон, который не пришел даже с рассветом.

Какое чудо!

Хосефа подошла, чтобы рассмотреть подробнее; Хулия, которой уже исполнилось три года, увязалась за ней, строя забавные рожицы. Далмау улыбнулся при виде такой детской непосредственности, заулыбались и донья Магдалена, квартирная хозяйка, и Грегория, милая девушка: ей еще не исполнилось и двадцати, и она работала вместе с Далмау в мозаичной мастерской Маральяно. Была она спокойная, тихая; длинными, ловкими пальцами укладывала самые мелкие кусочки смальты так тщательно, как не получалось ни у кого. К этим самым пальцам нежно прикасался Далмау, когда они сидели за столиком в кафе, гуляли по парку, держась за руки, или развлекались в каком-то другом месте, благо их в городе было не счесть.

Далмау пригласил мать и Грегорию к себе в комнату, чтобы показать им картину, которую собирался подать на Пятую международную выставку изобразительных и прикладных искусств в Барселоне. Хосефа подумала, что девушка, наверное, может по памяти воспроизвести каждый штрих, каждый мазок в той последовательности, в какой они появлялись на холсте, и теперь притворяется взволнованной просто из солидарности с ней, но промолчала. Грегория была католичка – ревностная, признавался Далмау, – скромная, молчаливая, благоразумная, и это отталкивало Хосефу, ведь такой стереотип женщины анархисты всячески поносили. Но сын ее возродился, о чем говорили и чувства, переданные через картину; еще и поэтому Хосефа молчала, признав, что девушка, невзирая на ее веру, смогла непонятно как преобразить Далмау.

Вот о чем думала Хосефа, радуясь ласке весеннего солнца, щедро струившего свой свет в съемную комнату, что само по себе было невиданным чудом и для нее, и для маленькой Хулии, и для всех тех, кто ютился в ветхих домах, в переулках один другого уже, куда не заглядывало средиземноморское солнце, без удержу озарявшее остальные кварталы города. Далмау торжественно сдернул простыню, закрывавшую картину; три женщины и девочка выстроились перед полотном как на параде. Солнце обрушилось на многоцветные тени,

мелькающие среди бесчисленных полутонов серого цвета, согласно технике великих французских импрессионистов, которую перенял Рамон Касас, любимый художник Далмау; техника эта состояла в том, чтобы не использовать при изображении теней черную краску.

Далмау и прежде знал эту технику, изучал ее, но поддержка Маральяно в тот год, когда он пытался что-то создать, оказалась решающей. Итальянец показал себя настоящим наставником, иногда более увлеченным работой, чем сам автор. Получить серый цвет, используя черную краску, – простой вопрос пропорции, а сделать это красной, зеленой, голубой – творческая задача, требующая глубокого понимания света, особой оптики, выходящей за пределы общепринятого.

И Далмау заново обрел волшебство, и добился этого постепенно, без чрезмерных усилий, просто по мере того, как дух его приспособивался к жизни, к веселью товарищей, к улыбке Грегории, к мастеру Маральяно и Дворцу музыки, бодрым речам Хосефы, которая воскресеньем за воскресеньем подвигала его на то, чтобы он снова занялся живописью; даже к маленькой Хулии, которую его мать уже брала с собой в кафе как внучку или принятую в семью сиротку. «Нарисуй мне картинку», – как-то раз попросила девочка. Далмау со значением взглянул на мать, но та пожала плечами, будто она тут ни при чем, но тотчас же попросила официанта принести бумагу и карандаш. Закончив рисунок, Далмау не сразу отдал его девочке. Всмотрелся в него, и лицо Хулии вызвало из памяти обрывки воспоминаний: Эмма, юность, которую они прожили вместе. Хулия не очень походила на мать, рубленые черты отца-каменщика слишком явно проступали, скрывая под собой все, что дочь могла унаследовать от матери, и это Далмау перенес на бумагу как верное отражение реальности. Но рисунок жил, сообщал нечто большее, чем простое сочетание штрихов. Далмау закрыл глаза и возблагодарил судьбу: его рука вновь обрела способность завораживать.

Он очнулся от грез, заметив, что уже не держит листка. Хосефа все поняла. Вгляделась в личико Хулии, кивнула и отдала картинку девочке:

– Вот, солнышко. Смотри, какая ты хорошенькая!

Пока Хулия выражала свой восторг пронзительным воплем, она взглянула на сына; об Эмме они не говорили.

Далмау несколько раз о ней спрашивал. «Меня уже не задевает эта тема, я просто хочу знать», – уверял он. Мать не отвечала. Они не говорили об Эмме.

Картина, которую Далмау собирался представить на Выставку изобразительных искусств и которой все молча любовались в залитой солнцем комнате, изображала сцену из жизни мастерской Маральяно – несколько человек, мужчины и женщины, работают за длинным столом над большим мозаичным полотном, еще не законченным: пять фей резвятся на песчаном берегу реки. Две воздушные, словно парящие в воздухе нагие фигуры завершены; три остальные, а также река и берег, едва намечены кусочками смальты. Далмау выбрал час, когда солнце садится над Барселоной, и получился цветовой контраст между мастерами, их столом, их инструментами и излучающими свет песчаным берегом и сияющей кожей фей. Первоначально он не намеревался представлять свою картину на конкурс, в котором собирались участвовать великие мастера каталонского модерна Касас, Рузиньол и Микел Утрилло; знаменитые испанцы Сулоага, де Беруэте и де Регойос; художники из Португалии, Англии, Италии, Германии, Франции: в последнем случае ожидалась значительная подборка импрессионистов, которые так повлияли на модерн, притом что их работы ни разу не выставлялись в Барселоне. Впервые в истории жители города смогут лицезреть творения Эдуара Мане, Клода Моне, Камиля Писсарро, Огюста Ренуара и Альфреда Сислея.

Девятьсот авторов представили более двух тысяч произведений, и в их число, к изумлению Далмау, который знал, что многие «Льюки», включая дону Мануэля Бельо, принимают активное участие в организации выставки, просочилась «Мастерская мозаики», как он назвал свою картину, а добился этого по собственной инициативе мастер Маральяно, через секретаря приемной комиссии, который был душой этой выставки, как и многих предыдущих, Карлоса Пиродзини: друг мозаичиста, барселонец итальянского происхождения, принял работу, оценив ее в четыреста песет.

Хосефа вышла из комнаты Далмау, когда Хулия начала носиться по всей квартире. «Кофе?» – предложила донья Магдалена и повела ее на кухню. Далмау и Грегория остались одни перед картиной. Он обнял девушку за талию, привлек к себе, поцеловал в губы. Она ответила, но не разжимая губ: как бы ни был поцелуй невинен, все-таки это грех;

только это и могла позволить себе молодая пара, за чьими отношениями зорко следил приходской священник, к которому Грегория ходила на исповедь в церковь Сан-Микел дель Порт в Барселонете, построенную на отвоеванной у моря земле, вблизи порта. Грегория жила в том же квартале на улице Джинебра с отцом, почтовым служащим; матерью, которая на маленькой кондитерской фабрике обертывала фольгой шоколадки; с двумя младшими сестрами и братом, а также с бабушкой по матери, которая вела дом, создавая в нем больше проблем, чем порядка.

Далмау понимал, что религия была основной причиной, по которой идиллия никак не хотела воплощаться в жизнь. Вначале Грегория пыталась привлечь его к Церкви, но после третьего спора отступилась и только в таких ситуациях выказывала свою веру. Это напоминало Далмау Урсулу в первые дни, та тоже не разжимала губ, но разница была огромной: тогда Далмау стремился сломить сопротивление партнерши, а теперь, несмотря на неудовлетворенность в плане секса, был счастлив просто находиться рядом с этой спокойной девушкой, поглаживая ее длинные, тонкие пальцы, чувствуя ее поддержку, ее твердую веру в успех.

Он был уверен, что, если настаивать с лаской, с нежностью, можно одолеть предубеждения насчет греха, которым страдал сам амвона и из исповедальни приходской священник церкви Сан-Микел, и Грегория не устоит. Ее дыхание учащалось и вздымалась грудь, когда Далмау обнимал ее за талию, или когда их тела случайно соприкасались больше, чем позволяли приличия, во время танцев или в переполненном трамвае, в толчее у входа в театр или на выходе оттуда. И все-таки Далмау, не желая причинить ей вред, не настаивал: она сама должна сделать первый шаг, чтобы потом не упрекать его, как получилось с Эммой.

Тем временем год, проведенный в мастерской Маральяно, позволил Далмау приобщиться к волшебной творческой силе великого Доменека и мастеров прикладных искусств; то же самое было и на строительстве дома Бальо с Гауди. Грегория дарила ему уравновешенность и безмятежность, которыми обладала в избытке; Дворец музыки насыщал его цветами, формами, отражениями, метафорами... Музыка еще не звучала там, разве что насвистывали и напевали каменщики и другие рабочие, а Далмау уже кружился в танце

ощущений, бесконечно разнообразных, которые даже после работы искрами вспыхивали в его душе. Доменек предполагал открыть Дворец где-то через год, может чуть раньше. И работы по художественному оформлению шли полным ходом, в то время как простые каменщики уже почти завершили свой труд.

Архитектор вернулся к красному кирпичу старого образца, который использовал и на Всемирной выставке 1888 года, возрождая традицию через материал, типичный для Каталонии, для ее земли. И все же там, где не было кирпичной кладки, вольно струились фантазии в камне, керамике, стекле и металле. Далмау и его коллеги покрыли мозаикой колонны, выходящие на балкон, опоясывающий здание: для каждого ствола – свое сочетание цветов, геометрические и растительные формы; то же самое – три яруса колонн в концертном зале; а на каменных колоннах в вестибюле и на двух пролетах лестницы под сводчатыми потолками, у выложенных изразцами стен, – цветочные мотивы, столь же прихотливые.

Концертный зал вместимостью примерно две тысячи человек, где Далмау трудился не покладая рук, был для него загадкой. Зал предназначался исключительно для концертов, а значит, не нужен был задник и механизмы для смены декораций; сцену обрамляла полукруглая стена, открытая взорам зрителей, и над ней тоже работали сотрудники Маральяно. Вся стена была покрыта *тренадис* из керамики красноватых тонов, и на этом фоне должны были выделяться поясные изображения восемнадцати девушек, играющих на разных музыкальных инструментах, настоящий оркестр муз; только одна представляла человеческий голос, пение; все бюсты создал скульптор Эусеби Арнау. Остальное – одеяния, ноги – было, по замыслу Доменека, подано в двух измерениях, через мозаику, созданную итальянцем Маральяно. Разноцветные юбки, геральдические мотивы, представлявшие разные места, разные страны. Выбор инструментов тоже не был случаен. Некоторые связаны с испанским фольклором, как галисийская волынка, андалузские кастаньеты, баскский барабан, или каталонские *flabiol* и *tamborí*^[20], но присутствовали также и цыганский бубен, и южноамериканская флейта. Рядом с ними изображались и инструменты классической древности: арфа, лира или кифара, и немного более современные, те, что совершенствовались на

протяжении веков и теперь входили в состав оркестров: скрипка, треугольник, поперечная флейта.

В будущем концертном зале царил полный хаос: суета, пыль, крики, команды и ужасный шум, стук бесчисленных молотков и грохот машин.

– Даже не представляю, как все это будет выглядеть, – сказал Далмау мастеру-мозаичисту, пока они отдыхали у замыкающей стены, где выкладывали одеяния и ноги девушек; стояли вдвоем под местом, предназначенным для органа, в центре сцены и лицом к партеру, как два музыканта.

Подручные разных мастеров, сотрудничавших с Доменеком, сновали по залу, не обращая друг на друга внимания: краснодеревщики, плиточники, работники по металлу, скульпторы, но больше всего стекольщиков.

– Заметь, – отвечал итальянец со своим певучим акцентом, показывая на боковые стены концертного зала, – здесь нет кирпичной кладки. Стены открыты внешнему миру. Это... как хрустальная шкатулка. Рабочие закроют пустые места витражами в свинцовых окантовках. Это первое здание в нашей стране, построенное таким образом, с такими огромными проемами; в Каталонии, наоборот, принято воздвигать мощные несущие стены. Свет будет входить через просторные окна, даже через те, наверху. – Он показал куда-то под потолок. – К боковому освещению добавится вертикальное, верхнее, через колоссальный плафон, который установят вон там. – Он поднял глаза к отверстию, куда должны были вставить световой люк. – Я видел чертежи, и, должен признать, мне трудно представить, что это будет. Подождем, пока его установят. Будет что-то невероятное!

Вот что воодушевляло Далмау, бурлило в нем: дух созидания, воображение, не знающее преград; он с невиданной остротой ощущал все, над чем трудился, к чему прикасался, на что смотрел, но во всем стремился найти доминирующую деталь, столь характерную для задуманного Доменеком декора, всячески избегая сбивающего с толку созерцания целокупности вещей, всего мироздания, этого неподвластного разуму чудища, которое всей своей мощью набрасывалось на него: улицы, гавань, толпа... надо найти, открыть для себя улыбку девушки, идущей навстречу и затмевающей всех, кто ее окружает; или краску на корпусе лодки, облупившуюся, отчего

трудно прочесть название; «Согласие», все-таки удастся разобрать Далмау, поскольку хозяин подновил буквы, хоть и не слишком умело. Детали, детали. Потом, как и в творении Доменека, можно поднять глаза и бестрепетно встретить лицом к лицу всю вселенную, отрицающую порядок, хаотичную, как тому и следует быть в мире, где соединяются улыбка девушки и плохо написанное название рыбацкой лодки. Вот чем обещал стать Дворец музыки: царством тысячи деталей, взыскующим порядка в эмоциях, в тончайших ощущениях зрителя.

Вот что хотел Далмау воплотить в своем творчестве и в своей жизни. И вроде бы добился этого в картине «Мастерская мозаики», где сочетание деталей приводило к удивительному результату; так говорил Маральяно и еще несколько знатоков, которым показывали полотно. И потом, разве его не приняли на выставку, где представлены великие мастера живописи? Это вселяло в Далмау присутствие духа, когда он чувствовал, как умалется, поглощается гигантской пастью, когда вместе с Грегорией входил во Дворец искусств, монументальную конструкцию из кирпича и железа, характерную для эфемерных выставочных павильонов: Дворец и был построен для Всемирной выставки 1888 года в Барселоне, напротив Парка, где они гуляли среди деревьев, фонтанов и цветов, но там же, у Парка, находился и диспансер, где он провел немало ночей, одурманенный алкоголем и морфином, а на верхнем этаже – приют, где можно было провести три ночи каждые два месяца.

Дворец, прямоугольное здание с башенками по углам, состоял из трех частей. Центральный пролет, вдвое шире боковых крыльев, вздымался с нижнего этажа к большому просвету, на высоту тридцать пять метров. Боковые крылья на нижнем этаже разделялись на выставочные залы, выходившие в центральный пролет, а по периметру верхнего этажа тянулась балюстрада, тоже выходившая в главный зал, под просветом. Дворец предназначался для временных и постоянных выставок, концертов, хотя акустика и оставляла желать лучшего; демонстрации всякого рода изделий, а также для конгрессов, митингов, празднеств и прочего досуга барселонцев.

Далмау и Грегория задержались на мгновение под поддерживаемой колоннами балюстрадой, где открывался проход в центральный зал. Справа и слева располагались кабинеты

устроителей, а пространство главного пролета уже переполняли экспонаты, которые следовало разместить по залам; почти все еще не распакованные, в большинстве своем картины и скульптуры, но также и мебель, мозаики, светильники, плафоны, сундучки, витражи, алтари, камин, двери... В глубине зала виднелся великолепный орган работы Акилино Амесау и изящная лестница, ведущая на верхний этаж.

Далмау показалось, будто картина, которую он держал в руках, утратила вес, стала легче перышка, потеряла смысл перед таким великим множеством работ, подписанных великими мастерами. Он узнавал некоторых художников, скульпторов, даже архитекторов, например Пуч-и-Кадафалка, они разговаривали, прогуливаясь по залу, ведь большинство из них входило в состав различных комиссий, ведавших организацией выставки. Все эти гении приветствовали друг друга, беззаботно смеялись, а у Далмау сосало под ложечкой, и он ужасно робел. Картина все уменьшалась и уменьшалась, пока не превратилась в простой лист бумаги, который так и напрашивался, чтобы его скомкали и выкинули в ближайшую урну.

– Ищете что-то? – Вопрос задала женщина, уже немолодая, седоволосая, со сдержанными манерами; она подошла к молодой паре и встала рядом, перед центральным пролетом, будто видя его в первый раз. – Впечатляет, правда?

Далмау и Грегория кивнули в унисон.

– Вы принесли картину на выставку? – спросила женщина через несколько секунд.

Далмау вышел из ступора.

– Да, да.

Донья Беатрис, так звали даму, приняла их в одном из кабинетов слева от вестибюля. Далмау Сала, да, такой значится в списках. Картина. «Мастерская мозаики». Да. Это она? Нет, нет, распаковывать не надо. Донья Беатрис вынула из ящика стола формуляр, стала заполнять мелким, изящным почерком. Имя, адрес, название работы... «Четыреста песет, верно?» – уточнила прежде, чем записать цену. «Кратко опишите картину», – попросила она Далмау. «Достаточно», – прервала с улыбкой, видя, что тот слишком распространился. Зарегистрировала поступление картины, присвоила номер, пометила, как должно, и вручила Далмау документ, подтверждающий передачу и прием работы.

– Удачи, – сказала на прощание, протягивая ему руку. – Награды не могут достаться всем, но я бы хотела, чтобы одну из них получил молодой каталонский художник, такой как вы.

– Хорошо бы, – улыбнулся Далмау.

– Я слышала благоприятные отзывы о вашей работе от некоторых членов приемной комиссии, – шепотом призналась донья Беатрис и подмигнула ему. – Не теряйте надежды.

Окрыленный такой похвалой, Далмау дожидался 23 апреля, дня святого Георгия, покровителя Каталонии, даты открытия выставки. Маральяно подтвердил слова доньи Беатрис: его картина произвела хорошее впечатление на нескольких членов жюри. Грегория его воодушевляла, улыбалась, даже стала прикидывать, что они могли бы сделать, если бы Далмау получил одну из наград.

– Самая большая премия – королевская: шесть тысяч песет. Представляешь, Далмау? Шесть тысяч! И если ты продашь картину, а ты обязательно продашь, – еще четыреста. Целое состояние!

Тогда его взгляд, обычно кроткий, загорался несбыточной мечтой, которую Далмау всячески гнал от себя: невозможно, чтобы он, в конечном счете художник начинающий, превзошел великих мастеров.

– Ладно, – уступала Грегория, немного подумав, – но ведь назначено около тридцати разных премий.

– Нам будет довольно и какой-нибудь в тысячу песет, согласна? – отшучивался Далмау.

– Ты ее получишь. Точно. Я молилась, чтобы...

Далмау скривился, и она не стала продолжать.

Мать тоже подбадривала его, когда они обедали по воскресеньям, даже маленькую Хулию привлекла к этой задаче: девочка показала свой портрет в садике Народного дома, и все дети, все-все-все, захотели, чтобы Далмау их нарисовал тоже, а она сказала... И Хосефа ерошила волосы девочки, улыбалась, протягивалась, чтобы поцеловать ее в щечку, а та вырывалась, чтобы ее не перебивали. «Есть одна девочка, Мария, вот ее ты нарисуй, а Густаво не рисуй, ладно?» Хосефа смотрела на сына, который делал вид, будто внимательно слушает. Улыбалась. Нет. Об Эмме они не говорили, хотя теперь Хосефа была бы рада, если бы Далмау проявил настойчивость, как это бывало раньше. Ей бы очень хотелось, чтобы этот новый Далмау, тот самый, кто на ее последний день рождения, весь сияя, принес подарок

– подержанную швейную машинку, возобновил бы отношения с Эммой и порвал с католичкой, которая так раздражала Хосефу.

В паре газет появились отзывы о «Мастерской мозаики», оба критика дружно приветствовали возвращение Далмау Сала, того самого, кто в рисунках запечатлел души *trinxeraires*, и теперь, после целого ряда несчастных жизненных коллизий, готов представить городской публике великолепную, выдающуюся работу, которая, по мнению ряда знатоков, имеет серьезные шансы получить премию.

Тем временем Далмау продолжал увлеченно работать во Дворце музыки над *тренкадис*, покрывавшими стену, и мозаикой, составлявшей тела музыкантш, бюсты которых изваял Эусеби Арно. Он трудился вместе с другими работниками Маральяно, в том числе Грегорией, которая, стоя на коленях, выкладывала кусочками смальты ноги одной из муз и была так погружена в работу, что Далмау мог беспрепятственно любоваться ею с противоположного конца изогнутой сцены, где занимался одеянием богини, игравшей на поперечной флейте. Ее каштановые волосы были стянуты в хвост, чтобы не мешали работать, и на фоне стены выделялся чистый профиль нежного лица, спокойного, безмятежного. Она была худощавая, с маленькой грудью, и формы не бросались в глаза, особенно под просторным платьем, какие она всегда носила; в любом случае, думал Далмау, глядя на девушку, не скажешь, что она чувственная, сногшибательная, вызывающая. Грегория – спокойная, осмотрительная, аккуратная...

Далмау чувствовал, что их отношения изменились с тех пор, как он представил картину на Международную выставку изобразительных искусств. Грегория поддерживала его, пока он писал картину, они вместе отнесли полотно и рассчитывали на успех; это укрепило их связь, если можно так назвать чисто целомудренные отношения. Все это изменило и самого Далмау: он снова начал писать, волшебство вернулось его глазам, его рукам, в его душу. Впечатления вновь переполняли его, иногда смущали, и причиной тому не алкоголь и не морфин, а равновесие, которое привнесла в его жизнь девушка, что самозабвенно трудится, стоя на коленях у ног музы, играющей на скрипке. Нежность захлестнула Далмау, мурашками пробежала по спине. Так и подмывало пересечь сцену, схватить ее, поднять на руки, отнести в укромное место и там любить, нежно и бережно, чтобы не

напугать. Далмау гнал от себя такие фантазии, но вот Грегория, устав от одной и той же позы, закрыла глаза и откинулась назад, выгнув спину; обозначились стройные девичьи груди, торчащие вперед, будто бросая вызов той самой богине, которую девушка воплощала в жизнь на сцене концертного зала, и это окончательно выбило Далмау из колеи. Желание росло, выходило из-под контроля.

Он отвернулся, склонился над собственной музой, той, что с поперечной флейтой. Грегория – католичка, подумал с сожалением. Это разверзло между ними бездну. Ее родители тоже католики, даже чересчур правоверные, что она сразу дала понять, даже не осмелившись представить им своего ухажера. Если все пойдет так, как ожидает Далмау, и он добьется успеха или хотя бы признания и сможет жить своим искусством, настанет время создать семью, завести жену, детей, собственный дом... Он хотел бы взять в жены Грессию, но как преодолеть религиозные убеждения девушки, когда они так глубоко укоренены? Сам он не собирался ни принимать католицизм, ни лицемерить, лгать, кривить душой и был уверен, что Грегория тоже не поступится своей верой: религия сияла над ней, будто нимб, вдохновляла ее речи, а главное, все ее поступки определялись понятиями не только греха, но и прощения, милосердия к окружающим и божественной широтой души, способной любой проступок, пусть даже грех, обратить в простой житейский казус.

Далмау не представлял, как развязать этот узел, не позволявший их отношениям развернуться в полную силу, но предчувствовал, что выставка станет для обоих поворотным пунктом; поэтому, когда в день святого Георгия экспозиция не открылась, поскольку экспонаты из Португалии и Японии задержались в пути, он огорчился. Однако Далмау, как и другим художникам, было позволено прийти во Дворец и посмотреть, как развесили их работы, что он и сделал вместе с Грессию. «Мастерская мозаики» была выставлена на главном этаже, в восьмом зале, одном из тех, что выходили в центральный пролет. Картины Каса и Рузиньола висели в четвертом зале, через открытую дверь Далмау мог видеть работы модернистов, более двадцати, но войти не осмелился. Войдет, когда откроется выставка, и тогда часами, целыми днями станет созерцать эти шедевры, а также выставленные в одиннадцатом зале неподражаемые картины французских импрессионистов, к которым его влекло с неодолимой силой.

Грегория сжала ему руку, когда они вошли в нужный зал и увидели «Мастерскую мозаики», она светлым пятном выделялась на фоне картин этак сорока, развешенных по стенам, и скульптур, расставленных посередине зала, среди которых была работа Эусеби Арнау, мраморный «Портрет»; тот же скульптор изваял муз для Дворца музыки, где оба работали. В отличие от зала, где экспонировались только Касас и Рузиньол, в восьмом было представлено тридцать два художника и шесть скульпторов, поэтому многие художники бродили там, и некоторые обратились к Далмау, заметив, что тот стоит перед картиной в серых тонах, которые внезапно прорываются светом от незаконченной мозаики.

«Прекрасная работа». «Поздравляю, парень». «Нужно было назначить цену повыше». Славословия смутили Далмау, он не знал, что отвечать этим уже состоявшимся мастерам. «Мне уже говорил Маральяно». «Ты точно получишь премию!»

Через четыре дня, в субботу, 27 апреля, официально открылась Пятая выставка изобразительных и прикладных искусств в Барселоне. Далмау был вынужден просить у Маральяно свободный день, Грегория сделала то же самое, хотя тут же принялась подсчитывать, сколько у нее вычтут из заработка, и придумывать, как она это объяснит родителям, отдавая им деньги.

– Соври что-нибудь, – уже по дороге во Дворец искусств проворчал Далмау, так глухо, будто голос его исходил из самой преисподней и это дьявол искушал бедную девушку.

– Далмау! – воскликнула та. – Будет ли хорошо, если я совру тебе?

– С чего бы ты стала это делать?

– Если я совру одним, то могу и другому соврать, так?

Он покачал головой:

– Не переживай из-за денег, милая. Сдается мне, после выставки все для нас изменится. – Они обменялись взглядом. Грегория держала его под руку. Она промолчала. – Мы устроим все, что нужно устроить, – обнадежил Далмау девушку. – У нас получится.

Перед Дворцом искусств собралась толпа человек в пятьсот, а на главной лестнице официальные лица произносили речи. Далмау слушал с нетерпением, ждал, когда откроют двери и публика оценит его картину. Ему было нужно видеть реакцию обычных людей, не матери или невесты, не критиков или художников; он хотел наблюдать

лица людей посторонних, уловить, что они чувствуют, глядя на «Мастерскую мозаики».

Наконец речи иссякли и начали пускать публику. Далмау и Грегория, поднявшись по лестнице, отошли в сторону; люди обгоняли их.

– Мы остаемся? – удивилась девушка.

– Мать обещала прийти. Билет стоит песету, а у меня есть три приглашения.

Хосефа первой заметила их. Подниматься по лестнице ей стоило таких же усилий, как и не грубить Грегории; с каждым днем она все сильнее раздражалась при мысли о том, что эта святоша заняла место Эммы. Все еще запыхавшись, она поцеловала сына, а девушке резким жестом, с некоторой досадой протянула руку. Далмау немного подождал, пока мать отдышится: всего один пролет, а дыхание сбилось; это обеспокоило его. «Сколько же раз она останавливается передохнуть, поднимаясь в квартиру на улице Бертрельянс?» – спрашивал он себя, пока женщины следовали за ним во Дворец искусств, который обрел жизнь вместе с публикой; люди ходили по залам, останавливались здесь и там перед картинами и скульптурами, шептались, что-то показывали друг другу, то подходили ближе, то отступали на несколько шагов, выбирая точку обзора, и, наконец, застывали перед полотном. Солнце, проникая через просвет и боковые стекла, все заливало светом. Далмау глубоко вздохнул; пространство, до сих пор погруженное в спячку, было пронизано жизнью; творения искусства поражали зрителя, чуть не валили с ног красками и сочетанием фигур. Нет, это не люди говорили, а сами творения; под взглядами, направленными на них, картины рождались как живые, независимые существа; они впитали в себя все эмоции, какие художники смогли в них вложить, и теперь им не терпелось представить это богатство на суд заполнивших залы мужчин и женщин. Волшебство искусства! Они подходили к залу номер восемь, угловому, на основном этаже, и Далмау казалось, будто он уже слышит комментарии, похвалы цветам и свету. Может быть, зрители обсуждают серые тона, которых так трудно было добиться, или свет, который излучает мозаика. Кто сейчас смотрит на «Мастерскую мозаики», сколько человек?

Никто. Нисколько.

Далмау застыл на пороге выставочного зала. Пустое место зияло на стене там, где висела его работа. Люди с изумлением смотрели на эту пустоту, абсурдную посреди картин, наползающих друг на друга.

– Где она? – робко осведомилась Грегория.

– Что такое? – недоумевала Хосефа.

Далмау неверными шагами вошел в зал, встал посередине, вертел головой, вглядываясь во все картины, висевшие на стенах.

Его картины нигде не было. Значит, ее не перевесили в этом зале.

– Ей, наверное, нашли лучшее место, более выигрышное, – видя смятение Далмау, убежденно проговорила Грегория.

– Так и есть, – согласилась Хосефа.

Далмау направился к зрителю, который стоял в углу и следил за тем, что происходит в зале. Женщины видели, как он допрашивает зрителя, показывая пустое место на стене, зритель явно не в курсе, судя по тому, как мотает головой и пожимает плечами; а Далмау все не отстает от него и тычет пальцем в стену.

– Ей нашли особое место, – стояла на своем Грегория, – картина того заслуживает.

Хосефа едва кивнула, видя, как сын стремительным шагом идет в их сторону.

– В администрацию! – бросил он на ходу.

Донья Беатрис приняла их с понурым видом, отнекивалась и оправдывалась, запинаясь; куда только подевалась прежняя элегантность, манеры, любезность. «Я ничего не знаю», – только и твердила она.

– Как это вы ничего не знаете? – кричал Далмау. – А моя картина? Где она?!

– Не могла же она исчезнуть, – пыталась вмешаться Грегория.

– Что с моей работой?! – неистовствовал Далмау.

Хосефа наблюдала за ними, закусив губу, закрывая глаза всякий раз, когда сын повышал голос, мотая головой при мысли о том, что они, наивные, опять понадеялись на что-то в мире, где все им чужие. Предполагала худшее, хотя и не знала, что именно. Оглядела себя: на ней то же цветастое платье, что и несколько лет назад, на первой выставке Далмау, где были представлены портреты *trinxeraires*, другого у нее не было. Грегория тоже надела воскресное платье, в котором, должно быть, ходит к мессе: чего уж больше, если для Бога

достаточно? А Далмау... На нем старый пиджак в заплатках, такие же рубашка и брюки, и шапка заношенная, и башмаки; тысячу раз мать просила его купить себе новую одежду, а он отказывался, говорил, что ему так удобно, что он привык, проникся нежностью к ветхому тряпью.

– Не угодно ли пройти сюда?

Вопрос прозвучал за ее спиной, какой-то мужчина сделал знак следовать за ним. Далмау узнал его: Карлос Пиродзини, секретарь приемной комиссии, с приветливым выражением лица, с седыми усами, они хоть и выдавали его возраст, а было ему более шестидесяти лет, но все еще закручивались на кончиках, которые их обладатель то и дело теребил.

Они пересекли вестибюль, направляясь в секретариат, расположенный в другом крыле. Пиродзини предложил им присесть к столу. Но все трое продолжали стоять. Секретарь тоже не стал садиться.

– Ваша картина, сеньор Сала, – приступил он сразу к делу, боясь потерять решимость, – как она называется... «Мастерская мозаики», да? – (Далмау и Хосефа не шелохнулись, Грегорию кивнула.) – Так вот, кажется... – Он заколебался. – Ее выбросили на помойку, – признался он удрученно.

Далмау весь побагровел, сжимая кулаки, дрожа от ярости. Хосефе пришлось поддержать Грегорию, которая чуть не лишилась чувств.

– Что вы хотите этим сказать? – смог наконец выдать из себя Далмау, все еще не веря своим ушам. – Как это – «на помойку»?

– Именно так. Это не метафора, и я не шучу: ее выбросили на помойку, сочтя безнравственной.

– Безнравственной? – встрепнулся Далмау. – Кто ее выбросил?

– Присядьте, прошу вас, – снова предложил Пиродзини.

На этот раз они не то что уселись, а бессильно опустились на стулья, которые секретарь отодвинул для них, Далмау между двух женщин.

– Послушайте... – начал Пиродзини, но Далмау тут же его перебил:

– Кто?

– «Льюки», – ответил секретарь. – Нашли, что в картине присутствуют голые женщины, что непристойно и неподобающе на

такой выставке, как эта. Излишне говорить, что я с этим не согласен.

Далмау вспомнил девушек с мозаики: одни фигуры не закончены, другие танцуют нагими на берегу реки. Он мог бы это предвидеть.

– Кто конкретно из «Льюков»? – Он не дал секретарю времени ответить. – Дон? – Какой уж там «дон», много чести. – Мануэль Бельо, – заключил он, ни минуты не сомневаясь.

– Да, – подтвердил Пиродзини.

– Сукин сын!

– Прошу вас, следите за речью, – сделал замечание секретарь, уже усевшись за стол и скрестив руки на груди. – Послушайте: я не являюсь с «Льюками» и не придерживаюсь их чрезмерно консервативных взглядов, но не только вы пострадали от цензуры, которую нам навязали члены этой художественной группировки. Не надо далеко ходить: на помойку тоже выбросили, как безнравственную, маленькую бронзовую фигурку нагой женщины... И знаете, кто автор? – Пиродзини сделал паузу; Далмау и обе женщины сидели перед ним в полном замешательстве. – Огюст Роден. – Он подождал, надеясь, что имя произведет впечатление; напрасно. – Огюст Роден! – повторил он с пафосом. – Гениальный скульптор, сказавший, как и французские импрессионисты, новое слово в искусстве; мастер, до которого далеко любому из членов Общества Святого Луки. И одна из его скульптур тоже отправилась на помойку.

– Это должно утешить меня? – взорвался Далмау.

Пиродзини сжал свои переплетенные пальцы так, что они побелели, и вздохнул.

– Нет, сеньор Сала. Это не утешение. Вы написали прекрасную картину, должен признаться. Я сам подумывал купить ее для моей личной коллекции, и купил бы, если бы не такой поворот событий. Вы еще так молоды. Можете повторить...

– Вы сами знаете: это не из-за голых женщин. Это личная месть... Мануэля Бельо.

Не так-то просто было опустить «дон» после стольких лет общения с учителем.

– Нет, не знаю.

– Я подам в суд.

– И ничего не добьетесь. Погрязнете в исках, и неизвестно, чем все кончится. Вы отдали картину на выставку, назначив цену в

четыреста песет; это все, что вы можете требовать; учреждение больше ничего вам не должно, вы как будто продали свою работу, понимаете? Если потом ее выбросили на помойку или повесили в борделе, вас это не касается.

Тишину, установившуюся в секретариате, нарушила Хосефа:

– Они всегда выигрывают, сынок.

Пиродзини на мгновение перевел взгляд на Хосефу, потом снова обратился к Далмау:

– Я уполномочен предложить вам за картину сто пятьдесят песет.

– Ее оценили в четыреста! – вскрикнул Далмау.

– Возьми, сынок, – посоветовала Хосефа, – возьми и забудь об этих... – Она осеклась, подыскивая приличное слово. – Бессовестных?

Хосефа сказала это, вперив взгляд в Пиродзини, тот кивнул, признавая, что сказано мягко. Грегория, все еще очень бледная, молчала.

– Но, мама...

– В таких случаях не принято платить начальную цену, – вставил секретарь.

– Возьми деньги, Далмау. Это не наш мир.

Второй раз в жизни Далмау понадеялся, что сможет в него войти. Дон Мануэль! А он-то удивлялся, что картину приняли; теперь все понятно. Дон Мануэль только этого и ждал. Не будь нагих речных фей, он нашел бы другой способ его унижить. Сколько иллюзий отправилось на помойку вместе с его картиной и статуэткой Родена! Он повернулся к Грегории. Девушка сидела, низко опустив голову. Звон монет заставил его встрепенуться: секретарь считал деньги, складывал в столбики на столе, будто Далмау уже согласился их принять. Он вопросительно посмотрел на мать, и Хосефа еще раз кивнула. «Бери!» – сказал ее взгляд. А если он не возьмет? Если встанет, плюнет на все и уйдет восвояси? Далмау беспокойно заерзал на стуле. Пиродзини продолжал выстраивать столбики. Почему нет? Для них это подачка. Для него оскорбление.

– Можете дальше не счи...

Рука Хосефы опустилась ему на локоть. Она поджала губы, потом улыбнулась.

– У нас, рабочих, нет права отказываться от денег, – заявила она. Секретарь перестал считать. Грегория подняла взгляд. Далмау

внимательно слушал мать, размышляя над ее словами. – Оставь горделивую позу для богачей и глупцов. Если тебе самому не нужна такая сумма, в наши тяжелые времена много нуждающихся, им можно помочь. Товарищи бедствуют, у них нет работы, но есть дети, которых надо кормить.

Далмау вручил деньги Хосефе прямо на лестнице Дворца. «Держи», – сказал ей сурово. Не дожидаясь возражений, быстро сбежал по ступенькам, оставив женщин наверху.

– Далмау... – позвала Грегория.

Он обернулся.

– Это все твои единоверцы, Грегория, – так ответил на ее призыв. – Выбрасывают картины на помойку, потом идут к мессе, исповедуются, причащаются и думают, что они лучше других. Ты не можешь быть и на той, и на другой стороне, милая.

Девушка расплакалась, а Далмау решительно зашагал в сторону старого квартала. Хосефа поколебалась немного, но Грегория плакала так безутешно, что все-таки отвела ее в сторонку, подальше от толпы, и молча встала рядом.

– Думаете, он это серьезно? – спросила девушка, не переставая рыдать.

– Да, – не стала скрывать Хосефа. – Далмау не поступится принципами.

– А мне что делать?

Ответа Грегория не получила.

Далмау вошел в таверну и спросил вина. После пребывания в Пекине он долго не пил вообще, не позволял себе ни глотка, но те же стабильность и спокойствие, благодаря которым он снова начал писать картины и радоваться жизни, привели его к мысли, что стакан вина за обедом или какая-нибудь рюмка вечером, когда они с Грегорией выходили развлечься, не вернут его к наркомании или алкоголизму. Ему не нужен был особый стимул: вся атмосфера Дворца музыки была проникнута духом творчества. И сейчас он хлебнул отвратительного пойла, наверняка поддельного, суррогатного, в чем убедился после первого глотка.

– Еще, – все же попросил, подвигая стакан к бармену, стоявшему за стойкой.

Поужинал в столовой, куда обычно не ходил, прячась от Грегории, которая, чего доброго, примется его искать, хотя вряд ли родители отпустят ее одну в вечернюю пору, а соврать она не способна, даже чтобы спасти их отношения. Он позволил себе заказать хорошую порцию улиток с соусом аллиоли, поев предварительно сытных бобов по-каталонски, сдобренных толчеными орехами, петрушкой, чесноком и крутыми яйцами. Кастрюлька с улитками оказалась изрядной, у Далмау было достаточно времени, чтобы подумать, пока он длинной палочкой шарил в раковине, извлекал улитку целиком, макал в соус, который подали в отдельном блюде, и отправлял в рот. Спешить было некуда, он механически, раз за разом, шарил, извлекал, макал и отправлял в рот, перепачкав пальцы соусом и разными ароматическими травами, какими посыпали улиток, и мысли его крутились вокруг Грегории и дон Мануэля, религии и общества, которое снова украдо у него будущее, растоптало иллюзии. Он сунул очередную улитку в рот. Ему двадцать шесть лет, вдруг подумал он, первая молодость миновала, ушло время, когда можно победить, прославиться, упиться похвалами, которые ведь и звучали уже в адрес «Мастерской мозаики». Все рухнуло из-за юных нагих грудей и пары невинных лобков, всего лишь намеченных у края картины. Не важно, что работу Родена постигла та же судьба. Далмау съел еще улитку, обмакнул кусок хлеба в кастрюльку, полную ароматного масла, запил глотком вина. Роден знаменит, его работами восхищаются все, кроме таких экстремистов, как «Льюки», их наглая выходка не повредит французу, но вот ему, Далмау... Никто не поднял шум, когда исчезла его картина, а ведь все, модернисты или нет, «Льюки» или богема, входили в состав того или иного жюри. Тут не один только дон Мануэль. Об инциденте с фигуркой Родена знал, наверное, последний уборщик, значит, и то, что картина Далмау последовала за скульптурой французского мастера, тоже стало достоянием гласности; разве не пыжился дон Мануэль, не распинаясь перед каждым, кто хотел его слушать, насколько безнравственна картина Далмау? И все-таки никто его не предупредил, никто не выступил в его защиту. Маральяно, единственный, кто, возможно, сделал бы это, уже недели две как уехал в свою мадридскую мастерскую. Такова реальность: он всего лишь рабочий, раньше плиточник, теперь мозаичист, ему нет места среди великих мира сего.

А тут еще Грегория. Далмау уставился на витое тельце улитки, нанизанное на палочку. Их отношения такие же: изломанные, стиснутые религией, они изначально были обречены... Далмау улыбнулся, держа перед собой улитку, и сунул ее в рот; вот именно, обречены на то, чтобы их поглотила реальность. Бога нет. Бог – фикция, которую поддерживают такие люди, как дон Мануэль, пользуясь невежеством народа для своих целей, угнетая его. Глотнул еще вина. Не выпуская стакана из рук, в очередной раз доказывал себе, что Церковь – не более чем структура, колоссально богатая и могущественная, ведущая ту же игру, что и дон Мануэль: контролирует людей, требует от них покорности, навязывает старорежимную мораль и древние заповеди, терзает совесть сознанием греха и стращает вечным огнем, отнимая тем самым свободу и право выбора. Да, с Грегорией нужно расстаться, она – живое воплощение всех этих ужасов.

Он поднес стакан к губам, и палочка, предназначенная для того, чтобы поддевать улиток, хрустнула в другой его руке. Какие они все козлы! Говенные святоши! Ханжи проклятые! Нет, его место не там, не с теми, кто идет по жизни, держась за святых и богородиц, но это не значит, что он должен отступить. Далмау взбодрился.

Он покончил с улитками и соусом, съел весь хлеб, макая его в кастрюльку, где оставалось масло, пока полностью не очистил ее, и попросил флан на десерт. Ему принесли щедрую порцию, с запахом ванили. Кофе. Без ликера. «Нет», – отказался он. Спиртного не надо. Еще кофе, покрепче. Теперь, хотя он и выпил порядком с тех пор, как покинул Дворец искусств, от обильной еды и кофе желудок успокоился и в голове прояснилось достаточно, чтобы вернуться домой, сесть за стол в съемной комнате и при свете свечи делать наброски: церкви горят, и горгульи, чудовища, которыми стращали верующих, предупреждая о том, какое зло творится за благодатными пределами храмов, оживают, разбивают витражи и приносят в освященные места грешное пламя.

Рассвет застал Далмау за столом, где сон одолел его, и голова упала на ворох листов, на которых запечатлевалось, обретало форму его новое видение искусства: живопись, взывающая справедливости, далекая от буржуазного понятия о красоте. Он будет писать для рабочих. Покажет в своих творениях реальность народной борьбы, а

начнет с атаки на Церковь, изобличая злодейства, одно из которых только что погубило его мечту. Так он решил, и это его решение единодушно подкрепили десятки рабочих, которые трудились в концертном зале Дворца музыки, когда Далмау, весь окоченевший, проспавший всего часа два на стуле, за столом, вошел в партер и направился к замыкающей стене, где сотрудники Маральяно все еще работали над *тренкадис* и мозаиками.

Он опоздал. Даже не успел позавтракать, а значит, не имел возможности услышать, как грамотеи в тавернах и столовых зачитывают вслух статьи из прогрессивных газет, где, в частности, излагалась история о том, как скульптура Родена оказалась на помойке вместе с картиной Далмау Сала, молодого каталонского художника, своим искусством затмевавшего мастеров из кружка «Льюков», а потому под предлогом непокрытой груди и обнаженного лобка миниатюрной феи они исхитрились изъять картину из экспозиции, не допустить того, чтобы с ней ознакомилась широкая публика. Критика разила наповал. И республиканская, и анархистская пресса обрушивалась на «Льюков» и на их обветшалые догмы, запрещавшие женскую наготу и поддерживавшие постулаты косной, реакционной религии.

Но если Далмау не слышал этих глашатаев наших дней, им внимали многие мастеровые, которые работали по дереву, по железу, по стеклу или керамике во Дворце музыки, и многие из них, причастных к искусству, почувствовали себя оскорбленными и поддержали своего, такого же, как они, трудящегося. «Не падай духом, парень!» – подбодрил его краснодеревщик, уже немолодой, и робко зааплодировал. Все, кто работал в партере, встали или обернулись и присоединились к аплодисментам. «Пиши дальше». «Не дай себя одолеть». В единый миг практически все, кто сновал по лесам, работая над веерообразными сводами, арками, балками потолка, близко поставленными, чередующимися с керамическими деталями и обрамляющими будущий световой люк; кто трудился над украшением стеклянных завес, заменивших стены; над люстрами чугунного литья, над капителями колонн, над плиточным или мозаичным полом, да и собственные его товарищи-мозаичисты – все устроили овацию, громом прогремевшую в концертном зале.

– Первые аплодисменты в этом зале! – крикнул кто-то.

– Первый успех, – прибавил кто-то другой.

Перед тем как подняться на сцену, к своим, Далмау задержался и оглядел этих ремесленников, чье мастерство сделало модерн великим; в горле у него запершило, глаза увлажнились, и он кивнул и зааплодировал им в ответ. Вот она, его публика, а не буржуй, который платит песету за вход на выставку; они, и фабричные рабочие, и продавцы в магазинах. Вот кому он должен посвятить свое искусство. Сколько раз ему твердили это мать, Эмма, даже Монсеррат до того, как ее убили: художник, живущий за счет своего искусства, сливается с миром капитала. Такова доктрина анархистов, республиканцев, поборников прогресса. Искусство принадлежит народу, им пользуются, его распространяют безвозмездно; произведение искусства не должно превратиться в предмет купли-продажи, предназначенный исключительно для богатых; источник искусства – народ, именно он, не профессионалы, обладает огромным творческим потенциалом. Эмма просила у него три картины для Народного дома, а он отказал. Да, тогда он еще не вернулся к живописи, но, когда уже был в состоянии творить, создал произведение для богачей и буржуев, назначив за него цену в четыреста песет. Далмау не знал, что Висенс, капитан «молодых варваров», и даже сам Тручеро попрекали Эмму тем, что художник не сдержал слова, а она отговаривалась: дескать, конкретных сроков никто не назначал и картины рано или поздно будут написаны.

Обводя взглядом собравшихся, Далмау увидел своих товарищей и между ними Грегорию, которая хлопала в ладоши так сильно, что кожа могла бы растрескаться на ее нежных руках. Она плакала. Слезы струились по щекам из покрасневших глаз, под которыми темнели круги, явный признак бессонной и беспокойной ночи. Далмау остановил на ней взгляд, спрашивая себя, есть ли выход для них двоих.

– Все может оставаться как прежде. Зачем нам что-то менять? До сих пор мы были очень счастливы.

Так ответила Грегория во время обеда, в столовой, куда они отправились после того, как девушка подошла к Далмау и хриплым голосом сказала, что им нужно поговорить. Далмау согласился; нежные чувства к девушке, может быть даже любовь, он сам не мог себе до конца уяснить, вызывали в его душе неожиданный отклик: он горевал, видя, как она плачет; загорался надеждой, соприкасаясь с ее

радостью и жаждой жизни, – и желал ее, бесконечно желал. Но может ли все оставаться как прежде, если...

– Все изменилось, Грегория.

– Нет...

– Да. – Девушка молила его взглядом все еще воспаленных глаз; она даже не притронулась к еде. Далмау не мог возобновить отношения, насквозь, как он понял теперь, проникнутые лицемерием. – Я ненавижу Церковь! – вдруг прорвало его. – Ненавижу попов и святош, таких как мой бывший учитель! Я буду с ними бороться. Всячески их унижать, нападать на них, издеваться над их Богом, богородицами и святыми всюду и везде, где только представится случай. Останешься ли ты со мной на таких условиях? Поддержишь ли меня? Откажешься ли от своей веры? Отречешься ли? Оставишь ли ради меня своих родных?

Слезы вновь заструились по щекам Грегории. Далмау знал, что она ничего такого не сделает. Дело не только в ее убеждениях, глубоко укорененных, буквально сросшихся с ней: она к тому же почитает своих родителей и никогда не огорчит их. Семья Грегории была образцовой ячейкой общества, которую полностью контролировала Церковь. Хотя отец работал на почте, а мать обертывала шоколадки, что исключало их из числа неимущих, семья была слишком большая: кроме Грегории, еще трое несовершеннолетних детей, которые не работали, да еще бабушка, и они, как «нуждающиеся», имели право получать помощь, в том числе талоны на продукты. Этой помощью, как и помощью медицинской, которую оказывали в кабинете на бульваре Колон, ведало Общество Святого Викентия де Поля, одно из отделений которого располагалось в приходе Сан-Микел дель Порт.

Младшие сестры Грегории бесплатно, в отличие от других учениц, посещали среднюю школу для девочек, которую то же Общество держало в Барселонете на улице Севилья и которой управляли французские дочери милосердия. Брат Грегории учился в школе Монсеррат, рядом с коллежем для девочек, и эту школу тоже финансировало Общество Святого Викентия де Поля, и управляли ею те же французские монахини.

Если не считать Далмау и работы на Маральяно, вся жизнь Грегории вращалась вокруг церкви, религии и семьи. Нет, она не отречется. Девушка умолкла и сидела неподвижно, со слезами на

глазах, теребя ложку, глядя на скатерть прямо перед собой и не притрагиваясь к еде, пока Далмау не закончил обед и не расплатился за обоих, после чего они отправились обратно во Дворец музыки в полном молчании, не прикасаясь друг к другу.

Вечером после работы Далмау поспешил к себе в комнату, едва попрощавшись с товарищами и вкратце поделившись тем, что произошло с его картиной на Международной выставке изобразительных и прикладных искусств. В голове одна за другой возникали сцены, которые следовало набросать, перенести на бумагу, чтобы затем развить, довести до совершенства и спрятать в папке от любопытных глаз квартирной хозяйки, а потом решить, могут ли они послужить темой для задуманных картин. Чем он и занимался, пока не угас этот апрельский день 1907 года. Он не пил вина, даже не думал об этом. Сгустившиеся сумерки напомнили, что пора поесть, и как раз когда он намеревался собрать и спрятать наброски, а потом пойти в рабочую столовую «Санта-Мадрона», донья Магдалена постучала в дверь и открыла ее, по своему обыкновению не дожидаясь ответа.

– К тебе пришли, Далмау, – объявила она с широкой улыбкой, потом отступила от двери и пропустила вперед Грегорию.

Потом закрыла за собой дверь: с тех пор как девушка начала встречаться с Далмау, хозяйка имела случай убедиться, что от этой честной и целомудренной особы доброму имени ее дома ничто не грозит.

– Что ты здесь?..

Грегорию не дала Далмау договорить, бросилась к нему и страстно поцеловала в губы, открытым ртом, пытаясь просунуть язык, все с неловкой наивностью первого поцелуя. Далмау отстранил ее.

– Чего ты хочешь, Грегория?

– Я тебя люблю, – отвечала та. – Не допущу, чтобы ты меня бросил.

И принялась расстегивать платье. «Нет», – пытался Далмау ее остановить. Весеннее платье из тонкой ткани, одноцветное и просторное, какие она всегда носила, мигом упало к ее ногам. Она старалась не смотреть Далмау в глаза. «Нет», – повторил Далмау уже не так решительно, глаз не сводя с корсета, который девушка уже развязывала ловкими пальцами, которые, казалось, жили собственной жизнью. Груды явились такими, как он всегда себе представлял:

маленькие, хорошей формы, крепкие, с розовыми сосками и светлыми, едва заметными ареолами. Когда Далмау сумел оторвать взгляд от девичьей груди, Грегория уже стояла посреди комнаты совершенно нагая, потрясающе красивая, молодая, желанная.

Подошла, обняла его. Далмау почувствовал дрожь ее тела, девушка попыталась ее унять, положив голову ему на грудь. «Люблю тебя», – прошептала прямо в ложбинку над ключицей, и дыхание ее участилось. Далмау не знал, куда девать безвольно опущенные руки. Нет. Не этого он хотел от Грегории, и все-таки... все-таки в этот самый момент охотно увлек бы ее на постель и занялся бы с ней любовью со всей страстью, которую сдерживал с самого начала: ведь секс, неуклонно витавший над этой парой в цвете молодости, так и не проявился в их отношениях. «Хочу быть рядом с тобой». Грегория подняла голову, искала его губы для нового поцелуя. От соприкосновения с ее грудью и животом, от того, как пальцы ее скользили по его спине, Далмау объяла дрожь. Нет, он не может этого позволить! Грегория никогда не поступится принципами, а если она все-таки решилась, это следует обсудить. Ее порыв – бегство, прыжок вперед с единственной целью – поскорее преодолеть травмирующую ситуацию, не думая о завтрашнем дне; решение инстинктивное, безрассудное, порождающее новые проблемы: он знал эту девушку, успел ее изучить.

– Нет, – торопливо пробормотал Далмау. Грегория снова попыталась протолкнуть ему в рот свой язык. Далмау отстранил ее от себя. Пришлось применить больше силы, чем ему бы хотелось. – Не продолжай, хватит, – взмолился он.

– Почему?

– Не хочу, чтобы все случилось вот так...

– Я пришла отдаться тебе! – перебила девушка и раскинула руки крестом, выставляя себя. Теперь она дрожала всем телом, дрожала от стыда. Глаза, полные слез, засверкали гневом. – Разве этого тебе не достаточно? – спросила она с вызовом.

– Нет, нет, нет. Оденься, – велел Далмау и направился к двери. – Я отвлеку донью Магдалену, не хватало еще, чтобы она зашла и застала тебя в таком виде.

Когда он вернулся с чашкой кофе, которую попросил и которая задержала их с хозяйкой на несколько минут в кухне, Грегория уже

ушла. Прощальное послание лежало на столе в виде порванных и скомканных рисунков: от каких-то остались одни клочки, другие были яростно исчерканы. «Каналья!» – было написано на том, где он изобразил церковь, объятую пламенем.

Если с Далмау Хосефа обычно ждала благоприятного случая, чтобы упомянуть Эмму в разговоре и постараться как-то изменить позицию, которой придерживалась до сих пор, настаивая, чтобы сын забыл о бывшей невесте, то в разговорах с Эммой имя Далмау звучало часто, когда женщины общались вечерами на кухне, когда Хулия уже спала, а они пытались побороть усталость и безразличие: стоит поддаться им, и совместная жизнь превратится в невыносимую рутину.

– Я бы не решилась сейчас начинать отношения с мужчиной, тем более с вашим сыном, Хосефа, – заявила однажды Эмма, чтобы на этот счет не оставалось никаких недомолвок. Хосефа захлеб рассказывала о том, как живет Далмау; Эмме вовсе не хотелось в это вникать, но она притворялась, будто слушает, ведь Хосефа говорила так увлеченно, а в их жизни не хватало оптимизма. И все же Эмме было нелегко вспоминать те далекие времена, когда она верила, что жизнь будет вечно ей улыбаться.

Хосефа знала, почему Эмма не хочет новых отношений, чего стыдится. Ее не уволили с кухонь Народного дома, и с готовкой больше не возникало проблем, а это означало только одно: Эмма покорила. Много раз Хосефа пыталась уговаривать ее: не надо так терзаться, что бы ни творилось там, в тех кухнях, она идет на это ради дочери, чтобы пробиться, чтобы выжить, и столько женщин шли на такое и пойдут впредь, ведь на протяжении всей истории не менялось лишь одно: насилие со стороны мужчин и их эгоизм. Эмма ничего не отвечала, но снова возвращалась к этому в темноте, когда ворочалась в постели без сна или, мучимая кошмарами, просыпалась с криком. Что ей оставалось делать? Она жила ради дочери и, чтобы улыбаться ей, вместе с ней, больше не улыбалась никому, превратилась в женщину, чувствующую к себе омерзение, неспособную мечтать о любви. Она работала исключительно ради Хулии и, чтобы ласкать ее, целовать в щечки, говорить ей тысячу нежных слов, должна была скрывать в глубине своего существа унижительные, развратные ласки и поцелуи.

Тем вечером Хосефа рассказала о судьбе, которая постигла «Мастерскую мозаики», и о ста пятидесяти песетах, которые Далмау

отдал ей.

– С такими деньгами, еще с тем, что мы сами накопили, да с тем, что я выручу за шитье, – предложила она, – ты могла бы подумать о том, чтобы поменять работу.

– Опять этот сукин сын Мануэль Бельо, – взорвалась Эмма. – Куда бы я ни пошла работать, будет то же самое. В Барселоне за год рассматривается одно дело об изнасиловании! – повторила она нараспев, а потом мысли ее вернулись к учителю. – Да, Мануэль Бельо! Католики выходят на улицы, – вдруг сообщила она. – Приступают к активной борьбе.

Обе это знали. С конца прошлого, 1906 года к благочестивым шествиям и паломничествам, в которых выражалась крепость их веры, католики добавили митинги и публичные собрания, по примеру других политических партий. Протесты начались, когда либеральное правительство выдвинуло законопроект, нарушавший их права, а потом вылились в уличную борьбу. «Чем мы хуже наших врагов?» – через свои печатные органы задавались они вопросом. Но и антиклерикализм разрастался: бедность, экономический кризис, доктрины либералов и прогрессистов и пример Франции, где произошло окончательное отделение Церкви от государства, – все разжигало страсти в тех, кто видел в религии источник всех зол.

От набегов на церкви и процессии перешли к борьбе. Три месяца назад, в январе, тысячи верующих устроили митинг на арене для боя быков «Лас-Аренас». Эмма вместе с отрядами «молодых варваров» и другими республиканскими активистами, последователями Лерруса, ждала у выхода.

Битва завязалась сразу после митинга и вылилась на улицы, прилегающие к арене. Битва ожесточенная: кроме рукопашных схваток, в ход пошли камни, палки, ножи и даже пистолеты. Полиция, опасаясь, что могут возникнуть волнения среди приверженцев как той, так и другой стороны, а также имея в виду, что в ряды католиков влились ультраконсервативные боевитые карлисты, обрушилась на тех и на других. Среди яростного грохота, скачущих коней, беготни, стычек, криков и стрельбы Эмма дралась с женщинами, которые, отринув кротость, с какой слушали мессу, причащались и перебирали четки, с отвагой бросались на защиту своих и в самом деле глубоких убеждений. Эмма, вняв мольбам Хосефы, оставила дома пистолет. «Ты

полезешь в драку, – сказала она, – и если кто-то погибнет, а тебя схватят с оружием, приговор будет суровым. Ты нужна Хулии».

Потом, когда Эмма без пистолета ушла сражаться на улицы, Хосефа, как не раз в подобных случаях, стала думать о Хулии, о том, что с ней будет, если с ее матерью что-то случится; Эмма, предвидя опасность, много раз просила ее в случае чего взять на себя заботу о девочке. Хосефа уверяла, что так и сделает, но молчала о том, как она устает, и что надвигается старость, и в это зловещее, пугающее видение будущего никак не вписывается девочка, даже не достигшая отроческих лет. А Эмма включилась в борьбу рабочих с пылом и яростью; Хосефа видела в ней отражение Монсеррат в ее последние дни, когда страдания, пережитые в тюрьме, затмили ей разум, заставили забыть об осторожности. Теперь Эмма терпела насилие, сходное, думала Хосефа, с тем, что пережила ее дочь; грубое обращение, унижавшее ее как женщину; тлетворный гнет, от которого она могла освободиться только на улице, проявляя там свою силу и вместе с бушующей толпой защищая принципы, впитанные с детства. Анархизм и рабочая борьба лишили Хосефу мужа и дочери; каких еще жертв потребует от нее жизнь? Она глубоко вздохнула, ощущая тяжесть во всем теле. Вздохнула снова: нечем дышать в этой гнилостной атмосфере. Закашлялась. Это ее борьба, борьба ее мужа, ее детей; здесь она и останется, собиралась с духом старая анархистка; надо позаботиться о Хулии, если с Эммой что-нибудь случится.

И пока Хосефа жала на педаль швейной машинки, гоня от себя дурные предчувствия, Эмма работала кулаками, царапалась, кусалась, валила наземь и била ногами. Она изрядно поколотила нескольких женщин, но и ей досталось: сбитые в кровь костяшки пальцев, синяки и царапины, порванное платье, волосы такие спутанные и грязные, что кажется невероятным, как можно вообще вставить туда гребешок. И все-таки она вернулась на улицу Бертрельянс на своих ногах, в отличие от множества раненых, заполонивших больницы и муниципальные диспансеры.

Хосефа оказала ей первую помощь, как и всегда, когда Эмма возвращалась из рейда против католиков или политиков: арника на синяки, карболовая кислота на открытые раны. На этот раз Эмма ликовала. «Вы и представить себе не можете, что это было, – рассказывала она, охая, когда Хосефа пыталась унять кровь из

рассеченной брови, – настоящее побоище. Жестокая битва! Просто кошмар! Я и не подозревала, что эти говенные ханжи такие сильные». Она хохотала, потом снова охала. Малышка Хулия, ее дочка, была ей, конечно, дороже жизни, но, слыша, как Эмма защищает свою борьбу, гордится ею, превозносит дело рабочих, поносит тех, кто попирает их права, особенно Церковь и верующих, Хосефа видела, как возрождается в Эмме ее непокорный дух. «Они не хотят, чтобы мы, простые люди, хорошо жили, – гневно твердила молодая женщина, – они хотят, чтобы мы смирились с нашей участью, покорились ей, не задумывались о том, как несправедливо, что наши дети умирают с голоду!» Народное дело наполняло ее жизнь страстью. Да, Хулия дарила ей нежность, любовь и радость, но независимо от этого Эмме был нужен восторг и ярость битвы, чтобы хоть немного приблизиться к той женщине, какой она перестала быть, опустившись до похабной кухни Народного дома. День за днем Хосефа замечала, как вместе с нищетой и лишениями растет в душе Эммы ненависть к тем, кто стремится превратить их всех в рабов, вместо того чтобы указать путь к свободе.

Через несколько дней, когда Эмма вернулась домой, уже в поздний час Хосефа передала ей новость, услышанную от сына.

– Далмау начал первую картину из тех, что должен для тебя написать.

Эмма глядела на Хосефу, стоя в дверях ее комнаты. Та улыбалась, гордо и радостно. Ничего как будто не изменилось, разве что девочка спала на кровати Хосефы, вытянувшись во весь рост. Каждый вечер повторялось одно и то же: Хулия засыпала, пока Хосефа шила, а Эмма после работы переносила ее в их общую постель в бывшей комнате Далмау, той, что без окон. Девочка, сонная, чуть приоткрывала глаза, улыбалась матери, та обнимала и целовала ее, и Хулия снова засыпала, уже на кровати; колыбельку, из которой она выросла, унес старьевщик.

На этот раз Эмма не стала сразу будить дочку. Ей не хотелось возобновлять отношения с Далмау. И до картин его ей не было дела. Вопреки ее предсказаниям, Далмау преодолел зависимость от морфина, работал во Дворце музыки со своей керамикой, то есть с мозаикой на этот раз; снова начал писать, да с таким искусством, что враги убрали с глаз подальше его работу. Если бы картина была плохая, ее бы не выбросили на помойку, рассуждала Эмма. Ее бы

оставили висеть, чтобы критики ее поносили, публика осмеивала, а учитель и его сторонники злорадствовали. Он сблизился с хорошей девушкой, хотя отношения их и были обречены, поскольку та была убежденной католичкой, по словам Хосефы, которая особенно подчеркнула, что они расстались, что девушка, Грегория, так, кажется, ее зовут, не была готова оставить свою веру, чтобы следовать за Далмау.

А она, Эмма, какой предстанет перед Далмау – воскресшим, освободившимся от наркотика, восставшим из грязи барселонских улиц? Простой поварихой, которую держат на работе благодаря услугам, какие она оказывает толстому и потному повару первой категории. Да, она могла рассказать Далмау о дочери, Хулии, что она отдает свое тело, лишается чести, которая только богатым буржуйкам по чину, ради малышки, да и ради матери самого Далмау; могла бы крикнуть, что ничуть не раскаивается, и даже в бездне стыда, вины и скорби борется с этими чувствами, возглашая, что она – хорошая женщина, готовая жизнь отдать за свое дитя. Но она не осмелилась бы поведать это ни одному мужчине, даже Далмау. Шлюхи, такие же, как она, работницы, время от времени или регулярно отдаваясь мужчинам, тоже делали это ради своих – детей, мужей, семьи. Ни одна из них не обогащалась, ни одна не получала от секса ничего, кроме унижения и нескольких песет, которые тут же уходили на еду, одежду или лекарства, и все же к этим женщинам относились как к обычным проституткам. Сможет ли Далмау понять, если она ему расскажет? Сколько раз с тех пор, как она, закрыв глаза, сжав кулаки и стиснув зубы, позволила задрать на себе юбку в одной из кладовых Народного дома, вспоминала Эмма служаночку, которую изнасиловали в хозяйском доме! Как ее звали, Эмма забыла, но имя хозяина запечатлелось в памяти: дон Марселино. И она еще презирала бедняжку: ведь та не стала выдавать насильника, не заявила о случившемся!

Она как будто вывалилась в грязь. И ответила вдруг охрипшим голосом на слова Хосефы:

– Знать ничего не хочу о картинах вашего сына.

Хосефа вздрогнула, оставила швейную машинку и обернулась, глядя, как Эмма убегает с дочерью на руках. Женщина, рискующая жизнью ради рабочего дела; женщина, отдающая свое тело, чтобы

помочь близким... робеет перед Далмау, боится предстать перед ним? Одно не вяжется с другим. Столько всего произошло, столько времени миновало, что Эмме должны уже быть безразличны поступки Далмау, его присутствие, даже его мнение. Хосефа невольно улыбнулась при мысли, что, может быть, где-то еще тлеет искра той чудесной юной любви, которая соединяла их в давние годы.

– Спокойной ночи, – крикнула она Эмме вслед.

Едва ступив за порог дома доньи Магдалены, Далмау остановился как вкопанный.

– Ты! – заорал он так громко, что прохожие обернулись.

Маравильяс ждала его у самой стены, чуть в стороне от тротуара, но люди все равно от нее шарахались. Прошло чуть больше двух лет с тех пор, как Далмау видел *trinxeraire* в последний раз, и девчонка еще сильнее исхудала. Далмау попытался прикинуть ее возраст: он рисовал беспризорных детей в 1901 году – в год смерти Монсеррат, разве такое забудешь. В то время Маравильяс не смогла точно сказать, сколько ей лет, восемь или десять, значит сейчас ей тринадцать или пятнадцать, а она не выросла ни на сантиметр. Старая, истрепанная кукла, грязная, порванная, ужасающая.

– Как смеешь ты попадаться мне на глаза! – снова завопил он, и снова люди оборачивались, глядели на него и на нищенку.

– Я кое-что узнала и должна тебе рассказать, – заявила Маравильяс.

Далмау остановился в паре шагов от *trinxeraire*, выставив руки вперед.

– Рассказать? Ты? Что ты можешь мне рассказать? Ты меня предала. Заложила меня полиции! Знать тебя не хочу.

– Я тебя не предавала, – перебила она. – Не понимаю, о чем ты говоришь.

– О полиции! – кричал Далмау. Маравильяс отрицательно качала головой. – О том утре, когда меня отвели в участок на Консепсьон... – (Девочка продолжала мотать головой, поджав губы, удивленно вскинув почти невидимые брови.) – Вы меня выдали... ты и твой братец!..

Далмау огляделся, ища глазами Дельфина.

– Он умер, – кратко сообщила Маравильяс. – Чахотка.

– Ладно... Я... я соболезнаю. Но ведь это вы двое заманили меня в ловушку, чтобы получить награду от Мануэля Бельо.

– Нет. Неправда. Мы тебя не предавали. Мы бы никогда не поступили так.

Далмау засопел. Точно так же они с братом водили его взглянуть на женщин, утверждая, будто нашли Эмму. У них, наверное, не все дома, заключил с тяжелым вздохом.

– Что ты узнала? – все-таки спросил он с некоторой опаской.

Она протянула руку, заскорузлую, обернутую в черные лоскутья, хотя стояла июньская жара. Далмау порылся в кармане.

– Церковная паперть – хорошее место, чтобы просить милостыню, – начала девчонка, а Далмау тем временем готовил деньги. – Люди часто разговаривают после мессы.

Далмау сделал ей знак продолжать.

Грегория раскрыла перед прихожанами проект картины, которую он задумал: церковь в огне, ожившие гаргульи, священники разбегаются или предаются плотскому греху, папу насилуют, Бога одолевает дьявол... Много идей, воплощенных в набросках, которые девушка могла увидеть, пока он варил кофе, давая ей время одеться, чтобы донья Магдалена не застала ее в непотребном виде. «Каналья!» – написала Грегория на одном из этих рисунков; такое вот прощальное слово. Далмау не обиделся, не придал этому значения: девушка явно злится потому, что ее отвергли; но теперь он понял: Грегория внимательно рассмотрела наброски, из которых должна вырасти картина. Маравильяс рассказала, как возмутились прихожане. «В церкви, в Барселонете», – отвечала она на вопросы Далмау, который хотел удостовериться, что девчонка по той или иной причине не пытается в очередной раз обмануть его. «В какой церкви? Почему мне знать! Все они одинаковые. Что-то там у порта... святой такой-то у порта». Далмау кивнул, Сан-Микел дель Порт, приход Грегории.

– Там полно тех, кто хочет с тобой разобраться, пока ты не написал картину, – предупредила его *trinxeraire*. – Поменяй квартиру, – посоветовала она. – Те люди знают, где ты живешь.

Далмау ей заплатил, Маравильяс смешалась с толпой и исчезла за маленькой тележкой, которую вез ослик, совсем крохотный. Далмау следил, как девочка тенью скользила между прохожими, и спрашивал себя, скоро ли она появится вновь и будет ли это к добру или к худу.

К огорчению доньи Магдалены, он перебрался в комнату на четвертом, и последнем, этаже старого, подобного лабиринту дома в тупичке на улице Сан-Пере-мес-Алт, неподалеку от Дворца музыки. Предупреждение Маравильяс лишь укрепило его в решении, уже принятом: нельзя писать картину в этом доме. Не понадобится вмешательство болтунов с паперти церкви Сан-Микел; сама донья Магдалена порвет в клочья холст и выставит его вон. «Хочу перебраться поближе к работе», – объяснил он хозяйке и, не дав времени возразить, на прощание, к изумлению женщины, поцеловал ее в щеку..

Он и в самом деле хотел поселиться поближе ко Дворцу музыки, путь туда и назад занимал несколько минут, и это позволяло экономить время. Так и протекала теперь его жизнь: отработав в здании, которое день ото дня, по мере того как мастера самых разных искусств и ремесел продвигались в своих трудах, обретало все больше великолепия, он бежал домой, чтобы затвориться в жалкой комнатухе: единственным ее достоинством было то, что она выходила на террасу, где женщины сушили белье и откуда проникал свет, свет довольно тусклый, как это бывает в переулках старой Барселоны.

Маральяно сожалел о том, что произошло с «Мастерской мозаики», но на этом все: от «Льюков» поступало много заказов, с ними не стоило враждовать. «Жалкие людишки, скупердяи», – все-таки добавил он. В самом деле скупердяи: по окончании Международной выставки изобразительных и прикладных искусств город не приобрел ни одной картины французских импрессионистов. Члены жюри не предложили за эти творения даже пятой, даже шестой части их заявленной стоимости, и их предложение было с ходу отвергнуто; в письме, адресованном тому же Пиродзини, который заплатил Далмау только четвертую часть от цены, назначенной за его работу, галерист позволил себе назвать предложение «смехотворным и оскорбительным». Прижимистость четверых зазнаек оставила музеи Барселоны без единого образца одного из важнейших движений в истории искусства.

Наблюдая, как начинают монтировать огромное световое окно в потолке концертного зала; над тем, как обретает форму скульптурная группа, которая, словно фигура на носу корабля, призвана была свести

воедино оба фасада здания, Далмау работал над картиной, которую собирался подарить Эмме и Народному дому. С Грегорией они не разговаривали, что привело к расколу среди сотрудников мастерской: большинство поддерживало девушку, которая плакала и жаловалась всякому, кто готов был ее слушать; очень немногие были на стороне Далмау, а остальные старались не ввязываться в конфликт.

Дурные предсказания Маравильяс не сбылись. Далмау был осторожен в первые дни после переезда: католикам, которые хотели бы с ним «разделаться», по выражению *trinxeraire*, было бы несложно дождаться, пока он выйдет из Дворца, и проследить за ним до его нового жилища. Но недели шли, и, не замечая ничего подозрительного, Далмау расслабился. И наслаждался, видя, как во Дворце музыки прирастает волшебство красок, форм и материалов, даже и принимая в этом участие; а дома садился за стол и рисовал, рисовал, не осмеливаясь нанести на холст первый мазок. Рисовал он и соседок, которые сушили на террасе белье. Эти работающие женщины проникали в его каморку через дверь, выходящую на террасу; игра, забава, развлечение, возможно для них единственное; потом они вернутся к своим очагам и там проведут остаток дня, наверняка серого, печального, полного невзгод. С двумя из них он занимался любовью: Ньевес и Марта, женщины старше его, на вид лет тридцати – тридцати пяти, у каждой дети, обе замужем, работают на прядильной фабрике, каких много в квартале Сан-Пере, традиционном центре текстильного производства, хотя в последнее время капиталисты начали выводить свои предприятия за пределы хитросплетения средневековых улочек.

Обе женщины предавались любви почти бесстрастно, будто для них было важнее обмануть мужей, покинуть семью, просто сломать рутину, чем получить удовольствие от секса. Обман возвращал их к жизни; они боролись скорее с самими собой, чем со своим окружением. «Я просто хочу на несколько мгновений почувствовать себя другой, будто я – это не я, понимаешь?» – призналась одна из них, когда Далмау обеспокоила ее чрезмерная пассивность. «Значит, ты не получаешь удовольствия?» – наивно осведомился Далмау. «Получаю, получаю, – успокоила его партнерша. – Только по-другому. Тебе ведь все равно, правда?» Его так и подмывало ответить, что нет, ему не все равно; что женщина не сука, покорно подставляющая себя кобелю; но ему ли осыпать бедняжек упреками? Вместо того налил ей вина из

графина, который с самых первых дней знакомства держал для Ньевес и Марты и для еще одной женщины более скромного поведения: она заходила к нему в комнатенку, только чтобы поболтать и посмотреть рисунки. Он и сам пил вино, хотя старался не напиваться. Ему не нужно было подстегивать себя опьянением: он был полон идей, пребывал в эйфории. А вот его физический облик, выкованный в огне Пекина, не менялся: по-прежнему худой, редкая бороденка, длинные волосы, тоже редкие; лицо испитое, хотя, к удовольствию его матери, желтизна, какую придал его коже наркотик, уступила место более свежим краскам. Так или иначе, Далмау отказался от celibата, которого так глупо придерживался во время отношений с Грегорией, и, чередуя труд с немудрящими развлечениями, решил наконец приступить к холсту, давно его ожидавшему.

И писал каждый день, каждую минуту, какую не посвящал Дворцу музыки; только возобновил привычку по воскресеньям гулять и обедать с матерью и Хулией; пока они с Грегорией были близки, некоторые воскресенья – слишком многие, упрекал он себя сейчас, – выпадали.

В одно из таких воскресений, уже в октябре 1907-го, Далмау с помощью двух сыновей Марты принес на улицу Бертрельянс картину размером метр на метр, завернутую в старую простыню. Эммы дома не было: по воскресеньям она трудилась не покладая рук в Народном доме. Картину поставили у изголовья ее кровати.

– Никакой записки? – удивилась мать, видя, как Далмау выходит из комнаты.

Тот склонил голову набок.

– Ей каждый день приносят картины? – усмехнулся он. Хосефа взмахнула рукой. – Вы, мама, сами ей все расскажете.

И газеты, близкие к Леррусу, и те, что поддерживали Каталонскую Солидарность, консерваторы ли, монархисты, – все нагнетали обстановку перед днем окончательного открытия Народного дома, полностью выстроенного и отделанного; картину Далмау собирались выставить перед публикой, повесив на почетном месте в большом зале, который одновременно служил рестораном, театром и площадкой для собраний и митингов. Леррусу было необходимо вернуть себе ведущую роль в рабочем движении и политической борьбе. Его

исключили из его собственной партии, Республиканского Единства, за покушение на Камбо, кандидата от Каталонской Солидарности на апрельских выборах этого года, – партийные активисты по приказу лидера устроили его после стычки между каталонскими патриотами и радикальными республиканцами, в ходе которой рабочий-леррусист был убит выстрелом из пистолета. В Камбо тоже стреляли, ранили в грудь, и это так повлияло на избирателей, что Каталонская Солидарность – сплав разных партий, чьи идеалы порой были прямо противоположны, при поддержке Церкви буквально растоптала своих противников на апрельских выборах 1907-го.

Леррус, закрепившись в Народном доме и многочисленных братствах, которые он основывал и всячески продвигал, стоял во главе целой армии молодых лидеров, экстремистов, беззаветно преданных ему, и пользовался, несмотря ни на что, массовой поддержкой рабочих, а потому решил учредить новую республиканскую партию, радикальную и революционную, построенную на принципах атеизма и социализма.

Каталонское общество расколосось. Каталонская Солидарность видела в самой принадлежности к нации, ее языку и культуре объединяющее начало. Под знаменем каталонизма боролись против кастильских реалий вроде боя быков или кафе-шантанов. Усилилось презрение к рабочему классу: каталонский рабочий должен строить свою жизнь на труде и накоплении, а не на революции, возмездии или стачках, утверждали эти лидеры, и противостояние коснулось даже таких личных вопросов, как отношение к женщинам. Если каталонисты обливали леррусисток грязью, считая развратными, то республиканские феминистки презирали каталонисток за глупость и невежество, даже отказывали им в звании женщин: простые самки, больше ничего.

Экономический кризис подогревал ненависть, копились обиды, усиливалось противостояние. Стачки почти прекратились, а те немногие, какие происходили, – в 1907 году всего двадцать – заканчивались провалом: рабочих заменяли штрейкбрехерами, что обходилось даже дешевле. Отсутствие реакции со стороны профсоюзов и рабочих обществ обеспечило предпринимателям абсолютную власть, которую они употребляли, вводя драконовские порядки на своих фабриках. Продолжительность рабочего дня

оставалась бесчеловечной, хотя безработица росла. В тот год двадцать процентов ткачей – немалая доля наемных трудящихся – остались без работы; а также половина сапожников и четверть кожевников.

Конфронтация ощущалась не только на улицах: она захлестнула и прессу. Леррус, отстраненный от Республиканского Единства, а значит, и от газеты «Эль Прогресо», которую сам создал, публиковал свои сенсационные, полные демагогии статьи в периодических изданиях, которыми руководили молодые лидеры, разделявшие его ярость и страсть. «Ла Ребельдия», «Эль Дескамисадо», еженедельник «Ла Кабила», даже феминистский журнал «Эль Гладиадор» стали рупором радикальных республиканских идей, чуждых каталонизму, который защищала Церковь.

Таким было положение вещей, когда Эмма, начиная выполнять обещание, данное при освобождении Далмау, принесла в Народный дом картину, крайне агрессивную и непочтительную по отношению к Церкви; это совпало с кульминацией борьбы Лерруса и его рабочих против всего мира. Республиканский лидер решил показать картину журналистам, чтобы создать конфронтацию еще до открытия Народного дома, и Далмау нежданно-негаданно оказался в центре ожесточенной борьбы, политической, общественной, религиозной, сотворив картину, ставшую иконой противостояния. Критики, журналисты и политики горячо обсуждали ее в прессе. Возмущенная толпа поджигает церковь, одна стена которой уже пылает. Гаргульи, столь милые сердцу Далмау, обернувшись чудовищами, преследуют священников и монахов, которые удирают, унося свои сокровища. Многие искали в Барселоне храм, послуживший для художника моделью, но не нашли. Экстремистские газеты перевозносили картину. «Она показывает народу путь: громить Церковь». «Смелее, вперед!» – призывали радикалы. «Это нестерпимо!» – стонали консерваторы. «Хула!» «Святотатство!» В углу картины к мужчине, который вцепился в большой серебряный крест, точно такой, в каком содержались мощи святого Иннокентия, сзади припал козел с огромными изогнутыми рогами. Крест наполовину скрывал лицо мужчины, но густые бакенбарды, которые сползали по щекам, соединяясь с усами, указывали без тени сомнения на Мануэля Белью, производителя изразцов. «Далмау Сала много лет был его учеником, – писалось в одной статье, – ему ли не знать пороки учителя?»

Еще не состоялось официальное открытие, а у дверей Народного дома уже происходили стычки: летели камни, завязывалась рукопашная борьба. Науськивая своих последователей, Леррус поддерживал напряжение вокруг картины Далмау. Такова была его тактика: оскорбления и богохульства; подстрекательство к дракам; противоречивые, полные преувеличений статьи; ожесточенные стычки с карлистами, защитниками католической веры; нападения на митинги, церковные шествия, даже на праздничные гулянья, где танцевали сардану. Всем этим республиканец создавал себе репутацию борца против богачей и буржуев. Вокруг этой борьбы он объединял всех недовольных и обездоленных, призывая их к насилию и к агрессии, пытаясь направить в нужное для себя русло неудержимую лавину рабочего движения.

Настало последнее воскресенье октября 1907 года. Большой зал Народного дома был переполнен, пришли не только те, кому полагалось присутствовать при церемонии, но и многие из рабочих, имеющих право пользоваться помещениями в праздничные дни и не преминувших присоединиться к торжеству. Далмау, стоя на первой галерее, где обычно располагался пианист, прямо над головами людей в зале, волновался так же, как в день открытия Международной выставки изобразительных и прикладных искусств. Несмотря на то что о его работе было написано немало критических отзывов, ему надо было взглянуть в лица, прочесть на них, какое впечатление производит его работа. Ничто не должно отвлекать внимание зрителей, хотя, конечно, эмоции, личная заинтересованность или пафос рабочей борьбы могут помешать восприятию чисто художественных достоинств.

Взглянув направо, он увидел Эмму. Поджал губы, словно сетуя, что нужно дожидаться Лерруса и других лидеров, и она ответила вымученной улыбкой. Вся такая праздничная, красивая. Хосефа засиживалась допоздна, шила ей обновку: длинную, до щиколоток, узкую юбку цвета морской волны и белую блузку с глубоким вырезом; простой льняной ткани, из которой та была пошита, не видно было из-под великолепных разноцветных шелковых кружев, какими Хосефа украсила ее. Эту красоту Хосефа одолжила у одной продавщицы, для которой время от времени выполняла кое-какую работу. Та вначале

заартачилась – кружева дорогие, если они вдруг пропадут или порвутся, ей придется платить; но заговорила по-другому, когда Хосефа призналась, для чего их просит. «Мы с мужем собираемся посмотреть, как станут открывать картину!» – воскликнула она с энтузиазмом. Туфли тоже одолжили у соседки, но больше всего обеих восхитил корсет, который Хосефа не только подогнала под вырез блузки, но и расставила так, чтобы он не сжимал грудь. «Говорят, во Франции уже не носят корсетов, – оправдывала она свои переделки. – Там носят... бюстгальтеры, из одного куска ткани, на бретельках, они застегиваются сзади и поддерживают грудь». В конце концов обе весело рассмеялись. Нарядная, элегантная, в юбке, подчеркивающей фигуру, но не стесняющей движений, без корсета, стискивающего грудь, Эмма казалась богиней, вознесшейся над простыми смертными. И все-таки она явно нервничала, то озиралась в тревоге, то рассеянно скользила взглядом по залу; переминалась с ноги на ногу, складывала руки на животе, убирала их за спину, ни минуты не оставаясь в покое.

С тех пор как Далмау оставил картину у ее изголовья, Эмма избегала его; все переговоры с республиканцами, все формальности дарения картины Народному дому шли через его мать. И все равно при мысли о том, что Эмма причастна к его творению, в Далмау пробуждались давно забытые чувства. Почему бы им двоим хотя бы не возобновить дружбу? Гибель Монсеррат осталась далеко позади, как и споры, кто виноват... если только в том была чья-то вина; и проклятые рисунки обнаженной натуры – кто их украл, Далмау так и не выяснил. Оба пережили горе: он пристрастился к морфину, она похоронила мужа. А теперь она живет с его матерью! У них вся жизнь впереди, ей двадцать четыре года, он на два года старше. Волна нежности захлестнула Далмау. Он снова посмотрел на Эмму и заметил, как она волнуется.

– Боюсь, на мою картину никто и смотреть не станет, – выпалил он. Эмма вздрогнула, лицо ее исказилось. Далмау засомневался, стоит ли продолжать. Все-таки рискнул. – Все станут глядеть на тебя, а не на то, что я написал. Ты чудо как хороша.

Эмма замерла, ошеломленная. Ей давно никто не говорил комплиментов. Она работала в кухнях, где ее женственность испарилась по взаимному согласию; все, кто там вращался, не замечали ее по молчаливому сговору: знали, что она подчинилась

Эспедито и больше ее не беспокоили, но и не восхищались ее красотой. Вне кухонь... на улицах Барселоны с ней иногда заговаривали, скорее развязно, нежели обольстительно. И надо же было случиться так, что именно Далмау рассыпался в похвалах! Не признаться ли перед ним, прямо сейчас, что здесь, внизу, под его ногами, сидит некое подобие мужчины, и этот урод уже больше года пользуется ею самым мерзким, тошнотворным образом: толстый, потный астматик принуждает ее к извращениям, чтобы самому получать удовольствие, в иной, более естественной форме ему недоступное. Как тогда заговорит Далмау? Она пожалела, что пошла на поводу у Хосефы. Нужно было надеть на церемонию кухонный фартук... Нет! Ей вообще не место здесь.

– Дурак! – обрушилась она на Далмау.

– Красавица! – разулыбался тот. Эмма фыркнула. – Почему ты так нервничаешь? – не унимался Далмау. – Тебе не впервой выступать перед людьми. Мне говорили, тебя прозвали «товарищ учительница», да?

Что еще ему говорили?.. Многие из сидящих в зале, наверное, считают ее шлюхой, подстилкой одного из поваров, если только сами не брешут, хвастаясь перед всеми подряд, будто тоже пользовались ее благосклонностью. А теперь ее выставили напоказ, одетую с иголки, будто на продажу, перед толпою мужчин, многие из которых не сводят с нее глаз. Эмма видела, как они шепчутся, показывают на нее пальцами, обмениваются шуточками. Некоторые подмигивали ей, другие посылали воздушные поцелуи. Эмма слышала, что в некоторых публичных домах куртизанки выстраивались перед клиентами, а те выбирали. Теперь она понимала, что чувствуют эти женщины.

– Думаю, Леррус ждет, что ты выступишь с речью. В зале много женщин.

Ромеро, секретарь Тручеро, ей тоже об этом говорил: «Ты должна выступить. Приготовь короткую речь».

Затаив дыхание, люди разразились аплодисментами: Леррус и его свита шествовали друг за другом по галерее, тоже аплодируя, кивая знакомым. Дошли до того места, где их ждали Эмма и Далмау, и республиканский лидер поприветствовал их, обменявшись рукопожатием с Далмау и картинно облобызав Эмму. Леррус предложил Далмау раскрыть холст. Далмау предоставил ему эту честь,

республиканец потянул за шнур, и ткань, закрывавшая картину, соскользнула вниз. Все умолкли при виде пылающей церкви, затем раздался смутный ропот, и наконец прокатилась волна аплодисментов и восторженных возгласов. Далмау забыл о том, что собирался вглядываться в публику: он глаз не сводил с Эммы, с ее прекрасного лица, которое так любил когда-то, по которому так долго тосковал. Эмма уже видела картину, но теперь, в зале, среди оваций, картина приобрела особый размах. Ее создали для них, ради их дела, и такое единение ставило ее выше искусства, делало частью общего, всемирного замысла. Далмау понял это не хуже Эммы, у которой по щеке сползала слеза; заметив его взгляд, Эмма торопливо ее вытерла. Какая разница: Далмау тоже плакал. В этот момент Леррус встал между ними и заставил обоих поднять руки вместе с ним. Пока все трое стояли с воздетыми руками, приветственные крики звучали все громче и громче; затем Леррус опустил руки и потребовал тишины. Заговорил об Эмме. Товарищ учительница. «Помните ее?» Зал разразился криками. Так вот, благодаря ей, продолжал Леррус, Народный дом получил замечательную картину; эта женщина ее принесла и обещала доставить еще две, и все вместе они станут упорно напоминать республиканцам, здесь, в этом зале, где они едят, развлекаются, слушают лекции и спорят о политике, в чем состоит их конечная цель: «Разгромить Церковь!» Рассыпался в похвалах Далмау, даже чрезмерных, до приторности. «Он не берет платы за свои творения, а дарит их нам», – возгласил Леррус, и зал одобрительно зашумел.

– Он – живописец рабочих! Художник народа! – Зал снова взорвался аплодисментами. – Мы, республиканцы, будем вечно ему благодарны. Здесь его дом, мы – его семья. И ты, товарищ учительница. Позволь заменить тебе отца, злодейски убитого нашими врагами. Ты под моей защитой. Даю в этом слово перед всеми моими товарищами. Ради вас мы готовы на все. Мы перед вами в долгу. Смотрите на эту картину! – обратился он к залу, потом немного помолчал. – Молодые варвары! – воззвал наконец, взглядом выискивая в зале своих бойцов. Многие подняли руки, истошно вопя. – Громите, грабьте убогую, жалкую цивилизацию этой несчастной страны! – наставлял их Леррус. – Разрушайте ее храмы! – продолжал он, упорно показывая на картину Далмау. – Прикончите ее святых! –

Аплодисменты и приветственные крики сменились руганью и призывами к битве. – Сдирайте покров с послушниц, делайте их матерями, чтобы улучшить породу!

Раздался хохот, призывы к действию. «Изнасиловать их!» «Отыметь!» «Перепортить всех подряд!» «Порвать целки!»

А Леррус продолжал свою зажигательную речь.

– Уничтожайте записи. Сжигайте все документы на право собственности. Разрушайте общество богачей и буржуев. Сколачивайте воинство пролетариев, чтобы содрогнулся мир. Теперь тебе слово. – Он взял Эмму за руку и подвел к краю галереи.

– Плюйте в лицо попам!.. – начала та.

Но не смогла продолжить. У дверей Народного дома зазвучали выстрелы, в окна полетели камни. Карлисты и члены Каталонской Солидарности после речей Лерруса против религии и монахинь бросились на штурм Народного дома. Люди пришли туда семьями, с маленькими детьми; это не был политический митинг. «Молодые варвары», большинство рабочих и некоторые их жены побежали защищать свою территорию. Эмма спрыгнула с галереи и присоединилась к ним, вопя как оглашенная.

– Блузка... – только и успела вскрикнуть Хосефа, сидевшая в первом ряду, когда молодая женщина пронеслась мимо нее и Хулии, даже не обернувшись.

Хосефа зажмурилась, затрясла головой, ведь кружева стоили уйму денег. Но быстро забыла о них. Подняла девочку на галерею. «Присмотри за ней», – попросила сына.

– Что вы собираетесь делать, мама? – забеспокоился Далмау. – Ведь не пойдете же вы на улицу?

И вслед за Эммой Хосефа исчезла в толпе, все еще переполнявшей зал, но не стала выходить на открытую площадку между фасадом Народного дома и железнодорожными путями: там сейчас разгоралась ожесточенная битва. Вместо этого направилась к двустворчатой двери, ведущей из зала в кухни. Там готовился праздничный ужин.

– Вам сюда нельзя, сеньора, – предупредил ее официант.

– Еще как можно, – отозвалась Хосефа, к вящему его изумлению.

– У вас какое-то дело? – настаивал он.

– Эспедито. Я ищу Эспедито. – Хосефа окинула взглядом кухню, растерявшись перед хаосом, царившим там. Эспедито. Это имя Эмма твердила раз за разом, выкрикивала в кошмарах. – Кто это?

– Вон тот, – отвечал официант, показывая на толстого повара, который, весь в поту, вооружившись ножом и топором огромных размеров, разрубал на прилавке говяжью грудинку. Хосефа вздохнула. – Осторожней с ним, – предупредил официант, видя, что женщина решительно направляется к толстяку.

Она прошла через всю кухню, притягивая взгляды поварят и поваров. Гомон стих. Даже сам Эспедито обернулся прежде, чем Хосефа приблизилась к нему.

– Эспедито? – все же уточнила она, подойдя поближе. С жирного повара пот тек ручьями. Он сжимал в руке нож и весь был забрызган кровью, ошметками мяса и костей.

– Кто вы такая? Что вам нужно?

Феликс, шеф-повар, подошел к ним.

– Хочу напомнить тебе то, что сказал Леррус насчет Эммы, – прошептала Хосефа. – Он сказал, что заменит ей отца. Того, которого убили в Монжуике. Что защитит ее. Защитит, понимаешь? И слово дал. При всем народе. Знаешь ты, что это значит, каналья, сукин сын? – проговорила она сквозь зубы.

Лицо повара, и без того красное от усилий, побагровело еще больше. Эспедито стиснул рукоятку ножа, занес его. Феликс хотел было вмешаться, но Хосефа жестом остановила его.

– У него духу на это не хватит, – успокоила она шеф-повара, потом вперила свой усталый взгляд в самые глубины подлой души Эспедито. – Я – мать художника, написавшего картину, которая так понравилась и твоим вождям, и газетчикам и так оскорбила ханжей и святош; мать художника, который должен подарить еще две картины этому дому, и я предупреждаю тебя: если ты хоть пальцем дотронешься до Эммы, даже заговоришь с ней – и новых картин не будет, и эта здесь не останется. Ты понял? Тебя вышвырнут с работы, да и тебя тоже, – повернулась она к шеф-повару, – за пособничество. Я выразилась ясно?

– Это больше не повторится, – пообещал Феликс.

– Республиканцы в долгу перед Эммой и моим сыном. Так сказал Леррус, великий Леррус! Помните об этом. Все вы, – она вызывающе

оглядела тех, кто был в кухне, – помните.

Потом ушла восвояси. «Браво», – пробормотал ей вслед тот самый официант, который не хотел ее впускать и который до сих пор стоял перед распашными дверями. Подошла к стене, на которой висела картина ее сына. Далмау там не было, а Хулия играла с другими детьми под присмотром их матерей. Девочка увидела ее и улыбнулась, но не оставила игру, не подбежала к ней.

– Не знаете, где мой сын? – спросила Хосефа у женщин.

– Художник? – уточнила одна из них.

– Оставил нам девочку, – затараторила вторая, – и мы слова не успели вымолвить, как он бегом побежал туда, драться. Вот мужчины: только и умеют, что пить, биться об заклад, драться и...

– Этот еще умеет писать картины, – вмешалась третья.

Хосефа слушала, глаз не сводя с выхода: в дверях скопились люди, наблюдавшие за схваткой, но Далмау среди них не было. Значит, он на улице. Хосефа испугалась за него, все у нее сжалось внутри, она ведь знала, что Далмау не боец. Но в конце концов улыбнулась: отец бы гордился им, как гордится она сама. Не стала выглядывать на улицу. Просто ждала, как другие женщины, следя за возней детей на полу.

Наконец стычка завершилась, «молодые варвары» и рабочие вернулись в зал, многие в синяках и ссадинах. «Карлистам больше досталось», – утешали они друг друга. «Мы их славно отделали!» «Драпали, как попы на этой картине!» – рассмеялся кто-то, показывая на полотно Далмау. «Чтобы отыметь друг дружку в задницу!» В зале снова зазвенел смех. Хосефа, да и маленькая Хулия, которая уже наигралась, стали ждать Эмму и Далмау. Вот они появились: она – запыхавшись, вся растрепанная, но, кажется, невредимая. Далмау, прихрамывая, шел следом, среди молодых бойцов, которые ворвались всем отрядом, хохоча, как и Далмау, который отмахнулся, когда ему предложили помощь. Хосефа глубоко вдохнула, потом выдохнула. Заметила блузку Эммы, грязную, порванную, без следа кружев; сквозь прорехи просвечивал корсет. Придется раскошелиться, чтобы возместить кружева, потратить сто пятьдесят песет, которые она отложила, посетовала Хосефа, но тут Эмма, издали заметив ее в толпе, сунула руку за пояс юбки и потом высоко подняла, потрясая ворохом кружев.

Уже наступил ноябрь, и в какой-то вечер, холодный, сырой и темный, когда Далмау торопливо шагал к себе домой и дыхание его, превращаясь в пар, сливалось с гнилостным туманом, поднимавшимся над улицей, три или четыре человека окружили его. Он шел рассеянно, придумывая следующую картину для Народного дома, поэтому со всей наивностью сказал «извините» тому, кто преграждал ему путь, и попытался его обойти. И получил удар кулаком под дых.

– Еретик! – зазвенело по переулку.

Далмау согнулся пополам, держась за живот, судорожно глотая ртом воздух, который никак не попадал в легкие. Пощечина заставила его резко повернуться вправо.

– Похабник! Бог не смилуетя над тобой. Смерть тебе!

Далмау попробовал разогнуться. Но тело не слушалось, и он весь сжался в ожидании очередного удара. Вместо этого прозвучал выстрел; не громовой, раскатистый, а какой-то дребезжащий. Далмау даже не понял, что стреляют; а нападавшие – да.

– Нас атакуют!

Еще выстрел. Нападавшие удрали, на прощание стукнув Далмау по затылку и пригрозив ему:

– Мы еще вернемся, сукин ты сын. Ты оскорбил Бога, его служителей и его паству, это не сойдет тебе с рук. Тебе конец.

Они исчезли в тумане. Далмау наконец выпрямился, отдышался и прислонился к стене, когда к нему подбежали два молодых бойца. «С тобой все в порядке?» «Тебя не покалечили?» Его забросали вопросами, принялись ощупывать, расстегнули пальто, дабы удостовериться, что он не ранен.

– Все в порядке, – успокоил их Далмау. – Кто вы? – все-таки спросил, хотя, наверное, и знал ответ.

Его довели до дома, наперебой давая советы. «Не ходи никуда без нас». «Кто-то всегда будет рядом, или у твоего дома, или у Дворца». «Как это – почему? – удивился вопросу один из них. – Потому, что Леррус так велел. Чтобы мы за тобой присмотрели, защитили тебя». В Народном доме Далмау предупредили: католики могут напасть на

него из-за картины. Надо соблюдать осторожность. Все было так, как в первый раз, когда Маравильяс явилась перед ним и пересказала разговоры, которые слышала на церковной паперти в Барселонете. И сейчас он несколько дней осторожничал, не так долго, как после предупреждения *trinxeraire*, а потом расслабился. К счастью для него, «молодые варвары» не зевали.

Ни в одной газете не появилось сообщения о перестрелке в Сан-Пере. Несколько выкриков и пара выстрелов – не новость для города, где в течение 1907 года на улицах взорвали семнадцать бомб и двадцать один человек погиб. Полиция не в силах была остановить террор, который, по общему мнению, устроили анархисты, и даже приказ держать консержку в каждом подъезде, чтобы туда не могли подложить бомбу, трудно было назвать действенной мерой. И домовладельцы не нанимали консержек, и бомбы подкладывали не только в подъезды; излюбленными местами для террористов стали общественные туалеты на Ла-Рамбла; их в конечном итоге убрали, дабы избежать покушений. Ввиду подобного бессилия властей ассоциации промышленников и корпорации потребовали создать частную полицию, помимо государственной, управлявшейся из Мадрида, и в этом году замысел воплотился в жизнь; был нанят инспектор из Скотланд-Ярда, Чарльз Арроу, который не говорил ни по-кастильски, ни по-каталански, однако создал Бюро криминальных расследований с персоналом, явно недостаточным для такого города, как Барселона, и без каких-то особых компетенций; как и предсказывали газеты, Бюро продержалось недолго и не добилось особых успехов.

И если англичанин Арроу был призван спасти Барселону, то Эмма, как считали все, должна была заботиться о спасении Далмау, поскольку «молодые варвары» – телохранители сообщали ей обо всем, что творилось вокруг художника.

– Зачем вы мне все это рассказываете? – в ярости накричала она на ребят, когда те пришли к ней с докладом в вечер перестрелки.

Молодые бойцы заколебались.

– Ты ведь наш командир, – объяснил наконец один.

– Приказ Лерруса, – уточнил другой, пожимая плечами.

– Приказ Лерруса, – подтвердил Ромеро, когда Эмма побежала вверх, в кабинеты, чтобы выяснить все до конца.

– Но я тут ни при чем. Почему Висенс не займется этим?

– Приказ Лерруса, – повторил секретарь, уже собираясь захлопнуть дверь перед ее носом. – Пожалуйся ему, своему папочке, – добавил с насмешкой.

Эмма знать ничего не хотела о Далмау, который вихрем ворвался в ее жизнь. Вспоминала, как искренне он расхваливал ее на открытии картины, как был настойчив, несмотря на брань; но чаще всего на ум приходило его внезапное появление в разгар стычки с католиками. Губы Эммы невольно изгибались в улыбке, когда она вспоминала, с каким пылом и как неловко Далмау бросился в битву. С криком накинулся на карлиста, выставив вперед кулаки. Попытался нанести удар, но противник легко уклонился. Эмма испугалась, что карлист на нем места живого не оставит, но «молодые варвары» пришли на помощь. Потом он радовался как ребенок, шагал в обнимку с бойцами и республиканцами, такой довольный, будто один обратил врагов в бегство. Эмма неистово затрясла головой: еще чего не хватало – улыбаться, испытывая чувства, которые лучше от себя прогнать. Она была не готова к каким бы то ни было отношениям, все тело ее напрягалось при одной мысли. Тысячу раз отреклась она от мужчин! Ее едва-едва оставили в покое благодаря прилюдно высказанному уважению и поддержке Лерруса, а Энграсия, другая повариха второго класса, во всех подробностях передала Эмме визит Хосефы в кухню.

Теперь никто ее не беспокоил. Эспедито смотрел на нее как на пустое место, но все прочие с ней обращались любезно, даже ласково, будто она только что прошла через крайне суровое испытание. С Хосефой она это не обсуждала. Когда Энграсия рассказала ей о поступке Хосефы, кровь у Эммы вскипела, она тотчас же побежала бы на улицу Бертрельянс требовать объяснений, по какому праву мать Далмау вмешивается в ее жизнь, но гнев, помрачивший рассудок, проходил по мере того, как она готовила рыбный суп. Несколько золотистых скорпен, лучшие рыбы из всех, живущих в скалах, – колючие, а такие вкусные, они должны быть мелкие, чтобы совершенно разварились в кастрюле, поставленной на огонь; три морских черта солидных размеров. Эмма вынула уже сваренных морских чертей и процедила бульон. Хосефа это сделала из лучших побуждений, думала она, вынимая колючки и хребет из морского черта и отбирая мякоть. И добилась своего: теперь ее, Эмму, уважают.

Процедив бульон и очистив морских чертей, она поставила обжариваться лук и помидоры, а сама занялась приправой: кедровые орешки, миндаль, чеснок, хлебные крошки, петрушка, немного шафрана и последний штрих, придающий блюду изысканный вкус: печень морского черта. И потом, думала она, пока машинально толкла приправу, коснуться этой темы означает признать проблему; конечно, обе женщины знали о ней, но никогда не облекали в слова; Хосефа уважала ее личную жизнь и решения и никогда ни в чем бы ее не упрекнула. Эмма положила в бульон рыбу, зажарку и приправу, покипятила немного, чтобы все схватилось, потом поджарила хлеб, который подавался к супу. Она любила Хосефу, эта женщина ее приняла как родную дочь и обожала Хулию настолько, что, поступившись принципами, попросила помощи у Церкви.

Ночью, когда Эмма вернулась домой и застала Хосефу за швейной машинкой, она всего лишь улыбнулась, поцеловала мать Далмау в лоб и упростила прекратить работу. Ни ее набег на кухню, ни Эспедито, ни новое положение Эммы они обсуждать не стали. Эмма забрала из рук Хосефы шитье, и они стали болтать о Хулии, которая мирно спала в другой комнате.

С того дня Эмма почувствовала себя свободной: работа позволяла ей содержать дочь, ее окружала семья, и уже не было мужчины, который мучил ее и не давал проходу. Поэтому она не хотела улыбаться, вспоминая, как неуклюже набросился Далмау на карлиста; она хотела только забыть страхи и обиды, чтобы можно было жить дальше.

Маральяно позволил ему остаться до открытия Дворца музыки, которое предполагалось через пару месяцев, в феврале 1908-го. Он хороший работник, отдал должное итальянец, но его ссора с Грегориной плохо повлияла на атмосферу в мастерской. «Эту девушку почти все очень любят», – добавил мастер и был вынужден признаться, что шумный успех Далмау среди республиканцев может испортить отношения мозаичиста с работодателями.

– Надеюсь, ты выбрал верную сторону, – заключил Маральяно, вроде бы желая ему добра, хотя под пожеланием и таился упрек.

Далмау немного подумал. Он мог бы ответить, что никто не помог ему примкнуть к другой стороне, к которой принадлежали и учитель, и

остальные художники, и выразился бы порезче, чем мозаичист с его тонкой инвективой, но решил не ворошить прошлое. Это не его мир, и он совершил ошибку, пытаясь туда проникнуть.

– Я на той стороне, какая мне подходит: на стороне наемных рабочих и ремесленников.

На том все и завершилось. Маральяно понял намек, кивнул, поджав губы, и пожелал ему удачи.

Далмау остался стоять посередине небольшой сцены, предназначенной исключительно для оркестра и хора, такого как, например, Каталонский Орфеон. Великолепный, величественный орган нависал над ним почти угрожающе; он был установлен на втором ярусе, за его спиной, а под ним работники Маральяно уже заканчивали выкладывать мозаикой одеяния муз и *тренкадис* на плоскости фронтальной стены. Но больше всего мастеров впечатляло огромное световое окно, которое знаменитые витражисты Риго и Гранель установили над залом. Работа исключительная, несравненная, в чем сходились все знатоки. Когда сняли леса и прочие опорные сооружения, окно воссияло: четырехугольник в шестьдесят квадратных метров, составленный из двух тысяч шестисот круглых разноцветных кусков стекла, среди которых выделялись красные и охристые; а сама конструкция слой за слоем спускалась к партеру. Иные сравнивали ее с опрокинутым куполом, глобусом или колоколом, с пламенеющим солнцем или зажженной лампой. Некоторые даже осмелились разглядеть в ней грудь одной из сорока девушек, чьи неяркие лица обрамляют четырехугольное окно, словно некий хор ангелов. Далмау же видел в этой нависающей над публикой конструкции из разноцветных дисков огромный сосок: через него девушки насыщали светом зрительный зал.

Световое окно замыкало собой напоенную лучами вселенную, какую задумал Доменек. Зрительный зал был выстроен как хрустальная шкатулка: через тысячи стекол в свинцовой окантовке, искусно расписанных как на стенах, ниспадающих кулисами, так и на потолке, свет, окрашенный в разные тона, изливался в храм музыки. Свет и звук должны были соединиться в одно невообразимое целое в прихотливо декорированном, блистательно скомпонованном пространстве.

Строительство завершалось, и срок работы Далмау подходил к концу, а вместе с тем и эпоха модерн, обновившая концепции и критерии, пробудившая общественный вкус, до той поры приверженный к неоклассицизму, если не к откровенной банальности. Наряду с Дворцом музыки еще воплощались в жизнь два великих проекта стиля модерн: храм Саграда Фамилия Гауди и больница Санта-Креу-и-Сан-Пау Доменека. Кроме того, закончив дом Бальо, Архитектор Бога уже два года воздвигал новое здание на Пасео-де-Грасия – дом Мила, прозванный также Ла Педрера, Каменоломня, здание, где камни фасада, наличники окон, балконы, стены и колонны изгибались, приходили в движение, жили собственной жизнью; к этому прибавлялись и замысловатые переплетения балконных решеток. То же самое – в интерьере: комнаты неправильной формы, лабиринты коридоров и внутренних дворов, всегда изогнутые, волнообразные, извилистые. Говорили, что это – последняя светская постройка Гауди, потом он полностью посвятит себя храму Саграда Фамилия. Далмау слышал от кого-то, что супруга владельца, сеньора Мила, жаловалась, что не может найти ни одной вертикальной стены, чтобы поставить фортепьяно, на что высокомерный Гауди посоветовал ей играть на флейте.

Далмау не знал, правдива ли эта история, но понимал, что Гауди достиг своей цели: оживить камень, заставить его прийти в движение. Однако это последнее здание в стиле модерн, воздвигавшееся в Барселоне на Пасео-де-Грасия, не одобрили ни горожане, ни интеллектуалы: над ним насмехались, его подвергали яростной критике, предвосхищая, во всяком случае в области архитектуры, уже с 1906 года проявившее себя в культуре и в искусстве новое движение, которое философ и писатель Эужени д'Орс назвал «новесентизмом». Речь шла о том, чтобы создать художественное, литературное, даже архитектурное течение, связанное с политикой, а именно с крайним каталонским национализмом; злободневное искусство общественного звучания. Совершался переход от взрыва индивидуальной творческой фантазии, от волшебства модерна к разуму, стабильности, порядку и гармонии, с опорой на средиземноморские традиции, чтимые каталонским народом. В архитектуре это означало возврат к классицизму и пропорциям золотого сечения. Художник терял независимость, встраивался в структуру каталонского общества,

работал на его благо, как создавая свои творения, так и участвуя в культурных инициативах.

В конце концов, подумал Далмау, он сам пришел к тому же, только служил не каталонской идее, а рабочему классу. Свободу индивидуального творчества, позволявшую ему писать все, что душе угодно, как в случае с «Мастерской мозаики», сменила политическая цель: воспламенить народ, направить его против Церкви; точно так же «новесентисты» внедряли в сознание людей национальные ценности.

9 февраля 1908 года, в день торжественного открытия Дворца каталонской музыки, Далмау удалось слиться с тысячами счастливых, получивших туда доступ. Нужно кое-что исправить, сказал он на входе, да, конечно, можете спросить у мастера Маральяно, хоть бы и у самого Доменека. «Идите спросите, – настаивал Далмау, – но вот если отвалится кусок мозаики...» «Да ладно вам, ладно! – говорил уже перед двумя хмурыми стражами, которые не пропускали его через служебный вход. – Думаете, мне больше нечем заняться в воскресенье? Черт, идите спросите у кого-нибудь, и дело с концом». Они не пошли. Вместо того попросили у Далмау пропуск и записали имя. «Если ты соврал, будешь иметь дело со мной», – пригрозил один. Далмау безразлично пожал плечами. Стражи расступились.

Представители власти произнесли речи, епископ освятил здание, и Далмау, стоявшего за последним рядом кресел третьего яруса, захватила музыка, исполняемая оркестром Берлинской филармонии под управлением Рихарда Штрауса, и пение Каталонского Орфеона; инструменты и голоса впервые грянули в зал, наполнили его до отказа, поражая слушателей, потрясая их, соединяя звуки с пронзающим зрением эфемерным сиянием. Далмау слушал, затерявшись в потоках света, который, присоединяясь к оркестру и хору, проникал сквозь стены и крышу, тихий и сверкающий, расцветивая всеми оттенками палитры голоса и ноты, бросая их в зал горстями сказочных искр. Волшебство дополняли произведения искусства, окружавшие сцену: изразцы переливались на свету; кованое железо, изысканно изогнутое, вторило музыке, бросало ей вызов, приглашало войти в лабиринт; камень сдерживал необузданность чувств, норовивших поглотить пространство; музы и изваяния улыбались и пели. У Далмау захватило дух. Концерт продолжался с еще большим, если это возможно, блеском и великолепием, но сердце у Далмау тревожно сжалось: его охватило

гнетущее ощущение, что здесь, в вершинном творении каталонского модерна, целая эпоха подходит к концу.

То, о чем он слышал, что уже проявлялось в литературе, живописи и скульптуре, воплощалось в чаяниях тысяч людей, которые во имя политики стремились преобразовать искусство. Каталонский национализм побеждал. Не будет больше ни движущихся камней, ни разноцветных поцелуев, ни картин, овеянных туманом, который подстегивает воображение зрителя.

Огорченный, он покинул Дворец музыки задолго до окончания концерта. Скульптурная группа, которая, словно фигура на носу корабля, высилась на стыке двух фасадов, осталась за его спиной, когда он направился по улице Сан-Пере-мес-Алт. Впереди всех парила в воздухе девушка, символизирующая каталонскую музыку: волосы раздувает ветер, туника плотно облегает тело; рука воздета, будто и в самом деле рассекает волны; вокруг нее каталонский народ, показанный в представителях разных ремесел; а выше всех, с мечом в одной руке и каталонским флагом в другой, в доспехах и шлеме – святой Георгий, покровитель Каталонии.

Несколько лет проработал Далмау в этом волшебном здании, которое тем не менее уже подвергалось критике со стороны рационалистов, неспособных понять и тем более прочувствовать столь щедрое проявление творческих сил. И ремесло плиточника Далмау оставил позади. Как только Маральяно объявил, что собирается расстаться с ним, Далмау начал паломничество по всем керамическим мастерским и фабрикам Барселоны, большим и маленьким, значительным и скромным. Никто не предложил ему работы. «Кризис». «У нас и без того много работников». Хотя в одном месте истинная причина раскрылась: «Если в мире керамики кто-то и числится в черном списке, так это ты, Далмау Сала». Дон Мануэль, как выяснилось, оказывал давление: это было изложено открытым текстом. «Да, он приходил сюда, говорил с хозяином. Да, о тебе». Но не только бывший учитель подговаривал коллег по профессии не нанимать его; другие архитекторы, почти все связанные с Обществом Святого Луки, позаботились о том, чтобы перед Далмау закрылись все двери. По правде говоря, большинство этих архитекторов, прорабов и промышленников были католиками, а если нет, то прикидывались таковыми, а если и не были, и не прикидывались, то заигрывали с

каталонскими националистами или, на худой конец, с консерваторами; такие идеи и намерения вступали в противоречие с деятельностью Далмау в пользу рабочих и с его антиклерикальной позицией; о его тенденциозной картине раструбила пресса, началась дискуссия: одни восхваляли художника, другие обливали его грязью.

Так что он уже давно решил поискать работу в других сферах, наняться хоть бы и подсобным рабочим или уборщиком, работником самой низшей категории на тех участках строительства, которых до сих пор не знал. Зарплата не волновала его: лишь бы хватало на еду, и можно было дальше работать над картиной в комнате, выходящей на террасу, где женщины сушили белье. Эти картины стали целью всей его жизни, через них он боролся с Церковью, с той властью, какую она представляла и какую со всей жесткостью осуществляла, в данный момент отказывая ему даже в куске хлеба. И здесь он не нашел места: никому не нужны были лишние рабочие, тем более без опыта. «Можете платить мне по своему усмотрению», – пытался он убеждать первых хозяев, к которым приходил. Потом уже так не делал: эти первые смеялись, иные хохотали безудержно, а иные – цинично. «Мы и так платим по своему усмотрению, – единодушно отвечали они, – а кому не нравится, пусть идет бастовать».

Далмау уже начал впадать в отчаяние, когда однажды утром Эмма навестила его. Остановила на улице Сан-Пере-мес-Алт; молодой боец, сопровождавший ее, стоял в сторонке, а слова заглушались грохотом и лязгом: завершалась работа над скульптурной группой, или фигурой на носу корабля, то есть Дворца музыки. Далмау почувствовал, что кровь быстрее бежит у него по жилам. «Не слышу», – сказал он, одной рукой показывая на ухо, а другой инстинктивно хватая Эмму за локоть, чтобы вывести из толпы.

Эмма отпрыгнула назад при одном прикосновении.

– Не трогай меня!

– Прости, – извинился Далмау, когда они отошли подальше от шума. – Я не хотел ничего такого...

– Оставь, – перебила она.

– Оставить? Нет, мне бы хотелось продолжать. – (Эмма нахмурилась, ушла в глухую оборону.) – Не оставлять, а снова видаться с тобой. Завтра и послезавтра...

Сердце бешено билось, заставляло продолжать, выложить желания и чувства, пробудившиеся при одном только взгляде.

– Далмау... – Эмма вздохнула. – То, что между нами было, давно умерло.

– Неправда, ведь мы-то живы, – ответил он. – А раз мы живы, почему бы не...

– Потому, Далмау, потому, – снова перебила она. – Может, мы и живы, но во мне столько всего умерло... – Она так долго унижалась перед Эспедито, что это разъедало ее изнутри, не допуская даже мысли о мужчинах. Стоило лишь вообразить соитие, как она сгорала от стыда, чувствовала себя грязной, омерзительной, и извращения повара приходили на память, сковывая тело и дух, не способный сопротивляться. Ладно, стоит попробовать. Она глубоко вздохнула. Изгнала часть своих демонов и задышала ровней. – Смерть, – шепнула она Далмау, – не приходит внезапно; да, иногда так случается, но чаще всего она наступает постепенно, крадет счастье, дружбу, достоинство и под конец наносит роковой удар. Не думаю, чтобы ты понял, Далмау, – добавила она, видя, как он встрепенулся, изумленный, – но это так. Что бы то ни было, я пришла сюда не затем, чтобы вести разговоры о смертях и невозможной любви.

Хосефа рассказала ей о тяжелом положении сына: он никак не мог найти работу. Республиканцы, Леррус в первую очередь, должны ему помочь, убеждала женщина Эмму в тот же вечер, когда сам Далмау признался ей. Он не берет платы за живопись и не станет брать. Это – его вклад в борьбу; другие умирают с голоду или ставят под удар благополучие детей и жен. Работу у мозаичиста он потерял в том числе из-за своей политической деятельности, та же самая позиция не дает получить другую работу. Республиканцы должны как-то отреагировать, они пользуются влиянием, и к тому же это в их интересах: если Далмау будет нечего есть и нечем платить за комнату, он не напишет картину.

– Ты мог бы получить работу в одной из муниципальных бригад, которые займутся сносом домов, чтобы проложить проспект от этого места, где мы стоим, до самого моря, – предложила Эмма, предварительно оговорив, что беспокоилась за него и пришла сюда по просьбе Хосефы. – Предполагается, что работы по сносу начнутся где-то через месяц. Тебе интересно?

Далмау знал об этом проекте, проспект начнут, когда король Альфонс XIII приедет в Барселону, чтобы открыть строительство. Речь шла об одном из трех проспектов, предусмотренных Серда в его плане; ни один еще не был проложен. Этот, под названием Виа-Лайетана, станет первым и соединит новый город с портом. Снесут более шестисот домов, а их обитателей выселят в жалкие бараки, без канализации и прочей заботы о гигиене, наспех построенные прямо на берегу или на склоне горы Монжуик.

– Это проект для богатых, – ответил он. – Великому множеству рабочих семей придется выехать из своих домов в убогие хижины в гиблых местах. И все для того, чтобы капиталисты и буржуи могли быстрее добираться до порта и понастроили себе шикарных домов на новом проспекте.

– Верно, – согласилась Эмма, – но это единственное, что мне предложили. Республиканцы пользуются влиянием в городской управе.

– Не знаю, Эмма, – колебался Далмау, такой проект городской застройки ему претил. – Мне нужна работа, но не хочется быть частью такого безобразия.

– Значит, тогда... – начала Эмма.

– Я подумаю, но предупреждаю: если найду другую работу, сколь угодно скверную, соглашусь не раздумывая.

Несколько мгновений они стояли молча, стараясь друг на друга не глядеть.

– Тебе решать.

– Хочешь посмотреть, как продвигается картина? – к ее изумлению, вдруг спросил Далмау.

– И познакомиться с двумя бабами, которых ты ублажаешь? – невольно вырвалось у Эммы. Далмау побледнел и перевел взгляд на молодого бойца, который чуть поодаль убивал время, гоня по мостовой воображаемые камешки. – Нет, не хочу, – вернула его к реальности Эмма. – Увижу картину, когда ты будешь вручать ее Народному дому.

– Эмма... – хотел было повиниться Далмау.

– Ты не должен мне ничего объяснять, – прервала его та.

Она не хотела вступать с ним в какие бы то ни было отношения, и все-таки личная жизнь Далмау задевала ее, и от такого мучительного,

глубинного противоречия она никак не могла избавиться. В любом случае у нее не было никакого права обсуждать его развлечения, сказала она себе, и надо же было так легкомысленно, делая вид, будто ей нет ни малейшего дела, заговорить о любовных похождениях Далмау.

– Надумаешь насчет работы – скажешь, – без околичностей распрощалась она.

Эмма тысячу раз обещала себе никогда не упоминать об отношениях Далмау с другими женщинами, и вот пожалуйста – при первом же случае стала упрекать. Вышло невольно, из самых потаенных глубин, будто отточенное лезвие, скрытое внутри, вдруг выскочило, чтобы ранить. Вот только кого? Разве Далмау не имеет права ложиться в постель, с кем ему угодно?

Когда два молодых бойца, из тех, что охраняли Далмау, хихикая и отпуская соленые шуточки, передали ей сплетни насчет отношений художника с двумя соседками, Эмма ощутила внутри пустоту, будто все органы внезапно сжались. Тетки в квартале болтали об этом. «Может, и больше, чем с двумя!» – вскричала беззубая старуха, которая только и делала, что целыми днями сидела на стуле у кромки тротуара, лущила фасоль или горох, чистила картошку и выбирала камешки из чечевицы или бобов. «Вот дура!» – честила себя Эмма. Но опыт, пережитый с Далмау, и иллюзии юности возвращались с удвоенной силой, словно стремясь одолеть убожество и непристойность, на какие судьба ее обрекла. И все-таки искры надежды позволяли ей предаваться мечтам, хотя бы на одно мгновение, которое в душе ее длилось бесконечно, пока не возвращались Тручеро и Эспедито, и тогда Эмма содрогалась или плакала в одиночестве, наблюдая, как пропитываются ядом самые заветные ее чаяния.

Тручеро знаменовал собой начало ее падения; она покорилась, но тот мужчина ограничивался обычным сексом, разве что выставлял ее напоказ, хвастался их связью. Потом нашел для нее хорошо оплачиваемую работу, которую другой, Эспедито, поставил под угрозу, пока она не подчинилась. С поваром она перешла все пределы стыда и унижения. Нормальный акт затрудняло огромное брюхо вкупе с крохотным пенисом. Да, иногда у них получалось, в невероятных позах, с помощью скатанных в рулоны скатертей, но такие потуги,

мучительные, если не смехотворные, наводящие на мысль о бессилии, смущали и раздражали повара. В большинстве случаев, призвав ее, Эспедито использовал кухонную утварь. Пестик из ступки, чем объемистей, тем лучше; ручка шумовки или черпака – все годилось, чтобы заталкивать в вагину или в прямую кишку Эммы... Или же требовал, чтобы она сосала ему член или задний проход, вылизывала пузо или круглые валики отвисшей груди. Потом, в кухне, ухмылялся, пользуясь теми же предметами, даже не помыв их, или облизывал пестик, делая вид, будто пробует приправу.

– И зачем вы рассказываете мне о его похождениях? – прогоняя из памяти постыдные сцены, рявкнула Эмма на парней.

– Затем, что, похоже, его придется защищать и от рогатых мужей, – захохотал один из них, ничуть не испугавшись тона командирши.

Эмма опомнилась, развела руками.

– Нет... Ну, не знаю! – скорбно проговорила она.

– О, – вмешался другой боец, – если его застукает один из козлов рогатых, а то и двое сразу, мы останемся без художника и без картин для Народного дома, а это не понравится Леррусу... да и всем прочим.

– Ну так защищайте его и там, – согласилась Эмма. – Охраняйте как следует.

У Лерруса и без того довольно проблем, подумала Эмма, не хватает еще, чтобы пара рогоносцев задала взбучку его художнику. Он действительно, как и объявил после того, как его исключили из Республиканской партии, в январе 1908-го, создал новую республиканскую организацию – Радикальную партию. Но уже через месяц был вынужден бежать из Испании и укрыться в Португалии, поскольку суд приговорил его к тюремному заключению за публикацию подрывных стихов. Партия и политическая борьба оказались в руках молодых экстремистов, сторонников насилия, таких как Тручero, к которому Эмма обратилась по поводу новой работы для Далмау, опасаясь, не скажется ли бегство Лерруса на ее положении, но бывший любовник оказал ей такой прием, что все сомнения рассеялись, да и в кухнях ничего не изменилось: даже на расстоянии Леррус оставался лидером, а решения его беспрекословно выполнялись.

Тручеро уже не появлялся с блондинкой, сменившей Эмму; она видела его то с одной, то с другой дамой в ресторане Народного дома, но поговаривали, будто между ними и партийцем нет ничего серьезного. Может быть, поэтому он опять попытался соблазнить Эмму. «В память добрых былых времен», – шепнул ей на ухо нежно, словно не желая выходить за рамки, поглаживая ей спину. «Коленом по яйцам!» – подумала тогда Эмма. Он согнется пополам. Завопит от боли. Мужчина стоял перед ней; всего-то поднять коленку и врезать со всего размаха.

– Если ты об этом, забудь, – прошептала Эмма, отказавшись от удара коленкой. – Я никогда с тобой не испытывала наслаждения. Любовник из тебя никакой. – (Тручеро застыл.) – Но не беспокойся, – продолжала она, – я никому не скажу. Не устрою товарищу такую подлянку.

Начало строительства новой городской магистрали, призванной связать Эшампле, район, задуманный Серда, с Барселонским портом, было ознаменовано торжественной церемонией, которая состоялась в один прекрасный вторник марта 1908 года в присутствии короля Альфонса XIII, многочисленных официальных лиц и толпы горожан, куда затесались и Эмма с Хосефой. Прозвучали речи, монарху вручили серебряную кирку, и под звуки королевского марша он встал с кресла, сошел с королевской трибуны, одной из пяти, установленных по этому случаю, направился к зданию, которым владел маркиз де Монистрол – дому номер 71 по улице Ампле, – и ударил по камню; тот мгновенно поддался и выпал из стены.

– Какого черта они аплодируют? Вот идиоты, – обругала Эмма толпу.

– Это их король, – отозвалась Хосефа.

Они пришли туда по той простой причине, что Далмау так и не принял работу, в результате которой тысячи простых людей потеряют свои дома. Хосефа знала, что, хотя Эмма и предложила ему такой вариант, Далмау продолжал искать что-то другое. И не нашел, что вынужден был признать за обедом в минувшее воскресенье. Но и не сказал, что пойдет в муниципальные бригады, и с тех пор его нигде не видели.

– Вот он, – объявила Эмма, когда одна из муниципальных бригад, дефилирующих перед королем, подошла ближе.

Хосефа пыталась рассмотреть его. Не получилось. Зрение подводило, шутка ли – шить от двенадцати до четырнадцати часов в день. И все-таки она кивнула, скривившись. В глубине души она хотела, чтобы Далмау отказался от работы, которая загонит тысячи людей в бараки на морском берегу, но положение сына, похоже, поистине отчаянное, раз он записался в бригаду по сносу домов. Хосефа переживала, а толпа приветствовала рабочих, будто солдат, одержавших победу на войне. Мизансцена, достойная монарха, почтившего Барселону своим присутствием: перед муниципальными рабочими двигались две повозки, одна запряженная шестью лошадьми, другая – шестью мулами; на мулах и на конях – шелковые, расшитые золотом чепраки, а на повозках – разного рода орудия для разбора зданий. Каждую колонну возглавлял прораб, державший в руке лавровую ветвь, с которой свисала записка с указанием, какой дом бригада должна разрушить, а позади каждой колонны шествовал оркестр. Военные и полицейские были в сверкающих парадных мундирах. Гражданские чиновники – во фраках и цилиндрах, их супруги – в шелках и драгоценностях.

– Смеху подобно! Чудовищно! Недопустимое в наши времена разбазаривание средств, а с другой стороны – оскорбительное подбострастие, – возмущалась Эмма, – как будто мы – рабы.

– Вот она – монархия, – заметила Хосефа, – расточительство, фанаберия, своеволие власти. Потому-то мы и республиканцы.

Эмма глаз не сводила с Далмау, который проходил перед королевской трибуной, еле волоча ноги, понутив голову. Да, республиканцы поддерживали этот проект городской застройки, но как должен чувствовать себя Далмау, предающий своих? Тручеро мог предложить ему другую работу, наверняка была какая-то альтернатива. Но возможно, словесный удар по его мужскому достоинству привел к тому, что партиец предоставил только эту, единственную возможность. Эмма вздохнула. Хосефа так и не могла разглядеть сына, но вздох Эммы расслышала и поняла, что та не в своей тарелке.

– У него нет выбора. Ему нечего есть, – заявила Хосефа. Эмма задумчиво кивнула. Это движение не укрылось от глаз Хосефы. – Тебе тоже было нечего есть, нечем кормить дочку... и меня тоже.

– Что вы хотите сказать?

– Я хочу сказать, что в какой-то момент все мы бываем вынуждены поступиться достоинством, сделать что-то неподобающее ради блага своих близких. Теперь очередь Далмау. До этого была твоя. Пора забыть прошлое.

– Вы не знаете, о чем говорите, Хосефа. Некоторые вещи не забываются никогда.

Церемония завершилась, толпа поредела после того, как король удалился под аплодисменты. Хосефа с Эммой решили обогнуть город по бульвару Колон, ведущему к порту, вместо того чтобы идти по улочкам, где наверняка наткнутся на какую-нибудь бригаду, сносящую дом.

– Все забывается, девочка. Даже смерть любимых, самое большое несчастье, какое может постигнуть нас.

– Хосефа...

– Ты вспоминаешь Монсеррат?

– Да, конечно! – обиделась Эмма.

– Сколько раз на дню?

Несколько шагов они прошли в молчании. В порту не прекращалась суета, царил хаос, весеннее тепло грело душу, пряный запах рыбы возбуждал чувства.

– Не судите меня так строго, – взмолилась Эмма.

– Я не сужу. Как часто ты вспоминаешь Монсеррат? Раз в неделю, возможно? Когда что-то напоминает тебе о ней, верно?

– Хосефа, пожалуйста...

– Она – моя дочь, а со мной происходит то же самое. Я все еще по ночам проливаю слезы, когда скорбь от разлуки одолевает, но шесть лет берут свое, и ее черты понемногу стираются из памяти, остается душевная боль. Повседневность поглощает тебя, и мысли перескакивают с одного на другое по воле случая. И горе, которое мне причинила гибель Монсеррат, поутихло с тех пор, как со мною ты, а особенно Хулия. – Какое-то время они шли молча, под теплым солнышком, в гомоне и терпких ароматах. – Не думаю, чтобы этим я предала память дочери, – заключила Хосефа. – Начни заново, Эмма. Радуйся жизни, забудь!

– Хосефа... – Еще несколько шагов в молчании на фоне гвалта и грохота порта. – Я дошла до того, что даже в фантазиях не могу

сблизиться с мужчиной. Даже одна, в постели, темной ночью не могу забыть. Сама мысль о мужчине, о сексе мне претит. Я вся дрожу, покрываюсь потом, иногда задыхаюсь, как бывало, когда повар, сукин сын, хватал меня за горло и сжимал, сжимал.

– О сексе думать не обязательно.

Эмма расхохоталась, перебив Хосефу.

– Но ведь они-то думают! Только об этом и думают, когда женщина рядом. Мы для них только самки, животные, вы это отлично знаете.

На какой-то момент Хосефе показалось, что ее доводы иссякли. Эмма права, тем более что она такая красивая, привлекательная, чувственная. Проходя, оставляет за собой аромат мускуса, но нельзя позволить, чтобы такая женщина все глубже и глубже погружалась в бездну.

– Хулия подрастает. – Эмма остановилась: что хочет сказать Хосефа? Та поняла, что правда может задеть Эмму. – Твоя дочь уже может понять, что ее мама несчастна. Ты обнимаешь ее, целуешь на ночь, но этого недостаточно! Она без конца задает вопросы – только и слышно: почему, почему. «Почему мама не обедает с нами по воскресеньям? Ей было бы весело с нами и с Далмау». «Почему ее никогда нет дома?» «Почему она не рассказывает мне сказок?» Ты хоть помнишь, Эмма, какую-нибудь сказку для детей? – (На этот вопрос Эмма ответила молчанием.) – «Почему она никогда не смеется?» Этот вопрос девочка задавала много раз. «Почему мама никогда не смеется так, как вы, Хосефа?» И тогда я бросаю игру, чтобы она нас не сравнивала. Если я играю и смеюсь, в проигрыше ты, если я бросаю игру, в проигрыше девочка. Ты должна снова начать смеяться, милая.

Эмма попробовала. Попросила в кухнях больше свободного времени, и ей его предоставили; ее и раньше отпускали, когда она сообщала, что идет громить какой-нибудь митинг или вместе с «молодыми варварами» разгонять молебны и шествия. Ведь она под защитой Лерруса. И она даже стала приходить на воскресные обеды, которыми угощал Далмау. Шел 1908 год, и в одно из воскресений художник сообщил, что скоро закончит вторую картину.

– Он хорошо рисует, мама, – выскочила Хулия, – он и меня нарисовал. А вас? Попросите, чтобы он и вас нарисовал.

– Он уже меня рисовал, девочка моя, – отвечала Эмма, грустно качая головой, вспоминая проклятые рисунки обнаженной натуры.

– Ты получилась красивая?

– Твоя мама получилась красивая, – вмешался Далмау, – такая же, как сейчас.

Хосефа поперхнулась эскудельей, закашлялась, и разговор прервался, пока она не отдышалась, к вящей радости всех окружающих, включая едоков за соседними столиками, которые даже повскакали с мест, чтобы помочь Далмау, когда он хлопал мать по спине. Они снова стали ходить в дешевые столовые, грязные и шумные, где за двадцать сентимо подавали хлеб, вино – скорее, суррогат, произведенный из немецкого спирта, в чем, едва его попробовав, убедилась Эмма, хотя и промолчала, – на первое эскуделью с капустой и картошкой, на костях и с прогорклым салом, на второе язык или какие-нибудь потроха, которые доставали из супа. Далмау зарабатывал мало, гораздо меньше, чем у Маральяно, ведь городская управа наняла его разнорабочим самого низкого разряда, учитывая, что у него нет никакого опыта в строительстве, поэтому плата за комнату и расходы на еду поглощали львиную долю его заработка.

Одолев испуг, еще немного задыхаясь, Хосефа улыбнулась Эмме и Далмау. Потом обратилась к Хулии:

– Да. Твоя мама получилась такая же красивая, как сейчас.

Эмма не хотела смотреть на Далмау, она опустила взгляд на стол. Но в глаза бросились руки Далмау, теперь мозолистые, поцарапанные, в порезах. Они на миг напомнили Эмме руки ее каменщика, пусть и не были такими большими и сильными. Работа Далмау походила на труд Антонио: сносить дома, перетаскивать камни в повозки; как тут не испортишь рук. Он зарабатывал мало, это Эмме было известно, однако Далмау не жаловался. Ему хватало для счастья этих обедов по воскресеньям, его работы, живописи... его вклада в борьбу рабочих, да еще для отрады время от времени – перепихона с соседками-шалавами. Эмма вдруг разозлилась на этих двух баб, которых даже не знала в лицо, но быстро обуздала себя: какая ей разница. А вот изрезанные руки Далмау – проблема: вдруг это помешает ему написать картину.

Ничего подобного не случилось, и Далмау вручил Народному дому вторую картину, такую же, по мнению многих критиков, великолепную, как и первая: в ней тоже пылало здание, предназначенное для культа, на этот раз монастырь, и братия в ужасе бежала от народа, восставшего с оружием в руках.

– Огонь – основной мотив в двух первых картинах, и не сомневайтесь, что он повторится и в третьей, – так начал Далмау речь, которую его попросили произнести экспромтом в Народном доме. Он боялся, что не сможет говорить, но вдруг убедился, что неуверенность и нервная дрожь покинули его и спазм не сжимает горло. Он взглянул на картину. Вот в чем его сила, вот откуда берется уверенность в себе. – Мы должны показать попам, которые пугают паству, грозят ей вечным огнем, что на самом деле нет другого ада, кроме того, где страдаем мы, в нищете, работая на износ, в ужасающих условиях за скудную, унижительную плату; когда дети наши болеют, а денег не хватает на еду и лекарства.

Люди, собравшиеся в зале Народного дома, слушали его чуть ли не в благоговейном молчании. Эмма, на этот раз среди толпы, дрожала от избытка чувств, горло перехватило, и слезы выступили на глазах, но она тотчас же с силой, даже с какой-то яростью смахнула их рукавом блузки, как обидную слабость. Хосефа ласково взяла ее под руку и притянула к себе. Далмау продолжал:

– Этого ада, где мы страдаем, не могут и не должны избежать богачи, буржуи и попы с их молебнами и мессами.

Зал разразился восторженным воплем. Хосефа крепко обняла Эмму, а Далмау сам удивился гневному напору и суровости собственной речи. Но то был его триумф: крики и рукоплескания простых рабочих заставляли забыть о картине, которую дон Мануэль отправил на помойку, о преследовании католиков-консерваторов, обо всех оскорблениях, что нанесли ему эти люди. Здесь его место, здесь он среди своих. Он поздно это понял, но бурные поздравления лидеров новой республиканской партии, основанной Леррусом, который на данный момент скрывался в Аргентине, его окончательно убедили. Далмау взглянул на мать и на Эмму, которые, обнявшись, стояли внизу, в толпе, и улыбнулся им.

Эта вторая картина вызвала такую же полемику, что и предыдущая. Одни газеты за, другие против. Инвективы и

оскорбления, в том числе от Мануэля Бельо. Республиканцы, следуя указаниям Лерруса, подливали масла в огонь, разжигали ярость, которая спланировала народ вокруг партии. Было только одно отличие этого торжества от предыдущего: никаких стычек не завязалось у дверей Народного дома, поскольку полиция оцепила близлежащие улицы.

И теперь осталась последняя картина из трех, которые Эмма, недолго думая, пообещала в виде награды, когда вместе с «молодыми варварами» двигалась к участку Консепсьон, – об этом размышляла она, пока все трое, включая Хулию, ели в ресторане Народного дома в окружении республиканских лидеров, сидевших за соседними столиками. Изысканное меню: рис с зеленью, тушеная телятина, хорошее вино и печеное яблоко на десерт. Далмау ел жадно, торопливо, почти не жуя, а когда опустошал тарелку, Хосефа подкладывала ему из своей. Эмма делала вид, будто занимается Хулией, которая вместо того, чтобы есть, вертела головой во все стороны и задавала вопрос за вопросом; держа вилку перед ротиком девочки, Эмма украдкой взглядывала на Далмау.

Она читала критические статьи: Далмау мастерски владел кистью. Ему покорялись цвета, пространство и свет, а прежде всего – тени. Конечно, статьи, появлявшиеся в католических или каталонистских газетах, были не столь хвалебными, однако в целом, будучи честными, обрушивались не на качество живописи, а на избранную тему: огонь, ад, насилие, призыв к народу восстать против Церкви. И вот этот человек сидел сейчас перед ней и отъедался, поскольку наверняка голодал день за днем. Этого человека она в молодости любила и мечтала прожить с ним всю жизнь. Этот человек упал на самое дно, когда наркотик завладел его разумом, но ему удалось выкарабкаться наверх. Отвергнутый буржуазией, он в конце концов пришел к своим, нашел свой путь, двинулся по нему, не требуя платы, даже не претендуя на это угощение, совершенно неожиданное, которое он вкушал, как бедняк, попавший на банкет: с вытаращенными глазами, зажав хлеб в руке, безостановочно набивая рот.

А она сама? Вилка, которую она держала в руке, пытаясь накормить дочку, выскользнула, и наколотый кусок упал в тарелку. «Мама!» – возмутилась Хулия, хотя до тех пор игнорировала попытки Эммы накормить ее. Эмме было не до упавшей вилки, ее подняла

Хосефа. А она сама? Тот же самый вопрос. Она торговала своим телом. Всего лишь женщина, впавшая в отчаяние, готовая броситься в битву с католиками, каталонистами, с кем угодно, лишь бы уйти от жизни, в которой единственной прелестью была дочка, но и от нее она должна скрывать, что торговала собой, обеспечивая ей лучшее будущее. Если бы она открылась, то сделала бы малютку ответственной за свою ошибку, чего никак нельзя допустить. Эмма подняла взгляд: Хосефа кормила Хулию, и та ела. Эмма улыбнулась дочке и, улучив момент, когда во рту у нее было пусто, принялась ее щекотать.

– Со мной ты не хотела кушать! – шутливо упрекнула ее.

– Нужно больше ласки, – вмешался Далмау, – правда, Хулия?

Эмма поняла, и Хосефа тоже, что упрек был адресован ей, девочка тут ни при чем. Больше ласки? Как давно она не ласкала мужчину?

– Я делаю, что... – вспыхнула Эмма, но дочка перебила ее:

– Моя мама очень ласковая, – изумила всех девочка, – и очень добрая, и она много работает, чтобы у нас с Хосефой был дом и еда.

Уже совсем стемнело. Далмау предложил Эмме пропустить по рюмочке на Параллели: «Как тогда, в молодости».

– Молодость прошла, Далмау, – отказалась она от приглашения.

– Ты не уступишь? – спросила Хосефа, когда они пришли домой.

Нет, не уступит. Она не готова. Ей нравился новый Далмау, скромный, ласковый со своими, посвятивший себя тому же делу, что и она; но тело сопротивлялось.

– Нет, – ответила она Хосефе.

Увлеклась готовкой. Решила вызнать у Феликса рецепты типичных каталонских блюд, какими наполняли желудки республиканцы, посещавшие Народный дом: свиные ножки с репой; курица с писто, улитки с соусом алиоли, все разновидности риса – с уткой, с треской; куропатки по-каталонски, тушеные с чесноком и водкой. И все же чем больше она работала, чтобы избавиться от забот, тем сильнее настаивал Далмау.

– Что творится с вашим сыном? – спросила она у Хосефы. – Он так и не собирается оставить меня в покое?

– Нет, не похоже. Хочешь, я с ним поговорю?

– Да. Скажите, чтобы забыл обо мне раз и навсегда.

– Ну нет! Я думала принести ему хорошую новость: что ты согласишься поужинать с ним или погулять.

– Хосефа!

– Я люблю вас обоих, – сказала та, будто извиняясь.

– Вы знаете, что мешает мне.

– Нет. Не знаю.

– Если бы Далмау узнал...

– Если бы Далмау узнал, – перебила ее Хосефа, – он бы гордился тобой и благодарил тебя за то, что ты сделала ради Хулии... и ради меня, его матери. Не будь так строга к себе, дочка. Ты уверена, что проблема в Далмау? – Эмма вскинула голову и закатила глаза – грубая манера, какую она переняла в кухнях. Но Хосефа все-таки задала вопрос, который так и витал в воздухе. – А если проблема в тебе?

– Что вы имеете в виду?

Хосефа промолчала.

В 1908 году усилился экономический кризис, поразивший прежде всего ведущую в Каталонии отрасль промышленности – хлопкообрабатывающую, которая и так уже несколько лет страдала от перепроизводства, накапливая товары, не находящие сбыта на рынке; прибавилось неуклонное, происходящее в мировом масштабе повышение цен на хлопок-сырец, отчего предприятия работали себе в убыток. В этом году к тому же почти на две трети сократились продажи на Филиппинах, поскольку истек договор с Соединенными Штатами, согласно которому они делили с Испанией заокеанский рынок; добавочным грузом на каталонскую промышленность легло возобновление нового торгового договора с Кубой, срок старого истекал в 1909-м. Старинные, почтенные компании по импорту хлопка-сырца обанкротились, вслед за тем лопнули коммерческие банки. Фактории и посреднические фирмы тоже не выдерживали сокращения рынков и объявляли себя несостоятельными.

Сначала текстильные магнаты пустились на поиски новых рынков, где можно было закупать дешевый хлопок, и нашли таковой в Индии; хлопок был худшего качества, но его смешивали с американским; а затем владельцы предприятий сделали то, чего боялись рабочие: начали сокращать персонал. Сорок процентов мужчин и тридцать процентов женщин, занятых в этой отрасли в Барселоне и в долине реки Тер, были уволены, а остальным урезали зарплату и увеличили рабочий день до двенадцати часов. Иные

прекращали производство, закрывали предприятие и якобы продавали его братьям, сватям и разного рода доверенным лицам, чтобы разорвать трудовые договоры с персоналом и навязать новые, гораздо более тяжелые условия труда; в случае, если работники не соглашались, их заменяли штрейкбрехерами, готовыми работать за гроши.

Огромная масса рабочих скатилась в нищету, и речи о новой всеобщей забастовке зазвучали в выступлениях политиков, на собраниях рабочих обществ.

Атмосфера ощутимо накалялась. В октябре 1908-го гужевики Барселоны объявили забастовку в защиту своих прав. Подрядчики и транспортные агентства не пошли на уступки, уволили работников и заменили их штрейкбрехерами. Насилие не замедлило явиться. Бастующие убили одного штрейкбрехера, в ответ полиция развязала террор, защищая предпринимателей. Эмма повесила на гвоздь свой кухонный фартук и, провожаемая отрешенным вздохом Феликса, присоединилась к бастующим гужевикам, «молодым варварам» и безработным, которые с оружием в руках носились по городу, останавливая повозки, грозившие сорвать забастовку.

Товары скапливались в порту и на железнодорожных вокзалах, а значит, там могли появиться гужевики. Эмма и ее «молодые варвары» со всей решимостью туда и направились. Среди республиканцев прошел слух, что штрейкбрехеров видели неподалеку от будущей Виа-Лайетана, где сносили дома. Еще несколько дней забастовки, и обломков накопится столько, что станет невозможно продолжать работы.

– Вперед! – приказала Эмма бойцам.

Среди полуразрушенных зданий, на мостовой, загроможденной строительным мусором, муниципальные бригады поспешно загружали обломки в три телеги, запряженные мулами; строительных рабочих, штрейкбрехеров и мулов защищали конный отряд жандармов и несколько пеших агентов с ружьями. Эмма поискала глазами Далмау, но не нашла. Возможно, ему повезло и он работает над сносом другого дома, дальше по улице. Поскольку она на мгновение замешкалась, один из командиров юных бойцов опередил ее:

– В атаку!

Стычка была неистовой. Кони среди мусора не могли развернуться, спотыкались и падали. Бастующие во много раз превосходили полицейские силы, и через пару секунд на стражей порядка обрушился град камней. Раздались выстрелы. Эмма направила отряд на возчиков-штрейкбрехеров, которые срывали забастовку.

– Ублюдки! Предатели! – кричала она и бежала следом, прямо на конный отряд жандармов, призванный защищать штрейкбрехеров.

Пришлось замедлить шаг и отойти в сторону: камни, которыми товарищи забрасывали неприятеля, чуть ли не попадали в нее.

– В атаку! В атаку! – кричала Эмма, вне себя от ярости.

Как коннице было не развернуться среди обломков и полуразрушенных стен, так и пешие агенты вынуждены были уклоняться от камней, летевших им в головы, и не до того им было, чтобы целиться и стрелять. А стачечников становилось все больше: окрестные рабочие спешили поддержать товарищей, борющихся за свои права. Пока одни сдерживали жандармов, другие распрягли мулов, которые в страхе ускакали; потом, даже не разгружая повозок, их перевернули и подожгли. Теперь следовало отступить: скоро явится подкрепление. Эмма все еще всматривалась в побоище, стараясь разглядеть Далмау, и наконец увидела его: он стоял, прижавшись к стене, укрываясь от камней, которые бросали бастующие.

– Отбой! – слышались голоса среди активистов. – Уходим!

Забастовщики и республиканцы подчинились и побежали врассыпную по переулкам старого города, который сносили, на радость богачам и буржуям. Прекращение атаки и камнепада подстегнуло жандармов, те подстегнули коней и бросились вдогонку за нападавшими. Эмма вдруг очутилась одна рядом с пылающей повозкой. Глядя на Далмау, она замешкалась на несколько критических секунд: те жандармы, которые не погнались за стачечниками, готовились оцепить зону. До Эммы доносились команды офицеров, ругань агентов, обещания отыграться по полной; она присела на корточки, скрываясь за горящей повозкой: если ее обнаружат сейчас, может случиться все, что угодно. Она слышала крики раненых, оставших забастовщиков или республиканцев, и сердце у нее сжималось. Жандармы догоняли их и чинили жестокую расправу. Эмма вскочила на ноги.

– Ты, глупенькая, куда собралась? – Ее схватили за руку, снова пригнули к земле, заставили спрятаться за стеной огня.

Далмау был рядом. Даже в такой ситуации Эмма попыталась вырваться. Но Далмау удержал ее и несколько раз встряхнул, не прекращая увещевать шепотом:

– Хочешь, чтобы тебя задержали и отдали под трибунал? Это жандармы. Под военным командованием. Сначала тебя избьют, потом... потом – сама можешь представить, что можно сделать с такой женщиной, как ты, а напоследок приговорят к нехилому сроку.

Крики и стоны раздавались все чаще по мере того, как агенты находили раненых забастовщиков. Некоторые звучали глухо, но наводили не меньше ужаса. Эмма представляла себе, как товарищ, стиснув зубы, терпит до последнего, чтобы не доставить полицейским удовольствие, не дать насладиться его мучениями. Слышались и другие крики, никак не сдерживаемые, душераздирающие. Жандармы, зажатые между обломками домов, потерпели серьезное поражение, многие камни попали в цель, среди агентов было немало раненых. И сегодня они не были готовы прощать.

– И что, по-твоему, я должна делать? – отвечала Эмма, падая духом: крики не прекращались. Если бы она могла вступить в борьбу, броситься на врага, кровь и ярость ослепили бы ее, но тут, в укрытии, безоружная, она ощутила себя всеми брошенной, бессильной.

– Пошли.

Далмау не дал ей времени на раздумья. С силой потащил за собой на открытое пространство, отделявшее их от наполовину снесенного дома. За их спиной кто-то закричал: «Сюда!», «Убегают!», «Ловите их!». Это бегство – безумие, думала Эмма, вслед за Далмау перепрыгивая через камни и горы щебня. Одно за другим оставляли они за собой полуразрушенные здания, а жандармы мчались по пятам, приказывая остановиться. Эмма полагала, что они бегут к пролому, который образовался на месте фасада снесенного дома, но Далмау вдруг замер. Посмотрел на ноги Эммы, нагнулся, снял с нее туфлю на плетеной подошве и бросил на середину улицы.

– Что ты делаешь?

– Давай сюда, быстро!

И толкнул ее за одинокую стену, за которой скрывался спуск в погребок, где некогда хранили вино. Далмау с Эммой спустились,

ступенька за ступенькой, по всем четырем, когда солдаты остановились у руин.

– Сюда! Она потеряла туфлю!

Это было последнее, что они услышали перед тем, как над их головами захлопнулась тяжелая крышка люка, закрывавшего погреб.

– Не строй напрасных иллюзий, – пошутил Далмау, пока они привыкали к скудному свету, сочившемуся сквозь щели, задуманные скорее для вентиляции, чем для освещения, – вино отсюда вынесли перед тем, как покинуть дом.

– Туфля была почти новая, – пожаловалась Эмма.

– Это мой участок работы. Здесь и так-то никого больше не бывает, а сегодня, думаю, вообще никто не работает. Ты сама видела, что погреб потайной. Я его держал открытым, но, если захлопнуть люк, крышку не отличить от пола: везде изразцы с одинаковым рисунком, даже стыки совпадают. Идеальный тайник для вина. Нет, полагаю, нас тут не найдут. Мы можем сидеть здесь столько, сколько захотим...

– Ровно столько, сколько потребуется, чтобы выйти, не опасаясь погони, – перебила Эмма.

– Я бы подождал до темноты.

– Слишком долго.

Несмотря на малые размеры погребка, они почти не различали друг друга. Две смутные тени. Два голоса.

– Ты так ненавидишь меня, что не хочешь посидеть со мной несколько часов? Все, что случилось, когда мы...

– Какое там ненавижу. Совсем нет.

– Тогда почему отвергаешь? Я знаю, что у тебя нет мужчины. Но и не рассчитываю, что ты будешь спать со мной или влюбишься в меня, просто хочу, чтобы мы снова стали друзьями.

Голоса стихли, слышалось только дыхание, которое по мере того, как проходило время, становилось все более шумным. «А если проблема в тебе?» Вопрос Хосефы не давал Эмме покоя.

– Думаешь, я заслуживаю такого к себе отношения? – нарушил молчание Далмау. – Знаю, я часто ошибался. И просил у тебя прощения, может быть, не так настойчиво, как должен был бы, но так уж получилось. И снова просил прощения, уже на этом этапе нашей жизни, и, если нужно, повторю: прости меня, Эмма, за все то зло,

которое я, вольно или невольно, тебе причинил. Ведь ты живешь с моей матерью, она любит тебя как родную дочь, а твою дочь – как внучку и души в ней не чаёт. Уверен, эти чувства взаимны. За что же ты презираешь меня? Почему мы не можем оставаться друзьями?

«Потому, что я не могу себе позволить снова влюбиться в тебя», – подумала Эмма. Ей бы и хотелось в этом признаться, но за признанием последуют другие вопросы. И в конце концов придется сказать, что она была вынуждена отдаваться похотливому дегенерату, и ничего хорошего из этого не выйдет: Далмау либо отвернется от нее, станет презирать как шлюху, либо, наоборот, проявит понимание и примет ее вместе с ее прошлым, в чем Хосефа была уверена. Но как Далмау сможет понять, зачем она это сделала, если сама Эмма не понимает? Она вдруг заметила, что слезы текут у нее по щекам. Надломленный дух ни в чем не находил отрады, когда ночь за ночью образы испытанных унижений являлись перед Эммой, и все переворачивалось у нее внутри, и снова саднило между ног и во рту, и снова болела грудь. Теперь она рыдала в голос, ничего не могла с этим поделать. Напряжение борьбы, опасность, бегство... Далмау. Казалось, с нее сняли кожу, каждое слово ранило. Никогда, никогда ей не забыть...

Она вздрогнула.

Далмау погладил ее по щеке! Погруженная в свои горести, в сумраке погребка Эмма не заметила, как он оказался рядом.

– Что ты делаешь? – крикнула она и с силой отбросила его руку. – Что ты о себе возомнил?!

Казалось, Эмма была вне себя. Далмау разглядел, как сверкнули ее глаза сквозь слезы, которые заставили его подсесть ближе, и стиснул ее в объятиях.

– Пусти! – отбивалась Эмма.

– Пущу, пущу, – шептал он, пытаясь прикрыть ей ладонью рот. – Только не кричи, ради всего, что тебе дорого. Нас обнаружат.

Усилия Далмау пробудили в ней слепой, нерассуждающий гнев.

– Не трогай меня! – продолжала бушевать Эмма, пока Далмау не удалось заткнуть ей рот.

– Прости, – извинился Далмау, добившись своего. Слышалось только учащенное дыхание Эммы; ее тщетные попытки заговорить, закричать вылились в неразборчивый шепот. – Я всего лишь хотел тебя утешить. Ты плакала, и я подумал... Успокойся, пожалуйста. Я и

помыслить не мог, что ты так взовьешься, если тебя просто погладить по щеке.

Но Эмма успокоиться не могла. Заткнув ей рот, как сейчас Далмау рукой, только мерзкой кухонной тряпкой, чтобы она не кричала и даже не привлекала внимания, – так иногда ее насиловал Эспедито. И в эти минуты, снова со стиснутым ртом, в будоражащей темноте она будто опять чувствовала, как жесткая деревянная ручка той или иной кухонной утвари раздрает ей задний проход, проникая в прямую кишку, а толстяк, липкий от пота, тяжело дышит в упоении. Бешенство придало ей сил, она развернулась к Далмау и ударила его ногой в живот, заставив отскочить.

– Никогда больше не смей меня трогать! – заорала она, вставая.

– Тихо, умоляю тебя.

– Иди на хрен!

С этими словами она пихнула наверх крышку люка и по ступенькам поднялась на нижний этаж разрушенного здания. Она забыла об осторожности; повезло, что вблизи не оказалось ни одного жандарма. Выглянула на улицу, простиравшуюся вдоль этой комнаты без внешней стены, и увидела свою туфлю. Подобрала ее, обула и быстро исчезла в лабиринте улочек старого города, не оглядываясь, не видя, как Далмау наполовину высунулся из погребка и с разинутым от изумления ртом, качая головой, смотрит ей вслед.

Когда Далмау вручал Народному дому третью, и последнюю, картину, Эмма на чествование не пришла. Слишком много работы на кухне, передала Хосефа, будто оправдываясь за нее. Да и вообще, собралось меньше народа, и событие не получило такого резонанса, как в двух предыдущих случаях, хотя, как художник и обещал, картина, изображающая женский монастырь в огне, получилась еще более неистовой, дерзкой и оскорбительной, чем две первые. Дон Мануэль опубликовал несколько разгромных статей в католической прессе, в которых безудержно поносил Далмау, прибегая к любым обличениям как личного, так и профессионального характера, но, если не считать этих диатриб, общество в тот момент занимали совсем другие проблемы.

Барселона, как и вся Испания, то есть газеты, политики, а главным образом рабочие, жадно следила, как бурно развивались события на севере Африки, в зоне Рифа, где находилось несколько испанских анклавов, а именно города Сеута и Мелилья. Утверждая свою власть над этими колониями, испанское правительство в июне 1909-го санкционировало выдвижение войск из гарнизона Мелильи с целью восстановить порядок, нарушаемый яростными нападениями кабиллов – берберийского племени, которое населяло регион. В результате военных действий, которые стоили многих человеческих жизней и в оправдание которых не преминули вспомнить католическую королеву Изабеллу и ее борьбу против мавров, был восстановлен контроль над зоной, что позволило возобновить добычу железной руды; рудники принадлежали ряду крупных испанских предпринимателей во главе с графом Романонесом в Мадриде и маркизом де Комильей в Барселоне, а из-за волнений среди кабиллов они были закрыты и бездействовали более девяти месяцев. Банкиры и крупные промышленники, защищая свои вложения в железные дороги и рудники Северной Африки, вместе с военными, всегда героическими, всегда готовыми к бою, вынудили мадридское правительство принять превентивные меры, представленные как обычное наведение порядка, но газеты и политики, даже простой народ, уже предвидели новую войну. У людей

еще оставалось тягостное впечатление от катастрофы 1898 года, ведь прошло всего каких-то одиннадцать лет с тех пор, как самым унижительным образом были утрачены колонии на Кубе, Пуэрто-Рико и Филиппинах; смущало также и то, что снова придется воевать с исконным врагом испанцев – с маврами. «В тысячу раз опаснее, чем не входить в Марокко, будет туда войти», – то и дело звучало на улицах и в тавернах.

Испания, неизменно высокомерная, вступила в переговоры с марокканцами и кабилами с позиции силы, как будто до сих пор над империей не заходит солнце. Горнодобывающие предприятия, защищая свои интересы, заключили пакт с вождем берберов, который атаковал султана и уступил командование другому предводителю, а тот, вопреки договоренности, поднял народ Рифа против расхитителей национальных природных богатств. Со своей стороны, испанское государство, то есть его посол в Марокко, описывало иностранным корреспондентам нового султана человеком мрачным, грубым и совершенно неспособным управлять страной; довольно сомнительные высказывания, если учесть, что именно от Марокко испанцы ожидали помощи в эти смутные времена.

Все-таки Далмау получил свою порцию восторженных криков и аплодисментов, когда открыли новое полотно, завершающее серию; теперь все три почти целиком занимали стену актового зала и ресторана Народного дома республиканцев. Потом его вместе с Хосефой и Хулией пригласили отужинать; девочке исполнилось уже пять лет, и резкие, грубые черты, унаследованные от отца, немного смягчились, зато проявились бесстрашие и прямота, которые она взяла у матери.

– Мама и сегодня не придет? – посетовала она после того, как официант принял у них заказ.

– У твоей мамы много работы, милая, – постаралась отговориться Хосефа.

Хулия открыла рот, чтобы ответить, но Хосефа отрицательно покачала головой, медленно, терпеливо, мол, лучше не продолжать в том же духе; малышка нахмурила брови, но послушалась и стала без стеснения разглядывать людей, сидевших за соседними столиками. Дети забывают быстро, несколько часов – и самая большая беда, глядишь, и развеялась как дым. Великое достоинство детства: малыши

рождены, чтобы смеяться, оставлять неприятности позади и возвращаться к играм и фантазиям. Все же и Хулия могла заметить напряжение, возникшее между ее матерью и Далмау. Бывало, что они пересекались, ссорились, и Эмма пренебрежительно от него отмахивалась. Хулия любила Далмау, обожала Хосефу и благоговела перед матерью, но весь мир ее привязанностей рушился, как только эти двое встречались. Она не решалась расспрашивать Эмму, чтобы не портить тех счастливых моментов, когда мама возвращалась с работы. И потом, разве мама может быть виновата? Ведь это мама! Вместо того девочка пыталась что-то выведать у Хосефы, которая приводила кучу оправданий, но ничего не могла прояснить. «Почему ты ссоришься с моей мамой?» – вдруг спросила она у Далмау во время одного из воскресных обедов.

– Потому, что люблю ее.

Хулия вытаращила глаза:

– Но если ты ее любишь...

– Не детское это дело, – перебила Хосефа и тут же напустилась на сына за такой его ответ.

– Да, я люблю ее, – стоял тот на своем, – а вот она не решается.

Хосефа подняла глаза к потолку. Ясно же, к чему приведет такое глупое объяснение в любви через Хулию в качестве сводни. Хосефа знала, что происходит с Эммой. Они об этом говорили, даже плакали вместе. Эмма не могла преодолеть прошлое и с этой тяжестью на душе была не в состоянии никого полюбить. Она тем сильнее замыкала в себе свои чувства, чем упорней ухаживал за ней Далмау, а выход страстям находила в политике, в рабочей борьбе, в презрении к Церкви, которая, как она считала, была в ответе за все зло, терзающее вселенную. Молодая женщина превратилась в ярую радикалку: если где-то возникала проблема или кто-то на свой страх и риск устраивал митинг, она спешила туда, чтобы поддержать товарищей или биться с врагами. Дни и ночи делила она между работой на кухне и революционной деятельностью. Она все реже бывала с девочкой, и Хосефа начинала видеть в Эмме отражение своей дочери Монсеррат: когда та вышла из тюрьмы, каждое слово ее исходило ненавистью к обществу, к людям, к самой жизни. Монсеррат погибла, твердила себе Хосефа, и слезы струились у нее по щекам: она боялась, что и названую сестру ее дочери ждет такой же конец.

Предчувствия Хосефы относительно последствий разговора Далмау с Хулией не замедлили сбыться. Эмма нашла художника на работах по сносу домов на будущей Виа-Лайетана, попросила уделить ей минуту, но хватило и тридцати секунд.

– Никогда больше не говори моей дочери, что любишь меня, – выпалила она вместо приветствия, безо всякого стеснения, в нескольких шагах от его товарищей, которые продолжали работу, – а я, дескать, не решаюсь тебя полюбить. Придержи язык и не болтай глупостей. Если ты не в состоянии ограничить разговоры с Хулией рисунками и куколками, лучше тебе с ней вообще не видеться.

– Эмма...

– Что Эмма, что Эмма! Между нами ничего нет и никогда не будет. Продолжай развлекаться с соседками, а меня оставь в покое, понял? – (Далмау смотрел на нее с грустью. Иные из каменщиков молча наблюдали за ними.) – Ты понял? – повторила Эмма. – А вы чего уставились? У вас работы нет?! – разошлась она под конец.

– Чем терпеть такую, лучше и правда забудь о ней, Далмау, – вмешался один из товарищей.

– Найдешь других, нежных и ласковых, – с насмешкой вставил другой.

– Слушай, Далмау, что тебе говорят друзья! – уже направляясь в Народный дом, взвизгнула Эмма и махнула рукой, правда, не стала оборачиваться, чтобы никто не заметил ее влажных глаз.

Действия, которые мадридское правительство определяло эвфемизмом «обычное наведение порядка в Северной Африке», обернулось тем, что все и предвидели, – войной. В июле аборигены Рифа напали на железную дорогу, убили четверых испанских рабочих и обратили в бегство остальных; тем удалось на локомотиве добраться до Мелильи. Последовала карательная операция, в ходе которой под пушечным и пулеметным огнем погибло невыясненное число кабилов. В рядах испанцев потери составили четыре человека, среди них один офицер, и двадцать получили ранения. После этой агрессии по отношению к беззащитным гражданским лицам, которая обнаружила истинные намерения рифских племен, комендант расположенной в Африке крепости Мелилья попросил подкреплений с полуострова, чтобы разрешить конфликт.

Едва возникли трудности, как стали очевидны уже проявленные в Кубинской войне некомпетентность и чванство военных и политиков. За долгие века владычества над африканскими крепостями Сеутой и Мелильей испанские военные не удосужились составить топографических карт региона, не знали природных особенностей горных анклавов, которые должны были контролировать; не знали также, где можно произвести высадку войск, если придется делать это на побережье, вдали от городских гаваней. Дипломатия основывалась на высокомерии по отношению к маврам при полном отсутствии гибкости. Перед лицом сложившейся в Рифе ситуации султан Марокко направил в Мадрид специальную дипломатическую миссию, чтобы убедить испанцев отозвать войска, обещая, что марокканские силы восстановят порядок. Эту миссию приняли и выслушали временно исполняющий обязанности заместителя секретаря – чиновник, не имеющий права принимать ответственные решения, и тот самый посол, который позволил себе оскорблять султана в периодической печати. Миссия не успела вернуться в свою страну, а правительство уже поздравляло испанские части, расквартированные в Африке, с удачно проведенной карательной операцией против берберов.

Но, независимо от ошибок и упущений, худшим злом во время Войны Банкиров, как стали ее называть, поскольку на карту были поставлены экономические интересы, были зависть и личные амбиции высших армейских чинов, порок, который на протяжении всей истории влек Испанию к упадку. В июле 1909-го в Кадисе, на юге Испании, на расстоянии Гибралтарского пролива, то есть в непосредственной близости от зоны Рифа, куда за сутки можно было добраться и подготовиться к бою, была размещена армия в шестнадцать тысяч человек, отлично натренированных и вооруженных, под командованием генерала Примо де Риверы, бывшего военного министра в испанском правительстве, который, предвидя военное противостояние в Африке, принял решение создать профессионально подготовленный корпус.

И все же генерал Линарес, военный министр во время мятежей в районе Рифа, пренебрег усилиями, презрел предусмотрительность своего предшественника и не задействовал войска, собранные в лагере у Гибралтара уже под командованием генерала Ороско. Вместо того, за недостатком солдат на действительной службе, он призвал

резервистов, мужчин, которые отслужили по меньшей мере шесть лет назад, в 1903-м, и, уверенные, что их больше не тронут, женились, создали семьи, завели детей. Большинство их, каталонцы по преимуществу, должны были отплыть из порта Барселоны.

В Народном доме, на возвышении, сидя с краю стола, за которым расположился президиум собрания республиканцев, перед залом, откуда вынесли ресторанный мебель и где собрались рабочие, возмущенные решением правительства призвать резервистов, Эмма слушала речи партийных лидеров и сопровождавшие их возгласы одобрения или шиканье и свист.

– На что станут жить наши семьи?

Этот вопрос всплывал постоянно, прерывая одну речь за другой.

– Что будут есть мои дети?

Спрашивали женщины, некоторые – криками, с вздетыми кулаками, другие со слезами на глазах, чувствуя приближение нищеты и смерти. Зал тогда взрывался протестами, честил последними словами богачей, избавлявших себя от войны за тысячу пятьсот песет; мадридские власти и Церковь, которая восхваляла эту войну как новый крестовый поход.

Молодые ребята, лет по двадцать пять, чуть моложе ее, думала Эмма, разглядывая их. Эти парни в свое время прошли военную службу, а теперь женились, имели детей. Если их призовут в строй, семья будет голодать, ведь солдатам ничего не платят. Ходили слухи, будто король обещал выплачивать резервистам по два реала в день, полпесеты, если и в самом деле воплотится в жизнь такой щедрый посул со стороны монарха. На что станут жить их жены и дети? Семье с двумя детьми требовалось по меньшей мере сто пятьдесят песет в месяц, только чтобы не умереть с голоду.

Тысячи разрушенных домашних очагов. Мужчины, внезапно отправленные на войну, предполагается, что с военной подготовкой, хотя в мирное время она не проводилась из экономии средств: бывало так, что в полку из тысячи человек большую часть года насчитывалось не более трехсот из-за проблем с бюджетом. Вот оно, испанское воинство: больше генералов, чем офицеров; больше офицеров, чем солдат. Призрак катастрофы на Кубе и Филиппинах, где тысячи солдат погибли из-за некомпетентности и небрежности командиров, витал над Народным домом, над всей Испанией.

– Почему не призвать тех, кто не попал под призыв в последние годы? – кричала какая-то женщина. – У них нет жен, нет детей. На войну должна идти молодежь, а не отцы семейств.

Республиканская публика разразилась криками и проклятиями. Сидящие в президиуме переглянулись. Многие могли ответить на этот вопрос, но именно Эмма встала с места и дождалась, пока люди успокоятся. Она знала всю подноготную, знала причины такого несправедливого решения. Дядя Себастьян, у которого она жила в детстве, во время Кубинской войны не уставал возмущаться, эту вечную песню Эмма слышала столько раз, что запомнила навсегда: многие из родни, люди, совсем ей незнакомые, были призваны в армию, хотя имели жен и детей.

– Знаете, почему призывают резервистов? – начала Эмма. Потом умолкла, дожидаясь, пока даже шепот стихнет. – Потому что, если в армию заберут молодежь, призывников, на которых не пал жребий в последние несколько лет, богачи в нашем городе потеряют много денег.

– То же самое было на Кубинской войне! – крикнул кто-то.

Эмма кивнула.

Снова зазвучали проклятия, раздался свист, но многие из присутствующих требовали тишины, кричали: «Почему?», «Объясни нам!». Эмма слово в слово повторила сетования дяди Себастьяна:

– Страховые компании зарабатывают кучу денег, выписывая полис на случай, если на молодого человека падет жребий. Если его призывают, страховая компания платит тысячу пятьсот песет, цену в звонкой монете за освобождение от военной службы. Система вам всем известна, хотя никто из вас не смог бы заплатить за такой полис, – высказала она вслух то, о чем каждый подумал. – Так вот, если резервисты идут на войну, страховые компании не платят ни сентимо; у вас, резервистов, отслуживших свой срок, никакого полиса нет; если бы он был, вас не призвали бы в армию и вы бы не были резервистами. Напротив, если призовут всех, на кого не пал жребий, кому повезло, страховым компаниям придется платить согласно их же договорам о возмещении тысячи пятисот песет, ведь все призывники без исключения отправятся на войну, и у многих есть полисы. А это, – заключила Эмма, – убытки, которых богатые вкладчики не могут допустить и не допустят. Они, богатые... да еще Церковь развязали

войну, которую нам выдают за патриотическую, хотя на самом деле это лишь предлог, чтобы защитить их рудники и железные дороги; они станут вывозить наших мужчин из порта Барселоны на своих судах, получая за фрахт от государства, и, словно этого мало, они же и решают, кто из нас, простых, бедных людей, должен умереть. Ты! Или ты! А может быть, ты! – Выкрикивая это, она указывала то на одного, то на другого. – И этот зловещий выбор делается не ради интересов родины, а ради их личной выгоды.

Ошибался тот, кто ждал очередного взрыва негодования. Конечно, прозвучали крики, кто-то выругался, но крикуны быстро утихли: слова Эммы били по самолюбию большинства рабочих, лишали остатков достоинства, еще сохранившихся у тех, кто день за днем отработывал на фабриках и в мастерских нескончаемые смены за жалкое вознаграждение. Мужчины не смели взглянуть в лицо своим женам и детям, ибо не находили слов, чтобы выразить свои чувства. Осталась ли в них хоть крупица чести, может ли кто-то из них считать себя главой семьи? Они – марионетки, и богачи дергают за ниточки, даже распоряжаются их жизнями. Тряпичные куклы, не более того. Бараны. И они знали, что вместе с их жизнями, жизнями рабочих-клоунов, подчиненных капиталу, пропадут и жизни их родных.

Через несколько мгновений толпа глухо зашумела.

– Мы платим налог кровью! – крикнула тогда Эмма с возвышения. – Вот что берут с бедняков, у которых нет средств: налог кровью. – Она обвела взглядом присутствующих. – Станем ли мы его платить?!

Оглушительный рев вырвался из сотен глоток.

– Станем ли мы его платить?! – снова крикнула Эмма, потрясая кулаком, хотя в нарастающем гуле уже было не разобрать слов.

– Долой войну!

Такой лозунг был принят республиканцами Радикальной партии, и с ним на устах люди выходили на манифестации по всей Барселоне, но главным образом на Ла-Рамбла; по ней двигались батальоны новобранцев, и там находился дворец маркиза де Комильяса, против которого обратился гнев манифестантов. Посадка на суда новобранцев третьей бригады началась 11 июля. Эмме были знакомы иные из резервистов, шагающих по Ла-Рамбла навстречу неверной, грозящей

гибелью судьбе: два официанта из Народного дома, кое-кто из «молодых варваров» и многие другие мужчины, ее ровесники, отцы семейства с малыми детьми; эти люди подходили к ней после ее речи в Народном доме. Некоторые пытались дезертировать, но власти предусмотрительно усилили контроль на дорогах, в поездах, в портах и на границах. Нескольких дезертиров задержали с ходу, успех полиции получил широкую огласку, и большинство резервистов решили не бросаться в авантюру, которая в случае провала могла кончиться куда большей бедой, чем поход на войну с маврами. Отцы и матери, впав в отчаяние, спрашивали у Эммы, что им делать. «Что предпримет Радикальная партия?» «Как защитит нас?» «Где Леррус?» «Почему не здесь, не борется за своих?» «Мы построили этот дом, потому что он попросил».

– Леррус возвращается из Аргентины, – старалась Эмма успокоить людей. Поклясться она не могла, но поговаривали, что лидер решил вернуться в Испанию, пользуясь депутатской неприкосновенностью: его избрание в парламент подтвердили в его отсутствие. – Насчет того, что мы предпримем, обещаю: мы остановим войну. У нас получится! Объявим всеобщую забастовку. Парализуем страну. Наши товарищи в Мадриде и в других городах нас поддержат. Не оставят нас. Верьте!

Всеобщую забастовку как наилучшее средство давления предложили не радикальные республиканцы, но социалисты, поспешившие возглавить протесты против войны, а лидеры радикалов пошли на сделку с мадридским правительством. Но, понимая, что их электорат больше всего страдает от последствий конфликта, переложили вину на Церковь, на тех непримиримых католиков, друзей папы, чьи экономические интересы и заставили берберов взяться за оружие.

Так или иначе, с одной стороны рабочие, с другой – радикалы и анархисты, и даже каталонисты с ними вместе превратили Барселону в пороховую бочку, готовую взорваться.

– Кричи, дочка, – тормошила Эмма свою малышку. – Давай! Повторяй за мной: долой войну!

– Долой войну! – крикнула Хулия, поднимая кулачок, так же как мама.

«Молодчина!» «Здорово!» «Ты – наша!» Хосефа и другие женщины хвалили девочку, да и прочих детей, которые, как Хулия, ходили вместе с матерями на демонстрации. Видя, как жестко губернатор поддерживает порядок, через полицию и жандармерию, выстрелы в воздух и аресты, манифестанты вернулись к давней тактике: женщины и дети впереди рабочих, чтобы смутить дух силовиков. Эмма ощущала подъем, ликовала, политика открытой конфронтации, принятая радикалами, доставляла ей наслаждение. Больше шести тысяч человек собрались перед Народным домом! Но особенно она гордилась своей девочкой и Хосефой: та настояла, что пойдет вместе с ними, когда Эмма решила взять с собой дочку. «Я вас одних не пущу». И не пустила. Они борются вместе! Ее семья рядом с ней. Манифестации длились уже несколько дней, и Эмма, вне себя от восторга, кричала до хрипоты. Вечерами Хулия от усталости валилась с ног, а Хосефа шикала на Эмму, заставляла молчать, хотя той хотелось обсудить события дня, и давала ей пастилки с хлором, бором и кокаином, укрепляющие горло и необходимые, как значилось в проспекте, певцам и ораторам.

– Петь-то ты не поешь, – усмехнулась Хосефа, когда в первый раз давала их Эмме, – зато оратор из тебя знатный.

В воскресенье, 18 июля 1909 года они не обедали с Далмау. На этот день была назначена новая отправка войск, состоящих большей частью из каталонцев, и Хосефа послала сыну весточку, сообщая, что они пойдут смотреть, как проходят солдаты. Хосефа тоже будто ожила, когда начались волнения. Напряжение нарастало, оно ощущалось во всем городе, в его жителях, даже в зданиях. Исход начался в час дня, когда не только активисты и манифестанты его дожидались, но и в то самое время, когда рабочие Барселоны, добившиеся права на воскресный отдых, высыпали на улицы хоть немного освежиться, оставив жилища, в которых буквально задыхались, особенно в июльскую жару.

Гражданские и военные власти Барселоны в своей гордыне продолжали относиться к рабочим с презрением и, несмотря на митинги, манифестации и угрозы, вместо того чтобы обойти старый город стороной, пустили солдат прямо по центру, от казарм Бонсуксес в начале Ла-Рамбла до порта. Там шли Эмма с пятилетней дочкой, и Хосефа, и женщины, безутешно рыдающие, провожая мужей, которые

несли на плечах, будто мало им было другого груза, своих малолетних детей. Офицеры, видя, что скопившаяся толпа и так нарушает строй, им это разрешили. Встречались старухи, которые воодушевляли солдат, но в большинстве своем женщины плакали. Мужья и отцы шли на войну с маврами, оставляя семьи в нищете, без средств к существованию.

У Эммы перехватило горло, она крепче прижала к себе Хулию, которую держала за плечи, поставив перед собой. Сама, ища утешения, приникла к Хосефе. Тут уж не до криков и лозунгов. Люди в целом это понимали, и тех, кто повышал голос, просили проявить уважение. Массовые похороны: сотни женщин в глубоком трауре расстаются с мужьями по прихоти богачей. Новобранцы понемногу сливались с толпой. Эмма посадила Хулию к себе на плечи и, вместе с Хосефой внедрившись в распавшийся строй, в окружении ранцев и ружей вместе со всей процессией стала спускаться к порту. Напряжение, достигшее предела, разрешилось в тот момент, когда колонны рассеялись по широкому бульвару Колон, перед гаванью. Там было полно гуляющих. Раздались приветственные крики, сначала редкие: каждый боялся разрушить чары, какими была окутана эта медленно движущаяся процессия. Первые сдержанные аплодисменты прозвучали среди молчания, но не стихли, а постепенно усиливались и сделались наконец громовыми, эхом отдаваясь от булыжников мостовой.

Эмма не могла аплодировать, поскольку держала дочку за щиколотки, но малышка хлопала в ладоши, как Хосефа, как многие другие работницы, и большинство, как и Эмма, заливались слезами. Вслед за приветствиями зазвучали угрозы: «Долой войну!» Эмма услышала, как кричит ее дочь, и ноги у нее подогнулись. Она овладела собой и твердым шагом пошла вперед, стиснув зубы, подбрасывая Хулию, подбадривая ее, чтобы кричала громче, чтобы ее детский голосок поднимался над нестройным хором. Эмма знала, как это опасно. Знала и женщина, шедшая слева, тоже с ребенком на плечах, и женщина справа, держащая за руку мальчонку постарше. Знали шедшие позади и по бокам; все, кто выдвинулся вперед, оказавшись во главе манифестации. Все они понимали, как рискуют сами, какому риску подвергают своих малышей, но были полны решимости бороться до конца, чтобы остановить несправедливость.

«Долой войну!» – раздавался из уст женщин и детей оглушительный крик.

На молу их ожидали немалые силы хорошо вооруженных полицейских, которые без церемоний отрывали новобранцев от родных и близких и направляли на борт парохода «Каталунья». Ситуация вышла из-под контроля, когда толпа заметила, что там, куда женам запретили заходить, толкуются десятки буржук, богатых дам из высшего общества, одетых в черное, как на похороны, надушенных и обвешанных украшениями: они раздавали солдатам образки и табак, словно посланные Богом заступницы; это только разозлило и новобранцев, и сопровождающих. Большинство солдат с презрением выбросили образки в море.

– И ружья туда же! – слышалось в толпе.

«Пусть богачи повоюют!» Полицейские взялись за оружие, пытаясь сдержать лавину горожан, рвущихся на мол. «И попы!» «Пусть плывут проповедовать маврам!» «Пусть богачи идут на убой!» «Или все, или никто!»

Крики и угрозы звучали все громче, и полицейские начали стрелять в воздух, чтобы оттеснить толпу, а офицеры тем временем ускорили посадку, подняли трап, и «Каталунья», нагруженная резервистами, отчалила. Родные еще прощались с солдатами, когда одни полицейские стали стрелять в воздух чаще, чтобы разогнать толпу, а другие задерживали наиболее активных. Женщины с детьми отступили при первых выстрелах, и Эмма вместе с ними, пока не нашла Хосефу и не вручила ей девочку. «Присмотри за ней!» – попросила и, взбешенная, вернулась на мол бегом, будто полицейские, активисты и даже военные ее там ожидали. Пробившись в первый ряд, где женщины, выступившие на защиту своих мужей, по-прежнему составляли острие копья, Эмма пинала ногами и плевала в полицейских, стоявших в оцеплении. Двое набросились на нее: шутка ли – задержать саму «товарища учительницу». Ее знали, она добилась того, что значилась во всех списках подрывных и революционных элементов, какими располагали власти. Эмма оказалась в ловушке. Хотела убежать, но ее схватили, не успела она сделать и трех шагов. Она вырывалась, оглядываясь, не придет ли помощь. Чья-то сильная рука обхватила ее за талию, лишив возможности сопротивляться. Другой полицейский стиснул ей грудь обеими руками, одну ладонь

положив прямо на сосок. «Подонки!» – закричала она. Ее, покоренную, полицейские тащили к молу, где еще стояли представители властей и набожные дамы, за чьи наряды и украшения шли на смерть каталонские резервисты.

Вдруг полицейские остановились.

– Отпустите ее!

Голос, который она услышала, придал ей сил, вроде бы совсем ее покинувших. Эмма забилась в руках агентов. Еще голоса, узнаваемые среди выстрелов в воздух и гомона толпы. Это ее «молодые варвары»! Пятеро, может быть больше, под командованием Висенса. Они окружили Эмму и полицейских, те звали на помощь своих, но первыми набежали радикалы, и даже не потребовалось применять силу, чтобы освободить ее: двое агентов попятились, отступили к молу, поднимая руки к плечам и показывая ладони.

– Вечно ты во что-то вляпаешься, – рассмеялся Висенс, отходя подальше вместе с Эммой и товарищами.

В тот же самый день, 18 июля, когда жители Барселоны восстали против отправки войск, испанцы понесли в Рифе первые значительные потери. В результате неожиданного нападения кабиллов погибло более трехсот человек. Новость пришла по телеграфу на следующий день, хотя списки погибших не оглашались: матери, жены и дети резервистов должны были терпеть свою собственную крестную муку – тревожное ожидание дальнейших вестей.

Эмма воочию наблюдала такие страдания. Она укрылась в доме Висенса, в фабричном районе Сан-Марти-де-Провенсалс, каталонском Манчестере. В этом квартале, как и во многих соседних, дома находились в промышленной зоне, то есть большую часть территории занимала фабрика или мастерская, а в промежутках хаотично располагались жилища рабочих. Дом Висенса примыкал к кузнице гигантских размеров, и не только пол и стены содрогались при каждом ударе парового молота, но и жар от вечно пылающего горна делал вовсе невыносимой и без того удручающую июльскую жару. Там, в типичной квартире, построенной для рабочих – темные комнатухи с окнами во внутренний двор, без кухни, с общими туалетами, – ютились родители Висенса, он сам и его сестра Эльвира с маленьким ребенком, мужа которой призвали как резервиста. Эльвира плакала не

переставая и стала рыдать еще громче, когда поступили сообщения о первых понесенных потерях. По настоянию Висенса, с которым согласились другие республиканские лидеры, было решено, что Эмма какое-то время должна скрываться в квартале Сан-Марти, поскольку полиция не замедлит начать аресты. «О кухне не беспокойся, – заверили ее лидеры, – ты куда нужнее на улицах». Поскольку правительство никак не отреагировало на требование рабочих прекратить войну, уже открыто говорили о всеобщей забастовке в масштабах всей страны, под руководством социалистов. В Мадриде на Южном вокзале посадка резервистов на поезд закончилась ожесточенной схваткой: женщины ложились на рельсы, вагоны опрокидывались, а сторонники Пабло Иглесиаса^[21] бились с полицейскими. Таким образом, о Хулии пеклась Хосефа, а об Эмме – «молодые варвары», не отходившие от нее ни на шаг, следившие, чтобы ей не причинили вреда и не арестовали во время манифестаций, которые следовали в Барселоне одна за другой, пока шла подготовка ко всеобщей забастовке. Леррус все еще оставался за границей, но лидеры республиканцев поддерживали забастовку, пусть и ведя двойную игру и скрывая от правительства свою причастность к волнениям в графском городе: посылали активистов, даже продавали пистолеты в рассрочку прямо в Народном доме. Но мятеж поднимали все те же самые люди: Эмма, ее «варвары», анархисты, которые, не имея собственной организации, примкнули к республиканцам. Вечер за вечером толпа собиралась на площади Университета, где их ждали полицейские из специального подразделения, которые стреляли в воздух и пытались кого-то задержать.

Положение в городе осложнилось. Пресса подвергалась цензуре, чтобы люди не знали, что происходит в других регионах Испании, особенно в Мадриде, но это никак не повлияло на жителей Барселоны, всегда готовых бороться за свои права.

Через неделю поступило известие, что кабилы Рифа после недели боев прорвали испанские линии снабжения. Власти не огласили точное число потерь среди испанцев, но добились лишь того, что слухи, их многократно преувеличивающие, стали распространяться по тавернам и дружеским кружкам. Резервисты, едва ли хоть трижды стрелявшие из ружья за время своей действительной службы несколько лет тому назад, высаживались на берег, и без отдыха, без какой-либо подготовки

их бросали в бой с берберами, понаторевшими в партизанской войне, яростно сражающимися за свою землю и свой народ.

Новости, проникавшие в город, а еще несгибаемая позиция властей, которые, дабы обуздать волнения, призвали еще семьсот хорошо вооруженных жандармов вместе с конным отрядом, только распалили барселонских рабочих. Их товарищей убивают, как собак, на войне, которую начали богачи, чтобы сохранить свои деньги!

Жаркий, душный июль в Барселоне. Пыль с немощеных улиц квартала Сан-Марти липнет на потное тело, даже ночь не приносит свежести в смрадную, гнетущую атмосферу. После манифестаций мужчины и женщины оставались на улицах, духу не хватало затвориться в трущобах, отданных им под жилье. Там снова слышался плач, звучавший и во время митингов вместе с горькими, полными ненависти словами, под аккомпанемент выстрелов в воздух, которыми полицейские пытались разогнать толпу. Здесь, у входа в убогие дома, выкрики против войны превращались в вопли, то глухие, то пронзительные и звонкие, но одинаково душераздирающие, ибо исходили они из уст матерей и молодых жен.

– Пойдем на крышу, – позвал Эмму Висенс. Поймав угрюмый взгляд молодой женщины, вынужден был объясниться: – Там хоть какой-то ветерок.

Висенс как-то раз предпринял попытку на этой самой крыше, в уголке, подальше от соседей, тоже погнавшихся за воображаемым ветерком. Эмма понимала, что рано или поздно это случится, парень не раз отводил глаза, когда она ловила на себе его похотливый взгляд. Хотел ее поцеловать. Эмма его отстранила, мягко, хотя отвращение, ощущение мерзости нахлынуло на нее при одной мысли о связи с мужчиной. Невыносимо даже думать о прикосновении его губ, его языка, его рук, тискающих груди... К горлу подступила тошнота, рот наполнился желчью.

– Нет, пожалуйста, нет, – взмолилась она, чувствуя напор капитана «варваров», снова отстраняя его.

– Почему нет? – спросил тот. – Я знаю, ты сейчас одна. Отдайся. Насладись.

Она одна, это правда. После последнего скандала, какой Эмма устроила Далмау, она больше о художнике не слыхала. Непонятно, почему она вспомнила сейчас о Далмау, ведь и с ним она рассталась

много лет назад. Может быть, почувствовала, что перегнула палку. Да, именно потому. Руки Висенса на ее бедрах вернули Эмму к реальности. Отдаться? Насладиться? О ней ходило много слухов, но как признаться «варвару» в том, какие ужасы пережила она в проклятых кухнях Народного дома?

– Пожалуйста, – повторила она. – Я ценю тебя, Висенс, но не надо. Не надо.

Командир «варваров» отпустил ее, прищелкивая языком.

– Люди гибнут, – сказал он, поднимая палец, словно желая обратить ее внимание на плач, поднимавшийся с улиц. – Нам надо радоваться. Мы молоды. Если передумаешь, знаешь, где меня найти.

Эмма молча кивнула.

В понедельник, 26 июля 1909 года в Барселоне началась всеобщая забастовка. Как и было задумано, в пять часов утра Эмма с пикетчиками пошла уговаривать рабочих останавливать производство и захватывать фабрики. Женщины, принаряженные, в белых бантах, были самыми активными, если не самыми неистовыми.

– Закрывайте! – набросились Эмма и еще две женщины на рабочих кондитерской фабрики, которые отказывались присоединиться к забастовке.

– Идите на хер! – ответил один из них.

– Для этого они и годятся, – усмехнулся второй.

– У нас еще есть время перепихнуться по-быстрому.

Одна из женщин вытащила из-за спины толстую дубину и закрутила ее над головой, вторая пригрозила ножом. Мужчины отступили. У Эммы оружия не было. Она попыталась забрать пистолет, тот самый, из которого никогда не стреляли, но Хосефа опять запретила, приведя прежний довод: Хулия. «Дерись доской, если нужно, только ни в кого не стреляй», – сказала она. А у Эммы даже палки не было, что ей не помешало прийти на помощь подругам и броситься на кондитеров, растопырив пальцы.

– Ну-ка тихо, вы все! – Какой-то мужчина встал между женщинами и рабочими. Все поутихло, и вновь пришедший объяснил, в чем дело. – Вам ни к чему настаивать, – обратился он к женщинам, – а вам не нужно противостоять забастовке, – добавил он, повернувшись к рабочим. – Хозяин решил закрыть фабрику.

Вот что происходило в промышленных пригородах Барселоны. Многие рабочие присоединялись к забастовке, но и немало промышленников закрывали фабрики и мастерские, одни из страха, что полицейских сил недостаточно, чтобы контролировать ситуацию, другие из солидарности с борьбой за мир, которую возглавляли активисты, призывавшие прекратить войну в Африке.

За утро управившись с крупными предприятиями, Эмма и ее спутницы направились в центр Барселоны, и там, несмотря на уговоры жандармов и обещания их защитить, лавочники и мелкие торговцы закрывали двери под влиянием Эммы и других пикетчиц.

– Победа будет за нами, – убеждала Эмма товарок, когда лавочники один за другим подчинялись. Некоторых своих спутниц она знала по партийной работе, других никогда не видела: работницы, труженицы, полные иллюзий. – Долой войну! – крикнула она, потрясая кулаком.

Лозунг республиканцев звучал на разные голоса, его подхватывали дети и подростки, всегда готовые устроить гвалт; они охотно присоединялись к пикету, все более многочисленному. Нечто подобное происходило по всей старой Барселоне: триумфальное шествие забастовки по пригородам было у всех на устах; формировались революционные отряды, хотя порой их возглавляли уголовники, имея в виду попользоваться неразберихой, или отъявленные проститутки вроде той, что во главе отряда из мужчин и женщин вышла на Параллель и нагнала страху на хозяев кафе и театриков, которые не желали закрывать свои заведения.

Эмма зашла перекусить в Народный дом, где и планировались акции, забежав перед тем домой и потискав дочку, которая со смехом и визгом обхватила ее ноги.

– Сегодня вечером, – обнимая дочку, сказала она Хосефе, – соберется манифестация перед комендатурой. Пойди поиграй в нашей комнате, – велела Хулии, крепко ее обняв. Девочка послушалась, напоследок получив мягкий толчок в спину. – Хулию я не возьму... – стала она продолжать, но Хосефа ее перебила:

– Как ты меня утетила, просто слов нет. Мы на улицу носа не высунем, я буду тут, с ней.

– Да. Дело принимает скверный оборот. На этот раз все по-другому, Хосефа, это ощущается на улицах, в людях, в атмосфере... Я

говорила с другими женщинами, и все решили оставить детей дома. – Несколько секунд она молчала, и было слышно, как Хулия разговаривает со своей куклой. – Только хотелось бы, чтобы ты отдала мне пистолет. – Эмма разрушила все очарование момента. Но своего все равно не добилась. – На улицах все стреляют, – привела она решающий довод.

– Но ты даже не знаешь, как им пользоваться! – усмехнулась Хосефа. – Послушай, – заговорила она, подавляя желание пожаловаться, крикнуть на Эмму, – наверняка объявят военное положение, как в тысяча девятьсот втором, и всех, кого задержат с оружием, будет судить трибунал. Не надо тебе рисковать. – (Эмма вздохнула.) – Ты так и не нашла себе хорошую палку? – постаралась Хосефа обратить все в шутку.

У Народного дома забастовщики сражались с жандармами, охранявшими трамваи, женщины и дети, как всегда, впереди, наподобие защитного барьера. Жандармы открыли огонь, были ранены, среди них девочка. Эмма видела, как мать, ее знакомая республиканская активистка, металась с ребенком на руках и кричала, прося помощи. Она казалась особенно бледной по контрасту с кровью, текущей из раны дочери, и Эмма подумала, что эта невинная кровь светлее и ярче, нежели та, которой истекали другие раненые. Хотела ей помочь, но мужчины окружили несчастную мать и занялись девочкой.

– Передайте матерям, – приказала тогда Эмма «молодым варварам», – что не нужно брать с собой маленьких детей, если предвидятся стычки.

– Командиры знают? – пришло кому-то в голову спросить. – Лидеры партии, я хочу сказать.

– Ты здесь видишь какого-нибудь лидера? – саркастически усмехнулась Эмма.

Никто не возглавлял эту борьбу.

Как и предсказывала Хосефа, в полдень генерал-капитан объявил в Барселоне военное положение. Был закрыт Народный дом и многие другие атенеи. Рабочие и уголовники, присоединившиеся к политическим активистам, стали брать штурмом комиссариаты, первые – чтобы освободить задержанных товарищей, вторые – чтобы сжечь архивы с полицейскими досье, уничтожив таким образом свои прошлые судимости. Иногда им это удавалось. Были еще жертвы во

время вечерней манифестации перед комендатурой, на бульваре Колон, где женщины вновь возглавляли шествие. Малышей почти не было видно, женщины препоручали их своим матерям и отправляли в задние ряды. Эмма, как многие другие товарищи, требуя прекращения войны в Северной Африке и возвращения резервистов, шла с вздетым кулаком, пока силы правопорядка не открыли огонь. Полицейские сообщили о нескольких раненых, не больше трех, среди забастовщиков было немало убитых.

Ситуация всюду выходила из-под контроля. Армейские подразделения, около полутора тысяч человек, состояли поровну из офицеров и солдат, на каждого солдата по офицеру, и не получили другого приказа, кроме как охранять административные здания. Общественный порядок должны были поддерживать тысяча жандармов и еще одна тысяча полицейских, их явно оказалось недостаточно, чтобы противостоять десяткам тысяч рабочих, заполонивших улицы. Остальные горожане заперлись в своих домах, будто все происходящее их не касалось. Политики, особенно республиканцы, отстранились от движения, с которым не могли совладать, и массы рабочих, возбужденные, распаленные уличными боями и первыми потерями, оказались во власти самых радикальных активистов, которые первым делом изолировали Барселону, воздвигнув баррикады и пропускные пункты, перекрыв дороги, захватив вокзалы, телефонную станцию и прочие средства связи.

Всеобщая забастовка, предпринятая ради прекращения войны, грозила превратиться в подлинную революцию, способную свергнуть правительство и даже короля. «Да здравствует Республика!» – уже кричали многие повстанцы.

Этой ночью, первой ночью революции, республиканцы обратили свой гнев против исконного врага, виновного во всех бедах общества, – против Церкви: не зря лидеры твердили, что именно церковники развязали войну. На закате подожгли коллеж Малых Братьев Марии, щедро финансируемое светскими богачами учебное заведение, с которым ни республиканцы, ни профсоюзы не могли состязаться; это отдавало воспитание детей рабочих в руки монахов, которые им внушали, что классовое общество есть Божий промысел и следует отречься от свободы, унизиться, мирно покориться привилегированным классам, уповая на высшее благо в загробном

мире. Вместе с коллежем, при полном бездействии сил правопорядка, сгорели также церковь и библиотека.

Далмау затесался в толпу, чтобы Эмма, возглавлявшая мятеж вместе с другими радикалами и «молодыми варварами», его не заметила; он видел ее ликующей, воспламененной, веселой, живой и не хотел своим присутствием омрачить это счастье, даже хотя бы вызвать мимолетную гримасу. Толпа скопилась перед коллежем пиаристов на Ронда-де-Сан-Пау, в квартале Сан-Антони, самым большим в Барселоне учебным заведением подобного рода. Теперь, хотя было трудно в это поверить, огромное здание собирались сжечь. Люди, окружавшие Далмау, спорили: сожгут или не сожгут. Далмау молчал; уж если Эмма командует, то, ясное дело, сожгут. Далмау наблюдал за ней поверх голов, она появлялась то здесь, то там, буквально источала энергию, властность... и чувственность. В ней осталось сладострастие, которое вдохновило Далмау на рисунки обнаженной натуры; тысячу раз он ломал себе голову, кто мог украсть у него те листы, но не находил ответа. Вспомнив об унижении, какое Эмма пережила, став предметом нечистых вожделений, Далмау мысленно вернулся в те времена, когда в аудиториях этого религиозного института он вечерами давал уроки рисунка для рабочих, не имеющих средств: такой была часть договора с учителем, который согласился выволить его сестру из тюрьмы. Когда Монсеррат вышла на свободу, Эмма заменила ее на уроках катехизиса у монахинь, а та обвинила подругу в предательстве, бросила ей в лицо горькие слова; забыв об осторожности, встала во весь рост, спиной к баррикаде и пулемету, и превратилась в легкую мишень. Жизнь Далмау с той поры пошла под откос, и здание пиаристов воплощало все то, что привело его к краху, лишив любви, моральной опоры и даже средств к существованию. Он хотел видеть, как здание горит; чем дольше глядел на него, тем сильнее становилось желание. Пришло время Церкви искупить свои грехи и заплатить за лицемерие и подлость таких людей, как дон Мануэль Бельо. Огонь – возмездие за вред, нанесенный священниками рабочему классу: под знаменами лжи, вины и страха, пользуясь голодом и нуждой, они заставляли бедняков, таких как его

мать, идти на компромисс и расписываться в этом, жертвуя свободой духа в обмен на кусок хлеба и пучок салата.

К двадцати семи годам Далмау успел пережить все: успех и признание, публичное глумление, боль и нищету, надежду и любовь. Но сейчас, по окончании строительства Дворца музыки, он вынырнул из водоворота творчества, в который погружался там, и занялся ручным трудом: разбирал дома; не мудрствуя лукаво, сносил стены и грузил обломки на телегу, запряженную мулами. Мир керамики оставался для него под запретом с тех пор, как дон Мануэль начал свой крестовый поход и внес его во все черные списки, добившись того, что ни один архитектор его не нанимал. В любом случае строилось уже не так много зданий в стиле модерн: три под руководством Гауди – Каменоломня, Саграда Фамилия и Парк Гуэль; и четвертое – Доменека, больница Санта-Креу-и-Сан-Пау. Везде ему отказали в работе после того, как был закончен Дворец.

Картин он тоже не писал, разве что время от времени рисовал углем портрет какого-нибудь соседа, его детей или друзей. Некоторые платили ему несколько сентимо, другие давали пару яиц или ломоть хлеба, а большей частью без стыда и совести отделялись словами благодарности, хотя Далмау воспринимал такую свою деятельность как общественную работу, вроде картин для Народного дома. Правда, после скандалов, какие устраивала Эмма, ему больше не хотелось писать картины.

Из него будто выпустили воздух. Он не творил, воображение и фантазия бездействовали, часы проходили в рутине, и он страстно желал вновь пережить утраченную любовь, то необъятное счастье, когда каждый день полнился волшебством. Непроходящая агрессия Эммы приводила его в замешательство. Он перебрал все доводы, которые приводил для себя, когда задумывался над этим: должно быть что-то еще, кроме гибели Монсеррат, появления рисунков; кроме того, что он сглупил, не настаивая на примирении после разрыва, не умоляя, не прося прощения. Пусть она его больше не любит, но такая ненависть, такая злость... В этом нет смысла, ни малейшего смысла.

– Есть, есть смысл, – возразила Хосефа, когда сын ее однажды спросил.

– Не понимаю какой!

– Тебе не надо ничего понимать, сынок. Так уж получилось.

– По моей вине? – Она отвечать не хотела. Далмау настаивал. – Мама, я не прошу, чтобы вы посвятили меня в Эммины секреты, скажите только, по моей ли это вине.

– Нет, – наконец поддалась Хосефа. – Не по твоей.

И теперь он стоял, глядя на Эмму, издали побуждая ее поджечь наконец это здание. После того как сожгли коллеж Малых Братьев Марии в Поблену, республиканские лидеры окончательно откристились от стачки и от революции, которой требовал народ, и это сбивало рабочих с толку, они себя чувствовали брошенными на произвол судьбы. И все-таки утром кто-то, неизвестно кто, отдал приказ спалить все монастыри, коллежи и храмы в Барселоне, наконец-то народный гнев со всей силой обрушится на Церковь.

– Знание сделает нас свободными!

Знаменитый лозунг либертариев звучал из уст республиканцев, скопившихся перед коллежем пиаристов в квартале Сан-Антони. Далмау трепетал от волнения, видя, как Эмма с вздетым кулаком обходит ряды «молодых варваров», внушая им эту простую истину: «Знание сделает нас свободными!» Все было готово для поджога колоссального учебного центра, вмещавшего две тысячи учеников. «Сожгут, точно сожгут!» – слышалось в толпе. Теперь, когда все стало ясно, горожане распалились. Поджог коллежа Малых Братьев Марии не будет единственным. Все знали, что уже пылает соседняя церковь Сан-Пау дель Камп: густой черный дым, поднимавшийся над крышами домов, был прекрасным тому доказательством; ходили слухи, что в других кварталах и в пригородах тоже жгли церковные здания.

В квартале Сан-Антони восставшие разграбили арсенал, добыв ружья, пистолеты и боеприпасы. Памятуя о советах Хосефы, с образом Хулии в глубине души, Эмма не взяла оружие, которое ей предлагали. Также воздвигли баррикады на всех прилегающих улицах, хотя они и не были нужны, поскольку отряд конной полиции, охранявший пиаристов, непостижимым образом покинул территорию, предоставив поджигателям свободу действий.

Ненависть Далмау к Церкви, священникам, монахам и монахиням рвалась наружу, подчиняясь взмахам Эмминого кулака и крикам толпы, с каждым разом все более оглушительным. Там было много революционных рабочих, женщин, детей, подростков, целое войско,

все взвинченные; люди всякого рода, от *trinxeraires* до уголовников, ждали только приказа, чтобы броситься на штурм здания; но еще больше было зевак: их были тысячи, они стояли на улицах, на балконах и крышах соседних домов, горожане, жители квартала; в большинстве своем они пользовались коллежем пиаристов, чтобы дать детям бесплатное образование, – вот почему религиозная община полагалась на их защиту, а никто не стал защищать коллеж.

– Это ты художник? – В общем гвалте Далмау не расслышал вопроса; его схватили за плечо, потрясли. – Да, это ты. Конечно ты! – «О чем это он?» – удивился Далмау. – Эй! – завопил узнавший его, обращаясь к окружающим. – Эй! Смотрите! Это художник, он написал те картины в Народном доме, где горят церкви и попы, как того хочет Леррус.

– Леррус еще хотел, чтобы мы задрали юбки монахиням! – захохотал кто-то в толпе.

– Будет вам и то и другое, – уверенно произнесла женщина, стоявшая рядом.

Люди начали хлопать Далмау по спине, а тот, кто первым его узнал, потащил к главарям поджигателей, в числе которых была Эмма.

– Далмау? – удивилась она, подходя ближе.

Тот кивнул, поджав губы, всем своим видом показывая, что не хотел досаждать ей, а человек, который привел его, продолжал сообщать всем и каждому, что Далмау – тот художник, который написал картины в Народном доме. Многие подошли, окружили их.

– Это твой день, – прошептал Далмау Эмме, правда, осторожно, не касаясь ее уха, чтобы не нарваться на ту же реакцию, что в погребке разрушенного дома. – Не хотел бы тебе его портить.

Эмма кивнула молча, не разжимая губ, взвешивая слова Далмау, и наконец впервые за долгое время улыбнулась: та же искренняя, открытая улыбка, что и много лет назад.

– Это наш день, Далмау, – поправила она. – Ты написал те картины. Посмотри на людей: они тебя славят. Ты проделал большую работу. Был щедр, очень щедр, и отдал свое искусство народу. Немногие художники твоего уровня способны так поступить.

Далмау не знал, как быть. Эта Эмма не имела ничего общего с женщиной, которая в последнее время набрасывалась на него с

криками и руганью при малейшей возможности; эта была веселая, счастливая и говорила с ним ласково... даже восхищалась им!

Эмма угадала, о чем думает Далмау. Эти мысли отражались у него на лице. Один шаг отделял Эмму от свершения, к которому она шла, за которое боролась годами: одолеть Церковь, сжечь все, принадлежащее ей, и вот рядом стоит Далмау, ставший символом этой самой борьбы. Она знала от Хосефы, какую суровую жизнь ведет ее сын: картин уже не пишет, вложив все, что мог, в эти три, отданные рабочему делу. И все-таки люди восхваляют его. Осознав это, Эмма почувствовала, как по телу пробегает дрожь, в значение которой она углубляться не хотела.

– Чего вы ждете, почему не поджигаете? – прервал Далмау ход ее размышлений.

– Сейчас начнем. Как только убедимся, что баррикады вновь построили после того, как конные жандармы ускакали.

– Ты отдаешь себе отчет, – продолжал Далмау, – что, поджигая пиаристов, мы сожжем часть нашего прошлого, именно тот период, когда мы попали в лапы Церкви и сломали наши жизни?

Губы Эммы дрогнули, но она промолчала.

– Огонь очищает, – настаивал Далмау.

В два часа дня начался штурм. Молодые ребята, разбившись на несколько групп, бросились к разным дверям коллежа и церкви и разожгли костры, а другие, приставив лестницы, забрались в помещения верхних этажей и бросали оттуда на улицу мебель и прочие предметы; все это тут же летело в огонь, разведенный у входов в здание под руководством одного из самых известных в городе уголовников. Пожар занялся, и вскоре сам генерал-капитан Каталонии поспешил на помощь монахам в сопровождении пятидесяти пехотинцев и двенадцати кавалеристов. Без каких-либо помех со стороны революционеров, которые ни в коем случае не хотели причинить вред священникам, военный пересек двор и направился к монастырю, уже объятому пламенем, где оставалось пятьдесят пиаристов.

Далмау видел, как они выходят гуськом, во главе с генералом, рядом с которым шагает преподобный Жазинт; в какой-то момент он остановился и вперил в художника полный ненависти взгляд. Генерал-капитан изумился и остановился тоже. Священник указал на Далмау, и

его театральные жесты, неподобающие человеку, который всегда похвалялся своей сдержанностью, дали Далмау понять, что речь идет о картинах из Народного дома; слушая священника, военный кивал, не сводя с художника взгляда.

– Да здравствует Республика! – крикнул кто-то из «молодых варваров», нарушив торжественность сцены.

Вереница священников и солдат двинулась дальше. Далмау поискал глазами Эмму, хлопотавшую у костров, и они молча переглянулись: ее преподобный Жазинт не заметил, а вот он сам, без сомнения, только что превратился в одного из главных виновников поджога. Эмма наградила его улыбкой, воздела к небу сжатый кулак и крикнула что-то, чего Далмау среди оглушительного шума не расслышал. В ответ и он поднял сжатый кулак, все вокруг проделали то же, криками приветствуя Республику и проклиная Церковь. Огонь ревел, и Далмау ему отвечал. То была победа, его и его народа.

Священники расселись по экипажам, и солдаты удалились в сторону комендатуры, хотя иные оставили ряды и смешались с тысячами людей, которые созерцали зрелище Дантова ада, полное огня и черного дыма. Несмотря на то что в его распоряжении были войска, хорошо вооруженные и подготовленные, генерал Сантьяго даже не попытался остановить поджигателей. И так почти во всей Барселоне и ее окрестностях: силы правопорядка либо ни во что не вмешивались, либо предпочитали охранять банки, а не церкви.

Благочестивая школа Святого Антония горела двое суток.

Но Эмма не пробыла там и двух часов. Подозвав своих «варваров», она перешла через улицу и велела поджечь школу для бедняков.

– И эту тоже? – Далмау услышал, как один из «молодых варваров» спрашивает у Эммы. – Здесь бесплатно учатся дети неимущих, – объяснил парень.

Ответ последовал незамедлительно.

– Именно поэтому. Никто из наших не должен учиться у попов и впитывать их доктрины, и меньше всего дети, которых так легко убедить. Через детишек они доберутся и до матерей, на погибель рабочим. Поджигайте!

Смешавшись с отрядом, Далмау слушал аргументы Эммы и одобрительно кивал. Он вспомнил доктрину, которую преподобный

Жазинт пытался ему внушить в том самом здании, которое пылало за его спиной. Вспомнил также, как изумительно Эмма отвергла его ухаживания в тот день, когда они гуляли по Ронда-де-Сан-Антони, а он дотронулся до ее ягодич и предложил поискать укромное местечко, чтобы заняться любовью. Слова, сказанные много лет назад и, казалось, давно забытые, вдруг всплыли в памяти так, будто только что прозвучали. «Какая шестая заповедь? – спросила тогда Эмма. – Не прелюбодействуй. В чем наставляет нас эта заповедь? Быть чистыми и целомудренными в мыслях, словах и делах. Вот слушай дальше, – продолжала девушка, повторяя наставления монахинь, – гнев побеждается смирением сердца. Просто, да? Зависть подавляется в груди, там подчас и остается. Но похоть не победить иначе, как только убегая от нее». К подавлению сводятся любые уроки священников, монахинь и монахов. Духовную свободу они сулят в загробном мире, когда смерть уже обрушится на человека со всей яростью. Чего только не сумеют они вложить в чистые, невинные умы детишек, соблазняя их едой, которой дома у них не хватает?

– Знание сделает нас свободными! – крикнул кто-то из отряда «варваров».

Толпа революционеров закружила Далмау и повлекла к школе, которую собирались сжечь. Все кричали, толкались, подбадривали друг друга, и, повинуясь общему порыву, Далмау бросился поджигать здание, чьим единственным назначением было воспитывать покорных подданных и смиренных рабочих.

– Тебе не надо! – возразила Эмма, схватила его за руку и придержала, пока другие устремились к дверям и окнам школы.

– Почему? Что такое? – возмутился Далмау. – Это и моя борьба. Как и любого из вас.

– Да, да, да, – пыталась успокоить его Эмма, – но ты ведь сам видел: возле пиаристов тебя узнали, указали на тебя. За тобой придут, Далмау. Ты не должен больше светиться. Не предоставляй им лишних доказательств вины. Тебе надо скрыться, а лучше бежать. Многие уже на пути во Францию.

– Это наша победа, Эмма.

Пламя от костров и факелов уже лизало стены школы для бедняков. Эмме пришлось повысить голос, чтобы перекрыть торжествующие крики поджигателей и зевак.

– Далмау! – крикнула она ему в самое ухо. – Не пойми превратно, но тебя ищут, тебя ненавидят: преподобный Жазинт, дон Мануэль, твой учитель; все реакционеры, узнавшие о твоих картинах через газеты, а теперь еще и генерал-капитан. Тебя станут преследовать яростно, я уверена. Может быть, уже вышли на охоту. Поэтому твое присутствие здесь подвергает опасности людей, от меня зависящих; я не могу так рисковать. – Далмау вздрогнул. Эмма расхохоталась. – Мог ли ты себе такое вообразить? Тебя считают более опасным революционером, чем я сама. Мы – всего лишь шайка поджигателей, тысячи таких носятся по Барселоне, ты сам видел, что нам никто не препятствует, и солдаты отступают, а вот ты, с твоими картинами, с твоими речами в Народном доме, ты – вождь, подстрекатель к мятежу.

– Но...

– Не хочу, чтобы тебя задержали, – перебила Эмма, взглядом умоляя его. – Ты должен бежать, скрыться. Тебе нельзя возвращаться домой. И к матери тоже нельзя.

– А как же она?

– Она с девочкой скрывается в доме старых друзей, – успокоила его Эмма. – Власти задержат всех, кого смогут, Далмау. Мы на военном положении. Тебе надо бежать! Перебраться во Францию, не медля. Если ты решишься, партия поможет тебе.

– Я уеду, только если вы все поедете со мной: ты, твоя дочка и моя мать.

Эмма на несколько мгновений умолкла, глаз не сводя с Далмау, крепко стиснув челюсти, чтобы ненароком не задрожали губы или подбородок. Вид ее воспламенил Далмау, он едва сдержался, чтобы не обнять ее прямо сейчас, растрепанную, в пятнах сажи на потном лбу, на лице, на теле; зато глаза ее сверкали ярче пламени любого пожара.

– Если не хочешь бежать, спрячься по крайней мере. Не дай им возможности отыгаться на тебе. А они отыграются, Далмау; они отыграются. Ты хороший человек, – добавила она на прощание, собираясь уже идти туда, где ее «варвары» разводили огонь. Но остановилась, обернулась и – удивительно – поцеловала его в щеку. – Береги себя, Далмау. Если передумаешь насчет Франции, найди меня. Где-нибудь в храме божьем, – пошутила она. – Вот хрень! – услышал Далмау, как она смеется сама над собой, пока, размахивая руками, спешит к своим бойцам. – В храме божьем! Меня – в храме божьем!

Пока Эмма и ее «варвары» поджигали школу для бедняков, другой отряд раскладывал огонь у монастыря иеронимиток, неподалеку от пиаристов, и тридцать монахинь, составлявших конгрегацию, были вынуждены спасаться бегством под насмешки и оскорбления местных жителей, поскольку никакие военные не пришли им на помощь.

Из квартала Сан-Антони Эмма выбралась на Параллель, где отрядами поджигателей командовали проститутки и уголовники. Там горели две приходские церкви Санта-Мадрона, новая и старая, и христианская школа, где бесплатно обучались более двухсот подростков.

«Варвары», как многие другие отряды, продолжали носиться по Барселоне. Эмма подстрекала рабочих поджигать церкви, монастыри и школы. Рухнули монастырь Сестер Вознесения и приют Дочерей милосердия святого Викентия де Поля. Этот орден призывал за тюрьмой «Амалия», теперь уже предназначенной исключительно для женщин. Туда и направились пятнадцать монахинь, оставив во власти поджигателей свой приют, включавший школу, детский сад для рабочих матерей и сиротский дом. Как и во многих других случаях, монашки до последнего момента не оставляли своих заведений, уверенные, что люди, которым они столько раз помогали, не причинят им вреда. Эмма положила конец дискуссии между матерью настоятельницей и «молодым варваром», которого та молила о помощи и старалась отговорить от поджога.

– Ты ведь учился здесь, Манель, – убеждала монашка. – За что же ты с нами так? Разве мы не желали тебе добра, не заботились о тебе, не кормили?

– Но заставляли его приобщиться к вашим идеям, – вмешалась Эмма, оттолкнув парня, который слушал речи монахини, все сильнее поддаваясь чарам. – И ходить к мессе. И молчать, видя несправедливость. И унижаться перед богатыми и власть имущими. И принимать несчастье и нищету как неизбежность. И сдерживать природные чувства. – Многие из «варваров» одобрительно закивали. – Вы никогда ничего не делали из человеколюбия, вы во всем искали свою выгоду и рабочих использовали тоже. Паства! Вот как вы называете их! И точно: овечки, которых вы гоните туда, куда сами

хотите. Пусть сгорит во имя свободы этот храм лжи и угнетения! – вскричала она напоследок.

Монахиням пришлось спасаться бегством, когда, отвечая на призыв Эммы, народ бросился в здание с факелами и керосином. Им позволили выйти, как везде поступали с монахами, чьи обители пылали по всей Барселоне. Они восстают не против конкретных людей, говорилось во всех отрядах, а против самой структуры Церкви, против всех этих школ, патронатов и приютов, которые препятствуют прогрессу трудового народа и его светскому образованию, а также против монастырей, в которых послушницы отнимают работу у женщин из бедноты.

Поджоги в Барселоне продолжались без какого-либо вмешательства сил правопорядка. Зато происходили вооруженные бои между революционерами и солдатами либо жандармами на уличных баррикадах. Женщины бегали по домам и требовали у жильцов открыть двери, чтобы снайперы могли забраться наверх и стрелять с крыш. Дым от десятков пожаров застилал, поднимаясь столбами, ясные июльские небеса. Кое-где на церкви нападали отряды, возглавляемые пятнадцатилетними. Девушка шестнадцати лет повела мощную группу женщин на штурм монастыря Кающихся, рядом с университетом. Оттуда выгнали раскаявшихся грешниц, принявших постриг и вступивших в орден. Рабочие, преследовавшие политическую цель революции – провозглашение Республики, ничего не крали в церквях или в школах: все предметы, независимо от их ценности, даже банкноты и монеты, бросали в костер. Зато группы мародеров и уголовников действовали на свой страх и риск и рыскали повсюду в поисках поживы.

Поджоги. Ожесточенные бои на баррикадах, многие из которых защищали женщины. Выстрелы снайперов. Бомбы. Первые жертвы. Толпы задержанных во время стычек с войсками. Полицейские облавы. Люди, не выходящие из своих домов. Группы распаленных дикарей. Пожарные приезжают в конных экипажах, трезвоня в колокол, но им позволяют только смочить соседние здания, будь то дома бедноты или фабрики богачей, чтобы огонь не перекинулся дальше.

Барселона погрузилась в хаос, стала городом беззаконным и опасным.

Некоторое время Далмау наблюдал в сторонке, из укромного места, как Эмма возглавляла атаку на школу для бедняков, но кто-то узнал его, указал как на художника из Народного дома, и все обернулись. Стали подходить, и тут он решил последовать советам Эммы. Да, он написал картины, которые прославили его, сделали символом борьбы против Церкви, и гордился ими: сознавал, что каждый мазок передает ту боль, которую причинили ему дон Мануэль; монахини Доброго Пастыря и их попытки обратить Эмму; священники из церкви Святой Анны, отказавшие его матери в благотворительности; «Льюки», выбросившие его картину на помойку; Гауди, лишивший его работы; а также боль за рабочих, у которых вымогают последние гроши; за женщин, которым попы морочат голову; за отца, безвинно замученного, потому что на пути религиозной процессии взорвалась бомба; за мать... И то, что его картины вдохновили народ на эту ночь огня, – лишний повод для гордости. Но вообще-то, улыбка Эммы, ее жизненная сила, ее эйфория да еще и тот поцелуй сияли ярче пламени любого пожара. Стори хоть вся Барселона, Далмау видел одну только Эмму.

Он зашагал по улицам Барселоны, избегая баррикад, где шла перестрелка, и отрядов поджигателей, опустошавших город. Нужно было где-то спрятаться, пока на Церковь обрушивалась заслуженная кара. У него было при себе достаточно денег, чтобы продержаться несколько дней в рабочем общежитии, если, конечно, оно еще открыто, но какая уж тут ночевка. Барселона переживала незабываемую ночь очищающего огня. Пожары, особенно самый высокий, в коллеже пиаристов, освещали город самым жутким и причудливым образом; красные и желтые сполохи устремлялись в черное небо. Революционеры, будь то политические активисты или уголовники, собирались жечь церкви всю ночь.

Далмау, погруженный в мысли об Эмме, о ее преображении, о том, как она была ему благодарна и оценила наконец, даже поцеловала на прощание, направился к Пасео-де-Грасия, где ему попадались рабочие; нищие, не теряющие надежды, полагаясь на остатки милосердия, выпросить где-нибудь немного еды, и воришки, ищущие случая чем-нибудь поживиться в какой-нибудь лавке. На бульваре было нечего жечь, богатые его обитатели укрывались в своих домах, и

потому гул мятежа, поднимавшийся в паре кварталов отсюда, в том же Эшампле, стихал там, куда пришел Далмау. Он остановился в месте, где соревновались между собой дом Бальо, дом Льео-и-Мореры и дом Амалье. Свет бесчисленных свечей озарял жилища. Из окон многих квартир, открытых из-за жары, доносились звуки фортепьяно, пение, голоса и смех людей, собравшихся на вечеринку, зная не знающих о том, что творится в Барселоне. Далмау шел по бульвару, подняв голову, глядя на крыши домов. Там веселились, слушали музыку, даже танцевали. Буржуи подходили к перилам с бокалами шампанского в руках, показывали на огни, поднимавшиеся над Барселоной, и наслаждались зрелищем.

В тот же самый день на собрании городской управы леррусисты заявили, что горящий город выглядит красиво. А Далмау добрался до Каменоломни, здания, которое строил Гауди, окруженного лесами и завешенного брезентом, чтобы люди не видели извивов каменной кладки, придающих фасаду жизнь и движение. Далмау не раздумывал долго: забрался на первый ярус лесов и оттуда поднялся на крышу, волшебное, волнообразное пространство, где архитектор Бога построил лестницу в шесть пролетов, две вентиляционные башни, семь каминных труб и четыре купола разных геометрических очертаний: параболических, спиралевидных, пирамидальных, конических; все перекрученные, сложных и непостижимых форм, сходных с которыми не найти в природе. Среди всех конструкций, которые увенчивали здание, где камень превращался в нечто эфемерное, шесть пролетов лестницы были покрыты *тренкадис*, но, в отличие от других творений великого архитектора, в ход пошла керамика однотонная, серая, а над нею высилась каминная труба с грибообразным навершием, утыканным зелеными стеклянными горлышками и донышками бутылок из-под шампанского.

Далмау осторожно продвигался по крыше Каменоломни: перил не хватало, особенно со стороны внутреннего двора; техника безопасности явно хромала. Но оттуда открывалось впечатляющее зрелище: с одной стороны столбы дыма и огня, поднимавшиеся над всей Барселоной, с другой – плоские крыши, битком набитые танцующими. Какая-то девушка, заметив Далмау, помахала ему с соседней крыши: светлые, очень светлые кудри, просторное, воздушное платье феи, прикрывающее стройное тело с почти плоской

грудью. Далмау не ответил на приветствие; поведение буржуев ему казалось безнравственным: на улицах города шла война, а они пили шампанское и любовались пожарами, словно фейерверком. Девушка не отступилась, наоборот, позвала еще двух подруг, таких же бестелесных, и они, опершись о перила на своей крыше, замахали руками еще неистовой. Далмау уже повернулся, решив отойти и поискать другое место, но в этот самый момент в небо взметнулось багровое пламя нового пожара: неподалеку, на улице Россельон, на углу с улицей Мунтанер, поджигатели предали огню коллеж, церковь и резиденцию Братьев Святого Сердца. Изумленные возгласы взмыли к небу с плоских крыш богачей одновременно с языками пламени. Далмау вроде бы даже расслышал аплодисменты, робкие, скованные, быстро заглохшие. Возгласы вновь раздались при виде очередного пожара, и звуки фортепьяно полились из открытых окон с удвоенным пылом. Далмау вздохнул. Заметил, как движутся какие-то тени на крыше Каменоломни; кажется, не в первый раз. Не важно. Ночью на Эшампле подожгли еще два здания: монастырь Сестер Доминиканок был атакован отрядом из тридцати парней, которые потом вырыли трупы монахинь, вытащили на улицу, надругались над ними и бросили на мостовой; и в двух шагах от Каменоломни, на Рамбла-де-Каталунья, горела церковь коллежа Консепсьон, где учились девочки из богатых семей.

Буржуи на крышах развлекались посреди горящего города, и столбы дыма и пламени плясали под их музыку в черной ночи: ни один фонарь не освещал улицу, ни в одной квартире не горели люстры, поскольку прекратилась подача газа; неповторимая, апокалиптическая сцена, такого эффекта ни один режиссер не смог бы достичь ради их удовольствия.

Этой ночью, пока горел коллеж Консепсьон, Далмау спустился по лесам и отправился на поиски Эммы: чувствовал, что она там, рядом со школой для дочерей богачев. Глянув с крыши, не увидел ни солдат, ни жандармов, ни полицейских. Он теперь жалел, что упустил Эмму из виду, пусть она и просила об этом; нужно было следовать за ней на расстоянии. Так и не нашел ее: отрядом, поджигавшим школу, командовала не Эмма, а бывший член городского совета, вступивший в парию Лерруса. «Думаешь, мы знаем, где кто из нас?» – ответил один из поджигателей, когда Далмау спросил о «товарище учительнице».

Далмау осознал, что всей Барселоны ему не обойти, и вернулся к Каменоломне.

В среду продолжали пылать монастыри, школы и церкви, а также заметно ожесточились бои на баррикадах и стычки с войсками и полицией. Барселона не только горела, но и сражалась; армия примерно в тридцать тысяч рабочих, уголовников и юнцов билась уже без лозунгов, знамен и вождей. Далмау рассказали об этом те самые ночные тени, на заре превратившиеся в таких же людей, как он: в недостроенном здании укрывались рабочие. Узнал, что этажами ниже расположились несколько семей с детьми. Разделили еду, за которую заплатил Далмау, но прежде всего обсудили новости, скудные из-за отсутствия газет и строгого контроля со стороны властей. Каталония поддержала восстание (утверждали усевшиеся на все еще голом цементном полу человек шесть рабочих), хотя не с таким упорством, как в самом графском городе, но ни в Мадриде, ни в других крупных испанских городах не объявили всеобщую забастовку, тем более не сражались за Республику.

– Почему? – спросил кто-то.

– Потому, что власти Мадрида оказались умнее тех глупцов, которые правят нами, если кто-то вообще нами правит, и убедили народ, что это – восстание каталонских сепаратистов. Теперь нас честят предателями родины; никто и слышать не хочет о движении за независимость, вот почему за пределами Каталонии никто не восстал. Мы, как всегда, остались одни.

– Но нам сказали, что всеобщая забастовка в Испании победила! – воскликнул кто-то за спиной Далмау.

– Нас обманули, как обманывали все время, с тех пор как это началось.

Днем Далмау прятался в Каменоломне. «За тобой придут», – предупредила Эмма. Он переживал за мать и за Хулию, хотя и был уверен, что Хосефа никогда не станет рисковать жизнью девочки и будет скрываться, пока не кончится это безумие. По ночам выходил и, пользуясь отсутствием освещения, в поисках Эммы с каждым разом все больше отдалялся от центра Барселоны; пожары служили ему маяками. Но так и не нашел ее. У одного пожарища, где группа женщин и детей не давала потушить руины уже обрушившейся церкви, ему сказали, что с Эммой все хорошо, что ее видели нынче

утром. Пришлось поверить двум работницам, об этом поведавшим, и Далмау, пока не наступил рассвет, пошел обратно искать приюта в строящемся здании Гауди. Больше идти было некуда. Дни проходили изматывающе медленно, и только надежда встретить Эмму и вновь увидеть ее улыбку отгоняла тревожные мысли о будущем, зато опасности, грозящие Эмме, не выходили у него из головы. Может быть, ее задержали, может, она погибла... Ходили слухи о значительном числе жертв, а бои продолжались столь же ожесточенно: подошли подкрепления со всей Испании, которая должна была бы поддержать восставших: из Валенсии, Сарагосы, Бургоса, Памплоны, Тортосы... Солдатам, конечно, внушили, что они идут подавлять сепаратистское выступление, и это им удалось. 30 июля в центре Барселоны восстановилось спокойствие, вечером частично зажглись фонари и пошел первый трамвай, хотя на окраинах до сих пор длились отчаянные схватки.

Церкви все еще жгли, но не уголовники и не рабочие, уже растратившие боевой задор, а четырнадцатилетние подростки, за шесть песет нанятые радикальными антиклерикалами, упорно продолжавшими борьбу, со всей очевидностью проигранную. Тем временем люди выходили из домов, толпились вокруг еще дымящихся развалин. Иные искали, чем поживиться, но большинство ошеломленно взирало на разгром и разруху, как, в частности, туристы, с непостижимой быстротой понаехавшие в Барселону специально для этого, и среди них группа из ста семидесяти немцев, которые с фотоаппаратами в руках разгуливали по городу, хоронясь от снайперских пуль. Одна такая любительница мрачных зрелищ все же получила пулю в бедро. Далмау видел это и слышал, как, видимо, муж вне себя выкрикивал ее имя: «Кристина!» Женщина была светловолосая, пониже ростом, чем подруги, с ярко-синими глазами, пылающими от боли; все это Далмау разглядел, пока соотечественники несли ее на руках, и фотоаппараты на длинных ремнях колотили их по бокам; женщины вокруг кричали, понуждали их быстрее бежать с поля боя, куда они ненароком забрели.

В субботу городская управа вместе с крупными промышленниками Барселоны постановила возобновить работу магазинов, фабрик и мастерских с ближайшего понедельника, 2

августа, а чтобы избежать дальнейших столкновений, договорились выплатить рабочим зарплату за ту неделю, когда они жгли церкви.

Далмау не верил своим ушам: им заплатят за эту неделю! В воскресенье он покинул Каменоломню, осознавая, что с возвращением к нормальной жизни сюда не замедлят явиться прорабы и каменщики, и под палящим августовским солнцем бродил по Пасео-де-Грасия, где так недавно царила смятенная, напряженная атмосфера. Казалось, все буржуи, как один, ринулись на бульвар в своих лучших нарядах, под защитой победоносного войска. Далмау наблюдал, как они красуются, так бурно друг друга приветствуя, будто только что с честью вернулись с поля сражения, и тихо, без лишних жестов, обсуждая события, которые, среди прочих наименований, стали уже называть Трагической неделей. Далмау довелось подслушать иные из этих уличных разговоров между дамами в богатых уборах и кавалерами в черных шляпах и костюмах, с бородами и густыми усами всяких фасонов; благочестивые католики, они то и дело жаловались на толпы монахинь и священников, ищущих приюта в Барселоне. Как было не случиться тому, что случилось? Это носилось в воздухе! Богатые лицемеры, купившие даже солнце, которое не заглядывало в переулки к бедноте, теперь собирались купить и совесть рабочих, заплатив им за эту неделю. Как стерпеть такое? Ведь нельзя же просто предать все забвению: сгорело восемьсот церковных построек, среди них тридцать три школы, четырнадцать церквей и тридцать монастырей. Вся Барселона пылала, как факел.

Во время восстания погибло сто четыре человека штатских, мужчин и женщин, а раненых среди рабочих насчитывалось сотни. Среди военных, врачей Красного Креста и сил правопорядка было восемь человек погибших и более сотни раненых.

Однако, несмотря на восемьдесят поджогов и сотню погибших мятежников, несмотря на хаос, ярость и безвластие, на клириков никто не нападал и призыву Лерруса никто не последовал: ни одну монахиню не изнасиловали. Погибли только три священнослужителя: двоих застрелили – один набросился на толпу с пистолетом, второй пытался удрать с деньгами и ценностями общины. Третий священник погиб случайно, никто этого не хотел: он задохнулся в своей церкви во время пожара, спрятавшись в подвале; восставшие понятия не имели, что он там.

И ко всеми отмеченному отсутствию насилия по отношению к клирикам можно добавить другую черту, характеризующую восстание: несмотря на то что рабочие выступили без предводителя, без какого-либо контроля, на буржуазную собственность не покушался никто. Не пострадала ни одна фабрика, ни один банк; остались нетронутыми дворцы богачей, за исключением тех, что принадлежали промышленникам, развязавшим войну в Рифе, да и их дома и фабрики не были ни разграблены, ни сожжены.

Уже говорили о тысячах задержанных. Мысль об этом заставила Далмау смотреть на улицы иначе. Не обращая внимания на буржуа, прислугу, лошадей и экипажи, даже на немногие автомобили, дымящие и грохочущие, он стал подмечать многочисленные патрули военных и жандармов, которые зорко следили за всеми и каждым, кто не составлял часть этой идиллической декорации. Далмау почувствовал, что и на него смотрят. Один из рабочих, с которым он делил убежище в Каменоломне и у которого были при себе ножницы, остриг ему волосы и подровнял бороду, но больше Далмау ничего не мог сделать, чтобы не походить на того, кем он на самом деле был: простой каменщик, сносящий дома в старом квартале, чтобы там проложили магистраль и богачи смогли добираться до порта, не смешиваясь с нищими и обездоленными. Таким, понял он, его видят солдаты и полицейские, поэтому, проскользнув между гуляющими, укрылся в боковой улочке, предварительно оглядевшись, нет ли там солдат. Пересек Рамбла-де-Каталунья и направился к университету, откуда можно проникнуть в старый квартал и добраться до улицы Бертрельянс. Наверное, Эмма там, и может быть, теперь, когда в Барселоне восстановлен мир, туда вернулись его мать и Хулия.

Старый город был занят войсками. Там жители квартала все еще разбирали баррикады и укладывали на место булыжники мостовой. Далмау присоединился к одной из таких групп, работавших под руководством солдат, молодых ополченцев, которые не только принадлежали к тому же социальному слою, что и те, против кого они шли сражаться, но и следили за рабочими вполглаза, считая свой долг уже выполненным. Там, таская камни точно так же, как и на улицах, где он сносил дома, Далмау видел, как полицейские входят в здания и возвращаются, грубо толкая перед собой задержанного. Не раз и не два повторилась эта сцена, и большинство тех, кто разбирал баррикады,

замедляли темп и молча переглядывались с пониманием и грустью. Это мог быть друг, сосед, товарищ, родственник, но никто не осмеливался вступить; тирания, ненависть, а главное, месть завладевали городом. От первой баррикады Далмау перешел к другим и даже провел какое-то время с солдатами из Валенсии. Они приплыли морем, поэтому явились первыми. Когда они прибыли в Барселону, из порта отходил корабль, увозивший солдат в Мелилью. В Трагическую неделю войска не защищали церкви, монастыри и школы, но резервистов продолжали посылать в Африку защищать интересы богачей.

– Один из моих братьев там, в Рифе, – солгал Далмау. Двое валенсийцев нахмурились, понимающе покачали головой. – Иду к матери узнать, нет ли каких вестей, ну и утешить ее немного.

Он уверенно, с апломбом пересек Ла-Рамбла, ведь солдаты на другой стороне улицы, уроженцы Бургоса, исторического, монументального города в центре Испании, видели, как он непринужденно болтал с валенсийцами.

– Те, на другой стороне, говорят, – объявил он, показывая себе за спину большим пальцем, – чтобы вы сегодня ночью не ходили к шлюхам: вы на них нагоняете такую скуку, что девок потом не раскочегарить.

Он дошел до атеней и все еще слышал, как солдаты переругиваются через Ла-Рамбла; двое из Бургоса шли рядом, не отставали, все спрашивали, что именно сказали о них валенсийцы.

– Что тут происходит? – рявкнул капрал другого патруля у входа на улицу Бертрельянс.

– Эти... – Далмау показал на двух солдат, идущих рядом. – Чуть не передрались из-за шлюх, к которым пойдут ночью! – Он расхохотался и пошел дальше, даже не замедлив шага.

– Я сейчас покажу вам шлюх! – заорал капрал, не позволяя солдатам и дальше следовать за Далмау, который снова рассмеялся и помахал военной рукой, как старому другу.

Эмму задержали. Некий Висенс принес весточку, что полицейские ее схватили; на случай такой превратности Эмма дала «молодому варвару» адрес, по которому скрывалась Хосефа. Вместе с весточкой просьба: «Позаботьтесь о моей дочке, умоляю». Хулино все еще прятали в доме старых друзей-анархистов. Хосефа вернулась на улицу

Бертрельянс в пятницу ночью, имея в виду, что Далмау может объявиться в любой момент. «Когда ее задержали?» – спросил он у матери. Какая, собственно, разница? «Ночью в пятницу, – все-таки нехотя сообщила Хосефа, – после поджога коллеги Святого Семейства в Сан-Андреу. Эмма должна была знать, что пришло подкрепление, – всхлипнула Хосефа, – чтобы ей уйти подобру-поздорову». Сказала ему, что в субботу и сегодня, в воскресенье, ходила в тюрьму «Амалия», но понапрасну, ей ничего не сказали и уж тем более не дали повидаться или передать немного еды; по правде, она даже не уверена, что Эмма там.

– Они знают, кто я такая, Далмау. Относятся с презрением. Хотя они нас всех презирают. Но что касается меня, они знают, что я твоя мать. Ты не должен ко мне приближаться. Я уверена, что за мной следят. Странно, что они не поднялись вслед за тобой. Должно быть, отвлеклись, но я знаю: они там. Зачем иначе целое войско на такой убогой улочке. – Далмау вспомнил капрала, шлюх и ссору между солдатами. Ему повезло. – Соседи рассказывали, что после того, как подожгли пиаристов, жандармы каждый день приходили сюда искать тебя. Вчера тоже приходили, дважды, и сегодня с утра пораньше уже барабанили в дверь.

– Сволочи... – Далмау вздохнул.

– За тобой приходили жандармы, а за девочкой явились две монашки в сопровождении полиции. Хотели забрать ее в исправительный дом. Сукины дети! Всех бы их сжечь вместе с их церквями и монастырями.

– Эти друзья, с которыми вы ее оставили...

– Это товарищи. Анархисты, им можно доверять.

– Но я на баррикадах слышал, что задерживают всех.

– Да. Твоего брата, например, тоже, хотя он говорит, что не участвовал ни в поджогах, ни в перестрелках. Но после восстания у властей появился шанс избавиться от всех анархистов, и они этот шанс не упустят. Слышала, их вышлют в Арагон, куда-то в глубинку, без суда и следствия.

– Ну а эти, у кого в доме скрывается девочка?

– Этих не тронут, – успокоила его Хосефа. – Они – старые анархисты, времен твоего отца. Почти не выходят из дому. О них забыли.

Далмау покачал головой, страх за Эмму вновь овладел им.

– И что нам теперь делать? Эмма...

– Тебе – бежать.

– Но я не могу уехать, оставив Эмму в тюрьме!

– Уходи отсюда, Далмау. Давай! Беги! – настаивала Хосефа, подталкивая его к двери. – Они не уймутся, пока не найдут тебя. Говорят, будто ты – один из вождей мятежа, его вдохновитель, с твоими картинами и зажигательными речами в Народном доме. Тебя узнали возле пиаристов и теперь твердят, будто видели тебя везде, при каждом поджоге! Сынок, задержанных тысячи... Насчет брата я уже тебе сказала. И аресты продолжаются, людей забирают десятками. – (Далмау кивнул, он только что это видел.) – Тюрьмы всех не вмещают. Сегодня вечером состоится манифестация женщин с требованием освободить заключенных. Может, кого-то и освободят, но тебя – нет. Если тебя задержат, то выместят на тебе всю злобу. Уходи. Беги. Ни о чем и ни о ком не беспокойся. Надо переждать. – Умоляя, Хосефа продолжала легонько подталкивать его к выходу. – Беги во Францию, Далмау; там много республиканцев и анархистов, они помогут тебе. И работа найдется. Тебе нужны деньги? У меня... – (Далмау жестом остановил ее. Не хотел брать деньги, которые им самим понадобятся.) – Беги, умоляю тебя! – Хосефа распрощалась с ним в дверях; глаза ее были полны слез, руки бессильно повисли, на лице – тоска и нетерпение.

– А вы, мама, что станете делать? – спросил Далмау уже на площадке, куда Хосефа его вытолкнула.

– Работать и жить дальше, как всегда. Это не навеки, через несколько лет ты вернешься. Будь осторожен! Люблю тебя, сынок! – слышал Далмау у себя за спиной, пока спускался по лестнице.

Бежать он не собирался. Не был готов бросить Эмму и мать, но и не знал, что ему делать. В квартиру на улице Бертрельянс – нельзя, в съемную комнату рядом с Домом музыки в квартале Сан-Пере – тоже, тем более нельзя вернуться на работу; все его адреса уже в распоряжении полиции. Устроиться куда-нибудь еще не получится тоже: его везде знают.

– Ну, что с твоим братом?

Вопрос застал его врасплох, среди тревожных размышлений о том, где и на что он будет жить, собственно, даже где найдет пристанище на ночь. За приютами и благотворительными ночлежками следили. Далмау взглянул на солдата, который ждал ответа. Не отдавая себе отчета, он перешел через Ла-Рамбла и вновь столкнулся с полком валенсийцев.

Он отрицательно покачал головой. Попросту впал в отчаяние, раздавленный неумолимыми обстоятельствами. Но солдат все понял по-своему.

– Соболезную, – проговорил он.

Подошел еще один.

– В чем дело?

– У него, – ответил первый, – брат резервист. Его грохнули мавры.

Далмау догадался, в чем их заблуждение, но ему протянули бурдюк с вином, и он решил не отнекиваться.

– Нужно было поубивать всех мавров несколько веков назад! – воскликнул новоприбывший.

– Как это возможно, – возразил первый. – В Африке их миллионы.

Валенсийцы приняли Далмау в свой круг, и капрал, которому поведали о его несчастье, велел ему сесть у костра, разведенного посреди мостовой. Войска располагались на бивак прямо на улицах Барселоны. Тут Далмау понял, где проведет первую ночь нового, смутного периода своей жизни: с теми, у кого был приказ о его аресте.

В понедельник, 2 августа 1909 года рабочие, служащие и чиновники вернулись на свои рабочие места, где им сполна выплатили жалованье, полагающееся за неделю, в течение которой они делали революцию, жгли церкви и стреляли в солдат и полицейских. В тот же понедельник газеты, близкие к правительству, которые было дозволено распространять, поместили сводку о событиях Трагической недели вместе с требованием незамедлительных и жестоких репрессий. Далмау покинул валенсийский полк до того, как мальчишки, продавцы газет, накопив сил за семь дней безделья, начнут выкрикивать новости и огласят, в частности, что объявлен в розыск художник Далмау Сала, богохульник и радикал, вдохновитель мятежей.

Второй раз в жизни Далмау слышал, как мальчишки выкрикивают его имя на улицах Барселоны. Многие из них вместе со сверстниками первыми бросались поджигать церкви, но остались безымянными. А

вот его имя было у всех на устах: он написал три картины, ужасающе недвусмысленные, а в Народном доме, стоя на возвышении рядом с фортепьяно, под приветственные крики собравшихся призывал рабочих к борьбе. И если не жег христианские храмы по всему городу, то лишь потому, что Эмма предупредила его. В Трагическую неделю Церковь дорого заплатила за обман и ухищрения, благодаря которым удерживала контроль над обществом, особенно над бедняками, чье предназначение – покорно служить людям богатым и обладающим властью. Церковь понесла ужасающие материальные потери. За это они и боролись: за разрушение прогнившей структуры. И добились своего, заключил он, вспоминая сверкающие глаза Эммы, чувствуя после стольких лет прикосновение ее губ к щеке.

Он должен ее найти. Должен ей помочь.

С Ла-Рамбла он проник в Раваль, где от баррикад оставались одни обломки, а оттого, что булыжники мостовой вынимали и ставили на место, обнажилась гнилостная почва и поднялась вонь. В одном из переулков Далмау наткнулся на нищих: сидя на том, что осталось от стены разрушенного дома, они осушали бутылку вина, пуская ее по кругу. Далмау снял с одного грязную, драную шапку, и прежде, чем тот успел обернуться, предложил ему свою, и нищий, тщательно осмотрев обновку, нацепил ее на голову.

– А моя тебе не нравится? – спросил тот, кто сидел рядом со счастливымчиком.

Далмау хотел было сказать правду, но лишь выдохнул с силой и обратился к бродяге:

– Нет. Мне нравится эта, – заявил он и водрузил шапку себе на голову, чувствуя, как пот нищегорода впитывается ему в волосы, – но, может быть, твои башмаки мне подойдут.

Эти башмаки еще походили на обувь, и тряпки, которыми были обмотаны подошвы, не совсем скрывали их. Отвращение, какое он испытал, надевая шапку, и в сравнение не шло с тошнотой, накотившей, когда пришлось обувать эти башмаки. Далмау хотел припомнить времена, когда он сам влачил такую жизнь, отирался среди нищих и скитался по улицам, но те ощущения уже улетучились, а нынешние были реальными: обноски липли к коже, обдавали жаром, смердели.

Он также обменял свою рабочую блузу, но брюки снять отказался, хотя нищие и настаивали. Зайдя подальше в развалины дома, выпачкал штаны грязью, вымазал руки, лицо, волосы и бороду. Прихватив за горлышко пустую бутылку, зашагал не спеша, как обычный опустившийся пьяница, и дошел до ворот тюрьмы «Амалия», где содержали и насиловали его сестру Монсеррат. С тех пор положение вещей изменилось, мужчины теперь сидели в другом исправительном заведении – Модело, построенном пять лет назад на окраине рядом с казармами кавалерии, бойней и ареной для боя быков «Лас-Аренас». Может, мужчин в тюрьме «Амалия» больше и не было, но толпа у входа была такой же густой, как в те времена, когда Далмау приходил сюда вместе с адвокатом Фустером. Люди явились узнать, что случилось с их близкими.

Далмау предполагал, что где-то в плотной толпе – его мать. Уклонившись от трамвая, сворачивающего на кольцо – они уже ездили без всякой защиты, – Далмау прислонился к дереву напротив тюрьмы, постепенно сполз по стволу и уселся на землю. Прижал бутылку к груди, словно какое сокровище, прикрыл глаза и притворился, будто дремлет, а сам наблюдал за воротами тюрьмы, беспрестанно думая об Эмме, перебирая все варианты развития событий, один другого драматичнее.

Его мать вышла из тюрьмы около полудня. Шла медленно, понутив голову. Далмау неуклюже поднялся и пошел с протянутой рукой среди гуляющих, мало-помалу приближаясь к Хосефе, которую перехватил уже близ рынка Сан-Антони.

– Подайте милостыньку, – тихо пробормотал он. Хосефа отвернулась, даже не взглянув на него. – Пожалуйста, – настаивал Далмау, на этот раз даже не изменив голос.

– Чего тебе? – Хосефа даже пошатнулась от изумления. – Сказала, нет, – повторила она, отмахнувшись.

Далмау настойчиво протянул руку еще ближе, почти дотрагиваясь до нее.

– Что вы узнали? – шепотом спросил он.

– Ничего, – ответила Хосефа. – Ничего, – повторила громче, не таясь, разводя руками, будто отказывала в милостыне. – У меня ничего нет, – проговорила с напором, качая головой, мол, сколько нищих развелось в Барселоне, просто шагу не ступить. – Тебе нужно

уходить, – шепнула сыну. – Не сегодня завтра тебя схватят. Вряд ли ты чем-то поможешь Эмме, если тебя расстреляют.

Далмау вернулся на улицы. Августовская жара, не спадавшая даже ночью, позволяла ему, как и другим бездомным, ночевать под открытым небом. Он жил подаянием и за счет благотворительности, под покровом грязи и убожества, а видя, что нищих тоже задерживают, решил усилить впечатление. Маравильяс рассказывала ему, что *trinxeraires* иногда намеренно заражались чесоткой, чтобы полицейские к ним даже не подходили и позволяли блуждать по улицам, подворовывая и кусочничая. Даже платили, чтобы заразиться, – заверяла девочка на полном серьезе. Далмау платить не стал: слегка порезал руки и лицо, не до крови, просто чуть повредив кожу, а потом потер эти места о лопнувшие волдыри чесоточной бродяжки, изрядно пьяной; она вначале удивилась, а потом стала гортанно мурлыкать от удовольствия; сочтя, что к нему попало достаточно клещей, Далмау вывернулся из ее объятий. Через четыре дня паразиты размножились, накнулись на него и так изуродовали ему лицо и руки, что, кроме обитателей нечеловеческого мира нищих, к нему никто не подходил ближе чем на два метра.

Даже мать.

– Ты ненормальный! – воскликнула Хосефа при виде его через пару недель, убедившись, что Далмау не собирается бежать из Барселоны. Тот кивнул, стараясь по крайней мере не показывать, как он беспрерывно чешется, пытаясь унять зуд. – Я так и не знаю, что с Эммой, – пришлось признаться женщине; это она повторяла каждый день с тех пор, как прекратились поджоги; тревога оставила на ней след – под глазами залегли тени, руки дрожали, усталый голос с каждым разом слабел. – Еду отдаю монахине, из тех, что надзирают за арестованными, хотя опять-таки не знаю, получает ли ее Эмма.

Причин для неизбежной тревоги было более чем достаточно. Всюду царил хаос: никто ни о ком ничего не знал. Хосефа даже наняла адвоката, чтобы тот занялся судьбою Эммы, но власти по законам военного положения приостанавливали действие гражданских прав, и женщина только зря потратила деньги, накопленные ценой горьких лишений. Губернатор подпал под влияние барселонского Комитета социальной защиты, ассоциации радикально католической и

консервативной, которая и присоветовала политику закрыть все светские учебные заведения в городе – и в самом деле было закрыто более ста пятидесяти, – а также все рабочие общества и политические атеней, начиная с Народного дома Лерруса, косвенно подготавливавшие восстание против Церкви. А еще, поставив себе целью безжалостно уничтожать диссидентов, противников или просто личных врагов, члены Комитета указывали полиции, кого нужно задержать, – и Далмау был в их числе. Его имя продолжало появляться в газетах и переходило из уст в уста, не без стараний взбешенного Мануэля Бельо, который упорно и во всеуслышание добивался публичного позора и смертной казни для бывшего ученика.

Комитет социальной защиты приветствовал анонимные доносы, возвращаясь к практике инквизиции. «Укажи на врага!» – гласил его лозунг, и с этой подачи многие начали мстить соседям и знакомым за обиды, ничего общего не имевшие с мятежом Трагической недели.

С другой стороны, в тот же понедельник, 2 августа, когда все трудящиеся вернулись на свои рабочие места, военные власти, неукоснительно следуя приказу из Мадрида, устроили первый трибунал, и рабочий, бившийся на баррикадах, был приговорен к пожизненному заключению за вооруженный мятеж. Всего через пятнадцать дней другой молниеносный суд вынес первый расстрельный приговор, который был приведен в исполнение в замке Монжуик: несчастный поплатился жизнью за то, что для защиты своих прав взял в руки ружье. Военные суды выносили один за другим приговоры к пожизненному заключению, пожизненному изгнанию под страхом смерти или к расстрелу, и в этом им помогал особый представитель Верховного суда, тоже прибывший из столицы королевства.

Далмау ощущал свое бессилие. Похоже, никто бы никогда не узнал его; из-за коросты, покрывавшей расчесанные места, каждый видел, что перед ним заразная больная, к которому лучше не подходить. Вот чего он добился: расхаживал по Барселоне, объятый хаосом, занятой войсками и полицией, пользуясь свободой зачумленного, которого отталкивают с руганью и плевками, но, кроме матери, не мог ни к кому обратиться. Томас, рассказала она, вместе с адвокатом Фустером и многими учителями из светских школ были высланы на поселение подальше от Барселоны, в разные городки –

Альканьис, Альсира, Теруэль, Ла-Пуэбла-дель-Ихар и им подобные, от которых не могли удаляться более чем на пять километров. От политических, общественных или городских организаций, где раньше заправляли республиканцы, не осталось и следа с тех пор, как места их собраний были закрыты.

Далмау мог думать только об Эмме, это наваждение пожирало его разум еще быстрее, чем кожу – чесоточные клещи. Что с ней? Здоровая ли она? Как с ней обходятся? Скоро ли суд? А он как узнает? Газеты, разрешенные властями, наполнились известиями о судах и приговорах, и хотя его не пускали в таверны, где читали вслух и обсуждали новости, Хосефа, по-видимому, находилась в курсе дела. Эмма была лидером республиканских активистов. В полиции об этом знали. Если судить будут военные, они вынесут по-настоящему суровый приговор. Оставалась одна возможность: чтобы дело ее попало в гражданское судопроизводство, действие которого пока было приостановлено, возможно, чтобы определить, какие из заключенных подлежат той или иной юрисдикции.

Далмау знал, где проходит граница, – нищие обсуждали это за бутылкой поддельного вина, сдобренного этиловым спиртом; за глоток такого пошла и он сражался, отпуская тумачи, выхватывая бутылку. Ношение оружия, участие в возведении баррикад, налеты на общественные заведения или транспортные средства, а также подстрекательство к мятежу, в чем обвиняли Далмау, и теперь еще Феррера Гуардия, основателя Новейшей школы, расценивались как подрывная деятельность; люди, такие преступления совершившие, попадали в руки военных, и дела их рассматривал трибунал. Ограбление или поджог монастыря, даже нападение на священника относились к уголовным преступлениям, а потому преступника судил гражданский суд, от которого можно было ожидать снисхождения.

– Эмма имела при себе оружие? – упорно допытывался Далмау у матери.

– Нет. Я никогда ей этого не позволяла, – твердила Хосефа. – Знала, к чему это приведет.

Тем не менее дни шли, а им так и не удавалось ничего выяснить. Бездействие, беспокойство, неведение, печаль... и зуд, из-за которого он лоскутьями сдирал с себя кожу, снова подвигли Далмау на то, чтобы искать утешения в вине. Вино его успокаивало, усыпляло, погружало

Эмму в глубины забвения; он даже на какое-то время переставал чесаться. Однако никакое вино не смогло скрыть от него медленную, неверную походку матери, которая в очередной раз направлялась к тюрьме «Амалия». В тот день он не слишком много выпил, алкоголь не всегда ему доставался, разве что стакан вина в благотворительной столовой.

Далмау пристально взгляделся в явно слабеющую женщину: она была бледная, руки у нее дрожали, и, несмотря на приятную сентябрьскую прохладу, на лбу и на щеках выступил пот. Ее лихорадит, решил Далмау. Сухой кашель, непрерывный, надсадный, надрывающий грудь, окончательно убедил его в том, что мать заболела.

Далмау подошел ближе.

– Мама, – позвал он. Хосефа, казалось, не слышала. – Мама, – повторил Далмау, и к нему повернулось незнакомое лицо, лицо старухи, и встретил вопросительный взгляд. – Не ходите в тюрьму. Вы больны.

– Я должна...

Далмау бережно взял ее за локоть и заставил развернуться.

– Вы ничего не должны, вам следует позаботиться о себе, – проговорил он. Огляделся: тюрьма находилась в двух шагах, люди толпились у ворот и глазели по сторонам: иные с изумлением наблюдали, как чесоточный нищий говорит с женщиной, по всей видимости больной, и даже прикасается к ней. Наверное, пристаёт, решили многие. Далмау понимал, что вот-вот лишится своего инкогнито, но не мог оставить мать в таком состоянии. – Идемте со мной, – настаивал он, мягко подталкивая ее.

– Сынок... – пробормотала она еле слышно. – Эмма...

– Не беспокойтесь.

Он оглянулся. Какие-то люди указывали на него. Скоро догадаются, что к чему. Вполне возможно, что выдадут, но ничего не напишешь. Он ускорил шаг, крикнул: «Это моя мать!» – какой-то женщине, которая подошла выяснить, все ли в порядке у Хосефы: та уже еле передвигала ноги. Далмау сумел добраться до улицы Бертрельянс, пока его не задержали. Чуть ли не на руках нес Хосефу по тесной лестнице, следя, чтобы она не ушиблась о стену, а зайдя в квартиру, бережно уложил в постель. «Лежите спокойно», – упросил

мать; та закрыла глаза. В кухне нашел только воду и от души напился. Мать, наверное, даже и не ела толком. Дни проводила у тюрьмы, ночи за швейной машинкой. Далмау со стиснутым горлом присел рядом с ней, стараясь не плакать: все как нельзя хуже. Хотел взять за руку, но вовремя взглянул на свою, покрытую коростой. Отдернул ее, вскочил с места. «Мама, любимая», – прошептал, мучаясь оттого, что не может поцеловать ее. Потом вытер стул, на котором сидел, и направился в кухню. Он знал, что в доме есть сбережения. И нашел их, в том же тайнике, где и он хранил деньги, когда работал на фабрике изразцов дона Мануэля и жизнь улыбалась им всем. Взял десять песет. «Хватит ли этого?» – спросил себя. Добавил до двадцати и поднялся в квартиру этажом выше, где жила Рамона, вдова, с которой мать поддерживала хорошие отношения. Женщина чуть не захлопнула дверь, увидев перед собой оборванца. Далмау не дал, выставив вперед ногу.

– Я Далмау, – объявил он через порог, – сын Хосефы, той, что живет этажом ниже. – На несколько секунд воцарилось молчание, хотя Далмау чувствовал, что нажим на его ногу ослабевает. – Жаль, что приходится являться так... в таком виде, – заговорил он.

– Тебя ищут, – послышалось изнутри, – полиция много раз приходила.

– Знаю. Отсюда такой маскарад.

– Это маскарад? – спросила женщина, открывая дверь и оглядывая его с головы до ног. – Ты похож на... Ты переоделся чесоточным?!

Далмау предпочел не отвечать. Нужно было срочно уходить отсюда. Он чувствовал, что, поскольку личность его раскрыта, полиция может объявиться в любой момент.

– Возьмите, – сказал он, протягивая Рамоне деньги. – Моя мать больна. Я уложил ее в постель. Вряд ли что-то серьезное: усталость, слабость.

– Мне слышно, как она работает каждую ночь, – покачав головой, перебила его соседка. – Только вчера ей внушала, что надо отдыхать. Она очень плохо выглядит, это беспокоит меня.

– Думаю, она не ест как следует, к тому же тревожится, переживает.

– За Эмму. Знаю. – снова перебила Рамона. – Иногда они просили меня посидеть с Хулией... – Рамона задумалась, отдыхая душой, окунаясь в ту радость, ту жизненную силу, какие девочка, наверное,

приносила в этот дом, темный и мрачный, как все в районе. – И за тебя, конечно, – вдруг добавила она, устыдившись. – За тебя тоже.

– Вы позаботитесь о ней, Рамона? – торопливо спросил Далмау: как ни жаль, приходится быть резким.

– Не сомневайся, – пообещала та. – Мы много лет прожили в одном доме. Твоя мать нам помогла, когда...

Грохот на лестнице прервал их беседу. «Наверх!» – раздавались крики. Несколько человек поднимались бегом; звон металла, скрип портупей выдавал род их занятий: полицейские. «Видели, как он входил!» «Быстрее!» Было слышно, как в два пинка отворилась дверь в квартиру Хосефы и они ворвались с воплями:

– Полиция!

– Далмау Сала, вы задержаны!

– Беги! – торопила Рамона Далмау. – Другого шанса не будет.

Далмау вприпрыжку ринулся по лестнице. Его схватят, как только обыщут квартиру и убедятся, что его там нет, заключил Далмау, ведь он стал страшно неповоротливым в этих лохмотьях, в башмаках, которые ему велики, да и ослабел за месяц такой жизни. Он споткнулся и чуть не покатился вниз, еле удержался на ногах, схватившись за стены, но все-таки подвернул лодыжку. Крики доносились из квартиры матери, но становились отчетливее: наверное, полицейские вышли на площадку. Оставался один пролет, Далмау спускался, хромя из-за боли в лодыжке. Его догонят, если не здесь, то на улице.

– Сбежал! – крикнул кто-то.

Делать было нечего. Далмау еще раз споткнулся и уже был готов сдать, когда в общем гаме прозвучали другие крики, женские. Он узнал голос Рамоны. Улыбнулся и поскакал вниз на одной ноге, упираясь руками в стены.

– На помощь! Спасите! – кричала Рамона. – Ко мне забрался какой-то нищеврод!

Полицейские стали подниматься наверх, а Далмау вышел на улицу. Смешавшись с толпой, хотя люди скорее расступались при виде его, Далмау так быстро, как только мог, направился к зоне, где сносили дома, к участку, на котором сам работал и который знал хорошо. Там он мог укрыться до темноты, а потом нужно найти подходящий способ осуществить план, который придумал при виде страданий матери.

Сегодня о ней, конечно, позаботится Рамона, а завтра, восстановив силы, она вернется к тюрьме «Амалия», опять не добьется ответа, снова заболеет и зачахнет в этом темном, нездоровом квартале. Если не завтра, то послезавтра или позже, когда зима принесет с собой лихорадки и простуды. Решение возникло перед Далмау во всей своей изумительной простоте: он должен обменять себя на Эмму. Далмау выдаст себя властям, зная, что его ждет трибунал и смертный приговор; в этом он нимало не сомневался: его, как подстрекателя к мятежу, будут судить военным судом, и, учитывая, какая суровая кара была назначена за менее серьезные преступления, ему предстоит умереть под пулями во рву замка Монжуик.

Эмму, которая благодаря упрямству Хосефы никогда не имела при себе оружия, не должны судить военным судом, хотя Далмау не мог предвидеть, какой приговор вынесет ей гражданский суд, самый что ни на есть благосклонный. Наверняка не смертный и не пожизненное заключение, даже не изгнание, но где гарантия, что ей не дадут пятнадцать или двадцать лет тюрьмы. Хосефа не вынесет, умрет раньше, от болезни или просто от горя. А Хулия... Девочка вырастет без материнской ласки, наверняка в сиротском приюте, где заправляют монашки, которые рады будут отомстить малышке за Эммины нападки на Церковь.

Очень простое решение: его жизнь за свободу Эммы. Никто не будет против. Дон Мануэль сделает все, что в его силах, чтобы такой обмен состоялся, и тогда женщины, которых он любит, опять будут жить втроем, и мать не только снова обретет ненаглядную Хулию, но и ту, кто позаботится о ней гораздо лучше, чем он сам это делал все минувшие годы.

Спрятавшись в зарослях тростника, что простирались вдоль железной дороги, ведущей во Францию, Далмау следил за теми, кто направлялся в Пекин. Знал, что рано или поздно и она пройдет той тропой. То один, то другой пес подходил к тому месту, где засел Далмау, шарил среди тростника, в ту пору цветущего, рычал и лаял, но Далмау топал ногами, и пес в конце концов пятился и удирал; вряд ли его так уж привлекала вонь от чесоточного чужака, а хозяева, если таковые имелись, думали, будто пес погнался за крысой.

На ту ночь он нашел приют среди обломков снесенного дома; погребка, где прятались они с Эммой, уже не было. Спать он не спал. Одолевал зуд на лице, на руках, в паху, повсюду, где распространилась чесотка, а еще не давали уснуть беспокойные мысли: как осуществить план, родившийся из благого намерения, но с каждой минутой казавшийся все менее и менее выполнимым. Он не мог явиться в полицейский участок или в любое другое официальное учреждение: его попросту арестуют, а Эмма так и останется в заключении. Расхаживать по Барселоне ему тоже нельзя: если до сих пор из-за чесотки на него избегали смотреть, то теперь, когда стратегия раскрылась, его опознают с первого взгляда. Очевидно, что ему требовался посредник, а найти такового нелегко. Народный дом был закрыт, а где жили республиканские лидеры, Далмау не знал, да и не уверен был, что кто-то из них захочет помочь ему; мать предупреждала, что все, кто хоть что-нибудь значил в рабочей борьбе, снимали с себя любую ответственность за революцию и Трагическую неделю; все, кроме Феррера Гуардия, анархиста: 31 августа его, как подстрекателя к мятежу, задержали, когда он пытался бежать во Францию. За ночь Далмау решил, что лучше всего будет предложить обмен через газеты, что сделали его притчей во языцех, поставили на один уровень с Феррером Гуардия, провозгласив вождем восстания. Поэтому сейчас он сидел в зарослях тростника и ждал, не появится ли Маравильяс, глаз не сводя с тропы, ведущей из Пекина в Барселону. Он бежал из города с первыми проблесками зари, которым еще не под силу одолеть ночную тьму; бежал как раненый зверь, пригибаясь к

земле, прижимаясь к стенам при малейшем шорохе. Поможет ли ему *trinxeraire*? Довериться девчонке – большой риск, даже безумие, особенно когда на карту поставлена его жизнь и свобода Эммы. Далмау вновь прокрутил другие варианты, но все они упирались в то, что ему будет необходимо вернуться в Барселону, где его непременно арестуют. Придется полностью положиться на Маравильяс. В последний раз она помогла, а сейчас не имеет никакого денежного интереса, ведь дон Мануэль не назначил за его голову награды; возможно, военные не позволили ему, из чисто испанской гордости отвергая любую помощь, любое сотрудничество, будучи к тому же уверены, что рано или поздно схватят преступника своими силами. Поскольку ей ничего на этом не заработать, девчонка, может быть, и протянет ему руку помощи, хотя и ему нечем за эту помощь отблагодарить. Вспомнив о своей нищете, он вдруг осознал, что больше суток не ел. Чтобы заглушить голод, стал жевать листья тростника, пока во рту не пересохло и вкус не показался отвратительным. Солнце стояло в зените, наступил полдень. Уже началась осень, но все еще было жарко, даже здесь, в нескольких метрах от моря, откуда задувал освежающий бриз. Далмау подумал, не оставить ли укрытие и не пойти ли в Пекин поискать еды, но дону Рикардо он тоже не доверял и не удивился бы, если бы тот выдал его властям за деньги или поблажки. Нет, дородный барыга – тоже не лучший выбор.

День прошел, а Маравильяс не появилась. Уже в сумерках Далмау пересек рельсы и направился к расположенному поблизости кладбищу Побленоу, шагая по темным проселочным дорогам при свете огромной полной луны, которая, казалось, и сияла для того, чтобы вселять бодрость в сердце путника. Он знал, что возле кладбища тоже есть скопление хижин, убогих, как и в Пекине, но там он надеялся найти таких же отверженных, выброшенных из жизни, как он сам. У троих нищих, что сидели у потухающего костра, он выпросил какую-то корку, на которую не решился взглянуть и которую проглотил, стараясь не ощущать вкуса. Вода для питья была грязная, степлившаяся. «От такой водицы и чесотка пройдет!» – засмеялся бродяга, протянувший ему колотый стакан с этим пойлом. Из бутылки, к которой все прикладывались, ему хлебнуть не предложили, да он и не просил, а когда все уснули, вернулся в свои заросли тростника.

На следующее утро Далмау чуть не упустил *trinxeraire*, так неожиданно она появилась. Едва успел выйти из зарослей.

– Я думал, что твой брат мертв, – сказал вместо приветствия, показывая на Дельфина.

Обоих *trinxeraires* вид Далмау, казалось, не удивил.

– С чего это? – вяло поинтересовалась Маравильяс.

– Ты мне сама говорила.

– Нет, – возразила девочка. – Вот он. Послушай, – обратилась она к Дельфину, – ты мертвый?

Мальчишка пожал плечами и скорчил дурацкую рожу, которую Далмау хорошо знал: мол, это меня не касается. Далмау помотал головой: снова вранье, глупое и нелепое. Засомневался, стоит ли просить помощи у сумасшедшей девчонки, которая то убивает братца, то воскрешает, но дело сделано, он уже обнаружил себя.

– Рад, что он жив, – заключил Далмау. – Ты должна мне помочь, – тут же попросил у Маравильяс.

Они оглядели друг друга. Маравильяс глаз не сводила с чесоточных волдырей и тех мест, которые Далмау расчесал, а Далмау убеждался, что жизнь по-прежнему безжалостна к тысячам детей, оставленных на произвол судьбы, для которых весь город – домашний очаг. Маравильяс так и не выросла, не пополнила, не напиталась жизненной силой.

– Что мы с этого будем иметь? – вмешался Дельфин. – Что у тебя есть? Мы знаем: тебя даже Господь Бог ищет.

Вот что пробуждало интерес в *trinxeraire*, как и семь лет назад, на фабрике изразцов, когда он предупредил, что рисовать сестру голой обойдется дороже.

– У меня ничего нет. – Далмау развел руками, показывая свою бедность. – Но когда все уладится, как я надеюсь, моя мать и моя... невеста, – рискнул он произнести, а Маравильяс притом чуть вздрогнула, – вам хорошо заплатят. Наверняка.

– Наверняка?

– Да.

Его невеста. «Моя невеста, моя невеста, моя невеста», – вслух повторял Далмау. Слышать это ему было приятно. Он собирался умереть за Эмму, и страха не было, наоборот, он этим гордился.

Маравильяс с заданием справилась, и тревога, которая терзала Далмау с тех пор, как он попросил девчонку об одолжении, унялась. Кроме воды и еды, скудной и почти протухшей, и даже средства против чесотки – «Всегда сыщется кто-нибудь, кто этим страдает», – заявила она, – Маравильяс раздобыла пару листков бумаги и огрызок карандаша; этого было достаточно, чтобы Далмау написал записку редактору газеты «Ла Вангардия». Эту газету власти разрешали продавать на улицах, и новость поместили на следующий день, на первой полосе, как равную по важности с пространственным извещением о кончине знатного человека, барона, столпа города, лица настолько значительного, что епископ Барселоны сулил тысячу двести дней индульгенции за каждый акт благочестия или христианского милосердия, совершенный ради спасения души усопшего. Если кто-то совершит два акта благочестия, прикинул Далмау, он может заработать две тысячи четыреста дней индульгенции. А если и на этом не останавливаться... Может, даже и он, Далмау, спасет свою душу! Он саркастически улыбнулся. Восемьдесят церквей сгорели, а им все нипочем! Он снова улыбнулся, на этот раз с грустью. И рядом с великолепным божьим даром за поминальные молитвы по знатному барону, наверняка имевшему свои интересы в Рифе, ради защиты которых испанцы развязали войну, послужившую причиной Трагической недели, Далмау прочел свое предложение; Маравильяс швырнула ему экземпляр, даже не подозревая о содержании письма, которое Далмау ей вручил: «Художник Далмау Сала, вдохновитель недавних мятежей и активный их участник, желает сдать властям в обмен на свободу республиканки, известной как „товарищ учительница“». Затем, приведя столь же краткое, сколь и неточное изложение жизни и трудов Далмау и Эммы, автор заметки пустился обсуждать все «за» и «против» обмена, который в присутствии сотрудников «Ла Вангардия» и приглашенных журналистов из других изданий должен состояться в редакции газеты, если только власти согласятся на эти условия и предоставят гарантии, что Далмау не будет арестован раньше, чем достигнет редакции; а после его выдачи Эмму отпустят, не предъявив обвинения.

Вот оно, заявление Далмау. Отступать поздно, да он и не стал бы отступать. Впервые за долгое время он ощущал полноту жизни, даже сильнее, чем когда дарил картины Народному дому. Теперь он отдавал

самого себя за Эмму, которую любил всю жизнь, пусть между ними все и было непросто. Эмма его поцеловала. Поцеловала, отвергнув тысячу раз, и, никогда до конца не веря в искренность ее отказов, в том поцелуе он угадал любовь и забвение вины: простое прикосновение губ, влекущее его на казнь. Вслед за Эммой пришел образ матери: она, наверное, не согласится с его решением, сказал себе Далмау, но ведь он только и делал, что создавал ей проблемы. Даже избил ее. Эмма, напротив, принесла достаток в дом его матери, а главное, подарила ей радость и смысл жизни – Хулию. «Простите меня, мама», – взмолился он в ночи, все еще среди зарослей тростника, где расчистил место и кое-как связал несколько стеблей, устроив нечто вроде шалаша, и где дожидался вестей от Маравильяс.

Когда проходил поезд, содрогалась земля, тростник колыбался от ветра и шалашик Далмау разваливался.

Обмен, предложенный Далмау, оживил дискуссию, разгоревшуюся в обществе по поводу отношения к задержанным. Некоторые настаивали на амнистии, другие требовали репрессий, таких же, если не более жестоких, чем те, которые уже проводились. Народ, воодушевляемый прессой, с жаром обсуждал эти темы, а теперь еще и предложение освободить известную республиканскую активистку в обмен на человека, которого убежденные католики считали одним из главных вдохновителей восстания против Церкви. Те, кто выступал в печати против обмена, заявляли, что государство не должно идти на поводу у мятежника, и даже, к ужасу буржуа и властей, публиковали репродукции картин Далмау, побуждавших рабочих жечь религиозные учреждения и насиловать монахинь. Дон Мануэль Бельо, осаждаемый журналистами, заявил, однако, что, если бы это зависело от него, он бы выпустил из тюрем всех республиканцев, только бы арестовать и подвергнуть суду человека, который, пользуясь невежеством и нуждой рабочих, столь коварно, с таким неистовством натравил их на Церковь. Бывший учитель художника возлагал всю вину за Трагическую неделю на Далмау, даже не на Лерруса, который и впрямь открытым текстом призывал свои орды жечь церкви и насиловать монахинь; за ним не признавали никакой вины, поскольку он все еще пребывал в изгнании.

С течением дней такая позиция стала преобладать, церковные иерархи оказывали давление на генерал-капитана, под чьим руководством заседали военные трибуналы, вынося один смертный приговор за другим: какие-то заменялись пожизненным заключением, какие-то приводились в исполнение во рвах крепости Монжуик. Обо всех этих обстоятельствах Далмау узнавал из газет, хотя и не самых свежих; Маравильяс приносила их вместе с водой, едой и серной мазью, которую брала в муниципальных диспансерах, делая вид, будто сопровождает какого-нибудь чесоточного *trinxeraire*: тот заявлял, что хочет вылечиться, а девчонка забирала лекарство. Это было единственным, что радовало Далмау: сера уничтожала клещей. Зуд утихал, а беспокойство – нет: вряд ли получится долго скрываться в тростниках под шатким навесом. Собаки раньше пугались, а теперь, свыкшись с его присутствием, осмеливались подходить совсем близко. Однажды какой-то любопытный пес даже просунул голову в заросли тростника.

А вот Маравильяс свыкнуться никак не могла. *Trinxeraire* чувствовала себя обманутой. В тот день, когда Далмау вручил ей записку для газеты, она поинтересовалась, что там, поскольку сама не умела читать, и художник ответил: обвинения в адрес церковников. «Отдай привратнику и сразу беги», – наставлял ее Далмау. Предупреждение было излишним: Маравильяс всегда убегала после того, как подходила к порядочному гражданину ближе чем следовало. Так она поступила и на этот раз, а на следующий день узнала от мальчишек, которые, продавая газеты, выкрикивали новости, что в действительности отнесла смертный приговор Далмау.

Маравильяс не была чужда происходящему. Знала о трибуналах, о суровых приговорах, которые там выносились. Хорошее место, большое скопление публики, беспокойно снующей вокруг здания суда: кто-нибудь да зазеваается, и можно стащить бумажник, что-то из вещей, даже сумочку... Люди спорили, дрались, плакали или возмущались, забывая следить за своей собственностью. Там Маравильяс не только воровала, но и узнавала все, что творится вокруг военных судов. Ей было известно и то, что Далмау разыскивают военные; говорили, что это он организовал всю ту веселуху с церквями. Она не верила, но была благодарна тому, кто это сделал, будь то Далмау или кто-то

другой, ведь они с Дельфином набрали порядком денег, подворовывая в храмах и монастырях, а потом то, чего не украли другие *trinxeraires*, спустили так же легко, как раздобыли: бились об заклад по самому нелепому поводу, покупали спиртное, тратили на смехотворные прихоти.

Но теперь она не могла допустить, чтобы Далмау отдал жизнь за Эмму, ту самую, которая не дала ей хлебушка. «Найдите мне Эмму! Найдите мне Эмму!» Мольбы Далмау до сих пор звучали у нее в ушах. Маравильяс водила его за нос, пока художник не отступился. Потом, через какое-то время, показала на нее, беременную от каменщика. Не надо было пугать першерона, застрявшего у стройки. Если бы каменщик не погиб, Эмма, по всей вероятности, народила бы кучу детей и не представляла бы для Далмау ни малейшего интереса. Да и во всяком случае, на что она, Маравильяс, может надеяться в отношении Далмау? Она прекрасно знала – ни на что, и все-таки бесилась, не могла спокойно видеть его страстно влюбленным в другую женщину. Злость, гнев и зависть вскипали в ней, целый водоворот чувств, одинаково мучительных, заставлявших ее колотить или проклинать любого, кто подвернется под руку. Так же бывало, когда Дельфин болтал и смеялся с какой-то другой *trinxeraire* или ночью терся о какую-нибудь из них, постанывая и шумно дыша. Болван! Конечно болван, но ее болван, ее собственный.

И Далмау собирается умереть за эту женщину. С его решением принести себя в жертву Маравильяс ничего не могла поделать. Далмау обманул ее, когда читал по бумажке; узнай Маравильяс, что в той записке художник сулит свободу жене каменщика, она бы ни за что на свете не понесла ее в газету. Того факта, что военные расстреляют Далмау, она не могла изменить, но и того, что его смерть пойдет во благо этой сучке, его невесте, она тоже допустить не могла. Лучше она сама на этом поживится, а невесту пусть укокошат военные или бросят ее собакам, поделом ей.

С такими мыслями Маравильяс миновала кладбище Поблену и тихой сапой, не говоря ни слова, прошла мимо места, где прятался Далмау. Чуть подальше *trinxeraire* в бешенстве швырнула наземь газеты, еду и новую порцию серной мази, чтобы лечить чесотку. Дельфин снова закивал, с энтузиазмом на этот раз.

– Я еще раз продам тебе художника, – предложила Маравильяс дону Рикардо, уже в Пекине: в хижине по-прежнему дымила печка, пахан, такой же толстый, по-прежнему сидел в кресле, накрыв ноги одеялом, несмотря на полное безветрие, и портрет, уже потемневший, висел за его спиной.

– Тебе бы работать здесь, со мной, шмыгалка, – отвечал дон Рикардо. – Мало кто способен толкнуть дважды один и тот же товар. Еще и взять дороже! – Барыга расхохотался.

Король преступного мира создавал, какую ценность представляет Далмау. Военные или городские власти, наверное, ничего за него не заплатят, не для того они запускают руку в общественную казну, чтобы разбазаривать денежки на задержание беглых, но Церковь, но тот святоша, у которого Далмау стырил крест с мощами... какого святого, дай бог памяти? Впрочем, без разницы... Этот блаженный заплатит за художника целое состояние, равно как и прочие ханжи, которым только и нужно ошельмовать его публично, чтобы Церковь снова могла контролировать общество, пугая верующих грехом и вечным огнем; от такого ханжества дон Рикардо получал немалую прибыль, когда кто-то подобный желал забыть о старой жене, столь же толстой, сколь добродетельной, несимпатичной и фригидной, и поразвлечься с девочкой восьми или десяти лет, девственной, чистенькой и невинной.

– А что с той бабой, на которую твой художник хочет обменять себя? – спросил дон Рикардо, очевидно догадываясь о намерениях Маравильяс.

– Это твой художник, не мой.

Дон Рикардо пожал плечами.

Маравильяс тоже.

– Ее наш договор не касается, – добавила она потом.

– Я дам тебе десять процентов с того, что получу сам, – предложил он *trinxeraire*, решив тем самым судьбу Эммы.

Они сошлись на двадцати процентах, после чего двое шестерок в сопровождении Дельфина направились в тростники.

– Художник, – послышалось с дороги, с того места, откуда Дельфин показал, где прячется Далмау, – шеф тебя ждет.

Уже некоторое время назад пес-крысолов с лаем выскочил на расчищенное место.

Далмау не отзывался. Раздумывал, унять ли пса лаской или дать ему пинка.

– Не заставляй нас туда лезть, – пригрозил второй подручный. – Тебе же будет хуже.

Далмау узнал голоса: выговор, тон, акцент перенесли его в те бурные, тяжелые времена, от которых в памяти осталось лишь смутное впечатление. После первой оторопи он сразу догадался, что Маравильяс опять продала его, и проклял себя за то, что снова наступил на те же грабли. Взвесил свои шансы: бежать, с этим надоедливym псом, который будет лаять и кусать его за щиколотки? Любой из двоих шестерок догонит его в два прыжка, силы у них много, он это знал, испытал на своем теле. И куда бежать? Где искать укрытия? Его повсюду ищут.

– Чего хочет дон Рикардо? – спросил Далмау, показываясь из зарослей тростника.

Один из шестерок вскинул руки, пожал плечами: мол, откуда мне знать.

– Нам он не докладывал, – ответил другой.

– Но ты ведь знаешь, как он тебя ценит? – добавил первый с некоторым сарказмом в голосе, выталкивая Далмау на тропу. Там оба встали по сторонам и повели его в Пекин. – Ты – его любимый художник!

Под конвоем двух полицейских Эмма вошла в зал суда. На ней была та же одежда, в которой ее задержали полтора месяца назад, мятая, но хотя бы стираная, за что Эмма была благодарна. Причесанная, умытая, она предстала перед судом гордо выпрямившись, зная, как пристально рассматривают ее журналисты, публика, судьи и присяжные, даже ее адвокат из Республиканской партии, с которым она смогла переговорить накануне.

– Дайте знать Хосефе, – молила она. Тот адвокат был первым достойным доверия человеком, которого допустили к ней. Эмма знала о предложении Далмау, но не желала им воспользоваться. – Скажите ей: пусть найдет сына и убедит его отступить. У меня и в мыслях нет соглашаться на такой обмен. Пусть он бежит... Пусть возьмет с собой мою дочь и бежит во Францию. Вы хорошо меня поняли? – настаивала

она. – Я не допущу, чтобы меня обменяли на Далмау Сала. Скажите это его матери!

То был первый процесс, который проходил в обычном суде, как будто юристы Барселоны по-своему ответили на предложение Далмау и решили предварить любое решение, какое примут городские власти под диктовку Мадрида. Эмма высматривала Хосефу среди публики. Увидела ее: та уже оправилась от болезни, сидела напряженная, немного бледная, что есть, то есть; в убранных вверх волосах больше седины, но на первый взгляд держится стойко и готова выслушать любой приговор, если только его вынесут сегодня. В выражении ее лица Эмма пыталась найти ответ на послание, переданное через адвоката, но застывшие черты оставались невозмутимы.

Судья потребовал тишины. Докладчик изложил статьи обвинения, потом Эмму призвали к ответу. Все обвинения прокурора она отрицала, зато подтвердила все, о чем говорила защита; присяжные из городских обывателей без всякого стеснения улыбались подсудимой. «Ты не должна приносить им в дар твою свободу», – убеждал адвокат Эмму, которой претила ложь. Она поджигала церкви и школы! Да, и еще раз да! «Отрицать содеянное, – настаивал законник, – не трусость, а разумный ход. Пусть докажут».

Потом вызвали свидетелей, нескольких священников и двоих жителей района, по которому прошлись «молодые варвары» во главе с Эммой. Никто не подтвердил обвинений, высказанных перед судебным следователем и полицейскими. «Возможно...» «Не вполне уверен». «В тот момент мне показалось...» «В полиции на меня оказали давление». Кто сомневался, кто шел на попятный; никто не указал прямо на Эмму. Прокурор представил присяжным доносы, плоды кампании «Укажи на врага!», развязанной реакционными католиками, где подробно рассказывалось обо всех событиях, в которых Эмма принимала участие в течение Трагической недели. Но судьи не приняли эти анонимные доносы в качестве доказательств. «Если кто-то хочет в чем-то обвинить эту женщину, – положил конец дискуссии председатель, – пусть явится сюда и сделает это». Потом умолк где-то на минуту, которая продлилась очень долго, будто и в самом деле ждал, что прокурор приведет свидетелей. Этого не произошло, и суд закончился за пару часов. Присяжные даже не удалились на совещание.

– Невиновна! – заявил председатель коллегии после того, как члены ее переглянулись между собой.

Часть публики разразилась аплодисментами. Журналисты побежали в свои редакции, чтобы вставить сообщение в номер. Эмма поблагодарила адвоката от партии за его работу, не стала слушать того, что он пытался ей сказать, и скорей побежала к Хосефе, которая уже встала с места.

– А где Хулия? Где моя дочка? – спросила она.

Судьбу Эммы разделило подавляющее большинство задержанных, чьи дела рассматривались в гражданских судах Барселоны. К вящему отчаянию правительственных прокуроров, около двух тысяч человек были отпущены на свободу после судебных процессов, во время которых священники, первоначально свидетельствовавшие против обвиняемых, отказывались сотрудничать, чтобы еще больше не ожесточить рабочих и не оттолкнуть их от Церкви; свидетели под давлением публики брали назад свои показания; судьи и присяжные симпатизировали подсудимым. Так Барселона отвечала на суровые приговоры, вынесенные трибуналами. «Город аплодирует революции!» – гласил заголовок в одной из радикальных газет.

Разве это не было так? Восставшие щадили жизни священников и монахов, равно как и собственность буржуа и богатых горожан. Ни один дом, магазин или фабрика не подверглись нападению и не были преданы огню. Да и сами буржуа пассивно созерцали, веселясь и танцуя, поджоги церквей и монастырей, на защиту которых не выступил никто: ни войска, ни полиция, ни паства. Позже сами горожане винули в произошедшем избыток священнослужителей, обосновавшихся в городе, ведь Испания, и Барселона в той же, если не в большей, мере, чем другие населенные пункты, принимала монашеские общины, изгнанные из других стран – Франции, Пуэрто-Рико и Филиппин.

И в такой ситуации мадридское правительство толкало гражданского губернатора графского города на то, чтобы, используя события Трагической недели, любым способом положить конец годам анархии, царившей в городе, избавить Испанию от раковой опухоли – барселонского терроризма.

Две противоположные точки зрения. Два способа вершить правосудие столкнулись между собой: мадридский – с войсками и

военными трибуналами, жесткий, неумолимый, безжалостный; и местный, с городскими судами, снисходительный, гибкий, милосердный.

Эмма в сопровождении Хосефы вышла из здания суда, и люди поздравляли ее.

– Что теперь будет с обменом, который предложил художник Далмау Сала? – спросил какой-то журналист, держа наготове блокнот и карандаш.

Маравильяс не расслышала, что Эмма ответила молодому человеку, хотя сама все утро задавалась тем же вопросом: что будет, если Эмму оправдают? Как и в случае с большинством трибуналов, *trinxeraire* не собиралась пропустить гражданский суд, где устанавливалась вина или невиновность любимой женщины Далмау, процесс, о котором продавцы газет кричали на каждом перекрестке, и все утро сновала в толпе у здания суда.

С оправданием Эммы положение совершенно изменилось, подумала Маравильяс. Далмау не захочет умирать. Если незачем обменивать себя на эту женщину, с какой стати ему сдаваться на милость военного суда? Маравильяс поняла, что ее действия осложнили художнику жизнь: обмен как таковой теряет смысл, но дон Рикардо все равно сдаст Далмау. И это, без сомнения, будет ее вина.

– Вы знаете, где Далмау? – отделившись от журналиста, спросила Эмма, и Маравильяс услышала вопрос.

Она шла следом, почти не таясь. Женщины шагали беспечно, радуясь свободе, о которой несколько часов назад могли только мечтать.

– Нет, – призналась Хосефа. – Он переоделся нищим и даже заразился чесоткой, чтобы его не задержали, но как-то раз пришел мне на помощь... и обнаружил себя. Все из-за меня. С того момента я о нем ничего не слыхала, пока в газетах не напечатали про обмен.

Маравильяс не терпелось вмешаться в разговор, успокоить мать, сказать ей, что чесотка у ее сына почти прошла. Так ей показалось, когда она в хибаре толстяка пряталась за черной лаковой ширмой, на которой еще угадывался тонкий восточный орнамент; там же скрывалась она, когда в первый раз привела Далмау к дону Рикардо и продала как человеческое отребье. Не хотела, чтобы Далмау узнал о ее предательстве; пусть думает, что выдал его Дельфин.

– Где он может быть?

Это спросила Хосефа, хотя и Эмма могла спросить или обе одновременно.

«В море», – чуть было не ответила Маравильяс. Да, именно там дон Рикардо прятал свое самое ценное имущество, когда ему грозила непосредственная опасность. В простой рыбацкой лодке, из тех, что промышляли у берега, двое верных барыге моряков отплывали подальше, исчезая из виду; через несколько дней их возвращали или нет. Найти его невозможно, что и было доказано после того, как дон Рикардо послал дону Мануэлю предложение сдать Далмау за пять тысяч песет, а тот послал в Пекин полицию, полагая, что художника найдут и так, можно обойтись без шантажа со стороны преступника.

Никто не предал дона Рикардо.

Никто не заговорил.

При обыске не нашли никаких доказательств.

Ничего.

– Скажите церковникам, – шепнул дон Рикардо комиссару, возглавившему провальный рейд, – что цена поднялась до семи тысяч пятисот песет золотом.

– Не жадничай, – ответил полицейский. – Что ты будешь с ним делать, если мы не сойдемся в цене?

– Художником уже интересуются французские республиканцы, – соврал барыга. – Запомните: семь тысяч пятисот песет золотом.

Цена поднялась до десяти тысяч песет после того, как некто, вроде бы заслуживавший полного доверия, обманул дона Мануэля Бельо и его друзей-ретроградов из Комитета социальной защиты, указав им точное место, где дон Рикардо прячет Далмау. На этот раз даже военные приняли участие в блиц-операции, в ходе которой разворошили все хижины Пекина, не добившись никакого результата.

Маравильяс знала, что католики постановили заплатить эти десять тысяч песет золотом. Дон Мануэль Бельо выложил из своего кармана почти треть суммы, остальное от своих щедрот внесли другие богатые святоши. Скоро они поставят перед судом человека, который своими богомерзкими картинами подстрекал рабочих на выступления против Церкви. Бог требовал, причем настоятельно, публичного возмездия.

– Далмау узнает, что тебя освободили, и не пойдет сдаваться.

В словах Хосефы, уже на улице Бертрельянс, звучала скорее надежда, чем уверенность.

– Нет, не пойдет, – поддержала Эмма. – Новость о моем оправдании появится во всех газетах, Далмау это увидит.

– Он пойдет.

Маравильяс закрыла глаза, когда обе повернулись к ней. «Вот и все. Вот я и сказала», – подумала девочка. Далмау не должен умереть. *Trinxeraire* сжала губы: Далмау – единственный, при виде которого иногда мурашки бегали по всему ее телу, а иногда, если он страдал, у нее в животе будто кошки скреблись, что обычно бывало, если она несколько дней ничего не ела. Наверное, она знала, что это; подозревала, чем вызваны такие ощущения, но не смела выразить в словах, разве что бормотала вполголоса, прерывистым шепотом, ночами, когда Далмау, подсевший на морфин, валялся на улице без чувств, и она осмеливалась присесть рядом на корточки и прикоснуться к его волосам. Нет, она не может допустить, чтобы Далмау умер, пусть лучше достается гарпии, которая не дала ей хлебушка. Она потеряет много денег, если только толстяк не убьет и ее, и Дельфина, чтобы не отдавать им их долю: две тысячи песет золотом стоят того, чтобы исчезли с лица земли двое бродяжек, о которых никто не спросит, судьба которых не беспокоит никого. Две тысячи песет! И думать нечего! Маравильяс знала, что дон Рикардо деньги не отдаст, а может быть, и убьет их с братом; и барыга понимал это, но был уверен также, что девочка действовала не из корысти, а из ревности, хотя не смела в этом признаться: она желала одного – причинить вред невесте художника. А раз Эмма на свободе, нет никакого смысла в том, что погибнет Далмау. Она улыбнулась, прежде чем открыла глаза и взглянула на женщин, которые расспрашивали ее, оставаясь на почтительном расстоянии: всякий шарахнется от ее одежек, от нее самой, такой грязной и вонючей.

– Что ты сказала? – переспросила Эмма. – Мы говорим об одном и том же?

– Мы говорим о Далмау, да. И он не сам пойдет сдаваться, а его продаст дон Рикардо, тот, из Пекина. Вообще-то, думаю, уже продал. Осталось только вручить. Сегодня, завтра...

Эмма закрыла руками лицо.

– Ты-то откуда знаешь? – осведомилась Хосефа.

Маравильяс не отвечала. Не могла отвести взгляда от Эммы. Та рыдала взахлеб. Содрогалась всем телом. Слеза скатилась по грязной щеке *trinxeraire*, чему она сама удивилась.

– Отвечай, – потребовала Хосефа. Маравильяс молчала. – Почему мы должны тебе верить?

– Потому, что мою душу, если она у меня когда-то и была, похитил ваш сын. Помните? – сказала наконец *trinxeraire*. Хосефа во всю ширь распахнула глаза. Эмма отняла от лица руки. Маравильяс перевела взгляд с одной на другую; пришлось прочистить горло, прежде чем заговорить, обращаясь к Эмме. – Я никогда никому так не завидовала, как в тот день, когда увидела тебя на тех картинках, где ты нарисована голая. Посмотрела на себя в зеркало, которое там висело, и... – Тут девчонка взглянула на свою плоскую грудь, впалый живот, тощие ноги, все тело, скрытое, обернутое в лохмотья. На лице ее появилась гримаса, смысл которой трудно было истолковать. – С тех пор я тебя возненавидела, унизила тебя и отняла у Далмау. – Никогда раньше она не говорила так долго, тем более с людьми, которые обычно сторонились ее или замахивались палкой. Но эти две женщины внимательно слушали. Девчонка почувствовала, что впервые в жизни совершает что-то стоящее, нежданно-негаданно она обрела прежде невиданную уверенность в себе. – Ты выиграла, – заявила она. – Возвращаю его тебе. Не хочу, чтобы он умер. Поторопись, но будь осторожна. Его прячут в море. Ты ведь знаешь, где Пекин, правда? Если не знаешь, выясняй поскорее.

Не дожидаясь дальнейших вопросов и словно исчерпав весь запас жизненных сил, она развернулась и пошла прочь.

Грохот поезда, следовавшего во Францию, заглушал пальбу. Эмма не придавала ни малейшего значения тому, что ее могут увидеть из вагонов; какая-то женщина даже привстала с места, заметив, как она стоит у самых рельсов, напряженная, держа пистолет в вытянутых руках. Эмма успела улыбнуться ей, спуская курок полуавтоматического браунинга, пистолета, из которого еще никто ни разу не стрелял. Пока поезд проходил и та, первая, пассажирка уже, наверное, разглядывала другие виды, Эмма расстреляла всю обойму по зарослям тростника. Семь патронов. Семь задетых пулями стеблей. Привыкнув к отдаче, для нее неожиданной, Эмма нашла, что стрелять

нетрудно. Она вынула обойму и неловкими пальцами снова зарядила пистолет. Хватит ли у нее патронов? Дурацкий вопрос, ведь не собирается же она врываться в поселок из хлипких хибарок, паля направо и налево. План, который она разработала, теперь ей казался неосуществимым. Пекин – воровской притон, об этом месте ходило много слухов. Хоть с оружием, хоть без, как напасть на бандитов, как справиться с ними? Она покрылась холодным потом – сталь, из которой был сделан пистолет, леденила руку. Эмма отчаянно боролась с собой; пытаясь выровнять учащенное дыхание, глубоко вдыхала: один, два, три раза. Далмау умрет, если она не спасет его. И все-таки ей было одиноко, и страх сжимал сердце. Пожалела, что, торопясь поскорее бежать в Пекин, она отвергла предложение Хосефы.

– За пару часов, если бросить клич, – заявила мать Далмау, – соберется двадцать или тридцать женщин, моих лет, но закаленных в рабочей борьбе, и мы все вместе пойдем освобождать его.

– Спасибо вам, но, устроив манифестацию, мы привлечем внимание военных или жандармов, а при нынешнем положении вещей они вряд ли будут к нам благосклонны. Если они до сих пор не смогли найти Далмау, не думаю, чтобы группе женщин это удалось. Далмау исчезнет, может быть навсегда. Лучше действовать осторожно.

– Прихватив пистолет?

– Ну, это же не пушка! – отшутилась Эмма, стараясь разрядить напряженную атмосферу в квартире на улице Бертрельянс, где на столе лежали браунинг и патроны.

– Тогда, – продолжала настаивать Хосефа, – позови своих «варваров». Наверняка они помогут!

– Я не знаю, где они. Ты хоть одного видела на суде? – Хосефа отрицательно покачала головой. – Они арестованы или сбежали, но, по правде говоря, и я не хочу никого подставлять. Этот преступник постарается отомстить любому, кто мне поможет. Даже «варваров» я не имею права впутывать в это дело. Я должна справиться сама. В одиночку.

Сама, в одиночку.

Именно так она и чувствовала себя теперь. Засопела, подняла пистолет, прицелилась в ствол дерева, на расстоянии каких-то двух метров. Выстрелила. Промахнулась. Закрыла глаза и чуть не расплакалась. Она возглавляла отряд «молодых варваров», напомнила

себе Эмма, чтобы не потерять присутствия духа. Дралась и тут и там с полицией и конной жандармерией, грозными всадниками с длинными саблями наголо; возглавляла рейды и атаки, рискуя жизнью. Но, несмотря ни на что, путь в Пекин начал казаться бесконечным с того момента, как Эмма разглядела первые хижины и направилась прямо к ним, с пистолетом, спрятанным под пальто, которое свисало с ее правой руки. Она выпрямилась и полной грудью вдохнула соленый запах моря, который здесь, вдали от города, ощущался сильнее. Вгляделась в горизонт, который в эту предвечернюю пору выцветал, понемногу теряя яркую средиземноморскую синеву; стала высматривать рыбацкие лодки, разглядела несколько. Какая-то из них и есть тюрьма Далмау. Ей необходимо увидеть его снова. Они оба совершили немало ошибок. Теперь она знает, что рисунки обнаженной натуры продала *trinxeraire*! Во всяком случае, так поняли они с Хосефой из ее слов: «Я унизила тебя и отняла у Далмау. Ты выиграла, возвращаю его тебе». Ее тело до сих пор содрогалось от омерзения при одной мысли об отношениях с мужчиной, но она поговорит с Далмау, все ему объяснит, расскажет, что иного выбора не было: отдаться, чтобы прокормить дочь. Он должен понять. И он, конечно, поймет! Далмау готов пожертвовать жизнью ради ее свободы! Ее охватила счастливая дрожь, она почувствовала такой прилив сил, что стало трудно дышать. Эмма остановилась на мгновение, подставила лицо бризу, чтобы обрести над собой контроль, и отвага вернулась вместе с надеждой на будущее с Далмау. Главное – освободить его, пусть даже потом он ее и отвергнет. Его держат в плену, выставляют на торги, будто какой-то товар, и все из-за нее, из-за того, что он пытался ее выручить.

Собаки встретили ее у первых хибар Пекина. Эмма не обращала на них внимания, но хозяева псов заметили нежданную гостью. Женщины высовывались в подобия окон, простые отверстия в прогнивших досках, едва занавешенные лоскутом. Двое мужчин вышли из своих халуп.

– Я ищу дона Рикардо, – выпалила Эмма.

Оба одновременно мотнули головой в сторону хижины побольше: ее венчала печная труба, из которой в чистое небо валил столб черного дыма. Далмау рассказывал об этой печке, когда они с Хосефой заставили его объяснить, откуда взялись тысяча триста песет,

благодаря которым удалось избавиться от Анастаси и избежать суда. Теперь Эмма припоминала детали того рассказа: подручные барыги, толстяк, вечно сидящий в кресле в окружении целого базара краденых вещей...

– Тебе чего надо?

Вопрос задал какой-то угрюмый, безобразный тип. Нелюбезный прием сопровождался пронзительным лаем пса-крысолова. Эмма поджала губы, прежде чем ответить. Хосефа спросила, не скрывая беспокойства: «Как ты это сделаешь?» – «Как всегда, – отвечала Эмма, не подозревая, насколько ее замысел отличается от уличной стычки, даже самой ожесточенной. – Приду, устрою скандал, буду драться. Не знаю, как действовать по-другому».

Эмма приложила все силы, чтобы голос ее звучал твердо, решительно; у нее получилось.

– Я хочу видеть дона Рикардо.

– Зачем? – осведомился неприятный тип, окидывая ее похотливым взглядом, обращая больше внимания на грудь, чем на свисавшее с руки пальто, под которым был спрятан пистолет.

– Это я скажу ему самому, – невозмутимо ответила Эмма, слегка надавливая на курок, готовая выстрелить при малейшей угрозе.

Угрюмый страж задумался, а собачонка принялась обнюхивать Эммины ноги. Другие собаки вертелись поблизости, подошла и любопытная ребятня. Подручный барыги, похоже, не считал Эмму опасной: он выплюнул травинку, зажатую в зубах, показал на хижину с дымящейся трубой и кивком пригласил следовать за ним.

– Шеф! – крикнул он, едва переступив порог. – Тут какая-то шлюшка хочет с вами поговорить.

По знаку барыги подручный отступил в сторону и пропустил Эмму, та подошла к дону Рикардо, избегая его взгляда, будто боялась... Или в самом деле боялась?

– Что ты хочешь мне предложить? – спросил толстяк, масляными глазками оглядывая Эмму с ног до головы, точно так же, как его шестерка на подходе к хижине. – У меня достаточно баб, которые...

Дон Рикардо, не закончив фразы, ошеломленно уставился на пистолет, который извлекла Эмма; затем, целясь ему в голову, она обошла кресло, где пахан сидел с одеялом на коленях. Еще мгновение

– и Эмма встала у него за спиной, перед портретом, написанным Далмау, прижимая дуло пистолета к затылку дон Рикардо.

– Тихо! – крикнула она. – Скажи этому козлу, чтобы стоял смирно! – велела она барыге, сильнее вдавив дуло ему в затылок.

Никакого приказа и не потребовалось. Подручный замер и поднял руки, увидев пистолет, нацеленный на шефа. Но на крики Эммы явились еще двое мужчин, а за ними женщина, пришедшая из какого-то другого помещения в хижине, скорее всего, из кухни, поскольку поверх платья был подвязан передник, а руки обсыпаны мукой.

Все четверо выстроились в одну линию перед Эммой и толстяком. Пес-крысолов, единственный из всей своры вбежавший в дом, сновал между теми и теми. Детишки заглядывали в дверь.

– Чего тебе нужно? – спросила женщина.

– Думаю, отсосать у меня, – ответил дон Рикардо, и двое его людей ухмыльнулись. – Сюда приходит много таких, как ты, но для этого тебе придется встать передо мной на колени, и...

– Мне нужен Далмау Сала, – прервала его Эмма.

В комнату вошла еще женщина, потом мужчина. Эмма на миг обернулась: за ее спиной не было ни дверей, ни окон, не замечалось и никакого движения. Портрет, написанный Далмау, на секунду отвлек ее, и когда она вновь перевела взгляд на подручных, выстроившихся перед ней, ей показалось, будто их стало больше и они подошли ближе. Рука, державшая пистолет, невольно дрогнула.

– Сделайте что-нибудь! – велел дон Рикардо своим людям. – Она вся трясется, ей страшнее, чем вам, болваны!

– Ты умеешь с этим обращаться, красотка? – усмехнулся один из шестерок и со всеми предосторожностями сделал шаг вперед. – Можешь покалечиться, – добавил он, протягивая руку за пистолетом.

Эмма все не могла унять дрожь. У нее подгибались колени. Дыхание участилось, по спине заструился холодный пот. Все расплывалось перед глазами, ей казалось, что в комнату ввалилась целая толпа.

– Отберите у нее пистолет! – рявкнул дон Рикардо.

Этот вопль привел Эмму в чувство. Она вдруг вспомнила, как девчонкой шла навстречу конной жандармерии, защищая мужчин во время забастовок и манифестаций. Ублюдки, окружающие ее, не страшнее всадников с саблями наголо. Туман перед глазами мгновенно

рассеялся, она обвела взглядом всех, кто стоял среди скопления разного хлама, который, казалось, надвигался на нее, грозя под собой похоронить: тряпье, мебель, столовые приборы, статуэтки, цепи... В руке у кого-то из шестерок блеснула сталь. Эмма почувала неминуемую опасность.

Выстрел прогремел, и все замерли.

Эмма отвела дуло на несколько сантиметров вбок, прижала его к мочке правого уха дон Рикардо, и нажала на курок. Барыга взвыл: пуля разворотила ему ухо, срезав часть его и скользнув по черепу.

– Я его убью! – пригрозила Эмма.

– Всем стоять! – закричала женщина, которую дон Рикардо назвал Тересой. – Назад! Назад! – замахала она руками на выстроившихся перед Эммой шестерок.

– Я убью его, – повторила Эмма, схватив за шиворот толстяка, который после тщетной попытки руками унять струящуюся из уха кровь лишился чувств, приподняла его и снова уперла пистолет в затылок.

– Не убьет, сеньора, – уверенно проговорил один из подручных.

– Убьет, – возразила женщина, глядя Эмме в глаза и угадывая в ней решимость, после первых моментов страха и колебаний уже нерушимую. – Убьет непременно, – тихо, будто бы про себя, повторила жена барыги.

Эмма выдержала взгляд Тересы, вложив в ответный все хладнокровие, каким обладала: нужно показать, что она готова снова спустить курок, на этот раз всадив пулю ее мужу в затылок. Эмма сама не знала, получится ли у нее; с первого выстрела в зарослях тростника она поняла: одно дело бросаться в бой вместе с «молодыми варварами», воодушевляя криками себя и их, и совсем другое – в одиночку противостоять банде преступников. Но отступить было поздно. Сейчас только от ее мужества зависела и жизнь Далмау, и ее собственная жизнь.

– Приведите Далмау Сала, – потребовала Эмма. Подручные, поскольку дон Рикардо был без сознания, устремили вопросительные взгляды на его супругу. – Приведите его! – настойчиво повторила Эмма, и жена барыги наконец кивнула; двое мужчин выбежали за дверь. – Остальные пусть выйдут тоже.

Шестерки угрюмо подчинились.

– Дай хотя бы перевязать его, – попросила Тереса, указывая на дона Рикардо, у которого из уха хлестала кровь.

– Чем раньше сюда приведут Далмау и мы отсюда уйдем, тем скорее его перевяжут. Не поторопитесь – он истечет кровью.

– Тогда и ты умрешь.

– Знаю.

Женщина побежала к дверям, распугав собак и детей, и криками велела своим людям поскорее привести Далмау. Эмма глубоко вздохнула, несколько раз. В хижине воцарилась тишина, и напряжение последних минут, когда Эмма противостояла подручным дона Рикардо, постепенно спадало. Она все время осознавала, что может умереть, вдруг призналась Эмма самой себе. А Хулия? Что стало бы тогда с девочкой? По шее барыги ручьем струилась кровь. «Быстрее! – хотела крикнуть Эмма. – Поторопитесь, сукины дети!» И все-таки она до конца выдерживала роль, оставалась невозмутимой, но чуть не раскрыла себя, когда подручный толкнул Далмау в хижину, и тот споткнулся, раскидав какие-то вещи, и сам чуть не рухнул на пол.

Эмма не сразу узнала его. Хосефа предупреждала, что он отощал и покрыт коростой. От чесотки он вроде бы вылечился, но действительность превзошла все, что Эмма могла вообразить себе; однако же тело ее охватила сладкая дрожь: он стал таким из-за нее, из-за рабочего дела, защищая права трудящихся и разоблачая Церковь, обманывающую народ.

– Эмма... – проговорил он. Встряхнул головой, словно пробуждаясь от кошмара, весь грязный, с отросшей бородой и слипшимися волосами. – Что ты здесь делаешь?

– Я пришла за тобой.

– Как ты узнала?..

– Не время для разговоров. Нужно бежать.

Далмау обошел кресло дона Рикардо, не глядя на преступника, будто того и не было на свете, и приблизился к Эмме. Хотел взять ее за руки, но не смог. В руках она сжимала пистолет. Подумал, не поцеловать ли ее, но не решился. Несколько мгновений они глядели друг на друга, и в глазах у обоих появился блеск надежды, которая давно их покинула.

– Далмау, – сказала Эмма, улыбаясь ему так нежно, как только могла в подобных обстоятельствах, – надо бежать.

– И как ты это сделаешь? – насмешливо поинтересовалась жена дона Рикардо.

– Ты мне поможешь, – решила Эмма в этот самый момент. Она не обдумала заранее план побега, но наглая тетка натолкнула ее на мысль. – Иди сюда.

Тереса подчинилась, а Эмма отпустила ее супруга, которого держала за шиворот; тот мертвым грузом распластался в кресле, она же молниеносно приставила пистолет к голове его жены.

– Предупреди своих, чтобы не преследовали нас и не мешали нам уйти, иначе умрешь первой. Свяжи ей руки за спиной. – Эмма указала Далмау на одну из веревок, которые в избытке, целыми мотками, валялись на полу.

– Делайте, как она говорит, – приказала Тереса людям, которые опять стали набиваться в хижину; Далмау тем временем связывал ей руки. – Не преследуйте нас, не пытайтесь что-либо предпринять; подумайте о моих детях. Я им нужна. Позовите лекаря, пусть перевяжет мужа, – добавила она, когда Эмма уже подталкивала ее к двери, а Далмау шел впереди, расчищая путь.

Тем временем близилась ночь. Еще не похолодало, но темнота стремительно надвигалась. Люди расступались перед ними.

– Пропустите нас, стойте на месте! – кричала Тереса жителям Пекина, вышедшим из своих хибар.

Только пес-крысолов посмел ослушаться приказа супруги дона Рикардо, подбежал, принялся скакать перед Далмау с истошным лаем.

– Сукин сын этот пес, – пожаловалась Эмма, по-прежнему целясь в голову Тересе.

– Из всех существ, какие здесь живут и движутся, – отвечал Далмау, который теперь шел позади, то и дело оглядываясь, – только на него и можно хоть как-то положиться. Раз он прыгает вокруг нас, значит мы не умрем.

– Это ты так думаешь, – отозвалась жена дона Рикардо. – Мой муж станет искать вас, пока не найдет, а тогда с вас живых спустит шкуру, даже если это будет последним, что он сделает в жизни. Вы это осознаете или нет?

Ни Эмма, ни Далмау не ответили. Как только перестали чувствовать враждебные взгляды у себя за спиной, ускорили шаг.

Нужно было спешить: нет гарантии, что обитатели Пекина послушаются жену дона Рикардо или он сам не придет в себя и не отправит людей в погоню. Эмма вела Тересу, приставив пистолет к ее спине и подталкивая ее, если та пыталась замедлить шаг. Когда Пекин скрылся из виду, Далмау подошел к подруге.

– Спасибо, Эмма, – шепотом поблагодарил он. – Но как ты сама освободилась? – Голос его звучал глухо, горло перехватило от изумления, восторга, радости, вызванной самим ее присутствием и тем, что она сделала ради его освобождения.

– Меня оправдали, и...

– Но они всех приговаривают к смерти или к пожизненному заключению, – перебил ее Далмау.

– Это в трибуналах. Гражданские суды освобождают задержанных. Похоже, что жители Барселоны не хотят еще раз пережить Трагическую неделю.

Беседа отвлекла их настолько, что Тереса замедлила шаг, пытаясь выиграть время; возможно, рассчитывала на то, что обитатели Пекина проявят инициативу и погонятся за ними в темноте. Эмма толкнула ее дулом пистолета.

– Шевелись!

– И что мы теперь будем делать? – продолжал Далмау. – В Барселону вернуться я не могу, меня арестуют. Но ты свободна. Тебе незачем и дальше чем-то жертвовать ради меня...

Эмма взяла его под руку. Тепло от ее прикосновения проникло в него глубоко, до самого сердца. Она привлекла Далмау к себе, и оба чуть-чуть отстали, чтобы Тереса не услышала, о чем идет разговор.

– Хосефа спрячет нас у ее друзей в Побленоу, Хулия уже у них, – шепнула Эмма ему на ухо. – Мы обо всем договорились. Уверена, Хосефа нас ждет на дороге.

– А после?

– После и решим.

Они продолжили путь и говорили только о самом необходимом, хотя каждый раз, когда Далмау оборачивался к Эмме, его встречала улыбка более красноречивая, чем любые слова. Глядя на эту улыбку, Далмау узнавал девушку, вместе с которой сплетал из ярких фантазий радужные мечты о будущем. Он тщился ответить тем же, выразить всю

полноту счастья, его переполнявшего, но губы не слушались, выходило неловко, и при виде его усилий Эмма улыбалась еще шире.

Они подходили к Поблену, когда какая-то тень кинулась к Эмме; та направила пистолет и уже была готова стрелять.

– Не надо! Не стреляй! – прозвучал позади знакомый голос: Хосефа.

– Погодите! – велел Далмау матери. Ему вовсе не хотелось, чтобы Тереса увидела ее и прибавила к списку тех, кому ее муж должен отомстить.

Не теряя ни секунды, толкнул жену дона Рикардо в заросли тростника, к самым рельсам. Там порвал на длинные полосы передник, который женщина так и не успела снять, и стал завязывать ей рот.

– Рикардо всех вас прикончит, – снова пригрозила она, яростно мотая головой.

– Сегодня его самого чуть не прикончили, – заметил Далмау, пристраивая кляп. – Не надо нас недооценивать: может статься, что первыми погибнете вы.

Наконец Далмау достиг своей цели и заткнул Тересе рот лоскутом ткани, который затем завязал на затылке; усадил ее на землю и спутал ноги двумя другими лоскутами. Подергал, чтобы убедиться, крепки ли путы, оглядел ее, сидящую с кляпом во рту и связанную по рукам и ногам. Потом попросту пнул в плечо, она завалилась набок и медленно покатила по склону, в заросли тростника.

– Не волнуйся, утром тебя найдут. Здесь все время что-то вынюхивают самые разные псы. – Далмау даже позволил себе пошутить, вспомнив, как в те дни, когда он сам прятался в этих зарослях, целые стаи бродячих собак пробирались к нему.

Когда он вернулся на дорогу, Эмма говорила с Хосефой.

– Девочка вырвалась, – объясняла та. – Как только увидела вас, рванулась так, что мне было не удержать.

Но Эмма не слушала, а целовала дочку, захлебываясь слезами.

– Мама! – воскликнул Далмау, сам не свой от радости, что снова видит ее. – Пойдем? – стал поторапливать женщин. – Эмма говорила, что вы нас спрячете в доме...

– Планы изменились, – перебила его мать.

Далмау вопросительно поднял брови.

– Да, – подтвердила Хосефа. – Кармело, сын моих друзей, отвезет вас во Францию или как можно ближе к границе на одной из этих. – Она указала на вереницу лодок, пришвартованных у берега.

– Но... – хотел было возразить Далмау.

– Никаких «но». Вы отплываете прямо сейчас. Твоя жизнь в опасности... и твоя тоже, после всего, что ты сотворила, – добавила она, обращаясь к Эмме и показывая на заросли тростника. – Этот козел дон Рикардо найдет тебя в Побленоу, в Барселоне или в Мадриде скорее, чем вся полиция, вместе взятая. У вас нет выбора, дети. Я хочу видеть вас в этой лодке через пять минут. – Они колебались, и Хосефа заметила это. – Я принесла теплые вещи, а для тебя, Далмау, приличную одежду и обувь. Еще еду и все наши сбережения.

– Я не собираюсь бросать вас здесь, мама, – решительно возразил Далмау. – Я не рискну оставить вас в Барселоне одну, без защиты.

У Хосефы запершило в горле.

– Я слишком стара для таких дальних странствий. Мое место здесь, вы это знаете. И потом, я должна дождаться Томаса. Он непременно вернется. И должен застать меня дома.

– Но вы-то, – проговорила Эмма внезапно охрипшим голосом, – на что вы будете жить? С кем?

Далмау закивал, соглашаясь с Эммой.

– Вы должны поехать с нами...

– Нет! Не беспокойтесь обо мне. Я найду, где скрыться. Мои друзья-анархисты приютят меня на какое-то время. Потом, когда все уляжется и эти подонки забудут о вас, стану жить с Рамоной. Пока она за мной ухаживала, мы рассудили, как это нелепо, когда две одинокие женщины занимают две квартиры. Она переедет ко мне. В крайнем случае будем спать в одной постели и снова сдадим твою комнату. Сами видите: вам следует заботиться только о себе.

Они все еще сомневались.

– Ступайте, – настаивала Хосефа, схватив Эмму за руку и направляя ее к берегу. Потом оторвала от нее Хулию. – Видишь того сеньора около лодки? – обратилась она к девочке, указывая на Кармело. – Беги к нему, помоги все приготовить. – Потом и Далмау заставила пройти к берегу: кто-то должен помочь спустить лодку на воду. Далмау колебался. Эмма улыбнулась и кивнула. – Дочка, – сказала ей Хосефа, когда они остались одни, – ты не сделала ничего

плохого. Тебе не в чем раскаиваться. Абсолютно. И скрывать нечего ни от моего сына, ни от кого-то еще. Ты – великая женщина и должна гордиться тем, что сделала ради своей дочери и ради меня.

– А если он не поймет, Хосефа? Мужчины ревнивы, они такие собственники, хотя ни за что в этом не признаются.

Хосефа развела руками.

– Мы отвечаем за наши поступки, Эмма. Часто жертвуем собой, не похваляясь, не ожидая награды или даже понимания. Такова уж наша женская доля, – заключила она с тоской. – Решай сама. Одно я хочу тебе внушить: ты не должна себя винить, не должна стыдиться. Будь счастлива. Так или иначе, весь мир перед вами: тебе решать, как жить дальше. И если кто-то тебя не поймет, будь то мой сын или другой мужчина, уходи от него: он тебя не стоит.

– Мама... – Далмау направлялся к ним, невысокие волны уже лизали борта лодки.

– Обещай, что никогда не расскаешь в своем прошлом, – настаивала Хосефа, понизив голос. – Эмма! – проговорила она по складам, когда Далмау был уже рядом.

– Мама? – Далмау недоумевал, почему никто не обращает на него внимания.

Хосефа повернулась к сыну, тот обнял ее.

– Обещаю, – пробормотала Эмма.

– Что такое? – удивился Далмау.

– Ничего, сынок, ничего, – прерывающимся голосом ответила за нее Хосефа и раскрыла объятия, чтобы попрощаться с сыном: она предчувствовала, что больше не свидится с ним.

Потом все трое спустились к берегу, не зная, как выразить в словах все чувства, все мысли, какими вроде бы нужно было поделиться. Луна уже отражалась в глади спокойного моря, когда они заметили на дороге череду карет; кони скакали быстрой рысью.

– Дон Мануэль, – сказал Далмау, узнав экипаж, в который столько раз садился.

– Да, нас чуть не поймали, – согласилась Эмма.

– Знаешь что?.. – начал Далмау. Эмма снова подошла к нему и взяла его под руку. Хосефа, стоявшая позади, смахнула слезы, подступившие к глазам. – Словно вся жизнь проходит перед нами. Этот человек гонится за мной, чтобы положить ей конец.

– Ну так ничего у него не выйдет, – произнесла Хосефа. – Поспешите: вдруг кто-то взглянет в нашу сторону, и вас в самом деле поймают.

Далмау никак не мог оторвать взгляда от череды карет, посланных на его поиски.

– Далмау... – Эмма крепче прижалась к нему. – Здесь остается твоя прежняя жизнь. В новой весь мир будет у твоих ног, – добавила она, глядя на Хосефу, сжатыми губами улыбаясь ей.

Помощь Хосефы не требовалась, чтобы толкнуть лодку в последний раз, прежде чем оба запрыгнули на борт; мать Далмау стояла в сторонке, проливая слезы, даже не захотела подойти к самой кромке берега, когда лодка уже качалась на волнах.

– Мама... – позвал Далмау.

Хосефа покачала головой:

– Ступайте!

Эпилог

Барселона, апрель 1932 года

Скорый поезд, въезжая в Барселону, еле полз, так что Эмма могла разглядеть арену для боя быков в Барселонете, еще державшуюся кое-как, хотя и обветшавшую. Улыбнулась, вспомнила, что совсем недалеко находился карантин для кур, где Матиас отбирал товар, который сбывал на улицах по дешевке.

Далмау подошел к ней, обнял за талию, тоже испытывая ностальгию, которую, казалось, намеренно пробуждал замедленный, томный перестук колес. Двадцать три года прошло с тех пор, как они сели в рыбацкую лодку и, обогнув каталонский берег, без особых приключений прибыли во Францию.

В соседней стране их приняли радушно, а в Париже Далмау, как интеллектуального вдохновителя и даже вождя восстания, которое вылилось в Трагическую неделю, Комитет по защите жертв репрессий в Испании провозгласил героем. Во Франции, в Италии и во многих других странах проходили акции протеста против событий, происходивших в Испании, особенно против ареста Феррера Гуардия, мученика просвещения, который, по мнению многих, подстрекал, наряду с Далмау, к поджогам церквей и монастырей. Но ни политическое давление, ни пресса, ни почти полторы сотни манифестаций, во время одной из которых на улицы Парижа вышло до шестидесяти тысяч человек во главе с лидерами анархистов и социалистов, испанских и французских, – во всех манифестациях неизменно участвовали и Эмма с Далмау, – не добились снисхождения к Ферреру: он был расстрелян 13 октября 1909 года, а перед казнью заявил громогласно о своей невиновности и о великой пользе Новейшей школы.

Тот день, роковой для защитников свободы, тяжело пережили Эмма и Далмау: они осознали со всей очевидностью, что сулила бы им судьба, если бы не удалось бежать из Испании. Той ночью смерть навестила их в облике священника и жандарма, буржуа и солдата, напомнив, что не отступится, что ждет их в Барселоне. Чуть позже, еще до конца 1909 года, 18 декабря испанские власти подписали

договор об окончании войны в Рифе: берберийским племенам было позволено жить во владениях Испании, управляемых из Мадрида. Официальные источники сообщали о двух тысячах убитых и многих тысячах раненых среди резервистов, которые прибыли с полуострова, оставив на произвол судьбы жен и детей. Благодаря этим жертвам, однако, возобновилась добыча в железных рудниках, принадлежавших богатым промышленникам. Рабочие все-таки заплатили налог кровью.

Эмма крепко сжала руку Далмау, который обнимал ее. Много радостей и горестей пережили они с тех пор, как покинули графский город, но сейчас, двадцать три года спустя, большее всего ощущалось, вторгаясь в память под медленный ритм поезда, подъезжавшего к Французскому вокзалу, то, что богачи достигли желаемого, заполучили обратно свои африканские рудники. И какова цена? Разрушение целого города, обнищание тысяч рабочих семей, вынужденный отъезд других тысяч: людям приходилось покидать свою землю, обрубить корни.

Эта рана так и не затянулась ни в сердцах Эммы и Далмау, ни в барселонском обществе. Оба, однако, нашли себя: Эмма занялась помощью беженцам, которых было много и которые испытывали крайнюю нужду, а Далмау быстро устроился на фабрику изразцов, хотя, несмотря на то что французы высоко оценили его профессионализм и высокое качество его работ, мало-помалу начал склоняться к живописи. Париж превзошел самые смелые барселонские мечты, когда просвещенная столица представлялась ему недостижимым раем. Париж был прибежищем свободного духа, целой вселенной творчества. Через покровителей в мире керамики, которые интересовались и живописью тоже, Далмау наладил контакты с престижным галеристом, и тот не только представил его покупателям, готовым оценить новизну, но и повлиял на его манеру. То не были советы в духе дон Мануэля, считавшего целью искусства возврат к классицизму и возобновление связи с религией. Месье Леон Вез, так звали галериста, рекомендовал черпать вдохновение в современности, в свободе, в разрыве с традицией, например в кубизме: такую новизну Далмау нашел в живописи своего соотечественника Пикассо, одного из крупнейших художников века.

Далмау вспомнил тот день, когда дон Мануэль сравнил его самого с Пикассо, юнцом, который не добился ничего в Барселоне, зато прогремел в Париже. Он последовал совету месье Веза и почувствовал

себя бунтарем, отказавшись от линии, перспективы, объема и даже колорита.

– Когда-то мы жгли церкви, – заметила Эмма, уже ставшая его женой, глядя на одну из его работ, – но теперь ты совершаешь революцию в живописи.

Ибо если Далмау как керамист пережил бурное цветение архитектуры барселонского модерна, а в живописи проявил себя как рабочий, призывающий товарищей к восстанию, то теперь, примкнув к одному из течений авангарда, кубизму, порвав с любыми школами и правилами, он себя почувствовал революционером. На этот раз он лично взрывал старые художественные системы и открывал перед искусством невиданные горизонты.

Далмау начал продавать картины, получил признание. Первая мировая война привела семью в Нью-Йорк, где Далмау окончательно завоевал славу и престиж, но, едва был заключен мир, они вернулись в Париж. Там, кроме живописи, он, используя свой опыт, свои знания керамики, стал создавать скульптуры, вещи уникальные, современные, смелые, фантастические. Пофлиртовав с сюрреализмом и абстрактным искусством, вернулся к фигуративной живописи, к человеку и природе, изображенным смело, яркими красками, далекими от сумерек модерна, какие в начале века окутывали его персонажей.

Поезд остановился у Французского вокзала, недавно перестроенного: здание ничего общего не имело со старой станцией, какую помнили Эмма и Далмау. Теперь то была мощная конструкция из кованого железа, увенчанная тремя большими куполами. Через три огромные арки главного фасада, застекленные, как и боковые стены, проникал свет, играя на цветном мраморе пола, цоколей и колонн, бронзовых капителях, позолоте, хрустальных светильниках и драгоценных породах дерева.

Эмма и Далмау вышли из купе и остановились на перроне, глядя на все это великолепие. Он – с бородой и волосами, поредевшими еще в Пекине, худой, с рябым лицом, в память о чесотке, но с гордой осанкой, в свободном пиджаке, рубашке без воротничка и галстука и в шапочке, с которой так и не смог расстаться; Эмма со стрижкой средней длины, в удобной одежде – юбке и блузке, которые пробуждали фантазию, заставляли мечтать о теле этой женщины: она

перешла уже сорокалетний рубеж, но, казалось, была навечно закалена в молодости. «Так оно и было», – ответила бы она каждому, кто осмелился бы углубиться в такие дебри. Вскоре появился контролер, а с ним двое носильщиков и трое хорошо одетых мужчин.

– Дон Далмау Сала? Я Педро Сабатер, галерист, – представился один из них, протягивая руку. – Вы хорошо доехали?

– Да, большое спасибо, – ответил Далмау.

Потом, не скрывая некоторой досады, поздоровался с двумя другими: советником городской управы, республиканцем, и представителем Женералитата Каталонии. Готовясь приехать в Барселону на ретроспективную выставку своих работ, Далмау решительно отклонил все приглашения, поступившие от политических партий, профсоюзов и городской администрации. И он, и Эмма желали, чтобы поездка была частная, по возможности короткая и без официальных торжеств. Уже мало что связывало их с Барселоной: и Хосефа, и Томас скончались много лет назад.

После бегства во Францию они продолжали поддерживать связь с Хосефой, посылали ей деньги, чтобы она ни в чем не чувствовала недостатка. Странно, однако дон Рикардо не искал ее: может быть, так и не узнал о ее существовании, а может быть, предпочел забыть об унижении, какому подвергли его Эмма и Далмау. Недомогания, связанные с возрастом, с годами тяжелого труда в нездоровых условиях, она от сына скрывала, зато не советовала появляться в Барселоне: хотя для части обвиняемых в событиях Трагической недели была объявлена амнистия, положение Далмау оставалось шатким, поскольку Церковь и Мануэль Бельо продолжали требовать для него примерного наказания; все эти доводы убедили Далмау, и он смирился с тем, что приходится любить мать на расстоянии, надеясь, что когда-нибудь они соединятся снова. Но разразилась Великая война, чуть позже в Испании установилась военная диктатура генерала Примо де Риверы, продлившаяся до 1930 года; пока военные находились у власти, и думать было нечего, чтобы пересечь границу. Хосефа не пережила этого периода, умерла за несколько лет до того, как диктатура пала, король Альфонсо XIII покинул страну и в Испании провозгласили Республику.

Томасу удалось бежать из ссылки, к которой он был приговорен без суда, и через несколько лет, после Великой войны, он объявился в

Париже, где брат обласкал его и оказал помощь. По-прежнему приверженный анархизму, он посвятил себя делу свободы с еще большим пылом, чем в Барселоне, если только это возможно. Кончилось тем, что он во время столкновения с полицией попал под копыта коня и был так тяжело ранен, что скончался на операционном столе.

Томасу было бы приятно поехать с ними в Барселону, подумал Далмау. Год назад Испания официально перестала быть католической. Церковь утратила власть, и новое правительство гарантировало Далмау безопасность, уверяя, что нигде, ни в военном суде, ни в гражданском, против него не выдвинуто никакого обвинения. Но республиканцы обращались с Далмау вовсе не так, как с массой рабочих. И он, и Эмма с неослабевающим интересом следили за тем, что происходит в Испании. Новости не утешали. Республиканцы, придя к власти, правили столь же твердой рукой, нередко руководствуясь теми же законами, что и монархические правительства, и на эти устаревшие кодексы опирались, чтобы угнетать неимущих; а порой добавляли другие статьи, еще более суровые, к отчаянию тех, кто боролся за установление Республики.

Со времен Трагической недели население Барселоны удвоилось и теперь, в 1930 году, достигло миллиона. Иммигранты хлынули в графский город, пока длилась эпоха благоденствия, связанная с нейтралитетом Испании во время Великой войны: то, что страна не примкнула ни к одной из враждующих сторон, способствовало притоку населения, развитию торговли, а главное, накоплению невероятных богатств барселонской промышленной буржуазией. Потом градостроительные работы для Всемирной выставки 1929 года привлекли рабочую силу из окрестностей Барселоны и других регионов страны. В город прибывало столько иммигрантов, что их приходилось тысячами возвращать назад. Но война закончилась, прошла и выставка, к этому прибавились запоздалые отголоски кризиса, поразившего Соединенные Штаты в 1929 году, и к моменту провозглашения Республики безработица в Барселоне была ужасающей, никому не платили пособия и семья за семьей впадали в нищету.

Эмма думала, что люди, изгнавшие короля и уничтожившие могущество Церкви, придя к власти, выступят в защиту народа, тех

самых рабочих, с которыми она сама когда-то делила горести и мечты. Однако же так не случилось: республиканцы по-прежнему подвергали неимущих репрессиям, и те в конце концов сделали ставку на анархосиндикализм и уличные беспорядки. За 1931 год в Барселоне состоялось сто пятьдесят пять забастовок; за стачкой квартиросъемщиков с волнением следили Эмма и даже Далмау. Если в первое десятилетие века, когда оба жили в Барселоне, аренда квартир была почти неподъемная, то двадцать лет спустя, с чуть ли не миллионом приезжих, цены стали откровенно драконовскими. Спекуляция недвижимостью достигла невообразимых пределов: доходило до того, что за лачугу в девять квадратных метров без освещения и водопровода требовали триста песет в месяц.

При таком положении вещей группы рабочих, договорившись, переставали вносить квартирную плату. Первые попытки выселить жильцов встречали сопротивление. Рабочие в очередной раз проявили солидарность, и тем, кого действительно выбрасывали на улицу, помогали остальные. Но через год власти задействовали штурмовые отряды, полицейские силы нового образца, верные Республике, и они выселяли неплательщиков, подавляя народное сопротивление, а потом ломали мебель, выбрасывали ее в окна, чтобы люди, оставшиеся без крова, не могли снова занять квартиру, из которой их выгнали. Полиция, теперь уже республиканская, вышвыривала из домов семьи рабочих, которые не могли платить. В 1932 году, когда Эмма и Далмау прибыли в Барселону, забастовка квартиросъемщиков уже завершилась без особого успеха, как и стачки в большинстве отраслей; например, тогда же каталонские крестьяне проиграли девяносто процентов из более чем тридцати тысяч исков по пересмотру условий аренды, подавая которые они пытались добиться сокращения процента с прибыли, отчисляемого в пользу землевладельца. Судьи, опираясь на устаревшее законодательство, решали дела в пользу крупных собственников, разбивая в прах надежды и мечты крестьян.

Не за такую Барселону боролись Эмма и Далмау.

– Мы располагаем каким-то транспортом? – спросил Далмау у галериста.

– У выхода ждет машина, – ответил Педро Сабатер.

– Сеньор Сала, – желая привлечь внимание художника, выступил вперед советник городской управы, – алькальд и члены городского

совета имеют честь пригласить вас с супругой на обед в...

– Не интересуюсь, – резко прервал его Далмау.

– Но алькальд... – настаивал советник.

– Женералитат, – встрял представитель оной организации.

– Далмау, – вмешалась Эмма, заставив всех умолкнуть, – я неважно себя чувствую. – Она соврала, чтобы муж не наговорил лишнего.

– Вот видите, господа, – распрощался с ними Далмау, взял Эмму под руку и жестом велел галеристу вести их к машине.

Они остановились в отеле «Эспанья». Отвергнув другие предложенные галеристом гостиницы, возможно более комфортные или роскошные, Далмау выбрал здание, над которым совместно трудились великие художники барселонского модерна: Доменек-и-Монтанер, архитектор, построивший Дворец музыки; Эусеби Арнау, Альфонс Жуйол и прочие мастера по стеклу, дереву и мрамору; а главное, здесь Рамон Касас расписал сиренами столовую. Тем же вечером, после ностальгической прогулки по Ла-Рамбла, они с Эммой ужинали под лампами в форме цветов, которые свешивались с потолка. Пожив в Париже и Нью-Йорке, повидав мир, познав после кубизма и новые тенденции, то и дело резко меняя стиль как жизни, так и искусства, Эмма с Далмау чувствовали что-то гнетущее в этом чрезмерном декоре. Им приходилось делать усилие, чтобы не пропало желание заново прожить годы, такие тяжелые для обоих, и насладиться счастьем, за которое они так яростно сражались.

– Мы с тобой уже старички, – заметила Эмма, прерывая молчание.

– Это ты – старушка? Тебе и сорока не дашь. – (На такую галантную ложь Эмма ответила улыбкой.) – Сегодня ночью мы займемся любовью, как в молодости.

– Далмау!

– Вспомни, милая: мы в Барселоне, – сказал Далмау, беря ее за руку.

Эмма помнила; разве о таком забудешь! В Барселоне она, чтобы выжить, отдала свое тело на поругание. Дрожь пробежала у нее по спине. Эмма призналась Далмау, но тот приложил ей палец к губам, чтобы больше не было речи об Эспедито. Вначале Эмме было нелегко: чтобы испытать сексуальное желание, приходилось преодолевать себя.

Далмау не торопил, и мало-помалу его любовь и нежность одолели стыд, изгнали последние его следы. Эмма благодарила судьбу за мягкий характер Далмау, за его ласку и терпение, и в конце концов она вновь научилась наслаждаться своим телом и сексом с любимым человеком, все реже и реже вспоминая те гнусные эпизоды и почти уже забыв о них... до нынешнего дня. Да. Они в Барселоне.

И ночью они занялись любовью, и Эмма, решив окончательно избавиться от каких бы то ни было комплексов, смести все препоны, какие ставил ей этот город, изумила Далмау эротизмом и чувственностью, усмирёнными было возрастом и привычкой.

– Если ты обещаешь мне и дальше такие ночи, – заметил Далмау, одеваясь к завтраку перед зеркалом во всю стену, – мы поселимся здесь навсегда.

Эмма почувствовала, что краснеет. «Какая дура!» – выругала она себя за этот внезапный девичий стыд, хотя воспоминание о том, как она, стоя на четвереньках, нависая над мужем, лизала, сосала, ласкала, царапалась, требовала секса еще и еще, пока он не взмолился о пощаде, заставило ее задохнуться. Она отвернулась, чтобы Далмау ничего не заметил. Зато она этой ночью ощущала себя женщиной. Классной женщиной! Настоящей! В Барселоне!

– Не было ничего особенного, – отнекивалась она, потом прошла в ванную, не дав ему возразить. – Наверное, это ты состарился! – крикнула уже из-за двери.

Похоже на то, подумал Далмау через пару часов, входя в галерею Педро Сабатера на улице Дипутасьон в Эшампле. Эмма, по-видимому, разделяла его чувства: тяжело дыша, еле заметно вздрагивая, она крепко вцепилась в его руку.

Зал был просторный, весь прозрачный, и там, либо специально подсвеченные, либо намеренно утопленные в полутьме, висели десятки картин и рисунков Далмау, одни подписанные, другие – нет, все выполненные в то время, когда он работал на фабрике изразцов Мануэля Бельо, те самые, которые он складывал в папки, довольный или разочарованный результатом; те самые, которые Пако, беззубый сторож, по его словам, сжег в фабричных печах вместе с прочими пожитками Далмау после трагической кончины Урсулы.

Эмма и Далмау знали, с чем столкнутся. Педро Сабатер, барселонский галерист, все изложил Леону Везу, агенту художника, его другу и доверенному лицу.

На почетном месте висела хорошо освещенная, даже, по мнению Далмау, слишком, ибо скрадывался свет, исходящий от фей, резвящихся на песке, картина «Мастерская мозаики»: его убедили, будто картину выбросили на помойку вместе со скульптурой Родена перед проходившей в Барселоне Выставкой изобразительных и прикладных искусств 1907 года. Через двадцать пять лет картина обнаружилась. Эмма застыла перед ней в экстазе. Этой картины она никогда не видела: в те времена они с Далмау были в ссоре, а тот поддерживал целомудренные отношения с Грегорией.

– Совсем не так, как ты пишешь сейчас, но великолепно, – восхитилась Эмма.

Они двое, да еще галерист, стояли перед картиной. Галерея была закрыта для публики. Только секретарша вошла с ними внутрь.

– Вы уверены, что существует документ, удостоверяющий право собственности? – спросил Далмау, хотя Леон не раз говорил ему об этом в Париже.

– Да, – отвечал Сабатер, – каталог выставки тысяча девятьсот седьмого года. Они продали картину за двести песет.

Далмау саркастически улыбнулся. Убогие ублюдки, жалкие скупердяи, пожалевшие денег на то, чтобы приобрести для музеев Барселоны произведения мастеров импрессионизма, в конечном итоге нажились на его картине!

– Мне заплатили сто пятьдесят песет, – напомнил он Эмме. – А что насчет других работ? – спросил он у галериста.

Хотя и об этом ему уже рассказали в Париже, Далмау хотел все услышать здесь и сейчас, из уст Сабатера.

– Кроме портрета *trinxeraire*, – отвечал тот, указывая на оправленный в рамку рисунок, – приобретенного на выставке, состоявшейся в Обществе художников Святого Луки, все остальные работы внесены в список вашего имущества, выставленного на аукцион за неуплату долга, предоставленного вам для освобождения от военной службы. Все включены в опись, вплоть до последнего рисунка. Хотите убедиться? – Он протянул Далмау пачку бумаг.

Далмау сделал вид, будто это его не касается. Томас в Париже рассказывал, со слов адвоката Фустера, что пятисот песет не хватило на то, чтобы заплатить все проценты и покрыть немалые судебные издержки, и суд постановил продать с аукциона все конфискованные вещи, но никому и в голову не приходило, что среди этого имущества окажутся картины и рисунки.

А вот Эмма взяла бумаги, которые им протягивал галерист, больше для того, чтобы позволить Далмау одному подойти к рисованному портрету *trinxeraire*. Эмма знала, что значил для него этот портрет – начало жизни, порой счастливой, порой ужасающей; но благодаря этому творению впервые возникло прозвание, со временем вернувшееся: Далмау Сала, живописец душ. Стоя позади, Эмма видела, как он передернул плечами, будто дрожь пробежала по всему телу при виде маленькой попрошайки.

О Маравильяс они заговорили еще в поезде, на пути в Барселону.

– Не знаю, что бы с нами было, – призналась Эмма, – если бы она не вмешалась; девчонка меня предупредила, что тот сукин сын из Пекина собирается продать тебя... но она же и украла рисунки, на которых я позирую голая.

– Да, это – натура противоречивая, взбалмошная, – посетовал Далмау, взмахнув рукой. – Но если бы она не продала те рисунки обнаженной натуры, их бы сейчас выставили в галерее, и что тогда?

– Думаешь, меня бы это задело? – усмехнулась Эмма. – Я там была настоящей красоткой. Мне бы хотелось их сохранить. Как ты думаешь, она еще жива?

– Кто, Маравильяс?

– Ну да.

– Нет. Конечно нет.

Мысли Далмау, пока он отвечал, устремились к Маравильяс. Она умерла, несомненно. Таким пасынкам судьбы, тысячами скитающим по Барселоне, не светит долгая жизнь.

Теперь, поглядев на портрет *trinxeraire*, который нарисовал в молодости, стараясь уйти от боли, вызванной гибелью сестры и разрывом с Эммой, он повернулся к ней и к галеристу Сабатеру, медленно, будто под гнетом воспоминаний. Эмма показала ему старые, пожелтевшие листы описи.

– Смотри, здесь значится швейная машинка, – ткнула она пальцем в страницу.

Далмау взмахнул рукой, давая понять, что не желает видеть документы, приводящие на память трагические события прошлых времен.

– И теперь они хотят, – обратился он к галеристу, – чтобы я подтвердил авторство всех неподписанных работ, включая рисунки.

– А вот маленькая наваха, – продолжала Эмма, не слушая, что говорит муж.

Далмау, забыв о галеристе, ласково улыбнулся ей.

– И вечное перо с золотым колпачком. Ручка моего отца...

Голос у Эммы пресекся, и Далмау обнял ее за плечи. Скверные были дни, когда приставы описали имущество и мать с Эммой и маленькой Хулией вынуждены были делить квартиру с Анастаси и его семьей.

Педро Сабатер выждал несколько секунд, прежде чем вернуться к теме, из-за которой они здесь собрались.

– Именно так. Они хотят, чтобы вы подтвердили авторство этих работ, – заявил он. – Если вы это сделаете, их цена возрастет.

– Все работы перечислены здесь, – вмешалась Эмма. – Начальная цена: «Не назначается», написано в этой бумаге. Даже не указана сумма, пусть ничтожная, за которую их продали.

– Так и есть, – подтвердил Сабатер, невольно краснея. Он стоял перед одним из лучших в мире художников, пытаясь склонить его к тому, чтобы он подтвердил авторство картин и рисунков, которые Мануэль Бельо скупил за гроши. – В то время, – оправдывался галерист, – они не представляли ценности.

– А нам от этого какая выгода? – спросила Эмма, будто и не слыша речей посредника.

– Просите что хотите, – заявил тот. – Я готов выслушать ваши предложения.

– Нет, – возразил Далмау. – Предложение мы выскажем Мануэлю Бельо лично. Ему и его семье. Здесь. Назначьте встречу и сообщите нам. Пошли, – обратился он к Эмме. – Барселона ждет нас.

Они разорились, поэтому Мануэлю Бельо позарез необходимо продать эти работы. Учитель, рассказывал Леон, опять же со слов

галериста, не сумел перестроиться, когда кончилась эпоха модерна и для строительства зданий уже не требовалось столько изразцов. Их продолжали использовать, но уже не так, как в архитектуре модерна. К этому нужно добавить, что муж дочери, единственной, которая у него оставалась, оказался прескверным управляющим: заносчивый юнец не видел разницы между скромной фабрикой изразцов и крупным предприятием, и то небольшое, что удалось спасти, вложил в неосуществимые проекты, которые один за другим терпели крах; тем временем донья Селия и ее сынок, не имевший ни малейшего намерения отказываться от праздной жизни балованного, ленивого буржуйчика, расточали все до последней песеты. Мануэль Бельо доверялся зятю и даже супруге, которая под влиянием дочери считала его светочем ума и всячески защищала, и молился без устали о том, чтобы дела его поправились, но в один прекрасный день встал с молитвенной скамейки и обнаружил себя абсолютным банкротом. В такой ситуации работы Далмау, которые он хранил, будучи не в силах порезать холст или порвать рисунок, пусть даже автор их – его заклятый враг, можно было продать, наверное, не так дорого, как его нынешние произведения, но всегда найдутся коллекционеры или любители искусства, готовые приобрести картины или рисунки, относящиеся к ранним периодам творчества знаменитого художника Далмау Сала. В стеклянных витринах, наподобие инкунабул, были выставлены в галерее Сабатера многие из тех альбомчиков, в которых Далмау рисовал за столиками кафешантанов, а когда они заканчивались, хранил в мастерской, пока его не уволили; один из них был весь заполнен эскизами девичьих глаз, взгляда, который он никак не мог передать во всей его, как Далмау тогда казалось, силе и напряженности, даже злобе. Он грустно покачал головой, вспомнив судьбу Урсулы. Эмма неправильно поняла этот жест. Они ехали на заднем сиденье автомобиля, который Сабатер предоставил в их распоряжение: «испано-сюиза», просторный, роскошный, ничем не хуже европейских машин. Далмау велел шоферу отвезти их на площадь Испании, туда, где проходила Всемирная выставка 1929 года, рядом с ареной для боя быков «Лас-Аренас». Эмма взяла его руку, закинутую на спинку шикарного кожаного сиденья.

– Ностальгия? – спросила она.

Далмау задумался над ответом: нет, это не ностальгия. Он хотел посмотреть на здания, заменившие модерн, о которых он столько читал; здания, выстроенные в новой стилистике, стилистике новесентизма, уже проявлявшейся в тот момент, когда заканчивались работы над Дворцом музыки; лучшим местом для построек в новом стиле оказался склон горы Монжуик, где и начали один за другим вырастать особняки, а кульминацией стали павильоны Всемирной выставки, устроенной спустя три года.

– Мы едем смотреть убийц модерна.

– Милый, – Эмма сильнее сжала его руку, – ты ведь сам убил пару-тройку стилей в живописи, правда? Нужна эволюция.

– Действительно, – согласился Далмау, – эволюция нужна, однако не думаю, что возврат к монументальности, к архитектуре, направленной на публику, даже демонстрирующей власть, а значит, подчиняющейся диктату политики, можно сравнивать с кубизмом или сюрреализмом, высшим выражением независимости искусства и творческой свободы художника. Новесентизм и сходные течения, распространившиеся по всей Европе, создают искусство для публики, градостроительное искусство, и подчинены определенной идеологии, которую снова пытаются навязать народу.

– И раньше, – перебила его Эмма, – градостроительством ведала кучка богачей.

– Но было больше разнообразия. И свободы.

– Уж ты-то свободен, так свободен, грех жаловаться! – рассмеялась Эмма. – Может, не все так плохо, – добавила она.

– Удар кинжалом по моей молодости. Я был воспитан модерном, зачарован его разноцветьем и движущимися камнями.

Для Далмау это и в самом деле было ударом по Барселоне, которую он любил. Ансамбль грандиозных, правильных зданий, купола, колонны, башенки по углам. Монументальные, величественные, даже красивые, но холодной, чужеродной красотой.

– Трагическая неделя ускорила процесс, – заметил Далмау, когда они уже вышли из «испано-сюизы» и разглядывали здания на площади. – Здесь, у самого въезда, Пуч-и-Кадафалк, примкнувший к новому архитектурному течению, поставил четыре высокие колонны, представляющие четыре полосы каталонского флага. – (Эмма взглянула туда, куда указывал муж.) – Генерал Примо де Ривера велел

низвергнуть их. Политическая борьба вокруг городской застройки. Как я тебе и говорил.

– Милый, – сказала Эмма, когда они уже бродили по площади, – представляешь, что было бы, если бы эти просторные павильоны, необходимые для экспозиций, а значит, и для благосостояния города, спроектировали твои возлюбленные мастера модерна? – (Далмау застыл с открытым ртом.) – Вот эти, например, павильоны. – Она показала на строения, воздвигнутые по обеим сторонам бульвара, ведущего к Национальному дворцу, которым увенчивался холм. – Этот, левый, попал бы в руки Гауди, а тот, что перед нами, отдадим Доменеку. Что-то пестрое, извилистое, перегруженное декором, изразцами, изогнутыми железками и... и... и доньшками бутылок из-под шампанского! Какая там выставка в таких павильонах!

Далмау попытался представить, как бы выглядели эти здания, если бы они вышли из рук мастеров модерна. Вглядывался, качал головой, отвергая образ за образом.

– Ладно, – отшутился он, – никаких проблем: Гауди свой павильон до сих пор бы не достроил.

Оба расхохотались. Отпустили машину и решили вернуться в отель по Параллели, где некогда провели столько вечеров. Доменек и Гауди умерли несколько лет назад, и модерн иссяк, уступив место зданиям официозным, прославляющим режим. Они дошли до конца Параллели, до порта и портовых построек. Улица по-прежнему оставалась злачной. Они могли вообразить, какой она бывает в вечерние часы: театры, балаганы, бордели... Сейчас, кроме баров и ресторанов, все было закрыто, спрятано от яркого солнца средиземноморской весны. Но если заведения замирали, таились от дневного света, то безработные, слоняясь по тротуарам, не стеснялись показывать свою нищету. В городе ощущалось напряжение. Эмма и Далмау заметили, что у многих анархосиндикалистов были при себе пистолеты. На улицах Барселоны то и дело звучали выстрелы. Люди спорили ожесточенно, бешенство искажало лица. Там и сям собирались небольшие митинги: экзальтированные вожди громогласно призывали к забастовке и рабочей борьбе.

– Твое место там, – сказал Далмау супруге.

– Расстроился из-за павильонов в стиле модерн и хочешь отомстить? – отозвалась Эмма.

Далмау обнял ее на ходу.

– Да, расстроился, – признался он. – Говорю тебе: это – часть моей молодости.

– Как для меня – борьба, а теперь... сам видишь: мы с тобой мирно идем под ручку, солидная дама и художник, прославленный во всем мире, – усмехнулась Эмма.

В отеле вестей от Сабатера не было. Они перекусили в ресторане с сиренами и вызвали машину, чтобы объехать все места, где Далмау работал как керамист.

– Боюсь, ты будешь разочарован, – предупредила его Эмма.

Новесентисты и каталонские националисты не были, в отличие от Эммы, столь снисходительны к предшествующему течению. Здания в стиле модерн утратили блеск, какой придавали им изразцы и прочий декор и теперь сливались, посеревшие и потемневшие, с прочей городской застройкой. Никто не хотел тратиться на искусство, которое уже не считалось истинно каталонским. В постройках Гауди видели торты со взбитыми сливками, шоколадом, карамелью и прочими сладостями, появлялось множество карикатур вроде той, где дом Бальо таял и растекался лужей по тротуару, или ребенок просил пасхальный пирог величиной с Каменоломню; злополучный дом также сравнивали с ангаром для самолетов или зоосадам.

Дворец музыки, где Далмау полнее всего постиг, что такое полет фантазии, творческая сила и свобода выражения, теперь называли Дворцом каталонского хлама. Высоколобые интеллектуалы его считали ужасным, безвкусным и низкопробным; твердили, что среди такого обилия украшений невозможно сосредоточиться на музыке. Другие мнили его безнадежно вульгарным, признавали анархическим: нет, не такое искусство должно представлять современную Каталонию.

– Политика, – сетовал Далмау вечером, после того как супруги, больше не желая ничего смотреть, велели шоферу отвезти их на берег: они погуляли по пляжу и в столовой, расположенной там же, на песке, съели скромный, но невероятно вкусный ужин.

– С такого же берега, как этот, мы отплыли во Францию, – проговорила Эмма, взглядываясь в горизонт, уже темный, и положила в рот изрядный кусок рыбы.

– Мама... – стал вспоминать Далмау. – И Хулия. Совсем еще девочка.

Они умолкли, предавшись воспоминаниям. Хосефа умерла, Хулия выросла, вышла замуж за парижанина, родила двоих детей, теперь она – адвокат, защищает рабочих и бедняков; «гиблые дела», как считает ее муж, но только не Далмау и Эмма, которые видят в ее стараниях продолжение своей борьбы.

– Нам пришлось нелегко, Далмау, – нарушила молчание Эмма, – но теперь я не поменялась бы ни с одной женщиной в мире. Я люблю тебя.

– И я. – Далмау повернулся к жене. – И я тебя люблю, – повторил, глядя ей в глаза.

Эмма обвела взглядом их всех, стоящих посреди галереи Педро Сабатера, снова закрытой для публики. Ее муж, в свободном пиджаке, рубашке без воротничка, в шапочке. Далмау не говорил, чего собирается просить у Мануэля Бельо за признание авторства, даже собирается ли это авторство признавать, а Эмма не спрашивала. Когда супруги вернулись в отель, почти на рассвете, и обнаружили послание от галериста, в котором тот извещал, что встреча назначена на следующее утро, Эмма поняла, как это важно для Далмау. Речь не о том, чтобы подписать холсты или рисунки. И не о деньгах тоже. Этот человек помогал ему с детства, устроил в Льотху, дал работу на своей фабрике, но он же потребовал, чтобы Монсеррат прошла курс катехизиса. Если бы он проявил великодушие и не выказал себя религиозным фанатиком, который непременно должен выслужиться перед Богом и обратить в свою веру всех вокруг, они с Монсеррат не поссорились бы на баррикаде и сестра Далмау не погибла бы. Конечно нет. Потом он разорил Хосефу, отняв у нее все имущество. Он же добивался, чтобы Далмау увольняли отовсюду, куда он пытался устроиться; его стараниями художнику заявили, будто его картину выбросили на помойку как непристойную. Этот человек унизил Эмму, когда она пришла к нему в дом умолять о помощи. Он во всеуслышание, с ничем не оправданной яростью поносил работы, которые Далмау преподнес Народному дому. И он же, не колеблясь, готов был заплатить любую сумму, чтобы выдать его военным, то есть обречь на верную смерть.

Перед Далмау, опираясь на трость, стоял учитель, дон Мануэль Бельо, постаревший, ссохшийся, в черном костюме, который сделался

ему широк, и поседевшие, поредевшие бакенбарды все еще пытались соединиться с усами.

Далмау не стал здороваться ни с донем Мануэлем, ни с доньей Селией; прямая как палка, она была одета в вышедшее из моды платье с турнюром – над такими потешались Эмма и Далмау вместе с Монсеррат, потому что женщины в них похожи на улиток. Будто встретились снова героини трагедии, содрогнулась Эмма, вспомнив о Монсеррат. От доньи Селии, которая была и выше, и толще супруга, исходил затхлый запах старости. По обе стороны от них – дочка и зять, разоривший семью, оба надменные, и младший сынок, беспутный молодчик, лет около тридцати; круги под глазами и усталый вид говорили о том, что его наверняка вытащили из постели ради назначенной встречи; даже не пытаясь этого скрыть, он демонстративно то вздыхал, то зевал во весь рот.

– Что ж... – проговорил галерист, собираясь приступить к переговорам.

Далмау сделал рукою нетерпеливый жест, и снова установилось неловкое молчание, но, пока оно длилось, Эмма чувствовала, как сама растет и набирается сил. Она подошла к мужу, встала рядом. Далмау вглядывался в семью своего бывшего учителя, будто собирался их всех изобразить; Эмме знакомо было это волшебство. Никто не произносил ни слова. Далмау любое пространство заполнял собою так же, как эту галерею; его внутренняя сила распространялась даже на улицу сквозь запертую дверь. Он – гений! Дон Мануэль опустил глаза, и донья Селия утратила свой апломб. Остальные съежились, оробели. «На колени перед ним!» – чуть было не крикнула Эмма.

Она глубоко вздохнула. Надо пропитать все тело этой атмосферой, усвоить ее, вкусить, но голос Далмау развеял чары.

– Я хочу, чтобы нам вернули вечное перо с золотым колпачком, которое забрали из дома моей матери, – потребовал он.

– Это было двадцать лет назад! – возмутился галерист.

– Вещь у него, – не теряя хладнокровия, перебил Далмау. Он был уверен, что дон Мануэль свято хранит все, что присвоил во время аукциона.

Дон Мануэль кивнул. Эмма стиснула зубы, смахнула слезы с глаз. Не хватало еще, чтобы эти негодяи видели, как она плачет. Вечное перо ее отца, то самое, которое следовало преподнести супругу.

Антонио его не получил. «Он не умеет писать». Эмма вспомнила, как солгала дяде, пытаясь оправдаться.

– Вечное перо? – вскинулся сын дона Мануэля, нарушая ход ее мыслей. – Из-за него весь переполох?

– Вечное перо, и все? – изумился и Сабатер тоже.

– Нет, – сказал Далмау, и в галерее снова установилась тишина. – Еще я хочу, чтобы мне вернули рисунки, которые не выставлены здесь.

Дон Мануэль поднял голову, обретя жизненную силу, которой почти лишился, и вперил в Далмау взгляд своих водянистых глаз.

– Какие рисунки? – воскликнул зять. – Разве у нас есть еще работы этого персонажа? Почему мне ничего не сказали?

Ему никто не ответил. Донья Селия отреагировала не сразу, а когда вышла из ступора, энергично замотала головой.

– Этих рисунков больше нет, – подтвердил дон Мануэль, впервые заговоривший.

– Они есть. Я знаю, вы их храните.

– Где они? – снова вмешался зять.

– Помолчи, – велела ему донья Селия и взглянула мужу в глаза. – Ты хранишь их?

Дон Мануэль не ответил.

– На первом же поезде мы поедем к границе, а оттуда в Париж, – сообщил Далмау. – Если к тому времени ко мне в отель доставят то, о чем я прошу, я признаю авторство всех этих работ, – продолжил он, оглядывая то, что составляло часть его истории, его жизни, – в противном случае другая возможность вам не представится.

– И вы впадете в нищету, окажетесь на улице, – изрекла Эмма, вспомнив, чем ей грозили в тот день, когда она пришла молить о милосердии.

Больше никто не сказал ни слова. Далмау мягко прикоснулся к руке Эммы и собирался уже уходить, но вдруг обернулся.

– Дон Мануэль... – обратился он к старику так, как делал это, пока работал на него. Дождался, пока бывший учитель на него взглянет, и продолжал: – Я никогда не хотел причинить вред вашей дочери. Если, по личным обстоятельствам, я не смог выразить это в свое время, будьте уверены, что боль из-за ее смерти я испытывал всю жизнь, как испытываю сейчас. Донья Селия, – попрощался он и с дамой, прикоснувшись к шапочке.

Поезд отъезжал от Французского вокзала. Эмма и Далмау покидали город, по-прежнему враждебный, отданный на милость революции, уличным перестрелкам, борьбе, разрухе и нищете, поощряемой эгоизмом и жадностью власть имущих.

– Жоан Марагаль, один из лучших каталонских поэтов, – заметил Далмау, рассеянно глядя в окошко, – сказал, что Барселона после Трагической недели стала городом без любви. И такой до сих пор остается, – заключил художник.

Эмма, сидящая в купе напротив Далмау, не ответила, ошеломленная, даже напуганная рисунками, которые крепко сжимала в руках и на которых запечатлелась, миг за мигом, агония Урсулы. Некоторые представляли собой отдельные штрихи и линии: маловразумительные наброски. Другие, отточенные, ей, знающей, как девушка погибла, показались жуткими. Такую плату потребовал Далмау, кроме вечного пера с золотым колпачком, которое с гордостью вложил во внутренний карман пиджака после того, как Эмма с повлажневшими глазами подарила его супругу.

– Почему эти рисунки? – осмелилась она спросить.

Далмау ответил не сразу.

– Урсула умерла по моей вине, – несколько раз прочистив горло, хрипло проговорил он. – Ее страданием пропитаны эти листы, смертной мукой, которую я не распознал, и, будучи под наркотиком, принял за... за страсть, которую ты дарила, когда позировала обнаженной. – Он умолк, и на какое-то время купе заполнил перестук колес. – Как ни странно, – продолжил он, возвышая голос, – но ты составляешь часть этих рисунков, и я не мог позволить старикану и его семье ими владеть.

Эмма уставилась на Далмау, совершенно оторопев.

– Ты никогда мне о них не рассказывал.

– Это тебя беспокоит?

Эмма покачала головой.

Далмау улыбнулся и взгляделся с любовью в лицо супруги, но тут в глаза ему блеснула брошь, которую Эмма приколола к лацкану: стрекоза в стиле модерн, длинное, стройное тело из золота, а крылышки из прозрачной эмали, усеянной крошечными драгоценными камнями разных цветов. Далмау подарил ее жене накануне вечером,

ювелир напрасно предлагал купить более современную вещь. Взгляд художника потерялся в этом блеске, приглашая побыть еще немного в городе, где искусство и неудержимая творческая фантазия слились воедино, сотворив невиданные чудеса, которые человечество признает в один прекрасный день.

Барселона оставалась позади, а вместе с нею и часть их жизни.

От автора

Барселона, несомненно, один из самых прекрасных европейских городов, поражающий огромным множеством зданий в стиле модерн, иные из которых объявлены ЮНЕСКО достоянием человечества. Такой архитектурный комплекс появился в результате особенностей городской застройки, а также благодаря богатству социального класса, поддержавшего столь одаренное творческой фантазией движение модерна.

В этом романе я попытался через Далмау Сала представить читателю широкую панораму стиля, который развивался на протяжении трех десятилетий: великие архитекторы и мастера прикладных искусств создали изумительные творения, ими сегодня восхищается мир, хотя долгие годы этот стиль порочили, очерняли, даже порой безвозвратно губили или искажали архитектурные памятники. Я постарался привязать вымысел к реальным датам возведения всех этих зданий, хотя в некоторых случаях, ради полноты картины, позволил себе некоторые вольности: так, например, скульптурная группа на фасаде Дворца музыки появилась позднее, чем описано в романе.

В то же самое время с великолепием построек и даже с широтой воззрений, которая была присуща значительной части барселонской буржуазии, соседствовала нищета, верная спутница промышленной революции. Пока фабриканты тратили деньги, соревнуясь в роскоши, эксплуатируемый класс, чудовищно обнищавший, начинал сознавать себя как политическую силу, отказавшись от постулатов анархизма и террористических актов, из-за которых Барселона прославилась как «город бомбистов».

Забастовки, манифестации, акты социального протеста – вот что постоянно наблюдали богачи со своих новых сторожевых башен в стиле модерн. Поразительно, какую роль сыграли в этой борьбе женщины, обладавшие куда меньшими правами, нежели мужчины: даже избирательное право им ни под каким видом не было предоставлено, зато они, прихватив своих малышей, шли во главе манифестаций, не давая полиции открывать огонь по их мужьям и

отцам. Из этой среды происходит другая героиня романа, Эмма, воплощающая в себе боевой дух, который впоследствии разовьется в победоносное движение: Испания станет республикой, но с ней покончит война, а после войны на сорок лет установится диктатура.

Антиклерикализм превратился в одну из доктрин республиканцев и политиков левого толка, выступивших в первое десятилетие XX века, а в устах такого противоречивого персонажа, как Леррус, который в самой грубой форме призывал к разрушению церкви, стала действенным лозунгом, воспламенявшим массы, призывавшим их к бунту.

В данном контексте защита экономических интересов класса богатых промышленников, которая привела к кровопролитному конфликту с берберами Рифа, а также «торговля пушечным мясом», то есть призыв на военную службу отцов семейств вместо молодых неженатых парней исключительно ради выгоды страховых компаний и их акционеров, возмутили рабочих до такой степени, что была объявлена и состоялась Всеобщая забастовка; в Барселоне и в отдельных местах Каталонии она выродилась в Трагическую неделю: за шесть дней в графском городе было сожжено восемьдесят церквей и других религиозных учреждений.

По мнению большинства исследователей, изучавших это печальное событие в истории Барселоны, поджогами никто не руководил, их не координировала ни одна политическая партия. Наверное, трудно поверить, хотя так оно и было, что неистовство толпы ограничилось лишь религиозными учреждениями, что, разумеется, не оправдывает и не умаляет разрушений. Но очевидно, что никто не покушался на собственность буржуа, которые, согласно документальным свидетельствам, следили за событиями с почтительного расстояния, устраивали вечеринки и танцевали, а потом решили заплатить жалованье, причитающееся за неделю мятежей, как за рабочую.

Ни армия, ни полиция, ни население не защищали собственность Церкви; по некоторым свидетельствам, военные охраняли банки, пока революционеры жгли монастыри. Были, разумеется, исключения: либо войска, либо карлисты или обитатели таких кварталов, как Сарриа, выступали на защиту своих храмов, между прочим и церкви Санта-Мария дель Мар.

Трудно понять, почему неорганизованная толпа, испытавшая на себе гнет социальной несправедливости и нищеты, не обрушила свой гнев также и на класс эксплуататоров, но это со всей достоверностью так и было: восставшие щадили собственность буржуа, их дома, предприятия и коммерческие заведения. Вот красноречивый пример: во время одного из поджогов революционеры позволили пожарным только полить водой стену фабрики, которой владел известный предприниматель, чтобы пламя, пожирившее церковь, не перекинулось на соседнее здание.

Щадили также и жизни священнослужителей. Не зафиксировано ни одного случая насилия над монахинями, к чему со всей яростью призывал Леррус, и всего три священника – что ни в коей мере не оправдывает и эти смерти тоже – погибли по совершенно определенным причинам, один из них практически по чистой случайности, но никак не из ненависти толпы ко всему сословию, которая могла бы привести к убийствам и судам Линча, а ограничилась, что прискорбно тоже, тычками и тумаками, бранью и унижениями при насильственном выдворении клириков из церквей и монастырей.

Возможно, это почти полное отсутствие жертв среди клерикального сословия, которое, оставшись без всякой защиты, столкнулось с простым народом лицом к лицу, легло на чашу весов обычного гражданского правосудия; оно совсем не так, как военное, зависевшее от мадридского правительства, проводило процессы по делам задержанных за поджоги. Эмму, нашу героиню, признали невиновной, как почти две тысячи поджигателей, представших перед городскими судами, хотя дата, обозначенная в романе, несколько предваряет ту, с которой эти суды начали свою работу. Напротив, трибуналы вынесли семнадцать смертных приговоров, пять из них были приведены в исполнение, и пятьдесят девять приговоров к пожизненному заключению.

Возможно, что непосредственной причиной восстания, приведшего к Трагической неделе, явилась реакция рабочего класса на войну в Рифе, но нельзя утверждать, будто она была единственной. Великий каталонский поэт Жоан Марагаль, любивший Барселону и Каталонию и защищавший национальные ценности, был до глубины души потрясен восстанием, которое изучал и анализировал, изложив

свои размышления в трех эпохальных статьях (одна из них, где поэт склонял власти предрержащие к милосердию и прощению, не была опубликована). Не решаясь углубляться в столь высокие материи и посему ограничиваясь лишь ссылкой, добавлю только, что Марагаль назвал правящие классы Барселоны трусливыми и эгоистичными, а Церковь призвал теснее сблизиться с рабочими и совместными усилиями создавать более справедливое общество.

Причины и последствия Трагической недели далеко выходят за рамки и романа, и этих заметок, но они, без сомнения, способствовали упадку такого широкого художественного движения, как модерн. Либерализм был объявлен идеологической подоплекой мятежей. Индивидуальное восприятие, безудержная фантазия и гениальность уступили место прямому руководству со стороны правительства, и свобода творчества была существенно ограничена. Не зря Далмау, через много лет вернувшись в Барселону и направляясь к выставочным павильонам на склоне горы Монжуик, сказал: «Мы едем смотреть убийц модерна».

Хочу поблагодарить мою издательницу Ану Льярас за помощь в работе над романом и веру в проект, а также всех, кто сотрудничал со мной и способствовал публикации книги. Как всегда, признателен Кармен, моей жене, без чьей поддержки я не написал бы этот роман – она всегда рядом в самые тяжелые минуты; а также моим детям и всем, кого я люблю и кто сопровождает меня на избранном мною пути.

Барселона, апрель 2019 г.

notes

Примечания

1

Замок трех драконов (*Castell dels Tres Dragons*) – сегодня в нем расположен Зоологический музей Каталонии. – *Здесь и далее примеч. перев.*

Дом Амалье (Casa Amatller) называется по имени владельца, кондитера Антонио Амалье, который и заказал реконструкцию дома архитектору Пуч-и-Кадафалку.

Школа живописи, архитектуры и прикладных искусств в Барселоне.

4

Беспризорники (*каталан.*).

5

Запеченная треска, каталонское блюдо.

Пиаристы – католический монашеский орден, занимающийся обучением и воспитанием детей и молодежи; другое название – пиары. Название произошло от *Scholae piae* («Благочестивые школы»).

Ильдефонс Серда-и-Суньер (1815–1876) – испанский градостроитель, автор проекта расширения Барселоны.

Маристы – члены монашеской общины Малых братьев Девы Марии, один из членов которой основал Институт школьных братьев маристов; *салезианцы* – монахи, принадлежащие к Обществу Святого Франциска Сальского; занимались бедными детьми и юношами, предоставляя им кров над головой, образование, проводя катехизацию и готовя ко взрослой жизни.

9

Крем-суп из речных раков по-французски (*фр.*).

Рейнский лосось (*фр.*).

Говяжья вырезка а-ля Ришелье (*фр.*).

«Els Quatre Gats» (*каталан.*) – богемное кафе в Готическом квартале Барселоны, созданное по подобию кафе с тем же названием в Париже. Здание было снесено во время правления Франко и восстановлено в 1970-е.

Имеется в виду парк Сьютадела, «Цитадель», разбитый на месте снесенной крепости в 1869 году и несколько десятилетий остававшийся единственной зеленой зоной в городе.

«Сыны Отечества, вставайте, / Великий, славный день настал!»
(фр.)

«Врагам на вызов отвечайте, / Их стан кровавый флаг поднял»
(фр.).

«К оружию, гражданин! / Сомкнем наши ряды, / Вперед, вперед!
/ И нивы наши и сады, / Вмиг кровь нечистая зальет!» *(фр.)*

Эскуделью с мясом из супа (*каталан.*).

Так назывались боевые отряды, созданные по инициативе Лерруса.

Традиционный каталонский десерт из молока и риса.

Род флейты и небольшой барабан (*каталан.*).

Пабло Иглесиас Поссе (1850–1925) – основатель Испанской социалистической рабочей партии.